РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Бэкман В. Э.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Гафуров Б. Г.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Ибрагимов М.
Иванько С. С.
Кербабаев Б. М.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Сомов В. С.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федоренко Н. Т.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

Н. ГОГОЛЬ

ПОВЕСТИ

●

ПЬЕСЫ

●

МЕРТВЫЕ ДУШИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1975

Вступительная статья и примечания
Ю. Манна

© Издательство «Художественная литература», 1975 г.

Иллюстрации
В. Горяева, Кукрыниксов, Н. Кузьмина,
Ю. Коровина, А. Лаптева

Г 70301-150
028 (01)-75 подписное

# СМЕХ ГОГОЛЯ

## 1

Вскоре после смерти Гоголя Н. Некрасов писал в одном из своих критических обзоров: «Гоголь неоспоримо представляет нечто совершенно новое среди личностей, обладавших силою творчества, нечто такое, чего невозможно подвести ни под какие теории, выработанные на основании произведений, данных другими поэтами. И основы суждения о нем должны быть новые. Наша земля не оскудевает талантами — может быть, явится писатель, который истолкует нам Гоголя, а до тех пор будем делать частные заметки на отдельные лица его произведений и ждать,— это полезнее и скромнее» [1].

С тех пор как были написаны эти строки, прошло более века; за это время и в нашей стране, и за рубежом возникла огромная литература о Гоголе, но вывод Некрасова не потерял своей силы и мы все еще располагаем скорее «частными заметками», чем исчерпывающим истолкованием творчества писателя. И дело не в слабости критической мысли, создавшей немало глубоких работ о Гоголе, а в поразительной загадочности и сложности самого «предмета исследования».

Один из парадоксов Гоголя для его современников (а затем отчасти и для литературоведения) заключался в том, что писатель легко опрокинул критерии, по которым обычно измерялась общественная сила комического. Нет, даже не опрокинул, а просто обошел их. Этих критериев, если несколько схематизировать, было два: общественная значимость порока и ранг (положение) комического персонажа. Цензура, кстати, со своей стороны, судила по упомянутым критериям, возбраняя прикасаться к самым страшным общественным язвам и следя за тем, чтобы в сферу комического попадали не столько законодатели, сколько, говоря языком Капниста, «исполнители». Но, с другой стороны, русская сатира эпохи классицизма и Просвещения при-

[1] Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч., т. IX. М., Гослитиздат, 1950, с. 342.

лагала героические усилия, чтобы повысить силу обличения и в том и в другом смысле. От легкого подтрунивания над общечеловеческими слабостями, от насмешек над скупцами, мотами, петиметрами, хвастунами, ветренымп женами, рогатыми мужьями, бездарными стихотворцами она то и дело обращалась к судебному произволу, беззаконию и жестокости царской администрации; наконец, к «рабству дикому» — к крепостному праву. Одновременно сатира стремилась и целить выше, подбираясь к полномочным чиновникам, к людям, окружавшим трон, к всесильным фаворитам и «временщикам» («К временщику» — название знаменитой сатиры Рылеева).

Но в гоголевской поэтике масштаб порока и носителя порока не имел уже такого значения, как прежде. Сила обличения достигалась не за счет увеличения этого масштаба, а более сложным путем. Поэтому Герцен мог констатировать следующую черту «Мертвых душ»,— отнюдь не упрекая при этом их автора: «Гоголь тут не нападает ни на правительство, ни на высшее общество». Сам Гоголь отчетливо сознавал, что, скажем, масштаб «Ревизора» локален, что вовсе не все объято его комедией: «Столица щекотливо оскорбляется тем, что выведены нравы шести чиновников провинциальных; что же бы сказала столица, если бы выведены были хотя слегка ее собственные нравы?» Сложность, однако, в том, что «нравы» шести уездных чиновников и были одновременно «нравами» столицы, а заодно и всей Российской империи. И это нечувствительное расширение художественного мира за пределы его номинального масштаба достигалось тончайшей перестройкой самой природы комического.

Возьмем известную реплику Городничего, сказанную квартальному в пылу суматошных приготовлений к встрече ревизора: «Смотри! не по чину берешь!» Комизм этой реплики — мгновенная реализация скрытого в ней огромного философского смысла. По официальным представлениям, чем выше человек на иерархической лестнице, тем больше его радение об общем благе, тем ярче гражданские добродетели. Реплика Городничего предполагает как раз обратное. Следовательно, в форму морального суждения вложена идея аморальности. Причем это суждение отчеканено в литой афоризм; ему придан характер практического наставления, служебной инструкции. И произносится он Городничим с неподдельным возмущением: это поистине глас совести, оскорбленной нарушением принятого нравственного закона. Но в таком случае не столь уж важно, что перед нами всего лишь уездный чиновник: его устами говорит сама «мораль», повсеместно принятая и непоколебимая.

Через всю деятельность Гоголя в качестве драматурга и теоретика комического прослеживается, казалось бы, неожиданное стремление: научить актера правильно... лгать. «Вообще у нас актеры совсем не умеют лгать,— жаловался Гоголь.— Они воображают, что лгать — значит просто нести болтовню. Лгать — значит говорить ложь тоном, так близким к истине, так естественно, так наивно, как можно только говорить одну истину; и здесь-то заключается именно все комическое лжи». Разумеется, речь идет о нечто боль-

шем, чем только актерская техника. Подавать «ложь» как правду, без утрировки и аффектации,— это значит отобрать у «лжи» прерогативу экстраординарного и исключительного, на чем нередко настаивала догоголевская сатира. Обнаружилось, что ложь не концентрируется в отдельных участках человеческого общества, но проникает собою всю его ткань. И юмор Гоголя, неожиданно оправдывая свою этимологию (латинское слово umor — влага, жидкость), получил силу неудержимой стихии, способной проникать через такие мельчайшие невидимые поры, перед которыми часто бессильно угасал смех его предшественников.

В «Ябеде» В. Капниста, считавшейся до «Ревизора» одной из лучших русских «общественных комедий», мы встречаем фразу, сходную с приведенной репликой Городничего. Повытчик Добров советует втянутому в тяжбу Прямикову ублажать судейских чиновников в строгом соответствии с их положением: «Чтоб чина пред другим вам не уничтожать, // То по чинам лишь им извольте прибавлять».

Возможно, эта тяжеловесная сентенция и вдохновила Гоголя на его афоризм. Но различие тут, конечно, не только в афористичности. У Капниста — это моральное правило, действующее в ограниченной сфере. Собственно, художественные усилия драматурга и направлены на установление хорошо различимых ограничительных знаков. *Знак первый:* тот, кому дан этот совет, подполковник Прямиков, придерживается иных правил — правил чести и добропорядочности: «Я мыслю, что мою тем правость помрачу, // Когда я за нее монетой заплачу». *Знак второй:* исключительная моральная испорченность тех, кто руководствуется подобным правилом. «Изрядно мне ты эту шайку описал!» — восклицает Прямиков. И это действительно шайка подлецов, один другого бесстыднее и отвратительнее. Наконец, *знак третий:* тот, кто дает Прямикову подобный совет, повытчик Добров хотя и убедился за свою долговременную службу во всесилии неправды, но все же в глубине души сохранил веру в изначальную непреложность добра. «Законы святы, но исполнители лихие супостаты»,— произносит он реплику, ставшую знаменитой. «Законы» понимаются здесь не в смысле искомых идеальных норм человеческого общежития, но как вполне конкретные узаконения царской России, извращаемые коварными «исполнителями».

У Гоголя разом оказались убранными все подобные ограничения. Ни в его реалистических повестях, ни в «Ревизоре», ни в первом томе «Мертвых душ» мы не встретим персонажей, которые бы поступали не «как все», руководствовались бы иными правилами. Никто из них не верит также в святость «законов». Что же касается нарочитой злонамеренности и подлости, то, как сказано в «Мертвых душах», «теперь у нас подлецов не бывает, есть люди благонамеренные, приятные, а таких, которые бы на всеобщий позор выставили свою физиономию под публичную оплеуху, отыщется разве каких-нибудь два-три человека, да и те уже говорят теперь о добродетели».

В этой ситуации смех приобретал роль единственного разграничителя существующего и должного, роль единственного «честного лица», по извест-

ной автохарактеристике Гоголя. Смех свидетельствовал, что наличные связи и отношения людей извращены, поставлены с ног на голову. Искра смеха вспыхивала от осознания этой перестановки, извращенности. Поэтому неспособность к смеху — это нечто большее, чем «отсутствие чувства юмора». Тот, кто не видит «ничего смешного», не отличает наличное от должного. Иначе говоря, он страдает глухотой не только эстетической, но и моральной.

Послушаем неподражаемый по своему комизму диалог карточных шулеров в гоголевских «Игроках». Утешительный говорит, что он и его товарищи приняли Ихарева вначале «за *человека обыкновенного*». «Но теперь видим, что вам знакомы *высшие тайны*... Позвольте узнать, с каких пор начали *исследовать* глубину познаний?» (курсив мой.— *Ю. М.*). Ихарев не без самодовольства отвечает: «Признаюсь, это уже с самых юных лет было моим стремлением». Комизм этого диалога в том, что на заведомо бесчестную деятельность — шулерство — переносятся категории и понятия повседневной человеческой жизни, различных профессий и занятий. Прием этот, кстати, восходит к фольклору: в народных балаганных представлениях «грабежи и воровство изображаются как различные ремесла»;[1] например, «побрить» означает «обворовать», следовательно, вор уподобляется цирюльнику. Высшей точки этот род комизма достигает в «Игроках» в рассказе Швохнева про одиннадцатилетнего мальчика, который «передергивает с таким искусством, как ни один из игроков». На этого мальчика специально приезжают посмотреть, расспрашивают его отца: «Извините, я слышал, что бог наградил вас необыкновенным сыном».— «Да, признаюсь, говорит (и мне понравилось то, что без всяких, понимаете, этих претензий и отговорок), да, говорит, точно: хотя отцу и неприлично хвалить собственного сына, но это действительно в некотором роде чудо. Миша, говорит, поди-ка сюда, покажи гостю искусство!»... Начал он метать — я просто потерялся. Это превосходит всякое описанье». Так ведь рассказывают о вундеркинде — гениальном музыканте или математике...

Существует понятие «профессиональный комизм», когда то или другое лицо смотрит на все окружающее со своей цеховой точки зрения. Механизм этого рода комического хорошо раскрывает старинный анекдот о педантичном ученом: когда ему сказали, что его безукоризненно построенная теория противоречит опыту, ученый ответил: «Опыт не прав». В комедиях Мольера подобным принципом часто руководствуются врачи, считающие, что жизнь и больные должны приноравливаться к установленным способам лечения, но не наоборот. Известный теоретик комического Анри Бергсон показал, что «профессиональный комизм» основан на осмеянии косности, негибкости, сепаратизма, когда цеховая и обособленная точка зрения вступает в противоречие с интересами общества в целом[2].

---

[1] П. Г. Богатырев. Вопросы теории народного искусства. М., «Искусство», 1971, с. 462.

[2] Анри Бергсон. Смех.— Собр. соч., т. 5. СПб., 1914, с. 194.

Но то, что мы видели у Гоголя, только внешне напоминает «профессиональный комизм». И дело не столько в специфичности занятия данных лиц (мольеровские врачи тоже сродни шарлатанам), сколько во взгляде на вещи. Гоголевские игроки не склонны смотреть на мир как на придаток к своей «профессии», они лишь того мнения, что она не хуже других человеческих занятий. И они не выводят из личного опыта понятия для окружающей жизни, но, наоборот, переносят категории последней на сферу своей деятельности. И по всему этому способ их видения мира свидетельствует не столько об узости и сепаратизме, сколько — увы — о проницательности и гибкости.

Профессиональный комизм, согласно тому же анализу Бергсона, состоит в критике «излишнего обособления от общественности», в противопоставлении частным уродствам идеи спасительной общности. После «Игроков», однако, понятно, почему специфическую черту русских комедиографов Гоголь видел в том, что они показывают «уклоненье *всего общества* от прямой дороги» (курсив мой.— *Ю. М.*). И почему показателем «уклонения» он считал «беспощадную силу их насмешки», смех.

Если игроки в своем мировосприятии оказываются правы, то напрашивается вывод, что самый безыдеальный, самый практически-трезвый взгляд на жизнь и будет самым верным. Однако у Гоголя все сложнее. Здесь уместно вспомнить факт, еще недостаточно оцененный: гоголевские рыцари аферы и плутовства (в отступление от традиций ренессансной новеллы и плутовского романа) обычно не добиваются своей цели. Кто как не хитроумный Сквозник-Дмухановский должен был взять верх над ничтожным петербургским «елистратишкой», но вышло наоборот. Карьера Чичикова в первом томе поэмы — это цепь неудач и провалов: в казенной палате, в таможне, наконец, в губернии «города N.», при афере с мертвыми душами. Да и во втором томе, судя по сохранившимся главам, путь Чичикова выглядел не более удачным. Почему все так складывалось?

Задержимся еще ненадолго на «Игроках».

В сущности, комедия построена на столкновении нескольких уровней «игры». Один уровень — игра «честная», по правилам. Этот уровень присутствует лишь как потенциально возможный: Ихарев, с которым тема игры входит в действие, с самого начала отступает от принятых правил.

Какую же игру представляет Ихарев? Он занят изготовлением «сводной или подобранной колоды». А это требует немалых усилий: полгода ушло на «изучение крапа», после чего Ихарев чуть не ослеп — «две недели не мог на солнечный свет смотреть». Этот уровень игры — конечно, заведомо жульнической — все же оставляет почву для соревнования: победить должен самый хитрый, трудолюбивый, искуснейший. Символом искусства и долготерпения и становится заветная колода, которой даже имя дано человеческое — Аделаида Ивановна!

Но тот уровень игры, который рекламирует Утешительный, являет собою уже нечто новое. Не нужно самому составлять колоду, достаточно за-

платить специальному человеку за подобранный ключ: «Это то, что называется в политической экономии распределение работ» (снова перенос на сферу мошеннической деятельности категорий общественной жизни!). Не нужно с ловкостью подсовывать крапленую колоду во время игры — в ход заранее пускаются специальные «агенты». Жульничество ставится на широкую ногу, опирается на распределение обязанностей и на своеобразный сценарий, что делает излишним тяжелый индивидуальный труд и терпение.

Однако Утешительный и его компания обманули Ихарева не на демонстративно заявленном ими уровне игры, а на другом. Это тоже была широко поставленная афера, основанная на законченном сценарии и распределении ролей, однако она предательским образом оказалась направленной против своего же компаньона, якобы принятого в «дружеский союз» и участвующего в общем действе.

Каждый из этих уровней игры отличается от предыдущего все большей степенью отступления от правил, все большей долей жульничества. И побеждает тот, кто делает вид, что принимает условия своего противника, на самом же деле ведет игру более коварную. Но может ли он сказать, что его уровень игры последний? «Употребляй тонкость ума!..— жалуется обманутый Ихарев.— Тут же под боком отыщется плут, который тебя переплутует!» В силу той же неожиданной логики генерал-правдолюб в «Мертвых душах», прогнавший одних мошенников, «скоро очутился в руках еще больших мошенников».

Но если так, то ни один «плут» не может считать, что владеет высшей тайной жизни. Последняя мысль Ихарева, явившаяся ему словно в озарении от перенесенного удара, такова: «Только и лезет тому счастье, кто глуп, как бревно, ничего не смыслит, ни о чем не думает, ничего не делает, а играет только по грошу в бостон подержанными картами!» Такого игрока, «глупого как бревно», в комедии нет. Но не возвращают ли нас эти слова к ничтожному и простодушному Хлестакову, не преследовавшему в «игре» никакой заранее поставленной корыстной цели, но оказавшемуся куда более удачливым, чем многие искушенные «мошенники»?

Под покровом повседневности, в комической неурядице и «сбивчивости» взгляд Гоголя подсмотрел нечто подобное объективной иронии древних. Оказывается, тот, кто не имеет о жизни никаких иллюзий, кто знает о ней решительно все, тот еще ничего не знает! Всегда есть возможность встретить в жизни некую неожиданность, тайну. Если смеется тот, кто смеется последний, то ни один из гоголевских персонажей не обладает преимуществом последней инстанции. В объективном ходе вещей есть нечто не подвластное расчету, опрокидывающее любую личную своекорыстную игру. «Ирония Гоголя так глубока, что, заглядывая в нее, испытываешь что-то вроде головокружения» [1],— говорил известный датский литературовед Г. Брандес.

---

[1] Гоголевские дни в Москве. М., [1909], с. 149.

## 2

Не меньшую сложность представляют гоголевские произведения с точки зрения художественного целого. Обычно комическое изображение строилось на ощутимом разграничении художественного мира и мира окружающей жизни. «То, что вы видите,— словно говорил автор читателям,— это не вся жизнь, но только ее меньшая часть. Причем — худшая, достойная осмеяния и осуждения». Мир словно был поделен на две сферы — видимую, комическую, и находящуюся в тени, серьезную. Посланцами последней в художественном мире произведения выступали положительные герои — Стародумы, Правдины, Добролюбовы, Прямиковы и т. д.

У Гоголя такого разграничения словно и не бывало. Перед нами один мир, не делимый на комическое и серьезное, на видимое и существующее за пределами художественного кругозора.

Поэтому для Гоголя очень важны особые, обращенные к читателю информационные знаки, расшифровать которые можно примерно так: «Не думайте, пожалуйста, что это меньшая и притом худшая часть жизни, что вы находитесь в иной ее сфере (в иных ее «рядах», как сказал бы Гоголь). Не думайте, будто бы все, что вы видите, вас не касается».

Один из таких знаков — знаменитый эпиграф к «Ревизору»: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива». Эпиграф к комедии выглядит непривычно, однако во времена Гоголя эпиграфы часто предпосылались драматическим вещам, поскольку последние рассматривались и в качестве произведений для чтения — так называемые Lesedramen. (В драме Белинского «Дмитрий Калинин» эпиграфом снабжено даже каждое действие.) И функция эпиграфа состояла в том, чтобы оттенить те или другие моменты содержания произведения. Но роль эпиграфа к «Ревизору» иная. Эпиграф — словно посредник между комедией и ее аудиторией, определяющий их взаимоотношения, не дающий зрителям (или читателям) замкнуться в самоуверенном убеждении, что все происходящее на сцене к ним не относится. Эпиграф безгранично расширяет художественный мир комедии в направлении мира действительного.

Такую же расширительную функцию выполняет реплика Городничего в конце последнего действия: «Чему смеетесь? над собою смеетесь!..» По традиции, она произносилась актером в зрительный зал, и с нею на безудержную стихию веселости и смеха словно сходила тень грустной задумчивости.

Еще один подобный знак — постоянное стремление включить в художественный мир реальные факты и имена из иных, более высоких «рядов» жизни. В Гоголе, вообще говоря, жил неугомонный дух мистификаторства и переиначивания. «...Около 1832 года, когда я впервые познакомился с Гоголем,— вспоминает П. Анненков,— он дал всем своим товарищам по Нежинскому лицею и их приятелям прозвища, украсив их именами *знамени-*

*тых* французских писателей, которыми тогда восхищался весь Петербург. Тут были Гюго, Александры Дюма, Бальзаки и даже один скромный приятель, теперь покойный, именовался София Ге. Не знаю, почему я получил титул Жюля Жанена, под которым и состоял до конца». Эффект переиначивания — в подчеркнутой дерзости и немотивированности. Русские переделывались во французов, неизвестные — в знаменитых, мужчины — в женщин. Налицо — веселая стихия карнавализации, с ее неукротимым стремлением все переосмыслить, перетасовать, поменять местами и обликом. Однако карнавализация отнюдь не механически переливается из общественной жизни и быта в художественный мир произведения. В последнем она приобретает свои функции — каждый раз конкретные и художественно мотивированные.

«Но зачем так долго заниматься Коробочкой? — спрашивает повествователь в третьей главе «Мертвых душ».— Коробочка ли, Манилов ли, хозяйственная ли жизнь или нехозяйственная — мимо их! Не то на свете дивно устроено: веселое мигом обратится в печальное, если только долго застоишься перед ним, и тогда бог знает что взбредет в голову. Может быть, станешь даже думать: да полно, точно ли Коробочка стоит так низко на бесконечной лестнице человеческого совершенствования? Точно ли так велика пропасть, отделяющая ее от сестры ее, недосягаемо огражденной стенами аристократического дома... Но мимо, мимо! зачем говорить об этом?» На различных ступенях общественной лестницы, под разными обличьями и одеждами взор писателя обнаруживает подобное. Сопряжение высокого и низкого ведет не к пестроте и карнавальной разноголосице мира, но к его единству.

Аристократическая «сестра» Коробочки не названа по имени (хотя под ее характеристику, вероятно, подошли бы и реальные лица). Но вот — строки из «Старосветских помещиков», с весьма прозрачной исторической подоплекой, особенно для современников Гоголя, только что переживших восход и падение звезды Наполеона. «...По странному устройству вещей, всегда ничтожные причины родили великие события, и наоборот — великие предприятия оканчивались ничтожными следствиями. Какой-нибудь завоеватель собирает все силы своего государства, воюет несколько лет, полководцы его прославляются, и наконец все это оканчивается приобретением клочка земли, на котором негде посеять картофеля... Но оставим эти рассуждения: они не идут сюда».

Оставим рассуждения — это напоминает: мимо Коробочки или Манилова, не то «веселое мигом обратится в печальное». Обратится в печальное, ибо обнаружится, что нелепое сцепление фактов, приведшее к гибели «двух старичков прошедшего века», не так уж далеко от действия того механизма, который иной раз управляет событиями покрупнее и позначительнее.

Однако, пожалуй, самый действенный *знак*, стимулирующий расширение гоголевского художественного мира,— это выдержанность предмета

изображения, однородность описываемых событий. Тут скрыт какой-то замечательный секрет, на который намекнул сам Гоголь. В одном из писем по поводу «Мертвых душ» он говорил: «Герои мои вовсе не злодеи; прибавь я только одну добрую черту любому из них, читатель помирился бы с ними всеми. Но пошлость всего вместе испугала читателей. Испугало их то, что один за другим следуют у меня герои один пошлее другого, что нет ни одного утешительного явления, что негде даже и приотдохнуть или перевести дух бедному читателю и что по прочтенье всей книги кажется, как бы точно вышел из какого-то душного погреба на божий свет». Иными словами: секрет этот состоит в определенном превышении чувства меры. Меры привычной для нас, читателей,— добавим для точности.

Углубляясь в художественный мир гоголевского произведения, невольно ждешь, что вот-вот декорации переменятся. Современников Гоголя на этот лад настраивало не одно только психологически естественное подсознательное ожидание перемены к лучшему, но и прочная литературная традиция. Согласно последней, пошлое и порочное непременно оттенялось высоким и добродетельным. Между тем — действие гоголевской повести или пьесы продвигалось вперед, одно событие сменяло другое, а ожидание перемены не оправдывалось. Тут, кстати, снова видно, что эффект у Гоголя строился не столько на степени «злодейства» персонажа, в общем не такой уж высокой по сравнению с традицией («герои мои вовсе не злодеи»), сколько на накапливании однородного («пошлость всего вместе»).

Но по мере того, как возрастало количество пошлости, в читательской реакции обозначался неожиданный переход. Переход от веселого, легкого, беззаботного смеха — к грусти, печали, к тоске. Чисто психологически эта перемена достигалась неким целенаправленным избытком, тем, что, как говорил Гоголь в связи с Коробочкой,— веселое мигом обращается в печальное, «если только долго застоишься перед ним». Это как бы горизонтальное проявление того закона, который в сопряжении имен и фактов различных «рядов» действовал вертикально.

И этот закон, эту неизбежность сдвига в читательской реакции замечательно тонко зафиксировал Белинский. Зафиксировал как раз в связи с общим устройством гоголевского художественного мира — «секретом» этого устройства: «В самом деле, заставить нас принять живейшее участие в ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, насмешить нас до слез глупостями, ничтожностию и юродством этих живых пасквилей на человечество — это удивительно; но заставить нас потом пожалеть об этих идиотах, пожалеть от всей души, заставить нас расстаться с ними с каким-то глубоко грустным чувством, заставить нас воскликнуть вместе с собою: «Скучно на этом свете, господа!» — вот, вот оно, то божественное искусство, которое называется творчеством... Что такое почти каждая из его повестей? Смешная комедия, которая начинается глупостями, продолжается глупостями и окан-

чивается слезами и которая, наконец, называется *жизнию*. И таковы все его повести: сначала смешно, потом грустно! И такова жизнь наша: сначала смешно, потом грустно! Сколько тут поэзии, сколько философии, сколько истины!..» [1]

Углубление смысла происходит за счет того, что «глупость» следует за «глупостью». И тогда в какой-то момент читателю открывается, что лиц и событий иного порядка не будет и не может быть и что это унылое течение пошлости и «называется жизнию». В этот трудно уловимый, но объективно непреложный момент «смешное» оборачивается «грустным». Если бы Гоголь разрядил изображение за счет явлений и фактов иного порядка, то чувства полноты и всеобъемлемости художественного мира не возникло бы.

Отсюда, кстати, следует, что отказ от положительных персонажей диктовался не только боязнью писателя погрешить против жизни (в жизни ведь были не одни Коробочки и Маниловы,— это Гоголь отчетливо сознавал), но и верностью принятой художественной системе. Окажись, скажем, в художественном мире «Ревизора» хотя бы один человечески значительный, высокий характер, и вся универсальность этого мира была бы подорвана. А вместе с нею улетучилась бы уверенность, что «такова жизнь наша». «Самолюбив человек: выстави ему при множестве дурных сторон одну хорошую, он уже гордо выйдет из театра». Это слова «очень скромно одетого человека» в гоголевском «Театральном разъезде...», написанном в защиту эстетических принципов «Ревизора».

А вот слова вполне реального персонажа закипевшего вокруг «Ревизора» действа — столкновения идей и точек зрения после премьеры комедии. «Если б зло перемешано было с добром,— писал Ф. Булгарин в «Северной пчеле»,— то после справедливого негодования сердце зрителя могло бы, по крайней мере, освежиться...» Но усилия Гоголя как раз и были направлены на то, чтобы не давать «самолюбивому» читателю желаемого «освежения».

В произведениях большой формы единство гоголевского художественного мира часто закреплялось и своего рода единством ситуации. Говорю о концентрированной группировке всех персонажей вокруг одного какого-либо «дела» — будь то афера Чичикова в первом томе «Мертвых душ», ожидание и прием «уполномоченной особы» в «Ревизоре», женитьба в «Женитьбе» и т. д.

Все сказанное характеризует поэтику Гоголя вообще, за исключением его ранних романтических повестей и произведений исторических (прежде всего «Тараса Бульбы»). Но к 40-м годам в «Мертвых душах» Гоголь нащупывает иные принципы организации художественного целого.

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. I. М., Изд-во АН СССР, 1953, с. 289—290.

В «Мертвых душах» — если брать дальнюю перспективу гоголевской поэмы — впервые вслед за пошлым должно было последовать значительное, за «повседневными характерами» — характеры необычные, вслед за раздробленным — цельное; словом, накопление однородного уступало место нарочитой разнородности и разновеликости. Отсюда уже в первом томе появление знаков с иной функцией, чем описанная выше. Те знаки призваны были расширить смысл сказанного, а эти — наоборот, ограничить в пользу того, что еще имеет быть сказано (а также, разумеется, в пользу реальной жизни): «Но... может быть, в сей же самой повести почуются иные, еще доселе не бранные струны, предстанет несметное богатство русского духа, пройдет муж, одаренный божескими доблестями...» и т. д. Отсюда — прорыв во внутреннюю речь такого персонажа, как Чичиков, отнюдь не пошлых, но очень здравых и не лишенных поэтического блеска рассуждений (вроде размышления о беглых крестьянах). Последний факт невольно напомнил об уже известном из прошлого, когда, скажем, в реплике комического персонажа Иванушки из «Бригадира» Фонвизина звучали явно авторские идеи истинного воспитания. («Молодой человек подобен воску. Ежели б... я попался к русскому, который бы любил свою нацию, я, может быть, и не был бы таков».) Но в данном случае неожиданное направление, которое приняли мысли Чичикова, свидетельствовало не столько о «непоследовательности персонажа», сколько о заронившейся уже в сознании художника идее изменения этого характера в будущих частях поэмы. Не случайно именно ему, а не Коробочке или Манилову «передал» Гоголь смущавшие критику (а позднее и некоторых литературоведов) суждения.

Все же в художественной системе первого тома упомянутые знаки не играли преобладающей роли. «И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями... И далеко еще то время, когда иным ключом грозная вьюга вдохновенья подымется...» Для читателей первого тома акцент в этих обещаниях стоял на словах: «долго», «далеко». Да и второй том, как известно, Гоголь начинал с мотивировки прежней однородности предмета изображения: «Зачем же выставлять напоказ бедность нашей жизни и наше грустное несовершенство?.. Что ж делать, если такого свойства сочинитель...»

По-видимому, мучительные трудности продолжения поэмы в большой мере сопряжены были с необходимостью иной организации художественного целого. То, что виднелось в туманной дали, должно было наконец облечься в четкие и ясные линии. И вместо единства ситуации, вместо постановки всех лиц строго в отношение к одному центральному событию, возникали самостоятельные связи персонажей (скажем, Тентетников и генерал Бетрищев, Тентетников и Улинька), действие растекалось на несколько относительно свободных потоков, устремленных вдаль и не имеющих уже былой жесткой округленности. Персонажи поэмы, более значительные в своем человеческом содержании, словно выбивались из-под авторского контроля или, вернее, из-под контроля единой ситуации.

О значительности своих новых героев говорил сам Гоголь: «Дело... в том, что характеры *значительнее* прежних и что намеренье автора было войти здесь глубже в высшее значение жизни, нами опошленной, обнаружив видней русского человека не с *одной* какой-либо *стороны*».

Прежде Гоголь давал «все в одном»: многосторонность жизни заключена была в наличном художественном мире произведения — «Ревизора» ли или «Старосветских помещиков». Теперь другие ее «стороны» должны были выступить в своем самостоятельном и притом более «значительном» масштабе. Теперь фразы Белинского: «такова жизнь наша» или «в этом очерке весь человек, вся жизнь его, с ее прошедшим, настоящим и будущим» (последнее сказано о «Старосветских помещиках») были бы уже применимы к художественному миру в его последовательном, безостановочном и, вероятно, бесконечном развитии. Ведь всех «сторон» жизни никогда не переберешь. А это значит, что должна была оттесниться на другой план и гоголевская художественная стихия комического. Или, во всяком случае, перестроиться, измениться, хотя исчерпывающе судить о характере этих изменений, за недостатком материала, не приходится.

## 3

В течение полутора столетий коренным образом менялся взгляд на характер гоголевской гиперболизации и на соотношение ее с жизнью. По Белинскому, Гоголь ничего не преувеличивает, не искажает: «Он не льстит жизни, но и не клевещет на нее; он рад выставить наружу все, что есть в ней прекрасного, человеческого, и в то же время не скрывает нимало и ее безобразия. В том и другом случае он верен жизни до последней степени» [1]. Спустя тринадцать лет в одной из последних своих статей Белинский повторил, что «особенность таланта Гоголя» «состоит не в исключительном только даре живописать ярко пошлость жизни, а проникать в полноту и реальность явлений жизни... Ему дался не пошлый человек, а человек вообще, как он есть...» [2]

Когда писались эти строки, многие еще видели в Гоголе автора забавных фарсов или грязных карикатур, клевещущих на жизнь. И заслугой Белинского было то, что он показал значительность и глубокую жизненность творчества Гоголя.

Но вот, спустя несколько десятилетий, наметился иной подход к его художественной манере. К тому времени титул гениального писателя, сказавшего новое слово в русской и мировой культуре, был утвержден за Гоголем прочно и неколебимо. Спор шел не о значительности Гоголя, а о характере сказанного им слова.

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. I, с. 292—293.
[2] Там же, т. X, с. 245.

В. Брюсов, например, писал: «Если бы мы пожелали определить основную черту души Гоголя, ту faculté maîtresse, которая господствует и в его творчестве, и в его жизни,— мы должны были бы назвать *стремление к преувеличению, к гиперболе*». «Все создания Гоголя — это мир его грезы, где все разрасталось до размеров неимоверных, где все являлось в преувеличенном виде или чудовищно ужасного, или ослепительно прекрасного» [1]. И, перефразируя известную реплику Собакевича, Брюсов говорит, что у Гоголя «гипербола села верхом на гиперболу».

Однако дело не только в гиперболизме, но и в преобладании внешнего над внутренним, материального над духовным. Согласно этому взгляду, Гоголь — злой гений русской литературы, увлекший ее на узкий путь, и все ее последующее развитие (как писал, например, поэт и критик И. Анненский) есть борьба с великим живописцем внешних форм жизни и возвращение на широкую дорогу Пушкина.

Несмотря на очевидную односторонность этой концепции, было бы ошибкой отбросить то новое, что внесла она в осмысление творчества Гоголя. Хотя и со знаком минус (вернее, со знаком «недостаточности»), она с большой силой поставила акцент на гротескной природе гоголевской поэтики, взятой главным образом в аспекте автоматизма, кукольности, мертвенности. Тем самым эта концепция определила не только целое направление литературоведческих изысканий о Гоголе, включая работы А. Белого, но и вообще характер восприятия творчества писателя в течение нескольких десятилетий. При этом, конечно, знак «минус» с оценки мертвенности у Гоголя был снят: Октябрьская революция осветила эту проблему новым светом. И потому связанная с упомянутой трактовкой интерпретация «Ревизора» в театре Мейерхольда (1926) подняла мотивы «манекенности», автоматизма и безжизненности на уровень монументального гротескного образа царской России.

Но сегодня мы имеем возможность подойти к гоголевской поэтике с более тонкими мерками. Нет, не утратила своей правоты мысль Белинского о том, что Гоголю «дался не пошлый человек, а человек вообще». Увидеть многообразие во внешней механистичности, тонкость движений в резкой определенности, словом, человеческую полноту в ее комическом, гротескном преломлении — так, вероятно, можно было бы определить задачу сегодняшнего прочтения Гоголя.

Возьмем «прием» сближения человека с животным, который в большой мере определяет концепцию гоголевских «Мертвых душ», то есть концепцию омертвления, утраты человеческих качеств. Как известно, этот «прием» играет не последнюю роль в сфере комического вообще, в том числе в карнавальной стихии, с ряжением, облечением в шкуры животных, надеванием масок и т. д.

---

[1] В. Брюсов. Испепеленный. К характеристике Гоголя. М., «Скорпион», 1909, с. 11, 33.

...Проснувшись поутру в доме Коробочки, Чичиков чихнул «так громко, что подошедший в это время к окну индейский петух... заболтал ему что-то вдруг и весьма скоро на своем странном языке, вероятно, «желаю здравствовать», на что Чичиков сказал ему дурака». На чем основан комизм реакции Чичикова? Обычно человек не станет обижаться на животное и тем более птицу, не рискуя попасть в смешное положение. Чувство обиды предполагает или биологическое равенство или же превосходство обидчика (поэтому-то возможна «обида» домашнего животного, скажем собаки, на своего хозяина). Своей неожиданной репликой Чичиков снимает эту дистанцию, словно допуская возможность оскорбления себя со стороны «индейского петуха».

В другом месте «Мертвых душ» сказано, что «Чичиков не любил допускать с собой ни в каком случае фамильярного обращения, разве только если особа была слишком высокого звания». Не ставит ли Чичиков, с его комической амбициозностью, животное в ряд человеческих существ — только с еще меньшим чином?

(Тут возникает озорной вопрос: а как бы реагировал Чичиков, окажись у «индейского петуха» действительно какой-либо высокий чин? Реализация этого предположения не в стиле поэтики «Мертвых душ», лишенной прямой фантастики. Но ка́к повел себя майор Ковалев перед собственным носом, обладающим чином статского советника, мы знаем: «Ковалев совершенно смешался, не зная, что делать и что даже подумать».)

Однако посмотрим на ту же забавную сценку с другой стороны.

У Гоголя нередко благодаря тончайшей игре лексических смыслов персонаж ставится в приятельские, интимно-доверительные отношения к животному. В «Ревизоре» Ляпкин-Тяпкин предлагает «попотчевать» Городничего собачонкою: «Родная *сестра* тому кобелю, которого вы знаете». В «повести о ссоре», когда Иван Иванович подошел к воротам Ивана Никифоровича, собачья стая подняла лай, но потом «побежала, помахивая хвостами, назад, увидевши, что это было знакомое *лицо*» (курсив мой.— *Ю. М.*). В этой же повести Иван Никифорович советует Ивану Ивановичу: «Поцелуйтесь с своею свиньею, а коли не хотите, так с чертом!»

И персонажи «Мертвых душ» то и дело вступают в «контакт» с собаками, кошками, свиньями, с роями мух и т. д. и т. п. Подъехавшему к дому Коробочки Чичикову довелось выслушать целый собачий концерт: «один, забросивши вверх голову, выводил так протяжно и с таким старанием, как будто за это получал бог знает какое жалованье; другой отхватывал наскоро, как пономарь...» и т. д. У той же Коробочки Чичиков подвергся мощной атаке мух: «одна села ему на губу, другая на ухо, третья норовила как бы усесться на самый глаз» и т. д. Рой мух появляется и в описании вечера у губернатора, олицетворяя собою танцующих кавалеров: они влетели, «чтобы только показать себя, пройтись взад и вперед по сахарной куче, потереть одна о другую задние или передние ножки, или почесать ими у себя под крылышками...».

И все это летающее, ползающее, бегающее на четвереньках, мяукающее, лающее, хрюкающее набивается человеку в приятели, словно стремится слиться с ним, уподобить его себе, перенять его функции. Может быть, нигде так сильно не выразилась агрессия животного начала, как в Собакевиче: не только на хозяине, но на всем, что его окружало, укоренился медвежий отпечаток.

Но интересно: большинство персонажей «Мертвых душ» не чувствует от этого никакого неудобства. Они вообще не замечают никакого давления животной стихии, словно это стихия их собственная, родная.

Вот известное описание собак на псарне Ноздрева: «Ноздрев был среди их совершенно как отец среди семейства; все они... полетели прямо навстречу гостям и стали с ними здороваться. Штук десять из них положили свои лапы Ноздреву на плеча. Обругай оказал такую же дружбу Чичикову и, подпявшись на задние ноги, лизнул его языком в самые губы, так что Чичиков тут же выплюнул». Лишь в Чичикове опять обнаружилась комическая разборчивость.

Словом, как ни смешна амбициозность Чичикова, но она переводит его на более высокий уровень по сравнению с большинством персонажей поэмы. Словно перед нами еще не вполне развившееся, но уже наметившееся человеческое чувство. Кстати, отсюда вновь видно, что Гоголь готовил своему главному персонажу особую роль в продолжении поэмы.

Значит, другие персонажи поэмы мертвенны до конца, не имеют с человеческой природой ничего общего? Категоричность ответа на этот вопрос противоречила бы тонкости гоголевской художественной мысли.

И. Анненский, в духе знакомой нам концепции, писал, что у Гоголя есть просто «люди-брови», «оставляющие в нас такое чувство, что больше ведь ничего для человека и не надо». Но как раз «люди-брови» — имеется в виду прокурор из «Мертвых душ» — ярче всего и свидетельствуют об обратном.

Человек, в котором самой примечательной чертой было непроизвольное подмигивание и который, казалось, отвык от всякой мыслительной работы, вдруг — под влиянием необычайных событий — «стал думать, думать и вдруг, как говорится, ни с того ни с другого умер». И тогда обнаружилось, что «у покойника точно была душа...». В. Розанов, еще до И. Анненского назвавший Гоголя «гениальным живописцем внешних форм», утверждал, что для автора «Мертвых душ» «исчезли великие моменты смерти и рождения». Между тем писатель именно по поводу прокурора, то есть одного из самых ничтожнейших обитателей созданного им художественного мира, торжественно-печально говорил: «...Появленье смерти так же было страшно в малом, как страшно оно и в великом человеке...»

Создается впечатление, что человеческое существует, но оно бесконечно далеко запрятано под корою пошлости и мертвенности, как душа «у бессмертного Кощея», и нужно какое-то чудо, какое-то невероятное усилие, чтобы все перевернуть и оживить. Ожидание чудесного толчка, вдохновен-

ного призыва «вперед» разлито в атмосфере гоголевского художественного мира.

Словом, внешняя простота и схематизм событий и персонажей у Гоголя обманчивы. Гоголь — весь в оттенках, в тончайших переходах и переливах, и к его читателю можно обратить то требование, которое писатель применял к самому себе: «Тут придется сильно напрягать внимание, пока заставишь перед собою выступить все тонкие, почти невидимые черты, и вообще далеко придется углублять уже изощренный в науке выпытывания *взгляд*».

*Ю. МАНН*

# ПОВЕСТИ

## НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ

Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге; для него он составляет все. Чем не блестит эта улица — красавица нашей столицы! Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта. Не только кто имеет двадцать пять лет от роду, прекрасные усы и удивительно сшитый сюртук, но даже тот, у кого на подбородке выскакивают белые волоса и голова гладка, как серебряное блюдо, и тот в восторге от Невского проспекта. А дамы! О, дамам еще больше приятен Невский проспект. Да и кому же он не приятен? Едва только взойдешь на Невский проспект, как уже пахнет одним гуляньем. Хотя бы имел какое-нибудь нужное, необходимое дело, но, взошедши на него, верно, позабудешь о всяком деле. Здесь единственное место, где показываются люди не по необходимости, куда не загнала их надобность и меркантильный интерес, объемлющий весь Петербург. Кажется, человек, встреченный на Невском проспекте, менее эгоист, нежели в Морской, Гороховой, Литейной, Мещанской и других улицах, где жадность, и корысть, и надобность выражаются на идущих и летящих в каретах и на дрожках. Невский проспект есть всеобщая коммуникация Петербурга. Здесь житель Петербургской или Выборгской части, несколько лет не бывавший у своего приятеля на Песках или у Московской заставы, может быть уверен, что встретится с ним непременно. Никакой адрес-календарь и справочное место не доставят такого верного известия, как Невский проспект. Всемогущий Невский проспект! Единственное развлеченье бедного на гулянье Петербурга! Как чисто подметены его тротуары, и, боже, сколько ног оставило на нем следы свои! И неуклюжий грязный сапог отставного солдата, под тяжестию которого, ка-

жется, трескается самый гранит, и миниатюрный легкий, как дым, башмачок молоденькой дамы, оборачивающей свою головку к блестящим окнам магазина, как подсолнечник к солнцу, и гремящая сабля исполненного надежд прапорщика, проводящая по нем резкую царапину,— все вымещает на нем могущество силы или могущество слабости. Какая быстрая совершается на нем фантасмагория в течение одного только дня! Сколько вытерпит он перемен в течение одних суток! Начнем с самого раннего утра, когда весь Петербург пахнет горячими, только что выпеченными хлебами и наполнен старухами в изодранных платьях и салопах, совершающими свои наезды на церкви и на сострадательных прохожих. Тогда Невский проспект пуст: плотные содержатели магазинов и их комми [1] еще спят в своих голландских рубашках или мылят свою благородную щеку и пьют кофий; нищие собираются у дверей кондитерских, где сонный ганимед, летавший вчера, как муха, с шоколадом, вылезает, с метлой в руке, без галстука, и швыряет им черствые пироги и объедки. По улицам плетется нужный народ: иногда переходят ее русские мужики, спешащие на работу, в сапогах, запачканных известью, которых и Екатерининский канал, известный своею чистотою, не в состоянии бы был обмыть. В это время обыкновенно неприлично ходить дамам, потому что русский народ любит изъясняться такими резкими выражениями, каких они, верно, не услышат даже в театре. Иногда сонный чиновник проплетется с портфелем под мышкою, если через Невский проспект лежит ему дорога в департамент. Можно сказать решительно, что в это время, то есть до двенадцати часов, Невский проспект не составляет ни для кого цели, он служит только средством: он постепенно наполняется лицами, имеющими свои занятия, свои заботы, свои досады, но вовсе не думающими о нем. Русский мужик говорит о гривне или о семи грошах меди, старики и старухи размахивают руками или говорят сами с собою, иногда с довольно разительными жестами, но никто их не слушает и не смеется над ними, выключая только разве мальчишек в пестрядевых халатах, с пустыми штофами или готовыми сапогами в руках, бегущих молниями по Невскому проспекту. В это время, что бы вы на себя ни надели, хотя бы даже вместо шляпы картуз был у вас на голове, хотя бы воротнички слишком далеко высунулись из вашего галстука,— никто этого не заметит.

В двенадцать часов на Невский проспект делают набеги гувернеры всех наций с своими питомцами в батистовых воротничках. Английские Джонсы и французские Коки идут под руку с

---

[1] К о м м и — приказчик (от *франц.* commis).

вверенными их родительскому попечению питомцами и с приличною солидностию изъясняют им, что вывески над магазинами делаются для того, чтобы можно было посредством их узнать, что находится в самых магазинах. Гувернантки, бледные миссы и розовые славянки, идут величаво позади своих легеньких, вертлявых девчонок, приказывая им поднимать несколько выше плечо и держаться прямее; короче сказать, в это время Невский проспект — педагогический Невский проспект. Но чем ближе к двум часам, тем уменьшается число гувернеров, педагогов и детей: они наконец вытесняются нежными их родителями, идущими под руку с своими пестрыми, разноцветными, слабонервными подругами. Мало-помалу присоединяются к их обществу все, окончившие довольно важные домашние занятия, как-то: поговорившие с своим доктором о погоде и о небольшом прыщике, вскочившем на носу, узнавшие о здоровье лошадей и детей своих, впрочем показывающих большие дарования, прочитавшие афишу и важную статью в газетах о приезжающих и отъезжающих, наконец выпивших чашку кофию и чаю; к ним присоединяются и те, которых завидная судьба наделила благословенным званием чиновников по особенным поручениям. К ним присоединяются и те, которые служат в иностранной коллегии и отличаются благородством своих занятий и привычек. Боже, какие есть прекрасные должности и службы! как они возвышают и услаждают душу! но, увы! я не служу и лишен удовольствия видеть тонкое обращение с собою начальников. Все, что вы ни встретите на Невском проспекте, все исполнено приличия: мужчины в длинных сюртуках, с заложенными в карманы руками, дамы в розовых, белых и бледно-голубых атласных рединготах и шляпках. Вы здесь встретите бакенбарды единственные, пропущенные с необыкновенным и изумительным искусством под галстук, бакенбарды бархатные, атласные, черные, как соболь или уголь, но, увы, принадлежащие только одной иностранной коллегии. Служащим в других департаментах провидение отказало в черных бакенбардах, они должны, к величайшей неприятности своей, носить рыжие. Здесь вы встретите усы чудные, никаким пером, никакой кистью не изобразимые; усы, которым посвящена лучшая половина жизни,— предмет долгих бдений во время дня и ночи, усы, на которые излились восхитительнейшие духи и ароматы и которых умастили все драгоценнейшие и редчайшие сорта помад, усы, которые заворачиваются на ночь тонкою веленевою бумагою, усы, к которым дышит самая трогательная привязанность их посессоров [1] и которым завидуют проходящие. Тысячи сортов шляпок, платьев, плат-

[1] Посессор — владелец, обладатель (от *франц.* possesseur).

ков,— пестрых, легких, к которым иногда в течение целых двух дней сохраняется привязанность их владетельниц, ослепят хоть кого на Невском проспекте. Кажется, как будто целое море мотыльков поднялось вдруг со стеблей и волнуется блестящею тучею над черными жуками мужеского пола. Здесь вы встретите такие талии, какие даже вам не снились никогда: тоненькие, узенькие талии, никак не толще бутылочной шейки, встретясь с которыми, вы почтительно отойдете к сторонке, чтобы как-нибудь неосторожно не толкнуть невежливым локтем; сердцем вашим овладеет робость и страх, чтобы как-нибудь от неосторожного даже дыхания вашего не переломилось прелестнейшее произведение природы и искусства. А какие встретите вы дамские рукава на Невском проспекте! Ах, какая прелесть! Они несколько похожи на два воздухоплавательные шара, так что дама вдруг бы поднялась на воздух, если бы не поддерживал ее мужчина; потому что даму так же легко и приятно поднять на воздух, как подносимый ко рту бокал, наполненный шампанским. Нигде при взаимной встрече не раскланиваются так благородно и непринужденно, как на Невском проспекте. Здесь вы встретите улыбку единственную, улыбку верх искусства, иногда такую, что можно растаять от удовольствия, иногда такую, что увидите себя вдруг ниже травы и потупите голову, иногда такую, что почувствуете себя выше адмиралтейского шпица и поднимете ее вверх. Здесь вы встретите разговаривающих о концерте или о погоде с необыкновенным благородством и чувством собственного достоинства. Тут вы встретите тысячу непостижимых характеров и явлений. Создатель! какие странные характеры встречаются на Невском проспекте! Есть множество таких людей, которые, встретившись с вами, непременно посмотрят на сапоги ваши, и если вы пройдете, они оборотятся назад, чтобы посмотреть на ваши фалды. Я до сих пор не могу понять, отчего это бывает. Сначала я думал, что они сапожники, но, однако же, ничуть не бывало: они большею частию служат в разных департаментах, многие из них превосходным образом могут написать отношение из одного казенного места в другое; или же люди, занимающиеся прогулками, чтением газет по кондитерским,— словом, большею частию всё порядочные люди. В это благословенное время от двух до трех часов пополудни, которое может назваться движущеюся столицею Невского проспекта, происходит главная выставка всех лучших произведений человека. Один показывает щегольской сюртук с лучшим бобром, другой — греческий прекрасный нос, третий несет превосходные бакенбарды, четвертая — пару хорошеньких глазок и удивительную шляпку, пятый — перстень с талисманом на щегольском мизинце, шестая — ножку в очаровательном башмачке,

седьмой — галстук, возбуждающий удивление, осьмой — усы, повергающие в изумление. Но бьет три часа, и выставка оканчивается, толпа редеет... В три часа — новая перемена. На Невском проспекте вдруг настает весна: он покрывается весь чиновниками в зеленых вицмундирах. Голодные титулярные, надворные и прочие советники стараются всеми силами ускорить свой ход. Молодые коллежские регистраторы, губернские и коллежские секретари спешат еще воспользоваться временем и пройтиться по Невскому проспекту с осанкою, показывающею, что они вовсе не сидели шесть часов в присутствии. Но старые коллежские секретари, титулярные и надворные советники идут скоро, потупивши голову: им не до того, чтобы заниматься рассматриванием прохожих; они еще не вполне оторвались от забот своих; в их голове ералаш и целый архив начатых и неоконченных дел; им долго вместо вывески показывается картонка с бумагами или полное лицо правителя канцелярии.

С четырех часов Невский проспект пуст, и вряд ли вы встретите на нем хотя одного чиновника. Какая-нибудь швея из магазина перебежит через Невский проспект с коробкою в руках, какая-нибудь жалкая добыча человеколюбивого повытчика, пущенная по миру во фризовой шинели, какой-нибудь заезжий чудак, которому все часы равны, какая-нибудь длинная высокая англичанка с ридикюлем и книжкою в руках, какой-нибудь артельщик, русский человек в демикотоновом сюртуке с талией на спине, с узенькою бородою, живущий всю жизнь на живую нитку, в котором все шевелится: спина, и руки, и ноги, и голова, когда он учтиво проходит по тротуару, иногда низкий ремесленник; больше никого не встретите вы на Невском проспекте.

Но как только сумерки упадут на домы и улицы и будочник, накрывшись рогожею, вскарабкается на лестницу зажигать фонарь, а из низеньких окошек магазинов выглянут те эстампы, которые не смеют показаться среди дня, тогда Невский проспект опять оживает и начинает шевелиться. Тогда настает то таинственное время, когда лампы дают всему какой-то заманчивый, чудесный свет. Вы встретите очень много молодых людей, большею частию холостых, в теплых сюртуках и шинелях. В это время чувствуется какая-то цель, или, лучше, что-то похожее на цель, что-то чрезвычайно безотчетное; шаги всех ускоряются и становятся вообще очень неровны. Длинные тени мелькают по стенам и мостовой и чуть не достигают головами Полицейского моста. Молодые коллежские регистраторы, губернские и коллежские секретари очень долго прохаживаются; но старые коллежские регистраторы, титулярные и надворные советники большею частию сидят дома, или потому, что это народ женатый, или потому, что

им очень хорошо готовят кушанье живущие у них в домах кухарки-немки. Здесь вы встретите почтенных стариков, которые с такою важностью и с таким удивительным благородством прогуливались в два часа по Невскому проспекту. Вы их увидите бегущими так же, как молодые коллежские регистраторы, с тем, чтобы заглянуть под шляпку издали завиденной дамы, которой толстые губы и щеки, нащекатуренные румянами, так нравятся многим гуляющим, а более всего сидельцам, артельщикам, купцам, всегда в немецких сюртуках гуляющим целою толпою и обыкновенно под руку.

— Стой! — закричал в это время поручик Пирогов, дернув шедшего с ним молодого человека во фраке и плаще.— Видел?

— Видел, чудная, совершенно Перуджинова Бианка.

— Да ты о ком говоришь?

— Об ней, о той, что с темными волосами. И какие глаза! боже, какие глаза! Все положение, и контура, и оклад лица — чудеса!

— Я говорю тебе о блондинке, что прошла за ней в ту сторону. Что ж ты не идешь за брюнеткою, когда она так тебе понравилась?

— О, как можно! — воскликнул, закрасневшись, молодой человек во фраке.— Как будто она из тех, которые ходят ввечеру по Невскому проспекту; это должна быть очень знатная дама,— продолжал он, вздохнувши,— один плащ на ней стоит рублей восемьдесят!

— Простак! — закричал Пирогов, насильно толкнувши его в ту сторону, где развевался яркий плащ ее.— Ступай, простофиля, прозеваешь! а я пойду за блондинкою.

Оба приятеля разошлись.

«Знаем мы вас всех»,— думал про себя с самодовольною и самонадеянною улыбкою Пирогов, уверенный, что нет красоты, могшей бы ему противиться.

Молодой человек во фраке и плаще робким и трепетным шагом пошел в ту сторону, где развевался вдали пестрый плащ, то окидывавшийся ярким блеском по мере приближения к свету фонаря, то мгновенно покрывавшийся тьмою по удалении от него. Сердце его билось, и он невольно ускорял шаг свой. Он не смел и думать о том, чтобы получить какое-нибудь право на внимание улетавшей вдали красавицы, тем более допустить такую черную мысль, о какой намекал ему поручик Пирогов; но ему хотелось только видеть дом, заметить, где имеет жилище это прелестное существо, которое, казалось, слетело с неба прямо на Невский проспект и, верно, улетит неизвестно куда. Он летел так скоро, что сталкивал беспрестанно с тротуара солидных господ с седы-

ми бакенбардами. Этот молодой человек принадлежал к тому классу, который составляет у нас довольно странное явление и столько же принадлежит к гражданам Петербурга, сколько лицо, являющееся нам в сновидении, принадлежит к существенному миру. Это исключительное сословие очень необыкновенно в том городе, где всё или чиновники, или купцы, или мастеровые немцы. Это был художник. Не правда ли, странное явление? Художник петербургский! художник в земле снегов, художник в стране финнов, где все мокро, гладко, ровно, бледно, серо, туманно. Эти художники вовсе не похожи на художников итальянских, гордых, горячих, как Италия и ее небо; напротив того, это большею частию добрый, кроткий народ, застенчивый, беспечный, любящий тихо свое искусство, пьющий чай с двумя приятелями своими в маленькой комнате, скромно толкующий о любимом предмете и вовсе небрегущий об излишнем. Он вечно зазовет к себе какую-нибудь нищую старуху и заставит ее просидеть битых часов шесть, с тем, чтобы перевести на полотно ее жалкую, бесчувственную мину. Он рисует перспективу своей комнаты, в которой является всякий художественный вздор: гипсовые руки и ноги, сделавшиеся кофейными от времени и пыли, изломанные живописные станки, опрокинутая палитра, приятель, играющий на гитаре, стены, запачканные красками, с растворенным окном, сквозь которое мелькает бледная Нева и бедные рыбаки в красных рубашках. У них всегда почти на всем серенький мутный колорит — неизгладимая печать севера. При всем том они с истинным наслаждением трудятся над своею работою. Они часто питают в себе истинный талант, и если бы только дунул на них свежий воздух Италии, он бы, верно, развился так же вольно, широко и ярко, как растение, которое выносят наконец из комнаты на чистый воздух. Они вообще очень робки: звезда и толстый эполет приводят их в такое замешательство, что они невольно понижают цену своих произведений. Они любят иногда пощеголять, но щегольство это всегда кажется на них слишком резким и несколько походит на заплату. На них встретите вы иногда отличный фрак и запачканный плащ, дорогой бархатный жилет и сюртук весь в красках. Таким же самым образом, как на неоконченном их пейзаже увидите вы иногда нарисованную вниз головою нимфу, которую он, не найдя другого места, набросал на запачканном грунте прежнего своего произведения, когда-то писанного им с наслаждением. Он никогда не глядит вам прямо в глаза; если же глядит, то как-то мутно, неопределенно; он не вонзает в вас ястребиного взора наблюдателя или соколиного взгляда кавалерийского офицера. Это происходит оттого, что он в одно и то же время видит и ваши черты, и черты какого-нибудь гипсо-

вого Геркулеса, стоящего в его комнате, или ему представляется его же собственная картина, которую он еще думает произвесть. От этого он отвечает часто несвязно, иногда невпопад, и мешающиеся в его голове предметы еще более увеличивают его робость. К такому роду принадлежал описанный нами молодой человек, художник Пискарев, застенчивый, робкий, но в душе своей носивший искры чувства, готовые при удобном случае превратиться в пламя. С тайным трепетом спешил он за своим предметом, так сильно его поразившим, и, казалось, дивился сам своей дерзости. Незнакомое существо, к которому так прильнули его глаза, мысли и чувства, вдруг поворотило голову и взглянуло на него. Боже, какие божественные черты! Ослепительной белизны прелестнейший лоб осенен был прекрасными, как агат, волосами. Они вились, эти чудные локоны, и часть их, падая из-под шляпки, касалась щеки, тронутой тонким свежим румянцем, проступившим от вечернего холода. Уста были замкнуты целым роем прелестнейших грез. Все, что остается от воспоминания о детстве, что дает мечтание и тихое вдохновение при светящейся лампаде,— все это, казалось, совокупилось, слилось и отразилось в ее гармонических устах. Она взглянула на Пискарева, и при этом взгляде затрепетало его сердце; она взглянула сурово, чувство негодования проступило у ней на лице при виде такого наглого преследования; но на этом прекрасном лице и самый гнев был обворожителен. Постигнутый стыдом и робостью, он остановился, потупив глаза; но как утерять это божество и не узнать даже той святыни, где оно опустилось гостить? Такие мысли пришли в голову молодому мечтателю, и он решился преследовать. Но, чтобы не дать этого заметить, он отдалился на дальнее расстояние, беспечно глядел по сторонам и рассматривал вывески, а между тем не упускал из виду ни одного шага незнакомки. Проходящие реже начали мелькать, улица становилась тише; красавица оглянулась, и ему показалось, как будто легкая улыбка сверкнула на губах ее. Он весь задрожал и не верил своим глазам. Нет, это фонарь обманчивым светом своим выразил на лице ее подобие улыбки; нет, это собственные мечты смеются над ним. Но дыхание занялось в его груди, все в нем обратилось в неопределенный трепет, все чувства его горели, и все перед ним окинулось каким-то туманом. Тротуар несся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему навстречу, и алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз. И все это произвел один взгляд, один поворот хорошенькой головки. Не слыша, не видя, не внимая, он несся по

легким следам прекрасных ножек, стараясь сам умерить быстроту своего шага, летевшего под такт сердца. Иногда овладевало им сомнение: точно ли выражение лица ее было так благосклонно,— и тогда он на минуту останавливался, но сердечное биение, непреодолимая сила и тревога всех чувств стремила его вперед. Он даже не заметил, как вдруг возвысился перед ним четырехэтажный дом, все четыре ряда окон, светившиеся огнем, глянули на него разом, и перилы у подъезда противупоставили ему железный толчок свой. Он видел, как незнакомка летела по лестнице, оглянулась, положила на губы палец и дала знак следовать за собой. Колени его дрожали; чувства, мысли горели; молния радости нестерпимым острием вонзилась в его сердце. Нет, это уже не мечта! Боже! столько счастия в один миг! такая чудесная жизнь в двух минутах!

Но не во сне ли это все? ужели та, за один небесный взгляд которой он готов бы был отдать всю жизнь, приблизиться к жилищу которой уже он почитал за неизъяснимое блаженство, ужели та была сейчас так благосклонна и внимательна к нему? Он взлетел на лестницу. Он не чувствовал никакой земной мысли; он не был разогрет пламенем земной страсти, нет, он был в эту минуту чист и непорочен, как девственный юноша, еще дышащий неопределенною духовною потребностью любви. И то, что возбудило бы в развратном человеке дерзкие помышления, то самое, напротив, еще более осветило их. Это доверие, которое оказало ему слабое прекрасное существо, это доверие наложило на него обет строгости рыцарской, обет рабски исполнять все повеления ее. Он только желал, чтоб эти веления были как можно более трудны и неудобоисполняемы, чтобы с бóльшим напряжением сил лететь преодолевать их. Он не сомневался, что какое-нибудь тайное и вместе важное происшествие заставило незнакомку ему довериться; что от него, верно, будут требоваться значительные услуги, и он чувствовал уже в себе силу и решимость на все.

Лестница вилась, и вместе с нею вились его быстрые мечты. «Идите осторожнее!» — зазвучал, как арфа, голос и наполнил все жилы его новым трепетом. В темной вышине четвертого этажа незнакомка постучала в дверь,— она отворилась, и они вошли вместе. Женщина довольно недурной наружности встретила их со свечою в руке, но так странно и нагло посмотрела на Пискарева, что он опустил невольно свои глаза. Они вошли в комнату. Три женские фигуры в разных углах представились его глазам. Одна раскладывала карты; другая сидела за фортепианом и играла двумя пальцами какое-то жалкое подобие старинного полонеза; третья сидела перед зеркалом, расчесывая гребнем свои длинные

волосы, и вовсе не думала оставить туалета своего при входе не знакомого лица. Какой-то неприятный беспорядок, который можно встретить только в беспечной комнате холостяка, царствовал во всем. Мебели довольно хорошие были покрыты пылью; паук застилал своею паутиною лепной карниз; сквозь непритворенную дверь другой комнаты блестел сапог со шпорой и краснела выпушка мундира; громкий мужской голос и женский смех раздавались без всякого принуждения.

Боже, куда зашел он! Сначала он не хотел верить и начал пристальнее всматриваться в предметы, наполнявшие комнату; но голые стены и окна без занавес не показывали никакого присутствия заботливой хозяйки; изношенные лица этих жалких созданий, из которых одна села почти перед его носом и так же спокойно его рассматривала, как пятно на чужом платье,— все это уверило его, что он зашел в тот отвратительный приют, где основал свое жилище жалкий разврат, порожденный мишурною образованностию и страшным многолюдством столицы. Тот приют, где человек святотатственно подавил и посмеялся над всем чистым и святым, украшающим жизнь, где женщина, эта красавица мира, венец творения, обратилась в какое-то странное, двусмысленное существо, где она вместе с чистотою души лишилась всего женского и отвратительно присвоила себе ухватки и наглости мужчины и уже перестала быть тем слабым, тем прекрасным и так отличным от нас существом. Пискарев мерил ее с ног до головы изумленными глазами, как бы еще желая увериться, та ли это, которая так околдовала и унесла его на Невском проспекте. Но она стояла перед ним так же хороша; волосы ее были так же прекрасны; глаза ее казались все еще небесными. Она была свежа; ей было только семнадцать лет; видно было, что еще недавно настигнул ее ужасный разврат; он еще не смел коснуться к ее щекам, они были свежи и легко оттенены тонким румянцем,— она была прекрасна.

Он неподвижно стоял перед нею и уже готов был так же простодушно позабыться, как позабылся прежде. Но красавица наскучила таким долгим молчанием и значительно улыбнулась, глядя ему прямо в глаза. Но эта улыбка была исполнена какой-то жалкой наглости; она так была странна и так же шла к ее лицу, как идет выражение набожности роже взяточника или бухгалтерская книга поэту. Он содрогнулся. Она раскрыла свои хорошенькие уста и стала говорить что-то, но все это было так глупо, так пошло... Как будто вместе с непорочностию оставляет и ум человека. Он уже ничего не хотел слышать. Он был чрезвычайно смешон и прост, как дитя. Вместо того чтобы воспользоваться такою благосклонностью, вместо того чтобы обрадоваться

«Нос»

Худ. В. Горяев

такому случаю, какому, без сомнения, обрадовался бы на его месте всякий другой, он бросился со всех ног, как дикая коза, и выбежал на улицу.

Повесивши голову и опустивши руки, сидел он в своей комнате, как бедняк, нашедший бесценную жемчужину и тут же выронивший ее в море. «Такая красавица, такие божественные черты — и где же? в каком месте!..» Вот все, что он мог выговорить.

В самом деле, никогда жалость так сильно не овладевает нами, как при виде красоты, тронутой тлетворным дыханием разврата. Пусть бы еще безобразие дружилось с ним, но красота, красота нежная... она только с одной непорочностью и чистотой сливается в наших мыслях. Красавица, так околдовавшая бедного Пискарева, была действительно чудесное, необыкновенное явление. Ее пребывание в этом презренном кругу еще более казалось необыкновенным. Все черты ее были так чисто образованы, все выражение прекрасного лица ее было означено таким благородством, что никак бы нельзя было думать, чтобы разврат распустил над нею страшные свои когти. Она бы составила неоцененный перл, весь мир, весь рай, все богатство страстного супруга; она была бы прекрасной тихой звездой в незаметном семейном кругу и одним движением прекрасных уст своих давала бы сладкие приказания. Она бы составила божество в многолюдном зале, на светлом паркете, при блеске свечей, при безмолвном благоговении толпы поверженных у ног ее поклонников; но, увы! она была какою-то ужасною волею адского духа, жаждущего разрушить гармонию жизни, брошена с хохотом в его пучину.

Проникнутый разрывающею жалостью, сидел он перед нагоревшею свечою. Уже и полночь давно минула, колокол башни бил половину первого, а он сидел неподвижный, без сна, без деятельного бдения. Дремота, воспользовавшись его неподвижностью, уже было начала тихонько одолевать его, уже комната начала исчезать, один только огонь свечи просвечивал сквозь одолевавшие его грезы, как вдруг стук у дверей заставил его вздрогнуть и очнуться. Дверь отворилась, и вошел лакей в богатой ливрее. В его уединенную комнату никогда не заглядывала богатая ливрея, притом в такое необыкновенное время... Он недоумевал и с нетерпеливым любопытством смотрел на пришедшего лакея.

— Та барыня,— произнес с учтивым поклоном лакей,— у которой вы изволили за несколько часов пред сим быть, приказала просить вас к себе и прислала за вами карету.

Пискарев стоял в безмолвном удивлении: «Карету, лакей в ливрее!.. Нет, здесь, верно, есть какая-нибудь ошибка...»

— Послушайте, любезный,— произнес он с робостью,— вы,

верно, не туда изволили зайти. Вас барыня, без сомнения, прислала за кем-нибудь другим, а не за мною.

— Нет, сударь, я не ошибся. Ведь вы изволили проводить барыню пешком к дому, что в Литейной, в комнату четвертого этажа?

— Я.

— Ну, так пожалуйте поскорее, барыня непременно желает видеть вас и просит вас уже пожаловать прямо к ним на дом.

Пискарев сбежал с лестницы. На дворе точно стояла карета. Он сел в нее, дверцы хлопнули, камни мостовой загремели под колесами и копытами — и освещенная перспектива домов с яркими вывесками понеслась мимо каретных окон. Пискарев думал во всю дорогу и не знал, как разрешить это приключение. Собственный дом, карета, лакей в богатой ливрее...— все это он никак не мог согласить с комнатою в четвертом этаже, пыльными окнами и расстроенным фортепианом.

Карета остановилась перед ярко освещенным подъездом, и его разом поразили: ряд экипажей, говор кучеров, ярко освещенные окна и звуки музыки. Лакей в богатой ливрее высадил его из кареты и почтительно проводил в сени с мраморными колоннами, с облитым золотом швейцаром, с разбросанными плащами и шубами, с яркою лампою. Воздушная лестница с блестящими перилами, надушенная ароматами, неслась вверх. Он уже был на ней, уже взошел в первую залу, испугавшись и попятившись с первым шагом от ужасного многолюдства. Необыкновенная пестрота лиц привела его в совершенное замешательство; ему казалось, что какой-то демон искрошил весь мир на множество разных кусков и все эти куски без смысла, без толку смешал вместе. Сверкающие дамские плечи и черные фраки, люстры, лампы, воздушные летящие газы, эфирные ленты и толстый контрабас, выглядывавший из-за перил великолепных хоров,— все было для него блистательно. Он увидел за одним разом столько почтенных стариков и полустариков с звездами на фраках, дам, так легко, гордо и грациозно выступавших по паркету или сидевших рядами, он услышал столько слов французских и английских, к тому же молодые люди в черных фраках были исполнены такого благородства, с таким достоинством говорили и молчали, так не умели сказать ничего лишнего, так величаво шутили, так почтительно улыбались, такие превосходные носили бакенбарды, так искусно умели показывать отличные руки, поправляя галстук, дамы так были воздушны, так погружены в совершенное самодовольство и упоение, так очаровательно потупляли глаза, что... но один уже смиренный вид Пискарева, прислонившегося с боязнию к колонне, показывал, что он растерялся вовсе. В это время толпа

обступила танцующую группу. Они неслись, увитые прозрачным созданием Парижа, в платьях, сотканных из самого воздуха; небрежно касались они блестящими ножками паркета и были более эфирны, нежели если бы вовсе его не касались. Но одна между ими всех лучше, всех роскошнее и блистательнее одета. Невыразимое, самое тонкое сочетание вкуса разлилось во всем ее уборе, и при всем том она, казалось, вовсе о нем не заботилась и оно вылилось невольно, само собою. Она и глядела и не глядела на обступившую толпу зрителей, прекрасные длинные ресницы опустились равнодушно, и сверкающая белизна лица ее еще ослепительнее бросилась в глаза, когда легкая тень осенила при наклоне головы очаровательный лоб ее.

Пискарев употребил все усилия, чтобы раздвинуть толпу и рассмотреть ее; но, к величайшей досаде, какая-то огромная голова с темными курчавыми волосами заслоняла ее беспрестанно; притом толпа его притиснула так, что он не смел податься вперед, не смел попятиться назад, опасаясь толкнуть каким-нибудь образом какого-нибудь тайного советника. Но вот он продрался-таки вперед и взглянул на свое платье, желая прилично оправиться. Творец небесный, что это! На нем был сюртук и весь запачканный красками: спеша ехать, он позабыл даже переодеться в пристойное платье. Он покраснел до ушей и, потупив голову, хотел провалиться, но провалиться решительно было некуда: камер-юнкеры в блестящем костюме сдвинулись позади его совершенною стеною. Он уже желал быть как можно подалее от красавицы с прекрасным лбом и ресницами. Со страхом поднял он глаза посмотреть, не глядит ли она на него: боже! она стоит перед ним... Но что это? что это? «Это она!» — вскрикнул он почти во весь голос. В самом деле, это была она, та самая, которую встретил он на Невском и которую проводил к ее жилищу.

Она подняла между тем свои ресницы и глянула на всех своим ясным взглядом. «Ай, ай, ай, как хороша!..» — мог только выговорить он с захватившимся дыханием. Она обвела своими глазами весь круг, наперерыв жаждавший остановить ее внимание, но с каким-то утомлением и невниманием она скоро отвратила их и встретилась с глазами Пискарева. О, какое небо! какой рай! дай силы, создатель, перенести это! жизнь не вместит его, он разрушит и унесет душу! Она подала знак, но не рукою, не наклонением головы, нет, в ее сокрушительных глазах выразился этот знак таким тонким незаметным выражением, что никто не мог его видеть, но он видел, он понял его. Танец длился долго; утомленная музыка, казалось, вовсе погасала и замирала, и опять вырывалась, визжала и гремела; наконец — конец! Она села, грудь ее воздымалась под тонким дымом газа; рука ее (создатель,

какая чудесная рука!) упала на колени, сжала под собою ее воздушное платье, и платье под нею, казалось, стало дышать музыкою, и тонкий сиреневый цвет его еще виднее означил яркую белизну этой прекрасной руки. Коснуться бы только ее — и ничего больше! Никаких других желаний — они все дерзки... Он стоял у ней за стулом, не смея говорить, не смея дышать.

— Вам было скучно? — произнесла она.— Я также скучала. Я замечаю, что вы меня ненавидите...— прибавила она, потупив свои длинные ресницы.

— Вас ненавидеть! мне? я...— хотел было произнесть совершенно потерявшийся Пискарев и наговорил бы, верно, кучу самых несвязных слов, но в это время подошел камергер с острыми и приятными замечаниями, с прекрасным завитым на голове хохлом. Он довольно приятно показывал ряд довольно недурных зубов и каждою остротою своею вбивал острый гвоздь в его сердце. Наконец кто-то из посторонних, к счастию, обратился к камергеру с каким-то вопросом.

— Как это несносно! — сказала она, подняв на него свои небесные глаза.— Я сяду на другом конце зала; будьте там!

Она проскользнула между толпою и исчезла. Он как помешанный растолкал толпу и был уже там.

Так, это она! она сидела, как царица, всех лучше, всех прекраснее, и искала его глазами.

— Вы здесь,— произнесла она тихо.— Я буду откровенна перед вами: вам, верно, странным показались обстоятельства нашей встречи. Неужели вы думаете, что я могу принадлежать к тому презренному классу творений, в котором вы встретили меня? Вам кажутся странными мои поступки, но я вам открою тайну: будете ли вы в состоянии,— произнесла она, устремив пристально на его глаза свои,— никогда не изменить ей?

— О, буду! буду! буду!..

Но в это время подошел довольно пожилой человек, заговорил с ней на каком-то непонятном для Пискарева языке и подал ей руку. Она умоляющим взглядом посмотрела на Пискарева и дала знак остаться на своем месте и ожидать ее прихода, но в припадке нетерпения он не в силах был слушать никаких приказаний даже из ее уст. Он отправился вслед за нею; но толпа разделила их. Он уже не видел сиреневого платья! с беспокойством проходил он из комнаты в комнату и толкал без милосердия всех встречных, но во всех комнатах всё сидели тузы за вистом, погруженные в мертвое молчание. В одном углу комнаты спорило несколько пожилых людей о преимуществе военной службы перед статскою; в другом люди в превосходных фраках бросали легкие замечания о многотомных трудах поэта-труженика. Пискарев

чувствовал, что один пожилой человек с почтенною наружностью схватил за пуговицу его фрака и представлял на его суждение одно весьма справедливое свое замечание, но он грубо оттолкнул его, даже не заметивши, что у него на шее был довольно значительный орден. Он перебежал в другую комнату — и там нет ее. В третью — тоже нет. «Где же она? дайте ее мне! о, я не могу жить, не взглянувши на нее! мне хочется выслушать, что она хотела сказать»,— но все поиски его оставались тщетными. Беспокойный, утомленный, он прижался к углу и смотрел на толпу; но напряженные глаза его начали ему представлять все в каком-то неясном виде. Наконец ему начали явственно показываться стены его комнаты. Он поднял глаза; перед ним стоял подсвечник с огнем, почти потухавшим в глубине его; вся свеча истаяла; сало было налито на столе его.

Так это он спал! Боже, какой сон! И зачем было просыпаться? зачем было одной минуты не подождать: она бы, верно, опять явилась! Досадный свет неприятным своим тусклым сиянием глядел в его окна. Комната в таком сером, таком мутном беспорядке... О, как отвратительна действительность! Что она против мечты? Он разделся наскоро и лег в постель, закутавшись одеялом, желая на миг призвать улетевшее сновидение. Сон, точно, не замедлил к нему явиться, но представлял ему вовсе не то, что бы желал он видеть: то поручик Пирогов являлся с трубкою, то академический сторож, то действительный статский советник, то голова чухонки, с которой он когда-то рисовал портрет, и тому подобная чепуха.

До самого полудня пролежал он в постеле, желая заснуть; но она не являлась. Хотя бы на минуту показала прекрасные черты свои, хотя бы на минуту зашумела ее легкая походка, хотя бы ее обнаженная, яркая, как заоблачный снег, рука мелькнула перед ним.

Все откинувши, все позабывши, сидел он с сокрушенным, с безнадежным видом, полный только одного сновидения. Ни к чему не думал он притронуться; глаза его без всякого участия, без всякой жизни глядели в окно, обращенное в двор, где грязный водовоз лил воду, мерзнувшую на воздухе, и козлиный голос разносчика дребезжал: *«Старого платья продать»*. Вседневное и действительное странно поражало его слух. Так просидел он до самого вечера и с жадностию бросился в постель. Долго боролся он с бессонницею, наконец пересилил ее. Опять какой-то сон, какой-то пошлый, гадкий сон. «Боже, умилосердись: хотя на минуту, хотя на одну минуту покажи ее!» Он опять ожидал вечера, опять заснул, опять снился какой-то чиновник, который был вместе и чиновник и фагот; о, это нестерпимо! Наконец она яви-

лась! ее головка и локоны... она глядит... О, как ненадолго! опять туман, опять какое-то глупое сновидение.

Наконец сновидения сделались его жизнию, и с этого времени вся жизнь его приняла странный оборот: он, можно сказать, спал наяву и бодрствовал во сне. Если бы его кто-нибудь видел сидящим безмолвно перед пустым столом или шедшим по улице, то, верно бы, принял его за лунатика или разрушенного крепкими напитками; взгляд его был вовсе без всякого значения, природная рассеянность наконец развилась и властительно изгоняла на лице его все чувства, все движения. Он оживлялся только при наступлении ночи.

Такое состояние расстроило его силы, и самым ужасным мучением было для него то, что наконец сон начал его оставлять вовсе. Желая спасти это единственное свое богатство, он употреблял все средства восстановить его. Он слышал, что есть средство восстановить сон — для этого нужно принять только опиум. Но где достать этого опиума? Он вспомнил про одного персиянина, содержавшего магазин шалей, который всегда почти, когда ни встречал его, просил нарисовать ему красавицу. Он решился отправиться к нему, предполагая, что у него, без сомнения, есть этот опиум. Персиянин принял его сидя на диване и поджавши под себя ноги.

— На что тебе опиум? — спросил он его.

Пискарев рассказал ему про свою бессонницу.

— Хорошо, я дам тебе опиуму, только нарисуй мне красавицу. Чтоб хорошая была красавица! чтобы брови были черные и очи большие, как маслины; а я сама чтобы лежала возле нее и курила трубку! слышишь? чтобы хорошая была! чтобы была красавица!

Пискарев обещал все. Персиянин на минуту вышел и возвратился с баночкою, наполненною темною жидкостью, бережно отлил часть ее в другую баночку и дал Пискареву с наставлением употреблять не больше как по семи капель в воде. С жадностию схватил он эту драгоценную баночку, которую не отдал бы за груду золота, и опрометью побежал домой

Пришедши домой, он отлил несколько капель в стакан с водою и, проглотив, завалился спать.

Боже, какая радость! Она! опять она! но уже совершенно в другом виде. О, как хорошо сидит она у окна деревенского светлого домика! наряд ее дышит такою простотою, в какую только облекается мысль поэта. Прическа на голове ее... Создатель, как проста эта прическа и как она идет к ней! Коротенькая косынка была слегка накинута на стройной ее шейке; все в ней скромно, все в ней — тайное, неизъяснимое чувство вкуса. Как мила ее

грациозная походка! как музыкален шум ее шагов и простенького платья! как хороша рука ее, стиснутая волосяным браслетом! Она говорит ему со слезою на глазах: «Не презирайте меня: я вовсе не та, за которую вы принимаете меня. Взгляните на меня, взгляните пристальнее и скажите: разве я способна к тому, что вы думаете?» — «О! нет, нет! пусть тот, кто осмелится подумать, пусть тот...» Но он проснулся, растроганный, растерзанный, с слезами на глазах. «Лучше бы ты вовсе не существовала! не жила в мире, а была бы создание вдохновенного художника! Я бы не отходил от холста, я бы вечно глядел на тебя и целовал бы тебя. Я бы жил и дышал тобою, как прекраснейшею мечтою, и я бы был тогда счастлив. Никаких бы желаний не простирал далее. Я бы призывал тебя, как ангела-хранителя, пред сном и бдением, и тебя бы ждал я, когда бы случилось изобразить божественное и святое. Но теперь... какая ужасная жизнь! Что пользы в том, что она живет? Разве жизнь сумасшедшего приятна его родственникам и друзьям, некогда его любившим? Боже, что за жизнь наша! вечный раздор мечты с существенностью!» Почти такие мысли занимали его беспрестанно. Ни о чем он не думал, даже почти ничего не ел и с нетерпением, со страстию любовника ожидал вечера и желанного видения. Беспрестанное устремление мыслей к одпому наконец взяло такую власть над всем бытием его и воображением, что желанный образ являлся ему почти каждый день, всегда в положении противуположном действительности, потому что мысли его были совершенно чисты, как мысли ребенка. Чрез эти сновидения самый предмет как-то более делался чистым и вовсе преображался.

Приемы опиума еще более раскалили его мысли, и если был когда-нибудь влюбленный до последнего градуса безумия, стремительно, ужасно, разрушительно, мятежно, то этот несчастный был он.

Из всех сновидений одно было радостнее для него всех: ему представилась его мастерская, он так был весел, с таким наслаждением сидел с палитрою в руках! И она тут же. Она была уже его женою. Она сидела возле него, облокотившись прелестным локотком своим на спинку его стула, и смотрела на его работу. В ее глазах, томных, усталых, написано было бремя блаженства; все в комнате его дышало раем; было так светло, так убрано. Создатель! она склонила к нему на грудь прелестную свою головку... Лучшего сна он еще никогда не видывал. Он встал после него как-то свежее и менее рассеянный, нежели прежде. В голове его родились странные мысли. «Может быть,— думал он,— она вовлечена каким-нибудь невольным ужасным случаем в разврат; может быть, движения души ее склонны к раскаянию; может

быть, она желала бы сама вырваться из ужасного состояния своего. И неужели равнодушно допустить ее гибель, и притом тогда, когда только стоит подать руку, чтобы спасти ее от потопления?» Мысли его простирались еще далее. «Меня никто не знает,— говорил он сам себе,— да и кому какое до меня дело, да и мне тоже нет до них дела. Если она изъявит чистое раскаяние и переменит жизнь свою, я женюсь тогда на ней. Я должен на ней жениться и, верно, сделаю гораздо лучше, нежели многие, которые женятся на своих ключницах и даже часто на самых презренных тварях. Но мой подвиг будет бескорыстен и может быть даже великим. Я возвращу миру прекраснейшее его украшение».

Составивши такой легкомысленный план, он почувствовал краску, вспыхнувшую на его лице; он подошел к зеркалу и испугался сам впалых щек и бледности своего лица. Тщательно начал он принаряжаться; приумылся, пригладил волоса, надел новый фрак, щегольской жилет, набросил плащ и вышел на улицу. Он дохнул свежим воздухом и почувствовал свежесть на сердце, как выздоравливающий, решившийся выйти в первый раз после продолжительной болезни. Сердце его билось, когда он подходил к той улице, на которой нога его не была со времени роковой встречи.

Долго он искал дома; казалось, память ему изменила. Он два раза прошел улицу и не знал, перед которым остановиться. Наконец один показался ему похожим. Он быстро взбежал на лестницу, постучал в дверь: дверь отворилась, и кто же вышел к нему навстречу? Его идеал, его таинственный образ, оригинал мечтательных картин, та, которою он жил, так ужасно, так страдально, так сладко жил. Она сама стояла перед ним: он затрепетал; он едва мог удержаться на ногах от слабости, обхваченный порывом радости. Она стояла перед ним так же прекрасна, хотя глаза ее были заспаны, хотя бледность кралась на лице ее, уже не так свежем, но она все была прекрасна.

— А! — вскрикнула она, увидевши Пискарева и протирая глаза свои (тогда было уже два часа).— Зачем вы убежали тогда от нас?

Он в изнеможении сел на стул и глядел на нее.

— А я только что теперь проснулась; меня привезли в семь часов утра. Я была совсем пьяна,— прибавила она с улыбкою.

О, лучше бы ты была нема и лишена вовсе языка, чем произносить такие речи! Она вдруг показала ему, как в панораме, всю жизнь ее. Однако ж, несмотря на это, скрепившись сердцем, решился попробовать он, не будут ли иметь над нею действия его увещания. Собравшись с духом, он дрожащим и вместе пламенным голосом начал представлять ей ужасное ее положение.

Она слушала его с внимательным видом и с тем чувством удивления, которое мы изъявляем при виде чего-нибудь неожиданного и странного. Она взглянула, легко улыбнувшись, на сидевшую в углу свою приятельницу, которая, оставивши вычищать гребешок, тоже слушала со вниманием нового проповедника.

— Правда, я беден,— сказал наконец после долгого и поучительного увещания Пискарев,— но мы станем трудиться; мы постараемся наперерыв, один перед другим, улучшить нашу жизнь. Нет ничего приятнее, как быть обязану во всем самому себе. Я буду сидеть за картинами, ты будешь, сидя возле меня, одушевлять мои труды, вышивать или заниматься другим рукоделием, и мы ни в чем не будем иметь недостатка.

— Как можно! — прервала она речь с выражением какого-то презрения.— Я не прачка и не швея, чтобы стала заниматься работою.

Боже! в этих словах выразилась вся низкая, вся презренная жизнь,— жизнь, исполненная пустоты и праздности, верных спутников разврата.

— Жепитесь на мне! — подхватила с наглым видом молчавшая дотоле в углу ее приятельница.— Если я буду женою, я буду сидеть вот как!

При этом она сделала какую-то глупую мину на жалком лице своем, которою чрезвычайно рассмешила красавицу.

О, это уже слишком! этого нет сил перенести. Он бросился вон, потерявши чувства и мысли. Ум его помутился: глупо, без цели, не видя ничего, не слыша, не чувствуя, бродил он весь день. Никто не мог знать, ночевал он где-нибудь или нет; на другой только день каким-то глупым инстинктом зашел он на свою квартиру, бледный, с ужасным видом, с растрепанными волосами, с признаками безумия на лице. Он заперся в свою комнату и никого не впускал, ничего не требовал. Протекли четыре дня, и его запертая комната ни разу не отворялась; наконец прошла неделя, и комната все так же была заперта. Бросились к дверям, начали звать его, но никакого не было ответа; наконец выломали дверь и нашли бездыханный труп его с перерезанным горлом. Окровавленная бритва валялась на полу. По судорожно раскинутым рукам и по страшно искаженному виду можно было заключить, что рука его была неверна и что он долго еще мучился, прежде нежели грешная душа его оставила тело.

Так погиб, жертва безумной страсти, бедный Пискарев, тихий, робкий, скромный, детски простодушный, носивший в себе искру таланта, быть может со временем бы вспыхнувшего широко и ярко. Никто не поплакал над ним; никого не видно было возле его бездушного трупа, кроме обыкновенной фигуры квар-

тального надзирателя и равнодушной мины городового лекаря. Гроб его тихо, даже без обрядов религии, повезли на Охту; за ним идучи, плакал один только солдат-сторож, и то потому, что выпил лишний штоф водки. Даже поручик Пирогов не пришел посмотреть на труп несчастного бедняка, которому он при жизни оказывал свое высокое покровительство. Впрочем, ему было вовсе не до того: он был занят чрезвычайным происшествием. Но обратимся к нему.

Я не люблю трупов и покойников, и мне всегда неприятно, когда переходит мою дорогу длинная погребальная процессия и инвалидный солдат, одетый каким-то капуцином, нюхает левою рукою табак, потому что правая занята факелом. Я всегда чувствую на душе досаду при виде богатого катафалка и бархатного гроба; но досада моя смешивается с грустью, когда я вижу, как ломовой извозчик тащит красный, ничем не покрытый гроб бедняка и только одна какая-нибудь нищая, встретившись на перекрестке, плетется за ним, не имея другого дела.

Мы, кажется, оставили поручика Пирогова на том, как он расстался с бедным Пискаревым и устремился за блондинкою. Эта блондинка была легенькое, довольно интереспое созданьице. Она останавливалась перед каждым магазином и заглядывалась на выставленные в окнах кушаки, косынки, серьги, перчатки и другие безделушки, беспрестанно вертелась, глазела во все стороны и оглядывалась назад. «Ты, голубушка, моя!» — говорил с самоуверенностию Пирогов, продолжая свое преследование и закутавши лицо свое воротником шинели, чтобы не встретить когонибудь из знакомых. Но не мешает известить читателей, кто таков был поручик Пирогов.

Но прежде нежели мы скажем, кто таков был поручик Пирогов, не мешает кое-что рассказать о том обществе, к которому принадлежал Пирогов. Есть офицеры, составляющие в Петербурге какой-то средний класс общества. На вечере, на обеде у статского советника или у действительного статского, который выслужил этот чин сорокалетними трудами, вы всегда найдете одного из них. Несколько бледных, совершенно бесцветных, как Петербург, дочерей, из которых иные перезрели, чайный столик, фортепиано, домашние танцы — все это бывает нераздельно с светлым эполетом, который блещет при лампе, между благонравной блондинкой и черным фраком братца или домашнего знакомого. Этих хладнокровных девиц чрезвычайно трудно расшевелить и заставить смеяться; для этого нужно большое искусство или, лучше сказать, совсем не иметь никакого искусства. Нужно говорить так, чтобы не было ни слишком умно, ни слишком смешно, чтобы во всем была та мелочь, которую любят женщины. В этом надоб-

но отдать справедливость означенным господам. Они имеют особенный дар заставлять смеяться и слушать этих бесцветных красавиц. Восклицания, задушаемые смехом: «Ах, перестаньте! не стыдно ли вам так смешить!» — бывают им часто лучшею наградою. В высшем классе они попадаются очень редко или, лучше сказать, никогда. Оттуда они совершенно вытеснены тем, что называют в этом обществе аристократами; впрочем, они считаются учеными и воспитанными людьми. Они любят потолковать об литературе; хвалят Булгарина, Пушкина и Греча и говорят с презрением и остроумными колкостями об А. А. Орлове. Они не пропускают ни одной публичной лекции, будь она о бухгалтерии или даже о лесоводстве. В театре, какая бы ни была пьеса, вы всегда найдете одно из них, выключая разве если уже играются какие-нибудь «Филатки», которыми очень оскорбляется их разборчивый вкус. В театре они бессменно. Это самые выгодные люди для театральной дирекции. Они особенно любят в пьесе хорошие стихи, также очень любят громко вызывать актеров; многие из них, преподавая в казенных заведениях или приготовляя к казенным заведениям, заводятся наконец кабриолетом и парою лошадей. Тогда круг их становится обширнее; они достигают наконец до того, что женятся на купеческой дочери, умеющей играть на фортепиано, с сотнею тысяч или около того наличных и кучею брадатой родни. Однако ж этой чести они не прежде могут достигнуть, как выслуживши, по крайней мере, до полковничьего чина. Потому что русские бородки, несмотря на то что от них еще несколько отзывается капустою, никаким образом не хотят видеть дочерей своих ни за кем, кроме генералов или, по крайней мере, полковников. Таковы главные черты этого сорта молодых людей. Но поручик Пирогов имел множество талантов, собственно ему принадлежавших. Он превосходно декламировал стихи из «Димитрия Донского» и «Горе от ума», имел особенное искусство пускать из трубки дым кольцами так удачно, что вдруг мог нанизать их около десяти одно на другое. Умел очень приятно рассказать анекдот о том, что пушка сама по себе, а единорог сам по себе. Впрочем, оно несколько трудно перечесть все таланты, которыми судьба наградила Пирогова. Он любил поговорить об актрисе и танцовщице, но уже не так резко, как обыкновенно изъясняется об этом предмете молодой прапорщик. Он был очень доволен своим чином, в который был произведен недавно, и хотя иногда, ложась на диван, он говорил: «Ох, ох! суета, все суета! что из этого, что я поручик?» — но втайне его очень льстило это новое достоинство; он в разговоре часто старался намекнуть о нем обиняком, и один раз, когда попался ему на улице какой-то писарь, показавшийся ему невежливым, он немедленно остановил

его и в немногих, по резких словах дал заметить ему, что перед ним стоял поручик, а не другой какой офицер. Тем более старался он изложить это красноречивее, что тогда проходили мимо его две весьма недурные дамы. Пирогов вообще показывал страсть ко всему изящному и поощрял художника Пискарева; впрочем, это происходило, может быть, оттого, что ему весьма желалось видеть мужественную физиономию свою на портрете. Но довольно о качествах Пирогова. Человек такое дивное существо, что никогда не можно исчислить вдруг всех его достоинств, и чем более в него всматриваешься, тем более является новых особенностей, и описание их было бы бесконечно.

Итак, Пирогов не переставал преследовать незнакомку, от времени до времени занимая ее вопросами, на которые она отвечала резко, отрывисто и какими-то неясными звуками. Они вошли темными Казанскими воротами в Мещанскую улицу, улицу табачных и мелочных лавок, немцев-ремесленников и чухонских нимф. Блондинка бежала скорее и впорхнула в ворота одного довольно запачканного дома. Пирогов — за нею. Она взбежала по узенькой темной лестнице и вошла в дверь, в которую тоже смело пробрался Пирогов. Он увидел себя в большой комнате с черными стенами, с закопченным потолком. Куча железных винтов, слесарных инструментов, блестящих кофейников и подсвечников была на столе; пол был засорен медными и железными опилками. Пирогов тотчас смекнул, что это была квартира мастерового. Незнакомка порхнула далее в боковую дверь. Он было на минуту задумался, но, следуя русскому правилу, решился идти вперед. Он вошел в комнату, вовсе не похожую на первую, убранную очень опрятно, показывавшую, что хозяин был немец. Он был поражен необыкновенно странным видом.

Перед ним сидел Шиллер,— не тот Шиллер, который написал «Вильгельма Телля» и «Историю Тридцатилетней войны», но известный Шиллер, жестяных дел мастер в Мещанской улице. Возле Шиллера стоял Гофман,— не писатель Гофман, но довольно хороший сапожник с Офицерской улицы, большой приятель Шиллера. Шиллер был пьян и сидел на стуле, топая ногою и говоря что-то с жаром. Все это еще бы не удивило Пирогова, но удивило его чрезвычайно странное положение фигур. Шиллер сидел, выставив свой довольно толстый нос и поднявши вверх голову; а Гофман держал его за этот нос двумя пальцами и вертел лезвием своего сапожнического ножа на самой его поверхности. Обе особы говорили на немецком языке, и потому поручик Пирогов, который знал по-немецки только «гут морген», ничего не мог понять из всей этой истории. Впрочем, слова Шиллера заключались вот в чем.

«Я не хочу, мпе не нужен нос! — говорил он, размахивая руками.— У меня на один нос выходит три фунта табаку в месяц. И я плачу в русский скверный магазин, потому что немецкий магазин пе держит русского табаку, я плачу в русский скверный магазин за каждый фунт по сорок копеек; это будет рубль двадцать копеек; двепадцать раз рубль двадцать копеек — это будет четырнадцать рублей сорок копеек. Слышишь, друг мой Гофман? на один нос четырнадцать рублей сорок копеек! Да по праздникам я нюхаю рапе, потому что я не хочу нюхать по праздникам русский скверный табак. В год я нюхаю два фунта рапе, по два рубля фунт. Шесть да четырнадцать — двадцать рублей сорок копеек на один табак. Это разбой! Я спрашиваю тебя, мой друг Гофман, не так ли? — Гофман, который сам был пьян, отвечал утвердительно.— Двадцать рублей сорок копеек! Я швабский немец; у меня есть король в Германии. Я пе хочу носа! режь мне нос! вот мой нос!»

И если бы не внезапное появление поручика Пирогова, то, без всякого сомнения, Гофман отрезал бы ни за что ни про что Шиллеру нос, потому что он уже привел нож свой в такое положение, как бы хотел кроить подошву.

Шиллеру показалось очень досадно, что вдруг незнакомое, непрошеное лицо так некстати ему помешало. Он, несмотря на то что был в упоительном чаду пива и вина, чувствовал, что несколько неприлично в таком виде и при таком действии находиться в присутствии постороннего свидетеля. Между тем Пирогов слегка наклонился и с свойственною ему приятностию сказал:

— Вы извините меня...

— Пошел вон! — отвечал протяжно Шиллер.

Это озадачило поручика Пирогова. Такое обращение ему было совершенно ново. Улыбка, слегка было показавшаяся на его лице, вдруг пропала. С чувством огорченного достоинства он сказал:

— Мне странно, милостивый государь... вы, верно, не заметили... я офицер...

— Что такое офицер! Я — швабский немец. Мой сам (при этом Шиллер ударил кулаком по столу) будет офицер: полтора года юнкер, два года поручик, и я завтра сейчас офицер. Но я не хочу служить. Я с офицером сделает этак: фу! — при этом Шиллер подставил ладонь и фукнул на нее.

Поручик Пирогов увидел, что ему больше ничего не оставалось, как только удалиться; однако ж такое обхождение, вовсе не приличное его званию, ему было неприятно. Он несколько раз останавливался на лестнице, как бы желая собраться с духом и подумать о том, каким бы образом дать почувствовать Шиллеру

его дерзость. Наконец рассудил, что Шиллера можно извинить, потому что голова его была наполнена пивом; к тому же представилась ему хорошенькая блондинка, и он решился предать это забвению. На другой день поручик Пирогов рано поутру явился в мастерской жестяных дел мастера. В передней комнате встретила его хорошенькая блондинка и довольно суровым голосом, который очень шел к ее личику, спросила:

— Что вам угодно?

— А, здравствуйте, моя миленькая! вы меня не узнали? плутовочка, какие хорошенькие глазки! — при этом поручик Пирогов хотел очень мило поднять пальцем ее подбородок.

Но блондинка произнесла пугливое восклицание и с тою же суровостью спросила:

— Что вам угодно?

— Вас видеть, больше ничего мне не угодно,— пропзнес поручик Пирогов, довольно приятно улыбаясь и подступая ближе; но, заметив, что пугливая блондинка хотела проскользнуть в дверь, прибавил: — Мне нужно, моя миленькая, заказать шпоры. Вы можете мне сделать шпоры? хотя для того, чтобы любить вас, вовсе не нужно шпор, а скорее бы уздечку. Какие миленькие ручки!

Поручик Пирогов всегда бывал очень любезен в изъяснениях подобного рода.

— Я сейчас позову моего мужа,— вскрикнула немка и ушла, и чрез несколько минут Пирогов увидел Шиллера, выходившего с заспанными глазами, едва очнувшегося от вчерашнего похмелья. Взглянувши на офицера, он припомнил, как в смутном сне, происшествие вчерашнего дня. Он ничего не помнил в таком виде, в каком было, но чувствовал, что сделал какую-то глупость, и потому принял офицера с очень суровым видом.

— Я за шпоры не могу взять меньше пятнадцати рублей,— произнес он, желая отделаться от Пирогова, потому что ему, как честному немцу, очень совестно было смотреть на того, кто видел его в неприличном положении. Шиллер любил пить совершенно без свидетелей, с двумя, тремя приятелями, и запирался на это время даже от своих работников.

— Зачем же так дорого? — ласково сказал Пирогов.

— Немецкая работа,— хладнокровно произнес Шиллер, поглаживая подбородок.— Русский возьмется сделать за два рубля.

— Извольте, чтобы доказать, что я вас люблю и желаю с вами познакомиться, я плачу пятнадцать рублей.

Шиллер минуту оставался в размышлении: ему, как честному немцу, сделалось немного совестно. Желая сам отклонить его от заказывания, он объявил, что раньше двух недель не мо-

жет сделать. Но Пирогов без всякого прекословия изъявил совершенное согласие.

Немец задумался и стал размышлять о том, как бы лучше сделать свою работу, чтобы она действительно стоила пятнадцать рублей. В это время блондинка вошла в мастерскую и начала рыться на столе, уставленном кофейниками. Поручик воспользовался задумчивостью Шиллера, подступил к ней и пожал ручку, обнаженную до самого плеча. Это Шиллеру очень не понравилось.

— Мейн фрау! — закричал он.

— Вас волен зи дох? — отвечала блондинка.

— Гензи на кухня! [1]

Блондинка удалилась.

— Так через две недели? — сказал Пирогов.

— Да, через две недели,— отвечал в размышлении Шиллер,— у меня теперь очень много работы.

— До свидания! я к вам зайду.

— До свидания,— отвечал Шиллер, запирая за ним дверь.

Поручик Пирогов решился не оставлять своих исканий, несмотря на то что немка оказала явный отпор. Он не мог попять, чтобы можно было ему противиться, тем более что любезность его и блестящий чин давали полное право на внимание. Надобно, однако же, сказать и то, что жена Шиллера, при всей миловидности своей, была очень глупа. Впрочем, глупость составляет особенную прелесть в хорошенькой жене. По крайней мере, я знал много мужей, которые в восторге от глупости своих жен и видят в ней все признаки младенческой невинности. Красота производит совершенные чудеса. Все душевные недостатки в красавице, вместо того чтобы произвести отвращение, становятся как-то необыкновенно привлекательны; самый порок дышит в них миловидностью; но исчезни она — и женщине нужно быть в двадцать раз умнее мужчины, чтобы внушить к себе если не любовь, то, по крайней мере, уважение. Впрочем, жена Шиллера, при всей глупости, была всегда верна своей обязанности, и потому Пирогову довольно трудно было успеть в смелом своем предприятии; но с победою препятствий всегда соединяется наслаждение, и блондинка становилась для него интереснее день ото дня. Он начал довольно часто осведомляться о шпорах, так что Шиллеру это наконец наскучило. Он употреблял все усилия, чтобы окончить скорее начатые шпоры; наконец шпоры были готовы.

---

[1] — Моя жена! — Что вам угодно? — Ступайте на кухню! (искаж. *нем.*— Meine Frau! — Was wollen sie doch? — Gehen sie in die Küche!)

— Ах, какая отличная работа! — закричал поручик Пирогов, увидевши шпоры.— Господи, как это хорошо сделано! У нашего генерала нет этаких шпор.

Чувство самодовольствия распустилось по душе Шиллера. Глаза его начали глядеть довольно весело, и он совершенно примирился с Пироговым. «Русский офицер — умный человек»,— думал он сам про себя.

— Так вы, стало быть, можете сделать и оправу, например, к кинжалу или другим вещам?

— О, очень могу,— сказал Шиллер с улыбкою.

— Так сделайте мне оправу к кинжалу. Я вам принесу; у меня очень хороший турецкий кинжал, но мне бы хотелось оправу к нему сделать другую.

Шиллера это как бомбою хватило. Лоб его вдруг наморщился. «Вот тебе на!» — подумал он про себя, внутренно ругая себя за то, что накликал сам работу. Отказаться он почитал уже бесчестным, притом же русский офицер похвалил его работу. Он, несколько покачавши головою, изъявил свое согласие; но поцелуй, который, уходя, Пирогов влепил нахально в самые губки хорошенькой блондинки, поверг его в совершенное недоумение.

Я почитаю не излишним познакомить читателя несколько покороче с Шиллером. Шиллер был совершенный немец, в полном смысле всего этого слова. Еще с двадцатилетнего возраста, с того счастливого времени, в которое русский живет на фу-фу, уже Шиллер размерил всю свою жизнь и никакого, ни в каком случае, не делал исключения. Он положил вставать в семь часов, обедать в два, быть точным во всем и быть пьяным каждое воскресенье. Он положил себе в течение десяти лет составить капитал из пятидесяти тысяч, и уже это было так верно и неотразимо, как судьба, потому что скорее чиновник позабудет загляпуть в швейцарскую своего начальника, нежели немец решится переменить свое слово. Ни в каком случае не увеличивал он своих издержек, и если цена на картофель слишком поднималась против обыкновенного, он не прибавлял ни одной копейки, но уменьшал только количество, и хотя оставался иногда несколько голодным, но, однако же, привыкал к этому. Аккуратность его простиралась до того, что он положил целовать жену свою в сутки не более двух раз, а чтобы как-нибудь не поцеловать лишний раз, он никогда не клал перцу более одной ложечки в свой суп; впрочем, в воскресный день это правило не так строго исполнялось, потому что Шиллер выпивал тогда две бутылки пива и одну бутылку тминной водки, которую, однако же, он всегда бранил. Пил он вовсе не так, как англичанин, который тотчас после обеда запирает дверь на крючок и нарезывается один. Напротив, он, как немец,

пил всегда вдохновенно, или с сапожником Гофманом, или с столяром Кунцом, тоже немцем и большим пьяницею. Таков был характер благородного Шиллера, который наконец был приведен в чрезвычайно затруднительное положение. Хотя он был флегматик и немец, однако ж поступки Пирогова возбудили в нем что-то похожее на ревность. Он ломал голову и не мог придумать, каким образом ему избавиться от этого русского офицера. Между тем Пирогов, куря трубку в кругу своих товарищей,— потому что уже так провидение устроило, что где офицеры, там и трубки,— куря трубку в кругу своих товарищей, намекал значительно и с приятною улыбкою об интрижке с хорошенькою немкою, с которою, по словам его, он уже совершенно был накоротке и которую он на самом деле едва ли не терял уже надежды преклонить на свою сторону.

В один день прохаживался он по Мещанской, поглядывая на дом, на котором красовалась вывеска Шиллера с кофейниками и самоварами; к величайшей радости своей, увидел он головку блондинки, свесившуюся в окошко и разглядывавшую прохожих. Он остановился, сделал ей ручкою и сказал: «Гут морген!» Блондинка поклонилась ему как знакомому.

— Что, ваш муж дома?

— Дома,— отвечала блондинка.

— А когда он не бывает дома?

— Он по воскресеньям не бывает дома,— сказала глупенькая блондинка.

«Это недурно,— подумал про себя Пирогов,— этим нужно воспользоваться».

И в следующее воскресенье как снег на голову явился пред блондинкою. Шиллера действительно не было дома. Хорошенькая хозяйка испугалась; но Пирогов поступил на этот раз довольно осторожно, обошелся очень почтительно и, раскланявшись, показал всю красоту своего гибкого перетянутого стана. Он очень приятно и учтиво шутил, но глупенькая немка отвечала на все односложными словами. Наконец, заходивши со всех сторон и видя, что ничто не может занять ее, он предложил ей танцевать. Немка согласилась в одну минуту, потому что немки всегда охотницы до танцев. На этом Пирогов очень много основывал свою надежду: во-первых, это уже доставляло ей удовольствие, во-вторых, это могло показать его торнюру [1] и ловкость, в-третьих, в танцах ближе всего можно сойтись, обнять хорошенькую немку и проложить начало всему; короче, он выводил из этого совершенный успех. Он начал какой-то гавот, зная, что немкам нужна постепен-

[1] Торнюра — сложение, фигура (от *франц.* tournure).

ность. Хорошенькая немка выступила на средину комнаты и подняла прекрасную ножку. Это положение так восхитило Пирогова, что он бросился ее целовать. Немка начала кричать и этим еще более увеличила свою прелесть в глазах Пирогова; он ее засыпал поцелуями. Как вдруг дверь отворилась, и вошел Шиллер с Гофманом и столяром Кунцом. Все эти достойные ремесленники были пьяны как сапожники.

Но я предоставляю самим читателям судить о гневе и негодовании Шиллера.

— Грубиян! — закричал он в величайшем негодовании,— как ты смеешь целовать мою жену? Ты подлец, а не русский офицер. Черт побери, мой друг Гофман, я немец, а не русская свинья!

Гофман отвечал утвердительно.

— О, я не хочу иметь роги! бери его, мой друг, Гофман, за воротник, я не хочу,— продолжал он, сильно размахивая руками, причем лицо его было похоже на красное сукно его жилета.— Я восемь лет живу в Петербурге, у меня в Швабии мать моя, и дядя мой в Нюренберге; я немец, а не рогатая говядина! прочь с него всё, мой друг Гофман! держи его за рука и нога, камрад мой Кунц!

И немцы схватили за руки и ноги Пирогова.

Напрасно силился он отбиваться; эти три ремеслепника были самый дюжий народ из всех петербургских немцев и поступили с ним так грубо и невежливо, что, признаюсь, я никак не нахожу слов к изображению этого печального события.

Я уверен, что Шиллер на другой день был в сильной лихорадке, что он дрожал как лист, ожидая с минуты на минуту прихода полиции, что он бог знает чего бы не дал, чтобы все происходившее вчера было во сне. Но что уже было, того нельзя переменить. Ничто не могло сравниться с гневом и негодованием Пирогова. Одна мысль об таком ужасном оскорблении приводила его в бешенство. Сибирь и плети он почитал самым малым наказанием для Шиллера. Он летел домой, чтобы, одевшись, оттуда идти прямо к генералу, описать ему самыми разительными красками буйство немецких ремесленников. Он разом хотел подать и письменную просьбу в главный штаб. Если же главный штаб определит недостаточное наказание, тогда прямо в государственный совет, а не то самому государю.

Но все это как-то странно кончилось: по дороге он зашел в кондитерскую, съел два слоеных пирожка, прочитал кое-что из «Северной пчелы» и вышел уже не в столь гневном положении. Притом довольно приятный прохладный вечер заставил его несколько пройтись по Невскому проспекту; к девяти часам он успо-

коплся и нашел, что в воскресенье нехорошо беспокоить генерала, притом он, без сомнения, куда-нибудь отозван, и потому он отправился на вечер к одному правителю контрольной коллегии, где было очень приятное собрание чиновников и офицеров. Там с удовольствием провел вечер и так отличился в мазурке, что привел в восторг не только дам, но даже и кавалеров.

«Дивно устроен свет наш! — думал я, идя третьего дня по Невскому проспекту и приводя на память эти два происшествия.— Как странно, как непостижимо играет нами судьба наша! Получаем ли мы когда-нибудь то, чего желаем? Достигаем ли мы того, к чему, кажется, нарочно приготовлены наши силы? Все происходит наоборот. Тому судьба дала прекраснейших лошадей, и он равнодушно катается на них, вовсе не замечая их красоты,— тогда как другой, которого сердце горит лошадиною страстью, идет пешком и довольствуется только тем, что пощелкивает языком, когда мимо его проводят рысака. Тот имеет отличного повара, но, к сожалению, такой маленький рот, что больше двух кусочков никак не может пропустить; другой имеет рот величиною в арку главного штаба, но, увы! должен довольствоваться каким-нибудь немецким обедом из картофеля. Как странно играет нами судьба наша!»

Но страннее всего происшествия, случающиеся на Невском проспекте. О, не верьте этому Невскому проспекту! Я всегда закутываюсь покрепче плащом своим, когда иду по нем, и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы. Всё обман, всё мечта, всё не то, чем кажется! Вы думаете, что этот господин, который гуляет в отлично сшитом сюртучке, очень богат? Ничуть не бывало: он весь состоит из своего сюртучка. Вы воображаете, что эти два толстяка, остановившиеся перед строящеюся церковью, судят об архитектуре ее? Совсем нет: они говорят о том, как странно сели две вороны одна против другой. Вы думаете, что этот энтузиаст, размахивающий руками, говорит о том, как жена его бросила из окна шариком в незнакомого ему вовсе офицера? Совсем нет, он говорит о Лафайете. Вы думаете, что эти дамы... но дамам меньше всего верьте. Менее заглядывайте в окна магазинов: безделушки, в них выставленные, прекрасны, но пахнут страшным количеством ассигнаций. Но боже вас сохрани заглядывать дамам под шляпки! Как ни развевайся вдали плащ красавицы, я ни за что не пойду за нею любопытствовать. Далее, ради бога, далее от фонаря! и скорее, сколько можно скорее, проходите мимо. Это счастие еще, если отделаетесь тем, что он зальет щегольской сюртук ваш вонючим своим маслом. Но и кроме фонаря, все дышит обманом. Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет на него и отделит белые и пале-

вые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде.

## НОС

### I

Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие. Цирюльник Иван Яковлевич, живущий на Вознесенском проспекте (фамилия его утрачена, и даже на вывеске его — где изображен господин с намыленною щекою и надпись: «И кровь отворяют» — не выставлено ничего более), цирюльник Иван Яковлевич проснулся довольно рано и услышал запах горячего хлеба. Приподнявшись немного на кровати, он увидел, что супруга его, довольно почтенная дама, очень любившая пить кофий, вынимала из печи только что испеченные хлебы.

— Сегодня я, Прасковья Осиповна, не буду пить кофию,— сказал Иван Яковлевич,— а вместо того хочется мне съесть горячего хлебца с луком.

(То есть Иван Яковлевич хотел бы и того и другого, но знал, что было совершенно невозможно требовать двух вещей разом, ибо Прасковья Осиповна очень не любила таких прихотей.) «Пусть дурак ест хлеб; мне же лучше,— подумала про себя супруга,— останется кофию лишняя порция». И бросила один хлеб на стол.

Иван Яковлевич для приличия надел сверх рубашки фрак и, усевшись перед столом, насыпал соль, приготовил две головки луку, взял в руки нож и, сделавши значительную мину, принялся резать хлеб. Разрезавши хлеб на две половины, он поглядел в середину и, к удивлению своему, увидел что-то белевшееся. Иван Яковлевич ковырнул осторожно ножом и пощупал пальцем. «Плотное! — сказал он сам про себя,— что бы это такое было?»

Он засунул пальцы и вытащил — нос!.. Иван Яковлевич и руки опустил; стал протирать глаза и щупать: нос, точно нос! и еще, казалось, как будто чей-то знакомый. Ужас изобразился в лице Ивана Яковлевича. Но этот ужас был ничто против негодования, которое овладело его супругою.

— Где это ты, зверь, отрезал нос? — закричала она с гневом.— Мошенник! пьяница! Я сама на тебя донесу полиции. Разбойник какой! Вот уж я от трех человек слышала, что ты во время бритья так теребишь за носы, что еле держатся.

Но Иван Яковлевич был ни жив ни мертв. Он узнал, что этот

нос был не чей другой, как коллежского асессора Ковалева, которого он брил каждую середу и воскресенье.

— Стой, Прасковья Осиповна! Я положу его, завернувши в тряпку, в уголок; пусть там маленечко полежит, а после его вынесу.

— И слушать не хочу! Чтобы я позволила у себя в комнате лежать отрезанному носу?.. Сухарь поджаристый! Знай умеет только бритвой возить по ремню, а долга своего скоро совсем не в состоянии будет исполнять, потаскушка, негодяй! Чтобы я стала за тебя отвечать полиции?.. Ах ты, пачкун, бревно глупое! Вон его! вон! неси куда хочешь! чтобы я духу его не слыхала!

Иван Яковлевич стоял совершенно как убитый. Он думал, думал — и не знал, что подумать.

— Черт его знает, как это сделалось,— сказал он наконец, почесав рукою за ухом.— Пьян ли я вчера возвратился или нет, уж наверное сказать не могу. А по всем приметам должно быть происшествие несбыточное: ибо хлеб — дело печеное, а нос совсем не то. Ничего не разберу!..

Иван Яковлевич замолчал. Мысль о том, что полицейские отыщут у него нос и обвинят его, привела его в совершенное беспамятство. Уже ему мерещился алый воротник, красиво вышитый серебром, шпага... и он дрожал всем телом. Наконец достал он свое исподнее платье и сапоги, натащил на себя всю эту дрянь и, сопровождаемый нелегкими увещаниями Прасковьи Осиповны, завернул нос в тряпку и вышел на улицу.

Он хотел его куда-нибудь подсунуть: или в тумбу под воротами, или так как-нибудь нечаянно выронить, да и повернуть в переулок. Но, на беду, ему попадался какой-нибудь знакомый человек, который начинал тотчас запросом: «Куда идешь?», или «Кого так рано собрался брить?» — так что Иван Яковлевич никак не мог улучить минуты. В другой раз он уже совсем уронил его, но будочник еще издали указал ему алебардою, промолвив: «Подыми! вон ты что-то уронил!» И Иван Яковлевич должен был поднять нос и спрятать его в карман. Отчаяние овладело им, тем более что народ беспрестанно умножался на улице, по мере того как начали отпираться магазины и лавочки.

Он решился идти к Исакиевскому мосту: не удастся ли как-нибудь швырнуть его в Неву?.. Но я несколько виноват, что до сих пор не сказал ничего об Иване Яковлевиче, человеке почтенном во многих отношениях.

Иван Яковлевич, как всякий порядочный русский мастеровой, был пьяница страшный. И хотя каждый день брил чужие подбородки, но его собственный был у него вечно небрит. Фрак у Ивана Яковлевича (Иван Яковлевич никогда не ходил в сюртуке) был

пегий; то есть он был черный, но весь в коричнево-желтых и серых яблоках; воротник лоснился, а вместо трех пуговиц висели одни только ниточки. Иван Яковлевич был большой циник, и когда коллежский асессор Ковалев обыкновенно говорил ему во время бритья: «У тебя, Иван Яковлевич, вечно воняют руки!» — то Иван Яковлевич отвечал на это вопросом: «Отчего ж бы им вонять?» — «Не знаю, братец, только воняют»,— говорил коллежский асессор, и Иван Яковлевич, понюхавши табаку, мылил ему за это и на щеке, и под носом, и за ухом, и под бородою — одним словом, где только ему была охота.

Этот почтенный гражданин находился уже на Исакиевском мосту. Он прежде всего осмотрелся; потом нагнулся на перила, будто бы посмотреть под мост: много ли рыбы бегает, и швырнул потихоньку тряпку с носом. Он почувствовал, как будто бы с него разом свалилось десять пуд; Иван Яковлевич даже усмехнулся. Вместо того чтобы идти брить чиновничьи подбородки, он отправился в заведение с надписью «Кушанье и чай» спросить стакан пуншу, как вдруг заметил в конце моста квартального надзирателя благородной наружности, с широкими бакенбардами, в треугольной шляпе, со шпагою. Он обмер; а между тем квартальный кивал ему пальцем и говорил:

— А подойди сюда, любезный!

Иван Яковлевич, зная форму, снял издали еще картуз и, подошедши проворно, сказал:

— Желаю здравия вашему благородию!

— Нет, нет, братец, не благородию; скажи-ка, что ты там делал, стоя на мосту?

— Ей-богу, сударь, ходил брить, да посмотрел только, шибко ли река идет.

— Врешь, врешь! Этим не отделаешься. Изволь-ка отвечать!

— Я вашу милость два раза в неделю, или даже три, готов брить без всякого прекословия,— отвечал Иван Яковлевич.

— Нет, приятель, это пустяки! Меня три цирюльника бреют, да еще и за большую честь почитают. А вот изволь-ка рассказать, что ты там делал?

Иван Яковлевич побледнел... Но здесь происшествие совершенно закрывается туманом, и что далее произошло, решительно ничего не известно.

## II

Коллежский асессор Ковалев проснулся довольно рано и сделал губами: «брр...» — что всегда он делал, когда просыпался, хотя сам не мог растолковать, по какой причине. Ковалев потянулся,

приказал себе подать небольшое, стоявшее на столе зеркало. Он хотел взглянуть на прыщик, который вчерашнего вечера вскочил у него на носу; но, к величайшему изумлению, увидел, что у него вместо носа совершенно гладкое место! Испугавшись, Ковалев велел подать воды и протер полотенцем глаза: точно, нет носа! Он начал щупать рукою, чтобы узнать: не спит ли он? кажется, не спит. Коллежский асессор Ковалев вскочил с кровати, встряхнулся: нет носа!.. Он велел тотчас подать себе одеться и полетел прямо к обер-полицмейстеру.

Но между тем необходимо сказать что-нибудь о Ковалеве, чтобы читатель мог видеть, какого рода был этот коллежский асессор. Коллежских асессоров, которые получают это звание с помощью ученых аттестатов, никак нельзя сравнивать с теми коллежскими асессорами, которые делались на Кавказе. Это два совершенно особенные рода. Ученые коллежские асессоры... Но Россия такая чудная земля, что если скажешь об одном коллежском асессоре, то все коллежские асессоры, от Риги до Камчатки, непременно примут на свой счет. То же разумей и о всех званиях и чинах. Ковалев был кавказский коллежский асессор. Он два года только еще состоял в этом звании и потому ни на минуту не мог его позабыть; а чтобы более придать себе благородства и веса, он никогда не называл себя коллежским асессором, но всегда майором. «Послушай, голубушка,— говорил он обыкновенно, встретивши на улице бабу, продававшую манишки,— ты приходи ко мне на дом; квартира моя в Садовой; спроси только: здесь ли живет майор Ковалев? — тебе всякий покажет». Если же встречал какую-нибудь смазливенькую, то давал ей сверх того секретное приказание, прибавляя: «Ты спроси, душенька, квартиру майора Ковалева». По этому-то самому и мы будем вперед этого коллежского асессора называть майором.

Майор Ковалев имел обыкновение каждый день прохаживаться по Невскому проспекту. Воротничок его манишки был всегда чрезвычайно чист и накрахмален. Бакенбарды у него были такого рода, какие и теперь еще можно видеть у губернских и уездных землемеров, у архитекторов и полковых докторов, также у отправляющих разные полицейские обязанности и вообще у всех тех мужей, которые имеют полные, румяные щеки и очень хорошо играют в бостон: эти бакенбарды идут по самой середине щеки и прямехонько доходят до носа. Майор Ковалев носил множество печаток сердоликовых и с гербами, и таких, на которых было вырезано: середа, четверг, понедельник и проч. Майор Ковалев приехал в Петербург по надобности, а именно искать приличного своему званию места: если удастся, то вице-губернаторского, а не то — экзекуторского в каком-нибудь видном департаменте. Майор Ковалев был не прочь и жениться, но только в таком случае, когда за

невестою случится двести тысяч капиталу. И потому читатель теперь может судить сам, каково было положение этого майора, когда он увидел вместо довольно недурного и умеренного носа преглупое, ровное и гладкое место.

Как на беду, ни один извозчик не показывался на улице, и он должен был идти пешком, закутавшись в свой плащ и закрывши платком лицо, показывая вид, как будто у него шла кровь. «Но авось-либо мне так представилось: не может быть, чтобы нос пропал сдуру»,— подумал он и зашел в кондитерскую нарочно с тем, чтобы посмотреться в зеркало. К счастью, в кондитерской никого не было; мальчишки мели комнаты и расставляли стулья; некоторые с сонными глазами выносили на подносах горячие пирожки; на столах и стульях валялись залитые кофием вчерашние газеты. «Ну, слава богу, никого нет,— произнес он,— теперь можно поглядеть». Он робко подошел к зеркалу и взглянул. «Черт знает что, какая дрянь! — произнес он, плюнувши.— Хотя бы уже что-нибудь было вместо носа, а то ничего!..»

С досадою закусив губы, вышел он из кондитерской и решился, против своего обыкновения, не глядеть ни на кого и никому не улыбаться. Вдруг он стал как вкопанный у дверей одного дома; в глазах его произошло явление неизъяснимое: перед подъездом остановилась карета; дверцы отворились; выпрыгнул, согнувшись, господин в мундире и побежал вверх по лестнице. Каков же был ужас и вместе изумление Ковалева, когда он узнал, что это был собственный его нос! При этом необыкновенном зрелище, казалось ему, все переворотилось у него в глазах; он чувствовал, что едва мог стоять; но решился во что бы то ни стало ожидать его возвращения в карету, весь дрожа, как в лихорадке. Через две минуты нос действительно вышел. Он был в мундире, шитом золотом, с большим стоячим воротником; на нем были замшевые панталоны; при боку шпага. По шляпе с плюмажем можно было заключить, что он считается в ранге статского советника. По всему заметно было, что он ехал куда-нибудь с визитом. Он поглядел на обе стороны, закричал кучеру: «Подавай!» — сел и уехал.

Бедный Ковалев чуть не сошел с ума. Он не знал, как и подумать о таком странном происшествии. Как же можно, в самом деле, чтобы нос, который еще вчера был у него на лице, не мог ездить и ходить,— был в мундире! Он побежал за каретою, которая, к счастию, проехала недалеко и остановилась перед Казанским собором.

Он поспешил в собор, пробрался сквозь ряд нищих старух с завязанными лицами и двумя отверстиями для глаз, над которыми он прежде так смеялся, и вошел в церковь. Молельщиков внутри церкви было немного; они все стояли только при входе в

двери. Ковалев чувствовал себя в таком расстроенном состоянии, что никак не в силах был молиться, и искал глазами этого господина по всем углам. Наконец увидел его стоявшего в стороне. Нос спрятал совершенно лицо свое в большой стоячий воротник и с выражением величайшей набожности молился.

«Как подойти к нему? — думал Ковалев.— По всему, по мундиру, по шляпе видно, что он статский советник. Черт его знает, как это сделать!»

Он начал около него покашливать; но нос ни на минуту не оставлял набожного своего положения и отвешивал поклоны.

— Милостивый государь...— сказал Ковалев, внутренно принуждая себя ободриться,— милостивый государь...

— Что вам угодно? — отвечал нос, оборотившись.

— Мне странно, милостивый государь... мне кажется... вы должны знать свое место. И вдруг я вас нахожу, и где же? — в церкви. Согласитесь...

— Извините меня, я не могу взять в толк, о чем вы изволите говорить... Объяснитесь.

«Как мне ему объяснить?» — подумал Ковалев и, собравшись с духом, начал:

— Конечно, я... впрочем, я майор. Мне ходить без носа, согласитесь, что неприлично. Какой-нибудь торговке, которая продает на Воскресенском мосту очищенные апельсины, можно сидеть без носа; но, имея в виду получить... притом будучи во многих домах знаком с дамами: Чехтарева, статская советница, и другие... Вы посудите сами... я не знаю, милостивый государь. (При этом майор Ковалев пожал плечами.) Извините... если на это смотреть сообразно с правилами долга и чести... вы сами можете понять...

— Ничего решительно не понимаю,— отвечал нос.— Изъяснитесь удовлетворительнее.

— Милостивый государь...— сказал Ковалев с чувством собственного достоинства,— я не знаю, как понимать слова ваши... Здесь все дело, кажется, совершенно очевидно... Или вы хотите... Ведь вы мой собственный нос!

Нос посмотрел на майора, и брови его несколько нахмурились.

— Вы ошибаетесь, милостивый государь. Я сам по себе. Притом между нами не может быть никаких тесных отношений. Судя по пуговицам вашего вицмундира, вы должны служить по другому ведомству.

Сказавши это, нос отвернулся и продолжал молиться.

Ковалев совершенно смешался, не зная, что делать и что даже подумать. В это время послышался приятный шум дамского платья; подошла пожилая дама, вся убранная кружевами, и с нею тоненькая, в белом платье, очень мило рисовавшемся на ее стройной та-

лии, в палевой шляпке, легкой, как пирожное. За ними остановился и открыл табакерку высокий гайдук с большими бакенбардами и целой дюжиной воротников.

Ковалев подступил поближе, высунул батистовый воротничок манишки, поправил висевшие на золотой цепочке свои печатки и, улыбаясь по сторонам, обратил внимание на легонькую даму, которая, как весенний цветочек, слегка наклонялась и подносила ко лбу свою беленькую ручку с полупрозрачными пальцами. Улыбка на лице Ковалева раздвинулась еще далее, когда он увидел из-под шляпки ее кругленький, яркой белизны подбородок и часть щеки, осененной цветом первой весенней розы. Но вдруг он отскочил, как будто бы обжегшись. Он вспомнил, что у него вместо носа совершенно нет ничего, и слезы выдавились из глаз его. Он оборотился с тем, чтобы напрямик сказать господину в мундире, что он только прикинулся статским советником, что он плут и подлец и что он больше ничего, как только его собственный нос... Но носа уже не было; он успел ускакать, вероятно опять к кому-нибудь с визитом.

Это повергло Ковалева в отчаяние. Он пошел назад и остановился с минуту под колоннадою, тщательно смотря во все стороны, не попадется ли где нос. Он очень хорошо помнил, что шляпа на нем была с плюмажем и мундир с золотым шитьем; но шинель не заметил, ни цвета его кареты, ни лошадей, ни даже того, был ли у него сзади какой-нибудь лакей и в какой ливрее. Притом карет неслось такое множество взад и вперед и с такою быстротою, что трудно было даже приметить; но если бы и приметил он какую-нибудь из них, то не имел бы никаких средств остановить. День был прекрасный и солнечный. На Невском народу была тьма; дам целый цветочный водопад сыпался по всему тротуару, начиная от Полицейского до Аничкина моста. Вон и знакомый ему надворный советник идет, которого он называл подполковником, особливо ежели то случалось при посторонних. Вон и Ярыгин, столоначальник в сенате, большой приятель, который вечно в бостоне обремизивался, когда играл восемь. Вон и другой майор, получивший на Кавказе асессорство, машет рукой, чтобы шел к нему...

— А, черт возьми! — сказал Ковалев.— Эй, извозчик, вези прямо к обер-полицмейстеру!

Ковалев сел в дрожки и только покрикивал извозчику: «Валяй во всю ивановскую!»

— У себя обер-полицмейстер? — вскричал он, зашедши в сени.

— Никак нет,— отвечал привратник,— только что уехал.

— Вот тебе раз!

— Да,— прибавил привратник,— оно и не так давно, но уехал. Минуточкой бы пришли раньше, то, может, застали бы дома.

Ковалев, не отнимая платка от лица, сел на извозчика и закричал отчаянным голосом:

— Пошел!

— Куда? — сказал извозчик.

— Пошел прямо!

— Как прямо? тут поворот: направо или налево?

Этот вопрос остановил Ковалева и заставил его опять подумать. В его положении следовало ему прежде всего отнестись в Управу благочиния, не потому, что оно имело прямое отношение к полиции, но потому, что ее распоряжения могли быть гораздо быстрее, чем в других местах; искать же удовлетворения по начальству того места, при котором нос объявил себя служащим, было бы безрассудно, потому что из собственных ответов носа уже можно было видеть, что для этого человека ничего не было священного и он мог так же солгать и в этом случае, как солгал, уверяя, что он никогда не видался с ним. Итак, Ковалев уже хотел было приказать ехать в Управу благочиния, как опять пришла мысль ему, что этот плут и мошенник, который поступил уже при первой встрече таким бессовестным образом, мог опять, удобно, пользуясь временем, как-нибудь улизнуть из города,— и тогда все искания будут тщетны или могут продолжиться, чего боже сохрани, на целый месяц. Наконец, казалось, само небо вразумило его. Он решился отнестись прямо в газетную экспедицию и заблаговременно сделать публикацию с обстоятельным описанием всех качеств, дабы всякий, встретивший его, мог в ту же минуту его представить к нему или, по крайней мере, дать знать о месте пребывания. Итак, он, решив на этом, велел извозчику ехать в газетную экспедицию и во всю дорогу не переставал его тузить кулаком в спину, приговаривая: «Скорей, подлец! скорей, мошенник!» — «Эх, барин!» — говорил извозчик, потряхивая головой и стегая вожжой свою лошадь, на которой шерсть была длинная, как на болонке. Дрожки наконец остановились, и Ковалев, запыхавшись, вбежал в небольшую приемную комнату, где седой чиновник, в старом фраке и очках, сидел за столом и, взявши в зубы перо, считал принесенные медные деньги.

— Кто здесь принимает объявления? — закричал Ковалев.— А, здравствуйте!

— Мое почтение,— сказал седой чиновник, поднявши на минуту глаза и опустивши их снова на разложенные кучи денег.

— Я желаю припечатать...

— Позвольте. Прошу немножко повременить,— произнес чиновник, ставя одною рукою цифру на бумаге и передвигая пальцами левой руки два очка на счетах.

Лакей с галунами и наружностию, показывавшею пребывание его в аристократическом доме, стоял возле стола, с запискою в руках, и почел приличным показать свою общежительность:

— Поверите ли, сударь, что собачонка не сто́ит восьми гривен, то есть я не дал бы за нее и восьми грошей; а графиня любит, ей-богу, любит,— и вот тому, кто ее отыщет, сто рублей! Если сказать по приличию, то вот так, как мы теперь с вами, вкусы людей совсем не совместны: уж когда охотник, то держи легавую собаку или пуделя; не пожалей пятисот, тысячу дай, но зато уж чтоб была собака хорошая.

Почтенный чиновник слушал это с значительною миною и в то же время занимался сметою: сколько букв в принесенной записке. По сторонам стояло множество старух, купеческих сидельцев и дворников с записками. В одной значилось, что отпускается в услужение кучер трезвого поведения; в другой — малоподержанная коляска, вывезенная в 1814 году из Парижа; там отпускалась дворовая девка девятнадцати лет, упражнявшаяся в прачечном деле, годная и для других работ; прочные дрожки без одной рессоры; молодая горячая лошадь в серых яблоках, семнадцати лет от роду; новые, полученные из Лондона, семена репы и редиса; дача со всеми угодьями: двумя стойлами для лошадей и местом, на котором можно развести превосходный березовый или еловый сад; там же находился вызов желающих купить старые подошвы, с приглашением явиться к переторжке каждый день от восьми до трех часов утра. Комната, в которой местилось все это общество, была маленькая, и воздух в ней был чрезвычайно густ; но коллежский асессор Ковалев не мог слышать запаха, потому что закрылся платком и потому что самый нос его находился бог знает в каких местах.

— Милостивый государь, позвольте вас попросить... Мне очень нужно,— сказал он наконец с нетерпением.

— Сейчас, сейчас! Два рубля сорок три копейки! Сию минуту! Рубль шестьдесят четыре копейки! — говорил седовласый господин, бросая старухам и дворникам записки в глаза.— Вам что угодно? — наконец сказал он, обратившись к Ковалеву.

— Я прошу...— сказал Ковалев,— случилось мошенничество или плутовство, я до сих пор не могу никак узнать. Я прошу только припечатать, что тот, кто ко мне этого подлеца представит, получит достаточное вознаграждение.

— Позвольте узнать, как ваша фамилия?

— Нет, зачем же фамилию? Мне нельзя сказать ее. У меня много знакомых: Чехтарева, статская советница, Палагея Григорьевна Подточина, штаб-офицерша... Вдруг узнают, боже сохрани! Вы можете просто написать: коллежский асессор, или, еще лучше, состоящий в майорском чине.

— А сбежавший был ваш дворовый человек?

— Какое дворовый человек? Это бы еще не такое большое мошенничество! Сбежал от меня... нос...

— Гм! какая странная фамилия! И на большую сумму этот господин Носов обокрал вас?

— Нос то есть... вы не то думаете! Нос, мой собственный нос пропал неизвестно куда. Черт хотел подшутить надо мною!

— Да каким же образом пропал? Я что-то не могу хорошенько понять.

— Да я не могу вам сказать, каким образом; но главное то, что он разъезжает теперь по городу и называет себя статским советником. И потому я вас прошу объявить, чтобы поймавший представил его немедленно ко мне в самом скорейшем времени. Вы посудите, в самом деле, как же мне быть без такой заметной части тела? Это не то, что какой-нибудь мизинный палец на ноге, которую я в сапог — и никто не увидит, если его нет. Я бываю по четвергам у статской советницы Чехтаревой; Подточина Палагея Григорьевна, штаб-офицерша, и у ней дочка очень хорошенькая, тоже очень хорошие знакомые, и вы посудите сами, как же мне теперь... Мне теперь к ним нельзя явиться.

Чиновник задумался, что означали крепко сжавшиеся его губы.

— Нет, я не могу поместить такого объявления в газетах,— сказал он наконец после долгого молчания.

— Как? отчего?

— Так. Газета может потерять репутацию. Если всякий начнет писать, что у него сбежал нос, то... И так уже говорят, что печатается много несообразностей и ложных слухов.

— Да чем же это дело несообразное? Тут, кажется, ничего нет такого.

— Это вам так кажется, что нет. А вот на прошлой неделе такой же был случай. Пришел чиновник таким же образом, как вы теперь пришли, принес записку, денег по расчету пришлось два рубля семьдесят три копейки, и все объявление состояло в том, что сбежал пудель черной шерсти. Кажется, что бы тут такое? А вышел пасквиль: пудель-то этот был казначей, не помню какого-то заведения.

— Да ведь я вам не о пуделе делаю объявление, а о собственном моем носе: стало быть, почти то же, что о самом себе.

— Нет, такого объявления я никак не могу поместить.

— Да когда у меня точно пропал нос!

— Если пропал, то это дело медика. Говорят, что есть такие люди, которые могут приставить какой угодно нос. Но, впрочем, я замечаю, что вы должны быть человек веселого нрава и любите в обществе пошутить.

— Клянусь вам, вот как бог свят! Пожалуй, уж если до того дошло, то я покажу вам.

— Зачем беспокоиться! — продолжал чиновник, нюхая табак.— Впрочем, если не в беспокойство,— прибавил он с движением любопытства,— то желательно бы взглянуть.

Коллежский асессор отнял от лица платок.

— В самом деле, чрезвычайно странно! — сказал чиновник,— место совершенно гладкое, как будто бы только что выпеченный блин. Да, до невероятности ровное!

— Ну, вы и теперь будете спорить? Вы видите сами, что нельзя не напечатать. Я вам буду особенно благодарен; и очень рад, что этот случай доставил мне удовольствие с вами познакомиться...

Майор, как видно из этого, решился на сей раз немного поподличать.

— Напечатать-то, конечно, дело небольшое,— сказал чиновник,— только я не предвижу в этом никакой для вас выгоды. Если уже хотите, то отдайте тому, кто имеет искусное перо, описать это как редкое произведение натуры и напечатать эту статейку в «Северной пчеле» (тут он понюхал еще раз табаку) для пользы юношества (тут он утер нос) или так, для общего любопытства.

Коллежский асессор был совершенно обезнадежен. Он опустил глаза в низ газеты, где было извещение о спектаклях; уже лицо его было готово улыбнуться, встретив имя актрисы, хорошенькой собою, и рука взялась за карман: есть ли при нем синяя ассигнация, потому что штаб-офицеры, по мнению Ковалева, должны сидеть в креслах,— но мысль о носе все испортила!

Сам чиновник, казалось, был тронут затруднительным положением Ковалева. Желая сколько-нибудь облегчить его горесть, он почел приличным выразить участие свое в нескольких словах:

— Мне, право, очень прискорбно, что с вами случился такой анекдот. Не угодно ли вам понюхать табачку? это разбивает головные боли и печальные расположения; даже в отношении к геморроидам это хорошо.

Говоря это, чиновник поднес Ковалеву табакерку, довольно ловко подвернув под нее крышку с портретом какой-то дамы в шляпе.

Этот неумышленный поступок вывел из терпения Ковалева.

— Я не понимаю, как вы находите место шуткам,— сказал он с сердцем,— разве вы не видите, что у меня именно нет того, чем бы я мог понюхать? Чтоб черт побрал ваш табак! Я теперь не могу смотреть на него, и не только на скверный ваш березинский, но хоть бы вы поднесли мне самого рапе.

Сказавши это, он вышел, глубоко раздосадованный, из газет-

ной экспедиции и отправился к частному приставу, чрезвычайному охотнику до сахару. На дому его вся передняя, она же и столовая, была установлена сахарными головами, которые нанесли к нему из дружбы купцы. Кухарка в это время скидала с частного пристава казенные ботфорты; шпага и все военные доспехи уже мирно развесились по углам, и грозную треугольную шляпу уже затрогивал трехлетний сынок его; и он, после боевой, бранной жизни, готовился вкусить удовольствия мира.

Ковалев вошел к нему в то время, когда он потянулся, крякнул и сказал: «Эх, славно засну два часика!» И потому можно было предвидеть, что приход коллежского асессора был совершенно не вовремя; и не знаю, хотя бы он даже принес ему в то время несколько фунтов чаю или сукна, он бы не был принят слишком радушно. Частный был большой поощритель всех искусств и мануфактурностей, но государственную ассигнацию предпочитал всему. «Это вещь,— обыкновенно говорил он,— уж нет ничего лучше этой вещи: есть не просит, места займет немного, в кармане всегда поместится, уронишь — не расшибется».

Частный принял довольно сухо Ковалева и сказал, что после обеда не то время, чтобы производить следствие, что сама натура назначила, чтобы, наевшись, немного отдохнуть (из этого коллежский асессор мог видеть, что частному приставу были небезызвестны изречения древних мудрецов), что у порядочного человека не оторвут носа и что много есть на свете всяких майоров, которые не имеют даже и исподнего в приличном состоянии и таскаются по всяким непристойным местам.

То есть не в бровь, а прямо в глаз! Нужно заметить, что Ковалев был чрезвычайно обидчивый человек. Он мог простить все, что ни говорили о нем самом, но никак не извинял, если это относилось к чину или званию. Он даже полагал, что в театральных пьесах можно пропускать все, что относится к обер-офицерам, но на штаб-офицеров никак не должно нападать. Прием частного так его сконфузил, что он тряхнул головою и сказал с чувством достоинства, немного расставив свои руки: «Признаюсь, после этаких обидных с вашей стороны замечаний я ничего не могу прибавить...» — и вышел.

Он приехал домой, едва слыша под собою ноги. Были уже сумерки. Печальною или чрезвычайно гадкою показалась ему квартира после всех этих неудачных исканий. Взошедши в переднюю, увидел он на кожаном запачканном диване лакея своего Ивана, который, лежа на спине, плевал в потолок и попадал довольно удачно в одно и то же место. Такое равнодушие человека взбесило его; он ударил его шляпою по лбу, примолвив: «Ты, свинья, всегда глупостями занимаешься!»

Иван вскочил вдруг с своего места и бросился со всех ног снимать с него плащ.

Вошедши в свою комнату, майор, усталый и печальный, бросился в кресла и наконец после нескольких вздохов сказал:

— Боже мой! боже мой! За что это такое несчастие? Будь я без руки или без ноги — все бы это лучше; будь я без ушей — скверно, однако ж все сноснее; но без носа человек — черт знает что: птица не птица, гражданин не гражданин,— просто возьми да и вышвырни за окошко! И пусть бы уже на войне отрубили или на дуэли, или я сам был причиною; но ведь пропал ни за что ни про что, пропал даром, ни за грош!.. Только нет, не может быть,— прибавил он, немного подумав.— Невероятно, чтобы нос пропал; никаким образом не вероятно. Это, верно, или во сне снится, или просто грезится; может быть, я как-нибудь ошибкою выпил вместо воды водку, которою вытираю после бритья себе бороду. Иван, дурак, не принял, и я, верно, хватил ее.

Чтобы действительно увериться, что он не пьян, майор ущипнул себя так больно, что сам вскрикнул. Эта боль совершенно уверила его, что он действует и живет наяву. Он потихоньку приблизился к зеркалу и сначала зажмурил глаза с тою мыслию, что авось-либо нос покажется на своем месте; но в ту же минуту отскочил назад, сказавши:

— Экой пасквильный вид!

Это было, точно, непонятно. Если бы пропала пуговица, серебряная ложка, часы или что-нибудь подобное; но пропасть, и кому же пропасть? и притом еще на собственной квартире!.. Майор Ковалев, сообразя все обстоятельства, предполагал едва ли не ближе всего к истине, что виною этого должен быть не кто другой, как штаб-офицерша Подточина, которая желала, чтобы он женился на ее дочери. Он и сам любил за нею приволокнуться, но избегал окончательной разделки. Когда же штаб-офицерша объявила ему напрямик, что она хочет выдать ее за него, он потихоньку отчалил с своими комплиментами, сказавши, что еще молод, что нужно ему прослужить лет пяток, чтобы уже ровно было сорок два года. И потому штаб-офицерша, верно из мщения, решилась его испортить и наняла для этого каких-нибудь колдовок-баб, потому что никаким образом нельзя было предположить, чтобы нос был отрезан: никто не входил к нему в комнату; цирюльник же Иван Яковлевич брил его еще в среду, а в продолжение всей среды и даже во весь четверток нос у него был цел — это он помнил и знал очень хорошо; притом была бы им чувствуема боль, и, без сомнения, рана не могла бы так скоро зажить и быть гладкою, как блин. Он строил в голове планы: звать ли штаб-офицершу формальным порядком в суд или явиться к ней самому и уличить ее. Размышления его прерваны

«Портрет»

Худ. В. Горяев

были светом, блеснувшим сквозь все скважины дверей, который дал знать, что свеча в передней уже зажжена Иваном. Скоро показался и сам Иван, неся ее перед собою и озаряя ярко всю комнату. Первым движением Ковалева было схватить платок и закрыть то место, где вчера еще был нос, чтобы в самом деле глупый человек не зазевался, увидя у барина такую странность.

Не успел Иван уйти в конуру свою, как послышался в передней незнакомый голос, произнесший:

— Здесь ли живет коллежский асессор Ковалев?

— Войдите. Майор Ковалев здесь,— сказал Ковалев, вскочивши поспешно и отворяя дверь.

Вошел полицейский чиновник красивой наружности, с бакенбардами не слишком светлыми и не темными, с довольно полными щеками, тот самый, который в начале повести стоял в конце Исакиевского моста.

— Вы изволили затерять нос свой?

— Так точно.

— Он теперь найден.

— Что вы говорите? — закричал майор Ковалев. Радость отняла у него язык. Он глядел в оба на стоявшего перед ним квартального, на полных губах и щеках которого ярко мелькал трепетный свет свечи.— Каким образом?

— Странным случаем: его перехватили почти на дороге. Он уже садился в дилижанс и хотел уехать в Ригу. И паспорт давно был написан на имя одного чиновника. И странно то, что я сам принял его сначала за господина. Но, к счастию, были со мной очки, и я тот же час увидел, что это был нос. Ведь я близорук, и если вы станете передо мною, то я вижу только, что у вас лицо, но ни носа, ни бороды, ничего не замечу. Моя теща, то есть мать жены моей, тоже ничего не видит.

Ковалев был вне себя.

— Где же он? Где? Я сейчас побегу.

— Не беспокойтесь. Я, зная, что он вам нужен, принес его с собою. И странно то, что главный участник в этом деле есть мошенник цирюльник на Вознесенской улице, который сидит теперь на съезжей. Я давно подозревал его в пьянстве и воровстве, и еще третьего дня стащил он в одной лавочке бортище пуговиц. Нос ваш совершенно таков, как был.

При этом квартальный полез в карман и вытащил оттуда завернутый в бумажке нос.

— Так, он! — закричал Ковалев.— Точно, он! Выкушайте сегодня со мною чашечку чаю.

— Почел бы за большую приятность, но никак не могу: мне нужно заехать отсюда в смирительный дом... Очень большая под-

нялась дороговизна на все припасы... У меня в доме живет и теща, то есть мать моей жены, и дети; старший особенно подает большие надежды: очень умный мальчишка, но средств для воспитания совершенно нет никаких...

Ковалев догадался и, схватив со стола красную ассигнацию, сунул в руки надзирателю, который, расшаркавшись, вышел за дверь, и в ту же почти минуту Ковалев слышал уже голос его на улице, где он увещевал по зубам одного глупого мужика, наехавшего с своею телегою как раз на бульвар.

Коллежский асессор по уходе квартального несколько минут оставался в каком-то неопределенном состоянии и едва через несколько минут пришел в возможность видеть и чувствовать: в такое беспамятство повергла его неожиданная радость. Он взял бережливо найденный нос в обе руки, сложенные горстью, и еще раз рассмотрел его внимательно.

— Так, он, точно он!— говорил майор Ковалев.— Вот и прыщик на левой стороне, вскочивший вчерашнего дня.

Майор чуть не засмеялся от радости.

Но на свете нет ничего долговременного, а потому и радость в следующую минуту за первою уже не так жива; в третью минуту она становится еще слабее и наконец незаметно сливается с обыкновенным положением души, как на воде круг, рожденный падением камешка, наконец сливается с гладкою поверхностью. Ковалев начал размышлять и смекнул, что дело еще не кончено: нос найден, но ведь нужно же его приставить, поместить на свое место.

— А что, если он не пристанет?

При таком вопросе, сделанном самому себе, майор побледнел.

С чувством неизъяснимого страха бросился он к столу, придвинул зеркало, чтобы как-нибудь не поставить нос криво. Руки его дрожали. Осторожно и осмотрительно наложил он его на прежнее место. О ужас! Нос не приклеивался!.. Он поднес его ко рту, нагрел его слегка своим дыханием и опять поднес к гладкому месту, находившемуся между двух щек; но нос никаким образом не держался.

— Ну, ну же! полезай, дурак! — говорил он ему. Но нос был как деревянный и падал на стол с таким странным звуком, как будто бы пробка. Лицо майора судорожно скривилось.— Неужели он не прирастет? — говорил он в испуге. Но сколько раз ни подносил он его на его же собственное место, старание было по-прежнему неуспешно.

Он кликнул Ивана и послал его за доктором, который занимал в том же самом доме лучшую квартиру в бельэтаже. Доктор этот был видный из себя мужчина, имел прекрасные смолистые бакенбарды, свежую, здоровую докторшу, ел поутру свежие ябло-

ки и держал рот в необыкновенной чистоте, полоща его каждое утро почти три четверти часа и шлифуя зубы пятью разных родов щеточками. Доктор явился в ту же минуту. Спросивши, как давно случилось несчастие, он поднял майора Ковалева за подбородок и дал ему большим пальцем щелчка в то самое место, где прежде был нос, так что майор должен был откинуть свою голову назад с такою силою, что ударился затылком в стену. Медик сказал, что это ничего, и, посоветовавши отодвинуться немного от стены, велел ему перегнуть голову сначала на правую сторону и, пощупавши то место, где прежде был нос, сказал: «Гм!» Потом велел ему перегнуть голову на левую сторону и сказал: «Гм!» — и в заключение дал опять ему большим пальцем щелчка, так что майор Ковалев дернул головою, как конь, которому смотрят в зубы. Сделавши такую пробу, медик покачал головою и сказал:

— Нет, нельзя. Вы уж лучше так оставайтесь, потому что можно сделать еще хуже. Оно, конечно, приставить можно; я бы, пожалуй, вам сейчас приставил его; но я вас уверяю, что это для вас хуже.

— Вот хорошо! как же мне оставаться без носа? — сказал Ковалев.— Уж хуже не может быть, как теперь. Это просто черт знает что! Куда же я с этакою пасквильностию покажуся? Я имею хорошее знакомство; вот и сегодня мне нужно быть на вечере в двух домах. Я со многими знаком: статская советница Чехтарева, Подточина — штаб-офицерша... хоть после теперешнего поступка ее я не имею с ней другого дела, как только чрез полицию. Сделайте милость,— произнес Ковалев умоляющим голосом,— нет ли средства? как-нибудь приставьте; хоть не хорошо, лишь бы только держался; я даже могу его слегка подпирать рукою в опасных случаях. Я же притом и не танцую, чтобы мог вредить каким-нибудь неосторожным движением. Все, что относится насчет благодарности за визиты, уж будьте уверены, сколько дозволят мои средства...

— Верите ли,— сказал доктор ни громким, ни тихим голосом, но чрезвычайно уветливым и магнетическим,— что я никогда из корысти не лечу. Это противно моим правилам и моему искусству. Правда, я беру за визиты, но единственно с тем только, чтобы не обидеть моим отказом. Конечно, я бы приставил ваш нос; но я вас уверяю честью, если уже вы не верите моему слову, что это будет гораздо хуже. Предоставьте лучше действию самой натуры. Мойте чаще холодною водою, и я вас уверяю, что вы, не имея носа, будете так же здоровы, как если бы имели его. А нос я вам советую положить в банку со спиртом или, еще лучше, влить туда две столовые ложки острой водки и подогретого уксуса,— тогда вы можете взять за него порядочные деньги. Я даже сам возьму его, если вы только не подорожитесь.

— Нет, нет! ни за что не продам! — вскричал отчаянный майор Ковалев,— лучше пусть он пропадет!

— Извините! — сказал доктор, откланиваясь,— я хотел быть вам полезным... Что ж делать! По крайней мере, вы видели мое старание.

Сказавши это, доктор с благородною осанкою вышел из комнаты. Ковалев не заметил даже лица его и в глубокой бесчувственности видел только выглядывавшие из рукавов его черного фрака рукавчики белой и чистой, как снег, рубашки.

Он решился на другой же день, прежде представления жалобы, писать к штаб-офицерше, не согласится ли она без бою возвратить ему то, что следует. Письмо было такого содержания:

«Милостивая государыня
Александра Григорьевна!

Не могу понять странного со стороны вашей действия. Будьте уверены, что, поступая таким образом, ничего вы не выиграете и ничуть не принудите меня жениться на вашей дочери. Поверьте, что история насчет моего носа мне совершенно известна, равно как то, что в этом вы есть главные участницы, а не кто другой. Внезапное его отделение с своего места, побег и маскирование, то под видом одного чиновника, то, наконец, в собственном виде, есть больше ничего, кроме следствие волхвований, произведенных вами или теми, которые упражняются в подобных вам благородных занятиях. Я с своей стороны почитаю долгом вас предуведомить: если упоминаемый мною нос не будет сегодня же на своем месте, то я принужден буду прибегнуть к защите и покровительству законов.

Впрочем, с совершенным почтением к вам имею честь быть

Ваш покорный слуга
*Платон Ковалев».*

«Милостивый государь
Платон Кузьмич!

Чрезвычайно удивило меня письмо ваше. Я, признаюсь вам по откровенности, никак не ожидала, а тем более относительно несправедливых укоризн со стороны вашей. Предуведомляю вас, что я чиновника, о котором упоминаете вы, никогда не принимала у себя в доме, ни замаскированного, ни в настоящем виде. Бывал у меня, правда, Филипп Иванович Потанчиков. И хотя он, точно, искал руки моей дочери, будучи сам хорошего, трезвого поведения и великой учености, но я никогда не подавала ему никакой надежды. Вы упоминаете еще о носе. Если вы разумеете под сим, что

будто бы я хотела оставить вас с носом, то есть дать вам формальный отказ, то меня удивляет, что вы сами об этом говорите, тогда как я, сколько вам известно, была совершенно противного мнения, и если вы теперь же посватаетесь на моей дочери законным образом, я готова сей же час удовлетворить вас, ибо это составляло всегда предмет моего живейшего желания, в надежде чего остаюсь всегда готовою к услугам вашим

*Александра Подточина».*

«Нет,— говорил Ковалев, прочитавши письмо.— Она точно не виновата. Не может быть! Письмо так написано, как не может написать человек, виноватый в преступлении.— Коллежский асессор был в этом сведущ потому, что был посылан несколько раз на следствие еще в Кавказской области.— Каким же образом, какими судьбами это приключилось? Только черт разберет это!» — сказал он наконец, опустив руки.

Между тем слухи об этом необыкновенном происшествии распространились по всей столице, и, как водится, не без особенных прибавлений. Тогда умы всех именно настроены были к чрезвычайному: недавно только что занимали публику опыты действия магнетизма. Притом история о танцующих стульях в Конюшенной улице была еще свежа, и потому нечего удивляться, что скоро начали говорить, будто нос коллежского асессора Ковалева ровно в три часа прогуливается по Невскому проспекту. Любопытных стекалось каждый день множество. Сказал кто-то, что нос будто бы находился в магазине Юнкера — и возле Юнкера такая сделалась толпа и давка, что должна была даже полиция вступиться. Один спекулятор почтенной наружности, с бакенбардами, продававший при входе в театр разные сухие кондитерские пирожки, нарочно поделал прекрасные деревянные прочные скамьи, на которые приглашал любопытных становиться за восемьдесят копеек от каждого посетителя. Один заслуженный полковник нарочно для этого вышел раньше из дому и с большим трудом пробрался сквозь толпу; но, к большому негодованию своему, увидел в окне магазина вместо носа обыкновенную шерстяную фуфайку и литографированную картинку с изображением девушки, поправлявшей чулок, и глядевшего на нее из-за дерева франта с откидным жилетом и небольшою бородкою,— картинку, уже более десяти лет висящую все на одном месте. Отошед, он сказал с досадою: «Как можно этакими глупыми и неправдоподобными слухами смущать народ?»

Потом пронесся слух, что не на Невском проспекте, а в Таврическом саду прогуливается нос майора Ковалева, что будто бы он давно уже там; что когда еще проживал там Хозрев-Мирза, то очень удивлялся этой странной игре природы. Некоторые из сту-

дентов Хирургической академии отправились туда. Одна знатная, почтенная дама просила особенным письмом смотрителя за садом показать детям ее этот редкий феномен и, если можно, с объяснением наставительным и назидательным для юношей.

Всем этим происшествиям были чрезвычайно рады все светские, необходимые посетители раутов, любившие смешить дам, у которых запас в то время совершенно истощился. Небольшая часть почтенных и благонамеренных людей была чрезвычайно недовольна. Один господин говорил с негодованием, что он не понимает, как в нынешний просвещенный век могут распространяться нелепые выдумки, и что он удивляется, как не обратит на это внимание правительство. Господин этот, как видно, принадлежал к числу тех господ, которые желали бы впутать правительство во всё, даже в свои ежедневные ссоры с женою. Вслед за этим... но здесь вновь все происшествие скрывается туманом, и что было потом, решительно неизвестно.

## III

Чепуха́ совершенная делается на свете. Иногда вовсе нет никакого правдоподобия: вдруг тот самый нос, который разъезжал в чине статского советника и наделал столько шуму в городе, очутился как ни в чем не бывало вновь на своем месте, то есть именно между двух щек майора Ковалева. Это случилось уже апреля седьмого числа. Проснувшись и нечаянно взглянув в зеркало, видит он: нос! — хвать рукою — точно нос! «Эге!» — сказал Ковалев и в радости чуть не дернул по всей комнате босиком тропака, но вошедший Иван помешал. Он приказал тот же час дать себе умыться и, умываясь, взглянул еще раз в зеркало: нос! Вытираясь утиральником, он опять взглянул в зеркало: нос!

— А посмотри, Иван, кажется, у меня на носу как будто прыщик,— сказал он и между тем думал: «Вот беда, как Иван скажет: да нет, судырь, не только прыщика, и самого носа нет!»

Но Иван сказал:

— Ничего-с, никакого прыщика: нос чистый!

«Хорошо, черт побери!» — сказал сам себе майор и щелкнул пальцами. В это время выглянул в дверь цирюльник Иван Яковлевич, но так боязливо, как кошка, которую только что высекли за кражу сала.

— Говори вперед: чисты руки? — кричал еще издали ему Ковалев.

— Чисты.

— Врешь!

— Ей-богу-с, чисты, судырь.

— Ну, смотри же.

Ковалев сел. Иван Яковлевич закрыл его салфеткою и в одно мгновенье с помощью кисточки превратил всю бороду его и часть щеки в крем, какой подают на купеческих именинах.

«Вишь ты! — сказал сам себе Иван Яковлевич, взглянувши на нос, и потом перегнул голову на другую сторону и посмотрел на него сбоку.— Вона! эк его, право, как подумаешь»,— продолжал он и долго смотрел на нос. Наконец легонько, с бережливостью, какую только можно себе вообразить, он приподнял два пальца, с тем чтобы поймать его за кончик. Такова уж была система Ивана Яковлевича.

— Ну, ну, ну, смотри! — закричал Ковалев.

Иван Яковлевич и руки опустил, оторопел и смутился, как никогда не смущался. Наконец осторожно стал он щекотать бритвой у него под бородою; и хотя ему было совсем несподручно и трудно брить без придержки за нюхательную часть тела, однако же, кое-как упираясь своим шероховатым большим пальцем ему в щеку и в нижнюю десну, наконец одолел все препятствия и выбрил.

Когда все было готово, Ковалев поспешил тот же час одеться, взял извозчика и поехал прямо в кондитерскую. Входя, закричал он еще издали: «Мальчик, чашку шоколаду!» — а сам в ту же минуту к зеркалу: есть нос! Он весело оборотился назад и с сатирическим видом посмотрел, несколько прищуря глаз, на двух военных, у одного из которых был нос никак не больше жилетной пуговицы. После того отправился он в канцелярию того департамента, где хлопотал об вице-губернаторском месте, а в случае неудачи об экзекуторском. Проходя чрез приемную, он взглянул в зеркало: есть нос! Потом поехал он к другому коллежскому асессору, или майору, большому насмешнику, которому он часто говорил в ответ на разные занозистые заметки: «Ну, уж ты, я тебя знаю, ты шпилька!» Дорогою он подумал: «Если и майор не треснет со смеху, увидевши меня, тогда уж верный знак, что все, что ни есть, сидит на своем месте». Но коллежский асессор ничего. «Хорошо, хорошо, черт побери!» — подумал про себя Ковалев. На дороге встретил он штаб-офицершу Подточину вместе с дочерью, раскланялся с ними и был встречен с радостными восклицаньями: стало быть, ничего, в нем нет никакого ущерба. Он разговаривал с ними очень долго и, нарочно вынувши табакерку, набивал пред ними весьма долго свой нос с обоих подъездов, приговаривая про себя: «Вот, мол, вам, бабьё, куриный народ! а на дочке все-таки не женюсь. Так просто, par amour [1],— изволь!»

[1] по любви *(франц.)*.

И майор Ковалев с тех пор прогуливался как ни в чем не бывало и на Невском проспекте, и в театрах, и везде. И нос тоже как ни в чем не бывало сидел на его лице, не показывая даже вида, чтобы отлучался по сторонам. И после того майора Ковалева видели вечно в хорошем юморе, улыбающегося, преследующего решительно всех хорошеньких дам и даже остановившегося один раз перед лавочкой в Гостином дворе и покупавшего какую-то орденскую ленточку, неизвестно для каких причин, потому что он сам не был кавалером никакого ордена.

Вот какая история случилась в северной столице нашего обширного государства! Теперь только, по соображении всего, видим, что в ней есть много неправдоподобного. Не говоря уже о том, что точно странно сверхъестественное отделение носа и появленье его в разных местах в виде статского советника,— как Ковалев не смекнул, что нельзя чрез газетную экспедицию объявлять о посе? Я здесь не в том смысле говорю, чтобы мне казалось дорого заплатить за объявление: это вздор, и я совсем не из числа корыстолюбивых людей. Но неприлично, неловко, нехорошо! И опять тоже — как нос очутился в печеном хлебе и как сам Иван Яковлевич?.. нет, этого я никак не понимаю, решительно не понимаю! Но что страннее, что непонятнее всего,— это то, как авторы могут брать подобные сюжеты... Признаюсь, это уж совсем непостижимо, это точно... нет, нет, совсем не понимаю. Во-первых, пользы отечеству решительно никакой; во-вторых... но и во-вторых тоже нет пользы. Просто я не знаю, что это...

А, однако же, при всем том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, может даже... ну да и где ж не бывает несообразностей?.. А все, однако же, как поразмыслишь, во всем этом, право, есть что-то. Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете,— редко, но бывают.

## ПОРТРЕТ

### ЧАСТЬ I

Нигде не останавливалось столько народа, как перед картинною лавочкою на Щукином дворе. Эта лавочка представляла, точно, самое разнородное собрание диковинок: картины большею частью были писаны масляными красками, покрыты темно-зеленым лаком, в темно-желтых мишурных рамах. Зима с белыми деревьями, совершенно красный вечер, похожий на зарево пожара, фламандский мужик с трубкою и выломанною рукою, похожий более

на индейского петуха в манжетах, нежели на человека,— вот их обыкновенные сюжеты. К этому нужно присовокупить несколько гравированных изображений: портрет Хозрева-Мирзы в бараньей шапке, портреты каких-то генералов в треугольных шляпах, с кривыми носами. Сверх того, двери такой лавочки обыкновенно бывают увешаны связками произведений, отпечатанных лубками на больших листах, которые свидетельствуют самородное дарованье русского человека. На одном была царевна Миликтриса Кирбитьевна, на другом город Иерусалим, по домам и церквам которого без церемонии прокатилась красная краска, захватившая часть земли и двух молящихся русских мужиков в рукавицах. Покупателей этих произведений обыкновенно немного, но зато зрителей — куча. Какой-нибудь забулдыга лакей уже, верно, зевает перед ними, держа в руке судки с обедом из трактира для своего барина, который, без сомнения, будет хлебать суп не слишком горячий. Перед ним уже, верно, стоит в шинели солдат, этот кавалер толкучего рынка, продающий два перочинные ножика; торговка-охтенка с коробкою, наполненною башмаками. Всякий восхищается по-своему: мужики обыкновенно тыкают пальцами; кавалеры рассматривают серьезно; лакеи-мальчики и мальчишки-мастеровые смеются и дразнят друг друга нарисованными карикатурами; старые лакеи во фризовых шинелях смотрят потому только, чтобы где-нибудь позевать; а торговки, молодые русские бабы, спешат по инстинкту, чтобы послушать, о чем калякает народ, и посмотреть, на что он смотрит.

В это время невольно остановился перед лавкою проходивший мимо молодой художник Чартков. Старая шинель и нещегольское платье показывали в нем того человека, который с самоотвержением предан был своему труду и не имел времени заботиться о своем наряде, всегда имеющем таинственную привлекательность для молодости. Он остановился перед лавкою и сперва внутренно смеялся над этими уродливыми картинами. Наконец овладело им невольное размышление: он стал думать о том, кому бы нужны были эти произведения. Что русский народ заглядывается на *Еруслановых Лазаревичей,* на *объедал* и *обпивал,* на *Фому* и *Ерему,* это не казалось ему удивительным: изображенные предметы были очень доступны и понятны народу; но где покупатели этих пестрых, грязных масляных малеваний? кому нужны эти фламандские мужики, эти красные и голубые пейзажи, которые показывают какое-то притязание на несколько уже высший шаг искусства, но в котором выразилось все глубокое его унижение? Это, казалось, не были вовсе труды ребенка-самоучки. Иначе в них бы, при всей бесчувственной карикатурности целого, вырывался острый порыв. Но здесь было видно про-

сто тупоумие, бессильная, дряхлая бездарность, которая самоуправно стала в ряды искусств, тогда как ей место было среди низких ремесл, бездарность, которая была верна, однако ж, своему призванию и внесла в самое искусство свое ремесло. Те же краски, та же манера, та же набившаяся, приобыкшая рука, принадлежавшая скорее грубо сделанному автомату, нежели человеку!.. Долго стоял он пред этими грязными картинами, уже наконец не думая вовсе о них, а между тем хозяин лавки, серенький человечек во фризовой шинели, с бородой, не бритой с самого воскресенья, толковал ему уже давно, торговался и условливался в цене, еще не узнав, что ему понравилось и что нужно.

— Вот за этих мужичков и за ландшафтик возьму беленькую. Живопись-то какая! Просто глаз прошибет; только что получены с биржи; еще лак не высох. Или вот зима, возьмите зиму! Пятнадцать рублей! Одна рамка чего стоит. Вот она какая зима! — Тут купец дал легкого щелчка в полотно, вероятно чтобы показать всю добро́ту зимы.— Прикажете связать их вместе и снести за вами? Где изволите жить? Эй, малый, подай веревочку.

— Постой, брат, не так скоро,— сказал очнувшийся художник, видя, что уж проворный купец принялся не в шутку их связывать вместе. Ему сделалось несколько совестно не взять ничего, застоявшись так долго в лавке, и он сказал:

— А вот постой, я посмотрю, нет ли для меня чего-нибудь здесь,— и, наклонившись, стал доставать с полу наваленные громоздко, истертые, запыленные старые малеванья, не пользовавшиеся, как видно, никаким почетом. Тут были старинные фамильные портреты, которых потомков, может быть, и на свете нельзя было отыскать, совершенно неизвестные изображения с прорванным холстом, рамки, лишенные позолоты,— словом, всякий ветхий сор. Но художник принялся рассматривать, думая втайне: «Авось что-нибудь и отыщется». Он слышал не раз рассказы о том, как иногда у лубочных продавцов были отыскиваемы в сору картины великих мастеров.

Хозяин, увидев, куда полез он, оставил свою суетливость и, принявши обыкновенное положение и надлежащий вес, поместился сызнова у дверей, зазывая прохожих и указывая им одной рукой на лавку: «Сюда, батюшка, вот картины! зайдите, зайдите; с биржи получены». Уже накричался он вдоволь и большею частью бесплодно, наговорился досыта с лоскутным продавцом, стоявшим насупротив его также у дверей своей лавочки, и, наконец вспомнив, что у него в лавке есть покупатель, поворотил народу спину и отправился вовнутрь ее. «Что, батюшка, выбрали что-нибудь?» Но художник уже стоял несколько времени неподвижно перед

одним портретом в больших, когда-то великолепных рамах, но на которых чуть блестели теперь следы позолоты.

Это был старик с лицом бронзового цвета, скулистым, чахлым; черты лица, казалось, были схвачены в минуту судорожного движенья и отзывались не северною силою. Пламенный полдень был запечатлен в них. Он был драпирован в широкий азиатский костюм. Как ни был поврежден и запылен портрет, но когда удалось ему счистить с лица пыль, он увидел следы работы высокого художника. Портрет, казалось, был не кончен; но сила кисти была разительна. Необыкновеннее всего были глаза: казалось, в них употребил всю силу кисти и все старательное тщание свое художник. Они просто глядели, глядели даже из самого портрета, как будто разрушая его гармонию своею странною живостью. Когда поднес он портрет к дверям, еще сильнее глядели глаза. Впечатление почти то же произвели они и в народе. Женщина, остановившаяся позади его, вскрикнула: «Глядит, глядит»,— и попятилась назад. Какое-то неприятное, непонятное самому себе чувство почувствовал он и поставил портрет на землю.

— А что ж, возьмите портрет! — сказал хозяин.

— А сколько? — сказал художник.

— Да что за него дорожиться? три четвертачка давайте!

— Нет.

— Ну, да что ж дадите?

— Двугривенный,— сказал художник, готовясь идти.

— Эк цену какую завернули! да за двугривенный одной рамки не купишь. Видно, завтра собираетесь купить? Господин, господин, воротитесь! гривенничек хоть прикиньте. Возьмите, возьмите, давайте двугривенный. Право, для почину только, вот только что первый покупатель.

Засим он сделал жест рукой, как будто бы говоривший: «Так уж и быть, пропадай картина!»

Таким образом Чартков совершенно неожиданно купил старый портрет и в то же время подумал: «Зачем я его купил? на что он мне?» Но делать было нечего. Он вынул из кармана двугривенный, отдал хозяину, взял портрет под мышку и потащил его с собою. Дорогою он вспомнил, что двугривенный, который он отдал, был у него последний. Мысли его вдруг омрачились; досада и равнодушная пустота обняли его в ту же минуту. «Черт побери! гадко на свете!» — сказал он с чувством русского, у которого дела плохи. И почти машинально шел скорыми шагами, полный бесчувствия ко всему. Красный свет вечерней зари оставался еще на половине неба; еще домы, обращенные к той стороне, чуть озарялись ее теплым светом; а между тем уже холодное синеватое сиянье месяца становилось сильнее. Полупрозрачные легкие тени хвостами падали

на землю, отбрасываемые домами и ногами пешеходцев. Уже художник начинал мало-помалу заглядываться на небо, озаренное каким-то прозрачным, тонким, сомнительным светом, и почти в одно время излетали из уст его слова: «Какой легкий тон!» — и слова: «Досадно, черт побери!» И он, поправляя портрет, беспрестанно съезжавший из под мышек, ускорял шаг.

Усталый и весь в поту, дотащился он к себе в Пятнадцатую линию на Васильевский остров. С трудом и с отдышкой взобрался он по лестнице, облитой помоями и украшенной следами кошек и собак. На стук его в дверь не было никакого ответа: человека не было дома. Он прислонился к окну и расположился ожидать терпеливо, пока не раздались наконец позади его шаги парня в синей рубахе, его приспешника, натурщика, краскотерщика и выметателя полов, пачкавшего их тут же своими сапогами. Парень назывался Никитою и проводил все время за воротами, когда барина не было дома. Никита долго силился попасть ключом в замочную дырку, вовсе не заметную по причине темноты. Наконец дверь была отперта. Чартков вступил в свою переднюю, нестерпимо холодную, как всегда бывает у художников, чего, впрочем, они не замечают. Не отдавая Никите шинели, он вошел вместе с нею в свою студию, квадратную комнату, большую, но низенькую, с мерзнувшими окнами, уставленную всяким художеским хламом: кусками гипсовых рук, рамками, обтянутыми холстом, эскизами, начатыми и брошенными, драпировкой, развешанной по стульям. Он устал сильно, скинул шинель, поставил рассеянно принесенный портрет между двух небольших холстов и бросился на узкий диванчик, о котором нельзя было сказать, что он обтянут кожею, потому что ряд медных гвоздиков, когда-то прикреплявших ее, давно уже остался сам по себе, а кожа осталась тоже сверху сама по себе, так что Никита засовывал под нее черные чулки, рубашки и все немытое белье. Посидев и разлегшись, сколько можно было разлечься на этом узеньком диване, он наконец спросил свечу.

— Свечи нет,— сказал Никита.

— Как нет?

— Да ведь и вчера еще не было,— сказал Никита.

Художник вспомнил, что действительно и вчера еще не было свечи, успокоился и замолчал. Он дал себя раздеть и надел свой крепко и сильно заношенный халат.

— Да вот еще, хозяин был,— сказал Никита.

— Ну, приходил за деньгами? знаю,— сказал художник, махнув рукой.

— Да он не один приходил,— сказал Никита.

— С кем же?

— Не знаю, с кем... какой-то квартальный.

— А квартальный зачем?

— Не знаю зачем; говорит, затем, что за квартиру не плачено.

— Ну, что ж из того выйдет?

— Я не знаю, что выйдет; он говорил: коли не хочет, так пусть, говорит, съезжает с квартиры; хотели завтра еще прийти оба.

— Пусть их приходят,— сказал с грустным равнодушием Чартков. И ненастное расположение духа овладело им вполне.

Молодой Чартков был художник с талантом, пророчившим многое: вспышками и мгновеньями его кисть отзывалась наблюдательностию, соображением, шибким порывом приблизиться более к природе. «Смотри, брат,— говорил ему не раз его профессор,— у тебя есть талант; грешно будет, если ты его погубишь. Но ты нетерпелив. Тебя одно что-нибудь заманит, одно что-нибудь тебе полюбится — ты им занят, а прочее у тебя дрянь, прочее тебе нипочем, ты уж и глядеть на него не хочешь. Смотри, чтоб из тебя не вышел модный живописец. У тебя и теперь уже что-то начинают слишком бойко кричать краски. Рисунок у тебя не строг, а подчас и вовсе слаб, линия не видна; ты уж гоняешься за модным освещением, за тем, что бьет на первые глаза. Смотри, как раз попадешь в английский род. Берегись; тебя уж начинает свет тянуть; уж я вижу у тебя иной раз на шее щегольской платок, шляпа с лоском... Оно заманчиво, можно пуститься писать модные картинки, портретики за деньги. Да ведь на этом губится, а не развертывается талант. Терпи. Обдумывай всякую работу, брось щегольство — пусть их набирают другие деньги. Твое от тебя не уйдет».

Профессор был отчасти прав. Иногда хотелось, точно, нашему художнику кутнуть, щегольнуть — словом, кое-где показать свою молодость. Но при всем том он мог взять над собою власть. Временами он мог позабыть все, принявшись за кисть, и отрывался от нее не иначе, как от прекрасного прерванного сна. Вкус его развивался заметно. Еще не понимал он всей глубины Рафаэля, но уже увлекался быстрой, широкой кистью Гвида, останавливался перед портретами Тициана, восхищался фламандцами. Еще потемневший облик, облекающий старые картины, не весь сошел пред ним; но он уже прозревал в них кое-что, хотя внутренно не соглашался с профессором, чтобы старинные мастера так недосягаемо ушли от нас; ему казалось даже, что девятнадцатый век кое в чем значительно их опередил, что подражание природе как-то сделалось теперь ярче, живее, ближе; словом, он думал в этом случае так, как думает молодость, уже постигшая кое-что и чувствующая это в гордом внутреннем сознании. Иногда становилось ему досадно, когда он видел, как заезжий живописец, француз или немец, иногда даже вовсе не живописец по призванью, одной только при-

вычной замашкой, бойкостью кисти и яркостью красок производил всеобщий шум и скапливал себе вмиг денежный капитал. Это приходило к нему на ум не тогда, когда, занятый весь своей работой, он забывал и питье, и пищу, и весь свет, но тогда, когда наконец сильно приступала необходимость, когда не на что было купить кистей и красок, когда неотвязчивый хозяин приходил раз по десяти на день требовать платы за квартиру. Тогда завидно рисовалась в голодном его воображенье участь богача-живописца; тогда пробегала даже мысль, пробегающая часто в русской голове: бросить все и закутить с горя назло всему. И теперь он почти был в таком положении.

— Да! терпи, терпи! — произнес он с досадою.— Есть же наконец и терпенью конец. Терпи! а на какие деньги я завтра буду обедать? Взаймы ведь никто не даст. А понеси я продавать все мои картины и рисунки, за них мне за все двугривенный дадут. Они полезны, конечно, я это чувствую: каждая из них предпринята недаром, в каждой из них я что-нибудь узнал. Да ведь что пользы? этюды, попытки — и всё будут этюды, попытки, и конца не будет им. Да и кто купит, не зная меня по имени? да и кому нужны рисунки с антиков из натурального класса, или моя неоконченная любовь Психеи, или перспектива моей комнаты, или портрет моего Никиты, хотя он, право, лучше портретов какого-нибудь модного живописца? Что, в самом деле? Зачем я мучусь и, как ученик, копаюсь над азбукой, тогда как мог бы блеснуть ничем не хуже других и быть таким, как они, с деньгами.

Произнесши это, художник вдруг задрожал и побледнел: на него глядело, высунувшись из-за поставленного холста, чье-то судорожно искаженное лицо. Два страшные глаза прямо вперились в него, как бы готовясь сожрать его; на устах написано было грозное повеленье молчать. Испуганный, он хотел вскрикнуть и позвать Никиту, который уже успел запустить в своей передней богатырское храпенье; но вдруг остановился и засмеялся. Чувство страха отлегло вмиг. Это был им купленный портрет, о котором он позабыл вовсе. Сияние месяца, озаривши комнату, упало и на него и сообщило ему странную живость. Он принялся его рассматривать и оттирать. Омакнул в воду губку, прошел ею по нем несколько раз, смыл с него почти всю накопившуюся и набившуюся пыль и грязь, повесил перед собой на стену и подивился еще более необыкновенной работе: все лицо почти ожило, и глаза взглянули на него так, что он наконец вздрогнул и, попятившись назад, произнес изумленным голосом: «Глядит, глядит человеческими глазами!» Ему пришла вдруг на ум история, слышанная давно им от своего профессора, об одном портрете знаменитого Леонардо да Винчи, над которым великий мастер трудился несколько лет и все

еще почитал его неоконченным и который, по словам Вазари, был, однако же, почтен от всех за совершеннейшее и окончательнейшее произведение искусства. Окончательнее всего были в нем глаза, которым изумлялись современники; даже малейшие, чуть видные в них жилки были не упущены и приданы полотну. Но здесь, однако же, в сем, ныне бывшем пред ним, портрете было что-то странное. Это было уже не искусство: это разрушало даже гармонию самого портрета. Это были живые, это были человеческие глаза! Казалось, как будто они были вырезаны из живого человека и вставлены сюда. Здесь не было уже того высокого наслажденья, которое объемлет душу при взгляде на произведение художника, как ни ужасен взятый им предмет; здесь было какое-то болезненное, томительное чувство. «Что это? — невольно вопрошал себя художник.— Ведь это, однако же, натура, это живая натура; отчего же это странно-неприятное чувство? Или рабское, буквальное подражание натуре есть уже проступок и кажется ярким, нестройным криком? Или, если возьмешь предмет безучастно, бесчувственно, не сочувствуя с ним, он непременно предстанет только в одной ужасной своей действительности, не озаренный светом какой-то непостижимой, скрытой во всем мысли, предстанет в той действительности, какая открывается тогда, когда желая постигнуть прекрасного человека, вооружаешься анатомическим ножом, рассекаешь его внутренность и видишь отвратительного человека? Почему же простая, низкая природа является у одного художника в каком-то свету, и не чувствуешь никакого низкого впечатления; напротив, кажется, как будто насладился, и после того спокойнее и ровнее все течет и движется вокруг тебя? И почему же та же самая природа у другого художника кажется низкою, грязною, а между прочим, он так же был верен природе? Но нет, нет в ней чего-то озаряющего. Все равно как вид в природе: как он ни великолепен, а все недостает чего-то, если нет на небе солнца».

Он опять подошел к портрету, с тем чтобы рассмотреть эти чудные глаза, и с ужасом заметил, что они точно глядят на него. Это уже не была копия с натуры, это была та странная живопись, которою бы озарилось лицо мертвеца, вставшего из могилы. Свет ли месяца, несущий с собой бред мечты и облекающий все в иные образы, противоположные положительному дню, или что другое было причиною тому, только ему сделалось вдруг, неизвестно отчего, страшно сидеть одному в комнате. Он тихо отошел от портрета, отворотился в другую сторону и старался не глядеть на него, а между тем глаз невольно, сам собою, косясь, окидывал его. Наконец ему сделалось даже страшно ходить по комнате; ему казалось, как будто сей же час кто-то другой станет ходить позади его, и всякий раз робко оглядывался он назад. Он не был никогда

труслив; но воображенье и нервы его были чутки, и в этот вечер он сам не мог истолковать себе своей невольной боязни. Он сел в уголок, но и здесь казалось ему, что кто-то вот-вот взглянет через плечо к нему в лицо. Самое храпенье Никиты, раздававшееся из передней, не прогоняло его боязни. Он наконец робко, не подымая глаз, поднялся с своего места, отправился к себе за ширму и лег в постель. Сквозь щелки в ширмах он видел освещенную месяцем свою комнату и видел прямо висевший на стене портрет. Глаза еще страшнее, еще значительнее вперились в него и, казалось, не хотели ни на что другое глядеть, как только на него. Полный тягостного чувства, он решился встать с постели, схватил простыню и, приблизясь к портрету, закутал его всего.

Сделавши это, он лег в постель покойнее, стал думать о бедности и жалкой судьбе художника, о тернистом пути, предстоящем ему на этом свете; а между тем глаза его невольно глядели сквозь щелку ширм на закутанный простынею портрет. Сиянье месяца усиливало белизну простыни, и ему казалось, что страшные глаза стали даже просвечивать сквозь холстину. Со страхом вперил он пристальнее глаза, как бы желая увериться, что это вздор. Но наконец уже в самом деле... он видит, видит ясно: простыни уже нет... портрет открыт весь и глядит мимо всего, что ни есть вокруг, прямо в него, глядит просто к нему вовнутрь... У него захолонуло сердце. И видит: старик пошевелился и вдруг уперся в рамку обеими руками. Наконец приподнялся на руках и, высунув обе ноги, выпрыгнул из рам... Сквозь щелку ширм видны были уже одни только пустые рамы. По комнате раздался стук шагов, который наконец становился ближе и ближе к ширмам. Сердце стало сильнее колотиться у бедного художника. С занявшимся от страха дыханьем он ожидал, что вот-вот глянет к нему за ширмы старик. И вот он глянул, точно, за ширмы, с тем же бронзовым лицом и поводя большими глазами. Чартков силился вскрикнуть — и почувствовал, что у него нет голоса, силился пошевельнуться, сделать какое-нибудь движенье — не движутся члены. С раскрытым ртом и замершим дыханьем смотрел он на этот страшный фантом [1] высокого роста, в какой-то широкой азиатской рясе и ждал, что станет он делать. Старик сел почти у самых ног его и вслед за тем что-то вытащил из-под складок своего широкого платья. Это был мешок. Старик развязал его и, схвативши за два конца, встряхнул: с глухим звуком упали на пол тяжелые свертки в виде длинных столбиков; каждый был завернут в синюю бумагу, и на каждом было выставлено: *«1000 червонных»*. Высунув свои длинные костистые руки из широких рукавов, старик начал разворачивать свертки. Золото блеснуло. Как ни велико

[1] Фантом — призрак (от *франц.* fantôme).

было тягостное чувство и обеспамятевший страх художника, но он вперился весь в золото, глядя неподвижно, как оно разворачивалось в костистых руках, блестело, звенело тонко и глухо и заворачивалось вновь. Тут заметил он один сверток, откатившийся подалее от других, у самой ножки его кровати, в головах у него. Почти судорожно схватил он его и, полный страха, смотрел, не заметит ли старик. Но старик был, казалось, очень занят. Он собрал все свертки свои, уложил их снова в мешок и, не взглянувши на него, ушел за ширмы. Сердце билось сильно у Чарткова, когда он услышал, как раздавался по комнате шелест удалявшихся шагов. Он сжимал покрепче сверток свой в руке, дрожа всем телом за него, и вдруг услышал, что шаги вновь приближаются к ширмам,— видно, старик вспомнил, что недоставало одного свертка. И вот — он глянул к нему вновь за ширмы. Полный отчаяния, стиснул он всею силою в руке своей сверток, употребил все усилие сделать движенье, вскрикнул — и проснулся.

Холодный пот облил его всего; сердце его билось так сильно, как только можно было биться; грудь была так стеснена, как будто хотело улететь из нее последнее дыханье. «Неужели это был сон?» — сказал он, взявши себя обеими руками за голову; но страшная живость явленья не была похожа на сон. Он видел, уже пробудившись, как старик ушел в рамки, мелькнула даже пола его широкой одежды, и рука его чувствовала ясно, что держала за минуту пред сим какую-то тяжесть. Свет месяца озарял комнату, заставляя выступать из темных углов ее где холст, где гипсовую руку, где оставленную на стуле драпировку, где панталоны и нечищеные сапоги. Тут только заметил он, что не лежит в постели, а стоит на ногах прямо перед портретом. Как он добрался сюда — уж этого никак не мог он понять. Еще более изумило его, что портрет был открыт весь и простыни на нем действительно не было. С неподвижным страхом глядел он на него и видел, как прямо вперились в него живые человеческие глаза. Холодный пот выступил на лице его; он хотел отойти, но чувствовал, что ноги его как будто приросли к земле. И видит он: это уже не сон: черты старика двинулись, и губы его стали вытягиваться к нему, как будто бы хотели его высосать... С воплем отчаянья отскочил он — и проснулся.

«Неужели и это был сон?» С бьющимся на разрыв сердцем ощупал он руками вокруг себя. Да, он лежит на постеле в таком точно положенье, как заснул. Пред ним ширмы; свет месяца наполнял комнату. Сквозь щель в ширмах виден был портрет, закрытый как следует простынею,— так, как он сам закрыл его. Итак, это был тоже сон! Но сжатая рука чувствует доныне, как будто бы в ней что-то было. Биение сердца было сильно, почти

страшно; тягость в груди невыносимая. Он вперил глаза в щель и пристально глядел на простыню. И вот видит ясно, что простыня начинает раскрываться, как будто бы под нею барахтались руки и силились ее сбросить. «Господи, боже мой, что это!» — вскрикнул он, крестясь отчаянно, и проснулся.

И это был также сон! Он вскочил с постели, полоумный, обеспамятевший, и уже не мог изъяснить, что это с ним делается: давленье ли кошмара или домового, бред ли горячки или живое виденье. Стараясь утишить сколько-нибудь душевное волненье и расколыхавшуюся кровь, которая билась напряженным пульсом по всем его жилам, он подошел к окну и открыл форточку. Холодный пахнувший ветер оживил его. Лунное сияние лежало все еще на крышах и белых стенах домов, хотя небольшие тучи стали чаще переходить по небу. Все было тихо: изредка долетало до слуха отдаленное дребезжанье дрожек извозчика, который где-нибудь в невидном переулке спал, убаюкиваемый своею ленивою клячею, поджидая запоздалого седока. Долго глядел он, высунувши голову в форточку. Уже на небе рождались признаки приближающейся зари; наконец почувствовал он приближающуюся дремоту, захлопнул форточку, отошел прочь, лег в постель и скоро заснул как убитый, самым крепким сном.

Проснулся он очень поздно и почувствовал в себе то неприятное состояние, которое овладевает человеком после угара; голова его неприятно болела. В комнате было тускло; неприятная мокрота сеялась в воздухе и проходила сквозь щели его окон, заставленные картинами или нагрунтованным холстом. Пасмурный, недовольный, как мокрый петух, уселся он на своем оборванном диване, не зная сам, за что приняться, что делать, и вспомнил наконец весь свой сон. По мере припоминанья сон этот представлялся в его воображенье так тягостно жив, что он даже стал подозревать, точно ли это был сон и простой бред, не было ли здесь чего-то другого, не было ли это виденье. Сдернувши простыню, он рассмотрел при дневном свете этот страшный портрет. Глаза, точно, поражали своей необыкновенной живостью, но ничего он не находил в них особенно страшного; только как будто какое-то неизъяснимое, неприятное чувство оставалось на душе. При всем том он все-таки не мог совершенно увериться, чтобы это был сон. Ему казалось, что среди сна был какой-то страшный отрывок из действительности. Казалось, даже в самом взгляде и выражении старика как будто что-то говорило, что он был у него эту ночь; рука его почувствовала только что лежавшую в себе тяжесть, как будто бы кто-то за одну только минуту пред сим ее выхватил у него. Ему казалось, что, если бы он держал только покрепче сверток, он, верно, остался бы у него в руке и после пробуждения.

«Боже мой, если бы хотя часть этих денег!» — сказал он, тяжело вздохнувши, и в воображенье его стали высыпаться из мешка все виденные им свертки с заманчивой надписью: «1000 червонных». Свертки разворачивались, золото блестело, заворачивалось вновь, и он сидел, уставивши неподвижно и бессмысленно свои глаза в пустой воздух, не будучи в состоянье оторваться от такого предмета,— как ребенок, сидящий пред сладким блюдом и видящий, глотая слюнки, как едят его другие. Наконец у дверей раздался стук, заставивший его неприятно очнуться. Вошел хозяин с квартальным надзирателем, которого появление для людей мелких, как известно, еще неприятнее, нежели для богатых лицо просителя. Хозяин небольшого дома, в котором жил Чартков, был одно из творений, какими обыкновенно бывают владетели домов где-нибудь в Пятнадцатой линии Васильевского острова, на Петербургской стороне или в отдаленном углу Коломны,— творенье, каких много на Руси и которых характер так же трудно определить, как цвет изношенного сюртука. В молодости своей он был капитан и крикун, употреблялся и по штатским делам, мастер был хорошо высечь, был и расторопен, и щеголь, и глуп; но в старости своей он слил в себе все эти резкие особенности в какую-то тусклую неопределенность. Он был уже вдов, был уже в отставке, уже не щеголял, не хвастал, не задирался, любил только пить чай и болтать за ним всякий вздор; ходил по комнате, поправлял сальный огарок; аккуратно по истечении каждого месяца наведывался к своим жильцам за деньгами; выходил на улицу с ключом в руке, для того чтобы посмотреть на крышу своего дома; выгонял несколько раз дворника из его конуры, куда он запрятывался спать; одним словом, человек в отставке, которому после всей забубенной жизни и тряски на перекладных остаются одни пошлые привычки.

— Извольте сами глядеть, Варух Кузьмич,— сказал хозяин, обращаясь к квартальному и расставив руки,— вот не платит за квартиру, не платит.

— Что ж, если нет денег? Подождите, я заплачу.

— Мне, батюшка, ждать нельзя,— сказал хозяин в сердцах, делая жест ключом, который держал в руке,— у меня вот Потогонкин, подполковник живет, семь лет уж живет; Анна Петровна Бухмистерова и сарай и конюшню нанимает на два стойла, три при ней дворовых человека,— вот какие у меня жильцы. У меня, сказать вам откровенно, нет такого заведенья, чтобы не платить за квартиру. Извольте сейчас же заплатить деньги, да и съезжать вон.

— Да, уж если порядились, так извольте платить,— сказал квартальный надзиратель, с небольшим потряхиваньем головы и заложив палец за пуговицу своего мундира.

— Да чем платить? — вопрос. У меня нет теперь ни гроша.

— В таком случае удовлетворите Ивана Ивановича издельями своей профессии,— сказал квартальный,— он, может быть, согласится взять картинами.

— Нет, батюшка, за картины спасибо. Добро бы были картины с благородным содержанием, чтобы можно было на стену повесить, хоть какой-нибудь генерал со звездой или князя Кутузова портрет, а то вон мужика нарисовал, мужика в рубахе, слуги-то, что трет краски. Еще с него, свиньи, портрет рисовать; ему я шею наколочу: он у меня все гвозди из задвижек повыдергивал, мошенник. Вот посмотрите, какие предметы: вот комнату рисует. Добро бы уж взял комнату прибранную, опрятную, а он вон как нарисовал ее, со всем сором и дрязгом, какой ни валялся. Вот посмотрите, как запакостил у меня комнату, изволите сами видеть. Да у меня по семи лет живут жильцы, полковники, Бухмистерова Анна Петровна... Нет, я вам скажу: нет хуже жильца, как живописец: свинья свиньей живет, просто не приведи бог.

И все это должен был выслушать терпеливо бедный живописец. Квартальный надзиратель между тем занялся рассматриваньем картин и этюдов и тут же показал, что у него душа живее хозяйской и даже была не чужда художественным впечатлениям.

— Хе,— сказал он, тыкнув пальцем на один холст, где была изображена нагая женщина,— предмет, того... игривый. А у этого зачем так под носом черно? табаком, что ли, он себе засыпал?

— Тень,— отвечал на это сурово и не обращая на него глаз Чартков.

— Ну, ее бы можно куда-нибудь в другое место отнести, а под носом слишком видное место,— сказал квартальный,— а это чей портрет? — продолжал он, подходя к портрету старика,— уж страшен слишком. Будто он в самом деле был такой страшный; ахти, да он просто глядит! Эх, какой Громобой! С кого вы писали?

— А это с одного... — сказал Чартков и не кончил слова: послышался треск. Квартальный пожал, видно, слишком крепко раму портрета, благодаря топорному устройству полицейских рук своих; боковые досточки вломились вовнутрь, одна упала на пол, и вместе с нею упал, тяжело звякнув, сверток в синей бумаге. Чарткову бросилась в глаза надпись: «1000 червонных». Как безумный бросился он поднять его, схватил сверток, сжал его судорожно в руке, опустившейся вниз от тяжести.

— Никак, деньги зазвенели,— сказал квартальный, услышавший стук чего-то упавшего на пол и не могший увидать его за быстротой движенья, с какою бросился Чартков прибрать.

— А вам какое дело знать, что у меня есть?

— А такое дело, что вы сейчас должны заплатить хозяину за

квартиру; что у вас есть деньги, да вы не хотите платить,— вот что.

— Ну, я заплачу ему сегодня.

— Ну, а зачем же вы не хотели заплатить прежде, да доставляете беспокойство хозяину, да вот и полицию тоже тревожите?

— Потому что этих денег мне не хотелось трогать; я ему сегодня же ввечеру все заплачу и съеду с квартиры завтра же, потому что не хочу оставаться у такого хозяина.

— Ну, Иван Иванович, он вам заплатит,— сказал квартальный, обращаясь к хозяину.— А если насчет того, что вы не будете удовлетворены как следует сегодня ввечеру, тогда уж извините, господин живописец.

Сказавши это, он надел свою треугольную шляпу и вышел в сени, а за ним хозяин, держа вниз голову и, как казалось, в каком-то раздумье.

— Слава богу, черт их унес! — сказал Чартков, когда услышал затворившуюся в передней дверь.

Он выглянул в переднюю, услал за чем-то Никиту, чтобы быть совершенно одному, запер за ним дверь и, возвратившись к себе в комнату, принялся с сильным сердечным трепетаньем разворачивать сверток. В нем были червонцы, все до одного новые, жаркие, как огонь. Почти обезумев, сидел он за золотою кучею, все еще спрашивая себя, не во сне ли все это. В свертке было ровно их тысяча; наружность его была совершенно такая, в какой они виделись ему во сне. Несколько минут он перебирал их, пересматривал, и все еще не мог прийти в себя. В воображении его воскресли вдруг все истории о кладах, шкатулках с потаенными ящиками, оставляемых предками для своих разорившихся внуков, в твердой уверенности на будущее их промотавшееся положение. Он мыслил так: «Не придумал ли и теперь какой-нибудь дедушка оставить своему внуку подарок, заключив его в рамку фамильного портрета?» Полный романического бреда, он стал даже думать, нет ли здесь какой-нибудь тайной связи с его судьбою: не связано ли существованье портрета с его собственным существованьем, и самое приобретение его не есть ли уже какое-то предопределение? Он принялся с любопытством рассматривать рамку портрета. В одном боку ее был выдолбленный желобок, задвинутый дощечкой так ловко и неприметно, что если бы капитальная рука квартального надзирателя не произвела пролома, червонцы остались бы до скончания века в покое. Рассматривая портрет, он подивился вновь высокой работе, необыкновенной отделке глаз; они уже не казались ему страшными, но все еще в душе оставалось всякий раз невольно неприятное чувство. «Нет,— сказал он сам в себе,— чей бы ты ни был дедушка, а я тебя поставлю за стекло и сделаю

тебе за это золотые рамки». Здесь он набросил руку на золотую кучу, лежавшую перед ним, и сердце забилось сильно от такого прикосновенья. «Что с ними сделать? — думал он, уставив на них глаза.— Теперь я обеспечен, по крайней мере, на три года, могу запереться в комнату, работать. На краски теперь у меня есть; на обед, на чай, на содержанье, на квартиру есть; мешать и надоедать мне теперь никто не станет; куплю себе отличный манкен, закажу гипсовый торсик, сформую ножки, поставлю Венеру, накуплю гравюр с первых картин. И если поработаю три года для себя, не торопясь, не на продажу, я зашибу их всех, и могу быть славным художником».

Так говорил он заодно с подсказывавшим ему рассудком; но извнутри раздавался другой голос, слышнее и звонче. И как взглянул он еще раз на золото, не то заговорили в нем двадцать два года и горячая юность. Теперь в его власти было все то, на что он глядел доселе завистливыми глазами, чем любовался издали, глотая слюнки. Ух, как в нем забилось ретивое, когда он только подумал о том! Одеться в модный фрак, разговеться после долгого поста, нанять себе славную квартиру, отправиться тот же час в театр, в кондитерскую, в ... и прочее,— и он, схвативши деньги, был уже на улице.

Прежде всего зашел к портному, оделся с ног до головы и, как ребенок, стал обсматривать себя беспрестанно; накупил духов, помад, нанял, не торгуясь, первую попавшуюся великолепнейшую квартиру на Невском проспекте, с зеркалами и цельными стеклами; купил нечаянно в магазине дорогой лорнет, нечаянно накупил тоже бездну всяких галстуков, более, нежели было нужно, завил у парикмахера себе локоны, прокатился два раза по городу в карете без всякой причины, объелся без меры конфектов в кондитерской и зашел к ресторану французу, о котором доселе слышал такие же неясные слухи, как о китайском государстве. Там он обедал подбоченившись, бросая довольно гордые взгляды на других и поправляя беспрестанно против зеркала завитые локоны. Там он выпил бутылку шампанского, которое тоже доселе было ему знакомо более по слуху. Вино несколько зашумело в голове, и он вышел на улицу живой, бойкий, по русскому выражению: черту не брат. Прошелся по тротуару гоголем, наводя на всех лорнет. На мосту заметил он своего прежнего профессора и шмыгнул лихо мимо его, как будто бы не заметив его вовсе, так что остолбеневший профессор долго еще стоял неподвижно на мосту, изобразив вопросительный знак на лице своем.

Все вещи и все, что ни было: станок, холст, картины — были в тот же вечер перевезены на великолепную квартиру. Он расставил то, что было получше, на видные места, что похуже — забро-

сил в угол и расхаживал по великолепным комнатам, беспрестанно поглядывая в зеркала. В душе его возродилось желанье непреоборимое схватить славу сей же час за хвост и показать себя свету. Уже чудились ему крики: «Чартков, Чартков! видали вы картину Чарткова? Какая быстрая кисть у Чарткова! Какой сильный талант у Чарткова!» Он ходил в восторженном состоянии у себя по комнате, уносился невесть куда. На другой же день, взявши десяток червонцев, отправился он к одному издателю ходячей газеты, прося великодушной помощи; был принят радушно журналистом, назвавшим его тот же час «почтеннейший», пожавшим ему обе руки, расспросившим подробно об имени, отчестве, месте жительства, и на другой же день появилась в газете вслед за объявлением о новоизобретенных сальных свечах статья с таким заглавием: *«О необыкновенных талантах Чарткова»*: «Спешим обрадовать образованных жителей столицы прекрасным, можно сказать, во всех отношениях приобретением. Все согласны в том, что у нас есть много прекраснейших физиономий и прекраснейших лиц, но не было до сих пор средства передать их на чудотворный холст, для передачи потомству; теперь недостаток этот пополнен: отыскался художник, соединяющий в себе что нужно. Теперь красавица может быть уверена, что она будет передана со всей грацией своей красоты воздушной, легкой, очаровательной, чудесной, подобной мотылькам, порхающим по весенним цветкам. Почтенный отец семейства увидит себя окруженным своей семьей. Купец, воин, гражданин, государственный муж — всякий с новой ревностью будет продолжать свое поприще. Спешите, спешите, заходите с гулянья, с прогулки, предпринятой к приятелю, к кузине, в блестящий магазин, спешите, откуда бы ни было. Великолепная мастерская художника (Невский проспект, такой-то номер) уставлена вся портретами его кисти, достойной Вандиков и Тицианов. Не знаешь, чему удивляться: верности ли и сходству с оригиналами или необыкновенной яркости и свежести кисти. Хвала вам, художник! вы вынули счастливый билет из лотереи. Виват, Андрей Петрович (журналист, как видно, любил фамильярность)! Прославляйте себя и нас. Мы умеем ценить вас. Всеобщее стеченье, а вместе с тем и деньги, хотя некоторые из нашей же братьи журналистов и восстают против них, будут вам наградою».

С тайным удовольствием прочитал художник это объявление; лицо его просияло. О нем заговорили печатно — это было для него новостию; несколько раз перечитывал он строки. Сравнение с Вандиком и Тицианом ему сильно польстило. Фраза «Виват, Андрей Петрович!» также очень понравилась; печатным образом называют его по имени и по отчеству — честь, доныне ему совершенно неизвестная. Он начал ходить скоро по комнате, ерошить себе

волоса, то садился на кресла, то вскакивал с них и садился на диван, представляя поминутно, как он будет принимать посетителей и посетительниц, подходил к холсту и производил над ним лихую замашку кисти, пробуя сообщить грациозные движения руке. На другой день раздался колокольчик у дверей его; он побежал отворять. Вошла дама, предводимая лакеем в ливрейной шинели на меху, и вместе с дамой вошла молоденькая восемнадцатилетняя девочка, дочь ее.

— Вы мсьё Чартков? — сказала дама.

Художник поклонился.

— Об вас столько пишут; ваши портреты, говорят, верх совершенства.— Сказавши это, дама наставила на глаз лорнет и побежала быстро осматривать стены, на которых ничего не было.— А где же ваши портреты?

— Вынесли,— сказал художник, несколько смешавшись,— я только что переехал еще на эту квартиру, так они еще в дороге... не доехали.

— Вы были в Италии? — сказала дама, наводя на него лорнет, не найдя ничего другого, на что бы можно было навесть его.

— Нет, я не был, но хотел быть... впрочем, теперь покамест я отложил... Вот кресла-с, вы устали?..

— Благодарю, я сидела долго в карете. А, вон наконец вижу вашу работу! — сказала дама, побежав к супротивной стене и наводя лорнет на стоявшие на полу его этюды, программы, перспективы и портреты.— C'est charmant! Lise, Lise, venez ici! [1] Комната во вкусе Теньера, видишь: беспорядок, беспорядок, стол, на нем бюст, рука, палитра; вон пыль,— видишь, как пыль нарисована! C'est charmant! А вот на другом холсте женщина, моющая лицо,— quelle jolie figure! [2] Ах, мужичок! Lise, Lise, мужичок в русской рубашке! смотри: мужичок! Так вы занимаетесь не одними только портретами?

— О, это вздор... Так, шалил... этюды...

— Скажите, какого вы мнения насчет нынешних портретистов? Не правда ли, теперь нет таких, как был Тициан? Нет той силы в колорите, нет той... как жаль, что я не могу вам выразить по-русски (дама была любительница живописи и оббегала с лорнетом все галереи в Италии). Однако мсьё Ноль... ах, как он пишет! Какая необыкновенная кисть! Я нахожу, что у него даже больше выраженья в лицах, нежели у Тициана. Вы не знаете мсьё Ноля?

— Кто этот Ноль? — спросил художник.

— Мсьё Ноль. Ах, какой талант! он написал с нее портрет,

---

[1] Это очаровательно! Лиза, Лиза, подойди сюда! *(франц.)*

[2] Какой прелестный облик! *(франц.)*

когда ей было только двенадцать лет. Нужно, чтобы вы непременно у нас были. Lise, ты ему покажи свой альбом. Вы знаете, что мы приехали с тем, чтобы сей же час начали с нее портрет.

— Как же, я готов сию минуту.

И в одно мгновенье придвинул он станок с готовым холстом, взял в руки палитру, вперил глаз в бледное личико дочери. Если бы он был знаток человеческой природы, он прочел бы на нем в одну минуту начало ребяческой страсти к балам, начало тоски и жалоб на длинноту времени до обеда и после обеда, желанья побегать в новом платье на гуляньях, тяжелые следы безучастного прилежания к разным искусствам, внушаемого матерью для возвышения души и чувств. Но художник видел в этом нежном личике одну только заманчивую для кисти почти фарфоровую прозрачность тела, увлекательную легкую томность, тонкую светлую шейку и аристократическую легкость стана. И уже заранее готовился торжествовать, показать легкость и блеск своей кисти, имевшей доселе дело только с жесткими чертами грубых моделей, с строгими антиками и копиями кое-каких классических мастеров. Он уже представлял себе в мыслях, как выйдет это легонькое личико.

— Знаете ли,— сказала дама с несколько даже трогательным выражением лица,— я бы хотела... на ней теперь платье; я бы, признаюсь, не хотела, чтобы она была в платье, к которому мы так привыкли; я бы хотела, чтоб она была одета просто и сидела бы в тени зелени, в виду каких-нибудь полей, чтобы стада вдали или роща... чтобы незаметно было, что она едет куда-нибудь на бал или модный вечер. Наши балы, признаюсь, так убивают душу, так умерщвляют остатки чувств... простоты, простоты чтобы было больше.

Увы! на лицах и матушки и дочери написано было, что они до того исплясались на балах, что обе сделались чуть не восковыми.

Чартков принялся за дело, усадил оригинал, сообразил несколько все это в голове; провел по воздуху кистью, мысленно устанавливая пункты; прищурил несколько глаз, подался назад, взглянул издали — и в один час начал и кончил подмалевку. Довольный ею, он принялся уже писать, работа его завлекла. Уже он позабыл все, позабыл даже, что находится в присутствии аристократических дам, начал даже выказывать иногда кое-какие художнические ухватки, произнося вслух разные звуки, временами подпевая, как случается с художником, погруженным всею душою в свое дело. Без всякой церемонии, одним движеньем кисти заставлял он оригинал поднимать голову, который наконец начал сильно вертеться и выражать совершенную усталость.

— Довольно, на первый раз довольно,— сказала дама.

— Еще немножко,— говорил позабывшийся художник.

— Нет, пора! Lise, три часа! — сказала она, вынимая маленькие часы, висевшие на золотой цепи у ее кушака, и вскрикнула: — Ах, как поздно!

— Минуточку только,— говорил Чартков простодушным и просящим голосом ребенка.

Но дама, кажется, совсем не была расположена угождать на этот раз его художественным потребностям и обещала вместо того просидеть в другой раз долее.

«Это, однако ж, досадно,— подумал про себя Чартков,— рука только что расходилась». И вспомнил он, что его никто не перебивал и не останавливал, когда он работал в своей мастерской на Васильевском острове; Никита, бывало, сидел не ворохнувшись на одном месте — пиши с него сколько угодно; он даже засыпал в заказанном ему положении. И, недовольный, положил он свою кисть и палитру на стул и остановился смутно пред холстом. Комплимент, сказанный светской дамой, пробудил его из усыпления. Он бросился быстро к дверям провожать их; на лестнице получил приглашение бывать, прийти на следующей неделе обедать и с веселым видом возвратился к себе в комнату. Аристократическая дама совершенно очаровала его. До сих пор он глядел на подобные существа как на что-то недоступное, которые рождены только для того, чтобы пронестись в великолепной коляске с ливрейными лакеями и щегольским кучером и бросить равнодушный взгляд на бредущего пешком, в небогатом плащишке человека. И вдруг теперь одно из этих существ вошло к нему в комнату; он пишет портрет, приглашен на обед в аристократический дом. Довольство овладело им необыкновенное; он был упоен совершенно и наградил себя за это славным обедом, вечерним спектаклем и опять проехался в карете по городу без всякой нужды.

Во все эти дни обычная работа ему не шла вовсе на ум. Он только приготовлялся и ждал минуты, когда раздастся звонок. Наконец аристократическая дама приехала вместе с своею бледненькою дочерью. Он усадил их, придвинул холст уже с ловкостью и претензиями на светские замашки и стал писать. Солнечный день и ясное освещение много помогли ему. Он увидел в легоньком своем оригинале много такого, что, быв уловлено и передано на полотно, могло придать высокое достоинство портрету; увидел, что можно сделать кое-что особенное, если выполнить все в такой окончательности, в какой теперь представлялась ему натура. Сердце его начало даже слегка трепетать, когда он почувствовал, что выразит то, чего еще не заметили другие. Работа заняла его всего, весь погрузился он в кисть, позабыв опять об аристократи-

ческом происхождении оригинала. С занимавшимся дыханием видел, как выходили у него легкие черты и это почти прозрачное тело семнадцатилетней девушки. Он ловил всякий оттенок, легкую желтизну, едва заметную голубизну под глазами и уже готовился даже схватить небольшой прыщик, выскочивший на лбу, как вдруг услышал над собою голос матери. «Ах, зачем это? это не нужно,— говорила дама.— У вас тоже... вот, в некоторых местах... как будто бы несколько желто и вот здесь, совершенно как темные пятнышки». Художник стал изъяснять, что эти-то пятнышки и желтизна именно разыгрываются хорошо, что они составляют приятные и легкие тоны лица. Но ему отвечали, что они не составят никаких тонов и совсем не разыгрываются; и что это ему только так кажется. «Но позвольте здесь в одном только месте тронуть немножко желтенькой краской»,— сказал простодушно художник. Но этого-то ему и не позволили. Объявлено было, что Lise только сегодня немножко не расположена, а что желтизны в ней никакой не бывает и лицо поражает особенно свежестью краски. С грустью принялся он изглаживать то, что кисть его заставила выступить на полотно. Исчезло много почти незаметных черт, а вместе с ними исчезло отчасти и сходство. Он бесчувственно стал сообщать ему тот общий колорит, который дается наизусть и обращает даже лица, взятые с натуры, в какие-то холодно-идеальные, видимые на ученических программах. Но дама была довольна тем, что обидный колорит был изгнан вовсе. Она изъявила только удивленье, что работа идет так долго, и прибавила, что слышала, будто он в два сеанса оканчивает совершенно портрет. Художник ничего не нашелся на это отвечать. Дамы поднялись и собирались выйти. Он положил кисть, проводил их до дверей и после того долго оставался смутным на одном и том же месте перед своим портретом. Он глядел на него глупо, а в голове его между тем носились те легкие женственные черты, те оттенки и воздушные тоны, им подмеченные, которые уничтожила безжалостно его кисть. Будучи весь полон ими, он отставил портрет в сторону и отыскал у себя где-то заброшенную головку Психеи, которую когда-то давно и эскизно набросал на полотно. Это было личико, ловко написанное, но совершенно идеальное, холодное, состоявшее из одних общих черт, не принявшее живого тела. От нечего делать он теперь принялся проходить его, припоминая на нем все, что случилось ему подметить в лице аристократической посетительницы. Уловленные им черты, оттенки и тоны здесь ложились в том очищенном виде, в каком являются они только, когда художник, наглядевшись на природу, уже отдаляется от нее и производит ей равное создание. Психея стала оживать, и едва сквозившая мысль начала мало-помалу облекаться в видимое тело.

Тип лица молоденькой светской девицы невольно сообщился Психее, и чрез то получила она своеобразное выражение, дающее право на название истинно оригинального произведения. Казалось, он воспользовался по частям и вместе всем, что представил ему оригинал, и привязался совершенно к своей работе. В продолжение нескольких дней он был занят только ею. И за этой самой работой застал его приезд знакомых дам. Он не успел снять со станка картину. Обе дамы издали радостный крик изумленья и всплеснули руками.

— Lise, Lise! Ах, как похоже! Superbe, superbe! [1] Как хорошо вы вздумали, что одели ее в греческий костюм. Ах, какой сюрприз!

Художник не знал, как вывести дам из приятного заблуждения. Совестясь и потупя голову, он произнес тихо:

— Это Психея.

— В виде Психеи? C'est charmant! — сказала мать, улыбнувшись, причем улыбнулась также и дочь.— Не правда ли, Lise, тебе больше всего идет быть изображенной в виде Психеи? Quelle idée délicieuse! [2] Но какая работа! Это Корредж. Признаюсь, я читала и слышала о вас, но я не знала, что у вас такой талант. Нет, вы непременно должны написать также и с меня портрет.

Даме, как видно, хотелось также предстать в виде какой-нибудь Психеи.

«Что мне с ними делать? — подумал художник.— Если они сами того хотят, так пусть Психея пойдет за то, что им хочется»,— и произнес вслух:

— Потрудитесь еще немножко присесть, я кое-что немножко трону.

— Ах, я боюсь, чтобы вы как-нибудь не... она так теперь похожа.

Но художник понял, что опасенья были насчет желтизны, и успокоил их, сказав, что он только придаст более блеску и выраженья глазам. А по справедливости, ему было слишком совестно и хотелось хотя сколько-нибудь более придать сходства с оригиналом, дабы не укорил его кто-нибудь в решительном бесстыдстве. И точно, черты бледной девушки стали наконец выходить яснее из облика Психеи.

— Довольно! — сказала мать, начинавшая бояться, чтобы сходство не приблизилось наконец уже чересчур близко.

Художник был награжден всем: улыбкой, деньгами, комплиментом, искренним пожатьем руки, приглашеньем на обеды; сло-

---

[1] Великолепно, великолепно! *(франц.)*

[2] Какая восхитительная мысль! *(франц.)*

вом, получил тысячу лестных наград. Портрет произвел по городу шум. Дама показала его приятельницам; все изумлялись искусству, с каким художник умел сохранить сходство и вместе с тем придать красоту оригиналу. Последнее замечено было, разумеется, не без легкой краски зависти в лице. И художник вдруг был осажден работами. Казалось, весь город хотел у него писаться. У дверей поминутно раздавался звонок. С одной стороны, это могло быть хорошо, представляя ему бесконечную практику разнообразием, множеством лиц. Но, на беду, это всё был народ, с которым было трудно ладить, народ торопливый, занятой или же принадлежащий свету,— стало быть, еще более занятой, нежели всякий другой, и потому нетерпеливый до крайности. Со всех сторон только требовали, чтоб было хорошо и скоро. Художник увидел, что оканчивать решительно было невозможно, что все нужно было заменить ловкостью и быстрой бойкостью кисти. Схватывать одно только целое, одно общее выраженье и не углубляться кистью в утонченные подробности; одним словом, следить природу в ее окончательности было решительно невозможно. Притом нужно прибавить, что у всех почти писавшихся много было других притязаний на разное. Дамы требовали, чтобы преимущественно только душа и характер изображались в портретах, чтобы остального иногда вовсе не придерживаться, округлить все углы, облегчить все изъянцы и даже, если можно, избежать их вовсе. Словом, чтобы на лицо можно было засмотреться, если даже не совершенно влюбиться. И вследствие этого, садясь писаться, они принимали иногда такие выражения, которые приводили в изумленье художника: та старалась изобразить в лице своем меланхолию, другая мечтательность, третья во что бы ни стало хотела уменьшить рот и сжимала его до такой степени, что он обращался наконец в одну точку, не больше булавочной головки. И, несмотря на все это, требовали от него сходства и непринужденной естественности. Мужчины тоже были ничем не лучше дам. Один требовал себя изобразить в сильном, энергическом повороте головы; другой с поднятыми кверху вдохновенными глазами; гвардейский поручик требовал непременно, чтобы в глазах виден был Марс; гражданский сановник норовил так, чтобы побольше было прямоты, благородства в лице и чтобы рука оперлась на книгу, на которой бы четкими словами было написано: «Всегда стоял за правду». Сначала художника бросали в пот такие требованья: все это нужно было сообразить, обдумать, а между тем сроку давалось очень немного. Наконец он добрался, в чем было дело, и уже не затруднялся нисколько. Даже из двух, трех слов смекал вперед, кто чем хотел изобразить себя. Кто хотел Марса, он в лицо совал Марса; кто метил в Байрона, он давал ему байроновское положенье и поворот. Коринной ли, Ундиной, Аспа-

зией ли желали быть дамы, он с большой охотой соглашался на всё и прибавлял от себя уже всякому вдоволь благообразия, которое, как известно, нигде не подгадит и за что простят иногда художнику и самое несходство. Скоро он уже сам начал дивиться чудной быстроте и бойкости своей кисти. А писавшиеся, само собою разумеется, были в восторге и провозглашали его гением.

Чартков сделался модным живописцем во всех отношениях. Стал ездить на обеды, сопровождать дам в галереи и даже на гулянья, щегольски одеваться и утверждать гласно, что художник должен принадлежать к обществу, что нужно поддержать его званье, что художники одеваются как сапожники, не умеют прилично вести себя, не соблюдают высшего тона и лишены всякой образованности. Дома у себя, в мастерской он завел опрятность и чистоту в высшей степени, определил двух великолепных лакеев, завел щегольских учеников, переодевался несколько раз в день в разные утренние костюмы, завивался, занялся улучшением разных манер, с которыми принимать посетителей, занялся украшением всеми возможными средствами своей наружности, чтобы произвести ею приятное впечатление на дам; одним словом, скоро нельзя было в нем вовсе узнать того скромного художника, который работал когда-то незаметно в своей лачужке на Васильевском острове. О художниках и об искусстве он изъяснялся теперь резко: утверждал, что прежним художникам уже чересчур много приписано достоинства, что все они до Рафаэля писали не фигуры, а селедки; что существует только в воображении рассматривателей мысль, будто бы видно в них присутствие какой-то святости; что сам Рафаэль даже писал не все хорошо и за многими произведениями его удержалась только по преданию слава; что Микель-Анжел хвастун, потому что хотел только похвастать знанием анатомии, что грациозности в нем нет никакой и что настоящий блеск, силу кисти и колорит нужно искать только теперь, в нынешнем веке. Тут, натурально, невольным образом доходило дело и до себя.

— Нет, я не понимаю,— говорил он,— напряженья других сидеть и корпеть за трудом. Этот человек, который копается по нескольку месяцев над картиною, по мне, труженик, а не художник. Я не поверю, чтобы в нем был талант. Гений творит смело, быстро. Вот у меня,— говорил он, обращаясь обыкновенно к посетителям,— этот портрет я написал в два дня, эту головку в один день, это в несколько часов, это в час с небольшим. Нет, я... я, признаюсь, не признаю художеством того, что лепится строчка за строчкой; это уж ремесло, а не художество.

Так рассказывал он своим посетителям, и посетители дивились силе и бойкости его кисти, издавали даже восклицания, ус-

лышав, как быстро они производились, и потом пересказывали друг другу: «Это талант, истинный талант! Посмотрите, как он говорит, как блестят его глаза! Il y a quelque chose d'extraordinaire dans toute sa figure!» [1]

Художнику было лестно слышать о себе такие слухи. Когда в журналах появлялась печатная хвала ему, он радовался, как ребенок, хотя эта хвала была куплена им за свои же деньги. Он разносил такой печатный лист везде и, будто бы ненарочно, показывал его знакомым и приятелям, и это его тешило до самой простодушной наивности. Слава его росла, работы и заказы увеличивались. Уже стали ему надоедать одни и те же портреты и лица, которых положенье и обороты сделались ему заученными. Уже без большой охоты он писал их, стараясь набросать только кое-как одну голову, а остальное давал доканчивать ученикам. Прежде он все-таки искал дать какое-нибудь новое положение, поразить силою, эффектом. Теперь и это становилось ему скучно. Ум уставал придумывать и обдумывать. Это было ему невмочь, да и некогда: рассеянная жизнь и общество, где он старался сыграть роль светского человека,— все это уносило его далеко от труда и мыслей. Кисть его хладела и тупела, и он нечувствительно заключился в однообразные, определенные, давно изношенные формы. Однообразные, холодные, вечно прибранные и, так сказать, застегнутые лица чиновников, военных и штатских не много представляли поля для кисти: она позабывала и великолепные драпировки, и сильные движения, и страсти. О группах, о художественной драме, о высокой ее завязке нечего было и говорить. Пред ним были только мундир, да корсет, да фрак, пред которыми чувствует холод художник и падает всякое воображение. Даже достоинств самых обыкновенных уже не было видно в его произведениях, а между тем они всё еще пользовались славою, хотя истинные знатоки и художники только пожимали плечами, глядя на последние его работы. А некоторые, знавшие Чарткова прежде, не могли понять, как мог исчезнуть в нем талант, которого признаки оказались уже ярко в нем при самом начале, и напрасно старались разгадать, каким образом может угаснуть дарованье в человеке, тогда как он только что достигнул еще полного развития всех сил своих.

Но этих толков не слышал упоенный художник. Уже он начинал достигать поры степенности ума и лет; стал толстеть и видимо раздаваться в ширину. Уже в газетах и журналах читал он прилагательные: «почтенный наш Андрей Петрович», «заслуженный наш Андрей Петрович». Уже стали ему предлагать по службе

---

[1] Есть что-то необыкновенное во всей его внешности! *(франц.)*

почетные места, приглашать на экзамены, в комитеты. Уже он начинал, как всегда случается в почетные лета, брать сильно сторону Рафаэля и старинных художников,— не потому, что убедился вполне в их высоком достоинстве, но потому, чтобы колоть ими в глаза молодых художников. Уже он начинал, по обычаю всех, вступающих в такие лета, укорять без изъятия молодежь в безнравственности и дурном направлении духа. Уже начинал он верить, что все на свете делается просто, вдохновенья свыше нет и все необходимо должно быть подвергнуто под один строгий порядок аккуратности и однообразья. Одним словом, жизнь его уже коснулась тех лет, когда все, дышащее порывом, сжимается в человеке, когда могущественный смычок слабее доходит до души и не обвивается пронзительными звуками около сердца, когда прикосновенье красоты уже не превращает девственных сил в огонь и пламя, но все отгоревшие чувства становятся доступнее к звуку золота, вслушиваются внимательней в его заманчивую музыку и мало-помалу нечувствительно позволяют ей совершенно усыпить себя. Слава не может дать наслажденья тому, кто украл ее, а не заслужил; она производит постоянный трепет только в достойном ее. И потому все чувства и порывы его обратились к золоту. Золото сделалось его страстью, идеалом, страхом, наслажденьем, целью. Пуки ассигнаций росли в сундуках, и как всякий, кому достается в удел этот страшный дар, он начал становиться скучным, недоступным ко всему, кроме золота, беспричинным скрягой, беспутным собирателем и уже готов был обратиться в одно из тех странных существ, которых много попадается в нашем бесчувственном свете, на которых с ужасом глядит исполненный жизни и сердца человек, которому кажутся они движущимися каменными гробами с мертвецом внутри наместо сердца. Но одно событие сильно потрясло и разбудило весь его жизненный состав.

В один день увидел он на столе своем записку, в которой Академия художеств просила его, как достойного ее члена, приехать дать суждение свое о новом, присланном из Италии, произведении усовершенствовавшегося там русского художника. Этот художник был один из прежних его товарищей, который от ранних лет носил в себе страсть к искусству, с пламенной душой труженика погрузился в него всей душою своей, оторвался от друзей, от родных, от милых привычек и помчался туда, где в виду прекрасных небес спеет величавый рассадник искусств,— в тот чудный Рим, при имени которого так полно и сильно бьется пламенное сердце художника. Там, как отшельник, погрузился он в труд и в не развлекаемые ничем занятия. Ему не было до того дела, толковали ли о его характере, о его неумении обращаться с людьми, о несоблюдении светских приличий, о унижении, которое он при-

«Шинель»

Худ. Кукрыниксы

чинял званию художника своим скудным, нещегольским нарядом. Ему не было нужды, сердилась ли или нет на него его братья. Всем пренебрегал он, все отдал искусству. Неутомимо посещал галереи, по целым часам застаивался перед произведениями великих мастеров, ловя и преследуя чудную кисть. Ничего он не оканчивал без того, чтобы не поверить себя несколько раз с сими великими учителями и чтобы не прочесть в их созданьях безмолвного и красноречивого себе совета. Он не входил в шумные беседы и споры; он не стоял ни за пуристов, ни против пуристов. Он равно всему отдавал должную ему часть, извлекая изо всего только то, что было в нем прекрасно, и наконец оставил себе в учители одного божественного Рафаэля. Подобно как великий поэт-художник, перечитавший много всяких творений, исполненных многих прелестей и величавых красот, оставлял наконец себе настольною книгой одну только «Илиаду» Гомера, открыв, что в ней все есть, чего хочешь, и что нет ничего, что бы не отразилось уже здесь в таком глубоком и великом совершенстве. И зато вынес он из своей школы величавую идею созданья, могучую красоту мысли, высокую прелесть небесной кисти.

Вошедши в залу, Чартков нашел уже целую огромную толпу посетителей, собравшихся перед картиною. Глубочайшее безмолвие, какое редко бывает между многолюдными ценителями, на этот раз царствовало всюду. Он поспешил принять значительную физиономию знатока и приблизился к картине; но, боже, что он увидел!

Чистое, непорочное, прекрасное, как невеста, стояло пред ним произведение художника. Скромно, божественно, невинно и просто, как гений, возносилось оно над всем. Казалось, небесные фигуры, изумленные столькими устремленными на них взорами, стыдливо опустили прекрасные ресницы. С чувством невольного изумления созерцали знатоки новую, невиданную кисть. Все тут, казалось, соединилось вместе: изученье Рафаэля, отраженное в высоком благородстве положений, изучение Корреджия, дышавшее в окончательном совершенстве кисти. Но властительней всего видна была сила созданья, уже заключенная в душе самого художника. Последний предмет в картине был им проникнут; во всем постигнут закон и внутренняя сила. Везде уловлена была эта плывучая округлость линий, заключенная в природе, которую видит только один глаз художника-создателя и которая выходит углами у копииста. Видно было, как все извлеченное из внешнего мира художник заключил сперва себе в душу и уже оттуда, из душевного родника, устремил его одной согласной, торжественной песнью. И стало ясно даже непосвященным, какая неизмеримая пропасть существует между созданьем и простой копией с приро-

ды. Почти невозможно было выразить той необыкновенной тишины, которою невольно были объяты все, вперившие глаза на картину,— ни шелеста, ни звука; а картина между тем ежеминутно казалась выше и выше; светлей и чудесней отделялась от всего и вся превратилась наконец в один миг, плод налетевшей с небес на художника мысли, миг, к которому вся жизнь человеческая есть одно только приготовление. Невольные слезы готовы были покатиться по лицам посетителей, окруживших картину. Казалось, все вкусы, все дерзкие, неправильные уклонения вкуса слились в какой-то безмолвный гимн божественному произведению. Неподвижно, с отверстым ртом стоял Чартков перед картиною, и наконец, когда мало-помалу посетители и знатоки зашумели и начали рассуждать о достоинстве произведения и когда наконец обратились к нему с просьбою объявить свои мысли, он пришел в себя; хотел принять равнодушный, обыкновенный вид, хотел сказать обыкновенное, пошлое суждение зачерствелых художников, вроде следующего: «Да, конечно, правда, нельзя отнять таланта от художника; есть кое-что; видно, что хотел он выразить что-то; однако же, что касается до главного...» И вслед за этим прибавить, разумеется, такие похвалы, от которых бы не поздоровилось никакому художнику. Хотел это сделать, но речь умерла на устах его, слезы и рыдания нестройно вырвались в ответ, и он как безумный выбежал из залы.

С минуту, неподвижный и бесчувственный, стоял он посреди своей великолепной мастерской. Весь состав, вся жизнь его была разбужена в одно мгновение, как будто молодость возвратилась к нему, как будто потухшие искры таланта вспыхнули снова. С очей его вдруг слетела повязка. Боже! и погубить так безжалостно лучшие годы своей юности; истребить, погасить искру огня, может быть, теплившегося в груди, может быть, развившегося бы теперь в величии и красоте, может быть, также исторгнувшего бы слезы изумления и благодарности! И погубить все это, погубить без всякой жалости! Казалось, как будто в эту минуту разом и вдруг ожили в душе его те напряжения и порывы, которые некогда были ему знакомы. Он схватил кисть и приблизился к холсту. Пот усилия проступил на его лице; весь обратился он в одно желание и загорелся одною мыслию: ему хотелось изобразить отпадшего ангела. Эта идея была более всего согласна с состоянием его души. Но увы! фигуры его, позы, группы, мысли ложились принужденно и несвязно. Кисть его и воображение слишком уже заключились в одну мерку, и бессильный порыв преступить границы и оковы, им самим на себя наброшенные, уже отзывался неправильностию и ошибкою. Он пренебрег утомительную, длинную лестницу постепенных сведений и первых основных законов

будущего великого. Досада его проникла. Он велел вынесть прочь из своей мастерской все последние произведенья, все безжизненные модные картинки, все портреты гусаров, дам и статских советников. Заперся один в своей комнате, не велел никого впускать и весь погрузился в работу. Как терпеливый юноша, как ученик, сидел он за своим трудом. Но как беспощадно-неблагодарно было все то, что выходило из-под его кисти! На каждом шагу он был останавливаем незнанием самых первоначальных стихий; простой, незначащий механизм охлаждал весь порыв и стоял неперескочимым порогом для воображения. Кисть невольно обращалась к затверженным формам, руки складывались на один заученный манер, голова не смела сделать необыкновенного поворота, даже самые складки платья отзывались вытверженным и не хотели повиноваться и драпироваться на незнакомом положении тела. И он чувствовал, он чувствовал и видел это сам!

«Но точно ли был у меня талант? — сказал он наконец,— не обманулся ли я?» И, произнесши эти слова, он подошел к прежним своим произведениям, которые работались когда-то так чисто, так бескорыстно, там, в бедной лачужке на уединенном Васильевском острову, вдали людей, изобилья и всяких прихотей. Он подошел теперь к ним и стал внимательно рассматривать их все, и вместе с ними стала представать в его памяти вся прежняя бедная жизнь его. «Да,— проговорил он отчаянно,— у меня был талант. Везде, на всем видны его признаки и следы...»

Он остановился и вдруг затрясся всем телом: глаза его встретились с неподвижно вперившимися на него глазами. Это был тот необыкновенный портрет, который он купил на Щукином дворе. Все время он был закрыт, загроможден другими картинами и вовсе вышел у него из мыслей. Теперь же, как нарочно, когда были вынесены все модные портреты и картины, наполнявшие мастерскую, он выглянул наверх вместе с прежними произведениями его молодости. Как вспомнил он всю странную его историю, как вспомнил, что некоторым образом он, этот странный портрет, был причиной его превращенья, что денежный клад, полученный им таким чудесным образом, родил в нем все суетные побужденья, погубившие его талант,— почти бешенство готово было ворваться к нему в душу. Он в ту ж минуту велел вынести прочь ненавистный портрет. Но душевное волненье оттого не умирилось: все чувства и весь состав были потрясены до дна, и он узнал ту ужасную муку, которая, как поразительное исключение, является иногда в природе, когда талант слабый силится выказаться в превышающем его размере и не может выказаться; ту муку, которая в юноше рождает великое, но в перешедшем за грань мечтаний обращается в бесплодную жажду; ту страшную муку, которая делает человека

способным на ужасные злодеяния. Им овладела ужасная зависть, зависть до бешенства. Желчь проступала у него на лице, когда он видел произведение, носившее печать таланта. Он скрежетал зубами и пожирал его взором василиска. В душе его возродилось самое адское намерение, какое когда-либо питал человек, и с бешеною силою бросился он приводить его в исполнение. Он начал скупать все лучшее, что только производило художество. Купивши картину дорогою ценою, осторожно приносил в свою комнату и с бешенством тигра на нее кидался, рвал, разрывал ее, изрезывал в куски и топтал ногами, сопровождая смехом наслажденья. Бесчисленные собранные им богатства доставляли ему все средства удовлетворять этому адскому желанию. Он развязал все свои золотые мешки и раскрыл сундуки. Никогда ни одно чудовище невежества не истребило столько прекрасных произведений, сколько истребил этот свирепый мститель. На всех аукционах, куда только показывался он, всякий заранее отчаивался в приобретении художественного создания. Казалось, как будто разгневанное небо нарочно послало в мир этот ужасный бич, желая отнять у него всю его гармонию. Эта ужасная страсть набросила какой-то страшный колорит на него: вечная желчь присутствовала на лице его. Хула на мир и отрицание изображалось само собой в чертах его. Казалось, в нем олицетворился тот страшный демон, которого идеально изобразил Пушкин. Кроме ядовитого слова и вечного порицанья, ничего не произносили его уста. Подобно какой-то гарпии, попадался он на улице, и все его даже знакомые, завидя его издали, старались увернуться и избегнуть такой встречи, говоря, что она достаточна отравить потом весь день.

К счастию мира и искусства, такая напряженная и насильственная жизнь не могла долго продолжаться: размер страстей был слишком неправилен и колоссален для слабых сил ее. Припадки бешенства и безумия начали оказываться чаще, и наконец все это обратилось в самую ужасную болезнь. Жестокая горячка, соединенная с самою быстрою чахоткою, овладела им так свирепо, что в три дня оставалась от него одна тень только. К этому присоединились все признаки безнадежного сумасшествия. Иногда несколько человек не могли удержать его. Ему начали чудиться давно забытые, живые глаза необыкновенного портрета, и тогда бешенство его было ужасно. Все люди, окружавшие его постель, казались ему ужасными портретами. Он двоился, четверился в его глазах; все стены казались увешаны портретами, вперившими в него свои неподвижные, живые глаза. Страшные портреты глядели с потолка, с полу, комната расширялась и продолжалась бесконечно, чтобы более вместить этих неподвижных глаз. Доктор, принявший на себя обязанность его пользовать и уже несколько наслышавшийся

о странной его истории, старался всеми силами отыскать тайное отношение между грезившимися ему привидениями и происшествиями его жизни, но ничего не мог успеть. Больной ничего не понимал и не чувствовал, кроме своих терзаний, и издавал одни ужасные вопли и непонятные речи. Наконец жизнь его прервалась в последнем, уже безгласном, порыве страдания. Труп его был страшен. Ничего тоже не могли найти от огромных его богатств; но, увидевши изрезанные куски тех высоких произведений искусства, которых цена превышала миллионы, поняли ужасное их употребление.

## ЧАСТЬ II

Множество карет, дрожек и колясок стояло перед подъездом дома, в котором производилась аукционная продажа вещей одного из тех богатых любителей искусств, которые сладко продремали всю жизнь свою, погруженные в зефиры и амуры, которые невинно прослыли меценатами и простодушно издержали для этого миллионы, накопленные их основательными отцами, а часто даже собственными прежними трудами. Таких меценатов, как известно, теперь уже нет, и наш XIX век давно уже приобрел скучную физиономию банкира, наслаждающегося своими миллионами только в виде цифр, выставляемых на бумаге. Длинная зала была наполнена самою пестрою толпой посетителей, налетевших, как хищные птицы на неприбранное тело. Тут была целая флотилия русских купцов из Гостиного двора и даже толкучего рынка, в синих немецких сюртуках. Вид их и выраженье лиц были здесь как-то тверже, вольнее и не означались той приторной услужливостью, которая так видна в русском купце, когда он у себя в лавке перед покупщиком. Тут они вовсе не чинились, несмотря на то что в этой же зале находилось множество тех аристократов, перед которыми они в другом месте готовы были своими поклонами смести пыль, нанесенную своими же сапогами. Здесь они были совершенно развязны, щупали без церемонии книги и картины, желая узнать доброту товара, и смело перебивали цену, набавляемую графами-знатоками. Здесь были многие необходимые посетители аукционов, постановившие каждый день бывать в нем вместо завтрака; аристократы-знатоки, почитавшие обязанностью не упустить случая умножить свою коллекцию и не находившие другого занятия от 12 до 1 часа; наконец, те благородные господа, которых платья и карманы очень худы, которые являются ежедневно без всякой корыстолюбивой цели, но единственно, чтобы посмотреть, чем что кончится, кто будет давать больше, кто меньше, кто кого перебьет

и за кем что останется. Множество картин было разбросано совершенно без всякого толку; с ними были перемешаны и мебели, и книги с вензелями прежнего владетеля, может быть, не имевшего вовсе похвального любопытства в них заглядывать. Китайские вазы, мраморные доски для столов, новые и старые мебели с выгнутыми линиями, с грифами, сфинксами и львиными лапами, вызолоченные и без позолоты, люстры, кенкеты — все было навалено, и вовсе не в таком порядке, как в магазинах. Все представляло какой-то хаос искусств. Вообще ощущаемое нами чувство при виде аукциона страшно: в нем все отзывается чем-то похожим на погребальную процессию. Зал, в котором он производится, всегда как-то мрачен; окна, загроможденные мебелями и картинами, скупо изливают свет, безмолвие, разлитое на лицах, и погребальный голос аукциониста, постукивающего молотком и отпевающего панихиду бедным, так странно встретившимся здесь искусствам. Все это, кажется, усиливает еще более странную неприятность впечатленья.

Аукцион, казалось, был в самом разгаре. Целая толпа порядочных людей, сдвинувшись вместе, хлопотала о чем-то наперерыв. Со всех сторон раздававшиеся слова: «Рубль, рубль, рубль»,— не давали времени аукционисту повторять надбавляемую цену, которая уже возросла вчетверо больше объявленной. Обступившая толпа хлопотала из-за портрета, который не мог не остановить всех, имевших сколько-нибудь понятия в живописи. Высокая кисть художника выказывалась в нем очевидно. Портрет, по-видимому, уже несколько раз был ресторирован и поновлен и представлял смуглые черты какого-то азиатца в широком платье, с необыкновенным, странным выраженьем в лице, но более всего обступившие были поражены необыкновенной живостью глаз. Чем более всматривались в них, тем более они, казалось, устремлялись каждому вовнутрь. Эта странность, этот необыкновенный фокус художника заняли внимание почти всех. Много уже из состязавшихся о нем отступились, потому что цену набили неимоверную. Остались только два известные аристократа, любители живописи, не хотевшие ни за что отказаться от такого приобретенья. Они горячились и набили бы, вероятно, цену до невозможности, если бы вдруг один из тут же рассматривавших не произнес:

— Позвольте мне прекратить на время ваш спор. Я, может быть, более, нежели всякий другой, имею право на этот портрет.

Слова эти вмиг обратили на него внимание всех. Это был стройный человек, лет тридцати пяти, с длинными черными кудрями. Приятное лицо, исполненное какой-то светлой беззаботности, показывало душу, чуждую всех томящих светских потрясений; в наряде его не было никаких притязаний на моду: все показывало

в нем артиста. Это был, точно, художник Б., знаемый лично многими из присутствовавших.

— Как ни странны вам покажутся слова мои,— продолжал он, видя устремившееся на себя всеобщее внимание,— но если вы решитесь выслушать небольшую историю, может быть, вы увидите, что я был вправе произнести их. Все меня уверяют, что портрет есть тот самый, которого я ищу.

Весьма естественное любопытство загорелось почти на лицах всех, и самый аукционист, разинув рот, остановился с поднятым в руке молотком, приготовляясь слушать. В начале рассказа многие обращались невольно глазами к портрету, но потом все вперились в одного рассказчика, по мере того как рассказ его становился занимательней.

— Вам известна та часть города, которую называют Коломною.— Так он начал.— Тут все непохоже на другие части Петербурга; тут не столица и не провинция; кажется, слышишь, перейдя в коломенские улицы, как оставляют тебя всякие молодые желанья и порывы. Сюда не заходит будущее, здесь все тишина и отставка, все, что осело от столичного движенья. Сюда переезжают на житье отставные чиновники, вдовы, небогатые люди, имеющие знакомство с сенатом и потому осудившие себя здесь почти на всю жизнь; выслужившиеся кухарки, толкающиеся целый день на рынках, болтающие вздор с мужиком в мелочной лавочке и забирающие каждый день на пять копеек кофию да на четыре сахару, и, наконец, весь тот разряд людей, который можно назвать одним словом: пепельный,— людей, которые с своим платьем, лицом, волосами, глазами имеют какую-то мутную, пепельную наружность, как день, когда нет на небе ни бури, ни солнца, а бывает просто ни се ни то: сеется туман и отнимает всякую резкость у предметов. Сюда можно причислить отставных театральных капельдинеров, отставных титулярных советников, отставных питомцев Марса с выколотым глазом и раздутою губою. Эти люди вовсе бесстрастны: идут, ни на что не обращая глаз, молчат, ни о чем не думая. В комнате их не много добра; иногда просто штоф чистой русской водки, которую они однообразно сосут весь день без всякого сильного прилива в голове, возбуждаемого сильным приемом, какой обыкновенно любит задавать себе по воскресным дням молодой немецкий ремесленник, этот удалец Мещанской улицы, один владеющий всем тротуаром, когда время перешло за двенадцать часов ночи.

Жизнь в Коломне страх уединенна: редко покажется карета, кроме разве той, в которой ездят актеры, которая громом, звоном и бряканьем своим одна смущает всеобщую тишину. Тут всё пешеходы; извозчик весьма часто без седока плетется, таща сено для

бородатой лошаденки своей. Квартиру можно сыскать за пять рублей в месяц, даже с кофием поутру. Вдовы, получающие пенсион, тут самые аристократические фамилии; они ведут себя хорошо, метут часто свою комнату, толкуют с приятельницами о дороговизне говядины и капусты; при них часто бывает молоденькая дочь, молчаливое, безгласное, иногда миловидное существо, гадкая собачонка и стенные часы с печально постукивающим маятником. Потом следуют актеры, которым жалованье не позволяет выехать из Коломны, народ свободный, как все артисты, живущие для наслажденья. Они, сидя в халатах, чинят пистолет, клеют из картона всякие вещицы, полезные для дома, играют с пришедшим приятелем в шашки и карты, и так проводят утро, делая почти то же ввечеру, с присоединеньем кое-когда пунша. После сих тузов и аристократства Коломны следует необыкновенная дробь и мелочь. Их так же трудно поименовать, как исчислить то множество насекомых, которое зарождается в старом уксусе. Тут есть старухи, которые молятся; старухи, которые пьянствуют; старухи, которые и молятся и пьянствуют вместе; старухи, которые перебиваются непостижимыми средствами, как муравьи — таскают с собою старое тряпье и белье от Калинкина мосту до толкучего рынка, с тем чтобы продать его там за пятнадцать копеек; словом, часто самый несчастный осадок человечества, которому бы ни один благодетельный политический эконом не нашел средств улучшить состояние.

Я для того привел их, чтобы показать вам, как часто этот народ находится в необходимости искать одной только внезапной, временной помощи, прибегать к займам; и тогда поселяются между ними особого рода ростовщики, снабжающие небольшими суммами под заклады и за большие проценты. Эти небольшие ростовщики бывают в несколько раз бесчувственней всяких больших, потому что возникают среди бедности и ярко выказываемых нищенских лохмотьев, которых не видит богатый ростовщик, имеющий дело только с приезжающими в каретах. И потому уже слишком рано умирает в душах их всякое чувство человечества. Между такими ростовщиками был один... но не мешает вам сказать, что происшествие, о котором я принялся рассказать, относится к прошедшему веку, именно к царствованию покойной государыни Екатерины Второй. Вы можете сами понять, что самый вид Коломны и жизнь внутри ее должны были значительно измениться. Итак, между ростовщиками был один — существо во всех отношениях необыкновенное, поселившееся уже давно в сей части города. Он ходил в широком азиатском наряде; темная краска лица указывала на южное его происхождение, но какой именно был он нации: индеец, грек, персиянин, об этом никто не мог сказать наверно.

Высокий, почти необыкновенный рост, смуглое, тощее, запаленное лицо и какой-то непостижимо страшный цвет его, большие, необыкновенного огня глаза, нависнувшие густые брови отличали его сильно и резко от всех пепельных жителей столицы. Самое жилище его не похоже было на прочие маленькие деревянные домики. Это было каменное строение, вроде тех, которых когда-то настроили вдоволь генуэзские купцы,— с неправильными, неравной величины окнами, с железными ставнями и засовами. Этот ростовщик отличался от других ростовщиков уже тем, что мог снабдить какою угодно суммою всех, начиная от нищей старухи до расточительного придворного вельможи. Пред домом его показывались часто самые блестящие экипажи, из окон которых иногда глядела голова роскошной светской дамы. Молва, по обыкновению, разнесла, что железные сундуки его полны без счету денег, драгоценностей, бриллиантов и всяких залогов, но что, однако же, он вовсе не имел той корысти, какая свойственна другим ростовщикам. Он давал деньги охотно, распределяя, казалось, весьма выгодно сроки платежей; но какими-то арифметическими странными выкладками заставлял их восходить до непомерных процентов. Так, по крайней мере, говорила молва. Но что страннее всего и что не могло не поразить многих — это была странная судьба всех тех, которые получали от него деньги: все они оканчивали жизнь несчастным образом. Было ли это просто людское мнение, нелепые суеверные толки или с умыслом распущенные слухи — это осталось неизвестно. Но несколько примеров, случившихся в непродолжительное время пред глазами всех, были живы и разительны.

Из среды тогдашнего аристократства скоро обратил на себя глаза юноша лучшей фамилии, отличившийся уже в молодых летах на государственном поприще, жаркий почитатель всего истинного, возвышенного, ревнитель всего, что породило искусство и ум человека, пророчивший в себе мецената. Скоро он был достойно отличен самой государыней, вверившей ему значительное место, совершенно согласное с собственными его требованиями, место, где он мог много произвести для наук и вообще для добра. Молодой вельможа окружил себя художниками, поэтами, учеными. Ему хотелось всему дать работу, все поощрить. Он предпринял на собственный счет множество полезных изданий, надавал множество заказов, объявил поощрительные призы, издержал на это кучу денег и наконец расстроился. Но, полный великодушного движенья, он не хотел отстать от своего дела, искал везде занять и наконец обратился к известному ростовщику. Сделавши значительный заем у него, этот человек в непродолжительное время изменился совершенно: стал гонителем, преследователем развивающегося ума и

таланта. Во всех сочинениях стал видеть дурную сторону, толковал криво всякое слово. Тогда, на беду, случилась французская революция. Это послужило ему вдруг орудием для всех возможных гадостей. Он стал видеть во всем какое-то революционное направление, во всем ему чудились намеки. Он сделался подозрительным до такой степени, что начал наконец подозревать самого себя, стал сочинять ужасные, несправедливые доносы, наделал тьму несчастных. Само собой разумеется, что такие поступки не могли не достигнуть наконец престола. Великодушная государыня ужаснулась и, полная благородства души, украшающего венценосцев, произнесла слова, которые хотя не могли перейти к нам во всей точности, но глубокий смысл их впечатлелся в сердцах многих. Государыня заметила, что не под монархическим правлением угнетаются высокие, благородные движенья души, не там презираются и преследуются творенья ума, поэзии и художеств; что, напротив, одни монархи бывали их покровителями; что Шекспиры, Мольеры процветали под их великодушной защитой, между тем как Дант не мог найти угла в своей республиканской родине; что истинные гении возникают во время блеска и могущества государей и государств, а не во время безобразных политических явлений и терроризмов республиканских, которые доселе не подарили миру ни одного поэта; что нужно отличать поэтов-художников, ибо один только мир и прекрасную тишину низводят они в душу, а не волненье и ропот; что ученые, поэты и все производители искусств суть перлы и бриллианты в императорской короне: ими красуется и получает еще больший блеск эпоха великого государя. Словом, государыня, произнесшая сии слова, была в эту минуту божественно прекрасна. Я помню, что старики не могли об этом говорить без слез. В деле все приняли участие. К чести нашей народной гордости надобно заметить, что в русском сердце всегда обитает прекрасное чувство взять сторону угнетенного. Обманувший доверенность вельможа был наказан примерно и отставлен от места. Но наказание гораздо ужаснейшее читал он на лицах своих соотечественников. Это было решительное и всеобщее презрение. Нельзя рассказать, как страдала тщеславная душа; гордость, обманутое честолюбие, разрушившиеся надежды — все соединилось вместе, и в припадках страшного безумия и бешенства прервалась его жизнь.

Другой разительный пример произошел тоже в виду всех: из красавиц, которыми не бедна была тогда наша северная столица, одна одержала решительное первенство над всеми. Это было какое-то чудное слиянье нашей северной красоты с красотой полудня, бриллиант, какой попадается на свете редко. Отец мой признавался, *что никогда он не видывал во всю жизнь свою ничего подоб-*

ного. Все, казалось, в ней соединилось: богатство, ум и душевная прелесть. Искателей была толпа, и в числе их замечательнее всех был князь Р., благороднейший, лучший из всех молодых людей, прекраснейший и лицом, и рыцарскими, великодушными порывами, высокий идеал романов и женщин, Грандиссон во всех отношениях. Князь Р. был влюблен страстно и безумно; такая же пламенная любовь была ему ответом. Но родственникам показалась партия неровною. Родовые вотчины князя уже давно ему не принадлежали, фамилия была в опале, и плохое положенье дел его было известно всем. Вдруг князь оставляет на время столицу, будто бы с тем, чтобы поправить свои дела, и спустя непродолжительное время является окруженный пышностью и блеском неимоверным. Блистательные балы и праздники делают его известным двору. Отец красавицы становится благосклонным, и в городе разыгрывается интереснейшая свадьба. Откуда произошла такая перемена и неслыханное богатство жениха, этого не мог, наверно, изъяснить никто; но поговаривали стороною, что он вошел в какие-то условия с непостижимым ростовщиком и сделал у него заем. Как бы то ни было, но свадьба заняла весь город. И жених и невеста были предметом общей зависти. Всем была известна их жаркая, постоянная любовь, долгие томленья, претерпенные с обеих сторон, высокие достоинства обоих. Пламенные женщины начертывали заранее то райское блаженство, которым будут наслаждаться молодые супруги. Но вышло все иначе. В один год произошла страшная перемена в муже. Ядом подозрительной ревности, нетерпимостью и неистощимыми капризами отравился дотоле благородный и прекрасный характер. Он стал тираном и мучителем жены своей и, чего бы никто не мог предвидеть, прибегнул к самым бесчеловечным поступкам, даже побоям. В один год никто не мог узнать той женщины, которая еще недавно блистала и влекла за собою толпы покорных поклонников. Наконец, не в силах будучи выносить долее тяжелой судьбы своей, она первая заговорила о разводе. Муж пришел в бешенство при одной мысли о том. В первом движенье неистовства ворвался он к ней в комнату с ножом и, без сомнения, заколол бы ее тут же, если бы его не схватили и не удержали. В порыве исступленья и отчаянья он обратил нож на себя — и в ужаснейших муках окончил жизнь.

Кроме сих двух примеров, совершившихся в глазах всего общества, рассказывали множество случившихся в низших классах, которые почти все имели ужасный конец. Там честный, трезвый человек делался пьяницей; там купеческий приказчик обворовал своего хозяина; там извозчик, возивший несколько лет честно, за грош зарезал седока. Нельзя, чтобы такие происшествия, рассказываемые иногда не без прибавлений, не навели род какого-то не-

вольного ужаса на скромных обитателей Коломны. Никто не сомневался о присутствии нечистой силы в этом человеке. Говорили, что он предлагал такие условия, от которых дыбом поднимались волоса и которых никогда потом не посмел несчастный передавать другому; что деньги его имеют прожигающее свойство, раскаляются сами собою и носят какие-то странные знаки... словом, много было всяких нелепых толков. И замечательно то, что все это коломенское население, весь этот мир бедных старух, мелких чиновников, мелких артистов и, словом, всей мелюзги, которую мы только поименовали, соглашались лучше терпеть и выносить последнюю крайность, нежели обратиться к страшному ростовщику; находили даже умерших от голода старух, которые лучше соглашались умертвить свое тело, нежели погубить душу. Встречаясь с ним на улице, невольно чувствовали страх. Пешеход осторожно пятился и долго еще озирался после того назад, следя пропадавшую вдали его непомерную высокую фигуру. В одном уже образе было столько необыкновенного, что всякого заставило бы невольно приписать ему сверхъестественное существование. Эти сильные черты, врезанные так глубоко, как не случается у человека; этот горячий бронзовый цвет лица; эта непомерная гущина бровей, невыносимые, страшные глаза, даже самые широкие складки его азиатской одежды — все, казалось, как будто говорило, что пред страстями, двигавшимися в этом теле, были бледны все страсти других людей. Отец мой всякий раз останавливался неподвижно, когда встречал его, и всякий раз не мог удержаться, чтобы не произнести: «Дьявол, совершенный дьявол!» Но надобно вас поскорее познакомить с моим отцом, который, между прочим, есть настоящий сюжет этой истории.

Отец мой был человек замечательный во многих отношениях. Это был художник, каких мало, одно из тех чуд, которых извергает из непочатого лона своего только одна Русь, художник-самоучка, отыскавший сам в душе своей, без учителей и школы, правила и законы, увлеченный только одною жаждою усовершенствованья и шедший, по причинам, может быть, неизвестным ему самому, одною только указанною из души дорогою; одно из тех самородных чуд, которых часто современники честят обидным словом «невежи» и которые не охлаждаются от охулений и собственных неудач, получают только новые рвенья и силы и уже далеко в душе своей уходят от тех произведений, за которые получили титло невежи. Высоким внутренным инстинктом почуял он присутствие мысли в каждом предмете; постигнул сам собой истинное значение слова «историческая живопись»; постигнул, почему простую головку, простой портрет Рафаэля, Леонардо да Винчи, Тициана, Корреджио можно назвать историческою живописью и почему ог-

ромная картина исторического содержания все-таки будет tableau de genre [1], несмотря на все притязанья художника на историческую живопись. И внутреннее чувство, и собственное убеждение обратили кисть его к христианским предметам, высшей и последней ступени высокого. У него не было честолюбия или раздражительности, так неотлучной от характера многих художников. Это был твердый характер, честный, прямой человек, даже грубый, покрытый снаружи несколько черствой корою, не без некоторой гордости в душе, отзывавшийся о людях вместе и снисходительно и резко. «Что на них глядеть,— обыкновенно говорил он,— ведь я не для них работаю. Не в гостиную понесу я мои картины, их поставят в церковь. Кто поймет меня — поблагодарит, не поймет — все-таки помолится богу. Светского человека нечего винить, что он не смыслит живописи; зато он смыслит в картах, знает толк в хорошем вине, в лошадях,— зачем знать больше барину? Еще, пожалуй, как попробует того да другого да пойдет умничать, тогда и житья от него не будет! Всякому свое, всякий пусть занимается своим. По мне, уж лучше тот человек, который говорит прямо, что он не знает толку, нежели тот, который корчит лицемера, говорит, будто бы знает то, чего не знает, и только гадит да портит». Он работал за небольшую плату, то есть за плату, которая была нужна ему только для поддержанья семейства и для доставленья возможности трудиться. Кроме того, он ни в каком случае не отказывался помочь другому и протянуть руку помощи бедному художнику; веровал простой, благочестивой верою предков, и оттого, может быть, на изображенных им лицах являлось само собою то высокое выраженье, до которого не могли докопаться блестящие таланты. Наконец постоянством своего труда и неуклонностью начертанного себе пути он стал даже приобретать уважение со стороны тех, которые честили его невежей и доморощенным самоучкой. Ему давали беспрестанно заказы в церкви, и работа у него не переводилась. Одна из работ заняла его сильно. Не помню уже, в чем именно состоял сюжет ее, знаю только то — на картине нужно было поместить духа тьмы. Долго думал он над тем, какой дать ему образ; ему хотелось осуществить в лице его все тяжелое, гнетущее человека. При таких размышлениях иногда проносился в голове его образ таинственного ростовщика, и он думал невольно: «Вот бы с кого мне следовало написать дьявола». Судите же об его изумлении, когда один раз, работая в своей мастерской, услышал он стук в дверь, и вслед за тем прямо взошел к нему ужасный ростовщик. Он не мог не почувствовать какой-то внутренней дрожи, которая пробежала невольно по его телу.

---

[1] жанровая картина *(франц.)*.

— Ты художник? — сказал он без всяких церемоний моему отцу.

— Художник,— сказал отец в недоуменье, ожидая, что будет далее.

— Хорошо. Нарисуй с меня портрет. Я, может быть, скоро умру, детей у меня нет; но я не хочу умереть совершенно, я хочу жить. Можешь ли ты нарисовать такой портрет, чтобы был совершенно как живой?

Отец мой подумал: «Чего лучше? — он сам просится в дьяволы ко мне на картину». Дал слово. Они уговорились во времени и цене, и на другой же день, схвативши палитру и кисти, отец мой уже был у него. Высокий двор, собаки, железные двери и затворы, дугообразные окна, сундуки, покрытые странными коврами, и, наконец, сам необыкновенный хозяин, севший неподвижно перед ним,— все это произвело на него странное впечатление. Окна, как нарочно, были заставлены и загромождены снизу так, что давали свет только с одной верхушки. «Черт побери, как теперь хорошо осветилось его лицо!» — сказал он про себя и принялся жадно писать, как бы опасаясь, чтобы как-нибудь не исчезло счастливое освещенье. «Экая сила! — повторил он про себя.— Если я хотя вполовину изображу его так, как он есть теперь, он убьет всех моих святых и ангелов; они побледнеют пред ним. Какая дьявольская сила! он у меня просто выскочит из полотна, если только хоть немного буду верен натуре. Какие необыкновенные черты!» — повторял он беспрестанно, усугубляя рвенье, и уже видел сам, как стали переходить на полотно некоторые черты. Но чем более он приближался к ним, тем более чувствовал какое-то тягостное, тревожное чувство, непонятное себе самому. Однако же, несмотря на то, он положил себе преследовать с буквальною точностью всякую незаметную черту и выраженье. Прежде всего занялся он отделкою глаз. В этих глазах столько было силы, что, казалось, нельзя бы и помыслить передать их точно, как были в натуре. Однако же во что бы то ни стало он решился доискаться в них последней мелкой черты и оттенка, постигнуть их тайну... Но как только начал он входить и углубляться в них кистью, в душе его возродилось такое странное отвращение, такая непонятная тягость, что он должен был на несколько времени бросить кисть и потом приниматься вновь. Наконец уже не мог он более выносить, он чувствовал, что эти глаза вонзались ему в душу и производили в ней тревогу непостижимую. На другой, на третий день это было еще сильнее. Ему сделалось страшно. Он бросил кисть и сказал наотрез, что не может более писать с него. Надобно было видеть, как изменился при этих словах странный ростовщик. Он бросился к нему в ноги и молил кончить портрет, говоря, что от сего зави-

сит судьба его и существование в мире, что уже он тронул своею кистью его живые черты, что если он передаст их верно, жизнь его сверхъестественною силою удержится в портрете, что он чрез то не умрет совершенно, что ему нужно присутствовать в мире. Отец мой почувствовал ужас от таких слов: они ему показались до того странны и страшны, что он бросил и кисти и палитру и бросился опрометью вон из комнаты.

Мысль о том тревожила его весь день и всю ночь, а поутру он получил от ростовщика портрет, который принесла ему какая-то женщина, единственное существо, бывшее у него в услугах, объявившая тут же, что хозяин не хочет портрета, не дает за него ничего и присылает назад. Ввечеру того же дни узнал он, что ростовщик умер и что собираются уже хоронить его по обрядам его религии. Все это казалось ему неизъяснимо странно. А между тем с этого времени оказалась в характере его ощутительная перемена: он чувствовал неспокойное, тревожное состояние, которому сам не мог понять причины, и скоро произвел он такой поступок, которого бы никто не мог от него ожидать. С некоторого времени труды одного из учеников его начали привлекать внимание небольшого круга знатоков и любителей. Отец мой всегда видел в нем талант и оказывал ему за то свое особенное расположение. Вдруг почувствовал он к нему зависть. Всеобщее участие и толки о нем сделались ему невыносимы. Наконец, к довершению досады, узнает он, что ученику его предложили написать картину для вновь отстроенной богатой церкви. Это его взорвало. «Нет, не дам же молокососу восторжествовать! — говорил он.— Рано, брат, вздумал стариков сажать в грязь! Еще, слава богу, есть у меня силы. Вот мы увидим, кто кого скорее посадит в грязь». И прямодушный, честный в душе человек употребил интриги и происки, которыми дотоле всегда гнушался; добился наконец того, что на картину объявлен был конкурс и другие художники могли войти также с своими работами. После чего заперся он в свою комнату и с жаром принялся за кисть. Казалось, все свои силы, всего себя хотел он сюда собрать. И точно, это вышло одно из лучших его произведений. Никто не сомневался, чтобы не за ним осталось первенство. Картины были представлены, и все прочие показались пред нею как ночь пред днем. Как вдруг один из присутствовавших членов, если не ошибаюсь, духовная особа, сделал замечание, поразившее всех. «В картине художника, точно, есть много таланта,— сказал он,— но нет святости в лицах; есть даже, напротив того, что-то демонское в глазах, как будто бы рукою художника водило нечистое чувство». Все взглянули и не могли не убедиться в истине сих слов. Отец мой бросился вперед к своей картине, как бы с тем, чтобы поверить самому такое обидное замечание, и с ужасом увидел, что

он всем почти фигурам придал глаза ростовщика. Они так глядели демонски-сокрушительно, что он сам невольно вздрогнул. Картина была отвергнута, и он должен был, к неописанной своей досаде, услышать, что первенство осталось за его учеником. Невозможно было описать того бешенства, с которым он возвратился домой. Он чуть не прибил мать мою, разогнал детей, переломал кисти и мольберт, схватил со стены портрет ростовщика, потребовал ножа и велел разложить огонь в камине, намереваясь изрезать его в куски и сжечь. На этом движенье застал его вошедший в комнату приятель, живописец, как и он, весельчак, всегда довольный собой, не заносившийся никакими отдаленными желаньями, работавший весело все, что попадалось, и еще веселей того принимавшийся за обед и пирушку.

— Что ты делаешь, что собираешься жечь? — сказал он и подошел к портрету.— Помилуй, это одно из самых лучших твоих произведений. Это ростовщик, который недавно умер; да это совершеннейшая вещь. Ты ему просто попал не в бровь, а в самые глаза залез. Так в жизнь никогда не глядели глаза, как они глядят у тебя.

— А вот я посмотрю, как они будут глядеть в огне,— сказал отец, сделавши движенье швырнуть его в камин.

— Остановись, ради бога! — сказал приятель, удержав его,— отдай его уж лучше мне, если он тебе до такой степени колет глаз.

Отец сначала упорствовал, наконец согласился, и весельчак, чрезвычайно довольный своим приобретением, утащил портрет с собою.

По уходе его отец мой вдруг почувствовал себя спокойнее. Точно как будто бы вместе с портретом свалилась тяжесть с его души. Он сам изумился своему злобному чувству, своей зависти и явной перемене своего характера. Рассмотревши поступок свой, он опечалился душою и не без внутренней скорби произнес:

— Нет, это бог наказал меня; картина моя поделом понесла посрамленье. Она была замышлена с тем, чтобы погубить брата. Демонское чувство зависти водило моею кистью, демонское чувство должно было и отразиться в ней.

Он немедленно отправился искать бывшего ученика своего, обнял его крепко, просил у него прощенья и старался сколько мог загладить пред ним вину свою. Работы его вновь потекли по-прежнему безмятежно; но задумчивость стала показываться чаще на его лице. Он больше молился, чаще бывал молчалив и не выражался так резко о людях; самая грубая наружность его характера как-то умягчилась. Скоро одно обстоятельство еще более потрясло его. Он уже давно не видался с товарищем своим, выпросившим

у него портрет. Уже собирался было идти его проведать, как вдруг он сам вошел неожиданно в его комнату. После нескольких слов и вопросов с обеих сторон он сказал:

— Ну, брат, недаром ты хотел сжечь портрет. Черт его побери, в нем есть что-то странное... Я ведьмам не верю, но, воля твоя: в нем сидит нечистая сила...

— Как? — сказал отец мой.

— А так, что с тех пор как повесил я к себе его в комнату, почувствовал тоску такую... точно как будто бы хотел кого-то зарезать. В жизнь мою я не знал, что такое бессонница, а теперь испытал не только бессонницу, но сны такие... я и сам не умею сказать, сны ли это или что другое: точно домовой тебя душит, и все мерещится проклятый старик. Одним словом, не могу рассказать тебе моего состояния. Подобного со мной никогда не бывало. Я бродил как шальной все эти дни: чувствовал какую-то боязнь, неприятное ожиданье чего-то. Чувствую, что не могу сказать никому веселого и искреннего слова; точно как будто возле меня сидит шпион какой-нибудь. И только с тех пор, как отдал портрет племяннику, который напросился на него, почувствовал, что с меня вдруг будто какой-то камень свалился с плеч: вдруг почувствовал себя веселым, как видишь. Ну, брат, состряпал ты черта!

Во время этого рассказа отец мой слушал его с неразвлекаемым вниманием и наконец спросил:

— И портрет теперь у твоего племянника?

— Куда у племянника! не выдержал,— сказал весельчак,— знать, душа самого ростовщика переселилась в него: он выскакивает из рам, расхаживает по комнате; и то, что рассказывает племянник, просто уму непонятно. Я бы принял его за сумасшедшего, если бы отчасти не испытал сам. Он его продал какому-то собирателю картин, да и тот не вынес его и тоже кому-то сбыл с рук.

Этот рассказ произвел сильное впечатление на моего отца. Он задумался не в шутку, впал в ипохондрию и наконец совершенно уверился в том, что кисть его послужила дьявольским орудием, что часть жизни ростовщика перешла в самом деле как-нибудь в портрет и тревожит теперь людей, внушая бесовские побуждения, совращая художника с пути, порождая страшные терзанья зависти, и проч. и проч. Три случившиеся вслед за тем несчастия, три внезапные смерти — жены, дочери и малолетнего сына — почел он небесною казнью себе и решился непременно оставить свет. Как только минуло мне девять лет, он поместил меня в Академию художеств и, расплатясь с своими должниками, удалился в одну уединенную обитель, где скоро постригся в монахи. Там

строгостью жизни, неусыпным соблюдением всех монастырских правил он изумил всю братью. Настоятель монастыря, узнавши об искусстве его кисти, требовал от него написать главный образ в церковь. Но смиренный брат сказал наотрез, что он недостоин взяться за кисть, что она осквернена, что трудом и великими жертвами он должен прежде очистить свою душу, чтобы удостоиться приступить к такому делу. Его не хотели принуждать. Он сам увеличивал для себя, сколько было возможно, строгость монастырской жизни. Наконец уже и она становилась ему недостаточною и не довольно строгою. Он удалился с благословенья настоятеля в пустынь, чтоб быть совершенно одному. Там из древесных ветвей выстроил он себе келью, питался одними сырыми кореньями, таскал на себе камни с места на место, стоял от восхода до заката солнечного на одном и том же месте с поднятыми к небу руками, читая беспрерывно молитвы. Словом, изыскивал, казалось, все возможные степени терпенья и того непостижимого самоотверженья, которому примеры можно разве найти в одних житиях святых. Таким образом долго, в продолжение нескольких лет, изнурял он свое тело, подкрепляя его в то же время живительною силою молитвы. Наконец в один день пришел он в обитель и сказал твердо настоятелю: «Теперь я готов. Если богу угодно, я совершу свой труд». Предмет, взятый им, было рождество Иисуса. Целый год сидел он за ним, не выходя из своей кельи, едва питая себя суровой пищей, молясь беспрестанно. По истечении года картина была готова. Это было, точно, чудо кисти. Надобно знать, что ни братья, ни настоятель не имели больших сведений в живописи, но все были поражены необыкновенной святостью фигур. Чувство божественного смиренья и кротости в лице пречистой матери, склонившейся над младенцем, глубокий разум в очах божественного младенца, как будто уже что-то прозревающих вдали, торжественное молчанье пораженных божественным чудом царей, повергнувшихся к ногам его, и, наконец, святая, невыразимая тишина, обнимающая всю картину,— все это предстало в такой согласной силе и могуществе красоты, что впечатленье было магическое. Вся братья поверглась на колена пред новым образом, и умиленный настоятель произнес: «Нет, нельзя человеку с помощью одного человеческого искусства произвести такую картину: святая, высшая сила водила твоею кистью, и благословенье небес почило на труде твоем».

В это время окончил я свое ученье в Академии, получил золотую медаль и вместе с нею радостную надежду на путешествие в Италию — лучшую мечту двадцатилетнего художника. Мне оставалось только проститься с моим отцом, с которым уже двенадцать лет я расстался. Признаюсь, даже самый образ его давно

исчезнул из моей памяти. Я уже несколько наслышался о суровой святости его жизни и заранее воображал встретить черствую наружность отшельника, чуждого всему в мире, кроме своей кельи и молитвы, изнуренного, высохшего от вечного поста и бденья. Но как же я изумился, когда предстал предо мною прекрасный, почти божественный старец! И следов изможденья не было заметно на его лице; оно сияло светлостью небесного веселия. Белая, как снег, борода и тонкие, почти воздушные волосы такого же серебристого цвета рассыпались картинно по груди и по складкам его черной рясы и падали до самого вервия, которым опоясывалась его убогая монашеская одежда; но более всего изумительно было для меня услышать из уст его такие слова и мысли об искусстве, которые, признаюсь, я долго буду хранить в душе и желал бы искренно, чтобы всякий мой собрат сделал то же.

— Я ждал тебя, сын мой,— сказал он, когда я подошел к его благословенью.— Тебе предстоит путь, по которому отныне потечет жизнь твоя. Путь твой чист, не совратись с него. У тебя есть талант; талант есть драгоценнейший дар бога — не погуби его. Исследуй, изучай все, что ни видишь, покори всё кисти, но во всем умей находить внутреннюю мысль и пуще всего старайся постигнуть высокую тайну созданья. Блажен избранник, владеющий ею. Нет ему низкого предмета в природе. В ничтожном художник-создатель так же велик, как и в великом; в презренном у него уже нет презренного, ибо сквозит невидимо сквозь него прекрасная душа создавшего, и презренное уже получило высокое выражение, ибо протекло сквозь чистилище его души. Намек о божественном, небесном рае заключен для человека в искусстве, и по тому одному оно уже выше всего. И во сколько раз торжественный покой выше всякого волненья мирского; во сколько раз творенье выше разрушенья; во сколько раз ангел одной только чистой невинностью светлой души своей выше всех несметных сил и гордых страстей сатаны,— во столько раз выше всего, что ни есть на свете, высокое созданье искусства. Все принеси ему в жертву и возлюби его всей страстью. Не страстью, дышащей земным вожделением, но тихой небесной страстью; без нее не властен человек возвыситься от земли и не может дать чудных звуков успокоения. Ибо для успокоения и примирения всех нисходит в мир высокое созданье искусства. Оно не может поселить ропота в душе, но звучащей молитвой стремится вечно к богу. Но есть минуты, темные минуты...

Он остановился, и я заметил, что вдруг омрачился светлый лик его, как будто бы на него набежало какое-то мгновенное облако.

— Есть одно происшествие в моей жизни,— сказал он.— Доныне я не могу понять, что́ был тот странный образ, с которого я

написал изображение. Это было точно какое-то дьявольское явление. Я знаю, свет отвергает существованье дьявола, и потому не буду говорить о нем. Но скажу только, что я с отвращением писал его, я не чувствовал в то время никакой любви к своей работе. Насильно хотел покорить себя и бездушно, заглушив все, быть верным природе. Это не было созданье искусства, и потому чувства, которые объемлют всех при взгляде на него, суть уже мятежные чувства, тревожные чувства,— не чувства художника, ибо художник и в тревоге дышит покоем. Мне говорили, что портрет этот ходит по рукам и рассеивает томительные впечатленья, зарождая в художнике чувство зависти, мрачной ненависти к брату, злобную жажду производить гоненья и угнетенья. Да хранит тебя всевышний от сих страстей! Нет их страшнее. Лучше вынести всю горечь возможных гонений, нежели нанести кому-либо одну тень гоненья. Спасай чистоту души своей. Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть душою. Другому простится многое, но ему не простится. Человеку, который вышел из дому в светлой праздничной одежде, стоит только быть обрызнуту одним пятном грязи из-под колеса, и уже весь народ обступил его, и указывает на него пальцем, и толкует об его неряшестве, тогда как тот же народ не замечает множества пятен на других проходящих, одетых в будничные одежды. Ибо на будничных одеждах не замечаются пятна.

Он благословил меня и обнял. Никогда в жизни не был я так возвышенно подвигнут. Благоговейно, более нежели с чувством сына, прильнул я к груди его и поцеловал в рассыпавшиеся его серебряные волосы. Слеза блеснула в его глазах.

— Исполни, сын мой, одну мою просьбу,— сказал он мне уже при самом расставанье.— Может быть, тебе случится увидеть где-нибудь тот портрет, о котором я говорил тебе. Ты его узнаешь вдруг по необыкновенным глазам и неестественному их выражению,— во что бы то ни было истреби его...

Вы можете судить сами, мог ли я не обещать клятвенно исполнить такую просьбу. В продолжение целых пятнадцати лет не случалось мне встретить ничего такого, что бы хотя сколько-нибудь походило на описание, сделанное моим отцом, как вдруг теперь, на аукционе...

Здесь художник, не договорив еще своей речи, обратил глаза на стену, с тем чтобы взглянуть еще раз на портрет. То же самое движение сделала в один миг вся толпа слушавших, ища глазами необыкновенного портрета. Но, к величайшему изумлению, его уже не было на стене. Невнятный говор и шум пробежал по всей толпе, и вслед за тем послышались явственно слова: «Украден». Кто-то успел уже стащить его, воспользовавшись вниманьем слу-

шателей, увлеченных рассказом. И долго все присутствовавшие оставались в недоумении, не зная, действительно ли они видели эти необыкновенные глаза или это была просто мечта, представшая только на миг глазам их, утружденным долгим рассматриванием старинных картин.

## ШИНЕЛЬ

В департаменте... но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. Теперь уже всякий частный человек считает в лице своем оскорбленным все общество. Говорят, весьма недавно поступила просьба от одного капитан-исправника, не помню какого-то города, в которой он излагает ясно, что гибнут государственные постановления и что священное имя его произносится решительно всуе. А в доказательство приложил к просьбе преогромнейший том какого-то романтического сочинения, где чрез каждые десять страниц является капитан-исправник, местами даже совершенно в пьяном виде. Итак, во избежание всяких неприятностей, лучше департамент, о котором идет дело, мы назовем *одним департаментом*. Итак, *в одном департаменте служил один чиновник*; чиновник нельзя сказать чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица что называется геморроидальным... Что ж делать! виноват петербургский климат. Что касается до чина (ибо у нас прежде всего нужно объявить чин), то он был то, что называют вечный титулярный советник, над которым, как известно, потрунились и наострились вдоволь разные писатели, имеющие похвальное обыкновенье налегать на тех, которые не могут кусаться. Фамилия чиновника была Башмачкин. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от башмака; но когда, в какое время и каким образом произошла она от башмака, ничего этого не известно. И отец, и дед, и даже шурин, и все совершенно Башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год подметки. Имя его было Акакий Акакиевич. Может быть, читателю оно покажется несколько странным и выисканным, но можно уверить, что его никак не искали, а что сами собою случились такие обстоятельства, что никак нельзя было дать другого имени, и это произошло именно вот как: родился Акакий Акакиевич против ночи, если только не изменяет память, на 23 марта. Покойница

матушка, чиновница и очень хорошая женщина, расположилась, как следует, окрестить ребенка. Матушка еще лежала на кровати против дверей, а по правую руку стоял кум, превосходнейший человек, Иван Иванович Ерошкин, служивший столоначальником в сенате, и кума, жена квартального офицера, женщина редких добродетелей, Арина Семеновна Белобрюшкова. Родильнице предоставили на выбор любое из трех, какое она хочет выбрать: Моккия, Соссия, или назвать ребенка во имя мученика Хоздазата. «Нет,— подумала покойница,— имена-то все такие». Чтобы угодить ей, развернули календарь в другом месте; вышли опять три имени: Трифилий, Дула и Варахасий. «Вот это наказание,— проговорила старуха,— какие всё имена; я, право, никогда и не слыхивала таких. Пусть бы еще Варадат или Варух, а то Трифилий и Варахасий». Еще переворотили страницу — вышли: Павсикахий и Вахтисий. «Ну, уж я вижу,— сказала старуха,— что, видно, его такая судьба. Уж если так, пусть лучше будет он называться, как и отец его. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий». Таким образом и произошел Акакий Акакиевич. Ребенка окрестили, при чем он заплакал и сделал такую гримасу, как будто бы предчувствовал, что будет титулярный советник. Итак, вот каким образом произошло все это. Мы привели потому это, чтобы читатель мог сам видеть, что это случилось совершенно по необходимости и другого имени дать было никак невозможно. Когда и в какое время он поступил в департамент и кто определил его, этого никто не мог припомнить. Сколько не переменялось директоров и всяких начальников, его видели всё на одном и том же месте, в том же положении, в той же самой должности, тем же чиновником для письма, так что потом уверились, что он, видно, так и родился на свет уже совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове. В департаменте не оказывалось к нему никакого уважения. Сторожа не только не вставали с мест, когда он проходил, но даже не глядели на него, как будто бы через приемную пролетела простая муха. Начальники поступали с ним как-то холодно-деспотически. Какой-нибудь помощник столоначальника прямо совал ему под нос бумаги, не сказав даже «перепишите», или «вот интересное, хорошенькое дельце», или что-нибудь приятное, как употребляется в благовоспитанных службах. И он брал, посмотрев только на бумагу, не глядя, кто ему подложил и имел ли на то право. Он брал и тут же пристраивался писать ее. Молодые чиновники подсмеивались и острились над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия, рассказывали тут же пред ним разные составленные про него истории; про его хозяйку, семидесятилетнюю старуху, говорили, что она бьет его, спрашивали, когда будет их свадьба, сыпали на голову ему бумажки, называя это

снегом. Но ни одного слова не отвечал на это Акакий Акакиевич, как будто бы никого и не было перед ним; это не имело даже влияния на занятия его: среди всех этих докук он не делал ни одной ошибки в письме. Только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то такое преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недавно определившийся, который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг остановился, как будто пронзенный, и с тех пор как будто все переменилось перед ним и показалось в другом виде. Какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он познакомился, приняв их за приличных, светских людей. И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу, с своими проникающими словами: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» — и в этих проникающих словах звенели другие слова: «Я брат твой». И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости в утонченной, образованной светскости, и, боже! даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным...

Вряд ли где можно было найти человека, который так жил бы в своей должности. Мало сказать: он служил ревностно,— нет, он служил с любовью. Там, в этом переписыванье, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его. Если бы соразмерно его рвению давали ему награды, он, к изумлению своему, может быть, даже попал бы в статские советники; но выслужил он, как выражались остряки, его товарищи, пряжку в петлицу да нажил геморрой в поясницу. Впрочем, нельзя сказать, чтобы не было к нему никакого внимания. Один директор, будучи добрый человек и желая вознаградить его за долгую службу, приказал дать ему что-нибудь поважнее, чем обыкновенное переписыванье; именно из готового уже дела велено было ему сделать какое-то отношение в другое присутственное место; дело состояло только в том, чтобы переменить заглавный титул да переменить кое-где глаголы из первого лица в третье. Это задало ему такую работу, что он вспотел совершенно, тер лоб и наконец сказал: «Нет, лучше дайте я перепишу что-нибудь». С тех пор оставили его навсегда перепису-

вать. Вне этого переписыванья, казалось, для него ничего не существовало. Он не думал вовсе о своем платье: вицмундир у него был не зеленый, а какого-то рыжевато-мучного цвета. Воротничок на нем был узенький, низенький, так что шея его, несмотря на то что не была длинна, выходя из воротника, казалась необыкновенно длинною, как у тех гипсовых котенков, болтающих головами, которых носят на головах целыми десятками русские иностранцы. И всегда что-нибудь да прилипало к его вицмундиру: или сенца кусочек, или какая-нибудь ниточка; к тому же он имел особенное искусство, ходя по улице, поспевать под окно именно в то самое время, когда из него выбрасывали всякую дрянь, и оттого вечно уносил на своей шляпе арбузные и дынные корки и тому подобный вздор. Ни один раз в жизни не обратил он внимания на то, что делается и происходит всякий день на улице, на что, как известно, всегда посмотрит его же брат, молодой чиновник, простирающий до того проницательность своего бойкого взгляда, что заметит даже, у кого на другой стороне тротуара отпоролась внизу панталон стремешка,— что вызывает всегда лукавую усмешку на лице его.

Но Акакий Акакиевич если и глядел на что, то видел на всем свои чистые, ровным почерком выписанные строки, и только разве если, неизвестно откуда взявшись, лошадиная морда помещалась ему на плечо и напускала ноздрями целый ветер в щеку, тогда только замечал он, что он не на середине строки, а скорее на средине улицы. Приходя домой, он садился тот же час за стол, хлебал наскоро свои щи и ел кусок говядины с луком, вовсе не замечая их вкуса, ел все это с мухами и со всем тем, что ни посылал бог на ту пору. Заметивши, что желудок начинал пучиться, вставал из-за стола, вынимал баночку с чернилами и переписывал бумаги, принесенные на дом. Если же таких не случалось, он снимал нарочно, для собственного удовольствия, копию для себя, особенно если бумага была замечательна не по красоте слога, но по адресу к какому-нибудь новому или важному лицу.

Даже в те часы, когда совершенно потухает петербургское серое небо и весь чиновный народ наелся и отобедал, кто как мог, сообразно с получаемым жалованьем и собственной прихотью,— когда все уже отдохнуло после департаментского скрипенья перьями, беготни, своих и чужих необходимых занятий и всего того, что задает себе добровольно, больше даже, чем нужно, неугомонный человек,— когда чиновники спешат предать наслаждению оставшееся время: кто побойчее, несется в театр; кто на улицу, определяя его на рассматриванье кое-каких шляпенок; кто на вечер — истратить его в комплиментах какой-нибудь смазливой девушке, звезде небольшого чиновного круга; кто, и это случается чаще всего, идет

просто к своему брату в четвертый или третий этаж, в две небольшие комнаты с передней или кухней и кое-какими модными претензиями, лампой или иной вещицей, стоившей многих пожертвований, отказов от обедов, гуляний,— словом, даже в то время, когда все чиновники рассеиваются по маленьким квартиркам своих приятелей поиграть в штурмовой вист, прихлебывая чай из стаканов с копеечными сухарями, затягиваясь дымом из длинных чубуков, рассказывая во время сдачи какую-нибудь сплетню, занесшуюся из высшего общества, от которого никогда и ни в каком состоянии не может отказаться русский человек, или даже, когда не о чем говорить, пересказывая вечный анекдот о коменданте, которому пришли сказать, что подрублен хвост у лошади Фальконетова монумента,— словом, даже тогда, когда все стремится развлечься,— Акакий Акакиевич не предавался никакому развлечению. Никто не мог сказать, чтобы когда-нибудь видел его на каком-нибудь вечере. Написавшись всласть, он ложился спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем дне: что-то бог пошлет переписывать завтра? Так протекала мирная жизнь человека, который с четырьмястами жалованья умел быть довольным своим жребием, и дотекла бы, может быть, до глубокой старости, если бы не было разных бедствий, рассыпанных на жизненной дороге не только титулярным, но даже тайным, действительным, надворным и всяким советникам, даже и тем, которые не дают никому советов, ни от кого не берут их сами.

Есть в Петербурге сильный враг всех, получающих четыреста рублей в год жалованья или около того. Враг этот не кто другой, как наш северный мороз, хотя, впрочем, и говорят, что он очень здоров. В девятом часу утра, именно в тот час, когда улицы покрываются идущими в департамент, начинает он давать такие сильные и колючие щелчки без разбору по всем носам, что бедные чиновники решительно не знают, куда девать их. В это время, когда даже у занимающих высшие должности болит от морозу лоб и слезы выступают в глазах, бедные титулярные советники иногда бывают беззащитны. Все спасение состоит в том, чтобы в тощенькой шинелишке перебежать как можно скорее пять-шесть улиц и потом натопаться хорошенько ногами в швейцарской, пока не оттают таким образом все замерзнувшие на дороге способности и дарованья к должностным отправлениям. Акакий Акакиевич с некоторого времени начал чувствовать, что его как-то особенно сильно стало пропекать в спину и плечо, несмотря на то что он старался перебежать как можно скорее законное пространство. Он подумал наконец, не заключается ли каких грехов в его шинели. Рассмотрев ее хорошенько у себя дома, он открыл, что в двух-трех местах, именно на спине и на плечах, она сделалась точная сер-

пянка; сукно до того истерлось, что сквозило, и подкладка расползлась. Надобно знать, что шинель Акакия Акакиевича служила тоже предметом насмешек чиновникам; от нее отнимали даже благородное имя шинели и называли ее капотом. В самом деле, она имела какое-то странное устройство: воротник ее уменьшался с каждым годом все более и более, ибо служил на подтачиванье других частей ее. Подтачиванье не показывало искусства портного и выходило, точно, мешковато и некрасиво. Увидевши, в чем дело, Акакий Акакиевич решил, что шинель нужно будет снести к Петровичу, портному, жившему где-то в четвертом этаже по черной лестнице, который, несмотря на свой кривой глаз и рябизну по всему лицу, занимался довольно удачно починкой чиновничьих и всяких других панталон и фраков,— разумеется, когда бывал в трезвом состоянии и не питал в голове какого-нибудь другого предприятия. Об этом портном, конечно, не следовало бы много говорить, но так как уже заведено, чтобы в повести характер всякого лица был совершенно означен, то, нечего делать, подавайте нам и Петровича сюда. Сначала он назывался просто Григорий и был крепостным человеком у какого-то барина; Петровичем он начал называться с тех пор, как получил отпускную и стал попивать довольно сильно по всяким праздникам, сначала по большим, а потом, без разбору, по всем церковным, где только стоял в календаре крестик. С этой стороны он был верен дедовским обычаям и, споря с женой, называл ее мирскою женщиной и немкой. Так как мы уже заикнулись про жену, то нужно будет и о ней сказать слова два; но, к сожалению, о ней не много было известно, разве только то, что у Петровича есть жена, носит даже чепчик, а не платок; но красотою, как кажется, она не могла похвастаться; по крайней мере, при встрече с нею одни только гвардейские солдаты заглядывали ей под чепчик, моргнувши усом и испустивши какой-то особый голос.

Взбираясь по лестнице, ведшей к Петровичу, которая, надобно отдать справедливость, была вся умащена водой, помоями и проникнута насквозь тем спиртуозным запахом, который ест глаза и, как известно, присутствует неотлучно на всех черных лестницах петербургских домов,— взбираясь по лестнице, Акакий Акакиевич уже подумывал о том, сколько запросит Петрович, и мысленно положил не давать больше двух рублей. Дверь была отворена, потому что хозяйка, готовя какую-то рыбу, напустила столько дыму в кухне, что нельзя было видеть даже и самых тараканов. Акакий Акакиевич прошел через кухню, не замеченный даже самою хозяйкою, и вступил наконец в комнату, где увидел Петровича, сидевшего на широком деревянном некрашеном столе и подвернувшего под себя ноги свои, как турецкий паша. Ноги, по обычаю

портных, сидящих за работою, были нагишом. И прежде всего бросился в глаза большой палец, очень известный Акакию Акакиевичу, с каким-то изуродованным ногтем, толстым и крепким, как у черепахи череп. На шее у Петровича висел моток шелку и ниток, а на коленях была какая-то ветошь. Он уже минуты с три продевал нитку в иглиное ухо, не попадал и потому очень сердился на темноту и даже на самую нитку, ворча вполголоса: «Не лезет, варварка; уела ты меня, шельма этакая!» Акакию Акакиевичу было неприятно, что он пришел именно в ту минуту, когда Петрович сердился: он любил что-либо заказывать Петровичу тогда, когда последний был уже несколько под куражем, или, как выражалась жена его, «осадился сивухой, одноглазый черт». В таком состоянии Петрович обыкновенно очень охотно уступал и соглашался, всякий раз даже кланялся и благодарил. Потом, правда, приходила жена, плачась, что муж-де был пьян и потому дешево взялся; но гривенник, бывало, один прибавишь, и дело в шляпе. Теперь же Петрович был, казалось, в трезвом состоянии, а потому крут, несговорчив и охотник заламливать черт знает какие цены. Акакий Акакиевич смекнул это и хотел было уже, как говорится, на попятный двор, но уж дело было начато. Петрович прищурил на него очень пристально свой единственный глаз, и Акакий Акакиевич невольно выговорил:

— Здравствуй, Петрович!

— Здравствовать желаю, судырь,— сказал Петрович и покосил свой глаз на руки Акакия Акакиевича, желая высмотреть, какого рода добычу тот нес.

— А я вот к тебе, Петрович, того...

Нужно знать, что Акакий Акакиевич изъяснялся большею частью предлогами, наречиями, и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого значения. Если же дело было очень затруднительно, то он даже имел обыкновение совсем не оканчивать фразы, так что весьма часто, начавши речь словами: «Это, право, совершенно того...» — а потом уже и ничего не было, и сам он позабывал, думая, что все уже выговорил.

— Что ж такое? — сказал Петрович и обсмотрел в то же время своим единственным глазом весь вицмундир его, начиная с воротника до рукавов, спинки, фалд и петлей,— что все было ему очень знакомо, потому что было собственной его работы. Таков уж обычай у портных: это первое, что он сделает при встрече.

— А я вот того, Петрович... шинель-то, сукно... вот видишь, везде в других местах, совсем крепкое, оно немножко запылилось, и кажется, как будто старое, а оно новое, да вот только в одном месте немного того... на спине, да еще вот на плече одном немного

попротерлось, да вот на этом плече немножко — видишь, вот и все. И работы немного...

Петрович взял капот, разложил его сначала на стол, рассматривал долго, покачал головою и полез рукою на окно за круглой табакеркой с портретом какого-то генерала, какого именно, неизвестно, потому что место, где находилось лицо, было проткнуто пальцем и потом заклеено четвероугольным лоскуточком бумажки. Понюхав табаку, Петрович растопырил капот на руках и рассмотрел его против света и опять покачал головою. Потом обратил его подкладкой вверх и вновь покачал, вновь снял крышку с генералом, заклеенным бумажкой, и натащивши в нос табаку, закрыл, спрятал табакерку и наконец сказал:

— Нет, нельзя поправить: худой гардероб!

У Акакия Акакиевича при этих словах екнуло сердце.

— Отчего же нельзя, Петрович? — сказал он почти умоляющим голосом ребенка,— ведь только всего что на плечах поистерлось, ведь у тебя есть же какие-нибудь кусочки...

— Да кусочки-то можно найти, кусочки найдутся,— сказал Петрович,— да нашить-то нельзя: дело совсем гнилое, тронешь иглой — а вот уж оно и ползет.

— Пусть ползет, а ты тотчас заплаточку.

— Да заплаточки не на чем положить, укрепиться ей не за что, подержка больно велика. Только слава что сукно, а подуй ветер, так разлетится.

— Ну, да уж прикрепи. Как же этак, право, того!..

— Нет,— сказал Петрович решительно,— ничего нельзя сделать. Дело совсем плохое. Уж вы лучше, как придет зимнее холодное время, наделайте из нее себе онучек, потому что чулок не греет. Это немцы выдумали, чтобы побольше себе денег забирать (Петрович любил при случае кольнуть немцев); а шинель уж, видно, вам придется новую делать.

При слове «новую» у Акакия Акакиевича затуманило в глазах, и все, что ни было в комнате, так и пошло пред ним путаться. Он видел ясно одного только генерала с заклеенным бумажкой лицом, находившегося на крышке Петровичевой табакерки.

— Как же новую? — сказал он, все еще как будто находясь во сне,— ведь у меня и денег на это нет.

— Да, новую,— сказал с варварским спокойствием Петрович.

— Ну, а если бы пришлось новую, как бы она того...

— То есть что будет стоить?

— Да.

— Да три полсотни с лишком надо будет приложить,— сказал Петрович и сжал при этом значительно губы. Он очень любил сильные эффекты, любил вдруг как-нибудь озадачить совершенно и по-

том поглядеть искоса, какую озадаченный сделает рожу после таких слов.

— Полтораста рублей за шинель! — вскрикнул бедный Акакий Акакиевич, вскрикнул, может быть, в первый раз от роду, ибо отличался всегда тихостью голоса.

— Да-с,— сказал Петрович,— да еще какова шинель. Если положить на воротник куницу да пустить капишон на шелковой подкладке, так и в двести войдет.

— Петрович, пожалуйста,— говорил Акакий Акакиевич умоляющим голосом, не слыша и не стараясь слышать сказанных Петровичем слов и всех его эффектов,— как-нибудь поправь, чтобы хоть сколько-нибудь еще послужила.

— Да нет, это выйдет: и работу убивать и деньги попусту тратить,— сказал Петрович, и Акакий Акакиевич после таких слов вышел совершенно уничтоженный.

А Петрович по уходе его долго еще стоял, значительно сжавши губы и не принимаясь за работу, будучи доволен, что и себя не уронил, да и портного искусства тоже не выдал.

Вышед на улицу, Акакий Акакиевич был как во сне. «Этаково-то дело этакое,— говорил он сам себе,— я, право, и не думал, чтобы оно вышло того...— а потом, после некоторого молчания, прибавил: — Так вот как! наконец вот что вышло, а я, право, совсем и предполагать не мог, чтобы оно было этак». Засим последовало опять долгое молчание, после которого он произнес: «Так этак-то! вот какое уж, точно, никак неожиданное, того... этого бы никак... этакое-то обстоятельство!» Сказавши это, он, вместо того чтобы идти домой, пошел совершенно в противную сторону, сам того не подозревая. Дорогою задел его всем нечистым своим боком трубочист и вычернил все плечо ему: целая шапка извести высыпалась на него с верхушки строившегося дома. Он ничего этого не заметил, и потом уже, когда натолкнулся на будочника, который, поставя около себя свою алебарду, натряхивал из рожка на мозолистый кулак табаку, тогда только немного очнулся, и то потому, что будочник сказал: «Чего лезешь в самое рыло, разве нет тебе трухтуара?» Это заставило его оглянуться и поворотить домой. Здесь только он начал собирать мысли, увидел в ясном и настоящем виде свое положение, стал разговаривать с собою уже не отрывисто, но рассудительно и откровенно, как с благоразумным приятелем, с которым можно поговорить о деле, самом сердечном и близком. «Ну нет,— сказал Акакий Акакиевич,— теперь с Петровичем нельзя толковать: он теперь того... жена, видно, как-нибудь поколотила его. А вот я лучше приду к нему в воскресный день утром: он после канунешной субботы будет косить глазом и заспавшись, так ему нужно будет опохмелиться, а жена денег не

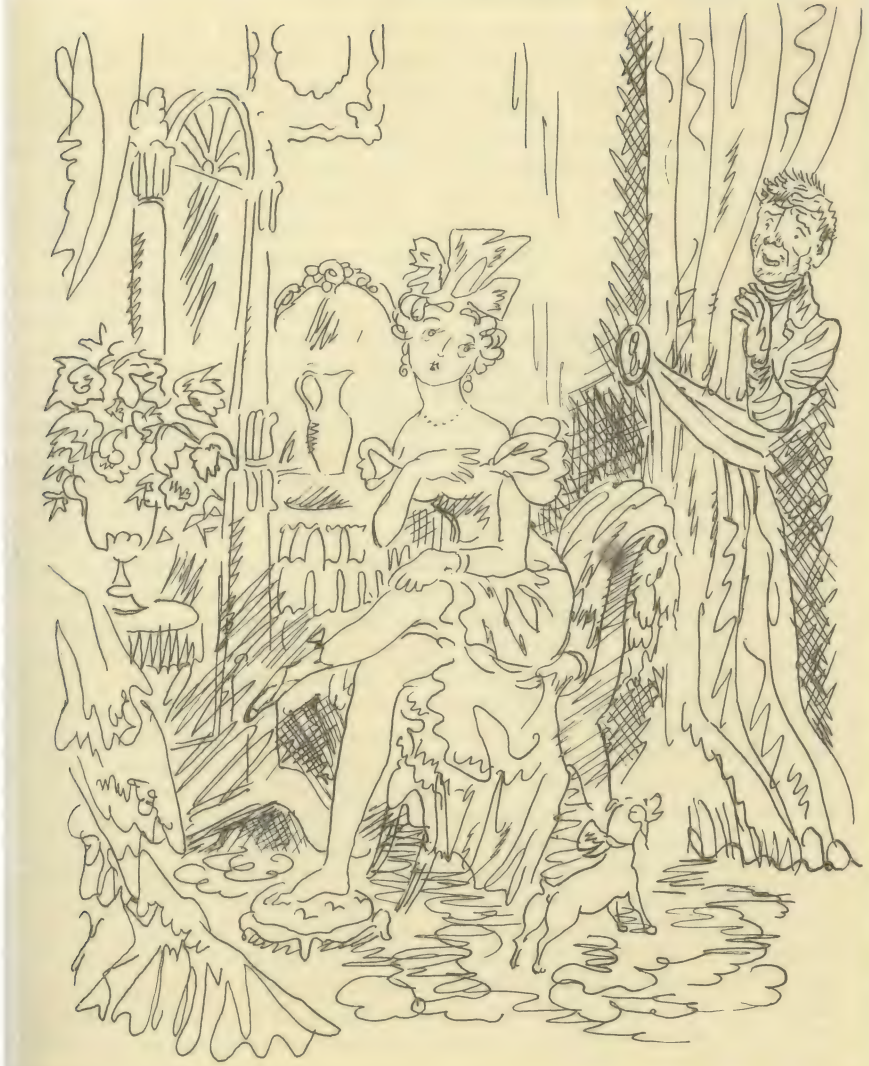
даст, а в это время я ему гривенничек и того, в руку, он и будет сговорчивее и шинель тогда и того...» Так рассудил сам с собою Акакий Акакиевич, ободрил себя и дождался первого воскресенья, и, увидев издали, что жена Петровича куда-то выходила из дому, он прямо к нему. Петрович, точно, после субботы сильно косил глазом, голову держал к полу и был совсем заспавшись; но при всем том, как только узнал, в чем дело, точно как будто его черт толкнул. «Нельзя,— сказал,— извольте заказать новую». Акакий Акакиевич тут-то всунул ему гривенничек. «Благодарствую, сударь, подкреплюсь маленечко за ваше здоровье,— сказал Петрович,— а уж об шинели не извольте беспокоиться: она ни на какую годность не годится. Новую шинель уж я вам сошью на славу, уж на этом постоим».

Акакий Акакиевич еще было насчет починки, но Петрович не дослышал и сказал: «Уж новую я вам сошью беспременно, в этом извольте положиться, старанье приложим. Можно будет даже так, как пошла мода: воротник будет застегиваться на серебряные лапки под аплике».

Тут-то увидел Акакий Акакиевич, что без новой шинели нельзя обойтись, и поник совершенно духом. Как же, в самом деле, на что, на какие деньги ее сделать? Конечно, можно бы отчасти положиться на будущее награждение к празднику, но эти деньги давно уж размещены и распределены вперед. Требовалось завести новые панталоны, заплатить сапожнику старый долг за приставку новых головок к старым голенищам, да следовало заказать швее три рубахи да штуки две того белья, которое неприлично называть в печатном слоге,— словом, все деньги совершенно должны были разойтися; и если бы даже директор был так милостив, что вместо сорока рублей наградных определил бы сорок пять или пятьдесят, то все-таки останется какой-нибудь самый вздор, который в шинельном капитале будет капля в море. Хотя, конечно, он знал, что за Петровичем водилась блажь заломить вдруг черт знает какую непомерную цену, так что уж, бывало, сама жена не могла удержаться, чтобы не вскрикнуть: «Что ты с ума сходишь, дурак такой! В другой раз ни за что возьмет работать, а теперь разнесла его нелегкая запросить такую цену, какой и сам не сто́ит». Хотя, конечно, он знал, что Петрович и за восемьдесят рублей возьмется сделать: однако все же откуда взять эти восемьдесят рублей? Еще половину можно бы найти: половина бы отыскалась; может быть, даже немножко и больше; но где взять другую половину?.. Но прежде читателю должно узнать, где взялась первая половина. Акакий Акакиевич имел обыкновение со всякого истрачиваемого рубля откладывать по грошу в небольшой ящичек, запертый на *ключ, с прорезанною в крышке дырочкой для бросания туда денег.*

По истечении всякого полугода он ревизовал накопившуюся медную сумму и заменял ее мелким серебром. Так продолжал он с давних пор, и, таким образом, в продолжении нескольких лет оказалось накопившейся суммы более чем на сорок рублей. Итак, половина была в руках; но где же взять другую половину? Где взять другие сорок рублей? Акакий Акакиевич думал, думал и решил, что нужно будет уменьшить обыкновенные издержки, хотя, по крайней мере, в продолжение одного года; изгнать употребление чаю по вечерам, не зажигать по вечерам свечи, а если что понадобится делать, идти в комнату к хозяйке и работать при ее свечке; ходя по улицам, ступать как можно легче и осторожнее, по камням и плитам, почти на цыпочках, чтобы таким образом не истереть скоровременно подметок; как можно реже отдавать прачке мыть белье, а чтобы не занашивалось, то всякий раз, приходя домой, скидать его и оставаться в одном только демикотоновом халате, очень давнем и щадимом даже самим временем. Надобно сказать правду, что сначала ему было несколько трудно привыкнуть к таким ограничениям, но потом как-то привыклось и пошло на лад; даже он совершенно приучился голодать по вечерам; но зато он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели. С этих пор как будто самое существование его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился, как будто какой-то другой человек присутствовал с ним, как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу,— и подруга эта была не кто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке без износу. Он сделался как-то живее, даже тверже характером, как человек, который уже определил и поставил себе цель. С лица и с поступков его исчезло само собою сомнение, нерешительность — словом, все колеблющиеся и неопределенные черты. Огонь порою показывался в глазах его, в голове даже мелькали самые дерзкие и отважные мысли: не положить ли, точно, куницу на воротник? Размышления об этом чуть не навели на него рассеянности. Один раз, переписывая бумагу, он чуть было даже не сделал ошибки, так что почти вслух вскрикнул «ух!» и перекрестился. В продолжении каждого месяца он хотя один раз наведывался к Петровичу, чтобы поговорить о шинели, где лучше купить сукна, и какого цвета, и в какую цену, и хотя несколько озабоченный, но всегда довольный возвращался домой, помышляя, что наконец придет же время, когда все это купится и когда шинель будет сделана. Дело пошло даже скорее, чем он ожидал. Противу всякого чаяния, директор назначил Акакию Акакиевичу не сорок или сорок пять, а целых шестьдесят рублей; уж предчувствовал ли он, что Акакию Акакиевичу нужна шинель или само собой так случилось, но только у

него чрез это очутилось лишних двадцать рублей. Это обстоятельство ускорило ход дела. Еще каких-нибудь два-три месяца небольшого голодания — и у Акакия Акакиевича набралось точно около восьмидесяти рублей. Сердце его, вообще весьма покойное, начало биться. В первый же день он отправился вместе с Петровичем в лавки. Купили сукна очень хорошего — и не мудрено, потому что об этом думали еще за полгода прежде и редкий месяц не заходили в лавки применяться к ценам; зато сам Петрович сказал, что лучше сукна и не бывает. На подкладку выбрали коленкору, но такого добротного и плотного, который, по словам Петровича, был еще лучше шелку и даже на вид казистей и глянцевитей. Куницы не купили, потому что была, точно, дорога; а вместо ее выбрали кошку, лучшую, какая только нашлась в лавке, кошку, которую издали можно было всегда принять за куницу. Петрович провозился за шинелью всего две недели, потому что много было стеганья, а иначе она была бы готова раньше. За работу Петрович взял двенадцать рублей — меньше никак нельзя было: все было решительно шито на шелку, двойным мелким швом, и по всякому шву Петрович потом проходил собственными зубами, вытесняя ими разные фигуры. Это было... трудно сказать, в который именно день, но, вероятно, в день самый торжественнейший в жизни Акакия Акакиевича, когда Петрович принес наконец шинель. Он принес ее поутру, перед самым тем временем, как нужно было идти в департамент. Никогда бы в другое время не пришлась так кстати шинель, потому что начинались уже довольно крепкие морозы и, казалось, грозили еще более усилиться. Петрович явился с шинелью, как следует хорошему портному. В лице его показалось выражение такое значительное, какого Акакий Акакиевич никогда еще не видал. Казалось, он чувствовал в полной мере, что сделал немалое дело и что вдруг показал в себе бездну, разделяющую портных, которые подставляют только подкладки и переправляют, от тех, которые шьют заново. Он вынул шинель из носового платка, в котором ее принес; платок был только что от прачки, он уже потом свернул его и положил в карман для употребления. Вынувши шинель, он весьма гордо посмотрел и, держа в обеих руках, набросил весьма ловко на плеча Акакию Акакиевичу; потом потянул и осадил ее сзади рукой книзу; потом драпировал ею Акакия Акакиевича несколько нараспашку. Акакий Акакиевич, как человек в летах, хотел попробовать в рукава; Петрович помог надеть и в рукава, — вышло, что и в рукава была хороша. Словом, оказалось, что шинель была совершенно и как раз впору. Петрович не упустил при сем случае сказать, что он так только, потому что живет без вывески на небольшой улице и притом давно знает Акакия Акакиевича, потому взял так дешево; а на Невском проспекте



«Записки сумасшедшего»

Худ. Н. Кузьмин

с него бы взяли за одну только работу семьдесят пять рублей. Акакий Акакиевич об этом не хотел рассуждать с Петровичем, да и боялся всех сильных сумм, какими Петрович любил запускать пыль. Он расплатился с ним, поблагодарил и вышел тут же в новой шинели в департамент. Петрович вышел вслед за ним и, оставаясь на улице, долго еще смотрел издали на шинель и потом пошел нарочно в сторону, чтобы, обогнувши кривым переулком, забежать вновь на улицу и посмотреть еще раз на свою шинель с другой стороны, то есть прямо в лицо. Между тем Акакий Акакиевич шел в самом праздничном расположении всех чувств. Он чувствовал всякий миг минуты, что на плечах его новая шинель, и несколько раз даже усмехнулся от внутреннего удовольствия. В самом деле, две выгоды: одно то, что тепло, а другое, что хорошо. Дороги он не приметил вовсе и очутился вдруг в департаменте; в швейцарской он скинул шинель, осмотрел ее кругом и поручил в особенный надзор швейцару. Неизвестно, каким образом в департаменте все вдруг узнали, что у Акакия Акакиевича новая шинель и что уже капота более не существует. Все в ту же минуту выбежали в швейцарскую смотреть новую шинель Акакия Акакиевича. Начали поздравлять его, приветствовать, так что тот сначала только улыбался, а потом сделалось ему даже стыдно. Когда же все, приступив к нему, стали говорить, что нужно вспрыснуть новую шинель и что, по крайней мере, он должен задать им всем вечер, Акакий Акакиевич потерялся совершенно, не знал, как ему быть, что такое отвечать и как отговориться. Он уже минут через несколько, весь закрасневшись, начал было уверять довольно простодушно, что это совсем не новая шинель, что это так, что это старая шинель. Наконец один из чиновников, какой-то даже помощник столоначальника, вероятно для того, чтобы показать, что он ничуть не гордец и знается даже с низшими себя, сказал: «Так и быть, я вместо Акакия Акакиевича даю вечер и прошу ко мне сегодня на чай: я же, как нарочно, сегодня именинник». Чиновники, натурально, тут же поздравили помощника столоначальника и приняли с охотою предложение. Акакий Акакиевич начал было отговариваться, но все стали говорить, что неучтиво, что просто стыд и срам, и он уж никак не мог отказаться. Впрочем, ему потом сделалось приятно, когда вспомнил, что он будет иметь чрез то случай пройтись даже и ввечеру в новой шинели. Этот весь день был для Акакия Акакиевича точно самый большой торжественный праздник. Он возвратился домой в самом счастливом расположении духа, скинул шинель и повесил ее бережно на стене, налюбовавшись еще раз сукном и подкладкой и потом нарочно вытащил, для сравненья, прежний капот свой, совершенно расползшийся. Он взглянул на него, и сам даже засмеялся: такая была далекая

разница! И долго еще потом за обедом он все усмехался, как только приходило ему на ум положение, в котором находился капот. Пообедал он весело и после обеда уж ничего не писал, никаких бумаг, а так немножко посибаритствовал на постеле, пока не потемнело. Потом, не затягивая дела, оделся, надел на плеча шинель и вышел на улицу. Где именно жил пригласивший чиновник, к сожалению, не можем сказать: память начинает нам сильно изменять, и всё, что ни есть в Петербурге, все улицы и домы слились и смешались так в голове, что весьма трудно достать оттуда что-нибудь в порядочном виде. Как бы то ни было, но верно, по крайней мере, то, что чиновник жил в лучшей части города,— стало быть, очень не близко от Акакия Акакиевича. Сначала надо было Акакию Акакиевичу пройти кое-какие пустынные улицы с тощим освещением, но по мере приближения к квартире чиновника улицы становились живее, населенней и сильнее освещены. Пешеходы стали мелькать чаще, начали попадаться и дамы, красиво одетые, на мужчинах попадались бобровые воротники, реже встречались ваньки с деревянными решетчатыми своими санками, утыканными позолоченными гвоздочками,— напротив, всё попадались лихачи в малиновых бархатных шапках, с лакированными санками, с медвежьими одеялами, и пролетали улицу, визжа колесами по снегу, кареты с убранными козлами. Акакий Акакиевич глядел на все это, как на новость. Он уже несколько лет не выходил по вечерам на улицу. Остановился с любопытством перед освещенным окошком магазина посмотреть на картину, где изображена была какая-то красивая женщина, которая скидала с себя башмак, обнаживши таким образом всю ногу, очень недурную; а за спиной ее, из дверей другой комнаты, выставил голову какой-то мужчина с бакенбардами и красивой эспаньолкой под губой. Акакий Акакиевич покачнул головой и усмехнулся и потом пошел своею дорогою. Почему он усмехнулся, потому ли, что встретил вещь вовсе не знакомую, но о которой, однако же, все-таки у каждого сохраняется какое-то чутье, или подумал он, подобно многим другим чиновникам, следующее: «Ну, уж эти французы! что и говорить, уж ежели захотят что-нибудь того, так уж точно того...» А может быть, даже и этого не подумал — ведь нельзя же залезть в душу человека и узнать все, что он ни думает. Наконец достигнул он дома, в котором квартировал помощник столоначальника. Помощник столоначальника жил на большую ногу: на лестнице светил фонарь, квартира была во втором этаже. Вошедши в переднюю, Акакий Акакиевич увидел на полу целые ряды калош. Между ними, посреди комнаты, стоял самовар, шумя и испуская клубами пар. На стенах висели всё шинели да плащи, между которыми некоторые были даже с бобровыми воротниками или с бархатными отво-

ротами. За стеной был слышен шум и говор, которые вдруг сделались ясными и звонкими, когда отворилась дверь и вышел лакей с подносом, уставленным опорожненными стаканами, сливочником и корзиною сухарей. Видно, что уж чиновники давно собрались и выпили по первому стакану чаю. Акакий Акакиевич, повесивши сам шинель свою, вошел в комнату, и перед ним мелькнули в одно время свечи, чиновники, трубки, столы для карт, и смутно поразили слух его беглый, со всех сторон подымавшийся разговор и шум передвигаемых стульев. Он остановился весьма неловко среди комнаты, ища и стараясь придумать, что ему сделать. Но его уже заметили, приняли с криком, и все пошли тот же час в переднюю и вновь осмотрели его шинель. Акакий Акакиевич хотя было отчасти и сконфузился, но, будучи человеком чистосердечным, не мог не порадоваться, видя, как все похвалили шинель. Потом, разумеется, все бросили и его и шинель и обратились, как водится, к столам, назначенным для виста. Все это: шум, говор и толпа людей,— все это было как-то чудно Акакию Акакиевичу. Он просто не знал, как ему быть, куда деть руки, ноги и всю фигуру свою; наконец подсел он к игравшим, смотрел в карты, засматривал тому и другому в лица и чрез несколько времени начал зевать, чувствовать, что скучно, тем более что уж давно наступило то время, в которое он, по обыкновению, ложился спать. Он хотел проститься с хозяином, но его не пустили, говоря, что непременно надо выпить в честь обновки по бокалу шампанского. Через час подали ужин, состоявший из винегрета, холодной телятины, паштета, кондитерских пирожков и шампанского. Акакия Акакиевича заставили выпить два бокала, после которых он почувствовал, что в комнате сделалось веселее, однако ж никак не мог позабыть, что уже двенадцать часов и что давно пора домой. Чтобы как-нибудь не вздумал удерживать хозяин, он вышел потихоньку из комнаты, отыскал в передней шинель, которую не без сожаления увидел лежавшею на полу, стряхнул ее, снял с нее всякую пушинку, надел на плеча и опустился по лестнице на улицу. На улице все еще было светло. Кое-какие мелочные лавчонки, эти бессменные клубы дворовых и всяких людей, были отперты, другие же, которые были заперты, показывали, однако ж, длинную струю света во всю дверную щель, означавшую, что они не лишены еще общества и, вероятно, дворовые служанки или слуги еще доканчивают свои толки и разговоры, повергая своих господ в совершенное недоумение насчет своего местопребывания. Акакий Акакиевич шел в веселом расположении духа, даже подбежал было вдруг, неизвестно почему, за какою-то дамою, которая, как молния, прошла мимо и у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения. Но, однако ж, он тут же остановился и пошел опять по-

прежнему очень тихо, подивясь даже сам неизвестно откуда взявшейся рыси. Скоро потянулись перед ним те пустынные улицы, которые даже и днем не так веселы, а тем более вечером. Теперь они сделались еще глуше и уединеннее: фонари стали мелькать реже — масла, как видно, уже меньше отпускалось; пошли деревянные домы, заборы; нигде ни души; сверкал только один снег по улицам, да печально чернели с закрытыми ставнями заснувшие низенькие лачужки. Он приблизился к тому месту, где перерезывалась улица бесконечною площадью с едва видными на другой стороне ее домами, которая глядела страшною пустынею.

Вдали, бог знает где, мелькал огонек в какой-то будке, которая казалась стоявшею на краю света. Веселость Акакия Акакиевича как-то здесь значительно уменьшилась. Он вступил на площадь не без какой-то невольной боязни, точно как будто сердце его предчувствовало что-то недоброе. Он оглянулся назад и по сторонам: точное море вокруг него. «Нет, лучше и не глядеть»,— подумал и шел, закрыв глаза, и когда открыл их, чтобы узнать, близко ли конец площади, увидел вдруг, что перед ним стоят почти перед носом какие-то люди с усами, какие именно, уж этого он не мог даже различить. У него затуманило в глазах и забилось в груди. «А ведь шинель-то моя!» — сказал один из них громовым голосом, схвативши его за воротник. Акакий Акакиевич хотел было уже закричать «караул», как другой приставил ему к самому рту кулак величиною в чиновничью голову, примолвив: «А вот только крикни!» Акакий Акакиевич чувствовал только, как сняли с него шинель, дали ему пинка коленом, и он упал навзничь в снег и ничего уж больше не чувствовал. Чрез несколько минут он опомнился и поднялся на ноги, но уж никого не было. Он чувствовал, что в поле холодно и шинели нет, стал кричать, но голос, казалось, и не думал долетать до концов площади. Отчаянный, не уставая кричать, пустился он бежать через площадь прямо к будке, подле которой стоял будочник и, опершись на свою алебарду, глядел, кажется, с любопытством, желая знать, какого черта бежит к нему издали и кричит человек. Акакий Акакиевич, прибежав к нему, начал задыхающимся голосом кричать, что он спит и ни за чем не смотрит, не видит, как грабят человека. Будочник отвечал, что он не видал ничего, что видел, как остановили его среди площади какие-то два человека, да думал, что то были его приятели; а что пусть он, вместо того чтобы понапрасну браниться, сходит завтра к надзирателю, так надзиратель отыщет, кто взял шинель. Акакий Акакиевич прибежал домой в совершенном беспорядке: волосы, которые еще водились у него в небольшом количестве на висках и затылке, совершенно растрепались; бок и грудь и все панталоны были в снегу. Старуха, хозяйка квартиры его, услыша страшный

стук в дверь, поспешно вскочила с постели и с башмаком на одной только ноге побежала отворять дверь, придерживая на груди своей, из скромности, рукою рубашку; но, отворив, отступила назад, увидя в таком виде Акакия Акакиевича. Когда же рассказал он, в чем дело, она всплеснула руками и сказала, что нужно идти прямо к частному, что квартальный надует, пообещается и станет водить; а лучше всего идти прямо к частному, что он даже ей знаком, потому что Анна, чухонка, служившая прежде у нее в кухарках, определилась теперь к частному в няньки, что она часто видит его самого, как он проезжает мимо их дома, и что он бывает также всякое воскресенье в церкви, молится, а в то же время весело смотрит на всех, и что, стало быть, по всему видно, должен быть добрый человек. Выслушав такое решение, Акакий Акакиевич печальный побрел в свою комнату, и как он провел там ночь, предоставляется судить тому, кто может сколько-нибудь представить себе положение другого. Поутру рано отправился он к частному; но сказали, что спит; он пришел в десять — сказали опять: спит; он пришел в одиннадцать часов — сказали: да нет частного дома; он в обеденное время — но писаря в прихожей никак не хотели пустить его и хотели непременно узнать, за каким делом и какая надобность привела и что такое случилось. Так что наконец Акакий Акакиевич раз в жизни захотел показать характер и сказал наотрез, что ему нужно лично видеть самого частного, что они не смеют его не допустить, что он пришел из департамента за казенным делом, а что вот как он на них пожалуется, так вот тогда они увидят. Против этого писаря ничего не посмели сказать, и один из них пошел вызвать частного. Частный принял как-то чрезвычайно странно рассказ о грабительстве шинели. Вместо того чтобы обратить внимание на главный пункт дела, он стал расспрашивать Акакия Акакиевича: да почему он так поздно возвращался, да не заходил ли он и не был ли в каком непорядочном доме, так что Акакий Акакиевич сконфузился совершенно и вышел от него, сам не зная, возымеет ли надлежащий ход дело о шинели или нет. Весь этот день он не был в присутствии (единственный случай в его жизни). На другой день он явился весь бледный и в старом капоте своем, который сделался еще плачевнее. Повествование о грабеже шинели, несмотря на то что нашлись такие чиновники, которые не пропустили даже и тут посмеяться над Акакием Акакиевичем, однако же многих тронуло. Решились тут же сделать для него складчину, но собрали самую безделицу, потому что чиновники и без того уже много истратились, подписавшись на директорский портрет и на одну какую-то книгу, по предложению начальника отделения, который был приятелем сочинителю,— итак, сумма оказалась самая бездельная. Один кто-то, движимый

состраданием, решился, по крайней мере, помочь Акакию Акакиевичу добрым советом, сказавши, чтоб он пошел не к квартальному, потому что хоть и может случиться, что квартальный, желая заслужить одобрение начальства, отыщет каким-нибудь образом шинель, но шинель все-таки останется в полиции, если он не представит законных доказательств, что она принадлежит ему: а лучше всего, чтобы он обратился к одному *значительному лицу*, что *значительное лицо*, спишась и снесясь с кем следует, может заставить успешнее идти дело. Нечего делать, Акакий Акакиевич решился идти к *значительному лицу*. Какая именно и в чем состояла должность *значительного лица*, это осталось до сих пор неизвестным. Нужно знать, что *одно значительное лицо* недавно сделался значительным лицом, а до того времени он был незначительным лицом. Впрочем, место его и теперь не почиталось значительным в сравнении с другими, еще значительнейшими. Но всегда найдется такой круг людей, для которых незначительное в глазах прочих есть уже значительное. Впрочем, он старался усилить значительность многими другими средствами, именно: завел, чтобы низшие чиновники встречали его еще на лестнице, когда он приходил в должность: чтобы к нему являться прямо никто не смел, а чтоб шло все порядком строжайшим: коллежский регистратор докладывал бы губернскому секретарю, губернский секретарь — титулярному или какому приходилось другому, и чтобы уже, таким образом, доходило дело до него. Так уж на святой Руси все заражено подражанием, всякий дразнит и корчит своего начальника. Говорят даже, какой-то титулярный советник, когда сделали его правителем какой-то отдельной небольшой канцелярии, тотчас же отгородил себе особенную комнату, назвавши ее «комнатой присутствия», и поставил у дверей каких-то капельдинеров с красными воротниками, в галунах, которые брались за ручку дверей и отворяли ее всякому приходившему, хотя в «комнате присутствия» насилу мог уставиться обыкновенный письменный стол. Приемы и обычаи *значительного лица* были солидны и величественны, но не многосложны. Главным основанием его системы была строгость. «Строгость, строгость и — строгость»,— говаривал он обыкновенно и при последнем слове обыкновенно смотрел очень значительно в лицо тому, которому говорил. Хотя, впрочем, этому и не было никакой причины, потому что десяток чиновников, составлявших весь правительственный механизм канцелярии, и без того был в надлежащем страхе; завидя его издали, оставлял уже дело и ожидал стоя вытяжку, пока начальник пройдет через комнату. Обыкновенный разговор его с низшими отзывался строгостью и состоял почти из трех фраз: «Как вы смеете? Знаете ли вы, с кем говорите? Понимаете ли, кто стоит перед вами?» Впрочем, он был в

душе добрый человек, хорош с товарищами, услужлив, но генеральский чин совершенно сбил его с толку. Получивши генеральский чин, он как-то спутался, сбился с пути и совершенно не знал, как ему быть. Если ему случалось быть с ровными себе, он был еще человек как следует, человек очень порядочный, во многих отношениях даже не глупый человек; но как только случалось ему быть в обществе, где были люди хоть одним чином пониже его, там он был просто хоть из рук вон: молчал, и положение его возбуждало жалость, тем более что он сам даже чувствовал, что мог бы провести время несравненно лучше. В глазах его иногда видно было сильное желание присоединиться к какому-нибудь интересному разговору и кружку, но останавливала его мысль: не будет ли это уж очень много с его стороны, не будет ли фамилиярно, и не уронит ли он чрез то своего значения? И вследствие таких рассуждений он оставался вечно в одном и том же молчаливом состоянии, произнося только изредка какие-то односложные звуки, и приобрел таким образом титул скучнейшего человека. К такому-то *значительному лицу* явился наш Акакий Акакиевич, и явился во время самое неблагоприятное, весьма некстати для себя, хотя, впрочем, кстати для значительного лица. Значительное лицо находился в своем кабинете и разговорился очень-очень весело с одним недавно приехавшим старинным знакомым и товарищем детства, с которым несколько лет не видался. В это время доложили ему, что пришел какой-то Башмачкин. Он спросил отрывисто: «Кто такой?» Ему отвечали: «Какой-то чиновник».— «А! может подождать, теперь не время»,— сказал значительный человек. Здесь надобно сказать, что значительный человек совершенно прилгнул: ему было время, они давно уже с приятелем переговорили обо всем и уже давно перекладывали разговор весьма длинными молчаньями, слегка только потрепливая друг друга по ляжке и приговаривая: «Так-то, Иван Абрамович!» — «Этак-то, Степан Варламович!» Но при всем том, однако же, велел он чиновнику подождать, чтобы показать приятелю, человеку давно не служившему и зажившемуся дома в деревне, сколько времени чиновники дожидаются у него в передней. Наконец наговорившись, а еще более намолчавшись вдоволь и выкуривши сигарку в весьма покойных креслах с откидными спинками, он наконец как будто вдруг вспомнил и сказал секретарю, остановившемуся у дверей с бумагами для доклада: «Да, ведь там стоит, кажется, чиновник; скажите ему, что он может войти». Увидевши смиренный вид Акакия Акакиевича и его старенький вицмундир, он оборотился к нему вдруг и сказал: «Что вам угодно?» — голосом отрывистым и твердым, которому нарочно учился заране у себя в комнате, в уединении и перед зеркалом, еще за неделю до получения ны-

нешнего своего места и генеральского чина. Акакий Акакиевич уже заблаговременно почувствовал надлежащую робость, несколько смутился и, как мог, сколько могла позволить ему свобода языка, изъяснил с прибавлением даже чаще, чем в другое время, частиц «того», что была-де шинель совершенно новая, и теперь ограблен бесчеловечным образом, и что он обращается к нему, чтоб он ходатайством своим как-нибудь того, списался бы с господином обер-полицмейстером или другим кем и отыскал шинель. Генералу, неизвестно почему, показалось такое обхождение фамилиярным.

— Что вы, милостивый государь,— продолжал он отрывисто,— не знаете порядка? куда вы зашли? не знаете, как водятся дела? Об этом вы бы должны были прежде подать просьбу в канцелярию; она пошла бы к столоначальнику, к начальнику отделения, потом передана была бы секретарю, а секретарь доставил бы ее уже мне...

— Но, ваше превосходительство,— сказал Акакий Акакиевич, стараясь собрать всю небольшую горсть присутствия духа, какая только в нем была, и чувствуя в то же время, что он вспотел ужасным образом,— я ваше превосходительство осмелился утрудить потому, что секретари того... ненадежный народ...

— Что, что, что? — сказал значительное лицо.— Откуда вы набрались такого духу? откуда вы мыслей таких набрались? что за буйство такое распространилось между молодыми людьми против начальников и высших!

Значительное лицо, кажется, не заметил, что Акакию Акакиевичу забралось уже за пятьдесят лет. Стало быть, если бы он и мог назваться молодым человеком, то разве только относительно, то есть в отношении к тому, кому уже было семьдесят лет.

— Знаете ли вы, кому это говорите? понимаете ли вы, кто стоит перед вами? понимаете ли вы это, понимаете ли это? я вас спрашиваю.

Тут он топнул ногою, возведя голос до такой сильной ноты, что даже и не Акакию Акакиевичу сделалось бы страшно. Акакий Акакиевич так и обмер, пошатнулся, затрясся всем телом и никак не мог стоять: если бы не подбежали тут же сторожа поддержать его, он бы шлепнулся на пол; его вынесли почти без движения. А значительное лицо, довольный тем, что эффект превзошел даже ожидание, и совершенно упоенный мыслью, что слово его может лишить даже чувств человека, искоса взглянул на приятеля, чтобы узнать, как он на это смотрит, и не без удовольствия увидел, что приятель его находился в самом неопределенном состоянии и начинал даже с своей стороны сам чувствовать страх.

Как сошел с лестницы, как вышел на улицу, ничего уж этого не помнил Акакий Акакиевич. Он не слышал ни рук, ни ног.

В жизнь свою он не был еще так сильно распечен генералом, да еще и чужим. Он шел по вьюге, свистевшей в улицах, разинув рот, сбиваясь с тротуаров; ветер, по петербургскому обычаю, дул на него со всех четырех сторон, из всех переулков. Вмиг надуло ему в горло жабу, и добрался он домой, не в силах будучи сказать ни одного слова; весь распух и слег в постель. Так сильно иногда бывает надлежащее распеканье! На другой же день обнаружилась у него сильная горячка. Благодаря великодушному вспомоществованию петербургского климата болезнь пошла быстрее, чем можно было ожидать, и когда явился доктор, то он, пощупавши пульс, ничего не нашелся сделать, как только прописать припарку, единственно уже для того, чтобы больной не остался без благодетельной помощи медицины; а впрочем, тут же объявил ему чрез полтора суток непременный капут. После чего обратился к хозяйке и сказал: «А вы, матушка, и времени даром не теряйте, закажите ему теперь же сосновый гроб, потому что дубовый будет для него дорог». Слышал ли Акакий Акакиевич эти произнесенные роковые для него слова, а если и слышал, произвели ли они на него потрясающее действие, пожалел ли он о горемычной своей жизни,— ничего этого не известно, потому что он находился все время в бреду и жару. Явления, одно другого страннее, представлялись ему беспрестанно: то видел он Петровича и заказывал ему сделать шинель с какими-то западнями для воров, которые чудились ему беспрестанно под кроватью, и он поминутно призывал хозяйку вытащить у него одного вора даже из-под одеяла; то спрашивал, зачем висит перед ним старый капот его, что у него есть новая шинель; то чудилось ему, что он стоит перед генералом, выслушивая надлежащее распеканье, и приговаривает: «Виноват, ваше превосходительство!» — то, наконец, даже сквернохульничал, произнося самые страшные слова, так что старушка хозяйка даже крестилась, отроду не слыхав от него ничего подобного, тем более что слова эти следовали непосредственно за словом «ваше превосходительство». Далее он говорил совершенную бессмыслицу, так что ничего нельзя было понять; можно было только видеть, что беспорядочные слова и мысли ворочались около одной и той же шинели. Наконец бедный Акакий Акакиевич испустил дух. Ни комнаты, ни вещей его не опечатывали, потому что, во-первых, не было наследников, а во-вторых, оставалось очень немного наследства, именно: пучок гусиных перьев, десть белой казенной бумаги, три пары носков, две-три пуговицы, оторвавшиеся от панталон, и уже известный читателю капот. Кому все это досталось, бог знает: об этом, признаюсь, даже не интересовался рассказывающий сию повесть. Акакия Акакиевича свезли и похоронили. И Петербург остался без Акакия Акакиевича, как будто бы в нем его и никогда не было.

Исчезло и скрылось существо, никем не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное, даже не обратившее на себя внимания и естествонаблюдателя, не пропускающего посадить на булавку обыкновенную муху и рассмотреть ее в микроскоп; существо, переносившее покорно канцелярские насмешки и без всякого чрезвычайного дела сошедшее в могилу, но для которого все же таки, хотя перед самым концом жизни, мелькнул светлый гость в виде шинели, ожививший на миг бедную жизнь, и на которое так же потом нестерпимо обрушилось несчастие, как обрушивалось на царей и повелителей мира... Несколько дней после его смерти послан был к нему на квартиру из департамента сторож, с приказанием немедленно явиться: начальник-де требует; но сторож должен был возвратиться ни с чем, давши отчет, что не может больше прийти, и на запрос «почему?» выразился словами: «Да так, уж он умер, четвертого дня похоронили». Таким образом узнали в департаменте о смерти Акакия Акакиевича, и на другой день уже на его месте сидел новый чиновник, гораздо выше ростом и выставлявший буквы уже не таким прямым почерком, а гораздо наклоннее и косее.

Но кто бы мог вообразить, что здесь еще не все об Акакии Акакиевиче, что суждено ему на несколько дней прожить шумно после своей смерти, как бы в награду за не примеченную никем жизнь. Но так случилось, и бедная история наша неожиданно принимает фантастическое окончание. По Петербургу пронеслись вдруг слухи, что у Калинкина моста и далеко подальше стал показываться по ночам мертвец в виде чиновника, ищущего какой-то утащенной шинели и под видом стащенной шинели сдирающий со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели: на кошках, на бобрах, на вате, енотовые, лисьи, медвежьи шубы — словом, всякого рода меха и кожи, какие только придумали люди для прикрытия собственной. Один из департаментских чиновников видел своими глазами мертвеца и узнал в нем тотчас Акакия Акакиевича; но это внушило ему, однако же, такой страх, что он бросился бежать со всех ног и оттого не мог хорошенько рассмотреть, а видел только, как тот издали погрозил ему пальцем. Со всех сторон поступали беспрестанно жалобы, что спины и плечи, пускай бы еще только титулярных, а то даже самих тайных советников, подвержены совершенной простуде по причине ночного сдергивания шинелей. В полиции сделано было распоряжение поймать мертвеца во что бы то ни стало, живого или мертвого, и наказать его, в пример другим, жесточайшим образом, и в том едва было даже не успели. Именно будочник какого-то квартала в Кирюшкином переулке схватил было уже совершенно мертвеца за ворот на самом месте злодеяния, на покушении сдернуть фризовую шинель с какого-то отставного му-

зыканта, свистáвшего в свое время на флейте. Схвативши его за ворот, он вызвал своим криком двух других товарищей, которым поручил держать его, а сам полез только на одну минуту за сапог, чтобы вытащить оттуда тавлинку с табаком, освежить на время шесть раз на веку приомороженный нос свой; но табак, верно, был такого рода, которого не мог вынести даже и мертвец. Не успел будочник, закрывши пальцем свою правую ноздрю, потянуть левою полгорсти, как мертвец чихнул так сильно, что совершенно забрызгал им всем троим глаза. Покамест они поднесли кулаки протереть их, мертвеца и след пропал, так что они не знали даже, был ли он, точно, в их руках. С этих пор будочники получили такой страх к мертвецам, что даже опасались хватать и живых, и только издали покрикивали: «Эй, ты, ступай своею дорогою!» — и мертвец-чиновник стал показываться даже за Калинкиным мостом, наводя немалый страх на всех робких людей. Но мы, однако же, совершенно оставили *одно значительное лицо,* который, по-настоящему, едва ли не был причиною фантастического направления, впрочем, совершенно истинной истории. Прежде всего долг справедливости требует сказать, что *одно значительное лицо* скоро по уходе бедного, распеченного в пух Акакия Акакиевича почувствовал что-то вроде сожаления. Сострадание было ему не чуждо: его сердцу были доступны многие добрые движения, несмотря на то что чин весьма часто мешал им обнаруживаться. Как только вышел из его кабинета приезжий приятель, он даже задумался о бедном Акакии Акакиевиче. И с этих пор почти всякий день представлялся ему бледный Акакий Акакиевич, не выдержавший должностного распеканья. Мысль о нем до такой степени тревожила его, что неделю спустя он решился даже послать к нему чиновника узнать, что он и как и нельзя ли в самом деле чем помочь ему; и когда донесли ему, что Акакий Акакиевич умер скоропостижно в горячке, он остался даже пораженным, слышал упреки совести и весь день был не в духе. Желая сколько-нибудь развлечься и позабыть неприятное впечатление, он отправился на вечер к одному из приятелей своих, у которого нашел порядочное общество, а что всего лучше — все там были почти одного и того же чина, так что он совершенно ничем не мог быть связан. Это имело удивительное действие на душевное его расположение. Он развернулся, сделался приятен в разговоре, любезен — словом, провел вечер очень приятно. За ужином выпил он стакана два шампанского — средство, как известно, недурно действующее в рассуждении веселости. Шампанское сообщило ему расположение к разным экстренностям, а именно: он решил не ехать еще домой, а заехать к одной знакомой даме, Каролине Ивановне, даме, кажется, немецкого происхождения, к которой он чувствовал совершенно прия-

тельские отношения. Надобно сказать, что значительное лицо был уже человек немолодой, хороший супруг, почтенный отец семейства. Два сына, из которых один служил уже в канцелярии, и миловидная шестнадцатилетняя дочь с несколько выгнутым, но хорошеньким носиком приходили всякий день целовать его руку, приговаривая: «bonjour, papa» [1]. Супруга его, еще женщина свежая и даже ничуть не дурная, давала ему прежде поцеловать свою руку и потом, переворотивши ее на другую сторону, целовала его руку. Но значительное лицо, совершенно, впрочем, довольный домашними семейными нежностями, нашел приличным иметь для дружеских отношений приятельницу в другой части города. Эта приятельница была ничуть не лучше и не моложе жены его; но такие уж задачи бывают на свете, и судить об них не наше дело. Итак, значительное лицо сошел с лестницы, сел в сани и сказал кучеру: «К Каролине Ивановне»,— а сам, закутавшись весьма роскошно в теплую шинель, оставался в том приятном положении, лучше которого и не выдумаешь для русского человека, то есть когда сам ни о чем не думаешь, а между тем мысли сами лезут в голову, одна другой приятнее, не давая даже труда гоняться за ними и искать их. Полный удовольствия, он слегка припоминал все веселые места проведенного вечера, все слова, заставившие хохотать небольшой круг; многие из них он даже повторял вполголоса и нашел, что они всё так же смешны, как и прежде, а потому не мудрено, что и сам посмеивался от души. Изредка мешал ему, однако же, порывистый ветер, который, выхватившись вдруг бог знает откуда и невесть от какой причины, так и резал в лицо, подбрасывая ему туда клочки снега, хлобуча, как парус, шинельный воротник или вдруг с неестественною силою набрасывая ему его на голову и доставляя, таким образом, вечные хлопоты из него выкарабкиваться. Вдруг почувствовал значительное лицо, что его ухватил кто-то весьма крепко за воротник. Обернувшись, он заметил человека небольшого роста, в старом поношенном вицмундире, и не без ужаса узнал в нем Акакия Акакиевича. Лицо чиновника было бледно, как снег, и глядело совершенным мертвецом. Но ужас значительного лица превзошел все границы, когда он увидел, что рот мертвеца покривился и, пахнувши на него страшно могилою, произнес такие речи: «А! так вот ты наконец! наконец я тебя того, поймал за воротник! твоей-то шинели мне и нужно! не похлопотал об моей, да еще и распек,— отдавай же теперь свою!» Бедное *значительное лицо* чуть не умер. Как ни был он характерен в канцелярии и вообще перед низшими, и хотя, взглянувши на один мужественный вид его и фигуру, всякий говорил: «У, какой характер!» — но здесь он, подобно

[1] добрый день, папа *(франц.)*.

весьма многим, имеющим богатырскую наружность, почувствовал такой страх, что не без причины даже стал опасаться насчет какого-нибудь болезненного припадка. Он сам даже скинул поскорее с плеч шинель свою и закричал кучеру не своим голосом: «Пошел во весь дух домой!» Кучер, услышавши голос, который произносится обыкновенно в решительные минуты и даже сопровождается кое-чем гораздо действительнейшим, упрятал на всякий случай голову свою в плечи, замахнулся кнутом и помчался как стрела. Минут в шесть с небольшим значительное лицо уже был пред подъездом своего дома. Бледный, перепуганный и без шинели, вместо того чтобы к Каролине Ивановне, он приехал к себе, доплелся кое-как до своей комнаты и провел ночь весьма в большом беспорядке, так что на другой день поутру за чаем дочь ему сказала прямо: «Ты сегодня совсем бледен, папа». Но папа молчал и никому ни слова о том, что с ним случилось, и где он был, и куда хотел ехать. Это происшествие сделало на него сильное впечатление. Он даже гораздо реже стал говорить подчиненным: «Как вы смеете, понимаете ли, кто перед вами?»; если же и произносил, то уж не прежде, как выслушавши сперва, в чем дело. Но еще более замечательно то, что с этих пор совершенно прекратилось появление чиновника-мертвеца: видно, генеральская шинель пришлась ему совершенно по плечам; по крайней мере, уже не было нигде слышно таких случаев, чтобы сдергивали с кого шинели. Впрочем, многие деятельные и заботливые люди никак не хотели успокоиться и поговаривали, что в дальних частях города все еще показывался чиновник-мертвец. И точно, один коломенский будочник видел собственными глазами, как показалось из-за одного дома привидение; но, будучи по природе своей несколько бессилен, так что один раз обыкновенный взрослый поросенок, кинувшись из какого-то частного дома, сшиб его с ног, к величайшему смеху стоявших вокруг извозчиков, с которых он вытребовал за такую издевку по грошу на табак,— итак, будучи бессилен, он не посмел остановить его, а так шел за ним в темноте до тех пор, пока наконец привидение вдруг оглянулось и, остановясь, спросило: «Тебе чего хочется?» — и показало такой кулак, какого и у живых не найдешь. Будочник сказал: «Ничего»,— да и поворотил тот же час назад. Привидение, однако же, было уже гораздо выше ростом, носило преогромные усы и, направив шаги, как казалось, к Обухову мосту, скрылось совершенно в ночной темноте.

## ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО

*Октября 3.*

Сегодняшнего дня случилось необыкновенное приключение. Я встал поутру довольно поздно, и когда Мавра принесла мне вычищенные сапоги, я спросил, который час. Услышавши, что уже давно било десять, я поспешил поскорее одеться. Признаюсь, я бы совсем не пошел в департамент, зная заранее, какую кислую мину сделает наш начальник отделения. Он уже давно мне говорит: «Что это у тебя, братец, в голове всегда ералаш такой? Ты иной раз метаешься как угорелый, дело подчас так спутаешь, что сам сатана не разберет, в титуле поставишь маленькую букву, не выставишь ни числа, ни номера». Проклятая цапля! он, верно, завидует, что я сижу в директорском кабинете и очиниваю перья для его превосходительства. Словом, я не пошел бы в департамент, если бы не надежда видеться с казначеем и авось-либо выпросить у этого жида хоть сколько-нибудь из жалованья вперед. Вот еще создание! Чтобы он выдал когда-нибудь вперед за месяц деньги — господи боже мой, да скорее Страшный суд придет. Проси, хоть тресни, хоть будь в разнужде,— не выдаст, седой черт. А на квартире собственная кухарка бьет его по щекам. Это всему свету известно. Я не понимаю выгод служить в департаменте. Никаких совершенно ресурсов. Вот в губернском правлении, гражданских и казенных палатах совсем другое дело: там, смотришь, иной прижался в самом уголку и пописывает. Фрачишка на нем гадкий, рожа такая, что плюнуть хочется, а посмотри ты, какую он дачу нанимает! Фарфоровой вызолоченной чашки и не неси к нему: «Это, говорит, докторский подарок»; а ему давай пару рысаков, или дрожки, или бобер рублей в триста. С виду такой тихенький, говорит так деликатно: «Одолжите ножичка починить перышко»,— а там обчистит так, что только одну рубашку оставит на просителе. Правда, у нас зато служба благородная, чистота во всем такая, какой вовеки не видеть губернскому правлению: столы из красного дерева, и все начальники на *вы*. Да, признаюсь, если бы не благородство службы, я бы давно оставил департамент.

Я надел старую шинель и взял зонтик, потому что шел проливной дождик. На улицах не было никого; одни только бабы, накрывшись полами платья, да русские купцы под зонтиками, да курьеры попадались мне на глаза. Из благородных только наш брат чиновник попался мне. Я увидел его на перекрестке. Я, как увидел его, тотчас сказал себе: «Эге! нет, голубчик, ты не в департамент идешь,

ты спешишь вон за тою, что бежит впереди, и глядишь на ее ножки». Что это за бестия наш брат чиновник! Ей-богу, не уступит никакому офицеру: пройди какая-нибудь в шляпке, непременно зацепит. Когда я думал это, увидел подъехавшую карету к магазину, мимо которого я проходил. Я сейчас узнал ее: это была карета нашего директора. «Но ему незачем в магазин,— я подумал,— верно, это его дочка». Я прижался к стенке. Лакей отворил дверцы, и она выпорхнула из кареты, как птичка. Как взглянула она направо и налево, как мелькнула своими бровями и глазами... Господи, боже мой! пропал я, пропал совсем. И зачем ей выезжать в такую дождевую пору. Утверждай теперь, что у женщин не велика страсть до всех этих тряпок. Она не узнала меня, да и я сам нарочно старался закутаться как можно более, потому что на мне была шинель очень запачканная и притом старого фасона. Теперь плащи носят с длинными воротниками, а на мне были коротенькие, один на другом; да и сукно совсем не дегатированное. Собачонка ее, не успевши вскочить в дверь магазина, осталась на улице. Я знаю эту собачонку. Ее зовут Меджи. Не успел я пробыть минуту, как вдруг слышу тоненький голосок: «Здравствуй, Меджи!» Вот тебе на! кто это говорит? Я обсмотрелся и увидел под зонтиком шедших двух дам: одну старушку, другую молоденькую; но они уже прошли, а возле меня опять раздалось: «Грех тебе, Меджи!» Что за черт! я увидел, что Меджи обнюхивалась с собачонкою, шедшею за дамами. «Эге! — сказал я сам себе,— да полно, не пьян ли я? Только это, кажется, со мною редко случается».— «Нет, Фидель, ты напрасно думаешь,— я видел сам, что произнесла Меджи,— я была, ав! ав! я была, ав, ав, ав! очень больна». Ах ты ж, собачонка! Признаюсь, я очень удивился, услышав ее говорящею по-человечески. Но после, когда я сообразил все это хорошенько, то тогда же перестал удивляться. Действительно, на свете уже случилось множество подобных примеров. Говорят, в Англии выплыла рыба, которая сказала два слова на таком странном языке, что ученые уже три года стараются определить и еще до сих пор ничего не открыли. Я читал тоже в газетах о двух коровах, которые пришли в лавку и спросили себе фунт чаю. Но, признаюсь, я гораздо более удивился, когда Меджи сказала: «Я писала к тебе, Фидель; верно, Полкан не принес письма моего!» Да чтоб я не получил жалованья! Я еще в жизни не слыхивал, чтобы собака могла писать. Правильно писать может только дворянин. Оно, конечно, некоторые и купчики-конторщики и даже крепостной народ пописывает иногда; но их писание большею частью механическое: ни запятых, ни точек, ни слога.

Это меня удивило. Признаюсь, с недавнего времени я начинаю иногда слышать и видеть такие вещи, которых никто еще не виды-

вал и не слыхивал. «Пойду-ка я,— сказал я сам себе,— за этой собачонкою и узнаю, что она и что такое думает».

Я развернул свой зонтик и отправился за двумя дамами. Перешли в Гороховую, поворотили в Мещанскую, оттуда в Столярную, наконец к Кокушкину мосту и остановились перед большим домом. «Этот дом я знаю,— сказал я сам себе.— Это дом Зверкова». Эка машина! Какого в нем народа не живет; сколько кухарок, сколько приезжих! а нашей братьи чиновников — как собак, один на другом сидит. Там есть и у меня один приятель, который хорошо играет на трубе. Дамы взошли в пятый этаж. «Хорошо,— подумал я,— теперь не пойду, а замечу место и при первом случае не премину воспользоваться».

*Октября 4.*

Сегодня середа, и потому я был у нашего начальника в кабинете. Я нарочно пришел пораньше и, засевши, перечинил все перья. Наш директор должен быть очень умный человек. Весь кабинет его уставлен шкафами с книгами. Я читал название некоторых: всё ученость, такая ученость, что нашему брату и приступа нет: всё или на французском, или на немецком. А посмотреть в лицо ему: фу, какая важность сияет в глазах! Я еще никогда не слышал, чтобы он сказал лишнее слово. Только разве, когда подашь бумаги, спросит: «Каково на дворе?» — «Сыро, ваше превосходительство!» Да, не нашему брату чета! Государственный человек. Я замечаю, однако же, что он меня особенно любит. Если бы и дочка... эх, канальство!.. Ничего, ничего, молчание! Читал «Пчелку». Эка глупый народ французы! Ну, чего хотят они? Взял бы, ей-богу, их всех, да и перепорол розгами! Там же читал очень приятное изображение бала, описанное курским помещиком. Курские помещики хорошо пишут. После этого заметил я, что уже било половину первого, а наш не выходил из своей спальни. Но около половины второго случилось происшествие, которого никакое перо не опишет. Отворилась дверь, я думал, что директор, и вскочил со стула с бумагами; но это была она, она сама! Святители, как она была одета! платье на ней было белое, как лебедь: фу, какое пышное! а как глянула: солнце, ей-богу, солнце! Она поклонилась и сказала: «Папа́ здесь не было?» Ах, ай, ай! какой голос! Канарейка, право, канарейка! «Ваше превосходительство,— хотел я было сказать,— не прикажите казнить, а если уже хотите казнить, то казните вашею генеральскою ручкою». Да, черт возьми, как-то язык не поворотился, и я сказал только: «Никак нет-с». Она поглядела на меня, на книги и уронила платок. Я кинулся со всех ног, подскользнулся на проклятом паркете и чуть-чуть не расклеил носа, однако ж удержался

и достал платок. Святые, какой платок! тончайший, батистовый — амбра, совершенная амбра! так и дышит от него генеральством. Она поблагодарила и чуть-чуть усмехнулась, так что сахарные губки ее почти не тронулись, и после этого ушла. Я еще час сидел, как вдруг пришел лакей и сказал: «Ступайте, Аксентий Иванович, домой, барин уже уехал из дому». Я терпеть не могу лакейского круга: всегда развалится в передней, и хоть бы головою потрудился кивнуть. Этого мало: один раз одна из этих бестий вздумала меня, не вставая с места, потчевать табачком. Да знаешь ли ты, глупый холоп, что я чиновник, я благородного происхождения. Однако ж я взял шляпу и надел сам на себя шинель, потому что эти господа никогда не подадут, и вышел. Дóма большею частию лежал на кровати. Потом переписал очень хорошие стишки: «Душеньки часок не видя, Думал, год уж не видал; Жизнь мою возненавидя, Льзя ли жить мне, я сказал». Должно быть, Пушкина сочинение. Ввечеру, закутавшись в шинель, ходил к подъезду ее превосходительства и поджидал долго, не выйдет ли сесть в карету, чтобы посмотреть еще разик,— но пет, не выходила.

*Ноябрь 6.*

Разбесил начальник отделения. Когда я пришел в департамент, он подозвал меня к себе и начал мне говорить так: «Ну, скажи, пожалуйста, что ты делаешь?» — «Как что? Я ничего не делаю»,— отвечал я. «Ну, размысли хорошенько! ведь тебе уже за сорок лет — пора бы ума набраться. Что ты воображаешь себе? Ты думаешь, я не знаю всех твоих проказ? Ведь ты волочишься за директорскою дочерью! Ну, посмотри на себя, подумай только, что ты? ведь ты нуль, более ничего. Ведь у тебя нет ни гроша за душою. Взгляни хоть в зеркало на свое лицо, куды тебе думать о том!» Черт возьми, что у него лицо похоже несколько на аптекарский пузырек, да на голове клочок волос, завитый хохолком, да держит ее кверху, да примазывает ее какою-то розеткою, так уже думает, что ему только одному все можно. Понимаю, понимаю, отчего он злится на меня. Ему завидно; он увидел, может быть, предпочтительно мне оказываемые знаки благорасположенности. Да я плюю на него! Велика важность надворный советник! вывесил золотую цепочку к часам, заказывает сапоги по тридцати рублей — да черт его побери! я разве из каких-нибудь разночинцев, из портных или из унтер-офицерских детей? Я дворянин. Что ж, и я могу дослужиться. Мне еще сорок два года — время такое, в которое, понастоящему, только что начинается служба. Погоди, приятель! будем и мы полковником, а может быть, если бог даст, то чем-нибудь и побольше. Заведем и мы себе репутацию еще и получше твоей.

Что ж ты себе забрал в голову, что, кроме тебя, уже нет вовсе порядочного человека? Дай-ка мне ручевский фрак, сшитый по моде, да повяжи я себе такой же, как ты, галстук,— тебе тогда не стать мне и в подметки. Достатков нет — вот беда.

*Ноября 8.*

Был в театре. Играли русского дурака Филатку. Очень смеялся. Был еще какой-то водевиль с забавными стишками на стряпчих, особенно на одного коллежского регистратора, весьма вольно написанные, так что я дивился, как пропустила цензура, а о купцах прямо говорят, что они обманывают народ и что сынки их дебошничают и лезут в дворяне. Про журналистов тоже очень забавный куплет: что они любят всё бранить и что автор просит от публики защиты. Очень забавные пьесы пишут нынче сочинители. Я люблю бывать в театре. Как только грош заведется в кармане — никак не утерпишь не пойти. А вот из нашей братьи чиновников есть такие свиньи: решительно не пойдет, мужик, в театр; разве уже дашь ему билет даром. Пела одна актриса очень хорошо. Я вспомнил о той... эх, канальство!.. ничего, ничего... молчание.

*Ноября 9.*

В восемь часов отправился в департамент. Начальник отделения показал такой вид, как будто бы он не заметил моего прихода. Я тоже с своей стороны, как будто бы между нами ничего не было. Пересматривал и сверял бумаги. Вышел в четыре часа. Проходил мимо директорской квартиры, но никого не было видно. После обеда большею частию лежал на кровати.

*Ноября 11.*

Сегодня сидел в кабинете нашего директора, починил для него двадцать три пера и для ее, ай! ай!.. для ее превосходительства четыре пера. Он очень любит, чтобы стояло побольше перьев. У! должен быть голова! Все молчит, а в голове, я думаю, все обсуживает. Желалось бы мне узнать, о чем он больше всего думает; что такое затевается в этой голове. Хотелось бы мне рассмотреть поближе жизнь этих господ, все эти экивоки и придворные штуки — как они, что они делают в своем кругу,— вот что бы мне хотелось узнать! Я думал несколько раз завести разговор с его превосходительством, только, черт возьми, никак не слушается язык: скажешь только, холодно или тепло на дворе, а больше решительно ничего не выговоришь. Хотелось бы мне заглянуть в гостиную, куда видишь

только иногда отворенную дверь, за гостиною еще в одну комнату. Эх, какое богатое убранство! Какие зеркала и фарфоры! Хотелось бы заглянуть туда, на ту половину, где ее превосходительство,— вот куда хотелось бы мне! В будуар: как там стоят все эти баночки, скляночки, цветы такие, что и дохнуть на них страшно; как лежит там разбросанное ее платье, больше похожее на воздух, чем на платье. Хотелось бы заглянуть в спальню... там-то, я думаю, чудеса, там-то, я думаю, рай, какого и на небесах нет. Посмотреть бы ту скамеечку, на которую она становит, вставая с постели, свою ножку, как надевается на эту ножку белый, как снег, чулочек... ай! ай! ай! ничего, ничего... молчание.

Сегодня, однако ж, меня как бы светом озарило: я вспомнил тот разговор двух собачонок, который слышал я на Невском проспекте. «Хорошо,— подумал я сам в себе,— я теперь узнаю все. Нужно захватить переписку, которую вели между собою эти дрянные собачонки. Там я, верно, кое-что узнаю. Признаюсь, я даже подозвал было к себе один раз Меджи и сказал: «Послушай, Меджи, вот мы теперь одни; я, когда хочешь, и дверь запру, так что никто не будет видеть,— расскажи мне все, что знаешь про барышню, что она и как? Я тебе побожусь, что никому не открою». Но хитрая собачонка поджала хвост, съежилась вдвое и вышла тихо в дверь так, как будто бы ничего не слышала. Я давно подозревал, что собака гораздо умнее человека; я даже был уверен, что она может говорить, но что в ней есть только какое-то упрямство. Она чрезвычайный политик: все замечает, все шаги человека. Нет, во что бы то ни стало, я завтра же отправлюсь в дом Зверкова, допрошу Фидель и, если удастся, перехвачу все письма, которые писала к ней Меджи.

*Ноября 12.*

В два часа пополудни отправился с тем, чтобы непременно увидеть Фидель и допросить ее. Я терпеть не люблю капусты, запах которой валит из всех мелочных лавок в Мещанской; к тому же из-под ворот каждого дома несет такой ад, что я, заткнув нос, бежал во всю прыть. Да и подлые ремесленники напускают копоти и дыму из своих мастерских такое множество, что человеку благородному решительно невозможно здесь прогуливаться. Когда я пробрался в шестой этаж и зазвонил в колокольчик, вышла девчонка, не совсем дурная собою, с маленькими веснушками. Я узнал ее. Это была та самая, которая шла вместе со старушкою. Она немножко закраснелась, и я тотчас смекнул: ты, голубушка, жениха хочешь. «Что вам угодно?» — сказала она. «Мне нужно поговорить с вашей собачонкой». Девчонка была глупа! я сейчас узнал, что

глупа! Собачонка в это время прибежала с лаем; я хотел ее схватить, но, мерзкая, чуть не схватила меня зубами за нос. Я увидал, однако же, в углу ее лукошко. Э, вот этого мне и нужно! Я подошел к нему, перерыл солому в деревянной коробке и, к необыкновенному удовольствию своему, вытащил небольшую связку маленьких бумажек. Скверная собачонка, увидевши это, сначала укусила меня за икру, а потом, когда пронюхала, что я взял бумаги, начала визжать и ласциться, но я сказал: «Нет, голубушка, прощай!» — и бросился бежать. Я думаю, что девчонка приняла меня за сумасшедшего, потому что испугалась чрезвычайно. Пришедши домой, я хотел было тот же час приняться за работу и разобрать эти письма, потому что при свечах несколько дурно вижу. Но Мавра вздумала мыть пол. Эти глупые чухонки всегда некстати чистоплотны. И потому я пошел прохаживаться и обдумывать это происшествие. Теперь-то наконец я узна́ю все дела, помышления, все эти пружины и доберусь наконец до всего. Эти письма мне всё откроют. Собаки народ умный, они знают все политические отношения, и потому, верно, там будет все: портрет и все дела этого мужа. Там будет что-нибудь и о той, которая... ничего, молчание! К вечеру я пришел домой. Большею частию лежал на кровати.

*Ноября 13.*

А ну, посмотрим: письмо довольно четкое. Однако же в почерке все есть как будто что-то собачье. Прочитаем:

Милая Фидель, я все не могу привыкнуть к твоему мещанскому имени. Как будто бы уже не могли дать тебе лучшего? Фидель, Роза — какой пошлый тон! однако ж все это в сторону. Я очень рада, что мы вздумали писать друг к другу.

Письмо писано очень правильно. Пунктуация и даже буква ѣ везде на своем месте. Да эдак просто не напишет и наш начальник отделения, хотя он и толкует, что где-то учился в университете. Посмотрим далее:

Мне кажется, что разделять мысли, чувства и впечатления с другим есть одно из первых благ на свете.

Гм! мысль почерпнута из одного сочинения, переведенного с немецкого. Названия не припомню.

Я говорю это по опыту, хотя и не бегала по свету далее ворот нашего дома. Моя ли жизнь не протекает в удовольствии? Моя барышня, которую папа́ называет Софи, любит меня без памяти.

Ай, ай!.. ничего, ничего. Молчание!

Папá тоже очень часто ласкает. Я пью чай и кофий со сливками. Ах, ma chère [1], я должна тебе сказать, что я вовсе не вижу удовольствия в больших обглоданных костях, которые жрет на кухне наш Полкан. Кости хороши только из дичи, и притом тогда, когда еще никто не высосал из них мозга. Очень хорошо мешать несколько соусов вместе, но только без каперсов и без зелени; но я не знаю ничего хуже обыкновения давать собакам скатанные из хлеба шарики. Какой-нибудь сидящий за столом господин, который в руках своих держал всякую дрянь, начнет мять этими руками хлеб, подзовет тебя и сунет тебе в зубы шарик. Отказаться как-то неучтиво, ну и ешь; с отвращением, а ешь...

Черт знает что такое! Экой вздор! Как будто бы не было предмета получше, о чем писать. Посмотрим на другой странице. Не будет ли чего подельнее.

Я с большой охотою готова тебя уведомлять о всех бывающих у нас происшествиях. Я уже тебе кое-что говорила о главном господине, которого Софи называет папá. Это очень странный человек.

А! вот наконец! Да, я знал: у них политический взгляд на все предметы. Посмотрим, что папá:

...очень странный человек. Он больше молчит. Говорит очень редко; но неделю назад беспрестанно говорил сам с собою: «Получу или не получу?» Возьмет в одну руку бумажку, другую сложит пустую и говорит: «Получу или не получу?» Один раз он обратился и ко мне с вопросом: «Как ты думаешь, Меджи? получу или не получу?» Я ровно ничего не могла понять, понюхала его сапог и ушла прочь. Потом, ma chère, через неделю папá пришел в большой радости. Все утро ходили к нему господа в мундирах и с чем-то поздравляли. За столом он был так весел, как я еще никогда не видала, отпускал анекдоты, а после обеда поднял меня к своей шее и сказал: «А посмотри, Меджи, что это такое». Я увидела какую-то ленточку. Я нюхала ее, но решительно не нашла никакого аромата; наконец потихоньку лизнула: соленое немного.

Гм! Эта собачонка, мне кажется, уже слишком... чтобы ее не высекли! А! так он честолюбец! Это нужно взять к сведению.

Прощай, ma chère, я бегу и прочее... и прочее... Завтра окончу письмо. Ну, здравствуй! Я теперь снова с тобою. Сегодня барышня моя Софи...

А! ну, посмотрим, что Софи. Эх, канальство!.. Ничего, ничего... будем продолжать.

...барышня моя Софи была в чрезвычайной суматохе. Она собиралась на бал, и я обрадовалась, что в отсутствие ее могу писать к тебе. Моя Софи всегда чрезвычайно рада ехать на бал, хотя при одевании всегда почти сердится. Я никак не понимаю, ma chère, удовольствия ехать на бал. Софи приезжает с балу домой в шесть часов утра, и я всегда почти угадываю по

[1] моя милая *(франц.)*.

ее бледному и тощему виду, что ей, бедняжке, не давали там есть. Я, признаюсь, никогда бы не могла так жить. Если бы мне не дали соуса с рябчиком или жаркого куриных крылышек, то... я не знаю, что бы со мною было. Хорош также соус с кашкою. А морковь, или репа, или артишоки никогда не будут хороши...

Чрезвычайно неровный слог. Тотчас видно, что не человек писал. Начнет так, как следует, а кончит собачиною. Посмотрим-ка еще в одно письмецо. Что-то длинновато. Гм! и числа не выставлено.

Ах, милая! как ощутительно приближение весны. Сердце мое бьется, как будто все чего-то ожидает. В ушах у меня вечный шум, так что я часто, поднявши ножку, стою несколько минут, прислушиваясь к дверям. Я тебе открою, что у меня много куртизанов. Я часто, сидя на окне, рассматриваю их. Ах, если б ты знала, какие между ними есть уроды. Иной преаляповатый, дворняга, глуп страшно, на лице написана глупость, преважно идет по улице и воображает, что он презнатная особа, думает, что так на него и заглядятся все. Ничуть. Я даже и внимания не обратила, так как бы и не видала его. А какой страшный дога останавливается перед моим окном! Если бы он стал на задние лапы, чего, грубиян, он, верно, не умеет,— то он бы был целою головою выше папá моей Софи, который тоже довольно высокого роста и толст собою. Этот болван, должно быть, наглец преужасный. Я поворчала на него, но ему и нуждочки мало. Хотя бы поморщился! высунул свой язык, повесил огромные уши и глядит в окно — такой мужик! Но неужели ты думаешь, ma chère, что сердце мое равнодушно ко всем исканиям,— ах, нет... Если бы ты видела одного кавалера, перелезающего через забор соседнего дома, именем Трезора. Ах, ma chère, какая у него мордочка!

Тьфу, к черту!.. Экая дрянь!.. И как можно наполнять письма эдакими глупостями. Мне подавайте человека! Я хочу видеть человека; я требую пищи — той, которая бы питала и услаждала мою душу; а вместо того эдакие пустяки... перевернем через страницу, не будет ли лучше:

...Софи сидела за столиком и что-то шила. Я глядела в окно, потому что я люблю рассматривать прохожих. Как вдруг вошел лакей и сказал: «Теплов!» — «Проси,— закричала Софи и бросилась обнимать меня...— Ах, Меджи, Меджи! Если б ты знала, кто это: брюнет, камер-юнкер, а глаза какие! черные и светлые, как огонь»,— и Софи убежала к себе. Минуту спустя вошел молодой камер-юнкер с черными бакенбардами, подошел к зеркалу, поправил волоса и осмотрел комнату. Я поворчала и села на свое место. Софи скоро вышла и весело поклонилась на его шарканье; а я себе, так, как будто не замечая ничего, продолжала глядеть в окошко; однако ж голову наклонила несколько набок и старалась услышать, о чем они говорят. Ах, ma chère! о каком вздоре они говорили! Они говорили о том, как одна дама в танцах вместо одной какой-то фигуры сделала другую; также, что какой-то Бобов был очень похож в своем жабо на аиста и чуть было не упал; что какая-то Лидина воображает, что у ней голубые глаза, между тем как они зеленые,— и тому подобное. «Куда ж,— подумала я сама в себе,— если сравнить камер-юнкера с Трезором!» Небо! какая разница! Во-первых, у камер-юнкера совершенно гладкое широкое лицо и вокруг бакенбарды, как

будто бы он обвязал его черным платком; а у Трезора мордочка тоненькая, и на самом лбу белая лысинка. Талию Трезора и сравнить нельзя с камер-юнкерскою. А глаза, приемы, ухватки совершенно не те. О, какая разница! Я не знаю, ma chère, что она нашла в своем Теплове. Отчего она так им восхищается?..

Мне самому кажется, здесь что-нибудь да не так. Не может быть, чтобы ее мог так обворожить камер-юнкер. Посмотрим далее:

Мне кажется, если этот камер-юнкер нравится, то скоро будет нравиться и тот чиновник, который сидит у папá в кабинете. Ах, ma chère, если бы ты знала, какой это урод. Совершенная черепаха в мешке...

Какой же бы это чиновник?..

Фамилия его престранная. Он всегда сидит и чинит перья. Волоса на голове его очень похожи на сено. Папá всегда посылает его вместо слуги.

Мне кажется, что эта мерзкая собачонка метит на меня. Где ж у меня волоса как сено?

Софи никак не может удержаться от смеха, когда глядит на него.

Врешь ты, проклятая собачонка! Экой мерзкий язык! Как будто я не знаю, что это дело зависти. Как будто я не знаю, чьи здесь штуки. Это штуки начальника отделения. Ведь поклялся же человек непримиримою ненавистью — и вот вредит да и вредит, на каждом шагу вредит. Посмотрим, однако же, еще одно письмо. Там, может быть, дело раскроется само собою.

Ma chère Фидель, ты извини меня, что так давно не писала. Я была в совершенном упоении. Подлинно справедливо сказал какой-то писатель, что любовь есть вторая жизнь. Притом же у нас в доме теперь большие перемены. Камер-юнкер теперь у нас каждый день. Софи влюблена в него до безумия. Папá очень весел. Я даже слышала от нашего Григория, который метет пол и всегда почти разговаривает сам с собою, что скоро будет свадьба; потому что папá хочет непременно видеть Софи или за генералом, или за камер-юнкером, или за военным полковником...

Черт возьми! я не могу более читать... Всё или камер-юнкер, или генерал. Все, что есть лучшего на свете, все достается или камер-юнкерам, или генералам. Найдешь себе бедное богатство, думаешь достать его рукою,— срывает у тебя камер-юнкер или генерал. Черт побери! Желал бы я сам сделаться генералом: не для того, чтобы получить руку и прочее, нет, хотел бы быть генералом для того только, чтобы увидеть, как они будут увиваться и делать все эти разные придворные штуки и экивоки, и потом сказать им, что я плюю на вас обоих. Черт побери. Досадно! Я изорвал в клочки письма глупой собачонки.

*Декабря 3.*

Не может быть. Враки! Свадьбе не бывать! Что ж из того, что он камер-юнкер. Ведь это больше ничего, кроме достоинство; не какая-нибудь вещь видимая, которую бы можно взять в руки. Ведь через то, что камер-юнкер, не прибавится третий глаз на лбу. Ведь у него же нос не из золота сделан, а так же, как и у меня, как и у всякого; ведь он им нюхает, а не ест, чихает, а не кашляет. Я несколько раз уже хотел добраться, отчего происходят все эти разности. Отчего я титулярный советник и с какой стати я титулярный советник? Может быть, я какой-нибудь граф или генерал, а только так кажусь титулярным советником? Может быть, я сам не знаю, кто я таков. Ведь сколько примеров по истории: какой-нибудь простой, не то уже чтобы дворянин, а просто какой-нибудь мещанин или даже крестьянин,— и вдруг открывается, что он какой-нибудь вельможа, а иногда даже и государь. Когда из мужика да иногда выходит эдакое, что же из дворянина может выйти? Вдруг, например, я вхожу в генеральском мундире: у меня и на правом плече эполета, и на левом плече эполета, через плечо голубая лента — что? как тогда запоет красавица моя? что скажет и сам папа́, директор наш? О, это большой честолюбец! это масон, непременно масон, хотя он и прикидывается таким и эдаким, но я тотчас заметил, что он масон: он если даст кому руку, то высовывает только два пальца. Да разве я не могу быть сию же минуту пожалован генерал-губернатором, или интендантом, или там другим каким-нибудь? Мне бы хотелось знать, отчего я титулярный советник? Почему именно титулярный советник?

*Декабря 5.*

Я сегодня все утро читал газеты. Странные дела делаются в Испании. Я даже не мог хорошенько разобрать их. Пишут, что престол упразднен и что чины находятся в затруднительном положении о избрании наследника и оттого происходят возмущения. Мне кажется это чрезвычайно странным. Как же может быть престол упразднен? Говорят, какая-то донна должна взойти на престол. Не может взойти донна на престол. Никак не может. На престоле должен быть король. Да, говорят, нет короля,— не может статься, чтобы не было короля. Государство не может быть без короля. Король есть, да только он где-нибудь находится в неизвестности. Он, статься может, находится там же, но какие-нибудь или фамильные причины, или опасения со стороны соседственных держав, как-то: Франции и других земель, заставляют его скрываться, или есть какие-нибудь другие причины.

Я было уже совсем хотел идти в департамент, но разные причины и размышления меня удержали. У меня всё не могли выйти из головы испанские дела. Как же может это быть, чтобы донна сделалась королевою? Не позволят этого. И, во-первых, Англия не позволит. Да притом и дела политические всей Европы: австрийский император, наш государь... Признаюсь, эти происшествия так меня убили и потрясли, что я решительно ничем не мог заняться во весь день. Мавра замечала мне, что я за столом был чрезвычайно развлечен. И точно, я две тарелки, кажется, в рассеянности бросил на пол, которые тут же расшиблись. После обеда ходил под горы. Ничего поучительного не мог извлечь. Большею частию лежал на кровати и рассуждал о делах Испании.

*Год 2000*
*апреля 43 числа.*

Сегодняшний день — есть день величайшего торжества! В Испании есть король. Он отыскался. Этот король я. Именно только сегодня об этом узнал я. Признаюсь, меня вдруг как будто молнией осветило. Я не понимаю, как я мог думать и воображать себе, что я титулярный советник. Как могла взойти мне в голову эта сумасбродная мысль? Хорошо, что еще не догадался никто посадить меня тогда в сумасшедший дом. Теперь передо мною все открыто. Теперь я вижу все как на ладони. А прежде, я не понимаю, прежде все было передо мною в каком-то тумане. И это все происходит, думаю, оттого, что люди воображают, будто человеческий мозг находится в голове; совсем нет: он приносится ветром со стороны Каспийского моря. Сначала я объявил Мавре, кто я. Когда она услышала, что перед нею испанский король, то всплеснула руками и чуть не умерла от страха. Она, глупая, еще никогда не видала испанского короля. Я, однако же, старался ее успокоить и в милостивых словах старался ее уверить в благосклонности, и что я вовсе не сержусь за то, что она мне иногда дурно чистила сапоги. Ведь это черный народ. Им нельзя говорить о высоких материях. Она испугалась оттого, что находится в уверенности, будто все короли в Испании похожи на Филиппа II. Но я растолковал ей, что между мною и Филиппом нет никакого сходства и что у меня нет ни одного капуцина... В департамент не ходил... Черт с ним! Нет, приятели, теперь не заманите меня; я не стану переписывать гадких бумаг ваших!

Сегодня приходил наш экзекутор с тем, чтобы я шел в департамент, что уже более трех недель как я не хожу на должность. Я для шутки пошел в департамент. Начальник отделения думал, что я ему поклонюсь и стану извиняться, но я посмотрел на него равнодушно, не слишком гневно и не слишком благосклонно, и сел на свое место, как будто никого не замечая. Я глядел на всю канцелярскую сволочь и думал: «Что, если бы вы знали, кто между вами сидит... Господи боже! какую бы вы ералашь подняли, да и сам начальник отделения начал бы мне так же кланяться в пояс, как он теперь кланяется перед директором». Передо мною положили какие-то бумаги, чтобы я сделал из них экстракт. Но я и пальцем не притронулся. Через несколько минут все засуетилось. Сказали, что директор идет. Многие чиновники побежали наперерыв, чтобы показать себя перед ним. Но я ни с места. Когда он проходил чрез наше отделение, все застегнули на пуговицы свои фраки; но я совершенно ничего! Что за директор! чтобы я встал перед ним — никогда! Какой он директор? Он пробка, а не директор. Пробка обыкновенная, простая пробка, больше ничего. Вот которою закупоривают бутылки. Мне больше всего было забавно, когда подсунули мне бумагу, чтобы я подписал. Они думали, что я напишу на самом кончике листа: столоначальник такой-то. Как бы не так! а я на самом главном месте, где подписывается директор департамента, черкнул: «Фердинанд VIII». Нужно было видеть, какое благоговейное молчание воцарилось; но я кивнул только рукою, сказав: «Не нужно никаких знаков подданничества!» — и вышел. Оттуда я пошел прямо в директорскую квартиру. Его не было дома. Лакей хотел меня не впустить, но я ему такое сказал, что он и руки опустил. Я прямо пробрался в уборную. Она сидела перед зеркалом, вскочила и отступила от меня. Я, однако же, не сказал ей, что я испанский король. Я сказал только, что счастие ее ожидает такое, какого она и вообразить себе не может, и что, несмотря на козни неприятелей, мы будем вместе. Я больше ничего не хотел говорить и вышел. О, это коварное существо — женщина! Я теперь только постигнул, что такое женщина. До сих пор никто еще не узнал, в кого она влюблена: я первый открыл это. Женщина влюблена в черта. Да, не шутя. Физики пишут глупости, что она то и то,— она любит только одного черта. Вон видите, из ложи первого яруса она наводит лорнет. Вы думаете, что она глядит на этого толстяка со звездою? Совсем нет, она глядит на черта, что у него стоит за спиною. Вон он спрятался к нему во фрак. Вон он кивает оттуда к ней пальцем! И она выйдет за него. Выйдет. А вот

эти все, чиновные отцы их, вот эти все, что юлят во все стороны и лезут ко двору и говорят, что они патриоты и то и се: аренды, аренды хотят эти патриоты! Мать, отца, бога продадут за деньги, честолюбцы, христопродавцы! Все это честолюбие, и честолюбие оттого, что под язычком находится маленький пузырек и в нем небольшой червячок величиною с булавочную головку, и это все делает какой-то цирюльник, который живет в Гороховой. Я не помню, как его зовут; но достоверно известно, что он, вместе с одною повивальною бабкою, хочет по всему свету распространить магометанство, и оттого уже, говорят, во Франции большая часть народа признает веру Магомета.

*Никоторого числа.*
*День был без числа.*

Ходил инкогнито по Невскому проспекту. Проезжал государь император. Весь город снял шапки, и я также; однако же не подал никакого вида, что я испанский король. Я почел неприличным открыться тут же при всех; потому, что прежде всего нужно представиться ко двору. Меня останавливало только то, что я до сих пор не имею королевского костюма. Хотя бы какую-нибудь достать мантию. Я хотел было заказать портному, но это совершенные ослы, притом же они совсем небрегут своею работою, ударились в аферу и большею частию мостят камни на улице. Я решился сделать мантию из нового вицмундира, который надевал всего только два раза. Но чтобы эти мерзавцы не могли испортить, то я сам решился шить, заперши дверь, чтобы никто не видал. Я изрезал ножницами его весь, потому что покрой должен быть совершенно другой.

*Числа не помню. Месяца тоже не было.*
*Было черт знает что такое.*

Мантия совершенно готова и сшита. Мавра вскрикнула, когда я надел ее. Однако же я еще не решаюсь представляться ко двору. До сих пор нет депутации из Испании. Без депутатов неприлично. Никакого не будет веса моему достоинству. Я ожидаю их с часа на час.

*Числа 1-го.*

Удивляет меня чрезвычайно медленность депутатов. Какие бы причины могли их остановить. Неужели Франция? Да, это самая неблагоприятствующая держава. Ходил справляться на почту, не прибыли ли испанские депутаты. Но почтмейстер чрезвычайно

глуп, ничего не знает: нет, говорит, здесь нет никаких испанских депутатов, а письма если угодно написать, то мы примем по установленному курсу. Черт возьми! что письмо? Письмо вздор. Письма пишут аптекари...

*Мадрид. Февруарий тридцатый.*

Итак, я в Испании, и это случилось так скоро, что я едва мог очнуться. Сегодня поутру явились ко мне депутаты испанские, и я вместе с ними сел в карету. Мне показалась странною необыкновенная скорость. Мы ехали так шибко, что через полчаса достигли испанских границ. Впрочем, ведь теперь по всей Европе чугунные дороги, и пароходы ездят чрезвычайно скоро. Странная земля Испания: когда мы вошли в первую комнату, то я увидел множество людей с выбритыми головами. Я, однако же, догадался, что это должны быть или гранды, или солдаты, потому что они бреют головы. Мне показалось чрезвычайно странным обхождение государственного канцлера, который вел меня за руку; он толкнул меня в небольшую комнату и сказал: «Сиди тут, и если ты будешь называть себя королем Фердинандом, то я из тебя выбью эту охоту». Но я, зная, что это было больше ничего кроме искушение, отвечал отрицательно,— за что канцлер ударил меня два раза палкою по спине так больно, что я чуть было не вскрикнул, но удержался, вспомнивши, что это рыцарский обычай при вступлении в высокое звание, потому что в Испании еще и доныне ведутся рыцарские обычаи. Оставшись один, я решился заняться делами государственными. Я открыл, что Китай и Испания совершенно одна и та же земля и только по невежеству считают их за разные государства. Я советую всем нарочно написать на бумаге Испания, то и выйдет Китай. Но меня, однако же, чрезвычайно огорчало событие, имеющее быть завтра. Завтра в семь часов совершится странное явление: земля сядет на луну. Об этом и знаменитый английский химик Веллингтон пишет. Признаюсь, я ощутил сердечное беспокойство, когда вообразил себе необыкновенную нежность и непрочность луны. Луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге; и прескверно делается. Я удивляюсь, как не обратит на это внимание Англия. Делает ее хромой бочар, и видно, что дурак, никакого понятия не имеет о луне. Он положил смоляной канат и часть деревянного масла; и оттого по всей земле вонь страшная, так что нужно затыкать нос. И оттого самая луна — такой нежный шар, что люди никак не могут жить, и там теперь живут только одни носы. И по тому-то самому мы не можем видеть носов своих, ибо они все находятся в луне. И когда я вообразил, что земля вещество тяжелое и может, насевши, размолоть в муку носы наши, то мною

овладело такое беспокойство, что я, надевши чулки и башмаки, поспешил в залу государственного совета, с тем чтоб дать приказ полиции не допустить земле сесть на луну. Бритые гранды, которых я застал в зале государственного совета великое множество, были народ очень умный, и когда я сказал: «Господа, спасем луну, потому что земля хочет сесть на нее»,— то все в ту же минуту бросились исполнять мое монаршее желание, и многие полезли на стену, с тем чтобы достать луну; но в это время вошел великий канцлер. Увидевши его, все разбежались. Я, как король, остался один. Но канцлер, к удивлению моему, ударил меня палкою и прогнал в мою комнату. Такую имеют власть в Испании народные обычаи!

*Январь того же года,*
*случившийся после февраля.*

До сих пор не могу понять, что это за земля Испания. Народные обычаи и этикеты двора совершенно необыкновенны. Не понимаю, не понимаю, решительно не понимаю ничего. Сегодня выбрили мне голову, несмотря на то что я кричал изо всей силы о нежелании быть монахом. Но я уже не могу и вспомнить, что было со мною тогда, когда начали мне на голову капать холодною водою. Такого ада я еще никогда не чувствовал. Я готов был впасть в бешенство, так что едва могли меня удержать. Я не понимаю вовсе значения этого странного обычая. Обычай глупый, бессмысленный! Для меня непостижима безрассудность королей, которые до сих пор не уничтожают его. Судя по всем вероятиям, догадываюсь: не попался ли я в руки инквизиции, и тот, которого я принял за канцлера, не есть ли сам великий инквизитор. Только я все не могу понять, как же мог король подвергнуться инквизиции. Оно, правда, могло со стороны Франции, и особенно Полинияк. О, это бестия Полинияк! Поклялся вредить мне по смерть. И вот гонит да и гонит; но я знаю, приятель, что тебя водит англичанин. Англичанин большой политик. Он везде юлит. Это уже известно всему свету, что когда Англия нюхает табак, то Франция чихает.

*Число 25.*

Сегодня великий инквизитор пришел в мою комнату, но я, услышавши еще издали шаги его, спрятался под стул. Он, увидевши, что нет меня, начал звать. Сначала закричал: «Поприщин!» — я ни слова. Потом: «Аксентий Иванов! титулярный советник! дворянин!» Я все молчу. «Фердинанд VIII, король испанский!» Я хотел было высунуть голову, но после подумал: «Нет, брат, не надуешь! знаем мы тебя: опять будешь лить холодную воду мне на

голову». Однако же он увидел меня и выгнал палкою из-под стула. Чрезвычайно больно бьется проклятая палка. Впрочем, за все это вознаградило меня нынешнее открытие: я узнал, что у всякого петуха есть Испания, что она у него находится под перьями. Великий инквизитор, однако же, ушел от меня разгневанный и грозя мне каким-то наказанием. Но я совершенно пренебрег его бессильною злобою, зная, что он действует, как машина, как орудие англичанина.

*Чи 34, сло Мц гдао,*
*Февраль 349.*

Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже! что они делают со мною! Они льют мне на голову холодную воду! Они не внемлют, не видят, не слушают меня. Что я сделал им? За что они мучат меня? Чего хотят они от меня, бедного? Что могу дать я им? Я ничего не имею. Я не в силах, я не могу вынести всех мук их, голова горит моя, и все кружится предо мною. Спасите меня! возьмите меня! дайте мне тройку быстрых, как вихорь, коней! Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик, взвейтеся, кони, и несите меня с этого света! Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего. Вон небо клубится передо мною; звездочка сверкает вдали; лес несется с темными деревьями и месяцем; сизый туман стелется под ногами; струна звенит в тумане; с одной стороны море, с другой Италия; вон и русские избы виднеют. Дом ли то мой синеет вдали? Мать ли моя сидит перед окном? Матушка, спаси твоего бедного сына! урони слезинку на его больную головушку! посмотри, как мучат они его! прижми ко груди своей бедного сиротку! ему нет места на свете! его гонят! Матушка! пожалей о своем больном дитятке!.. А знаете ли, что у алжирского дея под самым носом шишка?

# ПЬЕСЫ

# РЕВИЗОР

## КОМЕДИЯ В ПЯТИ ДЕЙСТВИЯХ

*На зеркало неча пенять,*
*Коли рожа крива.*
*Народная пословица*

## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Антон Антонович Сквозник-Дмухановский, городничий.
Анна Андреевна, жена его.
Марья Антоновна, дочь его.
Лука Лукич Хлопов, смотритель училищ.
Жена его.
Аммос Федорович Ляпкин-Тяпкин, судья.
Артемий Филиппович Земляника, попечитель богоугодных заведений.
Иван Кузьмич Шпекин, почтмейстер.
Петр Иванович Добчинский } городские
Петр Иванович Бобчинский } помещики.
Иван Александрович Хлестаков, чиновник из Петербурга.
Осип, слуга его.
Христиан Иванович Гибнер, уездный лекарь.
Федор Андреевич Люлюков } отставные чиновники,
Иван Лазаревич Растаковский } почетные лица
Степан Иванович Коробкин } в городе.
Степан Ильич Уховертов, частный пристав.
Свистунов }
Пуговицын } полицейские.
Держиморда }
Абдулин, купец.
Февронья Петровна Пошлепкина, слесарша.
Жена унтер-офицера.
Мишка, слуга городничего.
Слуга трактирный.
Гости и гостьи, купцы, мещане, просители.

## ХАРАКТЕРЫ И КОСТЮМЫ

### Замечания для господ актеров

Городничий, уже постаревший на службе и очень неглупый по-своему человек. Хотя и взяточник, но ведет себя очень солидно; довольно сурьезен; несколько даже резонер; говорит ни громко, ни тихо, ни много, ни мало. Его каждое слово значительно. Черты лица его грубы и жестки, как у всякого, начавшего тяжелую службу с низших чинов. Переход от страха к радости, от низости к высокомерию довольно быстр, как у человека с грубо развитыми склонностями души. Он одет, по обыкновению, в своем мундире с петлицами и в ботфортах со шпорами. Волоса на нем стриженые, с проседью.

Анна Андреевна, жена его, провинциальная кокетка, еще не совсем пожилых лет, воспитанная вполовину на романах и альбомах, вполовину на хлопотах в своей кладовой и девичьей. Очень любопытна и при случае выказывает тщеславие. Берет иногда власть над мужем потому только, что тот не находится что отвечать ей; но власть эта распространяется только на мелочи и состоит в выговорах и насмешках. Она четыре раза переодевается в разные платья в продолжение пьесы.

Хлестаков, молодой человек лет двадцати трех, тоненький, худенький; несколько приглуповат и, как говорят, без царя в голове,— один из тех людей, которых в канцеляриях называют пустейшими. Говорит и действует без всякого соображения. Он не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли. Речь его отрывиста, и слова вылетают из уст его совершенно неожиданно. Чем более исполняющий эту роль покажет чистосердечия и простоты, тем более он выиграет. Одет по моде.

Осип, слуга, таков, как обыкновенно бывают слуги несколько пожилых лет. Говорит сурьезно, смотрит несколько вниз, резонер и любит себе самому читать нравоучения для своего барина. Голос его всегда почти ровен, в разговоре с барином принимает суровое, отрывистое и несколько даже грубое выражение. Он умнее своего барина и потому скорее догадывается, но не любит много говорить и молча плут. Костюм его — серый или синий поношенный сюртук.

Бобчинский и Добчинский, оба низенькие, коротенькие, очень любопытные; чрезвычайно похожи друг на друга; оба с небольшими брюшками; оба говорят скороговоркою и чрезвычайно много помогают жестами и руками. Добчинский немножко выше и сурьезнее Бобчинского, но Бобчинский развязнее и живее Добчинского.

Ляпкин-Тяпкин, судья, человек, прочитавший пять или шесть книг, и потому несколько вольнодумен. Охотник большой на догадки, и потому каждому слову своему дает вес. Представляющий его должен всегда сохранять в лице своем значительную мину. Говорит басом с продолговатой растяжкой, хрипом и сапом — как старинные часы, которые прежде шипят, а потом уже бьют.

Земляника, попечитель богоугодных заведений, очень толстый, неповоротливый и неуклюжий человек, но при всем том проныра и плут. Очень услужлив и суетлив.

Почтмейстер, простодушный до наивности человек.

Прочие роли не требуют особых изъяснений. Оригиналы их всегда почти находятся пред глазами.

Господа актеры особенно должны обратить внимание на последнюю сцену. Последнее произнесенное слово должно произвесть электрическое потрясение на всех разом, вдруг. Вся группа должна переменить положение в один миг ока. Звук изумления должен вырваться у всех женщин разом, как будто из одной груди. От несоблюдения сих замечаний может исчезнуть весь эффект.

## ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Комната в доме городничего.

### ЯВЛЕНИЕ I

Городничий, попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ, судья, частный пристав, лекарь, два квартальных.

Городничий. Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор.

Аммос Федорович. Как ревизор?

Артемий Филиппович. Как ревизор?

Городничий. Ревизор из Петербурга, инкогнито. И еще с секретным предписаньем.

Аммос Федорович. Вот те на!

Артемий Филиппович. Вот не было заботы, так подай!

Лука Лукич. Господи боже! еще и с секретным предписаньем!

Городничий. Я как будто предчувствовал: сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Право, этаких я никогда не видывал: черные, неестественной величины! пришли, понюхали — и пошли прочь. Вот я вам прочту письмо, которое получил я от Андрея Ивановича Чмыхова, которого вы, Артемий Филиппович, знаете. Вот что он пишет: «Любезный друг, кум и благо-

детель *(бормочет вполголоса, пробегая скоро глазами)*... и уведомить тебя». А! вот: «Спешу, между прочим, уведомить тебя, что приехал чиновник с предписанием осмотреть всю губернию и особенно наш уезд *(значительно поднимает палец вверх)*. Я узнал это от самых достоверных людей, хотя он представляет себя частным лицом. Так как я знаю, что за тобою, как за всяким, водятся грешки, потому что ты человек умный и не любишь пропускать того, что плывет в руки...» *(остановясь)*, ну, здесь свои... «то советую тебе взять предосторожность, ибо он может приехать во всякий час, если только уже не приехал и не живет где-нибудь инкогнито... Вчерашнего дни я...» Ну, тут уж пошли дела семейные: «...сестра Анна Кириловна приехала к нам с своим мужем; Иван Кирилович очень потолстел и все играет на скрыпке...» — и прочее, и прочее. Так вот какое обстоятельство.

Аммос Федорович. Да, обстоятельство такое... необыкновенно, просто необыкновенно. Что-нибудь недаром.

Лука Лукич. Зачем же, Антон Антонович, отчего это? Зачем к нам ревизор?

Городничий. Зачем! Так уж, видно, судьба! *(Вздохнув.)* До сих пор, благодарение богу, подбирались к другим городам; теперь пришла очередь к нашему.

Аммос Федорович. Я думаю, Антон Антонович, что здесь тонкая и больше политическая причина. Это значит вот что: Россия... да... хочет вести войну, и министерия-то, вот видите, и подослала чиновника, чтобы узнать, нет ли где измены.

Городничий. Эк куда хватили! Еще умный человек! В уездном городе измена! Что он, пограничный, что ли? Да отсюда, хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь.

Аммос Федорович. Нет, я вам скажу, вы не того... вы не... Начальство имеет тонкие виды: даром что далеко, а оно себе мотает на ус.

Городничий. Мотает или не мотает, а я вас, господа, предуведомил. Смотрите, по своей части я кое-какие распоряженья сделал, советую и вам. Особенно вам, Артемий Филиппович! Без сомнения, проезжающий чиновник захочет прежде всего осмотреть подведомственные вам богоугодные заведения — и потому вы сделайте так, чтобы все было прилично: колпаки были бы чистые, и больные не походили бы на кузнецов, как обыкновенно они ходят по-домашнему.

Артемий Филиппович. Ну, это еще ничего. Колпаки, пожалуй, можно надеть и чистые.

Городничий. Да, и тоже над каждой кроватью надписать по-латыни или на другом каком языке... это уж по вашей части, Христиан Иванович,— всякую болезнь: когда кто заболел, которого

дня и числа... Нехорошо, что у вас больные такой крепкий табак курят, что всегда расчихаешься, когда войдешь. Да и лучше, если б их было меньше; тотчас отнесут к дурному смотрению или к неискусству врача.

Артемий Филиппович. О! насчет врачеванья мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры: чем ближе к натуре, тем лучше,— лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет. Да и Христиану Ивановичу затруднительно было б с ними изъясняться: он по-русски ни слова не знает.

Христиан Иванович издает звук отчасти похожий на букву *и* и несколько на *е*.

Городничий. Вам тоже посоветовал бы, Аммос Федорович, обратить внимание на присутственные места. У вас там в передней, куда обыкновенно являются просители, сторожа завели домашних гусей с маленькими гусенками, которые так и шныряют под ногами. Оно конечно, домашним хозяйством заводиться всякому похвально, и почему ж сторожу и не завесть его? только, знаете, в таком месте неприлично... Я и прежде хотел вам это заметить, но все как-то позабывал.

Аммос Федорович. А вот я их сегодня же велю всех забрать на кухню. Хотите, приходите обедать.

Городничий. Кроме того, дурно, что у вас высушивается в самом присутствии всякая дрянь и над самым шкапом с бумагами охотничий арапник. Я знаю, вы любите охоту, но все на время лучше его принять, а там, как проедет ревизор, пожалуй, опять его можете повесить. Также заседатель ваш... он, конечно, человек сведущий, но от него такой запах, как будто бы он сейчас вышел из винокуренного завода,— это тоже нехорошо. Я хотел давно об этом сказать вам, но был, не помню, чем-то развлечен. Есть против этого средства, если уж это действительно, как он говорит, у него природный запах: можно ему посоветовать есть лук, или чеснок, или что-нибудь другое. В этом случае может помочь разными медикаментами Христиан Иванович.

Христиан Ивановпч издает тот же звук.

Аммос Федорович. Нет, этого уже невозможно выгнать: он говорит, что в детстве мамка его ушибла, и с тех пор от него отдает немного водкою.

Городничий. Да я так только заметил вам. Насчет же внутреннего распоряжения и того, что называет в письме Андрей Иванович грешками, я ничего не могу сказать. Да и странно говорить: нет человека, который бы за собою не имел каких-нибудь грехов.

Это уже так самим богом устроено, и волтерианцы напрасно против этого говорят.

Аммос Федорович. Что же вы полагаете, Антон Антонович, грешками? Грешки грешкам — рознь. Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело.

Городничий. Ну, щенками или чем другим — всё взятки.

Аммос Федорович. Ну нет, Антон Антонович. А вот, например, если у кого-нибудь шуба стоит пятьсот рублей, да супруге шаль...

Городничий. Ну, а что из того, что вы берете взятки борзыми щенками? Зато вы в бога не веруете; вы в церковь никогда не ходите; а я, по крайней мере, в вере тверд и каждое воскресенье бываю в церкви. А вы... О, я знаю вас: вы если начнете говорить о сотворении мира, просто волосы дыбом поднимаются.

Аммос Федорович. Да ведь сам собою дошел, собственным умом.

Городничий. Ну, в ином случае много ума хуже, чем бы его совсем не было. Впрочем, я так только упомянул об уездном суде; а по правде сказать, вряд ли кто когда-нибудь заглянет туда: это уж такое завидное место, сам бог ему покровительствует. А вот вам, Лука Лукич, так, как смотрителю учебных заведений, нужно позаботиться особенно насчет учителей. Они люди, конечно, ученые и воспитывались в разных коллегиях, но имеют очень странные поступки, натурально неразлучные с ученым званием. Один из них, например, вот этот, что имеет толстое лицо... не вспомню его фамилии, никак не может обойтись без того, чтобы, взошедши на кафедру, не сделать гримасу, вот этак *(делает гримасу)*, и потом начнет рукою из-под галстука утюжить свою бороду. Конечно, если он ученику сделает такую рожу, то оно еще ничего: может быть, оно там и нужно так, об этом я не могу судить; но вы посудите сами, если он сделает это посетителю,— это может быть очень худо: господин ревизор или другой кто может принять это на свой счет. Из этого черт знает что может произойти.

Лука Лукич. Что ж мне, право, с ним делать? Я уж несколько раз ему говорил. Вот еще на днях, когда зашел было в класс наш предводитель, он скроил такую рожу, какой я никогда еще не видывал. Он-то ее сделал от доброго сердца, а мне выговор: зачем вольнодумные мысли внушаются юношеству.

Городничий. То же я должен вам заметить и об учителе по исторической части. Он ученая голова — это видно, и сведений нахватал тьму, но только объясняет с таким жаром, что не помнит себя. Я раз слушал его: ну, покамест говорил об ассириянах и вавилонянах — еще ничего, а как добрался до Александра Македон-

ского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, что пожар, ей-богу! Сбежал с кафедры и что силы есть хвать стулом об пол. Оно конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? от этого убыток казне.

Лука Лукич. Да, он горяч! Я ему это несколько раз уже замечал... Говорит: «Как хотите, для науки я жизни не пощажу».

Городничий. Да, таков уже неизъяснимый закон судеб: умный человек — или пьяница, или рожу такую состроит, что хоть святых выноси.

Лука Лукич. Не приведи бог служить по ученой части! Всего боишься: всякий мешается, всякому хочется показать, что он тоже умный человек.

Городничий. Это бы еще ничего,— инкогнито проклятое! Вдруг заглянет: «А, вы здесь, голубчики! А кто, скажет, здесь судья?» — «Ляпкин-Тяпкин».— «А подать сюда Ляпкина-Тяпкина! А кто попечитель богоугодных заведений?» — «Земляника».— «А подать сюда Землянику!» Вот что худо!

## ЯВЛЕНИЕ II

Те же и почтмейстер.

Почтмейстер. Объясните, господа, что, какой чиновник едет?

Городничий. А вы разве не слышали?

Почтмейстер. Слышал от Петра Ивановича Бобчинского. Он только что был у меня в почтовой конторе.

Городничий. Ну, что? Как вы думаете об этом?

Почтмейстер. А что думаю? война с турками будет.

Аммос Федорович. В одно слово! я сам то же думал.

Городничий. Да, оба пальцем в небо попали!

Почтмейстер. Право, война с турками. Это все француз гадит.

Городничий. Какая война с турками! Просто нам плохо будет, а не туркам. Это уже известно: у меня письмо.

Почтмейстер. А если так, то не будет войны с турками.

Городничий. Ну что же, как вы, Иван Кузьмич?

Почтмейстер. Да что я? Как вы, Антон Антонович?

Городничий. Да что я? Страху-то нет, а так, немножко... Купечество да гражданство меня смущает. Говорят, что я им солоно пришелся, а я, вот ей-богу, если и взял с иного, то, право, без всякой ненависти. Я даже думаю *(берет его под руку и отводит в сторону)*, я даже думаю, не было ли на меня какого-нибудь доно-

са. Зачем же в самом деле к нам ревизор? Послушайте, Иван Кузьмич, нельзя ли вам, для общей нашей пользы, всякое письмо, которое прибывает к вам в почтовую контору, входящее и исходящее, знаете, этак немножко распечатать и прочитать: не содержится ли в нем какого-нибудь донесения или просто переписки. Если же нет, то можно опять запечатать; впрочем, можно даже и так отдать письмо, распечатанное.

Почтмейстер. Знаю, знаю... Этому не учите, это я делаю не то чтоб из предосторожности, а больше из любопытства: смерть люблю узнать, что есть нового на свете. Я вам скажу, что это преинтересное чтение. Иное письмо с наслажденьем прочтешь — так описываются разные пассажи... а назидательность какая... лучше, чем в «Московских ведомостях»!

Городничий. Ну что ж, скажите, ничего не начитывали о каком-нибудь чиновнике из Петербурга?

Почтмейстер. Нет, о петербургском ничего нет, а о костромских и саратовских много говорится. Жаль, однако ж, что вы не читаете писем: есть прекрасные места. Вот недавно один поручик пишет к приятелю и описал бал в самом игривом... очень, очень хорошо: «Жизнь моя, милый друг, течет, говорит, в эмпиреях: барышень много, музыка играет, штандарт скачет...» — с большим, с большим чувством описал. Я нарочно оставил его у себя. Хотите, прочту?

Городничий. Ну, теперь не до того. Так сделайте милость, Иван Кузьмич: если на случай попадется жалоба или донесение, то без всяких рассуждений задерживайте.

Почтмейстер. С большим удовольствием.

Аммос Федорович. Смотрите, достанется вам когда-нибудь за это.

Почтмейстер. Ах, батюшки!

Городничий. Ничего, ничего. Другое дело, если бы вы из этого публичное что-нибудь сделали, но ведь это дело семейственное.

Аммос Федорович. Да, нехорошее дело заварилось! А я, признаюсь, шел было к вам, Антон Антонович, с тем чтобы попотчевать вас собачонкою. Родная сестра тому кобелю, которого вы знаете. Ведь вы слышали, что Чептович с Варховинским затеяли тяжбу, и теперь мне роскошь: травлю зайцев на землях и у того и у другого.

Городничий. Батюшки, не милы мне теперь ваши зайцы: у меня инкогнито проклятое сидит в голове. Так и ждешь, что вот отворится дверь и — шасть...

Те же, Бобчинский и Добчинский, оба входят, запыхавшись.

Бобчинский. Чрезвычайное происшествие!

Добчинский. Неожиданное известие!

Все. Что, что такое?

Добчинский. Непредвиденное дело: приходим в гостиницу...

Бобчинский *(перебивая)*. Приходим с Петром Ивановичем в гостиницу...

Добчинский *(перебивая)*. Э, позвольте, Петр Иванович, я расскажу.

Бобчинский. Э, нет, позвольте, уж я... позвольте, позвольте... вы уж и слога такого не имеете...

Добчинский. А вы собьетесь и не припомните всего.

Бобчинский. Припомню, ей-богу, припомню. Уж не мешайте, пусть я расскажу, не мешайте! Скажите, господа, сделайте милость, чтоб Петр Иванович не мешал.

Городничий. Да говорите, ради бога, что такое? У меня сердце не на месте. Садитесь, господа! Возьмите стулья! Петр Иванович, вот вам стул.

Все усаживаются вокруг обоих Петров Ивановичей.

Ну, что, что такое?

Бобчинский. Позвольте, позвольте: я все по порядку. Как только имел я удовольствие выйти от вас после того, как вы изволили смутиться полученным письмом, да-с,— так я тогда же забежал... уж, пожалуйста, не перебивайте, Петр Иванович! Я уж все, все, все знаю-с. Так я, вот изволите видеть, забежал к Коробкину. А не заставши Коробкина-то дома, заворотил к Растаковскому, а не заставши Растаковского, зашел вот к Ивану Кузьмичу, чтобы сообщить ему полученную вами новость, да, идучи оттуда, встретился с Петром Ивановичем...

Добчинский *(перебивая)*. Возле будки, где продаются пироги.

Бобчинский. Возле будки, где продаются пироги. Да, встретившись с Петром Ивановичем, и говорю ему: «Слышали ли вы о новости-та, которую получил Антон Антонович из достоверного письма?» А Петр Иванович уж услыхали об этом от ключницы вашей Авдотьи, которая, не знаю, за чем-то была послана к Филиппу Антоновичу Почечуеву.

Добчинский *(перебивая)*. За бочонком для французской водки.

Бобчинский *(отводя его руки)*. За бочонком для французской водки. Вот мы пошли с Петром-то Ивановичем к Почечуеву... Уж вы, Петр Иванович... энтого... не перебивайте, пожалуйста, не перебивайте!.. Пошли к Почечуеву, да на дороге Петр Иванович говорит: «Зайдем, говорит, в трактир. В желудке-то у меня... с утра я ничего не ел, так желудочное трясение...» — да-с, в желудке-то у Петра Ивановича... «А в трактир, говорит, привезли теперь свежей семги, так мы закусим». Только что мы в гостиницу, как вдруг молодой человек...

Добчинский *(перебивая)*. Недурной наружности, в партикулярном платье...

Бобчинский. Недурной наружности, в партикулярном платье, ходит этак по комнате, и в лице этакое рассуждение... физиономия... поступки, и здесь *(вертит рукою около лба)* много, много всего. Я будто предчувствовал и говорю Петру Ивановичу: «Здесь что-нибудь неспроста-с». Да. А Петр-то Иванович уж мигнул пальцем и подозвали трактирщика-с, трактирщика Власа: у него жена три недели назад тому родила, и такой пребойкий мальчик, будет так же, как и отец, содержать трактир. Подозвавши Власа, Петр Иванович и спроси его потихоньку: «Кто, говорит, этот молодой человек?» — а Влас и отвечает на это: «Это»,— говорит... Э, не перебивайте, Петр Иванович, пожалуйста, не перебивайте; вы не расскажете, ей-богу не расскажете: вы пришепетываете; у вас, я знаю, один зуб во рту со свистом... «Это, говорит, молодой человек, чиновник,— да-с,— едущий из Петербурга, а по фамилии, говорит, Иван Александрович Хлестаков-с, а едет, говорит, в Саратовскую губернию и, говорит, престранно себя аттестует: другую уж неделю живет, из трактира не едет, забирает все на счет и ни копейки не хочет платить». Как сказал он мне это, а меня так вот свыше и вразумило. «Э!» — говорю я Петру Ивановичу...

Добчинский. Нет, Петр Иванович, это я сказал: «э!»

Бобчинский. Сначала вы сказали, а потом и я сказал. «Э! — сказали мы с Петром Ивановичем.— А с какой стати сидеть ему здесь, когда дорога ему лежит в Саратовскую губернию?» Да-с. А вот он-то и есть этот чиновник.

Городничий. Кто, какой чиновник?

Бобчинский. Чиновник-та, о котором изволили получить нотицию,— ревизор.

Городничий *(в страхе)*. Что вы, господь с вами! это не он.

Добчинский. Он! и денег не платит и не едет. Кому же б быть, как не ему? И подорожная прописана в Саратов.

Бобчинский. Он, он, ей-богу он... Такой наблюдательный: все обсмотрел. Увидел, что мы с Петром-то Ивановичем ели сем-

гу,— больше потому, что Петр Иванович насчет своего желудка... да, так он и в тарелки к нам заглянул. Меня так и проняло страхом.

Городничий. Господи, помилуй нас, грешных! Где же он там живет?

Добчинский. В пятом номере, под лестницей.

Бобчинский. В том самом номере, где прошлого года подрались проезжие офицеры.

Городничий. И давно он здесь?

Добчинский. А недели две уж. Приехал на Василья Египтянина.

Городничий. Две недели! *(В сторону.)* Батюшки, сватушки! Выносите, святые угодники! В эти две недели высечена унтерофицерская жена! Арестантам не выдавали провизии! На улицах кабак, нечистота! Позор! поношенье! *(Хватается за голову.)*

Артемий Филиппович. Что ж, Антон Антонович? — ехать парадом в гостиницу.

Аммос Федорович. Нет, нет! Вперед пустить голову, духовенство, купечество; вот и в книге «Деяния Иоанна Масона»...

Городничий. Нет, нет; позвольте уж мне самому. Бывали трудные случаи в жизни, сходили, еще даже и спасибо получал. Авось бог вынесет и теперь. *(Обращаясь к Бобчинскому.)* Вы говорите, он молодой человек?

Бобчинский. Молодой, лет двадцати трех или четырех с небольшим.

Городничий. Тем лучше: молодого скорее пронюхаешь. Беда, если старый черт, а молодой весь наверху. Вы, господа, приготовляйтесь по своей части, а я отправлюсь сам или вот хоть с Петром Ивановичем, приватно, для прогулки, наведаться, не терпят ли проезжающие неприятностей. Эй, Свистунов!

Свистунов. Что угодно?

Городничий. Ступай сейчас за частным приставом; или нет, ты мне нужен. Скажи там кому-нибудь, чтобы как можно поскорее ко мне частного пристава, и приходи сюда.

Квартальный бежит впопыхах.

Артемий Филиппович. Идем, идем, Аммос Федорович! В самом деле может случиться беда.

Аммос Федорович. Да вам чего бояться? Колпаки чистые надел на больных, да и концы в воду.

Артемий Филиппович. Какое колпаки! Больным велено габерсуп давать, а у меня по всем коридорам несет такая капуста, что береги только нос.

Аммос Федорович. А я на этот счет покоен. В самом

деле, кто зайдет в уездный суд? А если и заглянет в какую-нибудь бумагу, так он жизни не будет рад. Я вот уж пятнадцать лет сижу на судейском стуле, а как загляну в докладную записку — а! только рукой махну. Сам Соломон не разрешит, что в ней правда и что неправда.

Судья, попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ и почтмейстер уходят и в дверях сталкиваются с возвращающимся квартальным.

### ЯВЛЕНИЕ IV

Городничий, Бобчинский, Добчинский и квартальный.

Городничий. Что, дрожки там стоят?

Квартальный. Стоят.

Городничий. Ступай на улицу... или нет, постой! Ступай принеси... Да другие-то где? неужели ты только один? Ведь я приказывал, чтобы и Прохоров был здесь. Где Прохоров?

Квартальный. Прохоров в частном доме, да только к делу не может быть употреблен.

Городничий. Как так?

Квартальный. Да так: привезли его поутру мертвецки. Вот уже два ушата воды вылили, до сих пор не протрезвился.

Городничий *(хватаясь за голову)*. Ах, боже мой, боже мой! Ступай скорее на улицу, или нет — беги прежде в комнату, слышь! и принеси оттуда шпагу и новую шляпу. Ну, Петр Иванович, поедем!

Бобчинский. И я, и я... позвольте и мне, Антон Антонович!

Городничий. Нет, нет, Петр Иванович, нельзя, нельзя! Неловко, да и на дрожках не поместимся.

Бобчинский. Ничего, ничего, я так: петушком, петушком побегу за дрожками. Мне бы только немножко в щелочку-та, в дверь этак посмотреть, как у него эти поступки...

Городничий *(принимая шпагу, к квартальному)*. Беги сейчас возьми десятских, да пусть каждый из них возьмет... Эк шпага как исцарапалась! Проклятый купчишка Абдулин — видит, что у городничего старая шпага, не прислал новой. О, лукавый народ! А так, мошенники, я думаю, там уж просьбы из-под полы и готовят. Пусть каждый возьмет в руки по улице... черт возьми, по улице — по метле! и вымели бы всю улицу, что идет к трактиру, и вымели бы чисто... Слышишь! Да смотри: ты! ты! я знаю тебя: ты там кумаешься да крадешь в ботфорты серебряные ложечки,— смотри, у меня ухо востро!.. Что ты сделал с купцом Черняевым — а? Он тебе на мундир дал два аршина сукна, а ты стянул всю штуку. Смотри! не по чину берешь! Ступай!

## ЯВЛЕНИЕ V

Те же и частный пристав.

Городничий. А, Степан Ильич! Скажите, ради бога: куда вы запропастились? На что это похоже?

Частный пристав. Я был тут сейчас за воротами.

Городничий. Ну, слушайте же, Степан Ильич! Чиновник-то из Петербурга приехал. Как вы там распорядились?

Частный пристав. Да так, как вы приказывали. Квартального Пуговицына я послал с десятскими подчищать тротуар.

Городничий. А Держиморда где?

Частный пристав. Держиморда поехал на пожарной трубе.

Городничий. А Прохоров пьян?

Частный пристав. Пьян.

Городничий. Как же вы это так допустили?

Частный пристав. Да бог его знает. Вчерашнего дня случилась за городом драка,— поехал туда для порядка, а возвратился пьян.

Городничий. Послушайте ж, вы сделайте вот что: квартальный Пуговицын... он высокого роста, так пусть стоит для благоустройства на мосту. Да разметать наскоро старый забор, что возле сапожника, и поставить соломенную веху, чтоб было похоже на планировку. Оно чем больше ломки, тем больше означает деятельности градоправителя. Ах, боже мой! я и позабыл, что возле того забора навалено на сорок телег всякого сору. Что это за скверный город! только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник или просто забор — черт их знает откудова и нанесут всякой дряни! *(Вздыхает.)* Да если приезжий чиновник будет спрашивать службу: довольны ли? — чтобы говорили: «Всем довольны, ваше благородие»; а который будет недоволен, то ему после дам такого неудовольствия... О, ох, хо, хо, х! грешен, во многом грешен. *(Берет вместо шляпы футляр.)* Дай только, боже, чтобы сошло с рук поскорее, а там-то я поставлю уж такую свечу, какой еще никто не ставил: на каждую бестию купца наложу доставить по три пуда воску. О боже мой, боже мой! Едем, Петр Иванович! *(Вместо шляпы хочет надеть бумажный футляр.)*

Частный пристав. Антон Антонович, это коробка, а не шляпа.

Городничий *(бросая коробку)*. Коробка так коробка. Черт с ней! Да если спросят, отчего не выстроена церковь при богоугодном заведении, на которую назад тому пять лет была ассигнована сумма, то не позабыть сказать, что начала строиться, но сгорела. Я об этом и рапорт представлял. А то, пожалуй, кто-нибудь,

позабывшись, сдуру скажет, что она и не начиналась. Да сказать Держиморде, чтобы не слишком давал воли кулакам своим; он, для порядка, всем ставит фонари под глазами — и правому и виноватому. Едем, едем, Петр Иванович! *(Уходит и возвращается.)* Да не выпускать солдат на улицу безо всего: эта дрянная гарниза наденет только сверх рубашки мундир, а внизу ничего нет.

Все уходят.

## ЯВЛЕНИЕ VI

Анна Андреевна и Марья Антоновна вбегают на сцену.

Анна Андреевна. Где ж, где ж они? Ах, боже мой!.. *(Отворяя дверь.)* Муж! Антоша! Антон! *(Говорит скоро.)* А все ты, а всё за тобой. И пошла копаться: «Я булавочку, я косыночку». *(Подбегает к окну и кричит.)* Антон, куда, куда? Что, приехал? ревизор? с усами! с какими усами?

Голос городничего. После, после, матушка!

Анна Андреевна. После? Вот новости — после! Я не хочу после... Мне только одно слово: что он, полковник? А? *(С пренебрежением.)* Уехал! Я тебе вспомню это! А все эта: «Маменька, маменька, погодите, зашпилю сзади косынку; я сейчас». Вот тебе и сейчас! Вот тебе ничего и не узнали! А все проклятое кокетство: услышала, что почтмейстер здесь, и давай пред зеркалом жеманиться: и с той стороны, и с этой стороны подойдет. Воображает, что он за ней волочится, а он просто тебе делает гримасу, когда ты отвернешься.

Марья Антоновна. Да что ж делать, маменька? Все равно чрез два часа мы всё узнаем.

Анна Андреевна. Чрез два часа! покорнейше благодарю. Вот одолжила ответом! Как ты не догадалась сказать, что чрез месяц еще лучше можно узнать! *(Свешивается в окно.)* Эй, Авдотья! А? Что, Авдотья, ты слышала, там приехал кто-то?.. Не слышала? Глупая какая! Машет руками? Пусть машет, а ты все бы таки его расспросила. Не могла этого узнать! В голове чепуха, всё женихи сидят. А? Скоро уехали! да ты бы побежала за дрожками. Ступай, ступай сейчас! Слышишь, побеги расспроси, куда поехали; да расспроси хорошенько: что за приезжий,— каков он,— слышишь? Подсмотри в щелку и узнай все, и глаза какие: черные или нет, и сию же минуту возвращайся назад, слышишь? Скорее, скорее, скорее, скорее! *(Кричит до тех пор, пока не опускается занавес. Так занавес и закрывает их обеих, стоящих у окна.)*

## ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Маленькая комната в гостинице. Постель, стол, чемодан, пустая бутылка, сапоги, платяная щетка и прочее.

### ЯВЛЕНИЕ I

Осип лежит на барской постели.

Черт побери, есть так хочется и в животе трескотня такая, как будто бы целый полк затрубил в трубы. Вот не доедем, да и только, домой! Что ты прикажешь делать? Второй месяц пошел, как уже из Питера! Профинтил дорогою денежки, голубчик, теперь сидит и хвост подвернул, и не горячится. А стало бы, и очень бы стало на прогоны; нет, вишь ты, нужно в каждом городе показать себя! *(Дразнит его.)* «Эй, Осип, ступай посмотри комнату, лучшую, да обед спроси самый лучший: я не могу есть дурного обеда, мне нужен лучший обед». Добро бы было в самом деле что-нибудь путное, а то ведь елистратишка простой! С проезжающим знакомится, а потом в картишки — вот тебе и доигрался! Эх, надоела такая жизнь! Право, на деревне лучше: оно хоть нет публичности, да и заботности меньше; возьмешь себе бабу, да и лежи весь век на полатях да ешь пироги. Ну, кто ж спорит: конечно, если пойдет на правду, так житье в Питере лучше всего. Деньги бы только были, а жизнь тонкая и политичная: кеятры, собаки тебе танцуют, и все что хочешь. Разговаривает все на тонкой деликатности, что разве только дворянству уступит; пойдешь на Щукин — купцы тебе кричат: «Почтенный!»; на перевозе в лодке с чиновником сядешь; компании захотел — ступай в лавочку: там тебе кавалер расскажет про лагери и объявит, что всякая звезда значит на небе, так вот как на ладони все видишь. Старуха офицерша забредет; горничная иной раз заглянет такая... фу, фу, фу! *(Усмехается и трясет головою.)* Галантерейное, черт возьми, обхождение! Невежливого слова никогда не услышишь, всякой тебе говорит «вы». Наскучило идти — берешь извозчика и сидишь себе как барин, а не хочешь заплатить ему — изволь: у каждого дома есть сквозные ворота, и ты так шмыгнешь, что тебя никакой дьявол не сыщет. Одно плохо: иной раз славно наешься, а в другой чуть не лопнешь с голоду, как теперь, например. А все он виноват. Что с ним сделаешь? Батюшка пришлет денежки, чем бы их попридержать — и куды!.. пошел кутить: ездит на извозчике, каждый день ты доставай в кеятр билет, а там через неделю, глядь — и посылает на толкучий продавать новый фрак. Иной раз все до последней рубашки спустит, так что на нем всего останется сертучишка да шинелишка... Ей-богу, правда! И сукно такое важное, аглицкое! рублев полтораста ему один фрак станет, а на рынке спустит руб-

лей за двадцать; а о брюках и говорить нечего — нипочем идут. А отчего? — оттого, что делом не занимается: вместо того чтобы в должность, а он идет гулять по прешпекту, в картишки играет. Эх, если б узнал это старый барин! Он не посмотрел бы на то, что ты чиновник, а, поднявши рубашонку, таких бы засыпал тебе, что дня б четыре ты почесывался. Коли служить, так служи. Вот теперь трактирщик сказал, что не дам вам есть, пока не заплатите за прежнее; ну, а коли не заплатим? *(Со вздохом.)* Ах, боже ты мой, хоть бы какие-нибудь щи! Кажись, так бы теперь весь свет съел. Стучится; верно, это он идет. *(Поспешно схватывается с постели.)*

### ЯВЛЕНИЕ II

Осип и Хлестаков.

Хлестаков. На, прими это. *(Отдает фуражку и тросточку.)* А, опять валялся на кровати?

Осип. Да зачем же бы мне валяться? Не видал я разве кровати, что ли?

Хлестаков. Врешь, валялся; видишь, вся склочена.

Осип. Да на что мне она? Не знаю я разве, что такое кровать? У меня есть ноги; я и постою. Зачем мне ваша кровать?

Хлестаков *(ходит по комнате)*. Посмотри, там в картузе табаку нет?

Осип. Да где ж ему быть, табаку? Вы четвертого дня последнее выкурили.

Хлестаков *(ходит и разнообразно сжимает свои губы; наконец говорит громким и решительным голосом)*. Послушай... эй, Осип!

Осип. Чего изволите?

Хлестаков *(громким, но не столь решительным голосом)*. Ты ступай туда.

Осип. Куда?

Хлестаков *(голосом вовсе не решительным и не громким, очень близким к просьбе)*. Вниз, в буфет... Там скажи... чтобы мне дали пообедать.

Осип. Да нет, я и ходить не хочу.

Хлестаков. Как ты смеешь, дурак!

Осип. Да так; все равно, хоть и пойду, ничего из этого не будет. Хозяин сказал, что больше не даст обедать.

Хлестаков. Как он смеет не дать? Вот еще вздор!

Осип. «Еще, говорит, и к городничему пойду; третью неделю барин денег не плотит. Вы-де с барином, говорит, мошенники, и

барин твой — плут. Мы-де, говорит, этаких шерамыжников и подлецов видали».

Хлестаков. А ты уж и рад, скотина, сейчас пересказывать мне все это.

Осип. Говорит: «Этак всякий приедет, обживется, задолжается, после и выгнать нельзя. Я, говорит, шутить не буду, я прямо с жалобою, чтоб на съезжую да в тюрьму».

Хлестаков. Ну, ну, дурак, полно! Ступай, ступай скажи ему. Такое грубое животное!

Осип. Да лучше я самого хозяина позову к вам.

Хлестаков. На что ж хозяина? Ты поди сам скажи.

Осип. Да, право, сударь...

Хлестаков. Ну, ступай, черт с тобой! позови хозяина.

Осип уходит.

### ЯВЛЕНИЕ III

Хлестаков один.

Ужасно как хочется есть! Так немножко прошелся, думал, не пройдет ли аппетит,— нет, черт возьми, не проходит. Да, если б в Пензе я не покутил, стало бы денег доехать домой. Пехотный капитан сильно поддел меня: штосы удивительно, бестия, срезывает. Всего каких-нибудь четверть часа посидел — и всё обобрал. А при всем том страх хотелось бы с ним еще раз сразиться. Случай только не привел. Какой скверный городишко! В овошенных лавках ничего не дают в долг. Это уж просто подло. *(Насвистывает сначала из «Роберта», потом «Не шей ты мне, матушка», а наконец ни се ни то.)* Никто не хочет идти.

### ЯВЛЕНИЕ IV

Хлестаков, Осип и трактирный слуга.

Слуга. Хозяин приказал спросить, что вам угодно?

Хлестаков. Здравствуй, братец! Ну, что ты, здоров?

Слуга. Слава богу.

Хлестаков. Ну что, как у вас в гостинице? хорошо ли все идет?

Слуга. Да, слава богу, все хорошо.

Хлестаков. Много проезжающих?

Слуга. Да, достаточно.

Хлестаков. Послушай, любезный, там мне до сих пор обеда не приносят, так, пожалуйста, поторопи, чтоб поскорее,— видишь, мне сейчас после обеда нужно кое-чем заняться.

Слуга. Да хозяин сказал, что не будет больше отпускать. Он, никак, хотел идти сегодня жаловаться городничему.

Хлестаков. Да что ж жаловаться? Посуди сам, любезный, как же? ведь мне нужно есть. Этак могу я совсем отощать. Мне очень есть хочется; я не шутя это говорю.

Слуга. Так-с. Он говорил: «Я ему обедать не дам, покамест он не заплатит мне за прежнее». Таков уж ответ его был.

Хлестаков. Да ты урезонь, уговори его.

Слуга. Да что ж ему такое говорить?

Хлестаков. Ты растолкуй ему сурьезно, что мне нужно есть. Деньги сами собою... Он думает, что, как ему, мужику, ничего, если не поесть день, так и другим тоже. Вот новости!

Слуга. Пожалуй, я скажу.

### ЯВЛЕНИЕ V

Хлестаков один.

Это скверно, однако ж, если он совсем ничего не даст есть. Так хочется, как еще никогда не хотелось. Разве из платья что-нибудь пустить в оборот? Штаны, что ли, продать? Нет, уж лучше поголодать, да приехать домой в петербургском костюме. Жаль, что Иохим не дал напрокат кареты, а хорошо бы, черт побери, приехать домой в карете, подкатить этаким чертом к какому-нибудь соседу-помещику под крыльцо, с фонарями, а Осипа сзади, одеть в ливрею. Как бы, я воображаю, все переполошились: «Кто такой, что такое?» А лакей входит *(вытягиваясь и представляя лакея)*: «Иван Александрович Хлестаков из Петербурга, прикажете принять?» Они, пентюхи, и не знают, что такое значит «прикажете принять». К ним если приедет какой-нибудь гусь помещик, так и валит, медведь, прямо в гостиную. К дочечке какой-нибудь хорошенькой подойдешь: «Сударыня, как я...» *(Потирает руки и подшаркивает ножкой.)* Тьфу! *(плюет)* даже тошнит, так есть хочется.

### ЯВЛЕНИЕ VI

Хлестаков, Осип, потом слуга.

Хлестаков. А что?

Осип. Несут обед.

Хлестаков *(прихлопывает в ладоши и слегка подпрыгивает на стуле)*. Несут! несут! несут!

Слуга *(с тарелками и салфеткой)*. Хозяин в последний раз уж дает.

Хлестаков. Ну, хозяин, хозяин... Я плевать на твоего хозяина! Что там такое?

Слуга. Суп и жаркое.

Хлестаков. Как, только два блюда?

Слуга. Только-с.

Хлестаков. Вот вздор какой! я этого не принимаю. Ты скажи ему: что это, в самом деле, такое!.. Этого мало.

Слуга. Нет, хозяин говорит, что еще много.

Хлестаков. А соуса почему нет?

Слуга. Соуса нет.

Хлестаков. Отчего же нет? Я видел сам, проходя мимо кухни, там много готовилось. И в столовой сегодня поутру двое каких-то коротеньких человека ели семгу и еще много кой-чего.

Слуга. Да оно-то есть, пожалуй, да нет.

Хлестаков. Как нет?

Слуга. Да уж нет.

Хлестаков. А семга, а рыба, а котлеты?

Слуга. Да это для тех, которые почище-с.

Хлестаков. Ах ты, дурак!

Слуга. Да-с.

Хлестаков. Поросенок ты скверный... Как же они едят, а я не ем? Отчего же я, черт возьми, не могу так же? Разве они не такие же проезжающие, как и я?

Слуга. Да уж известно, что не такие.

Хлестаков. Какие же?

Слуга. Обнаковенно какие! они уж известно: они деньги платят.

Хлестаков. Я с тобою, дурак, не хочу рассуждать. *(Наливает суп и ест.)* Что это за суп? Ты просто воды налил в чашку: мне никакого вкусу нет, только воняет. Я не хочу этого супу, дай другого.

Слуга. Мы примем-с. Хозяин сказал: коли не хотите, то и не нужно.

Хлестаков *(защищая рукою кушанье)*. Ну, ну, ну... оставь, дурак! Ты привык там обращаться с другими: я, брат, не такого рода! со мной не советую... *(Ест.)* Боже мой, какой суп! *(Продолжает есть.)* Я думаю, еще ни один человек в мире не едал такого супу: какие-то перья плавают вместо масла. *(Режет курицу.)* Ай, ай, ай, какая курица! Дай жаркое! Там супу немного осталось, Осип, возьми себе. *(Режет жаркое.)* Что это за жаркое? Это не жаркое.

Слуга. Да что ж такое?

Хлестаков. Черт его знает, что такое, только не жаркое. Это топор, зажаренный вместо говядины. *(Ест.)* Мошенники, канальи, чем они кормят! И челюсти заболят, если съешь один такой кусок. *(Ковыряет пальцем в зубах.)* Подлецы! Совершенно

как деревянная кора, ничем вытащить нельзя; и зубы почернеют после этих блюд. Мошенники! *(Вытирает рот салфеткой.)* Больше ничего нет?

Слуга. Нет.

Хлестаков. Канальи! подлецы! и даже хотя бы какой-нибудь соус или пирожное. Бездельники! дерут только с проезжающих.

Слуга убирает и уносит тарелки вместе с Осипом.

### ЯВЛЕНИЕ VII

Хлестаков, потом Осип.

Хлестаков. Право, как будто и не ел; только что разохотился. Если бы мелочь, послать бы на рынок и купить хоть сайку.

Осип *(входит)*. Там зачем-то городничий приехал, осведомляется и спрашивает о вас.

Хлестаков *(испугавшись)*. Вот тебе на! Эка бестия трактирщик, успел уже пожаловаться! Что, если в самом деле он потащит меня в тюрьму? Что ж, если благородным образом, я, пожалуй... нет, нет, не хочу! Там в городе таскаются офицеры и народ, а я, как нарочно, задал тону и перемигнулся с одной купеческой дочкой... Нет, не хочу... Да что он, как он смеет в самом деле? Что я ему, разве купец или ремесленник? *(Бодрится и выпрямливается.)* Да я ему прямо скажу: «Как вы смеете, как вы...» *(У дверей вертится ручка; Хлестаков бледнеет и съеживается.)*

### ЯВЛЕНИЕ VIII

Хлестаков, городничий и Добчинский. Городничий, вошед, останавливается. Оба в испуге смотрят несколько минут один на другого, выпучив глаза.

Городничий *(немного оправившись и протянув руки по швам)*. Желаю здравствовать!

Хлестаков *(кланяется)*. Мое почтение...

Городничий. Извините.

Хлестаков. Ничего...

Городничий. Обязанность моя, как градоначальника здешнего города, заботиться о том, чтобы проезжающим и всем благородным людям никаких притеснений...

Хлестаков *(сначала немного заикается, но к концу речи говорит громко)*. Да что же делать?.. Я не виноват... Я, право, заплачу... Мне пришлют из деревни...

Бобчинский выглядывает из дверей.

Он больше виноват: говядину мне подает такую твердую, как бревно; а суп — он черт знает чего плеснул туда, я должен был выбросить его за окно. Он меня морил голодом по целым дням... Чай такой странный: воняет рыбой, а не чаем. За что ж я... Вот новость!

Городничий *(робея)*. Извините, я, право, не виноват. На рынке у меня говядина всегда хорошая. Привозят холмогорские купцы, люди трезвые и поведения хорошего. Я уж не знаю, откуда он берет такую. А если что не так, то... Позвольте мне предложить вам переехать со мною на другую квартиру.

Хлестаков. Нет, не хочу! Я знаю, что значит на другую квартиру: то есть — в тюрьму. Да какое вы имеете право? Да как вы смеете?.. Да вот я... Я служу в Петербурге. *(Бодрится.)* Я, я, я...

Городничий *(в сторону)*. О господи ты боже, какой сердитый! Все узнал, все рассказали проклятые купцы!

Хлестаков *(храбрясь)*. Да вот вы хоть тут со всей своей командой — не пойду! Я прямо к министру! *(Стучит кулаком по столу.)* Что вы? что вы?

Городничий *(вытянувшись и дрожа всем телом)*. Помилуйте, не погубите! Жена, дети маленькие... не сделайте несчастным человека.

Хлестаков. Нет, я не хочу! Вот еще! мне какое дело? Оттого, что у вас жена и дети, я должен идти в тюрьму, вот прекрасно!

Бобчинский выглядывает в дверь и в испуге прячется.

Нет, благодарю покорно, не хочу.

Городничий *(дрожа)*. По неопытности, ей-богу по неопытности. Недостаточность состояния... Сами извольте посудить: казенного жалованья не хватает даже на чай и сахар. Если ж и были какие взятки, то самая малость: к столу что-нибудь да на пару платья. Что же до унтер-офицерской вдовы, занимающейся купечеством, которую я будто бы высек, то это клевета, ей-богу клевета. Это выдумали злодеи мои; это такой народ, что на жизнь мою готовы покуситься.

Хлестаков. Да что? мне нет никакого дела до них. *(В размышлении.)* Я не знаю, однако ж, зачем вы говорите о злодеях или о какой-то унтер-офицерской вдове... Унтер-офицерская жена совсем другое, а меня вы не смеете высечь, до этого вам далеко... Вот еще! смотри ты какой!.. Я заплачу, заплачу деньги, но у меня теперь нет. Я потому и сижу здесь, что у меня нет ни копейки.

Городничий *(в сторону)*. О, тонкая штука! Эк куда метнул! какого туману напустил! разбери кто хочет! Не знаешь, с ко-

торой стороны и приняться. Ну, да уж попробовать не куды пошло! Что будет, то будет, попробовать на авось. *(Вслух.)* Если вы точно имеете нужду в деньгах или в чем другом, то я готов служить сию минуту. Моя обязанность помогать проезжающим.

Хлестаков. Дайте, дайте мне взаймы! Я сейчас же расплачусь с трактирщиком. Мне бы только рублей двести или хоть даже и меньше.

Городничий *(поднося бумажки)*. Ровно двести рублей, хоть и не трудитесь считать.

Хлестаков *(принимая деньги)*. Покорнейше благодарю. Я вам тотчас пришлю их из деревни... у меня это вдруг... Я вижу, вы благородный человек. Теперь другое дело.

Городничий *(в сторону)*. Ну, слава богу! деньги взял. Дело, кажется, пойдет теперь на лад. Я таки ему вместо двухсот четыреста ввернул.

Хлестаков. Эй, Осип!

Осип входит.

Позови сюда трактирного слугу! *(К городничему и Добчинскому.)* А что же вы стоите? Сделайте милость, садитесь. *(Добчинскому.)* Садитесь, прошу покорнейше.

Городничий. Ничего, мы и так постоим.

Хлестаков. Сделайте милость, садитесь. Я теперь вижу совершенно откровенность вашего нрава и радушие, а то, признаюсь, я уж думал, что вы пришли с тем, чтобы меня... *(Добчинскому.)* Садитесь.

Городничий и Добчинский садятся. Бобчинский выглядывает в дверь и прислушивается.

Городничий *(в сторону)*. Нужно быть посмелее. Он хочет, чтобы считали его инкогнитом. Хорошо, подпустим и мы турусы: прикинемся, как будто совсем и не знаем, что он за человек. *(Вслух.)* Мы, прохаживаясь по делам должности, вот с Петром Ивановичем Добчинским, здешним помещиком, зашли нарочно в гостиницу, чтобы осведомиться, хорошо ли содержатся проезжающие, потому что я не так, как иной городничий, которому ни до чего дела нет; но я, я, кроме должности, еще по христианскому человеколюбию хочу, чтоб всякому смертному оказывался хороший прием,— и вот, как будто в награду, случай доставил такое приятное знакомство.

Хлестаков. Я тоже сам очень рад. Без вас я, признаюсь, долго бы просидел здесь: совсем не знал чем заплатить.

Городничий *(в сторону)*. Да, рассказывай, не знал, чем заплатить! *(Вслух.)* Осмелюсь ли спросить: куда и в какие места ехать изволите?

Хлестаков. Я еду в Саратовскую губернию, в собственную деревню.

Городничий *(в сторону, с лицом, принимающим ироническое выражение)*. В Саратовскую губернию! А? и не покраснеет! О, да с ним нужно ухо востро. *(Вслух.)* Благое дело изволили предпринять. Ведь вот относительно дороги: говорят, с одной стороны, неприятности насчет задержки лошадей, а ведь, с другой сторсны, развлеченье для ума. Ведь вы, чай, больше для собственного удовольствия едете?

Хлестаков. Нет, батюшка меня требует. Рассердился старик, что до сих пор ничего не выслужил в Петербурге. Он думает, что так вот приехал да сейчас тебе Владимира в петлицу и дадут. Нет, я бы послал его самого потолкаться в канцелярию.

Городничий *(в сторону)*. Прошу посмотреть, какие пули отливает! и старика отца приплел! *(Вслух.)* И на долгое время изволите ехать?

Хлестаков. Право, не знаю. Ведь мой отец упрям и глуп, старый хрен, как бревно. Я ему прямо скажу: как хотите, я не могу жить без Петербурга. За что ж, в самом деле, я должен погубить жизнь с мужиками? Теперь не те потребности; душа моя жаждет просвещения.

Городничий *(в сторону)*. Славно завязал узелок! Врет, врет — и нигде не оборвется! А ведь какой невзрачный, низенький, кажется, ногтем бы придавил его. Ну, да постой, ты у меня проговоришься. Я тебя уж заставлю побольше рассказать! *(Вслух.)* Справедливо изволили заметить. Что можно сделать в глуши? Ведь вот хоть бы здесь: ночь не спишь, стараешься для отечества, не жалеешь ничего, а награда неизвестно еще когда будет. *(Окидывает глазами комнату.)* Кажется, эта комната несколько сыра?

Хлестаков. Скверная комната, и клопы такие, каких я нигде не видывал: как собаки кусают.

Городничий. Скажите! такой просвещенный гость, и терпит — от кого же? — от каких-нибудь негодных клопов, которым бы и на свет не следовало родиться. Никак, даже темно в этой комнате?

Хлестаков. Да, совсем темно. Хозяин завел обыкновение не отпускать свечей. Иногда что-нибудь хочется сделать, почитать или придет фантазия сочинить что-нибудь,— не могу: темно, темно.

Городничий. Осмелюсь ли просить вас... но нет, я недостоин.

Хлестаков. А что?

Городничий. Нет, нет, недостоин, недостоин!

Хлестаков. Да что ж такое?

Городничий. Я бы дерзнул... У меня в доме есть прекрас-

ная для вас комната, светлая, покойная... Но нет, чувствую сам, это уж слишком большая честь... Не рассердитесь — ей-богу, от простоты души предложил.

Хлестаков. Напротив, извольте, я с удовольствием. Мне гораздо приятнее в приватном доме, чем в этом кабаке.

Городничий. А уж я так буду рад! А уж как жена обрадуется! У меня уже такой нрав: гостеприимство с самого детства, особливо если гость просвещенный человек. Не подумайте, чтобы я говорил это из лести; нет, не имею этого порока, от полноты души выражаюсь.

Хлестаков. Покорно благодарю. Я сам тоже — я не люблю людей двуличных. Мне очень нравится ваша откровенность и радушие, и я бы, признаюсь, больше бы ничего не требовал, как только оказывай мне преданность и уваженье, уваженье и преданность.

### ЯВЛЕНИЕ IX

Те же и трактирный слуга, сопровождаемый Осипом. Бобчинский выглядывает в дверь.

Слуга. Изволили спрашивать?

Хлестаков. Да; подай счет.

Слуга. Я уж давеча подал вам другой счет.

Хлестаков. Я уж не помню твоих глупых счетов. Говори, сколько там?

Слуга. Вы изволили в первый день спросить обед, а на другой день только закусили семги и потом пошли всё в долг брать.

Хлестаков. Дурак! еще начал высчитывать. Всего сколько следует?

Городничий. Да вы не извольте беспокоиться, он подождет. *(Слуге.)* Пошел вон, тебе пришлют.

Хлестаков. В самом деле, и то правда. *(Прячет деньги.)*

Слуга уходит. В дверь выглядывает Бобчинский.

### ЯВЛЕНИЕ X

Городничий, Хлестаков, Добчинский.

Городничий. Не угодно ли будет вам осмотреть теперь некоторые заведения в нашем городе, как-то — богоугодные и другие?

Хлестаков. А что там такое?

Городничий. А так, посмотрите, какое у нас течение дел... порядок какой...

Хлестаков. С большим удовольствием, я готов.

Бобчинский выставляет голову в дверь.

Городничий. Также, если будет ваше желание, оттуда в уездное училище, осмотреть порядок, в каком преподаются у нас науки.

Хлестаков. Извольте, извольте.

Городничий. Потом, если пожелаете посетить острог и городские тюрьмы — рассмотрите, как у нас содержатся преступники.

Хлестаков. Да зачем же тюрьмы? Уж лучше мы обсмотрим богоугодные заведения.

Городничий. Как вам угодно. Как вы намерены: в своем экипаже или вместе со мною на дрожках?

Хлестаков. Да, я лучше с вами на дрожках поеду.

Городничий *(Добчинскому)*. Ну, Петр Иванович, вам теперь нет места.

Добчинский. Ничего, я так.

Городничий *(тихо, Добчинскому)*. Слушайте: вы побегите, да бегом, во все лопатки, и снесите две записки: одну в богоугодное заведение Землянике, а другую жене. *(Хлестакову.)* Осмелюсь ли я попросить позволения написать в вашем присутствии одну строчку к жене, чтоб она приготовилась к принятию почтенного гостя?

Хлестаков. Да зачем же?.. А впрочем, тут и чернила, только бумаги — не знаю... Разве на этом счете?

Городничий. Я здесь напишу. *(Пишет и в то же время говорит про себя.)* А вот посмотрим, как пойдет дело после фриштика да бутылки толстобрюшки! Да есть у нас губернская мадера: неказиста на вид, а слона повалит с ног. Только бы мне узнать, что он такое и в какой мере нужно его опасаться. *(Написавши, отдает Добчинскому, который подходит к двери, но в это время дверь обрывается и подслушивавший с другой стороны Бобчинский летит вместе с нею на сцену. Все издают восклицания. Бобчинский подымается.)*

Хлестаков. Что? не ушиблись ли вы где-нибудь?

Бобчинский. Ничего, ничего-с, без всякого-с помешательства, только сверх носа небольшая нашлепка! Я забегу к Христиану Ивановичу: у него-с есть пластырь такой, так вот оно и пройдет.

Городничий *(делая Бобчинскому укорительный знак, Хлестакову)*. Это-с ничего. Прошу покорнейше, пожалуйте! А слуге вашему я скажу, чтобы перенес чемодан. *(Осипу.)* Любезнейший, ты перенеси все ко мне, к городничему,— тебе всякий покажет.

Прошу покорнейше! *(Пропускает вперед Хлестакова и следует за ним, но, оборотившись, говорит с укоризной Бобчинскому.)* Уж и вы! не нашли другого места упасть! И растянулся, как черт знает что такое. *(Уходит; за ним Бобчинский.)*

*Занавес опускается.*

## ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Комната первого действия.

### ЯВЛЕНИЕ I

Анна Андреевна, Марья Антоновна стоят у окна в тех же самых положениях.

Анна Андреевна. Ну вот, уж целый час дожидаемся, а все ты с своим глупым жеманством: совершенно оделась, нет, еще нужно копаться... Было бы не слушать ее вовсе. Экая досада! как нарочно, ни души! как будто бы вымерло все.

Марья Антоновна. Да, право, маменька, чрез минуты цве всё узнаем. Уж скоро Авдотья должна прийти. *(Всматривается в окно и вскрикивает.)* Ах, маменька, маменька! кто-то идет, вон в конце улицы.

Анна Андреевна. Где идет? У тебя вечно какие-нибудь фантазии. Ну да, идет. Кто же это идет? Небольшого роста... во фраке... Кто ж это? а? Это, однако ж, досадно! Кто ж бы это такой был?

Марья Антоновна. Это Добчинский, маменька.

Анна Андреевна. Какой Добчинский? Тебе всегда вдруг вообразится этакое... Совсем не Добчинский. *(Машет платком.)* Эй, вы, ступайте сюда! скорее!

Марья Антоновна. Право, маменька, Добчинский.

Анна Андреевна. Ну, вот нарочно, чтобы только поспорить. Говорят тебе — не Добчинский.

Марья Антоновна. А что? а что, маменька? Видите, что Добчинский.

Анна Андреевна. Ну да, Добчинский, теперь я вижу,— из чего же ты споришь? *(Кричит в окно.)* Скорей, скорей! вы тихо идете. Ну что, где они? А? Да говорите же оттуда — все равно. Что? очень строгий? А? А муж, муж? *(Немного отступя от окна, с досадою.)* Такой глупый: до тех пор, пока не войдет в комнату, ничего не расскажет!

## ЯВЛЕНИЕ II

Те же и Добчинский.

Анна Андреевна. Ну, скажите, пожалуйста: ну, не совестно ли вам? Я на вас одних полагалась, как на порядочного человека: все вдруг выбежали, и вы туда ж за ними! и я вот ни от кого до сих пор толку не доберусь. Не стыдно ли вам? Я у вас крестила вашего Ванечку и Лизаньку, а вы вот как со мною поступили!

Добчинский. Ей-богу, кумушка, так бежал засвидетельствовать почтение, что не могу духу перевесть. Мое почтение, Марья Антоновна!

Марья Антоновна. Здравствуйте, Петр Иванович!

Анна Андреевна. Ну что? Ну, рассказывайте: что и как там?

Добчинский. Антон Антонович прислал вам записочку.

Анна Андреевна. Ну, да кто он такой? генерал?

Добчинский. Нет, не генерал, а не уступит генералу: такое образование и важные поступки-с.

Анна Андреевна. А! так это тот самый, о котором было писано мужу.

Добчинский. Настоящий. Я это первый открыл вместе с Петром Ивановичем.

Анна Андреевна. Ну, расскажите: что и как?

Добчинский. Да, слава богу, все благополучно. Сначала он принял было Антона Антоновича немного сурово, да-с; сердился и говорил, что и в гостинице все нехорошо, и к нему не поедет, и что он не хочет сидеть за него в тюрьме; но потом, как узнал невинность Антона Антоновича и как покороче разговорился с ним, тотчас переменил мысли, и, слава богу, все пошло хорошо. Они теперь поехали осматривать богоугодные заведения... А то, признаюсь, уже Антон Антонович думали, не было ли тайного доноса; я сам тоже перетрухнул немножко.

Анна Андреевна. Да вам-то чего бояться? ведь вы не служите.

Добчинский. Да так, знаете, когда вельможа говорит, чувствуешь страх.

Анна Андреевна. Ну, что ж... это все, однако ж, вздор. Расскажите, каков он собою? что, стар или молод?

Добчинский. Молодой, молодой человек; лет двадцати трех; а говорит совсем так, как старик: «Извольте, говорит, я поеду и туда, и туда...» *(размахивает руками)* так это все славно. «Я, говорит, и написать и почитать люблю, но мешает, что в комнате, говорит, немножко темно».

Анна Андреевна. А собой каков он: брюнет или блондин?

Добчинский. Нет, больше шантрет, и глаза такие быстрые, как зверки, так в смущенье даже приводят.

Анна Андреевна. Что тут пишет он мне в записке? *(Читает.)* «Спешу тебя уведомить, душенька, что состояние мое было весьма печальное, но, уповая на милосердие божие, за два соленые огурца особенно и полпорции икры рубль двадцать пять копеек...» *(Останавливается.)* Я ничего не понимаю: к чему же тут соленые огурцы и икра?

Добчинский. А, это Антон Антонович писали на черновой бумаге по скорости: там какой-то счет был написан.

Анна Андреевна. А, да, точно. *(Продолжает читать.)* «Но, уповая на милосердие божие, кажется, все будет к хорошему концу. Приготовь поскорее комнату для важного гостя, ту, что выклеена желтыми бумажками; к обеду прибавлять не трудись, потому что закусим в богоугодном заведении у Артемия Филипповича, а вина вели побольше; скажи купцу Абдулину, чтобы прислал самого лучшего, а не то я перерою весь его погреб. Целуя, душенька, твою ручку, остаюсь твой: Антон Сквозник-Дмухановский...» Ах, боже мой! Это, однако ж, нужно поскорей! Эй, кто там? Мишка!

Добчинский *(бежит и кричит в дверь)*. Мишка! Мишка! Мишка!

Мишка входит.

Анна Андреевна. Послушай: беги к купцу Абдулину... постой, я дам тебе записочку *(садится к столу, пишет записку и между тем говорит)*: эту записку ты отдай кучеру Сидору, чтоб он побежал с нею к купцу Абдулину и принес оттуда вина. А сам поди сейчас прибери хорошенько эту комнату для гостя. Там поставить кровать, рукомойник и прочее.

Добчинский. Ну, Анна Андреевна, я побегу теперь поскорее посмотреть, как там он обозревает.

Анна Андреевна. Ступайте, ступайте! я не держу вас.

## ЯВЛЕНИЕ III

Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Анна Андреевна. Ну, Машенька, нам нужно теперь заняться туалетом. Он столичная штучка: боже сохрани, чтобы чего-нибудь не осмеял. Тебе приличнее всего надеть твое голубое платье с мелкими оборками.

Марья Антоновна. Фи, маменька, голубое! Мне совсем не нравится: и Ляпкина-Тяпкина ходит в голубом, и дочь Земляники тоже в голубом. Нет, лучше я надену цветное.

Анна Андреевна. Цветное!.. Право, говоришь — лишь бы только наперекор. Оно тебе будет гораздо лучше, потому что я хочу надеть палевое; я очень люблю палевое.

Марья Антоновна. Ах, маменька, вам нейдет палевое!

Анна Андреевна. Мне палевое нейдет?

Марья Антоновна. Нейдет, я что угодно даю, нейдет: для этого нужно, чтоб глаза были совсем темные.

Анна Андреевна. Вот хорошо! а у меня глаза разве не темные? самые темные. Какой вздор говорит! Как же не темные, когда я и гадаю про себя всегда на трефовую даму?

Марья Антоновна. Ах, маменька! вы больше червонная дама.

Анна Андреевна. Пустяки, совершенные пустяки! Я никогда не была червонная дама. *(Поспешно уходит вместе с Марьей Антоновной и говорит за сценою.)* Этакое вдруг вообразится! червонная дама! Бог знает что такое!

По уходе их отворяются двери, и Мишка выбрасывает из них сор. Из других дверей выходит Осип с чемоданом на голове.

### ЯВЛЕНИЕ IV

Мишка и Осип.

Осип. Куда тут?

Мишка. Сюда, дядюшка, сюда!

Осип. Постой, прежде дай отдохнуть. Ах ты, горемычное житье! На пустое брюхо всякая ноша кажется тяжела.

Мишка. Что, дядюшка, скажите: скоро будет генерал?

Осип. Какой генерал?

Мишка. Да барин ваш.

Осип. Барин? Да какой он генерал?

Мишка. А разве не генерал?

Осип. Генерал, да только с другой стороны.

Мишка. Что ж, это больше или меньше настоящего генерала?

Осип. Больше.

Мишка. Вишь ты, как! то-то у нас сумятицу подняли.

Осип. Послушай, малый: ты, я вижу, проворный парень; приготовь-ка там что-нибудь поесть.

Мишка. Да для вас, дядюшка, еще ничего не готово. Простова блюда вы не будете кушать, а вот как барин ваш сядет за стол, так и вам того же кушанья отпустят.

Осип. Ну, а простова-то что у вас есть?

Мишка. Щи, каша да пироги.

Осип. Давай их, щи, кашу и пироги! Ничего, всё будем есть. Ну, понесем чемодан! Что, там другой выход есть?

Мишка. Есть.

Оба несут чемодан в боковую комнату.

## ЯВЛЕНИЕ V

Квартальные отворяют обе половинки дверей. Входит Хлестаков; за ним городничий, далее попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ, Добчинский и Бобчинский с пластырем на носу. Городничий указывает квартальным на полу бумажку — они бегут и снимают ее, толкая друг друга впопыхах.

Хлестаков. Хорошие заведения. Мне нравится, что у вас показывают проезжающим все в городе. В других городах мне ничего не показывали.

Городничий. В других городах, осмелюсь доложить вам, градоправители и чиновники больше заботятся о своей, то есть, пользе. А здесь, можно сказать, нет другого помышления, кроме того, чтобы благочинием и бдительностью заслужить внимание начальства.

Хлестаков. Завтрак был очень хорош; я совсем объелся. Что, у вас каждый день бывает такой?

Городничий. Нарочно для такого приятного гостя.

Хлестаков. Я люблю поесть. Ведь на то живешь, чтобы срывать цветы удовольствия. Как называлась эта рыба?

Артемий Филиппович *(подбегая)*. Лабардан-с.

Хлестаков. Очень вкусная. Где это мы завтракали? в больнице, что ли?

Артемий Филиппович. Так точно-с, в богоугодном заведении.

Хлестаков. Помню, помню, там стояли кровати. А больные выздоровели? там их, кажется, немного.

Артемий Филиппович. Человек десять осталось, не больше; а прочие все выздоровели. Это уж так устроено, такой порядок. С тех пор как я принял начальство,— может быть, вам покажется даже невероятным,— все как мухи выздоравливают. Больной не успеет войти в лазарет, как уже здоров; и не столько медикаментами, сколько честностью и порядком.

Городничий. Уж на что, осмелюсь доложить вам, головоломна обязанность градоначальника! Столько лежит всяких дел, относительно одной чистоты, починки, поправки... словом, наиумнейший человек пришел бы в затруднение, но, благодарение богу,

все идет благополучно. Иной городничий, конечно, радел бы о своих выгодах; но, верите ли, что, даже когда ложишься спать, все думаешь: «Господи боже ты мой, как бы так устроить, чтобы начальство увидело мою ревность и было довольно?..» Наградит ли оно или нет — конечно, в его воле; по крайней мере, я буду спокоен в сердце. Когда в городе во всем порядок, улицы выметены, арестанты хорошо содержатся, пьяниц мало... то чего ж мне больше? Ей-ей, и почестей никаких не хочу. Оно, конечно, заманчиво, но пред добродетелью всё прах и суета.

Артемий Филиппович *(в сторону)*. Эка, бездельник, как расписывает! Дал же бог такой дар!

Хлестаков. Это правда. Я, признаюсь, сам люблю иногда заумствоваться: иной раз прозой, а в другой и стишки выкинутся.

Бобчинский *(Добчинскому)*. Справедливо, все справедливо, Петр Иванович! Замечания такие... видно, что наукам учился.

Хлестаков. Скажите, пожалуйста, нет ли у вас каких-нибудь развлечений, обществ, где бы можно было, например, поиграть в карты?

Городничий *(в сторону)*. Эге, знаем, голубчик, в чей огород камешки бросают! *(Вслух.)* Боже сохрани! здесь и слуху нет о таких обществах. Я карт и в руки никогда не брал; даже не знаю, как играть в эти карты. Смотреть никогда не мог на пих равнодушно; и если случится увидеть этак какого-нибудь бубнового короля или что-нибудь другое, то такое омерзение нападет, что просто плюнешь. Раз как-то случилось, забавляя детей, выстроил будку из карт, да после того всю ночь снились проклятые. Бог с ними! Как можно, чтобы такое драгоценное время убивать на них?

Лука Лукич *(в сторону)*. А у меня, подлец, выпонтировал вчера сто рублей.

Городничий. Лучше ж я употреблю это время на пользу государственную.

Хлестаков. Ну, нет, вы напрасно, однако же... Все зависит от той стороны, с которой кто смотрит на вещь. Если, например, забастуешь тогда, как нужно гнуть от трех углов... ну, тогда конечно... Нет, не говорите, иногда очень заманчиво поиграть.

### ЯВЛЕНИЕ VI

Те же, Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Городничий. Осмелюсь представить семейство мое! жена и дочь.

Хлестаков *(раскланиваясь)*. Как я счастлив, сударыня, что имею в своем роде удовольствие вас видеть.

H. K.
1958

«Записки сумасшедшего»

Худ. Н. Кузьмин

Анна Андреевна. Нам еще более приятно видеть такую особу.

Хлестаков *(рисуясь)*. Помилуйте, сударыня, совершенно напротив: мне еще приятнее.

Анна Андреевна. Как можно-с! Вы это так изволите говорить, для комплимента. Прошу покорно садиться.

Хлестаков. Возле вас стоять уже есть счастие; впрочем, если вы так уже непременно хотите, я сяду. Как я счастлив, что наконец сижу возле вас.

Анна Андреевна. Помилуйте, я никак не смею принять на свой счет... Я думаю, вам после столицы вояжировка показалась очень неприятною.

Хлестаков. Чрезвычайно неприятна. Привыкши жить, comprenez vous [1], в свете и вдруг очутиться в дороге: грязные трактиры, мрак невежества... Если б, признаюсь, не такой случай, который меня... *(посматривает на Анну Андреевну и рисуется перед ней)* так вознаградил за все...

Анна Андреевна. В самом деле, как вам должно быть неприятно.

Хлестаков. Впрочем, сударыня, в эту минуту мне очень приятно.

Анна Андреевна. Как можно-с! Вы делаете много чести. Я этого не заслуживаю.

Хлестаков. Отчего же не заслуживаете? Вы, сударыня, заслуживаете.

Анна Андреевна. Я живу в деревне...

Хлестаков. Да деревня, впрочем, тоже имеет свои пригорки, ручейки... Ну, конечно, кто же сравнит с Петербургом! Эх, Петербург! что за жизнь, право! Вы, может быть, думаете, что я только переписываю; нет, начальник отделения со мной на дружеской ноге. Этак ударит по плечу: «Приходи, братец, обедать!» Я только на две минуты захожу в департамент, с тем только, чтобы сказать: «Это вот так, это вот так!» А там уж чиновник для письма, этакая крыса, пером только — тр, тр... пошел писать. Хотели было даже меня коллежским асессором сделать, да, думаю, зачем. И сторож летит еще на лестнице за мною со щеткою: «Позвольте, Иван Александрович, я вам, говорит, сапоги почищу». *(Городничему.)* Что вы, господа, стоите? Пожалуйста, садитесь!

Вместе.
Городничий. Чин такой, что еще можно постоять.
Артемий Филиппович. Мы постоим.
Лука Лукич. Не извольте беспокоиться!
Хлестаков. Без чинов, прошу садиться.

Городничий и все садятся.

[1] понимаете ли *(франц.)*.

Я не люблю церемонии. Напротив, я даже стараюсь всегда проскользнуть незаметно. Но никак нельзя скрыться, никак нельзя! Только выйду куда-нибудь, уж и говорят: «Вон, говорят, Иван Александрович идет!» А один раз меня приняли даже за главнокомандующего: солдаты выскочили из гауптвахты и сделали ружьем. После уже офицер, который мне очень знаком, говорит мне: «Ну, братец, мы тебя совершенно приняли за главнокомандующего».

Анна Андреевна. Скажите как!

Хлестаков. С хорошенькими актрисами знаком. Я ведь тоже разные водевильчики... Литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: «Ну что, брат Пушкин?» — «Да так, брат,— отвечает, бывало,— так как-то всё...» Большой оригинал.

Анна Андреевна. Так вы и пишете? Как это должно быть приятно сочинителю! Вы, верно, и в журналы помещаете?

Хлестаков. Да, и в журналы помещаю. Моих, впрочем, много есть сочинений: «Женитьба Фигаро», «Роберт-Дьявол», «Норма». Уж и названий даже не помню. И всё случаем: я не хотел писать, но театральная дирекция говорит: «Пожалуйста, братец, напиши что-нибудь». Думаю себе: «Пожалуй, изволь, братец!» И тут же в один вечер, кажется, всё написал, всех изумил. У меня легкость необыкновенная в мыслях. Все это, что было под именем барона Брамбеуса, «Фрегат Надежды» и «Московский телеграф»... все это я написал.

Анна Андреевна. Скажите, так это вы были Брамбеус?

Хлестаков. Как же, я им всем поправляю статьи. Мне Смирдин дает за это сорок тысяч.

Анна Андреевна. Так, верно, и «Юрий Милославский» ваше сочинение?

Хлестаков. Да, это мое сочинение.

Анна Андреевна. Я сейчас догадалась.

Марья Антоновна. Ах, маменька, там написано, что это господина Загоскина сочинение.

Анна Андреевна. Ну вот: я и знала, что даже здесь будешь спорить.

Хлестаков. Ах да, это правда: это точно Загоскина; а есть другой «Юрий Милославский», так тот уж мой.

Анна Андреевна. Ну, это, верно, я ваш читала. Как хорошо написано!

Хлестаков. Я, признаюсь, литературой существую. У меня дом первый в Петербурге. Так уж и известен: дом Ивана Александровича. *(Обращаясь ко всем.)* Сделайте милость, господа, если будете в Петербурге, прошу, прошу ко мне. Я ведь тоже балы даю.

Анна Андреевна. Я думаю, с каким там вкусом и великолепием даются балы!

Хлестаков. Просто не говорите. На столе, например, арбуз — в семьсот рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа; откроют крышку — пар, которому подобного нельзя отыскать в природе. Я всякий день на балах. Там у нас и вист свой составился: министр иностранных дел, французский посланник, английский, немецкий посланник и я. И уж так уморишься играя, что просто ни на что не похоже. Как взбежишь по лестнице к себе на четвертый этаж — скажешь только кухарке: «На, Маврушка, шинель...» Что ж я вру — я и позабыл, что живу в бельэтаже. У меня одна лестница стóит... А любопытно взглянуть ко мне в переднюю, когда я еще не проснулся: графы и князья толкутся и жужжат там, как шмели, только и слышно: ж... ж... ж... Иной раз и министр...

Городничий и прочие с робостью встают с своих стульев.

Мне даже на пакетах пишут: «ваше превосходительство». Один раз я даже управлял департаментом. И странно: директор уехал,— куда уехал, неизвестно. Ну, натурально, пошли толки: как, что, кому занять место? Многие из генералов находились охотники и брались, но подойдут, бывало,— нет, мудрено. Кажется и легко на вид, а рассмотришь — просто черт возьми! После видят, нечего делать,— ко мне. И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры... можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров! Каково положение? — я спрашиваю. «Иван Александрович, ступайте департаментом управлять!» Я, признаюсь, немного смутился, вышел в халате: хотел отказаться, но думаю: дойдет до государя, ну да и послужной список тоже... «Извольте, господа, я принимаю должность, я принимаю, говорю, так и быть, говорю, я принимаю, только уж у меня: ни, ни, ни!... Уж у меня ухо востро! уж я...» И точно: бывало, как прохожу через департамент,— просто землетрясенье, все дрожит и трясется, как лист.

Городничий и прочие трясутся от страха. Хлестаков горячится сильнее.

О! я шутить не люблю. Я им всем задал острастку. Меня сам государственный совет боится. Да что в самом деле? Я такой! я не посмотрю ни на кого... я говорю всем: «Я сам себя знаю, сам». Я везде, везде. Во дворец всякий день езжу. Меня завтра же произведут сейчас в фельдмарш... *(Поскальзывается и чуть-чуть не шлепается на пол, но с почтением поддерживается чиновниками.)*

Городничий *(подходя и трясясь всем телом, силится выговорить)*. А ва-ва-ва... ва...

Хлестаков *(быстрым, отрывистым голосом)*. Что такое?

Городничий. А ва-ва-ва... ва...

Хлестаков *(таким же голосом)*. Не разберу ничего, всё вздор.

Городничий. Ва-ва-ва... шество, превосходительство, не прикажете ли отдохнуть?.. вот и комната, и все что нужно.

Хлестаков. Вздор — отдохнуть. Извольте, я готов отдохнуть. Завтрак у вас, господа, хорош... Я доволен, я доволен. *(С декламацией.)* Лабардан! лабардан! *(Входит в боковую комнату, за ним городничий.)*

### ЯВЛЕНИЕ VII

Те же, кроме Хлестакова и городничего.

Бобчинский *(Добчинскому)*. Вот это, Петр Иванович, человек-то! Вот оно, что значит человек! В жисть не был в присутствии такой важной персоны, чуть не умер со страху. Как вы думаете, Петр Иванович, кто он такой в рассуждении чина?

Добчинский. Я думаю, чуть ли не генерал.

Бобчинский. А я так думаю, что генерал-то ему и в подметки не станет! а когда генерал, то уж разве сам генералиссимус. Слышали: государственный-то совет как прижал? Пойдем расскажем поскорее Аммосу Федоровичу и Коробкину. Прощайте, Анна Андреевна!

Добчинский. Прощайте, кумушка!

Оба уходят.

Артемий Филиппович *(Луке Лукичу)*. Страшно просто. А отчего, и сам не знаешь. А мы даже и не в мундирах. Ну что, как проспится да в Петербург махнет донесение? *(Уходит в задумчивости вместе с смотрителем училищ, произнеся:)* Прощайте, сударыня!

### ЯВЛЕНИЕ VIII

Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Анна Андреевна. Ах, какой приятный!

Марья Антоновна. Ах, милашка!

Анна Андреевна. Но только какое тонкое обращение! сейчас можно увидеть столичную штучку. Приемы и все это такое... Ах, как хорошо! Я страх люблю таких молодых людей! я просто без памяти. Я, однако ж, ему очень понравилась: я заметила — все на меня поглядывал.

Марья Антоновна. Ах, маменька, он на меня глядел!

Анна Андреевна. Пожалуйста, с своим вздором подальше! Это здесь вовсе неуместно.

Марья Антоновна. Нет, маменька, право!

Анна Андреевна. Ну вот! Боже сохрани, чтобы не поспорить! нельзя, да и полно! Где ему смотреть на тебя? И с какой стати ему смотреть на тебя?

Марья Антоновна. Право, маменька, все смотрел. И как начал говорить о литературе, то взглянул на меня, и потом, когда рассказывал, как играл в вист с посланниками, и тогда посмотрел на меня.

Анна Андреевна. Ну, может быть, один какой-нибудь раз, да и то так уж, лишь бы только. «А,— говорит себе,— дай уж посмотрю на нее!»

## ЯВЛЕНИЕ IX

Те же и городничий.

Городничий *(входит на цыпочках)*. Чш... ш...

Анна Андреевна. Что?

Городничий. И не рад, что напоил. Ну что, если хоть одна половина из того, что он говорил, правда? *(Задумывается.)* Да как же и не быть правде? Подгулявши, человек все несет наружу: что на сердце, то и на языке. Конечно, прилгнул немного; да ведь не прилгнувши не говорится никакая речь. С министрами играет и во дворец ездит... Так вот, право, чем больше думаешь... черт его знает, не знаешь, что и делается в голове; просто как будто или стоишь на какой-нибудь колокольне, или тебя хотят повесить.

Анна Андреевна. А я никакой совершенно не ощутила робости; я просто видела в нем образованного, светского, высшего тона человека, а о чинах его мне и нужды нет.

Городничий. Ну, уж вы — женщины! Все кончено, одного этого слова достаточно! Вам всё — финтирлюшки! Вдруг брякнут ни из того ни из другого словцо. Вас посекут, да и только, а мужа и поминай как звали. Ты, душа моя, обращалась с ним так свободно, как будто с каким-нибудь Добчинским.

Анна Андреевна. Об этом я уж советую вам не беспокоиться. Мы кой-что знаем такое... *(Посматривает на дочь.)*

Городничий *(один)*. Ну, уж с вами говорить!.. Эка в самом деле оказия! До сих пор не могу очнуться от страха. *(Отворяет дверь и говорит в дверь.)* Мишка, позови квартальных Свистунова и Держиморду: они тут недалеко где-нибудь за воротами. *(После небольшого молчания.)* Чудно все завелось теперь на свете: хоть бы народ-то уж был видный, а то худенький, тоненький — как его

узнаешь, кто он? Еще военный все-таки кажет из себя, а как наденет фрачишку — ну точно муха с подрезанными крыльями. А ведь долго крепился давича в трактире, заламливал такие аллегории и екивоки, что, кажись, век бы не добился толку. А вот наконец и подался. Да еще наговорил больше, чем нужно. Видно, что человек молодой.

ЯВЛЕНИЕ X

Те же и Осип. Все бегут к нему навстречу, кивая пальцами.

Анна Андреевна Подойди сюда, любезный!

Городничий. Чш!.. что? что? спит?

Осип. Нет еще, немножко потягивается.

Анна Андреевна. Послушай, как тебя зовут?

Осип. Осип, сударыня.

Городничий *(жене и дочери)*. Полно, полно вам! *(Осипу.)* Ну что, друг, тебя накормили хорошо?

Осип. Накормили, покорнейше благодарю; хорошо накормили.

Анна Андреевна. Ну что, скажи: к твоему барину слишком, я думаю, много ездит графов и князей?

Осип *(в сторону)*. А что говорить? Коли теперь накормили хорошо, значит, после еще лучше накормят. *(Вслух.)* Да, бывают и графы.

Марья Антоновна. Душенька Осип, какой твой барин хорошенький!

Анна Андреевна. А что, скажи, пожалуйста, Осип, как он...

Городничий. Да перестаньте, пожалуйста! Вы этакими пустыми речами только мне мешаете. Ну что, друг?..

Анна Андреевна. А чин какой на твоем барине?

Осип. Чин обыкновенно какой.

Городничий. Ах, боже мой, вы всё с своими глупыми расспросами! не дадите ни слова поговорить о деле. Ну что, друг, как твой барин?.. строг? любит этак распекать или нет?

Осип. Да, порядок любит. Уж ему чтоб все было в исправности.

Городничий. А мне очень нравится твое лицо. Друг, ты должен быть хороший человек. Ну что...

Анна Андреевна. Послушай, Осип, а как барин твой там, в мундире ходит, или...

Городничий. Полно вам, право, трещотки какие! Здесь нужная вещь: дело идет о жизни человека... *(К Осипу.)* Ну что, друг, право, мне ты очень нравишься. В дороге не мешает, знаешь,

чайку выпить лишний стаканчик,— оно теперь холодновато. Так вот тебе пара целковиков на чай.

Осип *(принимая деньги).* А покорнейше благодарю, сударь. Дай бог всякого здоровья! бедный человек, помогли ему.

Городничий. Хорошо, хорошо, я и сам рад. А что, друг...

Анна Андреевна. Послушай, Осип, а какие глаза больше всего нравятся твоему барину?

Марья Антоновна. Осип, душенька! какой миленький носик у твоего барина!..

Городничий. Да постойте, дайте мне!.. *(К Осипу.)* А что, друг, скажи, пожалуйста: на что больше барин твой обращает внимание, то есть что ему в дороге больше нравится?

Осип. Любит он, по рассмотрению, что как придется. Больше всего любит, чтобы его приняли хорошо, угощение чтоб было хорошее.

Городничий. Хорошее?

Осип. Да, хорошее. Вот уж на что я, крепостной человек, но и то смотрит, чтобы и мне было хорошо. Ей-богу! Бывало, заедем куда-нибудь: «Что, Осип, хорошо тебя угостили?» — «Плохо, ваше высокоблагородие!» — «Э, говорит, это, Осип, нехороший хозяин. Ты, говорит, напомни мне, как приеду».— «А,— думаю себе *(махнув рукою),*— бог с ним! я человек простой».

Городничий. Хорошо, хорошо, и дело ты говоришь. Там я тебе дал на чай, так вот еще сверх того на баранки.

Осип. За что жалуете, ваше высокоблагородие? *(Прячет деньги.)* Разве уж выпью за ваше здоровье.

Анна Андреевна. Приходи, Осип, ко мне, тоже получишь.

Марья Антоновна. Осип, душенька, поцелуй своего барина!

Слышен из другой комнаты небольшой кашель Хлестакова.

Городничий. Чш! *(Поднимается на цыпочки; вся сцена вполголоса.)* Боже вас сохрани шуметь! Идите себе! полно уж вам...

Анна Андреевна. Пойдем, Машенька! я тебе скажу, что я заметила у гостя такое, что нам вдвоем только можно сказать.

Городничий. О, уж там наговорят! Я думаю, поди только да послушай — и уши потом заткнешь. *(Обращаясь к Осипу.)* Ну, друг...

### ЯВЛЕНИЕ XI

Те же, Держиморда и Свистунов.

Городничий. Чш! экие косолапые медведи — стучат сапогами! Так и валится, как будто сорок пуд сбрасывает кто-нибудь с телеги! Где вас черт таскает?

Держиморда. Был по приказанию...

Городничий. Чш! *(Закрывает ему рот.)* Эк как каркнула ворона. *(Дразнит его.)* Был по приказанию! Как из бочки, так рычит. *(К Осипу.)* Ну, друг, ты ступай приготовляй там, что нужно для барина. Все, что ни есть в доме, требуй.

Осип уходит.

А вы — стоять на крыльце, и ни с места! И никого не впускать в дом стороннего, особенно купцов! Если хоть одного из них впустите, то... Только увидите, что идет кто-нибудь с просьбою, а хоть и не с просьбою, да похож на такого человека, что хочет подать на меня просьбу, взашей так прямо и толкайте! так его! хорошенько! *(Показывает ногою.)* Слышите? Чш... чш... *(Уходит на цыпочках вслед за квартальными.)*

## ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Та же комната в доме городничего.

### ЯВЛЕНИЕ I

Входят осторожно, почти на цыпочках: Аммос Федорович, Артемий Филиппович, почтмейстер, Лука Лукич, Добчинский и Бобчинский, в полном параде и мундирах. Вся сцена происходит вполголоса.

Аммос Федорович *(строит всех полукружием)*. Ради бога, господа, скорее в кружок, да побольше порядку! Бог с ним: и во дворец ездит, и государственный совет распекает! Стройтесь на военную ногу, непременно на военную ногу! Вы, Петр Иванович, забегите с этой стороны, а вы, Петр Иванович, станьте вот тут.

Оба Петра Ивановича забегают на цыпочках.

Артемий Филиппович. Воля ваша, Аммос Федорович, нам нужно бы кое-что предпринять.

Аммос Федорович. А что именно?

Артемий Филиппович. Ну, известно что.

Аммос Федорович. Подсунуть?

Артемий Филиппович. Ну да, хоть и подсунуть.

Аммос Федорович. Опасно, черт возьми! раскричится: государственный человек. А разве в виде приношенья со стороны дворянства на какой-нибудь памятник?

Почтмейстер. Или же: «вот, мол, пришли по почте деньги, неизвестно кому принадлежащие».

Артемий Филиппович. Смотрите, чтоб он вас по почте не отправил куды-нибудь подальше. Слушайте: эти дела не так делаются в благоустроенном государстве. Зачем нас здесь целый эскадрон? Представиться нужно поодиночке, да между четырех глаз и того... как там следует — чтобы и уши не слыхали. Вот как в обществе благоустроенном делается! Ну, вот вы, Аммос Федорович, первый и начните.

Аммос Федорович. Так лучше ж вы: в вашем заведении высокий посетитель вкусил хлеба.

Артемий Филиппович. Так уж лучше Луке Лукичу, как просветителю юношества.

Лука Лукич. Не могу, не могу, господа. Я, признаюсь, так воспитан, что, заговори со мною одним чином кто-нибудь повыше, у меня просто и души нет и язык как в грязь завязнул. Нет, господа, увольте, право, увольте!

Артемий Филиппович. Да, Аммос Федорович, кроме вас, некому. У вас что ни слово, то Цицерон с языка слетел.

Аммос Федорович. Что вы! что вы: Цицерон! Смотрите, что выдумали! Что иной раз увлечешься, говоря о домашней своре или гончей ищейке...

Все *(пристают к нему)*. Нет, вы не только о собаках, вы и о столпотворении... Нет, Аммос Федорович, не оставляйте нас, будьте отцом нашим!.. Нет, Аммос Федорович!

Аммос Федорович. Отвяжитесь, господа!

В это время слышны шаги и откашливание в комнате Хлестакова. Все спешат наперерыв к дверям, толпятся и стараются выйти, что происходит не без того, чтобы не притиснули кое-кого. Раздаются вполголоса восклицания:

Голос Бобчинского. Ой, Петр Иванович, Петр Иванович! наступили на ногу!

Голос Земляники. Отпустите, господа, хоть душу на покаяние — совсем прижали!

Выхватываются несколько восклицаний: «Ай! ай!»— наконец все выпираются, и комната остается пуста.

## ЯВЛЕНИЕ II

Хлестаков один, выходит с заспанными глазами.

Я, кажется, всхрапнул порядком. Откуда они набрали таких тюфяков и перин? даже вспотел. Кажется, они вчера мне подсунули чего-то за завтраком: в голове до сих пор стучит. Здесь, как я вижу, можно с приятностию проводить время. Я люблю радушие, и мне, признаюсь, больше нравится, если мне угождают от чистого

сердца, а не то чтобы из интереса. А дочка городничего очень недурна, да и матушка такая, что еще можно бы... Нет, я не знаю, а мне, право, нравится такая жизнь.

### ЯВЛЕНИЕ III

Хлестаков и Аммос Федорович.

Аммос Федорович *(входя и останавливаясь, про себя)*. Боже, боже! вынеси благополучно; так вот коленки и ломает. *(Вслух, вытянувшись и придерживая рукою шпагу.)* Имею честь представиться: судья здешнего уездного суда, коллежский асессор Ляпкин-Тяпкин.

Хлестаков. Прошу садиться. Так вы здесь судья?

Аммос Федорович. С восемьсот шестнадцатого был избран на трехлетие по воле дворянства и продолжал должность до сего времени.

Хлестаков. А выгодно, однако же, быть судьею?

Аммос Федорович. За три трехлетия представлен к Владимиру четвертой степени с одобрения со стороны начальства. *(В сторону.)* А деньги в кулаке, да кулак-то весь в огне.

Хлестаков. А мне нравится Владимир. Вот Анна третьей степени уже не так.

Аммос Федорович *(высовывая понемногу вперед сжатый кулак. В сторону)*. Господи боже! не знаю, где сижу. Точно горячие угли под тобою.

Хлестаков. Что это у вас в руке?

Аммос Федорович *(потерявшись и роняя на пол ассигнации)*. Ничего-с.

Хлестаков. Как ничего? Я вижу, деньги упали.

Аммос Федорович *(дрожа всем телом)*. Никак нет-с. *(В сторону.)* О боже, вот уж я и под судом! и тележку подвезли схватить меня!

Хлестаков *(подымая)*. Да, это деньги.

Аммос Федорович *(в сторону)*. Ну, все кончено — пропал! пропал!

Хлестаков. Знаете ли что? дайте их мне взаймы.

Аммос Федорович *(поспешно)*. Как же-с, как же-с... с большим удовольствием. *(В сторону.)* Ну, смелее, смелее! Вывози, пресвятая матерь!

Хлестаков. Я, знаете, в дороге издержался: то да се... Впрочем, я вам из деревни сейчас их пришлю.

Аммос Федорович. Помилуйте, как можно! и без того это такая честь... Конечно, слабыми моими силами, рвением и

усердием к начальству... постараюсь заслужить... *(Приподымается со стула, вытянувшись и руки по швам.)* Не смею более беспокоить своим присутствием. Не будет ли какого приказанья?

Хлестаков. Какого приказанья?

Аммос Федорович. Я разумею, не дадите ли какого приказанья здешнему уездному суду?

Хлестаков. Зачем же? Ведь мне никакой нет теперь в нем надобности.

Аммос Федорович *(раскланиваясь и уходя, в сторону)*. Ну, город наш!

Хлестаков *(по уходе его)*. Судья — хороший человек!

## ЯВЛЕНИЕ IV

Хлестаков и почтмейстер, входит вытянувшись, в мундире, придерживая шпагу.

Почтмейстер. Имею честь представиться: почтмейстер, надворный советник Шпекин.

Хлестаков. А, милости просим. Я очень люблю приятное общество. Садитесь. Ведь вы здесь всегда живете?

Почтмейстер. Так точно-с.

Хлестаков. А мне нравится здешний городок. Конечно, не так многолюдно — ну что ж? Ведь это не столица. Не правда ли, ведь это не столица?

Почтмейстер. Совершенная правда.

Хлестаков. Ведь это только в столице бонтон и нет провинциальных гусей. Как ваше мнение, не так ли?

Почтмейстер. Так точно-с. *(В сторону.)* А он, однако ж, ничуть не горд; обо всем расспрашивает.

Хлестаков. А ведь, однако ж, признайтесь, ведь и в маленьком городке можно прожить счастливо?

Почтмейстер. Так точно-с.

Хлестаков. По моему мнению, что нужно? Нужно только, чтобы тебя уважали, любили искренне,— не правда ли?

Почтмейстер. Совершенно справедливо.

Хлестаков. Я, признаюсь, рад, что вы одного мнения со мною. Меня, конечно, назовут странным, но уж у меня такой характер. *(Глядя в глаза ему, говорит про себя.)* А попрошу-ка я у этого почтмейстера взаймы! *(Вслух.)* Какой странный со мною случай: в дороге совершенно издержался. Не можете ли вы мне дать триста рублей взаймы?

Почтмейстер. Почему же? почту за величайшее счастие. Вот-с, извольте. От души готов служить.

Хлестаков. Очень благодарен. А я, признаюсь, смерть не люблю отказывать себе в дороге, да и к чему? Не так ли?

Почтмейстер. Так точно-с. *(Встает, вытягивается и придерживает шпагу.)* Не смею долее беспокоить своим присутствием... Не будет ли какого замечания по части почтового управления?

Хлестаков. Нет, ничего.

Почтмейстер раскланивается и уходит.

*(Раскуривая сигарку.)* Почтмейстер, мне кажется, тоже очень хороший человек. По крайней мере, услужлив. Я люблю таких людей.

## ЯВЛЕНИЕ V

Хлестаков и Лука Лукич, который почти выталкивается из дверей. Сзади его слышен голос почти вслух: «Чего робеешь?»

Лука Лукич *(вытягиваясь не без трепета и придерживая шпагу)*. Имею честь представиться: смотритель училищ, титулярный советник Хлопов.

Хлестаков. А, милости просим! Садитесь, садитесь. Не хотите ли сигарку? *(Подает ему сигару.)*

Лука Лукич *(про себя, в нерешимости)*. Вот тебе раз! Уж этого никак не предполагал. Брать или не брать?

Хлестаков. Возьмите, возьмите; это порядочная сигарка. Конечно, не то, что в Петербурге. Там, батюшка, я куривал сигарочки по двадцати пяти рублей сотенка, просто ручки потом себе поцелуешь, как выкуришь. Вот огонь, закурите. *(Подает ему свечу.)*

Лука Лукич пробует закурить и весь дрожит.

Да не с того конца!

Лука Лукич *(от испуга выронил сигару, плюнул и, махнув рукою, про себя)*. Черт побери все! сгубила проклятая робость!

Хлестаков. Вы, как я вижу, не охотник до сигарок. А я признаюсь: это моя слабость. Вот еще насчет женского полу, никак не могу быть равнодушен. Как вы? Какие вам больше нравятся — брюнетки или блондинки?

Лука Лукич находится в совершенном недоумении, что сказать.

Нет, скажите откровенно: брюнетки или блондинки?

Лука Лукич. Не смею знать.

Хлестаков. Нет, нет, не отговаривайтесь! Мне хочется узнать непременно ваш вкус.

Лука Лукич. Осмелюсь доложить... *(В сторону.)* Ну, и сам не знаю, что говорю.

Хлестаков. А! а! не хотите сказать. Верно, уж какая-нибудь брюнетка сделала вам маленькую загвоздочку. Признайтесь, сделала?

Лука Лукич молчит.

А! а! покраснели! Видите! видите! Отчего ж вы не говорите?

Лука Лукич. Оробел, ваше бла... преос... сият... *(В сторону.)* Продал проклятый язык, продал!

Хлестаков. Оробели? А в моих глазах точно есть что-то такое, что внушает робость. По крайней мере, я знаю, что ни одна женщина не может их выдержать, не так ли?

Лука Лукич. Так точно-с.

Хлестаков. Вот со мной престранный случай: в дороге совсем издержался. Не можете ли вы мне дать триста рублей взаймы?

Лука Лукич *(хватаясь за карманы, про себя)*. Вот те штука, если нет! Есть, есть! *(Вынимает и подает, дрожа, ассигнации.)*

Хлестаков. Покорнейше благодарю.

Лука Лукич *(вытягиваясь и придерживая шпагу)*. Не смею долее беспокоить присутствием.

Хлестаков. Прощайте.

Лука Лукич *(летит вон почти бегом и говорит в сторону)*. Ну, слава богу! авось не заглянет в классы!

## ЯВЛЕНИЕ VI

Хлестаков и Артемий Филиппович, вытянувшись и придерживая шпагу.

Артемий Филиппович. Имею честь представиться: попечитель богоугодных заведений, надворный советник Земляника.

Хлестаков. Здравствуйте, прошу покорно садиться.

Артемий Филиппович. Имел честь сопровождать вас и принимать лично во вверенных моему смотрению богоугодных заведениях.

Хлестаков. А, да! помню. Вы очень хорошо угостили завтраком.

Артемий Филиппович. Рад стараться на службу отечеству.

Хлестаков. Я — признаюсь, это моя слабость,— люблю хорошую кухню. Скажите, пожалуйста, мне кажется, как будто бы вчера вы были немножко ниже ростом, не правда ли?

Артемий Филиппович. Очень может быть. *(Помолчав.)* Могу сказать, что не жалею ничего и ревностно исполняю службу. *(Придвигается ближе с своим стулом и говорит вполголоса.)* Вот здешний почтмейстер совершенно ничего не делает: все дела в большом запущении, посылки задерживаются... извольте сами нарочно разыскать. Судья тоже, который только что был пред моим приходом, ездит только за зайцами, в присутственных местах держит собак и поведения, если признаться пред вами,— конечно, для пользы отечества я должен это сделать, хотя он мне родня и приятель,— поведения самого предосудительного. Здесь есть один помещик, Добчинский, которого вы изволили видеть; и как только этот Добчинский куда-нибудь выйдет из дому, то он там уж и сидит у жены его, я присягнуть готов... И нарочно посмотрите на детей: ни одно из них не похоже на Добчинского, но все, даже девочка маленькая, как вылитый судья.

Хлестаков. Скажите пожалуйста! а я никак этого не думал.

Артемий Филиппович. Вот и смотритель здешнего училища... Я не знаю, как могло начальство поверить ему такую должность: он хуже, чем якобинец, и такие внушает юношеству неблагонамеренные правила, что даже выразить трудно. Не прикажете ли, я все это изложу лучше на бумаге?

Хлестаков. Хорошо, хоть на бумаге. Мне очень будет приятно. Я, знаете, этак люблю в скучное время прочесть что-нибудь забавное... Как ваша фамилия? я все позабываю.

Артемий Филиппович. Земляника.

Хлестаков. А, да! Земляника. И что ж, скажите, пожалуйста, есть у вас детки?

Артемий Филиппович. Как же-с, пятеро; двое уже взрослых.

Хлестаков. Скажите, взрослых! А как они... как они того?..

Артемий Филиппович. То есть не изволите ли вы спрашивать, как их зовут?

Хлестаков. Да, как их зовут?

Артемий Филиппович. Николай, Иван, Елизавета, Марья и Перепетуя.

Хлестаков. Это хорошо.

Артемий Филиппович. Не смея беспокоить своим присутствием, отнимать времени, определенного на священные обязанности... *(Раскланивается с тем, чтобы уйти.)*

Хлестаков *(провожая)*. Нет, ничего. Это все очень смешно, что вы говорили. Пожалуйста, и в другое тоже время... Я это очень люблю. *(Возвращается и, отворивши дверь, кричит вслед ему.)* Эй вы! как вас? я все позабываю, как ваше имя и отчество.

Артемий Филиппович. Артемий Филиппович.

Хлестаков. Сделайте милость, Артемий Филиппович, со мной странный случай: в дороге совершенно издержался. Нет ли у вас денег взаймы — рублей четыреста?

Артемий Филиппович. Есть.

Хлестаков. Скажите, как кстати. Покорнейше вас благодарю.

### ЯВЛЕНИЕ VII

Хлестаков, Бобчинский и Добчинский.

Бобчинский. Имею честь представиться: житель здешнего города, Петр Иванов сын Бобчинский.

Добчинский. Помещик Петр Иванов сын Добчинский.

Хлестаков. А, да я уж вас видел. Вы, кажется, тогда упали? Что, как ваш нос?

Бобчинский. Слава богу! не извольте беспокоиться: присох, теперь совсем присох.

Хлестаков. Хорошо, что присох. Я рад... *(Вдруг и отрывисто.)* Денег нет у вас?

Бобчинский. Денег? как денег?

Хлестаков *(громко и скоро)*. Взаймы рублей тысячу.

Бобчинский. Такой суммы, ей-богу, нет. А нет ли у вас, Петр Иванович?

Добчинский. При мне-с не имеется, потому что деньги мои, если изволите знать, положены в приказ общественного призрения.

Хлестаков. Да, ну если тысячи нет, так рублей сто.

Бобчинский *(шаря в карманах)*. У вас, Петр Иванович, нет ста рублей? У меня всего сорок ассигнациями.

Добчинский *(смотря в бумажник)*. Двадцать пять рублей всего.

Бобчинский. Да вы поищите-то получше, Петр Иванович! У вас там, я знаю, в кармане-то с правой стороны прореха, так в прореху-то, верно, как-нибудь запали.

Добчинский. Нет, право, и в прорехе нет.

Хлестаков. Ну, все равно. Я ведь только так. Хорошо, пусть будет шестьдесят пять рублей. Это все равно. *(Принимает деньги.)*

Добчинский. Я осмеливаюсь попросить вас относительно одного очень тонкого обстоятельства.

Хлестаков. А что это?

Добчинский. Дело очень тонкого свойства-с: старший-то сын мой, изволите видеть, рожден мною еще до брака.

Хлестаков. Да?

Добчинский. То есть оно так только говорится, а он рожден мною так совершенно, как бы и в браке, и все это, как следует, я завершил потом законными-с узами супружества-с. Так я, изволите видеть, хочу, чтоб он теперь уже был совсем, то есть, законным моим сыном-с и назывался бы так, как я: Добчинский-с.

Хлестаков. Хорошо, пусть называется! Это можно.

Добчинский. Я бы и не беспокоил вас, да жаль насчет способностей. Мальчишка-то этакой... большие надежды подает: наизусть стихи разные расскажет и, если где попадет ножик, сейчас сделает маленькие дрожечки так искусно, как фокусник-с. Вот и Петр Иванович знает.

Бобчинский. Да, большие способности имеет.

Хлестаков. Хорошо, хорошо! Я об этом постараюсь, я буду говорить... я надеюсь... все это будет сделано, да, да... *(Обращаясь к Бобчинскому.)* Не имеете ли и вы чего-нибудь сказать мне?

Бобчинский. Как же, имею очень нижайшую просьбу.

Хлестаков. А что, о чем?

Бобчинский. Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным: сенаторам и адмиралам, что вот, ваше сиятельство или превосходительство, живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. Так и скажите: живет Петр Иванович Бобчинский.

Хлестаков. Очень хорошо.

Бобчинский. Да если этак и государю придется, то скажите и государю, что вот, мол, ваше императорское величество, в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский.

Хлестаков. Очень хорошо.

Добчинский. Извините, что так утрудили вас своим присутствием.

Бобчинский. Извините, что так утрудили вас своим присутствием.

Хлестаков. Ничего, ничего! Мне очень приятно. *(Выпроваживает их.)*

## ЯВЛЕНИЕ VIII

Хлестаков один.

Здесь много чиновников. Мне кажется, однако ж, они меня принимают за государственного человека. Верно, я вчера им подпустил пыли. Экое дурачье! Напишу-ка я обо всем в Петербург к Тряпичкину: он пописывает статейки — пусть-ка он их общелкает хорошенько. Эй, Осип, подай мне бумагу и чернила!

Осип выглянул из дверей, произнесши: «Сейчас».

А уж Тряпичкину, точно, если кто попадет на зубок, берегись: отца родного не пощадит для словца, и деньгу тоже любит. Впрочем, чиновники эти добрые люди; это с их стороны хорошая черта, что они мне дали взаймы. Пересмотрю нарочно, сколько у меня денег. Это от судьи триста; это от почтмейстера триста, шестьсот, семьсот, восемьсот... Какая замасленная бумажка! Восемьсот, девятьсот... Ого! за тысячу перевалило... Ну-ка, теперь, капитан, ну-ка, попадись-ка ты мне теперь! Посмотрим, кто кого!

## ЯВЛЕНИЕ IX

Хлестаков и Осип с чернилами и бумагою.

Хлестаков. Ну что, видишь, дурак, как меня угощают и принимают? *(Начинает писать.)*

Осип. Да, слава богу! Только знаете что, Иван Александрович?

Хлестаков *(пишет)*. А что?

Осип. Уезжайте отсюда. Ей-богу, уже пора.

Хлестаков *(пишет)*. Вот вздор! Зачем?

Осип. Да так. Бог с ними со всеми! Погуляли здесь два денька — ну и довольно. Что с ними долго связываться? Плюньте на них! не ровен час, какой-нибудь другой наедет... ей-богу, Иван Александрович! А лошади тут славные — так бы закатили!..

Хлестаков *(пишет)*. Нет, мне еще хочется пожить здесь. Пусть завтра.

Осип. Да что завтра! Ей-богу, поедем, Иван Александрович! Оно хоть и большая честь вам, да все, знаете, лучше уехать скорее: ведь вас, право, за кого-то другого приняли... И батюшка будет гневаться, что так замешкались. Так бы, право, закатили славно! А лошадей бы важных здесь дали.

Хлестаков *(пишет)*. Ну, хорошо. Отнеси только наперед это письмо; пожалуй, вместе и подорожную возьми. Да зато, смотри, чтоб лошади хорошие были! Ямщикам скажи, что я буду давать по целковому: чтобы так, как фельдъегеря, катили и песни бы пели!.. *(Продолжает писать.)* Воображаю, Тряпичкин умрет со смеху...

Осип. Я, сударь, отправлю его с человеком здешним, а сам лучше буду укладываться, чтоб не прошло понапрасну время.

Хлестаков *(пишет)*. Хорошо. Принеси только свечу.

Осип *(выходит и говорит за сценой)*. Эй, послушай, брат! Отнесешь письмо на почту, и скажи почтмейстеру, чтоб он принял без денег; да скажи, чтоб сейчас привели к барину самую лучшую тройку, курьерскую; а прогону, скажи, барин не плотит: про-

гон, мол, скажи, казенный. Да чтоб все живее, а не то, мол, барин сердится. Стой, еще письмо не готово.

Хлестаков *(продолжает писать)*. Любопытно знать, где он теперь живет — в Почтамтской или Гороховой? Он ведь тоже любит часто переезжать с квартиры и недоплачивать. Напишу наудалую в Почтамтскую. *(Свертывает и надписывает.)*

Осип приносит свечу. Хлестаков печатает. В это время слышен голос Держиморды: «Куда лезешь, борода? Говорят тебе, никого не велено пускать».

*(Дает Осипу письмо.)* На, отнеси.

Голоса купцов. Допустите, батюшка! Вы не можете не допустить: мы за делом пришли.

Голос Держиморды. Пошел, пошел! Не принимает, спит.

Шум увеличивается.

Хлестаков. Что там такое, Осип? Посмотри, что за шум.

Осип *(глядя в окно)*. Купцы какие-то хотят войти, да не допускает квартальный. Машут бумагами: верно, вас хотят видеть.

Хлестаков *(подходя к окну)*. А что вы, любезные?

Голоса купцов. К твоей милости прибегаем. Прикажи, государь, просьбу принять.

Хлестаков. Впустите их, впустите! Пусть идут. Осип, скажи им: пусть идут.

Осип уходит.

*(Принимает из окна просьбы, развертывает одну из них и читает.)* «Его высокоблагородному светлости господину финансову от купца Абдулина...» Черт знает что: и чина такого нет!

## ЯВЛЕНИЕ X

Хлестаков и купцы с кузовом вина и сахарными головами.

Хлестаков. А что вы, любезные?

Купцы. Челом бьем вашей милости!

Хлестаков. А что вам угодно?

Купцы. Не погуби, государь! Обижательство терпим совсем понапрасну.

Хлестаков. От кого?

Один из купцов. Да всё от городничего здешнего. Такого городничего никогда еще, государь, не было. Такие обиды чинит, что описать нельзя. Постоем совсем заморил, хоть в петлю поле-

зай. Не по поступкам поступает... Схватит за бороду, говорит: «Ах ты, татарин!» Ей-богу! Если бы, то есть, чем-нибудь не уважили его, а то мы уж порядок всегда исполняем: что следует на платья супружнице его и дочке — мы против этого не стоим. Нет, вишь ты, ему всего этого мало — ей-ей! Придет в лавку и, что ни попадет, все берет. Сукна увидит штуку, говорит: «Э, милый, это хорошее суконце: снеси-ка его ко мне». Ну и несешь, а в штуке-то будет без мала аршин пятьдесят.

Хлестаков. Неужели? Ах, какой же он мошенник!

Купцы. Ей-богу! такого никто не запомнит городничего. Так все и припрятываешь в лавке, когда его завидишь. То есть, не то уж говоря, чтоб какую деликатность, всякую дрянь берет: чернослив такой, что лет уже по семи лежит в бочке, что у меня сиделец не будет есть, а он целую горсть туда запустит. Именины его бывают на Антона, и уж, кажись, всего нанесешь, ни в чем не нуждается; нет, ему еще подавай: говорит, и на Онуфрия его именины. Что делать? и на Онуфрия несешь.

Хлестаков. Да это просто разбойник!

Купцы. Ей-ей! А попробуй прекословить, наведет к тебе в дом целый полк на постой. А если что, велит запереть двери. «Я тебя, говорит, не буду, говорит, подвергать телесному наказанию или пыткой пытать — это, говорит, запрещено законом, а вот ты у меня, любезный, поешь селедки!»

Хлестаков. Ах, какой мошенник! Да за это просто в Сибирь.

Купцы. Да уж куда милость твоя ни запровадит его, все будет хорошо, лишь бы, то есть, от нас подальше. Не побрезгай, отец наш, хлебом и солью: кланяемся тебе сахарцом и кузовком вина.

Хлестаков. Нет, вы этого не думайте: я не беру совсем никаких взяток. Вот если бы вы, например, предложили мне взаймы рублей триста — ну, тогда совсем дело другое: взаймы я могу взять.

Купцы. Изволь, отец наш! *(Вынимают деньги.)* Да что триста! Уж лучше пятьсот возьми, помоги только.

Хлестаков. Извольте: взаймы — я ни слова, я возьму.

Купцы *(подносят ему на серебряном подносе деньги)*. Уж, пожалуйста, и подносик вместе возьмите.

Хлестаков. Ну, и подносик можно.

Купцы *(кланяясь)*. Так уж возьмите за одним разом и сахарцу.

Хлестаков. О нет, я взяток никаких...

Осип. Ваше высокоблагородие! зачем вы не берете? Возьмите! в дороге все пригодится. Давай сюда головы и кулек! Подавай все! все пойдет впрок. Что там? веревочка? Давай и веревочку,—

и веревочка в дороге пригодится: тележка обломается или что другое, подвязать можно.

Купцы. Так уж сделайте такую милость, ваше сиятельство. Если уже вы, то есть, не поможете в нашей просьбе, то уж не знаем, как и быть: просто хоть в петлю полезай.

Хлестаков. Непременно, непременно! Я постараюсь.

Купцы уходят. Слышен голос женщины. «Нет, ты не смеешь не допустить меня! Я на тебя нажалуюсь ему самому. Ты не толкайся так больно!»

Кто там? *(Подходит к окну.)* А, что ты, матушка?

Голоса двух женщин. Милости твоей, отец, прошу! Повели, государь, выслушать!

Хлестаков *(в окно)*. Пропустить ее.

## ЯВЛЕНИЕ XI

Хлестаков, слесарша и унтер-офицерша.

Слесарша *(кланяясь в ноги)*. Милости прошу...

Унтер-офицерша. Милости прошу...

Хлестаков. Да что вы за женщины?

Унтер-офицерша. Унтер-офицерская жена Иванова.

Слесарша. Слесарша, здешняя мещанка, Февронья Петрова Пошлепкина, отец мой...

Хлестаков. Стой, говори прежде одна. Что тебе нужно?

Слесарша. Милости прошу: на городничего челом бью! Пошли ему бог всякое зло! Чтоб ни детям его, ни ему, мошеннику, ни дядьям, ни теткам его ни в чем никакого прибытку не было!

Хлестаков. А что?

Слесарша. Да мужу-то моему приказал забрить лоб в солдаты, и очередь-то на нас не припадала, мошенник такой! да и по закону нельзя: он женатый.

Хлестаков. Как же он мог это сделать?

Слесарша. Сделал мошенник, сделал — побей бог его и на том и на этом свете! Чтобы ему, если и тетка есть, то и тетке всякая пакость, и отец если жив у него, то чтоб и он, каналья, околел или поперхнулся навеки, мошенник такой! Следовало взять сына портного, он же и пьянюшка был, да родители богатый подарок дали, так он и присыкнулся к сыну купчихи Пантелеевой, а Пантелеева тоже подослала к супруге полотна три штуки; так он ко мне. «На что, говорит, тебе муж? он уж тебе не годится». Да я-то знаю — годится или не годится; это мое дело, мошенник такой! «Он, говорит, вор; хоть он теперь и не украл, да все равно, говорит, он украдет, его и без того на следующий год возьмут в рекру-

ты». Да мне-то каково без мужа, мошенник такой! Я слабый человек, подлец ты такой! Чтоб всей родне твоей не довелось видеть света божьего! А если есть теща, то чтоб и теще...

Хлестаков. Хорошо, хорошо. Ну, а ты? *(Выпровожает старуху.)*

Слесарша *(уходя)*. Не позабудь, отец наш! будь милостив!

Унтер-офицерша. На городничего, батюшка, пришла...

Хлестаков. Ну, да что, зачем? говори в коротких словах.

Унтер-офицерша. Высек, батюшка!

Хлестаков. Как?

Унтер-офицерша. По ошибке, отец мой! Бабы-то наши задрались на рынке, а полиция не подоспела, да и схвати меня. Да так отрапортовали: два дни сидеть не могла.

Хлестаков. Так что ж теперь делать?

Унтер-офицерша. Да делать-то, конечно, нечего. А за ошибку-то повели ему заплатить штрафт. Мне от своего счастья неча отказываться, а деньги бы мне теперь очень пригодились.

Хлестаков. Хорошо, хорошо. Ступайте, ступайте! я распоряжусь.

В окно высовываются руки с просьбами.

Да кто там еще? *(Подходит к окну.)* Не хочу, не хочу! Не нужно, не нужно! *(Отходя.)* Надоели, черт возьми! Не впускай, Осип!

Осип *(кричит в окно)*. Пошли, пошли! Не время, завтра приходите!

Дверь отворяется, и выставляется какая-то фигура во фризовой шинели, с небритою бородою, раздутою губою и перевязанною щекою; за нею в перспективе показывается несколько других.

Пошел, пошел! чего лезешь? *(Упирается первому руками в брюхо и выпирается вместе с ним в прихожую, захлопнув за собою дверь.)*

## ЯВЛЕНИЕ XII

Хлестаков и Марья Антоновна.

Марья Антоновна. Ах!

Хлестаков. Отчего вы так испугались, сударыня?

Марья Антоновна. Нет, я не испугалась.

Хлестаков *(рисуется)*. Помилуйте, сударыня, мне очень приятно, что вы меня приняли за такого человека, который... Осмелюсь ли спросить вас: куда вы намерены были идти?

Марья Антоновна. Право, я никуда не шла.

Хлестаков. Отчего же, например, вы никуда не шли?

Марья Антоновна. Я думала, не здесь ли маменька...

Хлестаков. Нет, мне хотелось бы знать, отчего вы никуда не шли?

Марья Антоновна. Я вам помешала. Вы занимались важными делами.

Хлестаков *(рисуется)*. А ваши глаза лучше, нежели важные дела... Вы никак не можете мне помешать, никаким образом не можете; напротив того, вы можете принесть удовольствие.

Марья Антоновна. Вы говорите по-столичному.

Хлестаков. Для такой прекрасной особы, как вы. Осмелюсь ли быть так счастлив, чтобы предложить вам стул? Но нет, вам должно не стул, а трон.

Марья Антоновна. Право, я не знаю... мне так нужно было идти. *(Села.)*

Хлестаков. Какой у вас прекрасный платочек!

Марья Антоновна. Вы насмешники, лишь бы только посмеяться над провинциальными.

Хлестаков. Как бы я желал, сударыня, быть вашим платочком, чтобы обнимать вашу лилейную шейку.

Марья Антоновна. Я совсем не понимаю, о чем вы говорите: какой-то платочек... Сегодня какая странная погода!

Хлестаков. А ваши губки, сударыня, лучше, нежели всякая погода.

Марья Антоновна. Вы всё эдакое говорите... Я бы вас попросила, чтоб вы мне написали лучше на память какие-нибудь стишки в альбом. Вы, верно, их знаете много.

Хлестаков. Для вас, сударыня, все что хотите. Требуйте, какие стихи вам?

Марья Антоновна. Какие-нибудь эдакие — хорошие, новые.

Хлестаков. Да что стихи! я много их знаю.

Марья Антоновна. Ну, скажите же, какие же вы мне напишете?

Хлестаков. Да к чему же говорить? я и без того их знаю.

Марья Антоновна. Я очень люблю их...

Хлестаков. Да у меня много их всяких. Ну, пожалуй, я вам хоть это: «О ты, что в горести напрасно на бога ропщешь, человек!..» Ну и другие... теперь не могу припомнить; впрочем, это все ничего. Я вам лучше вместо этого представлю мою любовь, которая от вашего взгляда... *(Придвигая стул.)*

Марья Антоновна. Любовь! Я не понимаю любовь... я никогда и не знала, что за любовь... *(Отдвигает стул.)*

Хлестаков *(придвигая стул)*. Отчего ж вы отдвигаете свой стул? Нам лучше будет сидеть близко друг к другу.

Марья Антоновна *(отдвигаясь)*. Для чего ж близко? все равно и далеко.

Хлестаков *(придвигаясь)*. Отчего ж далеко? все равно и близко.

Марья Антоновна *(отдвигается)*. Да к чему ж это?

Хлестаков *(придвигаясь)*. Да ведь это вам кажется только, что близко; а вы вообразите себе, что далеко. Как бы я был счастлив, сударыня, если б мог прижать вас в свои объятия.

Марья Антоновна *(смотрит в окно)*. Что это там как будто полетело? Сорока или какая другая птица?

Хлестаков *(целует ее в плечо и смотрит в окно)*. Это сорока.

Марья Антоновна *(встает в негодовании)*. Нет, это уж слишком... Наглость такая!..

Хлестаков *(удерживая ее)*. Простите, сударыня: я это сделал от любви, точно от любви.

Марья Антоновна. Вы почитаете меня за такую провинциалку... *(Силится уйти.)*

Хлестаков *(продолжая удерживать ее)*. Из любви, право, из любви. Я так только, пошутил, Марья Антоновна, не сердитесь! Я готов на коленках у вас просить прощения. *(Падает на колени.)* Простите же, простите! Вы видите, я на коленях.

## ЯВЛЕНИЕ XIII

Те же и Анна Андреевна.

Анна Андреевна *(увидев Хлестакова на коленях)*. Ах, какой пассаж!

Хлестаков *(вставая)*. А, черт возьми!

Анна Андреевна *(дочери)*. Это что значит, сударыня? Это что за поступки такие?

Марья Антоновна. Я, маменька...

Анна Андреевна. Поди прочь отсюда! слышишь: прочь, прочь! И не смей показываться на глаза.

Марья Антоновна уходит в слезах.

Извините, я, признаюсь, приведена в такое изумление...

Хлестаков *(в сторону)*. А она тоже очень аппетитна, очень недурна. *(Бросается на колени.)* Сударыня, вы видите, я сгораю от любви.

Анна Андреевна. Как, вы на коленях? Ах, встаньте, встаньте! здесь пол совсем нечист.

Хлестаков. Нет, на коленях, непременно на коленях! Я хочу знать, что такое мне суждено: жизнь или смерть.

Анна Андреевна. Но позвольте, я еще не понимаю вполне значения слов. Если не ошибаюсь, вы делаете декларацию насчет моей дочери?

Хлестаков. Нет, я влюблен в вас. Жизнь моя на волоске. Если вы не увенчаете постоянную любовь мою, то я недостоин земного существования. С пламенем в груди прошу руки вашей.

Анна Андреевна. Но позвольте заметить: я в некотором роде... я замужем.

Хлестаков. Это ничего! Для любви нет различия; и Карамзин сказал: «Законы осуждают». Мы удалимся под сень струй... Руки вашей, руки прошу!

### ЯВЛЕНИЕ XIV

Те же и Марья Антоновна, вдруг вбегает.

Марья Антоновна. Маменька, папенька сказал, чтобы вы... *(Увидя Хлестакова на коленях, вскрикивает.)* Ах, какой пассаж!

Анна Андреевна. Ну что ты? к чему? зачем? Что за ветреность такая! Вдруг вбежала, как угорелая кошка. Ну что ты нашла такого удивительного? Ну что тебе вздумалось? Право, как дитя какое-нибудь трехлетнее. Не похоже, не похоже, совершенно не похоже на то, чтобы ей было восемнадцать лет. Я не знаю, когда ты будешь благоразумнее, когда ты будешь вести себя, как прилично благовоспитанной девице; когда ты будешь знать, что такое хорошие правила и солидность в поступках.

Марья Антоновна *(сквозь слезы)*. Я, право, маменька, не знала...

Анна Андреевна. У тебя вечно какой-то сквозной ветер разгуливает в голове; ты берешь пример с дочерей Ляпкина-Тяпкина. Что тебе глядеть на них? не нужно тебе глядеть на них. Тебе есть примеры другие — перед тобою мать твоя. Вот каким примерам ты должна следовать.

Хлестаков *(схватывая за руку дочь)*. Анна Андреевна, не противьтесь нашему благополучию, благословите постоянную любовь!

Анна Андреевна *(с изумлением)*. Так вы в нее?..

Хлестаков. Решите: жизнь или смерть?

Анна Андреевна. Ну вот видишь, дура, ну вот видишь: из-за тебя, этакой дряни, гость изволил стоять на коленях; а ты вдруг вбежала как сумасшедшая. Ну вот, право, стóит, чтобы я царочно отказала: ты недостойна такого счастия.

Марья Антоновна. Не буду, маменька. Право, вперед не буду.

### ЯВЛЕНИЕ XV

Те же и городничий впопыхах.

Городничий. Ваше превосходительство! не погубите! не погубите!

Хлестаков. Что с вами?

Городничий. Там купцы жаловались вашему превосходительству. Честью уверяю, и наполовину нет того, что они говорят. Они сами обманывают и обмеривают народ. Унтер-офицерша налгала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей-богу врет. Она сама себя высекла.

Хлестаков. Провались унтер-офицерша — мне не до нее!

Городничий. Не верьте, не верьте! Это такие лгуны... им вот эдакой ребенок не поверит. Они уж и по всему городу известны за лгунов. А насчет мошенничества, осмелюсь доложить: это такие мошенники, каких свет не производил.

Анна Андреевна. Знаешь ли ты, какой чести удостоивает нас Иван Александрович? Он просит руки нашей дочери.

Городничий. Куда! куда!.. Рехнулась, матушка! Не извольте гневаться, ваше превосходительство: она немного с придурью, такова же была и мать ее.

Хлестаков. Да, я точно прошу руки. Я влюблен.

Городничий. Не могу верить, ваше превосходительство!

Анна Андреевна. Да когда говорят тебе?

Хлестаков. Я не шутя вам говорю... Я могу от любви свихнуть с ума.

Городничий. Не смею верить, недостоин такой чести.

Хлестаков. Да, если вы не согласитесь отдать руки Марьи Антоновны, то я черт знает что готов...

Городничий. Не могу верить: изволите шутить, ваше превосходительство!

Анна Андреевна. Ах, какой чурбан в самом деле! Ну, когда тебе толкуют?

Городничий. Не могу верить.

Хлестаков. Отдайте, отдайте! Я отчаянный человек, я решусь на все: когда застрелюсь, вас под суд отдадут.

Городничий. Ах, боже мой! Я, ей-ей, не виноват ни душою, ни телом. Не извольте гневаться! Извольте поступать так, как вашей милости угодно! У меня, право, в голове теперь... я и сам не знаю, что делается. Такой дурак теперь сделался, каким еще никогда не бывал.

Анна Андреевна. Ну, благословляй!

Хлестаков подходит с Марьей Антоновной.

Городничий. Да благословит вас бог, а я не виноват.

Хлестаков целуется с Марьей Антоновной. Городничий смотрит на них.

Что за черт! в самом деле! *(Протирает глаза.)* Целуются! Ах, батюшки, целуются! Точный жених! *(Вскрикивает, подпрыгивая от радости.)* Ай, Антон! Ай, Антон! Ай, городничий! Вона, как дело-то пошло!

## ЯВЛЕНИЕ XVI

Те же и Осип.

Осип. Лошади готовы.

Хлестаков. А, хорошо... я сейчас.

Городничий. Как-с? Изволите ехать?

Хлестаков. Да, еду.

Городничий. А когда же, то есть... вы изволили сами намекнуть насчет, кажется, свадьбы?

Хлестаков. А это... На одну минуту только... на один день к дяде — богатый старик; а завтра же и назад.

Городничий. Не смеем никак удерживать, в надежде благополучного возвращения.

Хлестаков. Как же, как же, я вдруг. Прощайте, любовь моя... нет, просто не могу выразить! Прощайте, душенька! *(Целует ее ручку.)*

Городничий. Да не нужно ли вам в дорогу чего-нибудь? Вы изволили, кажется, нуждаться в деньгах?

Хлестаков. О нет, к чему это? *(Немного подумав.)* А впрочем, пожалуй.

Городничий. Сколько угодно вам?

Хлестаков. Да вот тогда вы дали двести, то есть не двести, а четыреста,— я не хочу воспользоваться вашею ошибкою,— так, пожалуй, и теперь столько же, чтобы уже ровно было восемьсот.

Городничий. Сейчас! *(Вынимает из бумажника.)* Еще, как нарочно, самыми новенькими бумажками.

Хлестаков. А, да! *(Берет и рассматривает ассигнации.)* Это хорошо. Ведь это, говорят, новое счастье, когда новенькими бумажками.

Городничий. Так точно-с.

Хлестаков. Прощайте, Антон Антонович! Очень обязан за ваше гостеприимство. Я признаюсь от всего сердца: мне нигде не было такого хорошего приема. Прощайте, Анна Андреевна! Прощайте, моя душенька Марья Антоновна!

Выходят.

За сценой

Голос Хлестакова. Прощайте, ангел души моей Марья Антоновна!

Голос городничего. Как же это вы? прямо так на перекладной и едете?

Голос Хлестакова. Да, я привык уж так. У меня голова болит от рессор.

Голос ямщика. Тпр...

Голос городничего. Так, по крайней мере, чем-нибудь застлать, хотя бы ковриком. Не прикажете ли, я велю подать коврик?

Голос Хлестакова. Нет, зачем? это пустое; а впрочем, пожалуй, пусть дают коврик.

Голос городничего. Эй, Авдотья! ступай в кладовую, вынь ковер самый лучший — что по голубому полю, персидский. Скорей!

Голос ямщика. Тпр...

Голос городничего. Когда же прикажете ожидать вас?

Голос Хлестакова. Завтра или послезавтра.

Голос Осипа. А, это ковер? давай его сюда, клади вот так! Теперь давай-ка с этой стороны сена.

Голос ямщика. Тпр...

Голос Осипа. Вот с этой стороны! сюда! еще! хорошо. Славно будет! *(Бьет рукою по ковру.)* Теперь садитесь, ваше благородие!

Голос Хлестакова. Прощайте, Антон Антонович!

Голос городничего. Прощайте, ваше превосходительство!

Женские голоса. Прощайте, Иван Александрович!

Голос Хлестакова. Прощайте, маменька!

Голос ямщика. Эй вы, залетные!

Колокольчик звенит. Занавес опускается.

## ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

Та же комната.

### ЯВЛЕНИЕ I

Городничий, Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Городничий. Что, Анна Андреевна? а? Думала ли ты что-нибудь об этом? Экой богатый приз, канальство! Ну, признайся откровенно: тебе и во сне не виделось — просто из какой-нибудь городничихи и вдруг... фу-ты, канальство!.. с каким дьяволом породнилась!

Анна Андреевна. Совсем нет; я давно это знала. Это тебе в диковинку, потому что ты простой человек, никогда не видел порядочных людей.

Городничий. Я сам, матушка, порядочный человек. Однако ж, право, как подумаешь, Анна Андреевна, какие мы с тобой теперь птицы сделались! а, Анна Андреевна? Высокого полета, черт побери! Постой же, теперь же я задам перцу всем этим охотникам подавать просьбы и доносы. Эй, кто там?

Входит квартальный.

А, это ты, Иван Карпович! Призови-ка сюда, брат, купцов. Вот я их, каналий! Так жаловаться на меня? Вишь ты, проклятый иудейский народ! Постойте ж, голубчики! Прежде я вас кормил до усов только, а теперь накормлю до бороды. Запиши всех, кто только ходил бить челом на меня, и вот этих больше всего писак, писак, которые закручивали им просьбы. Да объяви всем, чтоб знали: что вот, дискать, какую честь бог послал городничему,— что выдает дочь свою не то чтобы за какого-нибудь простого человека, а за такого, что и на свете еще не было, что может все сделать, все, все, все! Всем объяви, чтобы все знали. Кричи во весь народ, валяй в колокола, черт возьми! Уж когда торжество, так торжество!

Квартальный уходит.

Так вот как, Анна Андреевна, а? Как же мы теперь, где будем жить? здесь или в Питере?

Анна Андреевна. Натурально, в Петербурге. Как можно здесь оставаться!

Городничий. Ну, в Питере так в Питере; а оно хорошо бы и здесь. Что, ведь, я думаю, уже городничество тогда к черту, а, Анна Андреевна?

Анна Андреевна. Натурально, что за городничество!

Городничий. Ведь оно, как ты думаешь, Анна Андреевна, теперь можно большой чин зашибить, потому что он запанибрата со всеми министрами и во дворец ездит, так поэтому может такое производство сделать, что со временем и в генералы влезешь. Как ты думаешь, Анна Андреевна: можно влезть в генералы?

Анна Андреевна. Еще бы! конечно, можно.

Городничий. А, черт возьми, славно быть генералом! Кавалерию повесят тебе через плечо. А какую кавалерию лучше, Анна Андреевна, красную или голубую?

Анна Андреевна. Уж конечно, голубую лучше.

Городничий. Э? вишь, чего захотела! хорошо и красную. Ведь почему хочется быть генералом?— потому что, случится, поедешь куда-нибудь — фельдъегеря и адъютанты поскачут везде вперед: «Лошадей!» И там на станциях никому не дадут, все дожидается: все эти титулярные, капитаны, городничие, а ты себе и в ус не дуешь. Обедаешь где-нибудь у губернатора, а там — стой, городничий! Хе, хе, хе! *(Заливается и помирает со смеху.)* Вот что, канальство, заманчиво!

Анна Андреевна. Тебе все такое грубое нравится. Ты должен помнить, что жизнь нужно совсем переменить, что твои знакомые будут не то что какой-нибудь судья-собачник, с которым ты ездишь травить зайцев, или Земляника; напротив, знакомые твои будут с самым тонким обращением: графы и все светские... Только я, право, боюсь за тебя: ты иногда вымолвишь такое словцо, какого в хорошем обществе никогда не услышишь.

Городничий. Что ж? ведь слово не вредит.

Анна Андреевна. Да хорошо, когда ты был городничим. А там ведь жизнь совершенно другая.

Городничий. Да, там, говорят, есть две рыбицы: ряпушка и корюшка, такие, что только слюнка потечет, как начнешь есть.

Анна Андреевна. Ему все бы только рыбки! Я не иначе хочу, чтоб наш дом был первый в столице и чтоб у меня в компате такое было амбре, чтоб нельзя было войти и нужно бы только этак зажмурить глаза. *(Зажмуривает глаза и нюхает.)* Ах, как хорошо!

### ЯВЛЕНИЕ II

Те же и купцы.

Городничий. А! Здорово, соколики!

Купцы *(кланяясь)*. Здравия желаем, батюшка!

Городничий. Что, голубчики, как поживаете? как товар идет ваш? Что, самоварники, аршинники, жаловаться? Архиплу-

ты, протобестии, надувалы мирские! жаловаться? Что, много взяли? Вот, думают, так в тюрьму его и засадят!.. Знаете ли вы, семь чертей и одна ведьма вам в зубы, что...

Анна Андреевна. Ах, боже мой, какие ты, Антоша, слова отпускаешь!

Городничий *(с неудовольствием)*. А, не до слов теперь! Знаете ли, что тот самый чиновник, которому вы жаловались, теперь женится на моей дочери? Что? а? что теперь скажете? Теперь я вас... у!.. обманываете народ... Сделаешь подряд с казною, на сто тысяч надуешь ее, поставивши гнилого сукна, да потом пожертвуешь двадцать аршин, да и давай тебе еще награду за это? Да если б знали, так бы тебе... И брюхо сует вперед: он купец; его не тронь. «Мы, говорит, и дворянам не уступим». Да дворянин... ах ты, рожа! — дворянин учится наукам: его хоть и секут в школе, да за дело, чтоб он знал полезное. А ты что? — начинаешь плутнями, тебя хозяин бьет за то, что не умеешь обманывать. Еще мальчишка, «Отче наша» не знаешь, а уж обмериваешь; а как разопрет тебе брюхо да набьешь себе карман, так и заважничал! Фу-ты, какая невидаль! Оттого, что ты шестнадцать самоваров выдуешь в день, так оттого и важничаешь? Да я плевать на твою голову и на твою важность!

Купцы *(кланяясь)*. Виноваты, Антон Антонович!

Городничий. Жаловаться? А кто тебе помог сплутовать, когда ты строил мост и написал дерева на двадцать тысяч, тогда как его и на сто рублей не было? Я помог тебе, козлиная борода! Ты позабыл это? Я, показавши это на тебя, мог бы тебя также спровадить в Сибирь. Что скажешь? а?

Один из купцов. Богу виноваты, Антон Антонович! Лукавый попутал. И закаемся вперед жаловаться. Уж какое хошь удовлетворение, не гневись только!

Городничий. Не гневись! Вот ты теперь валяешься у ног моих. Отчего? — оттого, что мое взяло; а будь хоть немпожко на твоей стороне, так ты бы меня, каналья, втоптал в самую грязь, еще бы и бревном сверху навалил.

Купцы *(кланяются в ноги)*. Не погуби, Антон Антонович.

Городничий. Не погуби! Теперь: не погуби! а прежде что? Я бы вас... *(Махнув рукой.)* Ну, да бог простит! полно! Я не памятозлобен; только теперь смотри держи ухо востро! Я выдаю дочку не за какого-нибудь простого дворянина: чтоб поздравление было... понимаешь? не то, чтоб отбояриться каким-нибудь балычком или головою сахару... Ну, ступай с богом!

Купцы уходят.

## ЯВЛЕНИЕ III

Те же, Аммос Федорович, Артемий Филиппович, потом Растаковский.

Аммос Федорович *(еще в дверях)*. Верить ли слухам, Антон Антонович? к вам привалило необыкновенное счастие?

Артемий Филиппович. Имею честь поздравить с необыкновенным счастием. Я душевно обрадовался, когда услышал. *(Подходит к ручке Анны Андреевны.)* Анна Андреевна! *(Подходя к ручке Марьи Антоновны.)* Марья Антоновна!

Растаковский *(входит)*. Антона Антоновича поздравляю. Да продлит бог жизнь вашу и новой четы и даст вам потомство многочисленное, внучат и правнучат! Анна Андреевна! *(Подходит к ручке Анны Андреевны.)* Марья Антоновна! *(Подходит к ручке Марьи Антоновны.)*

## ЯВЛЕНИЕ IV

Те же, Коробкин с женою, Люлюков.

Коробкин. Имею честь поздравить Антона Антоновича! Анна Андреевна! *(Подходит к ручке Анны Андреевны.)* Марья Антоновна! *(Подходит к ее ручке.)*

Жена Коробкина. Душевно поздравляю вас, Анна Андреевна, с новым счастием.

Люлюков. Имею честь поздравить, Анна Андреевна! *(Подходит к ручке и потом, обратившись к зрителям, щелкает языком с видом удальства.)* Марья Антоновна! Имею честь поздравить. *(Подходит к ее ручке и обращается к зрителям с тем же удальством.)*

## ЯВЛЕНИЕ V

Множество гостей в сюртуках и фраках подходят сначала к ручке Анны Андреевны, говоря: «Анна Андреевна!» — потом к Марье Антоновне, говоря: «Марья Антоновна!» Бобчинский и Добчинский проталкиваются.

Бобчинский. Имею честь поздравить!

Добчинский. Антон Антонович! имею честь поздравить!

Бобчинский. С благополучным происшествием!

Добчинский. Анна Андреевна!

Бобчинский. Анна Андреевна!

Оба подходят в одно время и сталкиваются лбами.

Добчинский. Марья Антоновна! *(Подходит к ручке.)* Честь имею поздравить. Вы будете в большом, большом счастии, в золотом платье ходить и деликатные разные супы кушать; очень забавно будете проводить время.

Бобчинский *(перебивая)*. Марья Антоновна, имею честь поздравить! Дай бог вам всякого богатства, червонцев и сынка-с этакого маленького, вон энтакого-с *(показывает рукою)*, чтоб можно было на ладонку посадить, да-с! Все будет мальчишка кричать: уа! уа! уа!..

### ЯВЛЕНИЕ VI

Еще несколько гостей, подходящих к ручкам, Лука Лукич с женою.

Лука Лукич. Имею честь.

Жена Луки Лукича *(бежит вперед)*. Поздравляю вас, Анна Андреевна!

Целуются.

А я так, право, обрадовалась. Говорят мне: «Анна Андреевна выдает дочку». «Ах, боже мой!» — думаю себе, и так обрадовалась, что говорю мужу: «Послушай, Луканчик, вот какое счастие Анне Андреевне!» «Ну,— думаю себе,— слава богу!» И говорю ему: «Я так восхищена, что сгораю нетерпением изъявить лично Анне Андреевне...» «Ах, боже мой! — думаю себе,— Анна Андреевна именно ожидала хорошей партии для своей дочери, а вот теперь такая судьба: именно так сделалось, как она хотела»,— и так, право, обрадовалась, что не могла говорить. Плачу, плачу, вот просто рыдаю. Уже Лука Лукич говорит: «Отчего ты, Настенька, рыдаешь?» — «Луканчик, говорю, я и сама не знаю, слезы так вот рекой и льются».

Городничий. Покорнейше прошу садиться, господа! Эй, Мишка, принеси сюда побольше стульев.

Гости садятся.

### ЯВЛЕНИЕ VII

Те же, частный пристав и квартальные.

Частный пристав. Имею честь поздравить вас, ваше высокоблагородие, и пожелать благоденствия на многие лета!

Городничий. Спасибо, спасибо! Прошу садиться, господа!

Гости усаживаются.

«Ревизор»

Худ. Ю. Коровин

Аммос Федорович. Но скажите, пожалуйста, Антон Антонович, каким образом все это началось, постепенный ход всего, то есть, дела.

Городничий. Ход дела чрезвычайный: изволил собственноличпо сделать предложение.

Анна Андреевна. Очень почтительным и самым тонким образом. Все чрезвычайно хорошо говорил. Говорит: «Я, Анна Андреевна, из одного только уважения к вашим достоинствам...» И такой прекрасный, воспитанный человек, самых благороднейших правил! «Мне, верите ли, Анна Андреевна, мне жизнь — копейка; я только потому, что уважаю ваши редкие качества».

Марья Антоновна. Ах, маменька! ведь это он мне говорил.

Анна Андреевна. Перестань, ты ничего не знаешь и не в свое дело не мешайся! «Я, Анна Андреевна, изумляюсь...» В таких лестных рассыпался словах... И когда я хотела сказать: «Мы никак не смеем надеяться на такую честь»,— он вдруг упал на колени и таким самым благороднейшим образом: «Анна Андреевна, не сделайте меня несчастнейшим! согласитесь отвечать моим чувствам, не то я смертью окончу жизнь свою».

Марья Антоновна. Право, маменька, он обо мне это говорил.

Анна Андреевна. Да, конечно... и об тебе было, я ничего этого не отвергаю.

Городничий. И так даже напугал: говорил, что застрелится. «Застрелюсь, застрелюсь!» — говорит.

Многие из гостей. Скажите пожалуйста!

Аммос Федорович. Экая штука!

Лука Лукич. Вот подлинно, судьба уж так вела.

Артемий Филиппович. Не судьба, батюшка, судьба — индейка: заслуги привели к тому. *(В сторону.)* Этакой свинье лезет всегда в рот счастье!

Аммос Федорович. Я, пожалуй, Антон Антонович, продам вам того кобелька, которого торговали.

Городничий. Нет, мне теперь не до кобельков.

Аммос Федорович. Ну, не хотите, на другой собаке сойдемся.

Жена Коробкина. Ах, как, Анна Андреевна, я рада вашему счастию! вы не можете себе представить.

Коробкин. Где ж теперь, позвольте узнать, находится именитый гость? Я слышал, что он уехал зачем-то.

Городничий. Да, он отправился на один день по весьма важному делу.

Анна Андреевна. К своему дяде, чтоб испросить благословения.

Городничий. Испросить благословения; но завтра же... *(Чихает.)*

Поздравления сливаются в один гул.

Много благодарен! Но завтра же и назад... *(Чихает.)*

Поздравительный гул, слышнее других голоса:

Частного пристава. Здравия желаем, ваше высокоблагородие!

Бобчинского. Сто лет и куль червонцев!

Добчинского. Продли бог на сорок сороков!

Артемия Филипповича. Чтоб ты пропал!

Жены Коробкина. Черт тебя побери!

Городничий. Покорнейше благодарю! И вам того ж желаю.

Анна Андреевна. Мы теперь в Петербурге намерены жить. А здесь, признаюсь, такой воздух... деревенский уж слишком!.. признаюсь, большая неприятность... Вот и муж мой... он там получит генеральский чин.

Городничий. Да, признаюсь, господа, я, черт возьми, очень хочу быть генералом.

Лука Лукич. И дай бог получить!

Растаковский. От человека невозможно, а от бога все возможно.

Аммос Федорович. Большому кораблю — большое плаванье.

Артемий Филиппович. По заслугам и честь.

Аммос Федорович *(в сторону)*. Вот выкинет штуку, когда в самом деле сделается генералом! Вот уж кому пристало генеральство, как корове седло! Ну, брат, нет, до этого еще далека песня. Тут и почище тебя есть, а до сих пор еще не генералы.

Артемий Филиппович *(в сторону)*. Эка, черт возьми, уж и в генералы лезет! Чего доброго, может, и будет генералом. Ведь у него важности, лукавый не взял бы его, довольно. *(Обращаясь к нему.)* Тогда, Антон Антонович, и нас не позабудьте.

Аммос Федорович. И если что случится, например какая-нибудь надобность по делам, не оставьте покровительством!

Коробкин. В следующем году повезу сынка в столицу на пользу государства, так сделайте милость, окажите ему вашу протекцию, место отца заступите сиротке.

Городничий. Я готов с своей стороны, готов стараться.

Анна Андреевна. Ты, Антоша, всегда готов обещать.

Во-первых, тебе не будет времени думать об этом. И как можно и с какой стати себя обременять этакими обещаниями?

Городничий. Почему ж, душа моя? иногда можно.

Анна Андреевна. Можно, конечно, да ведь не всякой же мелюзге оказывать покровительство.

Жена Коробкина. Вы слышали, как она трактует нас?

Гостья. Да, она такова всегда была; я ее знаю: посади ее за стол, она и ноги свои...

## ЯВЛЕНИЕ VIII

Те же и почтмейстер, впопыхах, с распечатанным письмом в руке.

Почтмейстер. Удивительное дело, господа! Чиновник, которого мы приняли за ревизора, был не ревизор.

Все. Как не ревизор?

Почтмейстер. Совсем не ревизор,— я узнал это из письма...

Городничий. Что вы? что вы? из какого письма?

Почтмейстер. Да из собственного его письма. Приносят ко мне на почту письмо. Взглянул на адрес — вижу: «в Почтамтскую улицу». Я так и обомлел. «Ну,— думаю себе,— верно, нашел беспорядки по почтовой части и уведомляет начальство». Взял да и распечатал.

Городничий. Как же вы?..

Почтмейстер. Сам не знаю, неестественная сила побудила. Призвал было уже курьера, с тем чтобы отправить его с эштафетой,— но любопытство такое одолело, какого еще никогда не чувствовал. Не могу, не могу! слышу, что не могу! тянет, так вот и тянет! В одном ухе так вот и слышу: «Эй, не распечатывай! пропадешь, как курица»; а в другом словно бес какой шепчет: «Распечатай, распечатай, распечатай!» И как придавил сургуч — по жилам огонь, а распечатал — мороз, ей-богу, мороз. И руки дрожат, и все помутилось.

Городничий. Да как же вы осмелились распечатать письмо такой уполномоченной особы?

Почтмейстер. В том-то и штука, что он не уполномоченный и не особа!

Городничий. Что ж он, по-вашему, такое?

Почтмейстер. Ни се ни то; черт знает что такое!

Городничий *(запальчиво)*. Как ни се ни то? Как вы смеете назвать его ни тем ни сем, да еще и черт знает чем? Я вас под арест...

Почтмейстер. Кто? Вы?

Городничий. Да, я!

Почтмейстер. Коротки руки!

Городничий. Знаете ли, что он женится на моей дочери, что я сам буду вельможа, что я в самую Сибирь законопачу?

Почтмейстер. Эх, Антон Антонович! что Сибирь? далеко Сибирь. Вот лучше я вам прочту. Господа! позвольте прочитать письмо!

Все. Читайте, читайте!

Почтмейстер *(читает)*. «Спешу уведомить тебя, душа Тряпичкин, какие со мной чудеса. На дороге обчистил меня кругом пехотный капитан, так что трактирщик хотел уже было посадить в тюрьму; как вдруг, по моей петербургской физиономии и по костюму, весь город принял меня за генерал-губернатора. И я теперь живу у городничего, жуирую, волочусь напропалую за его женой и дочкой; не решился только, с которой начать,— думаю, прежде с матушки, потому что, кажется, готова сейчас на все услуги. Помнишь, как мы с тобой бедствовали, обедали на шерамыжку и как один раз было кондитер схватил меня за воротник по поводу съеденных пирожков на счет доходов аглицкого короля? Теперь совсем другой оборот. Все мне дают взаймы сколько угодно. Оригиналы страшные. От смеху ты бы умер. Ты, я знаю, пишешь статейки: помести их в свою литературу. Во-первых, городничий — глуп, как сивый мерин...»

Городничий. Не может быть! Там нет этого.

Почтмейстер *(показывает письмо)*. Читайте сами.

Городничий *(читает)*. «Как сивый мерин». Не может быть! вы это сами написали.

Почтмейстер. Как же бы я стал писать?

Артемий Филиппович. Читайте!

Лука Лукич. Читайте!

Почтмейстер *(продолжая читать)*. «Городничий — глуп, как сивый мерин...»

Городничий. О, черт возьми! нужно еще повторять! как будто оно там и без того не стоит.

Почтмейстер *(продолжая читать)*. Хм... хм... хм... хм... «сивый мерин. Почтмейстер тоже добрый человек...» *(Оставляя читать.)* Ну, тут обо мне тоже он неприлично выразился.

Городничий. Нет, читайте!

Почтмейстер. Да к чему ж?..

Городничий. Нет, черт возьми, когда уж читать, так читать! Читайте всё!

Артемий Филиппович. Позвольте, я прочитаю. *(Надевает очки и читает.)* «Почтмейстер точь-в-точь департаментский сторож Михеев; должно быть, также, подлец, пьет горькую».

Почтмейстер *(к зрителям)*. Ну, скверный мальчишка, которого надо высечь; больше ничего!

Артемий Филиппович *(продолжая читать)*. «Надзиратель над богоугодным заведе... и... и... и...» *(Заикается.)*

Коробкин. А что ж вы остановились?

Артемий Филиппович. Да нечеткое перо... впрочем, видно, что негодяй.

Коробкин. Дайте мне! Вот у меня, я думаю, получше глаза. *(Берет письмо.)*

Артемий Филиппович *(не давая письма)*. Нет, это место можно пропустить, а там дальше разборчиво.

Коробкин. Да позвольте, уж я знаю.

Артемий Филиппович. Прочитать я и сам прочитаю; далее, право, все разборчиво.

Почтмейстер. Нет, всё читайте! ведь прежде все читано.

Все. Отдайте, Артемий Филиппович, отдайте письмо! *(Коробкину.)* Читайте!

Артемий Филиппович. Сейчас. *(Отдает письмо.)* Вот, позвольте... *(Закрывает пальцем.)* Вот отсюда читайте.

Все приступают к нему.

Почтмейстер. Читайте, читайте! вздор, всё читайте!

Коробкин *(читая)*. «Надзиратель за богоугодным заведением Земляника — совершенная свинья в ермолке».

Артемий Филиппович *(к зрителям)*. И неостроумно! Свинья в ермолке! где ж свинья бывает в ермолке?

Коробкин *(продолжая читать)*. «Смотритель училищ протухнул насквозь луком».

Лука Лукич *(к зрителям)*. Ей-богу, и в рот никогда не брал луку.

Аммос Федорович *(в сторону)*. Слава богу, хоть, по крайней мере, обо мне нет!

Коробкин *(читает)*. «Судья...»

Аммос Федорович. Вот тебе на! *(Вслух.)* Господа, я думаю, что письмо длинно. Да и черт ли в нем: дрянь этакую читать.

Лука Лукич. Нет!

Почтмейстер. Нет, читайте!

Артемий Филиппович. Нет уж, читайте!

Коробкин *(продолжает)*. «Судья Ляпкин-Тяпкин в сильнейшей степени моветон...» *(Останавливается.)* Должно быть, французское слово.

Аммос Федорович. А черт его знает, что оно значит! Еще хорошо, если только мошенник, а может быть, и того еще хуже.

Коробкин *(продолжая читать)*. «А впрочем, народ гостеприимный и добродушный. Прощай, душа Тряпичкин. Я сам, по примеру твоему, хочу заняться литературой. Скучно, брат, так жить; хочешь наконец пищи для души. Вижу: точно нужно чем-нибудь высоким заняться. Пиши ко мне в Саратовскую губернию, а оттуда в деревню Подкатиловку. *(Переворачивает письмо и читает адрес.)* Его благородию, милостивому государю, Ивану Васильевичу Тряпичкину, в Санкт-Петербурге, в Почтамтскую улицу, в доме под нумером девяносто седьмым, поворотя на двор, в третьем этаже направо».

Одна из дам. Какой репримант неожиданный!

Городничий. Вот когда зарезал, так зарезал! Убит, убит, совсем убит! Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего... Воротить, воротить его! *(Машет рукою.)*

Почтмейстер. Куды воротить! Я, как нарочно, приказал смотрителю дать самую лучшую тройку; черт угораздил дать и вперед предписание.

Жена Коробкина. Вот уж точно, вот беспримерная конфузия!

Аммос Федорович. Однако ж, черт возьми, господа! он у меня взял триста рублей взаймы.

Артемий Филиппович. У меня тоже триста рублей.

Почтмейстер *(вздыхает)*. Ох! и у меня триста рублей.

Бобчинский. У нас с Петром Ивановичем шестьдесят пять-с на ассигнации-с, да-с.

Аммос Федорович *(в недоумении расставляет руки)*. Как же это, господа? Как это, в самом деле, мы так оплошали?

Городничий *(бьет себя по лбу)*. Как я — нет, как я, старый дурак? Выжил, глупый баран, из ума!.. Тридцать лет живу на службе; ни один купец, ни подрядчик не мог провести; мошенников над мошенниками обманывал, пройдох и плутов таких, что весь свет готовы обворовать, поддевал на уду. Трех губернаторов обманул!.. Что губернаторов! *(махнул рукой)* нечего и говорить про губернаторов...

Анна Андреевна. Но это не может быть, Антоша: он обручился с Машенькой...

Городничий *(в сердцах)*. Обручился! Кукиш с маслом — вот тебе обручился! Лезет мне в глаза с обрученьем!.. *(В исступлении.)* Вот смотрите, смотрите, весь мир, все христианство, все смотрите, как одурачен городничий! Дурака ему, дурака, старому подлецу! *(Грозит самому себе кулаком.)* Эх ты, толстоносый! Сосульку, тряпку принял за важного человека! Вон он теперь по всей дороге заливает колокольчиком! Разнесет по всему свету

историю. Мало того что пойдешь в посмешище — найдется щелкопер, бумагомарака, в комедию тебя вставит. Вот что обидно! Чина, звания не пощадит, и будут все скалить зубы и бить в ладоши. Чему смеетесь? — Над собою смеетесь!.. Эх вы!.. *(Стучит со злости ногами об пол.)* Я бы всех этих бумагомарак! У, щелкоперы, либералы проклятые! чертово семя! Узлом бы вас всех завязал, в муку бы стер вас всех да черту в подкладку! в шапку туды ему!.. *(Сует кулаком и бьет каблуком в пол. После некоторого молчания.)* До сих пор не могу прийти в себя. Вот, подлинно, если бог хочет наказать, так отнимет прежде разум. Ну что было в этом вертопрахе похожего на ревизора? Ничего не было! Вот просто ни на полмизинца не было похожего — и вдруг все: ревизор! ревизор! Ну кто первый выпустил, что он ревизор? Отвечайте!

Артемий Филиппович *(расставляя руки)*. Уж как это случилось, хоть убей, не могу объяснить. Точно туман какой-то ошеломил, черт попутал.

Аммос Федорович. Да кто выпустил — вот кто выпустил: эти молодцы! *(Показывает на Добчинского и Бобчинского.)*

Бобчинский. Ей-ей, не я! и не думал...

Добчинский. Я ничего, совсем ничего...

Артемий Филиппович. Конечно, вы.

Лука Лукич. Разумеется. Прибежали как сумасшедшие из трактира: «Приехал, приехал и денег не плотит...» Нашли важную птицу!

Городничий. Натурально, вы! сплетники городские, лгуны проклятые!

Артемий Филиппович. Чтоб вас черт побрал с вашим ревизором и рассказами!

Городничий. Только рыскаете по городу да смущаете всех, трещотки проклятые! Сплетни сеете, сороки короткохвостые!

Аммос Федорович. Пачкуны проклятые!

Лука Лукич. Колпаки!

Артемий Филиппович. Сморчки короткобрюхие!

Все обступают их.

Бобчинский. Ей-богу, это не я, это Петр Иванович.

Добчинский. Э, нет, Петр Иванович, вы ведь первые того...

Бобчинский. А вот и нет; первые-то были вы.

## ЯВЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЕ

Те же и жандарм.

Жандарм. Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе. Он остановился в гостинице.

Произнесенные слова поражают как громом всех. Звук изумления единодушно излетает из дамских уст; вся группа, вдруг переменивши положение, остается в окаменении.

## НЕМАЯ СЦЕНА

*Городничий посередине в виде столба, с распростертыми руками и закинутою назад головою. По правую сторону его жена и дочь с устремившимся к нему движеньем всего тела; за ними почтмейстер, превратившийся в вопросительный знак, обращенный к зрителям; за ним Лука Лукич, потерявшийся самым невинным образом; за ним, у самого края сцены, три дамы, гостьи, прислонившиеся одна к другой с самым сатирическим выражением лица, относящимся прямо к семейству городничего. По левую сторону городничего: Земляника, наклонивший голову несколько набок, как будто к чему-то прислушивающийся; за ним судья с растопыренными руками, присевший почти до земли и сделавший движенье губами, как бы хотел посвистать или произнесть: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» За ним Коробкин, обратившийся к зрителям с прищуренным глазом и едким намеком на городничего; за ним, у самого края сцены, Бобчинский и Добчинский с устремившимися движениями рук друг к другу, разинутыми ртами и выпученными друг на друга глазами. Прочие гости остаются просто столбами. Почти полторы минуты окаменевшая группа сохраняет такое положение. Занавес опускается.*

# ЖЕНИТЬБА

СОВЕРШЕННО НЕВЕРОЯТНОЕ СОБЫТИЕ В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ
(ПИСАНО В 1833 ГОДУ)

## ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Агафья Тихоновна, купеческая дочь, невеста.
Арина Пантелеймоновна, тетка.
Фекла Ивановна, сваха.
Подколесин, служащий, надворный советник.
Кочкарев, друг его.
Яичница, экзекутор.
Анучкин, отставной пехотный офицер.
Жевакин, моряк.
Дуняшка, девочка в доме.
Стариков, гостинодворец.
Степан, слуга Подколесина.

## ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

### ЯВЛЕНИЕ I

Комната холостяка.
Подколесин один, лежит на диване с трубкой.

Вот как начнешь эдак один на досуге подумывать, так видишь, что наконец точно нужно жениться. Что, в самом деле? Живешь, живешь, да такая наконец скверность становится. Вот опять пропустил мясоед. А ведь, кажется, все готово, и сваха вот уж три месяца ходит. Право, самому как-то становится совестно. Эй, Степан!

### ЯВЛЕНИЕ II

Подколесин, Степан.

Подколесин. Не приходила сваха?
Степан. Никак нет.
Подколесин. А у портного был?
Степан. Был.
Подколесин. Что ж он, шьет фрак?
Степан. Шьет.
Подколесин. И много уже нашил?
Степан. Да, уж довольно. Начал уж петли метать.
Подколесин. Что ты говоришь?
Степан. Говорю: начал уж петли метать.
Подколесин. А не спрашивал он, на что, мол, нужен барину фрак?
Степан. Нет, не спрашивал.

Подколесин. Может быть, он говорил, не хочет ли барин жениться?

Степан. Нет, ничего не говорил.

Подколесин. Ты видел, однако ж, у него и другие фраки? Ведь он и для других тоже шьет?

Степан. Да, фраков у него много висит.

Подколесин. Однако ж ведь сукно-то на них будет, чай, похуже, чем на моем?

Степан. Да, это будет поприглядистее, что на вашем.

Подколесин. Что ты говоришь?

Степан. Говорю: это поприглядистее, что на вашем.

Подколесин. Хорошо. Ну, а не спрашивал: для чего, мол, барин из такого тонкого сукна шьет себе фрак?

Степан. Нет.

Подколесин. Не говорил ничего о том, что не хочет ли, дискать, жениться?

Степан. Нет, об этом не заговаривал.

Подколесин. Ты, однако же, сказал, какой на мне чин и где служу?

Степан. Сказывал.

Подколесин. Что ж он на это?

Степан. Говорит: буду стараться.

Подколесин. Хорошо. Теперь ступай.

Степан уходит.

## ЯВЛЕНИЕ III

Подколесин один.

Я того мнения, что черный фрак как-то солиднее. Цветные больше идут секретарям, титулярным и прочей мелюзге, молокососно что-то. Те, которые чином повыше, должны больше наблюдать, как говорится, этого... вот позабыл слово! и хорошее слово, да позабыл. Да, батюшка, уж как ты там себе ни переворачивай, а надворный советник тот же полковник, только разве что мундир без эполет. Эй, Степан!

## ЯВЛЕНИЕ IV

Подколесин, Степан.

Подколесин. А ваксу купил?

Степан. Купил.

Подколесин. Где купил? В той лавочке, про которую я тебе говорил, что на Вознесенском проспекте?

Степан. Да-с, в той самой.

Подколесин. Что ж, хороша вакса?

Степан. Хороша.

Подколесин. Ты пробовал чистить ею сапоги?

Степан. Пробовал.

Подколесин. Что ж, блестит?

Степан. Блестеть-то она блестит хорошо.

Подколесин. А когда он отпускал тебе ваксу, не спрашивал, для чего, мол, барину нужна такая вакса?

Степан. Нет.

Подколесин. Может быть, не говорил ли: не затевает ли, дискать, барин жениться?

Степан. Нет, ничего не говорил.

Подколесин. Ну, хорошо, ступай себе.

### ЯВЛЕНИЕ V

Подколесин один.

Кажется, пустая вещь сапоги, а ведь, однако же, если дурно сшиты да рыжая вакса, уж в хорошем обществе и не будет такого уважения. Всё как-то не того... Вот еще гадко, если мозоли. Готов вытерпеть бог знает что, только бы не мозоли. Эй, Степан!

### ЯВЛЕНИЕ VI

Подколесин, Степан.

Степан. Чего изволите?

Подколесин. Ты говорил сапожнику, чтоб не было мозолей?

Степан. Говорил.

Подколесин. Что ж он говорит?

Степан. Говорит, хорошо.

Степан уходит.

### ЯВЛЕНИЕ VII

Подколесин, потом Степан.

Подколесин. А ведь хлопотливая, черт возьми, вещь женитьба! То, да се, да это. Чтобы то да это было исправно,— нет, черт побери, это не так легко, как говорят. Эй, Степан!

Степан входит.

Я хотел тебе еще сказать...

Степан. Старуха пришла.

Подколесин. А, пришла; зови ее сюда.

Степан уходит.

Да, это вещь... вещь не того... трудная вещь.

## ЯВЛЕНИЕ VIII

Подколесин и Фекла.

Подколесин. А, здравствуй, здравствуй, Фекла Ивановна. Ну что? как? Возьми стул, садись, да и рассказывай. Ну, так как же, как? Как бишь ее: Меланья?..

Фекла. Агафья Тихоновна.

Подколесин. Да, да, Агафья Тихоновна. И верно, какая-нибудь сорокалетняя дева?

Фекла. Уж вот нет так нет. То есть как женитесь, так каждый день станете похваливать да благодарить.

Подколесин. Да ты врешь, Фекла Ивановна.

Фекла. Устарела я, отец мой, чтобы врать; пес врет.

Подколесин. А приданое-то, приданое? Расскажи-ка вновь.

Фекла. А приданое: каменный дом в Московской части, о двух елтажах, уж такой прибыточный, что истинно удовольствие. Один лабазник платит семьсот за лавочку. Пивной погреб тоже большое общество привлекает. Два деревянных хлигеря: один хлигерь совсем деревянный, другой на каменном фундаменте; каждый рублев по четыреста приносит доходу. Огород есть еще на Выборгской стороне: третьего года купец нанимал под капусту; и такой купец трезвый, совсем не берет хмельного в рот, и трех сыновей имеет: двух уж поженил, «а третий, говорит, еще молодой, пусть посидит в лавке, чтобы торговлю было полегче отправлять. Я уж, говорит, стар, так пусть сын посидит в лавке, чтобы торговля шла полегче».

Подколесин. Да собой-то, какова собой?

Фекла. Как рефинат! Белая, румяная, как кровь с молоком, сладость такая, что и рассказать нельзя. Уж будете вот по этих пор довольны *(показывая на горло);* то есть и приятелю и неприятелю скажете: «Ай да Фекла Ивановна, спасибо!»

Подколесин. Да ведь она, однако ж, не штаб-офицерка?

Фекла. Купца третьей гильдии дочь. Да уж такая, что и генералу обиды не нанесет. О купце и слышать не хочет. «Мне, говорит, какой бы ни был муж, хоть и собой-то невзрачен, да был бы дворянин». Да, такой великатес! А к воскресному-то как на-

денет шелковое платье — так вот те Христос, так и шумит. Княгиня просто!

Подколесин. Да ведь я-то потому тебя спрашивал, что я надворный советник, так мне, понимаешь...

Фекла. Да уж обноковенно, как не понимать. Был у нас и надворный советник, да отказали: не пондравился. Такой уж у него нрав-то странный был: что ни скажет слово, то и соврет, а такой на взгляд видный. Что ж делать, так уж ему бог дал. Он-то и сам не рад, да уж не может, чтобы не прилгнуть. Такая уж на то воля божия.

Подколесин. Ну, а кроме этой, других там нет никаких?

Фекла. Да какой же тебе еще? Уж это что ни есть лучшая.

Подколесин. Будто уж самая лучшая?

Фекла. Хоть по всему свету исходи, такой не найдешь.

Подколесин. Подумаем, подумаем, матушка. Приходи-ка послезавтра. Мы с тобой, знаешь, опять вот эдак: я полежу, а ты расскажешь...

Фекла. Да помилуй, отец! уж вот третий месяц хожу к тебе, а проку-то ни насколько. Все сидит в халате да трубку знай себе покуривает.

Подколесин. А ты думаешь небось, что женитьба все равно что «эй, Степан, подай сапоги!». Натянул на ноги, да и пошел? Нужно порассудить, порассмотреть.

Фекла. Ну, так что ж? Коли смотреть, так и смотри. На то товар, чтобы смотреть. Вот прикажи-тка подать кафтан да теперь же, благо утреннее время, и поезжай.

Подколесин. Теперь? А вот видишь, как пасмурно. Выеду, а вдруг хватит дождем.

Фекла. А тебе же худо! Ведь в голове седой волос уж глядит, скоро совсем не будешь годиться для супружеска дела. Невидаль, что он придворный советник! Да мы таких женихов приберем, что и не посмотрим на тебя.

Подколесин. Что за чепуху несешь ты? Из чего вдруг угораздило тебя сказать, что у меня седой волос? Где ж седой волос? *(Щупает свои волосы.)*

Фекла. Как не быть седому волосу, на то живет человек. Смотри ты! Тою ему не угодишь, другой не угодишь. Да у меня есть на примете такой капитан, что ты ему и под плечо не подойдешь, а говорит-то — как труба; в алгалантьерстве служит.

Подколесин. Да врешь, я посмотрю в зеркало; где ты выдумала седой волос? Эй, Степан, принеси зеркало! Или нет, постой, я пойду сам. Вот еще боже сохрани. Это хуже, чем оспа. *(Уходит в другую комнату.)*

## ЯВЛЕНИЕ IX

Фекла и Кочкарев, вбегая.

Кочкарев. Что Подколесин?.. *(Увидев Феклу.)* Ты как здесь? Ах, ты!.. Ну послушай, на кой черт ты меня женила?

Фекла. А что ж дурного? Закон исполнил.

Кочкарев. Закон исполнил! Эк невидаль, жена! Без нее-то разве я не мог обойтись?

Фекла. Да ведь ты ж сам пристал: жени, бабушка, да и полно.

Кочкарев. Ах ты, крыса старая!.. Ну, а здесь зачем? Неужели Подколесин хочет...

Фекла. А что ж? Бог благодать послал.

Кочкарев. Нет! Эк мерзавец, ведь мне ничего об этом. Каков! Прошу покорно: сподтишка, а?

## ЯВЛЕНИЕ X

Те же и Подколесин с зеркалом в руках, в которое вглядывается очень внимательно.

Кочкарев *(подкрадываясь сзади, пугает его)*. Пуф!

Подколесин *(вскрикнув и роняя зеркало)*. Сумасшедший! Ну зачем, зачем... Ну что за глупости! Перепугал, право, так, что душа не на месте.

Кочкарев. Ну, ничего, пошутил.

Подколесин. Что за шутки вздумал? До сих пор не могу очнуться от испуга. И зеркало вон разбил. Ведь это вещь не даровая: в английском магазине куплено.

Кочкарев. Ну полно: я сыщу тебе другое зеркало.

Подколесин. Да, сыщешь. Знаю я эти другие зеркала. Целым десятком кажет старее, и рожа выходит косяком.

Кочкарев. Послушай, ведь я бы должен больше на тебя сердиться. Ты от меня, твоего друга, все скрываешь. Жениться ведь задумал?

Подколесин. Вот вздор: совсем и не думал.

Кочкарев. Да ведь улика налицо. *(Указывает на Феклу.)* Ведь вот стоит — известно, что за птица. Ну что ж, ничего, ничего. Здесь нет ничего такого. Дело христианское, необходимое даже для отечества. Изволь, изволь: я беру на себя все дела. *(К Фекле.)* Ну, говори, как, что и прочее? Дворянка, чиновница или в купечестве, что ли, и как зовут?

Фекла. Агафья Тихоновна.

Кочкарев. Агафья Тихоновна Брандахлыстова?

Фекла. Ан нет — Купердягина.

Кочкарев. В Шестилавочной, что ли, живет?

Фекла. Уж вот нет; будет поближе к Пескам, в Мыльном переулке.

Кочкарев. Ну да, в Мыльном переулке, тотчас за лавочкой — деревянный дом?

Фекла. И не за лавочкой, а за пивным погребом.

Кочкарев. Как же за пивным,— вот тут-то я не знаю.

Фекла. А вот как поворотишь в проулок, так будет тебе прямо будка, а как будку минешь, свороти налево, и вот тебе прямо в глаза — то есть, так вот тебе прямо в глаза и будет деревянный дом, где живет швея, что жила прежде с сенатским обер-секлехтарем. Ты к швее-то не заходи, а сейчас за нею будет второй дом, каменный — вот этот дом и есть ее, в котором, то есть, она живет, Агафья Тихоновна-то, невеста.

Кочкарев. Хорошо, хорошо. Теперь я все это обделаю; а ты ступай,— в тебе больше нет нужды.

Фекла. Как так? Неужто ты сам свадьбу хочешь заправить?

Кочкарев. Сам, сам; ты уж не мешайся только.

Фекла. Ах, бесстыдник какой! Да ведь это не мужское дело. Отступись, батюшка, право!

Кочкарев. Пойди, пойди. Не смыслишь ничего, не мешайся! Знай, сверчок, свой шесток,— убирайся!

Фекла. У людей только чтобы хлеб отымать, безбожник такой! В такую дрянь вмешался. Кабы знала, ничего бы не сказывала. *(Уходит с досадой.)*

### ЯВЛЕНИЕ XI

Подколесин и Кочкарев.

Кочкарев. Ну, брат, этого дела нельзя откладывать. Едем.

Подколесин. Да ведь я еще ничего. Я так только подумал...

Кочкарев. Пустяки, пустяки! Только не конфузься: я тебя женю так, что и не услышишь. Мы сей же час едем к невесте, и увидишь, как всё вдруг.

Подколесин. Вот еще! Сейчас бы и ехать!

Кочкарев. Да за чем же, помилуй, за чем дело?.. Ну, рассмотри сам: ну что из того, что ты неженатый? Посмотри на свою комнату. Ну, что в ней? Вон невычищенный сапог стоит, вон лоханка для умывания, вон целая куча табаку на столе, и ты вот сам лежишь, как байбак, весь день на боку.

Подколесин. Это правда. Порядка-то у меня, я знаю сам, что нет.

Кочкарев. Ну, а как будет у тебя жена, так ты просто ни себя, ничего не узнаешь: тут у тебя будет диван, собачонка, чижик какой-нибудь в клетке, рукоделье... И вообрази, ты сидишь на диване, и вдруг к тебе подсядет бабеночка, хорошенькая эдакая, и ручкой тебя...

Подколесин. А, черт, как подумаешь, право, какие в самом деле бывают ручки. Ведь просто, брат, как молоко.

Кочкарев. Куды тебе! Будто у них только что ручки!.. У них, брат... Ну да что и говорить! у них, брат, просто черт знает чего нет.

Подколесин. А ведь сказать тебе правду, я люблю, если возле меня сядет хорошенькая.

Кочкарев. Ну видишь, сам раскусил. Теперь только нужно распорядиться. Ты уж не заботься ни о чем. Свадебный обед и прочее — это все уж я... Шампанского меньше одной дюжины никак, брат, нельзя, уж как ты себе хочешь. Мадеры тоже полдюжины бутылок непременно. У невесты, верно, есть куча тетушек и кумушек — эти шутить не любят. А рейнвейн — черт с ним, не правда ли? а? А что же касается до обеда — у меня, брат, есть на примете придворный официант: так, собака, накормит, что просто не встанешь.

Подколесин. Помилуй, ты так горячо берешься, как будто бы в самом деле уж и свадьба.

Кочкарев. А почему ж нет? Зачем же откладывать? Ведь ты согласен?

Подколесин. Я? Ну нет... я еще не совсем согласен.

Кочкарев. Вот тебе на! Да ведь ты сейчас объявил, что хочешь.

Подколесин. Я говорил только, что не худо бы.

Кочкарев. Как, помилуй! Да мы уж совсем было все дело... Да что? разве тебе не нравится женатая жизнь, что ли?

Подколесин. Нет... нравится.

Кочкарев. Ну, так что ж? За чем дело стало?

Подколесин. Да дело ни за чем не стало, а только странно...

Кочкарев. Что ж странно?

Подколесин. Как же не странно: все был неженатый, а теперь вдруг — женатый.

Кочкарев. Ну, ну... ну не стыдно ли тебе? Нет, я вижу, с тобой нужно говорить сурьезно: я буду говорить откровенно, как отец с сыном. Ну посмотри, посмотри на себя внимательно, вот, например, так, как смотришь теперь на меня. Ну что ты теперь

такое? Ведь просто бревно, никакого значения не имеешь. Ну для чего ты живешь? Ну взгляни в зеркало, что ты там видишь? глупое лицо — больше ничего. А тут, вообрази, около тебя будут ребятишки, ведь не то что двое или трое, а, может быть, целых шестеро, и все на тебя как две капли воды. Ты вот теперь один, надворный советник, экспедитор или там начальник какой, бог тебя ведает, а тогда, вообрази, около тебя экспедиторчонки, маленькие эдакие канальчонки, и какой-нибудь пострелёнок, протянувши ручонки, будет теребить тебя за бакенбарды, а ты только будешь ему по-собачьи: ав, ав, ав! Ну есть ли что-нибудь лучше этого, скажи сам?

Подколесин. Да ведь они только шалуны большие: будут всё портить, разбросают бумаги.

Кочкарев. Пусть шалят, да ведь все на тебя похожи — вот штука.

Подколесин. А оно, в самом деле, даже смешно, черт побери: этакой какой-нибудь пышка, щенок эдакой, и уж на тебя похож.

Кочкарев. Как не смешно, конечно, смешно. Ну, так поедем.

Подколесин. Пожалуй, поедем.

Кочкарев. Эй, Степан! Давай скорее своему барину одеваться.

Подколесин *(одеваясь перед зеркалом)*. Я думаю, однако ж, что нужно бы в белом жилете.

Кочкарев. Пустяки, все равно.

Подколесин *(надевая воротнички)*. Проклятая прачка, так скверно накрахмалила воротнички — никак не стоят. Ты ей скажи, Степан, что если она, глупая, так будет гладить белье, то я найму другую. Она, верно, с любовниками проводит время, а не гладит.

Кочкарев. Да ну, брат, поскорее! Как ты копаешься!

Подколесин. Сейчас, сейчас. *(Надевает фрак и садится.)* Послушай, Илья Фомич. Знаешь ли что? Поезжай-ка ты сам.

Кочкарев. Ну вот еще; с ума сошел разве? Мне ехать! Да кто из нас женится: ты или я?

Подколесин. Право, что-то не хочется; пусть лучше завтра.

Кочкарев. Ну есть ли в тебе капля ума? Ну не олух ли ты? Собрался совершенно, и вдруг: не нужно! Ну скажи, пожалуйста, не свинья ли ты, не подлец ли ты после этого?

Подколесин. Ну что ж ты бранишься? с какой стати? что я тебе сделал?

Кочкарев. Дурак, дурак набитый, это тебе всякий скажет.

Глуп, вот просто глуп, хоть и экспедитор. Ведь о чем стараюсь? О твоей пользе; ведь изо рта выманят кус. Лежит, проклятый холостяк! Ну скажи, пожалуйста, ну на что ты похож? Ну, ну, дрянь, колпак, сказал бы такое слово... да неприлично только. Баба! хуже бабы!

Подколесин. И ты хорош в самом деле! *(Вполголоса.)* В своем ли ты уме? Тут стоит крепостной человек, а он при нем бранится, да еще эдакими словами; не нашел другого места.

Кочкарев. Да как же тебя не бранить, скажи, пожалуйста? Кто может тебя не бранить? У кого достанет духу тебя не бранить? Как порядочный человек, решился жениться, последовал благоразумию и вдруг — просто сдуру, белены объелся, деревянный чурбан...

Подколесин. Ну, полно, я еду — чего ж ты раскричался?

Кочкарев. Еду! Конечно, что ж другое делать, как не ехать! *(Степану.)* Давай ему шляпу и шинель.

Подколесин *(в дверях)*. Такой, право, странный человек! С ним никак нельзя водиться: выбранит вдруг ни за что ни про что. Не понимает никакого обращения.

Кочкарев. Да уж кончено, теперь не браню.

Оба уходят.

## ЯВЛЕНИЕ XII

Комната в доме Агафьи Тихоновны.

Агафья Тихоновна раскладывает на картах, из-за руки глядит тетка Арина Пантелеймоновна.

Агафья Тихоновна. Опять, тетушка, дорога! Интересуется какой-то бубновый король, слезы, любовное письмо; с левой стороны трефовый изъявляет большое участье, но какая-то злодейка мешает.

Арина Пантелеймоновна. А кто бы, ты думала, был трефовый король?

Агафья Тихоновна. Не знаю.

Арина Пантелеймоновна. А я знаю кто.

Агафья Тихоновна. А кто?

Арина Пантелеймоновна. А хороший торговец, что по суконной линии, Алексей Дмитриевич Стариков.

Агафья Тихоновна. Вот уж верно не он! я хоть что ставлю, не он.

Арина Пантелеймоновна. Не спорь, Агафья Тихоновна, волос уж такой русый. Нет другого трефового короля.

Агафья Тихоновна. А вот же нет: трефовый король значит здесь дворянин. Купцу далеко до трефового короля.

Арина Пантелеймоновна. Ах, Агафья Тихоновна, а ведь не то бы ты сказала, как бы покойник-то Тихон, твой батюшка, Пантелеймонович был жив. Бывало, как ударит всей пятерней по столу да вскрикнет: «Плевать я, говорит, на того, который стыдится быть купцом; да не выдам же, говорит, дочь за полковника. Пусть их делают другие! А и сына, говорит, не отдам на службу. Что, говорит, разве купец не служит государю так же, как и всякий другой?» Да всей пятерней-то так по столу и хватит. А рукато в ведро величиною — такие страсти! Ведь если сказать правду, он и усахарил твою матушку, а покойница прожила бы подолее.

Агафья Тихоновна. Ну вот, чтобы и у меня еще был такой злой муж! Да ни за что не выйду за купца!

Арина Пантелеймоновна. Да ведь Алексей-то Дмитриевич не такой.

Агафья Тихоновна. Не хочу, не хочу! У него борода: станет есть, все потечет по бороде. Нет, нет, не хочу!

Арина Пантелеймоновна. Да ведь где же достать хорошего дворянина? Ведь его на улице не сыщешь.

Агафья Тихоновна. Фекла Ивановна сыщет. Она обещалась сыскать самого лучшего.

Арина Пантелеймоновна. Да ведь она лгунья, мой свет.

### ЯВЛЕНИЕ XIII

Те же и Фекла.

Фекла. Ан нет, Арина Пантелеймоновна, грех вам понапрасну поклеп взводить.

Агафья Тихоновна. Ах, это Фекла Ивановна! Ну что, говори, рассказывай! Есть?

Фекла. Есть, есть, дай только прежде с духом собраться — так ухлопоталась! По твоей комиссии все дома исходила, по канцеляриям, по министериям истаскалась, в караульни наслонялась... Знаешь ли ты, мать моя, ведь меня чуть было не прибили, ей-богу! Старуха-то, что женила Аферовых, так было приступила ко мне: «Ты такая и этакая, только хлеб перебиваешь, знай свой квартал»,— говорит. «Да что ж,— сказала я напрямик,— я для своей барышни, не прогневайся, все готова удовлетворить». Зато уж каких женихов тебе припасла! То есть и стоял свет и будет стоять, а таких еще не было! Сегодня же иные и прибудут. Я забежала нарочно тебя предварить.

Агафья Тихоновна. Как же сегодня? Душа моя Фекла Ивановна, я боюсь.

Фекла. И, не пугайся, мать моя! дело житейское. Приедут, посмотрят, больше ничего. И ты посмотришь их: не понравятся — ну и уедут.

Арина Пантелеймоновна. Ну уж, чай, хороших приманила!

Агафья Тихоновна. А сколько их? много?

Фекла. Да человек шесть есть.

Агафья Тихоновна *(вскрикивает)*. Ух!

Фекла. Ну что ж ты, мать моя, так вспорхнулась? Лучше выбирать: один не придется, другой придется.

Агафья Тихоновна. Что ж они: дворяне?

Фекла. Все как на подбор. Уж такие дворяне, что еще и не было таких.

Агафья Тихоновна. Ну, какие же, какие?

Фекла. А славные все такие, хорошие, аккуратные. Первый Балтазар Балтазарович Жевакин, такой славный, во флоте служил,— как раз по тебе придется. Говорит, что ему нужно, чтобы невеста была в теле, а поджаристых совсем не любит. А Иван-то Павлович, что служит езекухтором, такой важный, что и приступу нет. Такой видный из себя, толстый; как закричит на меня: «Ты мне не толкуй пустяков, что невеста такая и эдакая! ты скажи напрямик, сколько за ней движимого и недвижимого?» — «Столько-то и столько-то, отец мой!» — «Ты врешь, собачья дочь!» Да еще, мать моя, вклеил такое словцо, что и неприлично тебе сказать. Я так вмиг и спознала: э, да это должен быть важный господин.

Агафья Тихоновна. Ну, а еще кто?

Фекла. А еще Никанор Иванович Анучкин. Это уж такой великатный! а губы, мать моя,— малина, совсем малина! такой славный. «Мне, говорит, нужно, чтобы невеста была хороша собой, воспитанная, чтобы и по-французскому умела говорить». Да, тонкого поведенья человек, немецкая штука! А сам-то такой субтильный, и ножки узенькие, тоненькие.

Агафья Тихоновна. Нет, мне эти субтильные как-то не того... не знаю... Я ничего не вижу в них...

Фекла. А коли хочешь поплотнее, так возьми Ивана Павловича. Уж лучше нельзя выбрать никого. Уж тот, неча сказать, барин так барин: мало в эти двери не войдет,— такой славный.

Агафья Тихоновна. А сколько лет ему?

Фекла. А человек еще молодой: лет пятьдесят, да и пятидесяти еще нет.

Агафья Тихоновна. А фамилия как?

Фекла. А фамилия Иван Павлович Яичница.

Агафья Тихоновна. Это такая фамилия?

Фекла. Фамилия.

Агафья Тихоновна. Ах боже мой, какая фамилия! Послушай, Феклуша, как же это, если я выйду за него замуж и вдруг буду называться Агафья Тихоновна Яичница? Бог знает что такое!

Фекла. И, мать моя, да на Руси есть такие прозвища, что только плюнешь да перекрестишься, коли услышишь. А пожалуй, коли не нравится прозвище, то возьми Балтазара Балтазаровича Жевакина — славный жених.

Агафья Тихоновна. А какие у него волосы?

Фекла. Хорошие волосы.

Агафья Тихоновна. А нос?

Фекла. Э... и нос хороший. Всё на своем месте. И сам такой славный. Только не погневайся: уж на квартире одна только трубка и стоит, больше ничего нет — никакой мебели.

Агафья Тихоновна. А еще кто?

Фекла. Акинф Степанович Пантелеев, чиновник, титулярный советник, немножко заикается только, зато уж такой скромный.

Арина Пантелеймоновна. Ну что ты все: чиновник, чиновник! А не любит ли он выпить, вот, мол, что скажи.

Фекла. А пьет, не прекословлю, пьет. Что ж делать, уж он титулярный советник; зато такой тихий, как шелк.

Агафья Тихоновна. Ну нет, я не хочу, чтобы муж у меня был пьяница.

Фекла. Твоя воля, мать моя! Не хочешь одного, возьми другого. Впрочем, что ж такого, что иной раз выпьет лишнее,— ведь не всю же неделю бывает пьян: иной день выберется и трезвый.

Агафья Тихоновна. Ну, а еще кто?

Фекла. Да есть еще один, да тот только такой... бог с ним! Эти будут почище.

Агафья Тихоновна. Ну, да кто же он?

Фекла. А не хотелось бы и говорить про него. Он-то, пожалуй, андворный советник и петлицу носит, да уж на подъем куды тяжел, не выманишь из дому.

Агафья Тихоновна. Ну, а еще кто? Ведь тут только всего пять, а ты говорила шесть.

Фекла. Да неужто тебе еще мало? Смотри ты, как тебя вдруг поразобрало, а ведь давича было испугалась.

Арина Пантелеймоновна. Да что с них, с дворян-то твоих? Хоть их у тебя и шестеро, а, право, купец один станет за всех.

Фекла. А нет, Арина Пантелеймоновна. Дворянин будет почтенней.

Арина Пантелеймоновна. Да что в почтенье-та? А вот Алексей Дмитриевич да в собольей шапке, в санках-то как прокатится...

Фекла. А дворянин-то с аполетой пройдет навстречу, скажет: «Что ты, купчишка? свороти с дороги!» Или: «Покажи, купчишка, бархату самого лучшего!» А купец: «Извольте, батюшка!» — «А сними-ка, невежа, шляпу!» — вот что скажет дворянин.

Арина Пантелеймоновна. А купец, если захочет, не даст сукна; а вот дворянин-то и голенькой, и не в чем ходить дворянину!

Фекла. А дворянин зарубит купца.

Арина Пантелеймоновна. А купец пойдет жаловаться в полицию.

Фекла. А дворянин пойдет на купца к сенахтору.

Арина Пантелеймоновна. А купец к губернахтору.

Фекла. А дворянин...

Арина Пантелеймоновна. Врешь, врешь: дворянин... Губернахтор больше сенахтора! Разносилась с дворянином! а дворянин при случае так же гнет шапку...

В дверях слышен звонок.

Никак, звонит кто-то.

Фекла. Ахти, это они!

Арина Пантелеймоновна. Кто они?

Фекла. Они... кто-нибудь из женихов.

Агафья Тихоновна *(вскрикивает)*. Ух!

Арина Пантелеймоновна. Святые, помилуйте нас, грешных! В комнате совсем не прибрано. *(Схватывает все, что ни есть на столе, и бегает по комнате.)* Да салфетка-то, салфетка на столе совсем черная. Дуняшка, Дуняшка!

Дуняшка является.

Скорее чистую салфетку! *(Стаскивает салфетку и мечется по комнате.)*

Агафья Тихоновна. Ах, тетушка, как мне быть? Я чуть не в рубашке!

Арина Пантелеймоновна. Ах, мать моя, беги скорей одеваться! *(Мечется по комнате.)*

Дуняшка приносит салфетку; в дверях звонят.

Беги скажи: «сейчас»!

Дуняшка кричит издалека: «Сейчас!»

Агафья Тихоновна. Тетушка, да ведь платье не выглажено.

Арина Пантелеймоновна. Ах, господи милосердный, не погуби! Надень другое.

Фекла *(вбегая)*. Что ж вы нейдете? Агафья Тихоновна, поскорей, мать моя!

Слышен звонок.

Ахти, а ведь он все дожидается!

Арина Пантелеймоновна. Дуняшка, введи его и проси обождать.

Дуняшка бежит в сени и отворяет дверь. Слышны голоса: «Дома?» — «Дома, пожалуйте в комнату». Все с любопытством стараются рассмотреть в замочную скважину.

Агафья Тихоновна *(вскрикивает)*. Ах, какой толстый!

Фекла. Идет, идет!

Все бегут опрометью.

## ЯВЛЕНИЕ XIV

Иван Павлович Яичница и девчонка.

Девчонка. Погодите здесь. *(Уходит.)*

Яичница. Пожалуй, пождать — пождем, как бы только не замешкаться. Отлучился ведь только на минутку из департамента. Вдруг вздумает генерал: «А где экзекутор?» — «Невесту пошел выглядывать». Чтоб не задал он такой невесты... А однако ж, рассмотреть еще раз роспись. *(Читает.)* «Каменный двухэтажный дом...» *(Подымает глаза вверх и обсматривает комнату.)* Есть! *(Продолжает читать.)* «Флигеля два: флигель на каменном фундаменте, флигель деревянный...» Ну, деревянный плоховат. «Дрожки, сани парные с резьбой, под большой ковер и под малый...» Может быть, такие, что в лом годятся? Старуха, однако ж, уверяет, что первый сорт; хорошо, пусть первый сорт. «Две дюжины серебряных ложек...» Конечно, для дома нужны серебряные ложки. «Две лисьих шубы...» Гм... «Четыре больших пуховика и два малых. *(Значительно сжимает губы.)* Шесть пар шелковых и шесть пар ситцевых платьев, два ночных капота, два...» Ну, это статья пустая! «Белье, салфетки...» Это пусть будет, как ей хочется. Впрочем, нужно все это поверить на деле. Теперь, пожалуй, обещают и домы, и экипажи, а как женишься — только и найдешь, что пуховики да перины.

Слышен звонок. Дуняшка бежит впопыхах через комнату отворять дверь. Слышны голоса: «Дома?» — «Дома».

## ЯВЛЕНИЕ XV

Иван Павлович и Анучкин.

Дуняшка. Погодите тут. Они выдут. *(Уходит.)*

Анучкин раскланивается с Яичницей.

Яичница. Мое почтение!

Анучкин. Не с папенькой ли прелестной хозяйки дома имею честь говорить?

Яичница. Никак нет, вовсе не с папенькой. Я даже еще не имею детей.

Анучкин. Ах, извините! извините!

Яичница *(в сторону)*. Физиогномия этого человека мне что-то подозрительна: чуть ли он не за тем же сюда пришел, за чем и я. *(Вслух.)* Вы, верно, имеете какую-нибудь надобность к хозяйке дома?

Анучкин. Нет, что ж... надобности никакой нет, а так, зашел с прогулки.

Яичница *(в сторону)*. Врет, врет, с прогулки! Жениться, подлец, хочет!

Слышен звонок. Дуняшка бежит через комнату отворять дверь. В сенях голоса: «Дома?» — «Дома».

## ЯВЛЕНИЕ XVI

Те же и Жевакин, в сопровождении девчонки.

Жевакин *(девчонке)*. Пожалуйста, душенька, почисть меня... Пыли-то, знаешь, на улице попристало немало. Вон там, пожалуйста, сними пушинку. *(Поворачивается.)* Так! спасибо, душенька. Вот еще, посмотри, там как будто паучок лазит! а на подборах-то сзади ничего нет? Спасибо, родимая! Вон тут еще, кажется. *(Гладит рукою рукав фрака и поглядывает на Анучкина и Ивана Павловича.)* Суконцо-то ведь аглицкое! Ведь каково носится! В девяносто пятом году, когда была эскадра наша в Сицилии, купил я его еще мичманом и сшил с него мундир; в восемьсот первом, при Павле Петровиче, я был сделан лейтенантом,— сукно было совсем новешенькое; в восемьсот четырнадцатом сделал экспедицию вокруг света, и вот только по швам немного поистерлось; в восемьсот пятнадцатом вышел в отставку, только перелицевал: уж десять лет ношу — до сих пор почти что новый. Благодарю, душенька, м... раскрасоточка! *(Делает ей ручку и, подходя к зеркалу, слегка взъерошивает волосы.)*

Анучкин. А как, позвольте узнать, Сицилия... вот вы изволили сказать: Сицилия,— хорошая это земля Сицилия?

Жевакин. А, прекрасная! Мы тридцать четыре дня там пробыли; вид, я вам доложу, восхитительный! эдакие горы, эдак деревцо какое-нибудь гранатное, и везде италианочки, такие розанчики, так вот и хочется поцеловать.

Анучкин. И хорошо образованны?

Жевакин. Превосходным образом! Так образованные, как вот у нас только графини разве. Бывало, пойдешь по улице — ну, русский лейтенант... Натурально, здесь эполеты *(показывает на плеча)*, золотое шитье... и эдак красоточки черномазенькие,— у них ведь возле каждого дома балкончики, и крыши, вот как этот пол, совершенно плоски. Бывало, эдак смотришь, и сидит эдакой розанчик... Ну, натурально, чтобы не ударить лицом в грязь... *(Кланяется и размахивает рукою.)* И она эдак только. *(Делает рукою движение.)* Натурально, одета: здесь у ней какая-нибудь тафтица, шнуровочка, дамские разные сережки... ну, словом, такой лакомый кусочек...

Анучкин. А как, позвольте еще вам сделать вопрос,— на каком языке изъясняются в Сицилии?

Жевакин. А натурально, все на французском.

Анучкин. А все барышни решительно говорят по-французски?

Жевакин. Все-с решительно. Вы даже, может быть, не поверите тому, что я вам доложу: мы жили тридцать четыре дня, и во все это время ни одного слова я не слыхал от них по-русски.

Анучкин. Ни одного слова?

Жевакин. Ни одного слова. Я не говорю уже о дворянах и прочих синьорах, то есть разных ихних офицерах; но возьмите нарочно простого тамошнего мужика, который перетаскивает на шее всякую дрянь, попробуйте скажите ему: «Дай, братец, хлеба»,— не поймет, ей-богу, не поймет; а скажи по-французски: «Dateci del pane» или «portate vino!» [1] — поймет, и побежит, и точно принесет.

Иван Павлович. А любопытная, однако ж, как я вижу, должна быть земля эта Сицилия. Вот вы сказали — мужик: что мужик, как он? так ли совершенно, как и русский мужик, широк в плечах и землю пашет, или нет?

Жевакин. Не могу вам сказать: не заметил, пашут или нет, а вот насчет нюханья табаку, так я вам доложу, что все не только нюхают, а даже за губу-с кладут. Перевозка тоже очень дешева; там все почти вода и везде гондолы... Натурально, сидит эдакая

[1] Дайте хлеба... принесите вина! *(итал.)*

италианочка, такой розанчик, одета: манишечка, платочек... С нами были и аглицкие офицеры; ну, народ, так же как и наши,— моряки; и сначала, точно, было очень странно: не понимаешь друг друга,— но потом, как хорошо обознакомились, начали свободно понимать: покажешь, бывало, эдак на бутылку или стакан — ну, тотчас и знает, что это значит выпить; приставишь эдак кулак ко рту и скажешь только губами: паф-паф! — знает: трубку выкурить. Вообще, я вам доложу, язык довольно легкий, наши матросы в три дни каких-нибудь стали совершенно понимать друг друга.

Иван Павлович. А преинтересная, как вижу, жизнь в чужих краях. Мне очень приятно сойтись с человеком бывалым. Позвольте узнать: с кем имею честь говорить?

Жевакин. Жевакин-с, лейтенант в отставке. Позвольте с своей стороны тоже спросить: с кем-с имею счастье изъясняться?

Иван Павлович. В должности экзекутора, Иван Павлович Яичница.

Жевакин *(недослышав)*. Да, я тоже перекусил. Дороги-то, знаю, впереди будет довольно, а время холодновато: селедочку съел с хлебцем.

Иван Павлович. Нет, кажется, вы не так поняли: это фамилия моя — Яичница.

Жевакин *(кланяясь)*. Ах, извините! я немножко туговат на ухо. Я, право, думал, что вы изволили сказать, что покушали яичницу.

Иван Павлович. Да что делать? я хотел было уже просить генерала, чтобы позволил называться мне Яичницын, да свои отговорили: говорят, будет похоже на «собачий сын».

Жевакин. А это, однако ж, бывает. У нас вся третья эскадра, все офицеры и матросы,— все были с престранными фамилиями: Помойкин, Ярыжкин, Перепреев, лейтенант. А один мичман, и даже хороший мичман, был по фамилии просто Дырка. И капитан, бывало: «Эй ты, Дырка, поди сюда!» И, бывало, над ним всегда пошутишь. «Эх ты, дырка эдакой!» — говоришь, бывало, ему.

Слышен в сенях звонок. Фекла бежит через комнату отворять.

Яичница. А, здравствуй, матушка!

Жевакин. Здравствуй; как живешь, душа моя?

Анучкин. Здравствуйте, матушка Фекла Ивановна.

Фекла *(бежит впопыхах)*. Спасибо, отцы мои! Здорова, здорова. *(Отворяет дверь.)*

В сенях раздаются голоса: «Дома?» — «Дома». Потом несколько почти неслышных слов, на которые Фекла отвечает с досадою: «Смотри ты какой!»

## ЯВЛЕНИЕ XVII

Те же, Кочкарев, Подколесин и Фекла.

Кочкарев *(Подколесину)*. Ты помни, только кураж, и больше ничего. *(Оглядывается и раскланивается с некоторым изумлением; про себя.)* Фу-ты, какая куча народу! Это что значит? Уж не женихи ли? *(Толкает Феклу и говорит ей тихо.)* С которых сторон понабрала ворон, а?

Фекла *(вполголоса)*. Тут тебе ворон нет, всё честные люди.

Кочкарев *(ей)*. Гости-то несчитанные, кафтаны общипанные.

Фекла. Гляди налёт на свой полёт, а и похвастаться нечем: шапка в рубль, а щи без круп.

Кочкарев. Небось твои разживные, по дыре в кармане. *(Вслух.)* Да что она делает теперь? Ведь эта дверь, верно, к ней в спальню? *(Подходит к двери.)*

Фекла. Бесстыдник! говорят тебе, еще одевается.

Кочкарев. Эка беда! что ж тут такого? Ведь только посмотрю, и больше ничего. *(Смотрит в замочную скважину.)*

Жевакин. А позвольте мне полюбопытствовать тоже.

Яичница. Позвольте взглянуть мне только один разочек.

Кочкарев *(продолжая смотреть)*. Да ничего не видно, господа. И распознать нельзя, что такое белеет: женщина или подушка.

Все, однако ж, обступают дверь и продираются взглянуть.

Чш... кто-то идет!

Все отскакивают прочь.

## ЯВЛЕНИЕ XVIII

Те же, Арина Пантелеймоновна и Агафья Тихоновна. Все раскланиваются.

Арина Пантелеймоновна. А по какой причине изволили одолжить посещением?

Яичница. А по газетам узнал я, что желаете вступить в подряды насчет поставки лесу и дров, и потому, находясь в должности экзекутора при казенном месте, я пришел узнать, какого роду лес, в каком количестве и к какому времени можете его поставить.

Арина Пантелеймоновна. Хоть подрядов никаких не берем, а приходу рады. А как по фамилии?

Яичница. Коллежский асессор Иван Павлович Яичница.

Арина Пантелеймоновна. Прошу покорнейше садиться. *(Обращается к Жевакину и смотрит на него.)* А позвольте узнать...

Жевакин. Я тоже, в газетах вижу объявляют о чем-то: дайка, думаю себе, пойду. Погода же показалась хорошею, по дороге везде травка...

Арина Пантелеймоновна. А как-с по фамилии?

Жевакин. А лейтенант морской службы в отставке, Балтазар Балтазаров Жевакин-второй. Был у нас еще другой Жевакин, да тот еще прежде моего вышел в отставку: был ранен, матушка, под коленком, и пуля так странно прошла, что коленка-то самого не тронула, а по жиле прохватила — как иголкой сшило, так что, когда, бывало, стоишь с ним, все кажется, что он хочет тебя коленком сзади ударить.

Арина Пантелеймоновна. А прошу покорнейше садиться. *(Обращаясь к Анучкину.)* А позвольте узнать, по какой причине?..

Анучкин. По соседству-с. Находясь довольно в близком соседстве...

Арина Пантелеймоновна. Не в доме ли купеческой жены Тулубовой, что насупротив, изволите жить?

Анучкин. Нет, я покамест живу еще на Песках, но имею, однако же, намерение со временем перебраться сюда-с в соседство, в эту часть города.

Арина Пантелеймоновна. А прошу покорнейше садиться. *(Обращаясь к Кочкареву.)* А позвольте узнать...

Кочкарев. Да неужели вы меня не узнаете? *(Обращаясь к Агафье Тихоновне.)* И вы также, сударыня?

Агафья Тихоновна. Сколько мне кажется, совсем не видала вас.

Кочкарев. Однако ж припомните. Вы меня, верно, где-нибудь видели.

Агафья Тихоновна. Право, не знаю. Уж разве не у Бирюшкиных ли?

Кочкарев. Именно, у Бирюшкиных.

Агафья Тихоновна. Ах, ведь вы не знаете, с ней ведь история случилась.

Кочкарев. Как же, вышла замуж.

Агафья Тихоновна. Нет, это бы еще хорошо, а то переломила ногу.

Арина Пантелеймоновна. И сильно переломила. Возвращалась довольно поздно домой на дрожках, а кучер-то был пьян и вывалил с дрожек.

Кочкарев. Да то-то я помню, что-то было: или вышла замуж, или переломила ногу.

Арина Пантелеймоновна. А как по фамилии?

Кочкарев. Как же, Илья Фомич Кочкарев, в родстве ведь мы. Жена моя беспрестанно говорит о том... Позвольте, позвольте *(берет за руку Подколесина и подводит его)*: приятель мой, Подколесин Иван Кузьмич, надворный советник; служит экспедитором, один все дела делает, усовершенствовал отличнейше свою часть.

Арина Пантелеймоновна. А как по фамилии?

Кочкарев. Подколесин Иван Кузьмич, Подколесин. Директор так только, для чина поставлен, а все дела он делает, Иван Кузьмич Подколесин.

Арина Пантелеймоновна. Так-с. Прошу покорнейше садиться.

## ЯВЛЕНИЕ XIX

Те же и Стариков.

Стариков *(кланяясь живо и скоро, по-купечески, и слегка берясь в бока)*. Здравствуйте, матушка Арина Пантелеевна. Ребята на Гостином дворе сказывали, что продаете шерсть, матушка!

Агафья Тихоновна *(отворачиваясь с пренебрежением, вполголоса, но так, что он слышит)*. Здесь не купеческая лавка.

Стариков. Вона! Аль невпопад пришли? Аль и без нас дело сварили?

Арина Пантелеймоновна. Прошу, прошу, Алексей Дмитриевич; хоть шерсти не продаем, а приходу рады. Прошу покорно садиться.

Все уселись. Молчание.

Яичница. Странная погода нынче: поутру совершенно было похоже на дождик, а теперь как будто и прошло.

Агафья Тихоновна. Да-с, уж эта погода ни на что не похожа: иногда ясно, а в другое время совершенно дождливая. Очень большая неприятность.

Жевакин. Вот в Сицилии, матушка, мы были с эскадрой в весеннее время,— если пригонять, так выйдет к нашему февралю,— выйдешь, бывало, из дому: день солнечный, а потом эдак дождик; и смотришь, точно, как будто дождик.

Яичница. Неприятнее всего, когда в такую погоду сидишь

один. Женатому человеку совсем другое дело — не скучно; а если в одиночестве — так это просто...

Жевакин. О, смерть, совершенная смерть!..

Анучкин. Да-с, это можно сказать...

Кочкарев. Какое! Просто терзанье! жизни не будешь рад; не приведи бог испытать такое положение.

Яичница. А как, сударыня, если бы пришлось вам избрать предмет? Позвольте узнать ваш вкус. Извините, что я так прямо. В какой службе, вы полагаете, быть приличнее мужу?

Жевакин. Хотели ли бы вы, сударыня, иметь мужем человека знакомого с морскими бурями?

Кочкарев. Нет, нет. Лучший, по моему мнению, муж есть человек, который один почти управляет всем департаментом.

Анучкин. Почему же предубеждение? Зачем вы хотите оказать пренебрежение к человеку, который хотя, конечно, служил в пехотной службе, но умеет, однако ж, ценить обхождение высшего общества.

Яичница. Сударыня, разрешите вы!

Агафья Тихоновна молчит.

Фекла. Отвечай же, мать моя. Скажи им что-нибудь.

Яичница. Как же, матушка?..

Кочкарев. Как же ваше мнение, Агафья Тихоновна?

Фекла *(тихо ей)*. Скажи же, скажи: благодарствую, мол, с моим удовольствием. Не хорошо же так сидеть.

Агафья Тихоновна *(тихо)*. Мне стыдно, право, стыдно, я уйду, право, уйду. Тетушка, посидите за меня.

Фекла. Ах, не делай этого сраму, не уходи; совсем осрамишься. Они невесть что подумают.

Агафья Тихоновна *(так же)*. Нет, право, уйду. Уйду, уйду! *(Убегает.)*

Фекла и Арина Пантелеймоновна уходят вслед за нею.

## ЯВЛЕНИЕ XX

Те же, кроме ушедших.

Яичница. Вот тебе на, и ушли все! Это что значит?

Кочкарев. Что-нибудь, верно, случилось.

Жевакин. Как-нибудь насчет дамского туалетца... Эдак поправить что-нибудь... манишечку... пришпилить.

Фекла входит. Все к ней навстречу с вопросами: «Что, что такое?»

Кочкарев. Что-нибудь случилось?

«Ревизор»

Худ. Ю. Коровин

Ф е к л а. Как можно, чтобы случилось. Ей-богу, ничего не случилось.

К о ч к а р е в. Да зачем же она вышла?

Ф е к л а. Да пристыдили, потому и вышла; совсем исконфузили, так что не высидела на месте. Просит извинить: ввечеру-де на чашку чаю чтобы пожаловали. *(Уходит.)*

Я и ч н и ц а *(в сторону)*. Ох уж эта мне чашка чаю! Вот за что не люблю сватаний — пойдет возня: сегодня нельзя, да пожалуйте завтра, да еще послезавтра на чашку, да нужно еще подумать. А ведь дело дрянь, ничуть не головоломное. Черт побери, я человек должностной, мне некогда.

К о ч к а р е в *(Подколесину)*. А ведь хозяйка недурна, а?

П о д к о л е с и н. Да, недурна.

Ж е в а к и н. А ведь хозяечка-то хороша.

К о ч к а р е в *(в сторону)*. Вот черт побери! Этот дурак влюбился. Еще будет мешать, пожалуй. *(Вслух.)* Совсем нехороша, совсем нехороша.

Я и ч н и ц а. Нос велик.

Ж е в а к и н. Ну, нет, носа я не заметил. Она... эдакой розанчик.

А н у ч к и н. Я сам тоже их мнения. Нет, не то, не то... Я даже думаю, что вряд ли она знакома с обхождением высшего общества. Да и знает ли она еще по-французски?

Ж е в а к и н. Да что ж вы, смею спросить, не попробовали, не поговорили с ней по-французски? Может быть, и знает.

А н у ч к и н. Вы думаете, я говорю по-французски? Нет, я не имел счастия воспользоваться таким воспитанием. Мой отец был мерзавец, скотина. Он и не думал меня выучить французскому языку. Я был тогда еще ребенком, меня легко было приучить — стоило только посечь хорошенько, и я бы знал, я бы непременно знал.

Ж е в а к и н. Ну, да теперь же, когда вы не знаете, что ж вам за прибыль, если она...

А н у ч к и н. А нет, нет. Женщина совсем другое дело. Нужно, чтобы она непременно знала, а без того у ней и то, и это... *(показывает жестами)* — все уж будет не то.

Я и ч н и ц а *(в сторону)*. Ну, об этом заботься кто другой. А я пойду да обсмотрю со двора дом и флигеля: если только все как следует, так сего же вечера добьюсь дела. Эти женишки мне не опасны — народ что-то больно жиденький. Таких невесты не любят.

Ж е в а к и н. Пойти выкурить трубочку. А что, не по дороге ли нам? Вы где, позвольте спросить, живете?

А н у ч к и н. А на Песках, в Петровском переулке.

Жевакин. Да-с, будет круг: я на острову, в Восемнадцатой линии; а впрочем, все-таки я вас попровожу.

Стариков. Нет, тут что-то спесьевато. Ай припомните потом, Агафья Тихоновна, и нас. С моим почтением, господа! *(Кланяется и уходит.)*

### ЯВЛЕНИЕ XXI

Подколесин и Кочкарев.

Подколесин. А что ж, пойдем и мы.

Кочкарев. Ну что, ведь правда, хозяйка мила?

Подколесин. Да что! мне, признаюсь, она не нравится.

Кочкарев. Вот на! это что? Да ведь ты сам согласился, что она хороша.

Подколесин. Да так, как-то не того: и нос длинный, и по-французски не знает.

Кочкарев. Это еще что? тебе на что по-французски?

Подколесин. Ну, все-таки невеста должна знать по-французски.

Кочкарев. Почему ж?

Подколесин. Да потому что... уж я не знаю почему, а все уж будет у ней не то.

Кочкарев. Ну вот, дурак сейчас один сказал, а он и уши развесил. Она красавица, просто красавица; такой девицы не сыщешь нигде.

Подколесин. Да мне самому сначала она было приглянулась, да после, как начали говорить: длинный нос, длинный нос,— ну, я рассмотрел, и вижу сам, что длинный нос.

Кочкарев. Эх ты, пирей, не нашел дверей! Они нарочно толкуют, чтобы тебя отвадить; и я тоже не хвалил,— так уж делается. Это, брат, такая девица! Ты рассмотри только глаза ее: ведь это черт знает что за глаза, говорят, дышат! А нос — я не знаю, что за нос! белизна — алебастр! Да и алебастр не всякий сравнится. Ты рассмотри сам хорошенько.

Подколесин *(улыбаясь)*. Да теперь-то я опять вижу, что она как будто хороша.

Кочкарев. Разумеется, хороша! Послушай, теперь, так как они все ушли, пойдем к ней, изъяснимся — и всё кончим!

Подколесин. Ну, этого я не сделаю.

Кочкарев. Отчего ж?

Подколесин. Да что ж за пахальство? Нас много, пусть она сама выберет.

Кочкарев. Ну да что тебе смотреть на них: боишься соперничества, что ли? Хочешь, я их всех в одну минуту спроважу.

Подколесин. Да как же ты их спровадишь?

Кочкарев. Ну, уж это мое дело. Дай мне только слово, что потом не будешь отнекиваться.

Подколесин. Почему ж не дать? изволь. Я не отпираюсь: я хочу жениться.

Кочкарев. Руку!

Подколесин *(подавая)*. Возьми!

Кочкарев. Ну, этого только мне и нужно.

Оба уходят.

## ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Комната в доме Агафьи Тихоновны.

### ЯВЛЕНИЕ I

Агафья Тихоновна одна, потом Кочкарев.

Агафья Тихоновна. Право, такое затруднение — выбор! Если бы еще один, два человека, а то четыре. Как хочешь, так и выбирай. Никанор Иванович недурен, хотя, конечно, худощав; Иван Кузьмич тоже недурен. Да если сказать правду, Иван Павлович тоже хоть и толст, а ведь очень видный мужчина. Прошу покорно, как тут быть? Балтазар Балтазарович опять мужчина с достоинствами. Уж как трудно решиться, так просто рассказать нельзя, как трудно! Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича — я бы тогда тотчас же решилась. А теперь поди подумай! просто голова даже стала болеть. Я думаю, лучше всего кинуть жребий. Положиться во всем на волю божию: кто выкинется, тот и муж. Напишу их всех на бумажках, сверну в трубочки, да и пусть будет что будет. *(Подходит к столику, вынимает оттуда ножницы и бумагу, нарезывает билетики и скатывает, продолжая говорить.)* Такое несчастное положение девицы, особливо еще влюбленной. Из мужчин никто не войдет в это, и даже просто не хотят понять этого. Вот они все, уж готовы! остается только положить их в ридикуль, зажмурить глаза, да и пусть будет что будет. *(Кладет билетики в ридикуль и мешает их рукою.)* Страшно... Ах, если бы бог дал, чтобы вынулся Никанор Иванович. Нет, отчего же он? Лучше ж Иван Кузьмич. Отчего же Иван Кузьмич? чем же худы те, другие?.. Нет, нет, не хочу... какой

выберется, такой пусть и будет. *(Шарит рукою в ридикуле и вынимает вместо одного все.)* Ух! все! все вынулись! А сердце так и колотится! Нет, одного! одного! непременно одного! *(Кладет билетики в ридикуль и мешает.)*

В это время входит потихоньку Кочкарев и становится позади.

Ах, если бы вынуть Балтазара... Что я! хотела сказать Никанора Ивановича... нет, не хочу, не хочу. Кого прикажет судьба!

Кочкарев. Да возьмите Ивана Кузьмича, всех лучше.

Агафья Тихоновна. Ах! *(Вскрикивает и закрывает лицо обеими руками, страшась взглянуть назад.)*

Кочкарев. Да чего ж вы испугались? Не пугайтесь, это я. Право, возьмите Ивана Кузьмича.

Агафья Тихоновна. Ах, мне стыдно, вы подслушали.

Кочкарев. Ничего, ничего! Ведь я свой, родня, передо мною нечего стыдиться; откройте же ваше личико.

Агафья Тихоновна *(вполовину открывая лицо)*. Мне, право, стыдно.

Кочкарев. Ну, возьмите же Ивана Кузьмича.

Агафья Тихоновна. Ах! *(Вскрикивает и закрывается вновь руками.)*

Кочкарев. Право, чудо человек, усовершенствовал часть свою... просто удивительный человек.

Агафья Тихоновна *(понемногу открывает лицо)*. Как же, а другой? а Никанор Иванович? ведь он тоже хороший человек.

Кочкарев. Помилуйте, это дрянь против Ивана Кузьмича.

Агафья Тихоновна. Отчего же?

Кочкарев. Ясно, отчего. Иван Кузьмич человек... ну, просто человек... человек, каких не сыщешь.

Агафья Тихоновна. Ну, а Иван Павлович?

Кочкарев. И Иван Павлович дрянь! все они дрянь.

Агафья Тихоновна. Будто бы уж все?

Кочкарев. Да вы только посудите, сравните только: это, как бы то ни было, Иван Кузьмич; а ведь то что ни попало: Иван Павлович, Никанор Иванович, черт знает что такое!

Агафья Тихоновна. А ведь, право, они очень... скромные.

Кочкарев. Какое скромные! Драчуны, самый буйный народ. Охота же вам быть прибитой на другой день после свадьбы.

Агафья Тихоновна. Ах боже мой! Уже это точно такое несчастие, хуже которого не может быть.

Кочкарев. Еще бы! Хуже этого и не выдумаешь ничего.

Агафья Тихоновна. Так, по вашему совету, лучше взять Ивана Кузьмича?

Кочкарев. Ивана Кузьмича, натурально Ивана Кузьмича.

*(В сторону.)* Дело, кажется, идет на лад. Подколесин сидит в кондитерской, пойти поскорей за ним.

Агафья Тихоновна. Так вы думаете — Ивана Кузьмича?

Кочкарев. Непременно Ивана Кузьмича.

Агафья Тихоновна. А тем, другим, разве отказать?

Кочкарев. Конечно, отказать.

Агафья Тихоновна. Да ведь как же это сделать? как-то стыдно.

Кочкарев. Почему ж стыдно? Скажите, что еще молоды и не хотите замуж.

Агафья Тихоновна. Да ведь они не поверят, станут спрашивать: да почему, да как?

Кочкарев. Ну, так если вы хотите кончить за одним разом, скажите просто: «Пошли вон, дураки!»

Агафья Тихоновна. Как же можно так сказать?

Кочкарев. Ну да уж попробуйте. Я вас уверяю, что после этого все выбегут вон.

Агафья Тихоновна. Да ведь это выйдет уж как-то бранно.

Кочкарев. Да ведь вы больше их не увидите, так не все ли равно?

Агафья Тихоновна. Да все как-то нехорошо... они ведь рассердятся.

Кочкарев. Какая ж беда, если рассердятся? Если бы из этого что бы нибудь вышло, тогда другое дело; а ведь здесь самое большее, если кто-нибудь из них плюнет в глаза, вот и все.

Агафья Тихоновна. Ну вот видите!

Кочкарев. Да что же за беда? Ведь иным плевали несколько раз, ей-богу! Я знаю тоже одного: прекраснейший собой мужчина, румянец во всю щеку; до тех пор егозил и надоедал своему начальнику о прибавке жалованья, что тот наконец не вынес — плюнул в самое лицо, ей-богу! «Вот тебе, говорит, твоя прибавка, отвяжись, сатана!» А жалованья, однако же, все-таки прибавил. Так что ж из того, что плюнет? Если бы, другое дело, был далеко платок, а то ведь он тут же, в кармане,— взял да и вытер.

В сенях звонят.

Стучатся: кто-нибудь из них, верно; я бы не хотел теперь с ними встретиться. Нет ли у вас там другого выхода?

Агафья Тихоновна. Как же, по черной лестнице. Но, право, я вся дрожу.

Кочкарев. Ничего, только присутствие духа. Прощайте! *(В сторону.)* Поскорей приведу Подколесина.

ЯВЛЕНИЕ II

Агафья Тихоновна и Яичница.

Яичница. Я нарочно, сударыня, пришел немного пораньше, чтобы поговорить с вами наедине, на досуге. Ну, сударыня, насчет чина, я уже полагаю, вам известно: служу коллежским асессором, любим начальниками, подчиненные слушаются... недостает только одного: подруги жизни.

Агафья Тихоновна. Да-с.

Яичница. Теперь я нахожу подругу жизни. Подруга эта — вы. Скажите напрямик: да или нет? *(Смотрит ей в плеча; в сторону.)* О, она не то, что как бывают худенькие немки,— кое-что есть!

Агафья Тихоновна. Я еще очень молода-с... не расположена еще замуж.

Яичница. Помилуйте, а сваха зачем хлопочет? Но, может быть, вы хотите что-нибудь другое сказать? изъяснитесь...

Слышен колокольчик.

Черт побери, никак не дадут делом заняться.

ЯВЛЕНИЕ III

Те же и Жевакин.

Жевакин. Извините, сударыня, что я, может быть, слишком рано. *(Оборачивается и видит Яичницу.)* Ах, уж есть... Ивану Павловичу мое почтение!

Яичница *(в сторону)*. Провалился бы ты со своим почтением! *(Вслух.)* Так как же, сударыня?.. Скажите одно только слово: да или нет?..

Слышен колокольчик; Яичница плюет с сердцов.

Опять колокольчик!

ЯВЛЕНИЕ IV

Те же и Анучкин.

Анучкин. Может быть, я, сударыня, ранее, чем следует и повелевает долг приличия... *(Видя прочих, испускает восклицание и раскланивается.)* Мое почтение!

Яичница *(в сторону)*. Возьми себе свое почтение! Нелегкая тебя принесла, подломились бы тебе твои поджарые ноги! *(Вслух.)*

Так как же, сударыня, решите,— я человек должностной, времени у меня немного: да или нет?

Агафья Тихоновна *(в смущении)*. Не нужно-с... не нужно-с... *(В сторону.)* Ничего не понимаю, что говорю.

Яичница. Как не нужно? в каком отношении не нужно?

Агафья Тихоновна. Ничего-с, ничего... Я не того-с... *(Собираясь с духом.)* Пошли вон!.. *(В сторону, всплеснувши руками.)* Ах, боже мой, что я такое сказала?

Яичница. Как «пошли вон»? Что такое значит «пошли вон»? Позвольте узнать, что вы разумеете под этим? *(Подбоченившись, подступает к ней грозно.)*

Агафья Тихоновна *(взглянув ему в лицо, вскрикивает)*. Ух, прибьет, прибьет! *(Убегает.)*

Яичница стоит разинувши рот. Вбегает на крик Арина Пантелеймоновна и, взглянув ему в лицо, вскрикивает тоже: «Ух, прибьет!» — и убегает.

Яичница. Что за притча такая. Вот, право, история!

В дверях звенит звонок и слышны голоса.

Голос Кочкарева. Да входи, входи, что ж ты остановился?

Голос Подколесина. Да ступай ты вперед. Я только на минуту: оправлюсь, расстегнулась стремешка.

Голос Кочкарева. Да ты улизнешь опять.

Голос Подколесина. Нет, не улизну! ей-богу, не улизну!

## ЯВЛЕНИЕ V

Те же и Кочкарев.

Кочкарев. Ну вот, очень нужно поправлять стремешку.

Яичница *(обращаясь к нему)*. Скажите, пожалуйста, невеста дура, что ли?

Кочкарев. А что? случилось разве что?

Яичница. Да непонятные поступки: выбежала, стала кричать: «Прибьет, прибьет!» Черт знает что такое!

Кочкарев. Ну да, это за ней водится. Она дура.

Яичница. Скажите, ведь вы ей родственник?

Кочкарев. Как же, родственник.

Яичница. А как родственник, позвольте узнать?

Кочкарев. Право, не знаю: как-то тетка моей матери что-то такое ее отцу или отец ее что-то такое моей тетке — об этом знает жена моя, это их дело.

Яичница. И давно за ней водится дурь?

Кочкарев. А еще с самого сызмала.

Яичница. Да, конечно, лучше, если бы она была умней, а впрочем, и дура тоже хорошо. Были бы только статьи прибавочные в хорошем порядке.

Кочкарев. Да ведь за ней ничего нет.

Яичница. Как так, а каменный дом?

Кочкарев. Да ведь только слава, что каменный, а знали бы вы, как он выстроен: стены ведь выведены в один кирпич, а в середине всякая дрянь — мусор, щепки, стружки.

Яичница. Что вы?

Кочкарев. Разумеется. Будто не знаете, как теперь строятся домы? — лишь бы только в ломбард заложить.

Яичница. Однако ж ведь дом не заложен.

Кочкарев. А кто вам сказал? Вот в том-то и дело — не только заложен, да за два года еще проценты не выплачены. Да в сенате есть еще брат, который тоже запускает глаза на дом; сутяги такого свет не производил: с родной матери последнюю юбку снял, безбожник!

Яичница. Как же мне старуха сваха... Ах она бестия эдакая, изверг рода челове... *(В сторону.)* Однако ж он, может быть, и врет. Под строжайший допрос старуху, и если только правда... ну... я заставлю запеть ее не так, как другие поют.

Анучкин. Позвольте вас побеспокоить тоже вопросом. Признаюсь, не зная французского языка, чрезвычайно трудно судить самому, знает ли женщина по-французски или нет. Как хозяйка дома, знает?..

Кочкарев. Ни бельмеса.

Анучкин. Что вы?

Кочкарев. Как же? я это очень хорошо знаю. Она училась вместе с женой в пансионе, известная была ленивица, вечно в дурацкой шапке сидит. А французский учитель просто бил ее палкой.

Анучкин. Представьте же, что у меня с первого разу, как только ее увидел, было какое-то предчувствие, что она не знает по-французски.

Яичница. Ну, черт с французским! Но как сваха-то проклятая... Ах ты, бестия эдакая, ведьма! Ведь если бы вы знали, какими словами она расписала! Живописец, вот совершенный живописец! «Дом, флигеля, говорит, на фундаментах, серебряные ложки, сани»,— вот садись, да и катайся! — словом, в романе редко выберется такая страница. Ах ты, подошва ты старая! Попадись только ты мне...

## ЯВЛЕНИЕ VI

Те же и Фекла.
Все, увидев ее, обращаются к ней с следующими словами:

Яичница. А! вот она! А подойди-ка сюда, старая греховодница! а подойди-ка сюда!

Анучкин. Так-то вы обманули меня, Фекла Ивановна?

Кочкарев. Ну-ка ступай, Варвара, на расправу!

Фекла. И ни слова не разберу: оглушили совсем!

Яичница. Дом строен в один кирпич, старая подошва, а ты наврала: и с мезонинами, и черт знает с чем.

Фекла. А не знаю, не я строила. Может быть, нужно было в один кирпич, оттого так и построили.

Яичница. Да и в ломбард еще заложен! Черти б тебя съели, ведьма ты проклятая! *(Притопывая ногой.)*

Фекла. Смотри ты какой! Еще и бранится. Иной бы благодарить стал за удовольствие, что хлопотала о нем.

Анучкин. Да, Фекла Ивановна, вот вы и мне тоже насказали, что она знает по-французски.

Фекла. Знает, родимый, все знает, и по-немецкому, и по-всякому; какие хочешь манеры — всё знает.

Анучкин. Ну нет, кажется, она только по-русски и говорит.

Фекла. Что ж тут худого? Понятливее по-русски, потому и говорит по-русски. А кабы умела по-басурмански, то тебе же хуже — и сам бы не понял ничего. Уж тут нечего толковать про русскую речь! речь звестно какая: все святые говорили по-русски.

Яичница. А подойди-ка сюда, проклятая! подойди-ка ко мне!

Фекла *(пятясь ближе к дверям)*. И не подойду, я знаю тебя. Ты человек тяжелый, ни за что прибьешь.

Яичница. Ну, смотри, голубушка, это не пройдет тебе! Вот я тебя как сведу в полицию, так ты у меня будешь знать, как обманывать честных людей. Вот ты увидишь! А невесте скажи, что она подлец! Слышишь, непременно скажи. *(Уходит.)*

Фекла. Смотри ты какой! расходился как! Что толст, так думает, ему и равного никого нет. А я скажу, что ты сам подлец, вот что!

Анучкин. Признаюсь, любезнейшая, никак не думал я, чтобы вы стали так обманывать. Знай я, что невеста с таким образованием, да я... да и нога бы моя просто не была здесь. Вот как-с. *(Уходит.)*

Фекла. Белены объелись или выпили лишнее! Вишь, переборщики нашлись какие! Свела с ума глупая грамота!

## ЯВЛЕНИЕ VII

Фекла, Кочкарев, Жевакин.
Кочкарев хохочет во все горло, смотря на Феклу и указывая на нее пальцем.

Фекла *(с досадою)*. Ты что горло дерешь?

Кочкарев продолжает хохотать.

Эк как разобрало его!

Кочкарев. Сваха-то! сваха-то! Мастерица женить! знает, как повести дело! *(Продолжает хохотать.)*

Фекла. Эк его заливается! Знать, покойница свихнула с ума в тот час, как тебя рожала! *(Уходит с досадою.)*

## ЯВЛЕНИЕ VIII

Кочкарев, Жевакин.

Кочкарев *(продолжая хохотать)*. Ох, не могу, право не могу! Силы не выдержат, чувствую, что тресну от смеха! *(Продолжает хохотать.)*

Жевакин, глядя на него, начинает тоже смеяться.

*(В усталости валится на стул.)* Ох, право, выбился из сил. Чувствую, что если засмеюсь еще, порву последние жилы.

Жевакин. Мне нравится веселость вашего нрава. У нас в эскадре капитана Болдырева был мичман Петухов, Антон Иванович; тоже эдак был веселого нрава. Бывало, ему, ничего больше, покажешь эдак один палец — вдруг засмеется, ей-богу, и до самого вечера смеется. Ну, глядя на него, бывало, и себе сделается смешно, и смотришь, наконец, и сам точно эдак смеешься.

Кочкарев *(переводя дыханье)*. Ох, господи, помилуй нас, грешных! Ну что она вздумала, дура? Ну, куда ж ей женить, ей ли женить? Вот я женю так женю!

Жевакин. Нет? так вы можете не в шутку женить?

Кочкарев. Еще бы! кого угодно на ком угодно.

Жевакин. Если так, жените меня на здешней хозяйке.

Кочкарев. Вас? да зачем вам жениться?

Жевакин. Как зачем? вот, позвольте заметить, странный немножко вопрос! А известное дело зачем.

Кочкарев. Да ведь вы слышали, у ней приданого ничего нет.

Жевакин. На нет и суда нет. Конечно, это дурно, а впрочем, с эдакою прелюбезною девицею, с ее обхожденьями, можно прожить и без приданого. Небольшая комнатка *(размеривает примерно руками)*, эдак здесь маленькая прихожая, небольшая ширмочка или какая-нибудь вроде эдакой перегородки...

Кочкарев. Да что вам в ней так понравилось?

Жевакин. А сказать правду — мне понравилась она потому, что полная женщина. Я большой аматёр со стороны женской полноты.

Кочкарев *(поглядывая на него искоса, говорит в сторону)*. А ведь сам уж куды не пощеголяет; точно кисет, из которого вытрясли табак. *(Вслух.)* Нет, вам совсем не следует жениться.

Жевакин. Как так?

Кочкарев. Да так. Ну что у вас за фигура, между нами будь сказано? Нога петушья...

Жевакин. Петушья?

Кочкарев. Конечно. Что с вас за вид!

Жевакин. То есть как, однако же, петушья нога?

Кочкарев. Да просто, петушья.

Жевакин. Мне кажется, это, однако ж, касается насчет личности...

Кочкарев. Да ведь я говорю потому, что знаю: вы рассудительный человек; другому я не скажу. Я вас женю, извольте,— только на другой.

Жевакин. Нет уж, я бы просил, чтобы на другой меня не женили. Уж будьте эдак благодетельны, чтобы на этой.

Кочкарев. Извольте, женю! Только с условием: вы не мешайтесь ни во что и не показывайтесь даже на глаза невесте. Я всё сделаю без вас.

Жевакин. Да как, *однако же, всё без меня? Все-таки мне* хоть на глаза нужно будет показаться.

Кочкарев. Совсем не нужно. Идите домой и ждите; сего же вечера все будет сделано.

Жевакин *(потирает руки)*. А вот это уж куды бы хорошо! Да не нужно ли аттестат, послужной список? Может быть, невеста захочет полюбопытствовать? Я сбегаю за ними в минуту.

Кочкарев. Ничего не нужно, отправляйтесь только домой. Я вам сегодня же дам знать. *(Выпровожает его.)* Да, черта с два, как бы не так! Что ж это? Что ж это Подколесин не идет? Это, однако ж, странно. Неужели он до сих пор поправляет свою стремешку? Уж не побежать ли за ним?

## ЯВЛЕНИЕ IX

Кочкарев, Агафья Тихоновна.

Агафья Тихоновна *(осматриваясь)*. Что, ушли? никого нет?

Кочкарев. Ушли, ушли, никого.

Агафья Тихоновна. Ах, если бы вы знали, как я вся дрожала! Эдакого, точно, еще никогда не бывало со мною. Но только какой страшный этот Яичница! Какой он должен быть тиран для жены. Мне все так вот и кажется, что он сейчас воротится.

Кочкарев. О, ни за что не воротится. Я ставлю голову, если который-нибудь из них двух покажет пос свой здесь.

Агафья Тихоновна. А третий?

Кочкарев. Какой третий?

Жевакин *(высовывает голову в двери)*. Смерть хочется знать, как она будет изъясняться обо мне своим ротиком... розанчик эдакой!

Агафья Тихоновна. А Балтазар Балтазарович?

Жевакин. А, вот оно! вот оно! *(Потирает руки.)*

Кочкарев. Фу-ты, пропасть! Я думал, о ком вы говорите. Да ведь это просто черт знает что, набитый дурак.

Жевакин. Это что такое? Уж этого я, признаюсь, никак не понимаю.

Агафья Тихоновна. А он, однако же, на вид показался очень хорошим человеком.

Кочкарев. Пьяница!

Жевакин. Ей-богу, не понимаю.

Агафья Тихоновна. Неужели и пьяница еще?

Кочкарев. Помилуйте, отъявленный мерзавец!

Жевакин *(громко)*. Нет, позвольте, уж этого я никак не просил вас говорить. Что-нибудь замолвить в мой профит, похвалить — другое дело; а чтобы эдаким образом, эдакими словами — уж извольте разве кого-нибудь другого, а уж я слуга покорный!

Кочкарев *(в сторону.)* Как это угораздило его подвернуться? *(Агафье Тихоновне, вполголоса.)* Смотрите, смотрите: на ногах не держится. Эдакое мыслéте он всякий день пишет. Прогоните его, да и концы в воду! *(В сторону.)* А Подколесина нет как нет. Экой мерзавец! Уж я ж вымещу на нем! *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ X

Агафья Тихоновна и Жевакин.

Жевакин *(в сторону)*. Обещался хвалить, а вместо того выбранил! Престранный человек! *(Вслух.)* Вы, сударыня, не верьте...

Агафья Тихоновна. Извините, мне нездоровится... болит-с голова. *(Хочет уйти.)*

Жевакин. Но, может быть, вам что-нибудь во мне не нравится? *(Указывая на голову.)* Вы не глядите на то, что у меня здесь маленькая плешина. Это ничего, это от лихорадки; волоса сейчас вырастут.

Агафья Тихоновна. Мне все равно-с, что бы у вас там ни было.

Жевакин. У меня, сударыня... если надену черный фрак, так цвет лица будет побелее.

Агафья Тихоновна. Для вас лучше. Прощайте! *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ XI

Жевакин один, говорит вслед ей.

Сударыня, позвольте, скажите причину: зачем? почему? Или во мне какой-либо существенный есть изъян, что ли?.. Ушла! Престранный случай! Вот уж, никак, в семнадцатый раз случается со мною, и всё почти одинаким образом: кажется, эдак сначала все хорошо, а как дойдет дело до развязки — смотришь, и откажут. *(Ходит по комнате в размышлении.)* Да... Вот эта уж будет, никак, семнадцатая невеста! И чего же ей, однако ж, хочется? Чего бы ей, например, эдак... с какой стати... *(Подумав.)* Темно, чрезвычайно темно! Добро бы был нехорош чем. *(Осматривается.)* Кажется, нельзя сказать этого — всё слава богу, натура не обидела. Непонятно. Разве не пойти ли домой да порыться в сундучке? Там у меня были стишки, против которых точно ни одна не устоит... Ей-богу, уму непонятно! Сначала, кажись, повезло... Видно, приходится поворотить назад оглобли. А жаль, право, жаль. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ XII

Подколесин и Кочкарев входят и оба оглядываются назад.

Кочкарев. Он не заметил нас! Видел, с каким длинным носом вышел?

Подколесин. Неужели и ему так же отказано, как и тем?

Кочкарев. Наотрез.

Подколесин *(с самодовольною улыбкой.)* А преконфузно, однако же, должно быть, если откажут.

Кочкарев. Еще бы!

Подколесин. Я все еще не верю, чтобы она прямо сказала, будто предпочитает меня всем.

Кочкарев. Какое предпочитает! Она от тебя просто без памяти. Такая любовь: одних имен каких надавала. Такая страсть — так просто и кипит!

Подколесин *(самодовольно усмехается)*. А ведь в самом деле — женщина, если захочет, каких слов не наскажет. Век бы не выдумал: мордашечка, таракашечка, чернушка...

Кочкарев. Что еще эти слова! Вот как женишься, так ты увидишь в первые два месяца, какие пойдут слова. Просто, брат, ну вот так и таешь.

Подколесин *(усмехается)*. Будто?

Кочкарев. Как честный человек! Послушай, теперь, однако ж, скорее к делу. Изъясни ей и открой сию же минуту сердце и требуй руки.

Подколесин. Но как же сию минуту? что ты!

Кочкарев. Непременно сию же минуту... А вот и она сама.

## ЯВЛЕНИЕ XIII

Те же и Агафья Тихоновна.

Кочкарев. Я привел к вам, сударыня, смертного, которого вы видите. Еще никогда не было так влюбленного — просто не приведи бог, и неприятелю не пожелаю...

Подколесин *(толкая его под руку, тихо)*. Ну, уж ты, брат, кажется, слишком.

Кочкарев *(ему)*. Ничего, ничего. *(Ей, тихо.)* Будьте посмелее, он очень смирен; старайтесь быть как можно развязнее. Эдак поворотите как-нибудь бровями или, потупивши глаза, так вдруг и срезать его, злодея, или выставьте ему как-нибудь плечо, и пусть его, мерзавец, смотрит! Напрасно, впрочем, вы не надели платья с короткими рукавами; да, впрочем, и это хорошо. *(Вслух.)* Ну, я оставляю вас в приятном обществе! Я на минуточку загляну только к вам в столовую и на кухню; нужно распорядиться: сейчас придет официант, которому заказан ужин; может быть, и вина принесены... До свиданья! *(Подколесину.)* Смелее, смелее! *(Уходит.)*

## ЯВЛЕНИЕ XIV

Подколесин и Агафья Тихоновна.

Агафья Тихоновна. Прошу покорнейше садиться.

Садятся и молчат.

Подколесин. Вы, сударыня, любите кататься?

Агафья Тихоновна. Как-с кататься?

Подколесин. На даче очень приятно летом кататься в лодке.

Агафья Тихоновна. Да-с, иногда с знакомыми прогуливаемся.

Подколесин. Какое-то лето будет — неизвестно.

Агафья Тихоновна. А желательно, чтобы было хорошее.

Оба молчат.

Подколесин. Вы, сударыня, какой цветок больше любите?

Агафья Тихоновна. Который покрепче пахнет-с; гвоздику-с.

Подколесин. Дамам очень идут цветы.

Агафья Тихоновна. Да, приятное занятие.

Молчание.

В которой церкви вы были прошлое воскресенье?

Подколесин. В Вознесенской, а неделю назад тому был в Казанском соборе. Впрочем, молиться все равно, в какой бы ни было церкви. В той только украшение лучше.

Молчат. Подколесин барабанит пальцами по столу.

Вот скоро будет екатерингофское гулянье.

Агафья Тихоновна. Да, чрез месяц, кажется.

Подколесин. Даже и месяца не будет.

Агафья Тихоновна. Должно быть, веселое будет гулянье.

Подколесин. Сегодня восьмое число. *(Считает по пальцам.)* Девятое, десятое, одиннадцатое... чрез двадцать два дни.

Агафья Тихоновна. Представьте, как скоро!

Подколесин. Я сегодняшнего дни даже не считаю.

Молчание.

Какой это смелый русский народ!

Агафья Тихоновна. Как?

Подколесин. А работники. Стоит на самой верхушке...

Я проходил мимо дома, так щекатурщик штукатурит и не боится ничего.

Агафья Тихоновна. Да-с. Так это в каком месте?

Подколесин. А вот по дороге, по которой я хожу всякий день в департамент. Я ведь каждое утро хожу в должность.

Молчание. Подколесин опять начинает барабанить пальцами, наконец берется за шляпу и раскланивается.

Агафья Тихоновна. А вы уже хотите...

Подколесин. Да-с. Извините, что, может быть, наскучил вам.

Агафья Тихоновна. Как-с можно! Напротив, я должна благодарить за подобное препровождение времени.

Подколесин *(улыбаясь)*. А мне так, право, кажется, что я наскучил.

Агафья Тихоновна. Ах, право, нет.

Подколесин. Ну, так если нет, так позвольте мне и в другое время, вечерком когда-нибудь...

Агафья Тихоновна. Очень приятно-с.

Раскланиваются. Подколесин уходит.

### ЯВЛЕНИЕ XV

Агафья Тихоновна одна.

Какой достойный человек! Я теперь только узнала его хорошенько; право, нельзя не полюбить: и скромный, и рассудительный. Да, приятель его давича справедливо сказал; жаль только, что он так скоро ушел, а я бы еще хотела его послушать. Как приятно с ним говорить! И ведь, главное, то хорошо, что совсем не пустословит. Я было хотела ему тоже словца два сказать, да, признаюсь, оробела, сердце так стало биться... Какой превосходный человек! Пойду расскажу тетушке. *(Уходит.)*

### ЯВЛЕНИЕ XVI

Подколесин и Кочкарев входят.

Кочкарев. Да зачем домой? Вздор какой! Зачем домой?

Подколесин. Да зачем же мне оставаться здесь? Ведь я все уже сказал, что следует.

Кочкарев. Стало быть, сердце ей ты уж открыл?

Подколесин. Да вот только разве что сердце еще не открыл.

Кочкарев. Вот те история! Зачем же не открыл?

Подколесин. Ну, да как же ты хочешь, не поговоря прежде ни о чем, вдруг сказать с боку припеку: «Сударыня, дайте я на вас женюсь!»

Кочкарев. Ну да о чем же вы, о каком вздоре толковали битых полчаса?

Подколесин. Ну, мы переговорили обо всем, и, признаюсь, я очень доволен; с большим удовольствием провел время.

Кочкарев. Да послушай, посуди ты сам: когда же все это успеем? Ведь через час нужно ехать в церковь, под венец.

Подколесин. Что ты, с ума сошел? Сегодня под венец!

Кочкарев. Почему ж нет?

Подколесин. Сегодня под венец!

Кочкарев. Да ведь ты ж сам дал слово, сказал, что как только женихи будут прогнаны — сейчас готов жениться.

Подколесин. Ну, я и теперь не прочь от слова. Только не сейчас же; месяц, по крайней мере, нужно дать роздыху.

Кочкарев. Месяц!

Подколесин. Да, конечно.

Кочкарев. Да ты с ума сошел, что ли?

Подколесин. Да меньше месяца нельзя.

Кочкарев. Да ведь я официанту заказал ужин, бревно ты! Ну, послушай, Иван Кузьмич, не упрямься, душенька, женись теперь.

Подколесин. Помилуй, брат, что ты говоришь? как же теперь?

Кочкарев. Иван Кузьмич, ну я тебя прошу. Если не хочешь для себя, так для меня, по крайней мере.

Подколесин. Да, право, нельзя.

Кочкарев. Можно, душа, все можно. Ну, пожалуйста, не капризничай, душенька!

Подколесин. Да, право, нет. Неловко, совсем неловко.

Кочкарев. Да что неловко? кто тебе сказал это? Ты посуди сам, ведь ты человек умный. Я говорю тебе это не с тем, чтобы к тебе подольститься, не потому, что ты экспедитор, а просто говорю из любви... Ну, полно же, душенька, решись, взгляни оком благоразумного человека.

Подколесин. Да если бы было можно, так я бы...

Кочкарев. Иван Кузьмич! Лапушка, милочка! Ну хочешь ли, я стану на колени перед тобой?

Подколесин. Да зачем же?..

Кочкарев *(становясь на колени)*. Ну, вот я и на коленях! Ну, видишь сам, прошу тебя. Век не забуду твоей услуги, не упрямься, душенька!

Подколесин. Ну нельзя, брат, право, нельзя.

Кочкарев *(вставая, в сердцах)*. Свинья!

Подколесин. Пожалуй, бранись себе.

Кочкарев. Глупый человек! Еще никогда не было такого.

Подколесин. Бранись, бранись.

Кочкарев. Я для кого же старался, из чего бился? Все для твоей, дурак, пользы. Ведь что мне? Я сейчас брошу тебя; мне какое дело?

Подколесин. Да кто ж просил тебя хлопотать? Пожалуй, бросай.

Кочкарев. Да ведь ты пропадешь, ведь ты без меня ничего не сделаешь. Не жени тебя, ведь ты век останешься дураком.

Подколесин. Тебе что до того?

Кочкарев. О тебе, деревянная башка, стараюсь.

Подколесин. Я не хочу твоих стараний.

Кочкарев. Ну так ступай же к черту!

Подколесин. Ну и пойду.

Кочкарев. Туда тебе и дорога!

Подколесин. Что ж, и пойду.

Кочкарев. Ступай, ступай, и чтобы ты себе сейчас же переломил ногу. Вот от души посылаю тебе желание, чтобы тебе пьяный извозчик въехал дышлом в самую глотку! Тряпка, а не чиновник! Вот клянусь тебе, что теперь между нами все кончилось, и на глаза мне больше не показывайся!

Подколесин. И не покажусь. *(Уходит.)*

Кочкарев. К дьяволу, к своему старому приятелю! *(Отворяя дверь, кричит ему вслед.)* Дурак!

### ЯВЛЕНИЕ XVII

Кочкарев один, ходит в сильном движении взад и вперед.

Ну был ли когда виден на свете подобный человек? Эдакой дурак! Да если уж пошло на правду, то и я хорош. Ну скажите, пожалуйста, вот я на вас всех сошлюсь. Ну не олух ли я, не глуп ли я? Из чего бьюсь, кричу, инда горло пересохло? Скажите, что он мне? родня, что ли? И что я ему такое: нянька, тетка, свекруха, кума, что ли? Из какого же дьявола, из чего, из чего я хлопочу о нем, не даю себе покою, нелегкая прибрала бы его совсем? А просто черт знает из чего! Поди ты спроси иной раз человека, из чего он что-нибудь делает! Эдакой мерзавец! Какая противная, подлая рожа! Взял бы тебя, глупую животину, да щелчками бы тебя в нос, в уши, в рот, в зубы — во всякое место! *(В сердцах дает несколько щелчков на воздух.)* Ведь вот что досадно: вышел себе — ему и горя мало; с него все это так, как с гуся вода,— вот что нестер-

пимо! Пойдет к себе на квартиру и будет лежать да покуривать трубку. Экое противное созданье! Бывают противные рожи, но ведь эдакой просто не выдумаешь; не сочинишь хуже этой рожи, ей-богу, не сочинишь! Так вот нет же, пойду нарочно ворочу его, бездельника! Не дам улизнуть, пойду приведу подлеца! *(Убегает.)*

### ЯВЛЕНИЕ XVIII

Агафья Тихоновна входит.

Уж так, право, бьется сердце, что изъяснить трудно. Везде, куды ни поворочусь, везде так вот и стоит Иван Кузьмич. Точно правда, что от судьбы никак нельзя уйти. Давича совершенно хотела было думать о другом, но чем ни займусь — пробовала сматывать нитки, шила ридикуль,— а Иван Кузьмич все так вот и лезет в руку. *(Помолчав.)* И так вот, наконец, ожидает меня перемена состояния! Возьмут меня, поведут в церковь... потом оставят одну с мужчиною — уф! Дрожь так меня и пробирает. Прощай, прежняя моя девичья жизнь! *(Плачет.)* Столько лет провела в спокойствии. Вот жила, жила — а теперь приходится выходить замуж! Одних забот сколько: дети, мальчишки, народ драчливый; а там и девочки пойдут; подрастут — выдавай их замуж. Хорошо еще, если выйдут за хороших, а если за пьяниц или за таких, что готов сегодня же поставить на карточку все, что ни есть на нем! *(Начинает мало-помалу опять рыдать.)* Не удалось и повеселиться мне девическим состоянием, и двадцати семи лет не пробыла в девках... *(Переменяя голос.)* Да что ж Иван Кузьмич так долго мешкается?

### ЯВЛЕНИЕ XIX

Агафья Тихоновна и Подколесин (выталкивается на сцену из дверей двумя руками Кочкарева).

Подколесин *(запинаясь)*. Я пришел вам, сударыня, изъяснить одно дельце... Только я бы хотел прежде знать, не покажется ли оно вам странным?

Агафья Тихоновна *(потупляя глаза)*. Что же такое?

Подколесин. Нет, сударыня, вы скажите наперед: не покажется ли вам странно?

Агафья Тихоновна *(так же)*. Не могу знать, что такое.

Подколесин. Но признайтесь: верно, вам покажется странным то, что я вам скажу?

Агафья Тихоновна. Помилуйте, как можно, чтобы было странно,— от вас все приятно слышать.

Подколесин. Но этого вы еще никогда не слышали.

Агафья Тихоновна потупляет еще более глаза; в это время входит потихоньку Кочкарев и становится у него за плечами.

Это вот в чем... Но пусть лучше я вам скажу когда-нибудь после.

Агафья Тихоновна. А что же это такое?

Подколесин. А это... Я хотел было, признаюсь, теперь объявить вам это, да все еще как-то сомневаюсь.

Кочкарев *(про себя, складывая руки)*. Господи ты боже мой, что это за человек! Это просто старый бабий башмак, а не человек, насмешка над человеком, сатира на человека!

Агафья Тихоновна. Отчего же вы сомневаетесь?

Подколесин. Да все как-то берет сомнение.

Кочкарев *(вслух)*. Как это глупо, как это глупо! Да вы, сударыня, видите: он просит руки вашей, желает объявить, что он без вас не может жить, существовать. Спрашивает только, согласны ли вы его осчастливить.

Подколесин *(почти испугавшись, толкает его, произнося тихо)*. Помилуй, что ты!

Кочкарев. Так что ж, сударыня! Решаетесь вы сему смертному доставить счастие?

Агафья Тихоновна. Я никак не смею думать, чтобы я могла составить счастие... А впрочем, я согласна.

Кочкарев. Натурально, натурально, так бы давно. Давайте ваши руки!

Подколесин. Сейчас! *(Хочет сказать что-то ему на ухо. Кочкарев показывает ему кулак и хмурит брови; он дает руку.)*

Кочкарев *(соединяя руки)*. Ну, бог вас благословит! Согласен и одобряю ваш союз. Брак — это есть такое дело... Это не то, что взял извозчика, да и поехал куды-нибудь; это обязанность совершенно другого рода, это обязанность... Теперь вот только мне времени нет, а после я расскажу тебе, что это за обязанность. Ну, Иван Кузьмич, поцелуй свою невесту. Ты теперь можешь это сделать. Ты теперь должен это сделать.

Агафья Тихоновна потупляет глаза.

Ничего, ничего, сударыня; это так должно, пусть поцелует.

Подколесин. Нет, сударыня, позвольте, теперь уж позвольте. *(Целует ее и берет за руку.)* Какая прекрасная ручка! Отчего это у вас, сударыня, такая прекрасная ручка?.. Да позвольте, сударыня, я хочу, чтобы сей же час было венчанье, непременно сей же час.

Агафья Тихоновна. Как сейчас? Уж это, может быть, очень скоро.

Подколесин. И слышать не хочу! Хочу еще скорее, чтобы сию же минуту было венчанье.

Кочкарев. Браво! хорошо! Благородный человек! Я, признаюсь, всегда ожидал от тебя много в будущем! Вы, сударыня, в самом деле поспешите теперь поскорее одеться: я, сказать правду, послал уже за каретою и напросил гостей. Они все теперь поехали прямо в церковь. Ведь у вас венчальное платье готово, я знаю.

Агафья Тихоновна. Как же, давно готово. Я в минуточку оденусь.

### ЯВЛЕНИЕ XX

Кочкарев и Подколесин.

Подколесин. Ну, брат, благодарю! Теперь я вижу всю твою услугу. Отец родной для меня не сделал бы того, что ты. Вижу, что ты действовал из дружбы. Спасибо, брат, век буду помнить твою услугу. *(Тронутый.)* Будущей весною навещу непременно могилу твоего отца.

Кочкарев. Ничего, брат, я рад сам. Ну, подойди, я тебя поцелую. *(Целует его в одну щеку, а потом в другую.)* Дай бог, чтобы ты прожил благополучно *(целуются)*, в довольстве и достатке; детей бы нажили кучу...

Подколесин. Благодарю, брат. Именно наконец теперь только я узнал, что такое жизнь. Теперь предо мною открылся совершенно новый мир, теперь я вот вижу, что все это движется, живет, чувствует, эдак как-то испаряется, как-то эдак, не знаешь даже сам, что делается. А прежде я ничего этого не видел, не понимал, то есть просто был лишенный всякого сведения человек, не рассуждал, не углублялся и жил вот, как и всякий другой человек живет.

Кочкарев. Рад, рад! Теперь я пойду посмотрю только, как убрали стол; в минуту ворочусь. *(В сторону.)* А шляпу все лучше на всякий случай припрятать. *(Берет и уносит шляпу с собою.)*

### ЯВЛЕНИЕ XXI

Подколесин один.

В самом деле, что я был до сих пор? Понимал ли значение жизни? Не понимал, ничего не понимал. Ну, каков был мой холостой век? Что я значил, что я делал? Жил, жил, служил, ходил в департамент, обедал, спал,— словом, был в свете самый препустой и обыкновенный человек. Только теперь видишь, как глупы

все, которые не женятся; а ведь если рассмотреть — какое множество людей находится в такой слепоте. Если бы я был где-нибудь государь, я бы дал повеление жениться всем, решительно всем, чтобы у меня в государстве не было ни одного холостого человека!.. Право, как подумаешь: чрез несколько минут — и уже будешь женат. Вдруг вкусишь блаженство, какое, точно, бывает только разве в сказках, которого просто даже не выразишь, да и слов не найдешь, чтобы выразить. *(После некоторого молчанья.)* Однако ж что ни говори, а как-то даже делается страшно, как хорошенько подумаешь об этом. На всю жизнь, на весь век, как бы то ни было, связать себя, и уж после ни отговорки, ни раскаянья, ничего, ничего — все кончено, все сделано. Уж вот даже и теперь назад никак нельзя попятиться: чрез минуту и под венец; уйти даже нельзя — там уж и карета, и все стоит в готовности. А будто в самом деле нельзя уйти? Как же, натурально нельзя: там в дверях и везде стоят люди; ну, спросят: зачем? Нельзя, нет. А вот окно открыто; что, если бы в окно? Нет, нельзя; как же, и неприлично, да и высоко. *(Подходит к окну.)* Ну, еще не так высоко: только один фундамент, да и тот низенький. Ну нет, как же, со мной даже нет картуза. Как же без шляпы? неловко. А неужто, однако же, нельзя без шляпы? А что, если бы попробовать, а? Попробовать, что ли? *(Становится на окно и, сказавши:* «Господи благослови»,— *соскакивает на улицу; за сценой кряхтит и охает.)* Ох! однако ж высоко! Эй, извозчик!

Голос извозчика. Подавать, что ли?

Голос Подколесина. На Канавку, возле Семеновского мосту.

Голос извозчика. Да гривенник, без лишнего.

Голос Подколесина. Давай! пошел!

Слышен стук отъезжающих дрожек.

## ЯВЛЕНИЕ XXII

Агафья Тихоновна входит в венчальном платье, робко и потупив голову.

И сама не знаю, что со мною такое! Опять сделалось стыдно, и я вся дрожу. Ах! если бы его хоть на минутку на эту пору не было в комнате, если бы он за чем-нибудь вышел! *(С робостью оглядывается.)* Да где ж это он? Никого нет. Куда же он вышел? *(Отворяет дверь в прихожую и говорит туда.)* Фекла, куда ушел Иван Кузьмич?

Голос Феклы. Да он там.

Агафья Тихоновна. Да где же там?

Фекла *(входя)*. Да ведь он тут сидел, в комнате.

Агафья Тихоновна. Да ведь нет его, ты видишь.

Фекла. Ну да уж из комнаты он тоже не выходил, я сидела в прихожей.

Агафья Тихоновна. Да где же он?

Фекла. Я уж не знаю где; не вышел ли на другой выход, по черной лесенке, или не сидит ли в комнате Арины Пантелеймоновны?

Агафья Тихоновна. Тетушка! тетушка!

### ЯВЛЕНИЕ XXIII

Те же и Арина Пантелеймоновна.

Арина Пантелеймоновна *(разодетая)*. А что такое?

Агафья Тихоновна. Иван Кузьмич у вас?

Арина Пантелеймоновна. Нет, он тут должен быть; ко мне не заходил.

Фекла. Ну, так и в прихожей тоже не был, ведь я сидела.

Агафья Тихоновна. Ну, так и здесь же нет его, вы видите.

### ЯВЛЕНИЕ XXIV

Те же и Кочкарев.

Кочкарев. А что такое?

Агафья Тихоновна. Да Ивана Кузьмича нет.

Кочкарев. Как нет? ушел?

Агафья Тихоновна. Нет, и не ушел даже.

Кочкарев. Как же — и нет, и не ушел?

Фекла. Уж куды бы мог он деваться, я и ума не приложу. В передней я все сидела и не сходила с места.

Арина Пантелеймоновна. Ну, уж по черной лестнице никак не мог пройти.

Кочкарев. Как же, черт возьми? Ведь пропасть тоже, не выходя из комнаты, никак он не мог. Разве не спрятался ли?.. Иван Кузьмич! где ты? не дурачься, полно, выходи скорее! Ну что за шутки такие? в церковь давно пора! *(Заглядывает за шкаф, искоса запускает даже глаз под стулья.)* Непонятно! Но нет, он не мог уйти, никаким образом не мог. Да он здесь; в той комнате и шляпа, я ее нарочно положил туда.

Арина Пантелеймоновна. Уж разве спросить девчонку? Она стояла все на улице, не знает ли она как-нибудь... Дуняшка! Дуняшка!..

## ЯВЛЕНИЕ XXV

Те же и Дуняшка.

Арина Пантелеймоновна. Где Иван Кузьмич, ты не видала?

Дуняшка. Да оне-с выпрыгнули в окошко.

Агафья Тихоновна вскрикивает, всплеснувши руками.

Все трое. В окошко?

Дуняшка. Да-с, а потом, как выскочили, взяли извозчика и уехали.

Арина Пантелеймоновна. Да ты вправду говоришь?

Кочкарев. Врешь, не может быть!

Дуняшка. Ей-богу, выскочили! Вот и купец в мелочной лавочке видел. Порядили за гривенника извозчика и уехали.

Арина Пантелеймоновна *(подступая к Кочкареву)*. Что ж вы, батюшка, в издевку-то разве, что ли? посмеяться разве над нами задумали? на позор разве мы достались вам, что ли? Да я шестой десяток живу, а такого страму еще не наживала. Да я за то, батюшка, вам плюну в лицо, коли вы честный человек. Да вы после этого подлец, коли вы честный человек. Осрамить перед всем миром девушку! Я — мужичка, да не сделаю этого. А еще и дворянин! Видно, только на пакости да на мошенничества у вас хватает дворянства! *(Уходит в сердцах и уводит невесту.)*

Кочкарев стоит как ошеломленный.

Фекла. Что? А вот он тот, что знает повести дело! без свахи умеет заварить свадьбу! Да у меня пусть такие и эдакие женихи, общипанные и всякие, да уж таких, чтобы прыгали в окна,— таких нет, прошу простить.

Кочкарев. Это вздор, это не так, я побегу к нему, я возвращу его! *(Уходит.)*

Фекла. Да, поди ты, вороти! Дела-то свадебного не знаешь, что ли? Еще если бы в двери выбежал — ино дело, а уж коли жених да шмыгнул в окно — уж тут просто мое почтение!

*Дела давно минувших дней.*

Комната в городском трактире.

ЯВЛЕНИЕ I

Ихарев входит в сопровождении трактирного слуги Алексея и своего собственного, Гаврюшки.

Алексей. Пожалуйте-с, пожалуйте! Вот-с покойчик! уж самый покойный, и шуму нет вовсе.

Ихарев. Шума нет, да, чай, конного войска вдоволь, скакунов?

Алексей. То есть изволите говорить насчет блох? Уж будьте покойны. Если блоха или клоп укусит, уж это наша ответственность: уж с тем стоим.

Ихарев *(Гаврюшке)*. Ступай выносить из коляски.

Гаврюшка уходит.

*(Алексею.)* Тебя как зовут?

Алексей. Алексей-с.

Ихарев. Ну, послушай *(значительно)*, рассказывай, кто у вас живет?

Алексей. Да живут теперь много; все номера почти заняты.

Ихарев. Кто же именно?

Алексей. Швохнев Петр Петрович, Кругель полковник, Степан Иванович Утешительный.

Ихарев. Играют?

Алексей. Да вот уж шесть ночей сряду играют.

Ихарев. Пара целковиков! *(Сует ему в руку.)*

Алексей *(кланяясь)*. Покорнейше благодарю.

Ихарев. После еще будет.

Алексей. Покорнейше-с благодарю.

Ихарев. Между собой играют?

Алексей. Нет, недавно обыграли поручика Артуновского, у князя Шенькина выиграли тридцать шесть тысяч.

Ихарев. Вот тебе еще красная бумажка! А если послужишь честно, еще получишь. Признайся, карты ты покупал?

Алексей. Нет-с, они сами брали вместе.

Ихарев. Да у кого?

Алексей. Да у здешнего купца Вахрамейкина.

Ихарев. Врешь, врешь, плут!

Алексей. Ей-богу.

Ихарев. Хорошо. Мы с тобой потолкуем ужо.

Гаврюшка вносит шкатулку.

Ставь ее здесь. Теперь ступайте приготовьте мне умыться и побриться.

Слуги уходят.

## ЯВЛЕНИЕ II

Ихарев один, отпирает шкатулку, всю наполненную карточными колодами.

Каков вид, а? Каждая дюжина золотая. Пóтом, трудом досталась всякая. Легко сказать, до сих пор рябит в глазах проклятый крап. Но ведь зато, ведь это тот же капитал. Детям можно оставить в наследство! Вот она, заповедная колодишка — просто перл! За то ж ей и имя дано, да: Аделаида Ивановна. Послужи-ка ты мне, душенька, так, как послужила сестрица твоя, выиграй мне также восемьдесят тысяч, так я тебе, приехавши в деревню, мраморный памятник поставлю. В Москве закажу. *(Услышав шум, поспешно закрывает шкатулку.)*

## ЯВЛЕНИЕ III

Алексей и Гаврюшка несут лоханку, рукомойник и полотенце.

Ихарев. Что, эти господа где теперь? Дома?

Алексей. Да-с, они теперь в общей зале.

Ихарев. Пойду взглянуть на них, что за народ. *(Уходит.)*

## ЯВЛЕНИЕ IV

Алексей и Гаврюшка.

Алексей. Что, издалека едете?

Гаврюшка. А из Рязани.

Алексей. А сами тамошней губернии?

Гаврюшка. Нет, сами из Смоленской.

Алексей. Так-с. Так поместье-то, выходит, в Смоленской губернии?

Гаврюшка. Нет, не в Смоленской. В Смоленской сто душ да в Калужской восемьдесят.

Алексей. Понимаю, в двух, то есть, губерниях.

Гаврюшка. Да, в двух губерниях. У нас одной дворни: Игнатий буфетчик, Павлушка, который прежде с барином ездил, Герасим лакей, Иван — тоже опять лакей, Иван псарь, Иван, опять музыкант, потом повар Григорий, повар Семен, Варух садовник, Дементий кучер. Вот как у нас.

## ЯВЛЕНИЕ V

Те же, Кругель, Швохнев (осторожно входя).

Кругель. Право, я боюсь, чтоб он нас не застал здесь.

Швохнев. Ничего, Степан Иванович его удержит. *(Алексею.)* Ступай, брат, тебя зовут!

Алексей уходит. Швохнев, подходя поспешно к Гаврюшке.

Откуда барин?

Гаврюшка. Да теперь из Рязани.

Швохнев. Помещик?

Гаврюшка. Помещик.

Швохнев. Играет?

Гаврюшка. Играет.

Швохнев. Вот тебе красуля. *(Дает ему бумажку.)* Рассказывай все!

Гаврюшка. Да вы не скажете барину?

Оба. Ни-ни, не бойся!

Швохнев. Что, как он теперь, в выигрыше? а?

Гаврюшка. Да вы полковника Чеботарева не знаете?

Швохнев. Нет, а что?

Гаврюшка. Недели три тому назад мы его обыграли на восемьдесят тысяч деньгами, да коляску варшавскую, да шкатулку, да ковер, да золотые эполеты одной выжиги дали на шестьсот рублей.

Швохнев *(взглянув на Кругеля значительно)*. А? Восемьдесят тысяч!

Кругель покачал головою.

Думаешь, нечисто? Это мы сейчас узнаем. *(Гаврюшке.)* Послушай, когда барин остается дома один, что делает?

Гаврюшка. Да как что делает? Известно, что делает. Он уж барин, так держит себя хорошо: он ничего не делает.

Швохнев. Врешь, чай, карт из рук не выпускает.

Гаврюшка. Не могу знать, я с барином всего две недели. С ним прежде все Павлушка ездил. У нас тоже есть Герасим лакей, опять Иван, лакей, Иван псарь, Иван музыкант, Дементий кучер, да намедни из деревни одного взяли.

Швохнев *(Кругелю)*. Думаешь, шулер?

Кругель. И очень может быть.

Швохнев. А попробовать все-таки попробуем.

Оба убегают.

### ЯВЛЕНИЕ VI

Гаврюшка один.

Проворные господа! А за бумажку спасибо. Будет Матрене на чепец да пострельчонкам тоже по прянику. Эх, люблю походную жисть! Уж всегда что-нибудь приобретешь: барин пошлет купить чего-нибудь — все уж с рубля гривенничек положишь себе в карман. Как подумаешь, что за житье господам на свете! куда хошь катай! В Смоленске наскучило, поехал в Рязань, не захотел в Рязань — в Казань. В Казань не захотел, валяй под самый Ярослав. Вот только до сих пор не знаю, который из городов будет партикулярней — Рязань или Казань? Казань будет потому партикулярней, что в Казани...

### ЯВЛЕНИЕ VII

Ихарев, Гаврюшка, потом Алексей.

Ихарев. В них нет ничего особенного, как мне кажется. А впрочем... Эх, хотелось бы мне их обчистить! Господи боже, как бы хотелось! Как подумаешь, право, сердце бьется. *(Берет щетку, мыло, садится перед зеркалом и начинает бриться.)* Просто рука дрожит, никак не могу бриться.

Входит Алексей.

Алексей. Не прикажете ли чего покушать?

Ихарев. Как же, как же. Принеси закуску на четыре человека. Икры, семги, бутылки четыре вина. Да накорми сейчас его *(указывая на Гаврюшку)*.

Алексей *(Гаврюшке)*. Пожалуйте в кухню, там для вас приготовлено.

Гаврюшка уходит.

Ихарев *(продолжая бриться)*. Послушай! Много они тебе дали?

Алексей. Кто-с?

Ихарев. Ну, да уж не изворачивайся, говори!

Алексей. Да-с, за прислугу пожаловали.

Ихарев. Сколько? пятьдесят рублей?

Алексей. Да-с, пятьдесят рублей дали.

Ихарев. А от меня не пятьдесят, а вон, видишь, на столе лежит сторублевая бумажка, возьми ее. Что боишься? не укусит. От тебя не потребуется больше ничего, как только честности, понимаешь? Карты пусть будут у Вахрамейкина или у другого купца, это не мое дело, а вот тебе в придачу от меня дюжину. *(Дает ему запечатанную дюжину.)* Понимаешь?

Алексей. Да уж как не понять? Извольте положиться, это уж наше дело.

Ихарев. Да карты спрячь хорошенько, чтоб как-нибудь тебя не ощупали или не увидели. *(Кладет щетку и мыло и вытирается полотенцем.)*

Алексей уходит.

Хорошо бы было и очень бы хорошо. А уж как, признаюсь, хочется поддеть их.

## ЯВЛЕНИЕ VIII

Швохнев, Кругель и Степан Иванович Утешительный входят с поклонами.

Ихарев *(с поклоном к ним навстречу)*. Прошу простить. Комната, как видите, не красна углами: четыре стула всего.

Утешительный. Приветливые ласки хозяина дороже всяких удобств.

Швохнев. Не с комнатой жить, а с добрыми людьми.

Утешительный. Именно правда. Я бы не мог быть без общества. *(Кругелю.)* Помнишь, почтеннейший, как я приехал сюды: один-одинешенек. Вообразите: знакомых никого. Хозяйка —

старуха. На лестнице какая-то поломойка, урод естественнейший; вижу, увивается около нее какой-то армейщина, видно натощаках... Словом, скука смертная. Вдруг судьба послала вот его, а потом случай свел с ним... Ну, уж как я был рад! Не могу, не могу часу пробыть без дружеского общества. Все что ни есть на душе готов рассказать каждому.

Кругель. Это, брат, порок твой, а не добродетель. Излишество вредит. Ты, верно, уж не раз был обманут.

Утешительный. Да, обманывался, обманывался, и всегда буду обманываться. А все-таки не могу без откровенности.

Кругель. Ну, признаюсь, это для меня непонятно: быть откровенну со всяким. Дружба — это другое дело.

Утешительный. Так, но человек принадлежит обществу.

Кругель. Принадлежит, но не весь.

Утешительный. Нет, весь.

Кругель. Нет, не весь.

Утешительный. Нет, весь.

Кругель. Нет, не весь.

Утешительный. Нет, весь!

Швохнев *(Утешительному)*. Не спорь, брат, ты не прав.

Утешительный *(горячась)*. Нет, я докажу. Это обязанность... Это, это, это... это долг! это, это, это...

Швохнев. Ну, зарапортовался! Горяч необыкновенно: еще первые два слова можно понять из того, что он говорит, а уж дальше ничего не поймешь.

Утешительный. Не могу, не могу! Если дело коснется обязанностей или долга, я уж ничего не помню. Я обыкновенно вперед уж объявляю: «Господа, если будет о чем подобном толк, извините, увлекусь, право, увлекусь». Точно хмель какой-то, а желчь так и кипит, так и кипит.

Ихарев *(про себя)*. Ну нет, приятель! Знаем мы тех людей, которые увлекаются и горячатся при слове «обязанность». У тебя, может быть, и кипит желчь, да только не в этом случае. *(Вслух.)* А что, господа, покамест спор о священных обязанностях, не засесть ли нам в банчик?

В продолжение их разговора приготовлен на столе завтрак.

Утешительный. Извольте; если не в большую игру, почему нет?

Кругель. От невинных удовольствий я никогда не прочь.

Ихарев. А что, ведь в здешнем трактире, чай, есть карты?

Швохнев. О, только прикажите.

Ихарев. Карты!

Алексей хлопочет около карточного стола.

А между тем прошу, господа! *(Указывая рукой на закуску и подходя к ней.)* Балык, кажется, не того, а икра еще так и сяк.

Швохнев *(посылая в рот кусок)*. Нет, и балык того.

Кругель *(так же)*. И сыр хорош. Икра тоже недурна.

Швохнев *(Кругелю)*. Помнишь, какой отличный сыр ели мы недели две тому назад?

Кругель. Нет, никогда в жизни не позабуду я сыра, который ел я у Петра Александровича Александрова.

Утешительный. Да ведь сыр, почтеннейший, когда хорош? Хорош он тогда, когда сверх одного обеда наворотишь другой,— вот где его настоящее значение. Он все равно что добрый квартермистр, говорит: «Добро пожаловать, господа, есть еще место».

Ихарев. Добро пожаловать, господа, карты на столе.

Утешительный *(подходя к карточному столу)*. А вот оно, старина, старина! Слышь, Швохнев, карты, а? Сколько лет...

Ихарев *(в сторону)*. Да полно тебе корчить!..

Утешительный. Хотите вы держать банчик?

Ихарев. Небольшой — извольте, пятьсот рублей. Угодно снять? *(Мечет банк.)*

Начинается игра. Раздаются восклицания:

Швохнев. Четверка, тузик, оба по десяти.

Утешительный. Подай-ка, брат, мне свою колоду; я выберу себе карту на счастье нашей губернской предводительши.

Кругель. Позвольте присовокупить девяточку.

Утешительный. Швохнев, подай мел. Приписываю и списываю.

Швохнев. Черт побери, пароле!

Утешительный. И пять рублей мазу!

Кругель. Атанде! Позвольте посмотреть, кажется, еще две тройки должны быть в колоде.

Утешительный *(вскакивает с места, про себя)*. Черт побери, тут что-то не так. Карты другие, это очевидно.

Игра продолжается.

Ихарев *(Кругелю)*. Позвольте узнать: обе идут?

Кругель. Обе.

Ихарев. Не возвышаете?

Кругель. Нет.

Ихарев *(Швохневу)*. А вы что ж? не ставите?

Швохнев. Позвольте мне эту талию переждать. *(Встает со стула, торопливо подходит к Утешительному и говорит скоро.)*

Черт возьми, брат! И передергивает, и все что хочешь. Шулер первой степени!

Утешительный *(в волненье)*. Неужли, однако ж, отказаться от восьмидесяти тысяч?

Швохнев. Конечно, нужно отказаться, когда нельзя взять.

Утешительный. Ну, это еще вопрос, а пока с ним объясниться!

Швохнев. Как?

Утешительный. Открыться ему во всем.

Швохнев. Для чего?

Утешительный. После скажу. Пойдем.

Подходят оба к Ихареву и ударяют его с обеих сторон по плечу.

Да полно вам тратить попусту заряды!

Ихарев *(вздрогнув)*. Как?

Утешительный. Да что тут толковать, свой своего разве не узнал?

Ихарев *(учтиво)*. Позвольте узнать, в каком смысле я должен разуметь?..

Утешительный. Да просто, без дальнейших слов и церемоний. Мы видели ваше искусство и, поверьте, умеем отдавать справедливость достоинству. И потому от лица наших товарищей предлагаю вам дружеский союз. Соединя наши познания и капиталы, мы можем действовать несравненно успешней, чем порознь.

Ихарев. В какой степени я должен понимать справедливость слов ваших?..

Утешительный. Да вот в какой степени: за искренность мы платим искренностью. Мы признаемся тут же вам откровенно, что сговорились обыграть вас, потому что приняли вас за человека обыкновенного. Но теперь видим, что вам знакомы высшие тайны. Итак, хотите ли принять нашу дружбу?

Ихарев. От такого радушного предложения не могу отказаться.

Утешительный. Итак, подадимте же, всякий из нас, друг другу руки.

Все попеременно пожимают руку Ихареву.

Отныне все общее, притворство и церемонии в сторону! Позвольте узнать, с каких пор начали исследовать глубину познаний?

Ихарев. Признаюсь, это уже с самых юных лет было моим стремлением. Еще в школе во время профессорских лекций я уже под скамьей держал банк моим товарищам.

«Мертвые души»

Худ. А. Лаптев

Утешительный. Я так и полагал. Подобное искусство не может приобресться, не быв практиковано от лет гибкого юношества. Помнишь, Швохнев, этого необыкновенного ребенка?

Ихарев. Какого ребепка?

Утешительный. А вот расскажи!

Швохнев. Подобного события я никогда не позабуду. Говорит мне его зять *(указывая на Утешительного)*, Андрей Иванович Пяткин: «Швохнев, хочешь видеть чудо? Мальчик одиннадцати лет, сын Ивана Михаловича Кубышева, передергивает с таким искусством, как ни один из игроков! Поезжай в Тетюшевский уезд и посмотри!» Я, признаюсь, тот же час отправился в Тетюшевский уезд. Спрашиваю деревню Ивана Михаловича Кубышева и приезжаю прямо к нему. Приказываю о себе доложить. Выходит человек почтенных лет. Я рекомендуюсь, говорю: «Извините, я слышал, что бог наградил вас необыкновенным сыном».— «Да, признаюсь, говорит (и мне понравилось то, что без всяких, понимаете, этих претензий и отговорок), да, говорит, точно: хотя отцу и неприлично хвалить собственного сына, но это действительно в некотором роде чудо. Миша, говорит, поди-ка сюда, покажи гостю искусство!» Ну, мальчик, просто ребенок, мне по плечо не будет, и в глазах ничего нет особенного. Начал он метать — я просто потерялся. Это превосходит всякое описанье.

Ихарев. Неужто ничего нельзя было приметить?

Швохнев. Ни-ни, никаких следов! Я смотрел в оба глаза.

Ихарев. Это непостижимо!

Утешительный. Феномен, феномен!

Ихарев. И как я подумаю, что при этом еще нужны познания, основанные на остроте глаз, внимательное изученье крапа...

Утешительный. Да ведь это очень облегчено теперь. Теперь накрапливанье и отметины вышли вовсе из употребления; стараются изучить ключ.

Ихарев. То есть ключ рисунка?

Утешительный. Да, ключ рисунка обратной стороны. Есть в одном городе,— в каком именно, я не хочу назвать,— один почтенный человек, который больше ничем уж и не занимается, как только этим. Ежегодно получает он из Москвы несколько сотен колод, от кого именно — это покрыто тайною. Вся обязанность его состоит в том, чтобы разобрать крап всякой карты и послать от себя только ключ. Смотри, мол, у двойки вот как расположен рисунок! у такой-то — вот как! За это одно он получает чистыми деньгами пять тысяч в год.

Ихарев. Это, однако ж, важная вещь.

Утешительный. Да оно, впрочем, так и быть должно. Это то, что называется в политической экономии распределение работ.

Все равно каретник: ведь он не весь же экипаж делает сам; он отдает и кузнецу и обойщику. А иначе не стало бы всей жизни человеческой.

Ихарев. Позвольте вам сделать один вопрос: как поступали вы доселе, чтобы пустить в ход колоды? Подкупать слуг ведь не всегда можно.

Утешительный. Сохрани бог! да и опасно. Это значит иногда самого себя продать. Мы делаем это иначе. Один раз мы поступили вот как: приезжает на ярмонку наш агент, останавливается под именем купца в городском трактире. Лавки еще не успел нанять; сундуки и вьюки пока в комнате. Живет он в трактире, издерживается, ест, пьет — и вдруг пропадает неизвестно куда, не заплативши. Хозяин шарит в комнате. Видит, остался один вьюк; распаковывает — сто дюжин карт. Карты, натурально, сей же час проданы с публичного торга. Пустили рублем дешевле, купцы миг расхватали в свои лавки. А в четыре дни проигрался весь город!

Ихарев. Это очень ловко.

Швохнев. Ну, а у того, у помещика?..

Ихарев. Что у помещика?

Утешительный. А это дело тоже было поведено недурно. Не знаю, знаете ли вы, есть помещик Аркадий Андреевич Дергунов, богатейший человек. Игру ведет отличную, честности беспримерной, к поползновенью, понимаете, никаких путей: за всем смотрит сам, люди у него воспитанны, камергеры, дом — дворец, деревня, сады — все это по аглицкому образцу. Словом, русский барин в полном смысле слова. Мы живем уж там три дня. Как приступить к делу? — просто нет возможности. Наконец придумали. В одно утро пролетает мимо самого двора тройка. На телеге сидят молодцы. Все это пьяно, как нельзя больше, орет песни и дует во весь опор. На такое зрелище, как водится, выбежала вся дворня. Ротозеют, смеются и замечают, что из телеги что-то выпало, подбегают, видят — чемодан. Машут, кричат: «Остановись!» — куды! никто не слышит, умчались, только пыль осталась по всей дороге. Развязали чемодан — видят: белье, кое-какое платье, двести рублей денег и дюжин сорок карт. Ну, натурально, от денег не захотели отказаться, карты пошли на барские столы,— и на другой же день ввечеру все, и хозяин и гости, остались без копейки в кармане, и кончился банк.

Ихарев. Очень остроумно. Ведь вот называют это плутовством и разными подобными именами, а ведь это тонкость ума, развитие.

Утешительный. Эти люди не понимают игры. В игре нет лицеприятия. Игра не смотрит ни на что. Пусть отец сядет со мною в карты — я обыграю отца. Не садись! здесь все равны.

Ихарев. Именно этого не понимают, что игрок может быть добродетельнейший человек. Я знаю одного, который наклонен к передержкам и к чему хотите, но нищему он отдаст последнюю копейку. А между тем ни за что не откажется соединиться втроем против одного обыграть наверняка. Но, господа, так как пошло на откровенность, я вам покажу удивительную вещь: знаете ли вы то, что называют сводная или подобранная колода, в которой всякая карта может быть угадана мною на значительном расстоянии?

Утешительный. Знаю, но, может быть, другого рода.

Ихарев. Могу вам похвастаться, что подобной нигде не сыщете. Почти полгода трудов. Я две недели после того не мог на солнечный свет смотреть. Доктор опасался воспаленья в глазах. *(Вынимает из шкатулки.)* Вот она! Зато уж не прогневайтесь: она у меня носит имя, как человек.

Утешительный. Как, имя?

Ихарев. Да, имя: Аделаида Ивановна.

Утешительный *(усмехаясь)*. Слышь, Швохнев, ведь это совершенно новая идея — назвать колоду карт Аделаидой Ивановной. Я нахожу даже, это очень остроумно.

Швохнев. Прекрасно! Аделаида Ивановна! очень хорошо...

Утешительный. Аделаида Ивановна. Немка даже! Слышь, Кругель? это тебе жена.

Кругель. Что я за немец? Дед был немец, да и тот не знал по-немецки.

Утешительный *(рассматривая колоду)*. Это, точно, сокровище. Да, никаких совершенно признаков. Неужели, однако ж, всякая карта может быть вами угадана на каком угодно расстоянии?

Ихарев. Извольте, я стану от вас в пяти шагах и отсюда назову всякую карту. Двумя тысячами готов асикурировать, если ошибусь.

Утешительный. Ну, это какая карта?

Ихарев. Семерка.

Утешительный. Так точно. Эта?

Ихарев. Валет.

Утешительный. Черт возьми, да. Ну, эта?

Ихарев. Тройка.

Утешительный. Непостижимо!

Кругель *(пожимая плечами)*. Непостижимо!

Швохнев. Непостижимо!

Утешительный. Позвольте еще раз рассмотреть. *(Рассматривая колоду.)* Удивительная вещь. Стоит того, чтобы назвать ее именем. Но, позвольте заметить, употребить ее в дело трудно.

Разве с слишком неопытным игроком: ведь это нужно подменить самому.

Ихарев. Да ведь это во время самой жаркой игры только делается, когда игра возвысится до того, что и самый опытный игрок делается неспокойным; а потеряйся только немного человек, с ним можно все сделать. Вы знаете, что с лучшими игроками случается то, что называют — заиграться. Как поиграет два дни и две ночи сряду не поспавши, ну и заиграется. В азартной игре я всегда подменю колоду. Поверьте, вся штука в том, чтобы быть хладнокровну тогда, когда другой горячится. А средств отвлечь вниманье других есть тысяча. Придеритесь тут же к кому-нибудь из понтёров, скажите, что у него не так записано. Глаза всех обратятся на него — а в это время колода уже и подменена.

Утешительный. Но, однако же, я вижу, что, кроме искусства, вы владеете еще достоинством хладнокровия. Это важная вещь. Приобретение вашего знакомства теперь стало для нас еще значительней. Будем без церемонии, оставим лишние этикеты и станем говорить друг другу «ты».

Ихарев. Этак бы давно следовало.

Утешительный. Человек, шампанского! В память дружеского союза!

Ихарев. Именно, это стоит того, чтобы запить.

Швохнев. Да ведь вот мы собрались для подвигов, орудия все у нас в руках, сиры есть, одного недостает только...

Ихарев. Именно, именно, крепости недостает только, на которую бы идти, вот беда!

Утешительный. Что ж делать? неприятеля пока нет. *(Смотря пристально на Швохнева.)* Что? у тебя как будто лицо такое, которое хочет сказать, что есть неприятель.

Швохнев. Есть, да... *(Останавливается.)*

Утешительный. Знаю я, на кого ты метишь.

Ихарев *(с живостью)*. А на кого, на кого? кто это?

Утешительный. Э, вздор, вздор: он выдумал пустяки. Вот видите ли, есть здесь один приезжий помещик, Михал Александрович Глов. Ну, да что об этом толковать, когда он не играет вовсе? Мы уж возились около него... Я месяц за ним ухаживал; и в дружбу и в доверенность вошел, а все ничего не сделал.

Ихарев. Ну да послушай, нельзя ли как-нибудь увидеться с ним? Может быть, почему знать...

Утешительный. Ну, я тебе вперед говорю, что это будет вовсе напрасный труд.

Ихарев. Ну да попробуем, попробуем еще раз.

Швохнев. Ну да приведи его, по крайней мере. Ну, не успеем, поговорим просто. Почему не попробовать?

Утешительный. Да, пожалуй, мне ничего это не значит; я приведу его.

Ихарев. Приведи его теперь же, пожалуйста.

Утешительный. Изволь, изволь. *(Уходит.)*

### ЯВЛЕНИЕ IX

Те же, кроме Утешительного.

Ихарев. Ведь точно, почему знать? Иногда дело кажется совсем невозможное...

Швохнев. Я сам того же мнения. Ведь не с богом здесь имеешь дело, а с человеком. А человек все-таки человек. Сегодня нет, завтра нет, послезавтра нет, а на четвертый день, как насядешь на него хорошенько, скажет «да». Иной ведь с виду корчит, что он недоступный, а разгляди его поближе, увидишь: просто даром тревогу подымал.

Кругель. Ну, однако ж, этот не таков.

Ихарев. Эх, если бы!.. Поверить нельзя, как возродилась во мне теперь жажда деятельности. Нужно вам знать, что последний мой выигрыш, восемьдесят тысяч у полковника Чеботарева, был сделан в прошедшем месяце. С тех пор я не имел практики в продолжение целого месяца. Представить не можете, какую испытал я скуку во все это время. Скука, скука смертная!

Швохнев. Я понимаю это положение. Это все равно что полководец: что он должен чувствовать, когда нет войны? Это, любезнейший, просто фатальный антракт. Я знаю по себе, с этим нечего шутить.

Ихарев. Поверишь ли, приходит так, что если бы кто сделал пять рублей банку — я готов сесть и играть.

Швохнев. Естественная вещь. Этак проигрывались иногда искуснейшие игроки. Стоскуется, работы нет, и наскочит с горя на одного из тех, которых называют голь и перетыка,— ну и проиграется ни за что!

Ихарев. А богат этот Глов?

Кругель. О! Деньги есть. Кажется, около тысячи душ крестьян.

Ихарев. Эх, черт возьми, подпоить разве его, шампанского велеть подать?

Швохнев. В рот не берет.

Ихарев. Что ж с ним делать? Как подъехать? Но нет, однако ж, все я думаю... ведь игра соблазнительная вещь. Мне кажется, если бы он подсел только к играющим, он бы не утерпел потом.

Швохнев. Да вот мы попробуем. Мы вот здесь в стороне с Кругелем сделаем самую маленькую игру. Но не нужно к нему оказывать большого внимания: старики подозрительны.

Садятся в стороне с картами.

## ЯВЛЕНИЕ X

Те же, Утешительный и Михайло Александрович Глов, человек почтенных лет.

Утешительный. Вот тебе, Ихарев, рекомендую: Михал Александрович Глов!

Ихарев. Я, признаюсь, давно искал этой чести. Живя в одном трактире...

Глов. Мне тоже очень приятно познакомиться. Жаль только, что это случилось почти на выезде...

Ихарев *(подавая ему стул)*. Прошу покорнейше!.. Давно изволите жить в этом городе?

Утешительный, Швохнев и Кругель перешептываются между собой.

Глов. Ах, батюшка, уж он мне так надоел, этот город. И телом и душой рад бы отсюда поскорей вырваться.

Ихарев. Что ж, удерживают дела?..

Глов. Дела, дела. Такая комиссия мне эти дела!

Ихарев. Вероятно, тяжба?

Глов. Нет, слава богу, тяжбы нет, но тем не менее затруднительные обстоятельства. Выдаю замуж дочь, батюшка, осьмнадцатилетнюю девицу. Понимаете ли вы отцовское положение? Приехал за разными покупками, а главное, заложить имение. Дело бы уже все кончено, да приказ денег до сих пор не выдает. Даром совершенно живу.

Ихарев. А позвольте узнать, в какую сумму изволили заложить имение?

Глов. В двухстах тысяч. На днях бы должны выдать, да вот затянулось. А мне уж так опротивело здесь жить! Дома-то, знаете, все это оставил на самое короткое время. Дочь невеста... все это ждет. Я уж решился не дожидаться и бросить все.

Ихарев. Как же? и денег не хотите дождаться?

Глов. Что ж делать, батюшка? Вы рассмотрите и мое положение. Ведь вот уж месяц, как не видался с женой и детьми; писем даже не получаю,— бог весть что там делается. Я уж все дело поручаю сыну, который здесь остается. Надоело возиться. *(Обращаясь к Швохневу и Кругелю.)* А что ж вы, господа? Я, кажется, вам помешал. Вы чем-то занимались?

Кругель. Вздор. Это так. От нечего делать вздумали поиграть.

Глов. Кажется, что-то похоже на банчик.

Швохнев. Какое! для препровожденья времени грошовый банчик.

Глов. Эх, господа, послушайте старика. Вы молодые люди. Конечно, тут ничего худого, больше для развлеченья, да и в грошовую игру нельзя много проиграть, все это так, но всё... Эх, господа, я сам играл и знаю по опыту. Все на свете начинается грошовым делом, а смотришь, маленькая игра как раз кончилась большой.

Швохнев *(Ихареву)*. Ну, пошел уж старикашка плесть свое. *(Глову.)* Ну, вот видите, вы уж тотчас припишете важное следствие всякому вздору; это всегда уж обыкновенная замашка всех пожилых людей.

Глов. Да что ж, ведь я еще не так пожилой человек. Я сужу по опыту.

Швохнев. Я не об вас буду говорить. Но вообще у стариков есть это: например, если они на чем-нибудь обожглись, они твердо уверены — другой непременно обожжется на том же. Если они пошли какой-нибудь дорогою да, зазевавшись, шлепнулись о гололедь,— они уж кричат и выдают правило, что по такой-то дороге никому нельзя ходить, потому что на ней есть в одном месте гололедь и всякий непременно на ней шлепнется лбом, никак не принимая в уваженье того, что другой, может быть, не зазевается и сапоги у него не на скользкой подошве. Нет, у них для этого нет соображенья. Собака укусила человека на улице — все кусаются собаки, и потому никому нельзя выходить на улицу.

Глов. Так, батюшка. Оно, точно, с одной стороны, есть тот грех. Да ведь зато ж и молодые! Ведь уж слишком много рыси: того и смотри, что сломит шею!

Швохнев. Вот то-то и есть, что у нас нет середины. Молодым бесится, так что невтерпеж другим, а под старость прикинется ханжой, так что невтерпеж другим.

Глов. Такого-то вы обидного мнения насчет стариков?

Швохнев. Да нет, что за обидное мнение? это правда, больше ничего.

Ихарев. Позвольте мне заметить. Твое мнение резко...

Утешительный. Насчет карт я совершенно согласен с Михал Александровичем. Я сам играл, играл сильно. Но, благодарю судьбу, бросил навсегда. Не потому, чтобы проигрался или был вооружен против судьбы; поверьте мне, это еще ничего: проигрыш не так важен, как важно душевное спокойствие. Одно это волне-

ние, чувствуемое во время игры,— кто что ни говори, а это сокращает видимо нашу жизнь.

Глов. Так, батюшка, ей-богу! как вы премудро заметили! Позвольте сделать вам нескромный вопрос, сколько времени имею честь пользоваться вашим знакомством, а вот до сих пор...

Утешительный. Какой вопрос?

Глов. Позвольте узнать, хоть струна и щекотливая, который вам год?

Утешительный. Тридцать девять лет.

Глов. Представьте! Что ж такое тридцать девять лет? Еще молодой человек! Ну что, если бы у нас в России было побольше таких, которые бы так мудро рассуждали? Господи ты боже мой, что бы это было: просто золотой век-с, та же астрея. Уж как, ей-богу, благодарен судьбе я за то, что познакомился с вами.

Ихарев. Поверьте мне, я тоже разделяю это мнение. Мальчишкам я бы не позволил и в руки взять карт. Но благоразумным людям почему не поразвлечься, не позабавиться? Например, почтенному старику, которому нельзя уже ни плясать, ни танцевать.

Глов. Так, всё так; но, поверьте, в жизни нашей есть столько удовольствий, столько обязанностей, так сказать, священных. Эх, господа, послушайте старика! Нет для человека лучшего назначения, как семейная жизнь в домашнем кругу. Все это, что вас окружает,— ведь это все волнение, ей-богу-с, волнение, а прямого-то блага вы не вкусили еще. Ведь вот я, поверите ли, минуты не дождусь, чтобы увидать своих, ей-богу! Как воображу: дочь кинется на шею: «Папаш ты мой, милый папаш!» Сын опять приехал из гимназии... полгода не видал... Просто слов недостает, ей-богу, так. Да после этого на карты смотреть не захочешь.

Ихарев. Но зачем же отеческие чувства мешать с картами? Отеческие чувства сами по себе, а карты тоже...

Алексей *(входя, говорит Глову)*. Ваш человек спрашивает насчет чемоданов. Прикажете выносить? Лошади уж готовы.

Глов. А вот я сейчас! Извините, господа, на одну минуточку вас оставлю. *(Уходит.)*

## ЯВЛЕНИЕ XI

Швохнев, Ихарев, Кругель, Утешительный.

Ихарев. Ну, нет никакой надежды!

Утешительный. Я говорил это прежде. Не понимаю, как вы не можете видеть человека. Ведь стоит только взглянуть, чтобы узнать, кто не расположен играть.

Ихарев. Ну, да все бы таки насесть на него хорошенько. Ну зачем ты сам его поддерживал?

Утешительный. Да иначе, братец, нельзя. С этими людьми нужно тонко поступать. Не то как раз догадается, что его хотят обыграть.

Ихарев. Ну да ведь что ж вышло из того? ведь вот уедет все равно.

Утешительный. Ну, да постой, еще не все дело кончено.

## ЯВЛЕНИЕ XII

Те же и Глов.

Глов. Покорнейше благодарю вас, господа, за приятное знакомство. Жаль только, право, что вот перед самым концом. А впрочем, авось приведет бог опять где-нибудь столкнуться.

Швохнев. О, вероятно. Дороги битые, а люди толкутся — как не столкнуться? Захоти только судьба.

Глов. Ей-богу, так, совершенная правда. Судьба захочет, так завтра же увидимся,— совершенная правда. Прощайте, господа! истинно благодарю! А уж вам, Степан Иванович, так обязан! Право, вы усладили мое уединение.

Утешительный. Помилуйте, не за что. Чем мог служить, служил.

Глов. Ну, уж если вы так добры, так сделайте еще одну милость, можно ли вас просить?

Утешительный. Какую? скажите! Все что угодно готов.

Глов. Успокойте старика отца!

Утешительный. Как?

Глов. Я оставляю здесь своего Сашу. Прекрасный малый, добрая душа. Но все еще ненадежен: двадцать два года — ну что это за лета? почти ребенок... Кончил учебный курс и уж больше ни о чем и слышать не хочет, как об гусарах. Я говорю ему: «Рано, Саша, погоди, осмотрись прежде! Что тебе в гусары? Почему знать, может быть, у тебя штатские наклонности. Ты еще не видел почти света, время не уйдет от тебя!..» Ну, сами знаете, молодая натура. Ему уж там, в гусарах, все это блестит: шитье, богатый мундир... Что ж прикажете? Склонностей ведь удержать никак нельзя... Так будьте так великодушны, батюшка Степан Иванович! Он остается теперь один; я возложил на него кое-какие делишки. Молодой человек, все может случиться: чтобы приказные как-нибудь его не обманули... мало ли чего... Так возьмите его под свое покровительство, надзирайте над его поступками, отвлеките его от дурного. Будьте так добры, батюшка! *(Берет его за обе руки.)*

Утешительный. Извольте, извольте. Все, что может сделать отец для своего сына, все это я сделаю для него.

Глов. Ах, батюшка!

Обнимаются и целуются.

Ведь как видно, когда у человека-то доброе сердце, ей-богу! Бог вас наградит за это! Прощайте, господа, от души желаю вам счастливо оставаться.

Ихарев. Прощайте, доброй дороги!

Швохнев. Счастливо найти всех домашних!

Глов. Благодарю вас, господа!

Утешительный. А я вас таки провожу к самой коляске и посажу!

Глов. Ах, батюшка, как вы добры!

Оба уходят.

## ЯВЛЕНИЕ XIII

Швохнев, Кругель, Ихарев.

Ихарев. Улетела птица!

Швохнев. Да, а было бы чем поживиться.

Ихарев. Признаюсь, как он сказал: двести тысяч,— у меня вздрогнуло в самом сердце.

Кругель. О такой сумме и подумать даже сладко.

Ихарев. Ведь как подумаешь, сколько денег пропадает даром, без всякой совершенно пользы. Ну что из того, что у него будет двести тысяч? Ведь это все так пойдет, на покупку каких-нибудь тряпок, ветошек!

Швохнев. И все это дрянь, гниль.

Ихарев. А ведь сколько даже так пропадает на свете, не обращаясь! Сколько есть мертвых капиталов, которые, именно как мертвецы, лежат в ломбардах! Право, даже жалость. Я бы больше не хотел иметь у себя денег, как столько, сколько лежит в опекунском совете.

Швохнев. Я помирюсь и на половине.

Кругель. Я доволен буду и четвертью.

Швохнев. Ну, не ври, немец: захочешь больше.

Кругель. Как честный человек...

Швохнев. Надуешь.

## ЯВЛЕНИЕ XIV

Те же и Утешительный, входит поспешно и с радостным видом.

Утешительный. Ничего, ничего, господа! Уехал, черт его побери, тем лучше! Остался сын. Отец передал ему и доверенность, и все права на получение из приказа денег и поручил надсматривать за всем мне. Сын молодец: так и рвется в гусары. Будет жатва! Я пойду и сей же час приведу его к вам! *(Убегает.)*

## ЯВЛЕНИЕ XV

Швохнев, Кругель, Ихарев.

Ихарев. Ай да Утешительный!

Швохнев. Браво! дело возымело славный оборот!

Все потирают в радости руки.

Ихарев. Молодец Утешительный! Теперь я понял, зачем он подбирался к отцу и потакал ему. И как все это ловко! как тонко!

Швохнев. О, у него на это талант необыкновенный!

Кругель. Способности невероятные!

Ихарев. Признаюсь, когда отец сказал, что оставляет здесь сына, у меня у самого промелькнула в голове мысль, да ведь только на миг, а уж он тотчас... Сметливость какая!

Швохнев. О, ты еще не знаешь его хорошенько.

## ЯВЛЕНИЕ XVI

Те же, Утешительный и Глов Александр Михалыч, молодой человек.

Утешительный. Господа! Рекомендую: Александр Михалыч Глов, отличный товарищ, прошу полюбить, как меня.

Швохнев. Очень рад... *(Пожимает ему руку.)*

Ихарев. Знакомство ваше нам...

Кругель. Позвольте вас прямо в наши объятья.

Глов. Господа! я...

Утешительный. Без церемонии, без церемонии. Равенство первая вещь, господа! Глов, здесь, видишь, все товарищи, и потому к черту все этикеты! Съедем прямо на «ты»!

Швохнев. Именно, на «ты»!

Глов. На «ты»! *(Подает им всем руку.)*

Утешительный. Так, браво! Человек, шампанского! Замечаете, господа, как у него даже теперь уже видно что-то гусар-

ское? Нет, твой отец, не говоря дурного слова, большая скотина,— извини, ведь мы на «ты»,— ну как этого молодца вздумал было в чернильную службу! Ну что, брат, скоро свадьба сестры твоей?

Глов. Черт ее поберп с ее свадьбой! Мне досадно, что из-за нее отец меня продержал три месяца в деревне.

Утешительный. Ну, послушай, а хороша сестра твоя?

Глов. А так хороша... Будь она не сестра... ну, уж я бы ей не спустил.

Утешительный. Браво, браво, гусар! Сейчас видно гусара! Ну, послушай, а помог бы ты мне, если бы я захотел ее увезти?

Глов. Почему ж? помог бы.

Утешительный. Браво, гусар! Вот оно, что называется настоящий гусар, черт побери! Человек, шампанского! Вот это мой решительно вкус: этаких открытых людей я люблю. Постой, душа, дай обниму тебя!

Швохнев. Дай же и мне обнять его. *(Обнимает его.)*

Ихарев. Пусть же и я обниму его. *(Обнимает.)*

Кругель. Ну, так и я ж обниму его, если так. *(Обнимает.)*

Алексей несет бутылку, придерживая пальцем пробку, которая хлопает и летит в потолок; наливает бокалы.

Утешительный. Господа, за здравие будущего гусарского юнкера! Пусть он будет первый рубака, первый волокита, первый пьяница, первый... словом, пусть его будет что хочет!

Все. Пусть его будет что хочет!

Пьют.

Глов. За здравие всего гусарства! *(Подымая бокал.)*

Все. За здравие всего гусарства!

Пьют.

Утешительный. Господа, нужно его теперь же посвятить во все гусарские обычаи. Пьет он, как видно, уже сносно, но ведь это вздор. Нужно, чтобы он был картежник во всей силе! Играешь в банк?

Глов. Играл бы, смерть бы хотелось, да денег нет.

Утешительный. Экой вздор: нет денег! Было бы только с чем сесть, а там деньги будут — сейчас выиграешь.

Глов. Да ведь и сесть-то не с чем.

Утешительный. Да мы тебе поверим в долг. Ведь у тебя есть доверенность на получение денег из приказа. Мы подождем, а как тебе выдадут, ты нам тотчас и заплатишь. А до того времени

ты можешь нам дать вексель. Да, впрочем, что я говорю? Как будто ты уж непременно проиграешь. Ты можешь тут же выиграть несколько тысяч чистоганом.

Глов. А как проиграю?

Утешительный. Стыдись, что ж ты за гусар после этого? Натурально, одно из двух: либо выиграешь, либо проиграешь. Да в этом-то и дело, в риске-то и есть главная добродетель. А не рискнуть, пожалуй, всякий может. Наверняка и приказная строка отважится, и жид полезет на крепость.

Глов *(махнув рукой)*. Черт побери, если так, играю! Что мне смотреть на отца!

Утешительный. Браво, юнкер! Человек, карты! *(Наливает ему в стакан.)* Главное, что нужно? Нужна отвага, удар, сила... Так и быть, господа, я вам сделаю банчик в двадцать пять тысяч. *(Мечет направо и налево.)* Ну, гусар... Ты, Швохнев, что ставишь? *(Мечет.)* Какое странное течение карт. Вот любопытно для вычислений! Валет убит, девятка взяла. Что там, что у тебя? И четверка взяла! А гусар, гусар-то, каков гусар? Замечаешь, Ихарев, как уж он мастерски возвышает ставки! А туз все еще не выходит. Что ж ты, Швохнев, не наливаешь ему? Вона, вона, вон туз! Вон уж Кругель потащил себе. Немцу всегда везет! Четверка взяла, тройка взяла. Браво, браво, гусар! Слышишь, Швохнев, гусар уже около пяти тысяч в выигрыше.

Глов *(перегибает карту)*. Черт побери! Пароле пе! да вон еще девятка на столе, идет и она, и пятьсот рублей мазу!

Утешительный *(продолжая метать)*. У! молодец гусар! Семерка уби... ах, нет, плие, черт побери, плие, опять плие! А, проиграл гусар. Ну что ж, брат, делать? Не у всякого жена Марья, кому бог дал. Кругель, да полно тебе рассчитывать! ну, ставь эту, которую выдернул. Браво, выиграл гусар! Что ж вы не поздравляете его?

Все пьют и поздравляют его, чокаясь стаканами.

Говорят, пиковая дама всегда продаст, а я не скажу этого. Помнишь, Швохнев, свою брюнетку, что называл ты пиковой дамой? Где-то она теперь, сердечная? Чай, пустилась во все тяжкие. Кругель! твоя убита! *(Ихареву.)* И твоя убита! Швохнев, твоя также убита; гусар также лопнул.

Глов. Черт побери, ва-банк!

Утешительный. Браво, гусар! Вот она, наконец, настоящая гусарская замашка! Замечаешь, Швохнев, как настоящее чувство всегда выходит внаружу? До сих пор все еще в нем было видно, что будет гусар. А теперь видно, что он уж теперь гусар. Вона натура-то как того... Убит гусар.

Глов. Ва-банк!

Утешительный. У! браво, гусар! на все пятьдесят тысяч! Вот оно что называется великодушие! Ну поди-ка поищи, где отыщешь этакую черту?.. Это именно подвиг! Лопнул гусар!

Глов. Ва-банк, черт побери, ва-банк!

Утешительный. Ого-го, гусар! На сто тысяч! Каков, а? А глазки-то, глазки? Замечаешь, Швохнев, как у него глазки горят? Барклай-де-тольевское что-то видно. Вот он героизм! А короля все нет. Вот тебе, Швохнев, бубновая дама. На, немец, возьми, съешь семерку! Руте, решительно руте! просто карта фоска! А короля, видно, в колоде нет: право, даже странно. А, вот он, вот он... Лопнул гусар!

Глов *(горячась)*. Ва-банк, черт побери, ва-банк!

Утешительный. Нет, брат, стой! Ты уж просадил двести тысяч. Прежде заплати, без этого нельзя начинать новой игры. Мы так много не можем тебе верить.

Глов. Да где ж у меня? у меня теперь нет.

Утешительный. Дай нам вексель, подпишись.

Глов. Извольте, я готов. *(Берет перо.)*

Утешительный. Да и доверенность на получение денег тоже отдай нам.

Глов. Вот вам и доверенность.

Утешительный. Теперь подпиши вот это да вот это. *(Дает ему подписаться.)*

Глов. Извольте, я готов все сделать. Ну, вот я и подписал. Ну, давайте ж играть!

Утешительный. Нет, брат, постой, покажи-ка прежде деньги!

Глов. Да я вам заплачу. Уж будьте уверены.

Утешительный. Нет, брат, деньги на стол!

Глов. Да что ж это?.. Ведь это просто подлость.

Кругель. Нет, это не подлость.

Ихарев. Нет, это совсем другое дело. Шансы, брат, не равны.

Швохнев. Этак ты, пожалуй, сядешь с тем, чтоб обыграть нас. Дело известное: кто садится без денег, тот садится с тем, чтобы обыграть наверное.

Глов. Ну, что ж? чего вы хотите? назначьте какие угодно проценты, я на всё готов. Я вдвое заплачу вам.

Утешительный. Что, брат, нам с твоих процентов? Мы сами готовы тебе заплатить какие угодно проценты, дай только нам взаймы.

Глов *(отчаянно и решительно)*. Ну, так скажите последнее слово: не хотите играть?

Швохнев. Принеси деньги, сейчас станем играть.

Глов *(вынимая из кармана пистолет)*. Ну, так прощайте же, господа! Больше вы меня не встретите на этом свете. *(Убегает с пистолетом.)*

Утешительный *(в испуге)*. Ты! ты! что ты? с ума сошел! Побежать за ним, в самом деле чтоб еще как-нибудь не застрелился. *(Убегает.)*

### ЯВЛЕНИЕ XVII

Швохнев, Кругель, Ихарев.

Ихарев. Еще выйдет история, если этот черт вздумает застрелиться.

Швохнев. Черт его возьми, пусть себе стреляется, да не теперь только: еще деньги не в наших руках. Вот беда!

Кругель. Я всего боюсь. Это так возможно...

### ЯВЛЕНИЕ XVIII

Те же, Утешительный и Глов.

Утешительный *(держа Глова за руку с пистолетом)*. Что ты, что ты, брат, рехнулся? Слышите, слышите, господа, уж пистолет вздумал было всунуть в рот, а? Стыдись!

Все *(приступая к нему)*. Что ты? что ты? Помилуй, что ты?

Швохнев. А еще и умный человек, из дряни вздумал стреляться.

Ихарев. Этак, пожалуй, вся Россия должна застрелиться: всякий или проигрался, или намерен проиграться. Да если бы этого не было, так как же можно выиграть? ты посуди только сам.

Утешительный. Ты дурак просто, позволь тебе сказать. Ты счастья своего не видишь. Разве ты не чувствуешь, как ты выиграл тем, что проиграл?

Глов *(с досадой)*. Что ж вы, в самом деле, меня уж за дурака считаете? какой тут выигрыш проиграть двести тысяч! Черт возьми!

Утешительный. Эх ты, простофиля! Да знаешь ли, какую ты этим себе славу сделаешь в полку? Слышь, безделица! Еще не будучи юнкером, да уж проиграл двести тысяч! Да тебя гусары на руках будут носить.

Глов *(ободрившись)*. Что ж вы думаете? У меня разве не

станет духу наплевать на все это, если уж на то пошло? Черт побери, да здравствует гусарство!

Утешительный. Браво! Да здравствуют гусары! Теремтете! Шампанского!

Несут бутылки.

Глов *(с стаканом)*. Да здравствуют гусары!

Ихарев. Да здравствуют гусары, черт побери!

Швохнев. Теремтете! да здравствуют гусары!

Глов. На всё плюю, когда так!.. *(Ставит на стол стакан.)* Вот беда только: домой как приеду? Отец, отец!.. *(Хватает себя за волосы.)*

Утешительный. Да зачем тебе ехать к отцу? не нужно!

Глов *(вытаращив глаза)*. Как?

Утешительный. Ты отюда прямо в полк! Мы тебе дадим на обмундировку. Нужно, брат Швохнев, дать ему теперь рублей двести, пусть его погуляет юнкер! Там, я уж заметил, у него есть одна... Черномазая-то, а?

Глов. Черт побери, побегу прямо к ней, возьму приступом!

Утешительный. Каков гусар, а? Швохнев, нет у тебя двухсотрублевой?

Ихарев. Да вот уж я ему дам, пусть его погуляет на славу!

Глов *(берет ассигнацию и, помахивая ею на воздухе)*. Шампанского!

Все. Шампанского!

Несут бутылки.

Глов. Да здравствуют гусары!

Утешительный. Да здравствуют!.. Знаешь ли, Швохнев, что мне пришло на ум? Покачаем его на руках так, как у нас качали в полку! Ну, приступай, бери его!

Все приступают к нему, схватывают его за руки и ноги, качают, припевая на известный припев известную песню:

Мы тебя любим сердечно,
Будь ты начальник наш вечно!
Наши зажег ты сердца,
Мы в тебе видим отца!

Глов *(с поднятой рюмкой)*. Ура!

Все. Ура!

Становят его на землю. Глов хлопнул рюмку об пол, все разбивают тоже свои рюмки, кто о каблук своего сапога, кто о пол.

Глов. Иду прямо к ней!

Утешительный. А нам нельзя за тобой, а?

Глов. Ни... никому! А кто сколько-нибудь... разделка на саблях!

Утешительный. У! Рубака какой! а? Ревнив и задорен, как черт. Я думаю, господа, что из него просто выйдет Бурцов нора, забияка. Ну, прощай, прощай, гусар, не держим тебя!

Глов. Прощайте.

Швохнев. Да приходи нам после рассказать.

Глов уходит.

### ЯВЛЕНИЕ XIX

Те же, кроме Глова.

Утешительный. Нужно его покамест ласкать, пока еще деньги не в наших руках; а там черт с ним!

Швохнев. Одного боюсь я, чтоб как-нибудь не затянулась в приказе выдача денег.

Утешительный. Да, это будет скверно, а впрочем... ведь на это, сами знаете, есть понукатели. Как ни ворочай, а все-таки придется всунуть в руку тому и другому для соблюдения порядка.

### ЯВЛЕНИЕ XX

Те же и чиновник Замухрышкин (высовывает голову в дверь; одет в несколько поношенном фраке).

Замухрышкин. Позвольте узнать: не здесь ли Глов Александр Михалович?

Швохнев. Нет. Он сейчас вышел. А что вам угодно?

Замухрышкин. Да вот по делу их насчет выдачи денег.

Утешительный. А вы кто?

Замухрышкин. Да я чиновник из приказа.

Утешительный. А, милости просим! Прошу покорнейше садиться! В этом деле мы все принимаем живейшее участие. Тем более что заключили кое-какие дружелюбные сделки с Александр Михаловичем. И потому можете понять, что вот и от него, и от него, и от него *(указывая пальцами на всех)* будет искреннейшая благодарность. Дело в том только, чтобы скорее как можно получить из приказа деньги.

Замухрышкин. Да уж как хотите, раньше двух недель никак нельзя.

Утешительный. Нет, это страшно далеко. Ведь вы всё позабываете, что со стороны нашей благодарность...

Замухрышкин. Да уж это само собой. Все это приемлется. Как это позабыть? Мы потому и говорим «две недели», а то бы,

пожалуй, вы и три месяца у нас провозились. Деньги к нам придут не раньше, как через полторы недели, а теперь во всем приказе ни копейки. На прошлой неделе получили полтораста тысяч, все роздали; три помещика ожидают, еще с февраля заложили имение.

Утешительный. Ну, это так для других, а для нас по дружбе... Нужно, чтобы мы с вами покороче познакомились... Ну, да что?.. да и люди свои! Ну, как вас зовут? как? Фентефлей Перпентьич, что ли?

Замухрышкин. Псой Стахич-с.

Утешительный. Ну, все одно почти. Ну, так послушайте, Псой Стахич! Будем так, как давние приятели. Ну, что, как вы? как делишки, как служба ваша?

Замухрышкин. Да что служба? Известное дело — служим.

Утешительный. Ну, а доходов по службе этих, знаете, разных... а просто, много ли берете?

Замухрышкин. Конечно, сами посудите, с чего ж и жить?

Утешительный. Ну что, как в приказе у вас, скажите откровенно, все хапуги?

Замухрышкин. Ну что! Вы уж, я вижу, смеетесь! Эх, господа!.. Ведь вот тоже и господа сочинители всё подсмеиваются над теми, которые берут взятки; а как рассмотришь хорошенько, так взятки берут и те, которые повыше нас. Ну да вот хоть и вы, господа, только разве что придумали названья поблагородней: пожертвованье там или так, бог ведает что такое. А на деле выходит — такие же взятки: тот же Савка, да на других санках.

Утешительный. Вот уж Псой Стахич и обиделся, как я вижу,— вот что значит задеть за честь!

Замухрышкин. Да ведь честь, сами знаете, дело щекотливое. А сердиться тут не из чего. Я уж, батюшка, прожил свое.

Утешительный. Ну, полно, поговоримте по-дружески, Псой Стахич! Ну что ж, как вы? Как у вас? Как поживаете? Как маячитесь на свете? Есть женушка, детки?

Замухрышкин. Слава богу. Бог наградил. Двое сыновей уж в уездное училище ходят. Два других поменьше. Один бегает пока в рубашонке, а другой на карачках ползает.

Утешительный. Ну, а ручонками, я чай, уже все этак *(показывает рукою, как будто берет деньги)* умеют?

Замухрышкин. Ведь вот вы, право, какие, господа! ведь вот опять начали!

Утешительный. Ничего, ничего, Псой Стахич! ведь это по дружбе. Ну что ж тут такого? свои! Эй, дай-ка бокал шампанского

Псою Стахичу! скорей! Мы ведь теперь должны быть как короткие знакомые. Вот мы к вам соберемся тоже в гости.

Замухрышкин *(принимая бокал)*. А милости просим, господа! Откровенно вам скажу, что такого чаю, как вы будете пить у меня, вы у губернатора не сыщете.

Утешительный. Небось даровой, от купца?

Замухрышкин. От купца-с, выписной из Кяхты.

Утешительный. Да как же, Псой Стахич? Ведь вы дел с купцами не имеете?

Замухрышкин *(выпив бокал и упираясь руками в колени)*. А вот как: купец здесь больше по причине глупости своей должен был приплатиться. Помещик Фракасов, если изволите знать, закладывает имение, все уж сделано как следует, завтра остается получить деньги. Затеяли они завод какой-то в половине с купцом. Ну, нам-то, понимаете, какое дело знать, на завод ли или на что другое нужны деньги, и с кем он в половине. Это не наша часть. Да купец по глупости своей и проговорись в городе, что он с ним в половине и ждет от него с часу на час денег. Мы и подослали к нему сказать, что вот пришли две тысячи, сейчас выдадут деньги, а не то — будешь ждать! А уж к нему на фабрику привезли, понимаете, и котлы, и посуду, ожидают только задатков. Купец видит, плетью обуха не перешибешь, заплатил две тысячи да по три фунтика чаю каждому из нас. Скажут — взятка, да ведь за дело: не будь глуп; кто его толкал, языка разве не мог придержать?

Утешительный. Послушайте, Псой Стахич, ну, пожалуйста же, насчет этого дельца. Мы уж вам дадим, а вы уж там с начальниками своими сделайтесь как следует. Только, ради бога, Псой Стахич, поскорее, а?

Замухрышкин. Да будем стараться. *(Вставая.)* Но откровенно скажу вам: так скоро, как вы хотите, нельзя. Пред богом, в приказе ни копейки денег. А будем стараться.

Утешительный. Ну, как вас там спросить?

Замухрышкин. Так и спросите: Псой Стахич Замухрышкин. Прощайте, господа! *(Идет к дверям.)*

Швохнев. Псой Стахич, а Псой Стахич! *(Оглядывается.)* Постарайтесь!

Утешительный. Псой Стахич, Псой Стахич, выручайте поскорее!

Замухрышкин *(уходя)*. Да уж сказал. Будем стараться.

Утешительный. Черт побери, как это долго! *(Бьет себя рукой по лбу.)* Нет, побегу, побегу за ним, авось что-нибудь успею, не пожалею денег. Черт его побери, три тысячи дам ему своих. *(Убегает.)*

## ЯВЛЕНИЕ XXI

Швохнев, Кругель, Ихарев.

Ихарев. Конечно, лучше, если бы получить поскорее.
Швохнев. Да уж как нам нужно! как нам пужно!
Кругель. Эх, если бы он уломал его как-нибудь!
Ихарев. Да что, разве ваши дела...

## ЯВЛЕНИЕ XXII

Те же и Утешительный.

Утешительный *(входит с отчаяньем)*. Черт побери, раньше четырех дней никак не может. Я готов просто лоб расшибить себе об стену.

Ихарев. Да что тебе так приспичило? Неужто четырех дней нельзя обождать?

Швохнев. В том-то и штука, брат, что для нас это слишком важно.

Утешительный. Обождать! Да знаешь ли, что нас в Нижнем с часу на час ждут? Мы тебе не сказывали еще, а уж четыре дня назад тому мы имеем известие спешить как можно скорее, добывши во что бы ни стало хоть сколько-нибудь денег. Купец привез на шестьсот тысяч железа. Во вторник окончательная сделка, и деньги получает чистоганом; да вчера приехал один с пенькой на полмиллиона.

Ихарев. Ну так что ж?

Утешительный. Как что ж? Да ведь старики-то остались дома, а выслали вместо себя сыновей.

Ихарев. Да будто сыновья уж непременно станут играть?

Утешительный. Да где ты живешь, в китайском государстве, что ли? Не знаешь, что такое купеческие сынки? Ведь купец как воспитывает сына? или чтоб он ничего не знал, или чтобы знал то, что нужно дворянину, а не купцу. Ну, натурально, он уж так и глядит — ходит под руку с офицерами, кутит. Это, брат, для нас самый выгодный народ. Они, дурачье, не знают, что за всякий рубль, который они выплутуют у нас, они нам платят тысячами. Да это счастье наше, что купец только и думает о том, чтобы выдать дочь за генерала, а сыну доставить чин.

Ихарев. И дела совершенно верные?

Утешительный. Как не верные! Уж нас не уведомляли бы. Всё почти в наших руках. Теперь всякая минута дорога.

Ихарев. Эх, черт возьми! что ж мы сидим? Господа, а ведь условие-то действовать вместе!

Утешительный. Да, в этом наша польза. Послушай, что мне пришло на ум. Тебе ведь спешить пока еще незачем. Деньги у тебя есть, восемьдесят тысяч. Дай их нам, а от нас возьми векселя Глова. Ты верных получаешь полтораста тысяч, стало быть ровно вдвое, а нас ты даже одолжишь еще, потому что деньги нам теперь так нужны, что мы с радостью готовы платить алтын за всякую копейку.

Ихарев. Извольте, почему нет; чтобы доказать вам, что узы товарищества... *(Подходит к шкатулке и вынимает кипу ассигнаций.)* Вот вам восемьдесят тысяч!

Утешительный. А вот тебе и векселя! Теперь я побегу сейчас за Гловым; нужно его привесть и всё устроить по форме. Кругель, отнеси деньги в мою комнату; вот тебе ключ от моей шкатулки.

Кругель уходит.

Эх, если бы так устроить, чтобы к вечеру можно было ехать. *(Уходит.)*

Ихарев. Натурально, натурально. Тут и минуты незачем терять.

Швохнев. А тебе советую тоже не засиживаться. Как только деньги получишь, сейчас приезжай к нам. С двумястами тысяч знаешь что можно сделать? Просто ярмонку можно подорвать... Ах, я и позабыл сказать Кругелю пренужное дело. Погоди, я сейчас возвращусь. *(Поспешно уходит.)*

## ЯВЛЕНИЕ XXIII

Ихарев один.

Каков ход приняли обстоятельства! А? Еще поутру было только восемьдесят тысяч, а к вечеру уже двести. А? Ведь это для иного век службы, трудов, цена вечных сидений, лишений, здоровья. А тут в несколько часов, в несколько минут — владетельный принц! Шутка — двести тысяч! Да где теперь найдешь двести тысяч? Какое имение, какая фабрика даст двести тысяч? Воображаю, хорош бы я был, если бы сидел в деревне да возился с старостами да мужиками, собирая по три тысячи ежегодного дохода. А образованье-то разве пустая вещь? Невежество-то, которое приобретешь в деревне, ведь его ножом после не обскоблишь. А время-то на что было бы утрачено? На толки с старостой, с мужиком... Да я хочу с образованным человеком поговорить! Теперь вот я

обеспечен. Теперь время у меня свободно. Могу заняться тем, что споспешествует к образованью. Захочу поехать в Петербург — поеду и в Петербург. Посмотрю театр, Монетный двор, пройдусь мимо дворца, по Аглицкой набережной, в Летнем саду. Поеду в Москву, пообедаю у Яра. Могу одеться по столичному образцу, могу стать наравне с другими, исполнить долг просвещенного человека. А что всему причина? чему обязан? Именно тому, что называют плутовством. И вздор, вовсе не плутовство! Плутом можно сделаться в одну минуту, а ведь тут практика, изученье. Ну, положим — плутовство. Да ведь необходимая вещь: что ж можно без него сделать? Оно некоторым образом предостерегательство. Ну, не знай я, например, всех тонкостей, не постигни всего этого — меня бы как раз обманули. Ведь вот же хотели обмануть, да увидели, что дело не с простым человеком имеют, сами прибегнули к моей помощи. Нет, ум великая вещь. В свете нужна тонкость. Я смотрю на жизнь совершенно с другой точки. Этак прожить, как дурак проживет, это не штука, но прожить с тонкостью, с искусством, обмануть всех и не быть обмануту самому — вот настоящая задача и цель!

### ЯВЛЕНИЕ XXIV

Ихарев и Глов, вбегающий торопливо.

Глов. Где же они? Я сейчас был в комнате, там пусто.

Ихарев. Да они сию минуту здесь были. На минуту вышли.

Глов. Как, вышли уж? и деньги у тебя взяли?

Ихарев. Да, мы с ними сделались, за тобою остановка.

### ЯВЛЕНИЕ XXV

Те же и Алексей.

Алексей *(обращаясь к Глову)*. Изволили спрашивать, где господа?

Глов. Да.

Алексей. Да они уж уехали.

Глов. Как уехали?

Алексей. Да так-с. Уж у них с полчаса стояла тележка и готовые лошади.

Глов *(всплеснув руками)*. Ну, мы надуты оба!

Ихарев. Что за вздор! Я не могу понять ни одного слова. Утешительный сию минуту должен возвратиться сюда. Ведь ты знаешь, что теперь должен весь долг твой заплатить мне. Они перевели.

Глов. Какой черт долг! Получишь ты долг! Разве ты не чувствуешь, что в дураках и проведен, как пошлый пень?

Ихарев. Что ты за чепуху несешь? У тебя, видно, до сих пор в голове хмель распоряжается.

Глов. Ну, видно, хмель у обоих нас. Да проснись ты! Думаешь, я Глов? Я такой же Глов, как ты китайский император.

Ихарев *(беспокойно)*. Что ты, помилуй, что за вздор? И отец твой... и...

Глов. Старик-то? Во-первых, он и не отец, да и черт ли и будут от него дети! А во-вторых, тоже не Глов, а Крыницын, да и не Михал Александрович, а Иван Климыч, из их же компании.

Ихарев. Послушай, ты! говори сурьезно, этим не шутят!

Глов. Какие шутки! Я сам участвовал и также обманут. Мне обещали три тысячи за труды.

Ихарев *(подходя к нему, запальчиво)*. Эй, не шути, говорю тебе! Думаешь, я уж дурак такой... И доверенность, и приказ... и чиновник сейчас был из приказа, Псой Стахич Замухрышкин. Ты думаешь, я не могу за ним сейчас послать?

Глов. Во-первых, он и не чиновник из приказа, а отставной штабс-капитан из их же компании, да и не Замухрышкин, а Мурзафейкин, да и не Псой Стахич, а Флор Семенович!

Ихарев *(отчаянно)*. Да ты кто? черт, ты говори, кто ты?

Глов. Да кто я? Я был благородный человек, поневоле стал плутом. Меня обыграли в пух, рубашки не оставили. Что ж мне делать, не умереть же с голода? За три тысячи я взялся участвовать, провести и обмануть тебя. Я говорю тебе это прямо: видишь, я поступаю благородно.

Ихарев *(в бешенстве схватывает за воротник его)*. Мошенник ты!..

Алексей *(в сторону)*. Ну, дело-то, видно, пошло на потасовку. Нужно отсюда убраться! *(Уходит.)*

Ихарев *(таща его)*. Пойдем! пойдем!

Глов. Куда, куда?

Ихарев. Куда? *(В исступлении.)* Куда? к правосудью! к правосудью!

Глов. Помилуй, не имеешь никакого права.

Ихарев. Как! не имею права? Обворовать, украсть деньги среди дня, мошенническим образом! Не имею права? Действовать плутовскими средствами! Не имею права? А вот ты у меня в тюрьме, в Нерчинске, скажешь, что не имею права! Вот погоди, переловят всю вашу мошенническую шайку! Будете вы знать, как обманывать доверие и честность добродушных людей. Закон! закон! закон призову! *(Тащит его.)*

Глов. Да ведь закон ты мог бы призвать тогда, если бы сам

не действовал противузаконным образом. Но вспомни: ведь ты соединился вместе с ними с тем, чтобы обмануть и обыграть наверное меня. И колоды были твоей же собственной фабрики. Нет, брат! В том и штука, что ты не имеешь никакого права жаловаться!

Ихарев *(в отчаянье бьет себя рукой по лбу)*. Черт побери, в самом деле!.. *(В изнеможении упадает на стул.)*

Глов между тем убегает.

Но только какой дьявольский обман!

Глов *(выглядывая в дверь)*. Утешься! Ведь тебе еще с полугоря! У тебя есть Аделаида Ивановна! *(Исчезает.)*

Ихарев *(в ярости)*. Черт побери Аделаиду Ивановну! *(Схватывает Аделаиду Ивановну и швыряет ею в дверь. Дамы и двойки летят на пол.)* Ведь существуют же к стыду и поношенью человеков эдакие мошенники! Но только я просто готов сойти с ума — как это все было чертовски разыграно! как тонко! И отец, и сын, и чиновник Замухрышкин! И концы все спрятаны! И жаловаться даже не могу! *(Схватывается со стула и в волнении ходит по комнате.)* Хитри после этого! Употребляй тонкость ума! Изощряй, изыскивай средства!.. Черт побери, не стоит просто ни благородного рвенья, ни трудов! Тут же под боком отыщется плут, который тебя переплутует! мошенник, который за один раз подорвет строение, над которым работал несколько лет! *(С досадой махнув рукой.)* Черт возьми! Такая уж надувательная земля! Только и лезет тому счастье, кто глуп, как бревно, ничего не смыслит, ни о чем не думает, ничего не делает, а играет только по грошу в бостон подержанными картами!

# МЕРТВЫЕ ДУШИ

ПОЭМА

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки: отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян,— словом, все те, которых называют господами средней руки. В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод. Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным; только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем. «Вишь ты,— сказал один другому,— вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?» — «Доедет»,— отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» — «В Казань не доедет»,— отвечал другой. Этим разговор и кончился. Да еще, когда бричка подъехала к гостинице, встретился молодой человек в белых канифасовых панталонах, весьма узких и коротких, во фраке с покушеньями на моду, из-под которого видна была манишка, застегнутая тульскою булавкою с бронзовым пистолетом. Молодой человек оборотился назад, посмотрел экипаж, придержал рукою картуз, чуть не слетевший от ветра, и пошел своей дорогой.

Когда экипаж въехал на двор, господин был встречен трактирным слугою, или половым, как их называют в русских трактирах, живым и вертлявым до такой степени, что даже нельзя было рассмотреть, какое у него было лицо. Он выбежал проворно, с салфеткой в руке, весь длинный и в длинном демикотонном сюртуке со спинкою чуть не на самом затылке, встряхнул волосами и повел проворно господина вверх по всей деревянной галдарее пока-

зывать ниспосланный ему богом покой. Покой был известного рода, ибо гостиница была тоже известного рода, то есть именно такая, как бывают гостиницы в губернских городах, где за два рубля в сутки проезжающие получают покойную комнату с тараканами, выглядывающими, как чернослив, из всех углов, и дверью в соседнее помещение, всегда заставленною комодом, где устраивается сосед, молчаливый и спокойный человек, но чрезвычайно любопытный, интересующийся знать о всех подробностях проезжающего. Наружный фасад гостиницы отвечал ее внутренности: она была очень длинна, в два этажа; нижний не был выщекатурен и оставался в темно-красных кирпичиках, еще более потемневших от лихих погодных перемен и грязноватых уже самих по себе; верхний был выкрашен вечною желтою краскою; внизу были лавочки с хомутами, веревками и баранками. В угольной из этих лавочек, или, лучше, в окне, помещался сбитенщик с самоваром из красной меди и лицом так же красным, как самовар, так что издали можно бы подумать, что на окне стояло два самовара, если б один самовар не был с черною как смоль бородою.

Пока приезжий господин осматривал свою комнату, внесены были его пожитки: прежде всего чемодан из белой кожи, несколько поистасканный, показывавший, что был не в первый раз в дороге. Чемодан внесли кучер Селифан, низенький человек в тулупчике, и лакей Петрушка, малый лет тридцати, в просторном подержанном сюртуке, как видно с барского плеча, малый немного суровый на взгляд, с очень крупными губами и носом. Вслед за чемоданом внесен был небольшой ларчик красного дерева с штучными выкладками из карельской березы, сапожные колодки и завернутая в синюю бумагу жареная курица. Когда все это было внесено, кучер Селифан отправился на конюшню возиться около лошадей, а лакей Петрушка стал устроиваться в маленькой передней, очень темной конурке, куда уже успел притащить свою шинель и вместе с нею какой-то свой собственный запах, который был сообщен и принесенному вслед за тем мешку с разным лакейским туалетом. В этой конурке он приладил к стене узенькую трехногую кровать, накрыв ее небольшим подобием тюфяка, убитым и плоским, как блин, и, может быть, так же замаслившимся, как блин, который удалось ему вытребовать у хозяина гостиницы.

Покамест слуги управлялись и возились, господин отправился в общую залу. Какие бывают эти общие залы — всякий проезжающий знает очень хорошо: те же стены, выкрашенные масляной краской, потемневшие вверху от трубочного дыма и залосненные снизу спинами разных проезжающих, а еще более туземными купеческими, ибо купцы по торговым дням приходили сюда сам-шест и сам-сём испивать свою известную пару чаю; тот же закопченный

потолок; та же копченая люстра со множеством висящих стеклышек, которые прыгали и звенели всякий раз, когда половой бегал по истертым клеенкам, помахивая бойко подносом, на котором сидела такая же бездна чайных чашек, как птиц на морском берегу; те же картины во всю степу, писанные масляными красками,— словом, все то же, что и везде; только и разницы, что на одной картине изображена была нимфа с такими огромными грудями, каких читатель, верно, никогда не видывал. Подобная игра природы, впрочем, случается на разных исторических картинах, неизвестно в какое время, откуда и кем привезенных к нам в Россию, иной раз даже нашими вельможами, любителями искусства, накупившими их в Италии по совету везших их курьеров. Господин скинул с себя картуз и размотал с шеи шерстяную, радужных цветов косынку, какую женатым приготовляет своими руками супруга, снабжая приличными наставлениями, как закутываться, а холостым — наверное не могу сказать, кто делает, бог их знает, я никогда не носил таких косынок. Размотавши косынку, господин велел подать себе обед. Покамест ему подавались разные обычные в трактирах блюда, как-то: щи с слоеным пирожком, нарочно сберегаемым для проезжающих в течение нескольких неделей, мозги с горошком, сосиски с капустой, пулярка жареная, огурец соленый и вечный слоеный сладкий пирожок, всегда готовый к услугам; покамест ему все это подавалось и разогретое, и просто холодное, он заставил слугу, или полового, рассказывать всякий вздор — о том, кто содержал прежде трактир и кто теперь, и много ли дает дохода, и большой ли подлец их хозяин; на что половой, по обыкновению, отвечал: «О, большой, сударь, мошенник». Как в просвещенной Европе, так и в просвещенной России есть теперь весьма много почтенных людей, которые без того не могут покушать в трактире, чтоб не поговорить с слугою, а иногда даже забавно пошутить над ним. Впрочем, приезжий делал не всё пустые вопросы; он с чрезвычайною точностию расспросил, кто в городе губернатор, кто председатель палаты, кто прокурор,— словом, не пропустил ни одного значительного чиновника; но еще с большею точностию, если даже не с участием, расспросил обо всех значительных помещиках: сколько кто имеет душ крестьян, как далеко живет от города, какого даже характера и как часто приезжает в город; расспросил внимательно о состоянии края: не было ли каких болезней в их губернии — повальных горячек, убийственных каких-либо лихорадок, оспы и тому подобного, и все так обстоятельно и с такою точностию, которая показывала более, чем одно простое любопытство. В приемах своих господин имел что-то солидное и высмаркивался чрезвычайно громко. Неизвестно, как он это делал, но только нос его звучал, как труба. Это, по-видимому,

совершенно невинное достоинство приобрело, однако ж, ему много уважения со стороны трактирного слуги, так что он всякий раз, когда слышал этот звук, встряхивал волосами, выпрямливался почтительнее и, нагнувши с вышины свою голову, спрашивал: не нужно ли чего? После обеда господин выкушал чашку кофею и сел на диван, подложивши себе за спину подушку, которую в русских трактирах вместо эластической шерсти набивают чем-то чрезвычайно похожим на кирпич и булыжник. Тут начал он зевать и приказал отвести себя в свой нумер, где, прилегши, заснул два часа. Отдохнувши, он написал на лоскутке бумажки, по просьбе трактирного слуги, чин, имя и фамилию для сообщения куда следует, в полицию. На бумажке половой, спускаясь с лестницы, прочитал по складам следующее: «Коллежский советник Павел Иванович Чичиков, помещик, по своим надобностям». Когда половой все еще разбирал по складам записку, сам Павел Иванович Чичиков отправился посмотреть город, которым был, как казалось, удовлетворен, ибо нашел, что город никак не уступал другим губернским городам: сильно била в глаза желтая краска на каменных домах и скромно темнела серая на деревянных. Дома были в один, два и полтора этажа, с вечным мезонином, очень красивым, по мнению губернских архитекторов. Местами эти дома казались затерянными среди широкой, как поле, улицы и нескончаемых деревянных заборов; местами сбивались в кучу, и здесь было заметно более движения народа и живости. Попадались почти смытые дождем вывески с кренделями и сапогами, кое-где с нарисованными синими брюками и подписью какого-то Аршавского портного; где магазин с картузами, фуражками и надписью: «Иностранец Василий Федоров»; где нарисован был бильярд с двумя игроками во фраках, в какие одеваются у нас на театрах гости, входящие в последнем акте на сцену. Игроки были изображены с прицелившимися киями, несколько вывороченными назад руками и косыми ногами, только что сделавшими на воздухе антраша. Под всем этим было написано: «И вот заведение». Кое-где просто на улице стояли столы с орехами, мылом и пряниками, похожими на мыло; где харчевня с нарисованною толстою рыбою и воткнутою в нее вилкою. Чаще же всего заметно было потемневших двуглавых государственных орлов, которые теперь уже заменены лаконическою надписью: «Питейный дом». Мостовая везде была плоховата. Он заглянул и в городской сад, который состоял из тоненьких дерев, дурно принявшихся, с подпорками внизу, в виде треугольников, очень красиво выкрашенных зеленою масляною краскою. Впрочем, хотя эти деревца были не выше тростника, о них было сказано в газетах при описании иллюминации, что «город наш украсился, благодаря попечению гражданского правителя, садом, состоящим из тени-

стых, широковетвистых дерев, дающих прохладу в знойный день», и что при этом «было очень умилительно глядеть, как сердца граждан трепетали в избытке благодарности и струили потоки слез в знак признательности к господину градоначальнику». Расспросивши подробно будочника, куда можно пройти ближе, если понадобится, к собору, к присутственным местам, к губернатору, он отправился взглянуть на реку, протекавшую посредине города, дорогою оторвал прибитую к столбу афишу, с тем чтобы, пришедши домой, прочитать ее хорошенько, посмотрел пристально на проходившую по деревянному тротуару даму недурной наружности, за которой следовал мальчик в военной ливрее, с узелком в руке, и, еще раз окинувши все глазами, как бы с тем, чтобы хорошо припомнить положение места, отправился домой прямо в свой нумер, поддерживаемый слегка на лестнице трактирным слугою. Накушавшись чаю, он уселся перед столом, велел подать себе свечу, вынул из кармана афишу, поднес ее к свече и стал читать, прищуря немного правый глаз. Впрочем, замечательного немного было в афишке: давалась драма г. Коцебу, в которой Ролла играл г. Поплёвин, Кору — девица Зяблова, прочие лица были и того менее замечательны; однако же он прочел их всех, добрался даже до цены партера и узнал, что афиша была напечатана в типографии губернского правления, потом переворотил на другую сторону: узнать, нет ли там чего-нибудь, но, не нашедши ничего, протер глаза, свернул опрятно и положил в свой ларчик, куда имел обыкновение складывать все, что ни попадалось. День, кажется, был заключен порцией холодной телятины, бутылкою кислых щей и крепким сном во всю насосную завертку, как выражаются в иных местах обширного русского государства.

Весь следующий день посвящен был визитам; приезжий отправился делать визиты всем городским сановникам. Был с почтением у губернатора, который, как оказалось, подобно Чичикову, был ни толст, ни тонок собой, имел на шее Анну, и поговаривали даже, что был представлен к звезде; впрочем, был большой добряк и даже сам вышивал иногда по тюлю. Потом отправился к вицегубернатору, потом был у прокурора, у председателя палаты, у полицеймейстера, у откупщика, у начальника над казенными фабриками... жаль, что несколько трудно упомнить всех сильных мира сего; но довольно сказать, что приезжий оказал необыкновенную деятельность насчет визитов: он явился даже засвидетельствовать почтение инспектору врачебной управы и городскому архитектору. И потом еще долго сидел в бричке, придумывая, кому бы еще отдать визит, да уж больше в городе не нашлось чиновников. В разговорах с сими властителями он очень искусно умел польстить каждому. Губернатору намекнул как-то вскользь, что в его губер-

нию въезжаешь, как в рай, дороги везде бархатные, и что те правительства, которые назначают мудрых сановников, достойны большой похвалы. Полицеймейстеру сказал что-то очень лестное насчет городских будочников; а в разговорах с вице-губернатором и председателем палаты, которые были еще только статские советники, сказал даже ошибкою два раза: «ваше превосходительство», что очень им понравилось. Следствием этого было то, что губернатор сделал ему приглашение пожаловать к нему того же дня на домашнюю вечеринку, прочие чиновники тоже, с своей стороны, кто на обед, кто на бостончик, кто на чашку чаю.

О себе приезжий, как казалось, избегал много говорить; если же говорил, то какими-то общими местами, с заметною скромностию, и разговор его в таких случаях принимал несколько книжные обороты: что он не значащий червь мира сего и не достоин того, чтобы много о нем заботились, что испытал много на веку своем, претерпел на службе за правду, имел много неприятелей, покушавшихся даже на жизнь его, и что теперь, желая успокоиться, ищет избрать наконец место для жительства, и что, прибывши в этот город, почел за непременный долг засвидетельствовать свое почтение первым его сановникам. Вот все, что узнали в городе об этом новом лице, которое очень скоро не преминуло показать себя на губернаторской вечеринке. Приготовление к этой вечеринке заняло с лишком два часа времени, и здесь в приезжем оказалась такая внимательность к туалету, какой даже не везде видывано. После небольшого послеобеденного сна он приказал подать умыться и чрезвычайно долго тер мылом обе щеки, подперши их извнутри языком; потом, взявши с плеча трактирного слуги полотенце, вытер им со всех сторон полное свое лице, начав из-за ушей и фыркнув прежде раза два в самое лицо трактирного слуги. Потом надел перед зеркалом манишку, выщипнул вылезшие из носу два волоска и непосредственно за тем очутился во фраке брусничного цвета с искрой. Таким образом одевшись, покатился он в собственном экипаже по бесконечно широким улицам, озаренным тощим освещением из кое-где мелькавших окон. Впрочем, губернаторский дом был так освещен, хоть бы и для бала; коляска с фонарями, перед подъездом два жандарма, форейторские крики вдали — словом, всё как нужно. Вошедши в зал, Чичиков должен был на минуту зажмурить глаза, потому что блеск от свечей, ламп и дамских платьев был страшный. Все было залито светом. Черные фраки мелькали и носились врознь и кучами там и там, как носятся мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета, когда старая ключница рубит и делит его на сверкающие обломки перед открытым окном; дети все глядят, собравшись вокруг, следя любопытно за движениями жестких рук ее, поды-

«Мертвые души»

Худ. А. Лаптев

мающих молот, а воздушные эскадроны мух, поднятые легким воздухом, влетают смело, как полные хозяева, и, пользуясь подслеповатостию старухи и солнцем, беспокоящим глаза ее, обсыпают лакомые куски где вразбитную, где густыми кучами. Насыщенные богатым летом, и без того на всяком шагу расставляющим лакомые блюда, они влетели вовсе не с тем, чтобы есть, но чтобы только показать себя, пройтись взад и вперед по сахарной куче, потереть одна о другую задние или передние ножки, или почесать ими у себя под крылышками, или, протянувши обе передние лапки, потереть ими у себя над головою, повернуться и опять улететь, и опять прилететь с новыми докучными эскадронами. Не успел Чичиков осмотреться, как уже был схвачен под руку губернатором, который представил его тут же губернаторше. Приезжий гость и тут не уронил себя: он сказал какой-то комплимент, весьма приличный для человека средних лет, имеющего чин не слишком большой и не слишком малый. Когда установившиеся пары танцующих притиснули всех к стене, он, заложивши руки назад, глядел на них минуты две очень внимательно. Многие дамы были хорошо одеты и по моде, другие оделись во что бог послал в губернский город. Мужчины здесь, как и везде, были двух родов: одни тоненькие, которые всё увивались около дам; некоторые из них были такого рода, что с трудом можно было отличить их от петербургских, имели так же весьма обдуманно и со вкусом зачесанные бакенбарды или просто благовидные, весьма гладко выбритые овалы лиц, так же небрежно подседали к дамам, так же говорили по-французски и смешили дам так же, как и в Петербурге. Другой род мужчин составляли толстые или такие же, как Чичиков, то есть не так чтобы слишком толстые, однако ж и не тонкие. Эти, напротив того, косились и пятились от дам и посматривали только по сторонам, не расставлял ли где губернаторский слуга зеленого стола для виста. Лица у них были полные и круглые, на иных даже были бородавки, кое-кто был и рябоват, волос они на голове не носили ни хохлами, ни буклями, ни на манер «черт меня побери», как говорят французы,— волосы у них были или низко подстрижены, или прилизаны, а черты лица больше закругленные и крепкие. Это были почетные чиновники в городе. Увы! толстые умеют лучше на этом свете обделывать дела свои, нежели тоненькие. Тоненькие служат больше по особенным поручениям или только числятся и виляют туда и сюда; их существование как-то слишком легко, воздушно и совсем ненадежно. Толстые же никогда не занимают косвенных мест, а всё прямые, и уж если сядут где, то сядут надежно и крепко, так что скорей место затрещит и угнется под ними, а уж они не слетят. Наружного блеска они не любят; на них фрак не так ловко скроен, как у тоненьких, зато в шка-

тулках благодать божия. У тоненького в три года не остается ни одной души, не заложенной в ломбард; у толстого спокойно, глядь — и явился где-нибудь в конце города дом, купленный на имя жены, потом в другом конце другой дом, потом близ города деревенька, потом и село со всеми угодьями. Наконец толстый, послуживши богу и государю, заслуживши всеобщее уважение, оставляет службу, перебирается и делается помещиком, славным русским барином, хлебосолом, и живет, и хорошо живет. А после него опять тоненькие наследники спускают, по русскому обычаю, на курьерских все отцовское добро. Нельзя утаить, что почти такого рода размышления занимали Чичикова в то время, когда он рассматривал общество, и следствием этого было то, что он наконец присоединился к толстым, где встретил почти всё знакомые лица: прокурора с весьма черными густыми бровями и несколько подмигивавшим левым глазом так, как будто бы говорил: «Пойдем, брат, в другую комнату, там я тебе что-то скажу»,— человека, впрочем, серьезного и молчаливого; почтмейстера, низенького человека, но остряка и философа; председателя палаты, весьма рассудительного и любезного человека,— которые все приветствовали его, как старинного знакомого, на что Чичиков раскланивался несколько набок, впрочем, не без приятности. Тут же познакомился он с весьма обходительным и учтивым помещиком Маниловым и несколько неуклюжим на взгляд Собакевичем, который с первого раза ему наступил на ногу, сказавши: «Прошу прощения». Тут же ему всунули карту на вист, которую он принял с таким же вежливым поклоном. Они сели за зеленый стол и не вставали уже до ужина. Все разговоры совершенно прекратились, как случается всегда, когда наконец предаются занятию дельному. Хотя почтмейстер был очень речист, но и тот, взявши в руки карты, тот же час выразил на лице своем мыслящую физиономию, покрыл нижнею губою верхнюю и сохранил такое положение во все время игры. Выходя с фигуры, он ударял по столу крепко рукою, приговаривая, если была дама: «Пошла, старая попадья!», если же король: «Пошел, тамбовский мужик!» А председатель приговаривал: «А я его по усам! А я ее по усам!» Иногда при ударе карт по столу вырывались выражения: «А! была не была, не с чего, так с бубен!» Или же просто восклицания: «черви! червоточина! пикенция!» или: «пикендрас! пичурущух пичура!» и даже просто: «пичук!» — названия, которыми перекрестили они масти в своем обществе. По окончании игры спорили, как водится, довольно громко. Приезжий наш гость также спорил, но как-то чрезвычайно искусно, так что все видели, что он спорил, а между тем приятно спорил. Никогда он не говорил: «вы пошли», но: «вы изволили пойти», «я имел честь покрыть вашу двойку» и тому подобное.

Чтобы еще более согласить в чем-нибудь своих противников, он всякий раз подносил им всем свою серебряную с финифтью табакерку, на дне которой заметили две фиалки, положенные туда для запаха. Внимание приезжего особенно заняли помещики Манилов и Собакевич, о которых было упомянуто выше. Он тотчас же осведомился о них, отозвавши тут же несколько в сторону председателя и почтмейстера. Несколько вопросов, им сделанных, показали в госте не только любознательность, но и основательность; ибо прежде всего расспросил он, сколько у каждого из них душ крестьян и в каком положении находятся их имения, а потом уже осведомился, как имя и отчество. В немного времени он совершенно успел очаровать их. Помещик Манилов, еще вовсе человек не пожилой, имевший глаза сладкие, как сахар, и щуривший их всякий раз, когда смеялся, был от него без памяти. Он очень долго жал ему руку и просил убедительно сделать ему честь своим приездом в деревню, к которой, по его словам, было только пятнадцать верст от городской заставы. На что Чичиков с весьма вежливым наклонением головы и искренним пожатием руки отвечал, что он не только с большою охотою готов это исполнить, но даже почтет за священнейший долг. Собакевич тоже сказал несколько лаконически: «И ко мне прошу»,— шаркнувши ногою, обутою в сапог такого исполинского размера, которому вряд ли где можно найти отвечающую ногу, особливо в нынешнее время, когда и на Руси начинают выводиться богатыри.

На другой день Чичиков отправился на обед и вечер к полицеймейстеру, где с трех часов после обеда засели в вист и играли до двух часов ночи. Там, между прочим, он познакомился с помещиком Ноздревым, человеком лет тридцати, разбитным малым, который ему после трех-четырех слов начал говорить «ты». С полицеймейстером и прокурором Ноздрев тоже был на «ты» и обращался по-дружески; но, когда сели играть в большую игру, полицеймейстер и прокурор чрезвычайно внимательно рассматривали его взятки и следили почти за всякою картою, с которой он ходил. На другой день Чичиков провел вечер у председателя палаты, который принимал гостей своих в халате, несколько замасленном, и в том числе двух каких-то дам. Потом был на вечере у вицегубернатора, на большом обеде у откупщика, на небольшом обеде у прокурора, который, впрочем, стоил большого; на закуске после обедни, данной городским главою, которая тоже стоила обеда. Словом, ни одного часа не приходилось ему оставаться дома, и в гостиницу приезжал он с тем только, чтобы заснуть. Приезжий во всем как-то умел найтиться и показал в себе опытного светского человека. О чем бы разговор ни был, он всегда умел поддержать его: шла ли речь о лошадином заводе, он говорил и о лошадином

заводе; говорили ли о хороших собаках, и здесь он сообщал очень дельные замечания; трактовали ли касательно следствия, произведенного казенною палатою,— он показал, что ему небезызвестны и судейские проделки; было ли рассуждение о бильярдной игре — и в бильярдной игре не давал он промаха; говорили ли о добродетели, и о добродетели рассуждал он очень хорошо, даже со слезами на глазах; об выделке горячего вина, и в горячем вине знал он прок; о таможенных надсмотрщиках и чиновниках, и о них он судил так, как будто бы сам был и чиновником и надсмотрщиком. Но замечательно, что он все это умел облекать какою-то степенностью, умел хорошо держать себя. Говорил ни громко, ни тихо, а совершенно так, как следует. Словом, куда ни повороти, был очень порядочный человек. Все чиновники были довольны приездом нового лица. Губернатор об нем изъяснился, что он благонамеренный человек; прокурор — что он дельный человек; жандармский полковник говорил, что он ученый человек; председатель палаты — что он знающий и почтенный человек; полицеймейстер — что он почтенный и любезный человек; жена полицеймейстера — что он любезнейший и обходительнейший человек. Даже сам Собакевич, который редко отзывался о ком-нибудь с хорошей стороны, приехавши довольно поздно из города и уже совершенно раздевшись и легши на кровать возле худощавой жены своей, сказал ей: «Я, душенька, был у губернатора на вечере, и у полицеймейстера обедал, и познакомился с коллежским советником Павлом Ивановичем Чичиковым: преприятный человек!» На что супруга отвечала: «Гм!» — и толкнула его ногою.

Такое мнение, весьма лестное для гостя, составилось о нем в городе, и оно держалось до тех пор, покамест одно странное свойство гостя и предприятие, или, как говорят в провинциях, пассаж, о котором читатель скоро узнает, не привело в совершенное недоумение почти всего города.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Уже более недели приезжий господин жил в городе, разъезжая по вечеринкам и обедам и таким образом проводя, как говорится, очень приятно время. Наконец он решился перенести свои визиты за город и навестить помещиков Манилова и Собакевича, которым дал слово. Может быть, к сему побудила его другая, более существенная причина, дело более серьезное, близшее к сердцу... Но обо всем этом читатель узнает постепенно и в свое время, если только будет иметь терпение прочесть предлагаемую повесть, очень длинную, имеющую после раздвинуться шире и просторнее

по мере приближения к концу, венчающему дело. Кучеру Селифану отдано было приказание рано поутру заложить лошадей в известную бричку; Петрушке приказано было оставаться дома, смотреть за комнатой и чемоданом. Для читателя будет не лишним познакомиться с сими двумя крепостными людьми нашего героя. Хотя, конечно, они лица не так заметные, и то, что называют второстепенные или даже третьестепенные, хотя главные ходы и пружины поэмы не на них утверждены и разве кое-где касаются и легко зацепляют их,— но автор любит чрезвычайно быть обстоятельным во всем и с этой стороны, несмотря на то что сам человек русский, хочет быть аккуратен, как немец. Это займет, впрочем, не много времени и места, потому что не много нужно прибавить к тому, что уже читатель знает, то есть что Петрушка ходил в несколько широком коричневом сюртуке с барского плеча и имел, по обычаю людей своего звания, крупный нос и губы. Характера он был больше молчаливого, чем разговорчивого; имел даже благородное побуждение к просвещению, то есть чтению книг, содержанием которых не затруднялся: ему было совершенно все равно, похождение ли влюбленного героя, просто букварь или молитвенник,— он всё читал с равным вниманием; если бы ему подвернули химию, он и от нее бы не отказался. Ему нравилось не то, о чем читал он, но больше самое чтение, или, лучше сказать, процесс самого чтения, что вот-де из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз черт знает что и значит. Это чтение совершалось более в лежачем положении в передней, на кровати и на тюфяке, сделавшемся от такого обстоятельства убитым и тоненьким, как лепешка. Кроме страсти к чтению, он имел еще два обыкновения, составлявшие две другие его характерические черты: спать не раздеваясь, так, как есть, в том же сюртуке, и носить всегда с собою какой-то свой особенный воздух, своего собственного запаха, отзывавшийся несколько жилым покоем, так что достаточно было ему только пристроить где-нибудь свою кровать, хоть даже в необитаемой дотоле комнате, да перетащить туда шинель и пожитки, и уже казалось, что в этой комнате лет десять жили люди. Чичиков, будучи человек весьма щекотливый и даже в некоторых случаях привередливый, потянувши к себе воздух на свежий нос поутру, только помарщивался да встряхивал головою, приговаривая: «Ты, брат, черт тебя знает, потеешь, что ли. Сходил бы ты хоть в баню». На что Петрушка ничего не отвечал и старался тут же заняться каким-нибудь делом; или подходил с щеткой к висевшему барскому фраку, или просто прибирал что-нибудь. Что думал он в то время, когда молчал,— может быть, он говорил про себя: «И ты, однако ж, хорош, не надоело тебе сорок раз повторять одно и то же»,— бог ведает, трудно знать, что думает дво-

ровый крепостной человек в то время, когда барин ему дает наставление. Итак, вот что на первый раз можно сказать о Петрушке. Кучер Селифан был совершенно другой человек... Но автор весьма совестится занимать так долго читателей людьми низкого класса, зная по опыту, как неохотно они знакомятся с низкими сословиями. Таков уже русский человек: страсть сильная зазнаться с тем, который бы хотя одним чином был его повыше, и шапочное знакомство с графом или князем для него лучше всяких тесных дружеских отношений. Автор даже опасается за своего героя, который только коллежский советник. Надворные советники, может быть, и познакомятся с ним, но те, которые подобрались уже к чинам генеральским, те, бог весть, может быть, даже бросят один из тех презрительных взглядов, которые бросаются гордо человеком на все, что ни пресмыкается у ног его, или, что еще хуже, может быть, пройдут убийственным для автора невниманием. Но как ни прискорбно то и другое, а все, однако ж, нужно возвратиться к герою. Итак, отдавши нужные приказания еще с вечера, проснувшись поутру очень рано, вымывшись, вытершись с ног до головы мокрою губкой, что делалось только по воскресным дням,— а в тот день случись воскресенье,— выбрившись таким образом, что щеки сделались настоящий атлас в рассуждении гладкости и лоска, надевши фрак брусничного цвета с искрой и потом шинель на больших медведях, он сошел с лестницы, поддерживаемый под руку то с одной, то с другой стороны трактирным слугою, и сел в бричку. С громом выехала бричка из-под ворот гостиницы на улицу. Проходивший поп снял шляпу, несколько мальчишек в замаранных рубашках протянули руки, приговаривая: «Барин, подай сиротиньке!» Кучер, заметивши, что один из них был большой охотник становиться на запятки, хлыснул его кнутом, и бричка пошла прыгать по камням. Не без радости был вдали узрет полосатый шлагбаум, дававший знать, что мостовой, как и всякой другой муке, будет скоро конец; и еще несколько раз ударившись довольно крепко головою в кузов, Чичиков понесся наконец по мягкой земле. Едва только ушел назад город, как уже пошли писать, по нашему обычаю, чушь и дичь по обеим сторонам дороги: кочки, ельник, низенькие жидкие кусты молодых сосен, обгорелые стволы старых, дикий вереск и тому подобный вздор. Попадались вытянутые по снурку деревни, постройкою похожие на старые складенные дрова, покрытые серыми крышами с резными деревянными под ними украшениями в виде висячих шитых узорами утиральников. Несколько мужиков, по обыкновению, зевали, сидя на лавках перед воротами в своих овчинных тулупах. Бабы с толстыми лицами и перевязанными грудями смотрели из верхних окон; из нижних глядел теленок или высовывала слепую морду свою свинья.

Словом, виды известные. Проехавши пятнадцатую версту, он вспомнил, что здесь, по словам Манилова, должна быть его деревня, но и шестнадцатая верста пролетела мимо, а деревни все не было видно, и если бы не два мужика, попавшиеся навстречу, то вряд ли бы довелось им потрафить на лад. На вопрос, далеко ли деревня Заманиловка, мужики сняли шляпы, и один из них, бывший поумнее и носивший бороду клином, отвечал:

— Маниловка, может быть, а не Заманиловка?

— Ну да, Маниловка.

— Маниловка! а как проедешь еще одну версту, так вот тебе, то есть, так прямо направо.

— Направо? — отозвался кучер.

— Направо,— сказал мужик.— Это будет тебе дорога в Маниловку; а Заманиловки никакой нет. Она зовется так, то есть ее прозвание Маниловка, а Заманиловки тут вовсе нет. Там прямо на горе увидишь дом, каменный, в два этажа, господский дом, в котором, то есть, живет сам господин. Вот это тебе и есть Маниловка, а Заманиловки совсем нет никакой здесь и не было.

Поехали отыскивать Маниловку. Проехавши две версты, встретили поворот на проселочную дорогу, но уже и две, и три, и четыре версты, кажется, сделали, а каменного дома в два этажа все еще не было видно. Тут Чичиков вспомнил, что если приятель приглашает к себе в деревню за пятнадцать верст, то значит, что к ней есть верных тридцать. Деревня Маниловка немногих могла заманить своим местоположением. Дом господский стоял одиночкой на юру, то есть на возвышении, открытом всем ветрам, каким только вздумается подуть; покатость горы, на которой он стоял, была одета подстриженным дерном. На ней были разбросаны по-английски две-три клумбы с кустами сиреней и желтых акаций; пять-шесть берез небольшими купами кое-где возносили свои мелколистные жиденькие вершины. Под двумя из них видна была беседка с плоским зеленым куполом, деревянными голубыми колоннами и надписью: «Храм уединенного размышления»; пониже пруд, покрытый зеленью, что, впрочем, не в диковинку в аглицких садах русских помещиков. У подошвы этого возвышения, и частию по самому скату, темнели вдоль и поперек серенькие бревенчатые избы, которые герой наш, неизвестно по каким причинам, в ту же минуту принялся считать и насчитал более двухсот; нигде между ними растущего деревца или какой-нибудь зелени; везде глядело только одно бревно. Вид оживляли две бабы, которые, картинно подобравши платья и подтыкавшись со всех сторон, брели по колени в пруде, влача за два деревянные кляча изорванный бредень, где видны были два запутавшиеся рака и блестела попавшаяся плотва; бабы, казалось, были между собою в ссоре и за что-то пере-

бранивались. Поодаль в стороне темнел каким-то скучно-синеватым цветом сосновый лес. Даже самая погода весьма кстати прислужилась: день был не то ясный, не то мрачный, а какого-то светло-серого цвета, какой бывает только на старых мундирах гарнизонных солдат, этого, впрочем, мирного войска, но отчасти нетрезвого по воскресным дням. Для пополнения картины не было недостатка в петухе, предвозвестнике переменчивой погоды, который, несмотря на то что голова продолблена была до самого мозгу носами других петухов по известным делам волокитства, горланил очень громко и даже похлопывал крыльями, обдерганными, как старые рогожки. Подъезжая ко двору, Чичиков заметил на крыльце самого хозяина, который стоял в зеленом шалоновом сюртуке, приставив руку ко лбу в виде зонтика над глазами, чтобы рассмотреть получше подъезжавший экипаж. По мере того как бричка близилась к крыльцу, глаза его делались веселее и улыбка раздвигалась более и более.

— Павел Иванович! — вскричал он наконец, когда Чичиков вылезал из брички.— Насилу вы таки нас вспомнили!

Оба приятеля очень крепко поцеловались, и Манилов увел своего гостя в комнату. Хотя время, в продолжение которого они будут проходить сени, переднюю и столовую, несколько коротковато, но попробуем, не успеем ли как-нибудь им воспользоваться и сказать кое-что о хозяине дома. Но тут автор должен признаться, что подобное предприятие очень трудно. Гораздо легче изображать характеры большого размера: там просто бросай краски со всей руки на полотно, черные палящие глаза, нависшие брови, перерезанный морщиною лоб, перекинутый через плечо черный или алый, как огонь, плащ — и портрет готов; но вот эти все господа, которых много на свете, которые с вида очень похожи между собою, а между тем как приглядишься, увидишь много самых неуловимых особенностей,— эти господа страшно трудны для портретов. Тут придется сильно напрягать внимание, пока заставишь перед собою выступить все тонкие, почти невидимые черты, и вообще далеко придется углублять уже изощренный в науке выпытывания взгляд.

Один бог разве мог сказать, какой был характер Манилова. Есть род людей, известных под именем: люди так себе, ни то ни се, ни в городе Богдан ни в селе Селифан, по словам пословицы. Может быть, к ним следует примкнуть и Манилова. На взгляд он был человек видный; черты лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару; в приемах и оборотах его было что-то заискивающее расположения и знакомства. Он улыбался заманчиво, был белокур, с голубыми глазами. В первую минуту разговора с ним не можешь не сказать:

«Какой приятный и добрый человек!» В следующую за тем минуту ничего не скажешь, а в третью скажешь: «Черт знает что такое!» — и отойдешь подальше; если ж не отойдешь, почувствуешь скуку смертельную. От него не дождешься никакого живого или хоть даже заносчивого слова, какое можешь услышать почти от всякого, если коснешься задирающего его предмета. У всякого есть свой задор: у одного задор обратился на борзых собак; другому кажется, что он сильный любитель музыки и удивительно чувствует все глубокие места в ней; третий мастер лихо пообедать; четвертый сыграть роль хоть одним вершком повыше той, которая ему назначена; пятый, с желанием более ограниченным, спит и грезит о том, как бы пройтиться на гулянье с флигель-адъютантом, напоказ своим приятелям, знакомым и даже незнакомым; шестой уже одарен такою рукою, которая чувствует желание сверхъестественное заломить угол какому-нибудь бубновому тузу или двойке, тогда как рука седьмого так и лезет произвести где-нибудь порядок, подобраться поближе к личности станционного смотрителя или ямщиков,— словом, у всякого есть свое, но у Манилова ничего не было. Дома он говорил очень мало и большею частию размышлял и думал, но о чем он думал, тоже разве богу было известно. Хозяйством нельзя сказать чтобы он занимался, он даже никогда не ездил на поля, хозяйство шло как-то само собою. Когда приказчик говорил: «Хорошо бы, барин, то и то сделать»,— «Да, недурно»,— отвечал он обыкновенно, куря трубку, которую курить сделал привычку, когда еще служил в армии, где считался скромнейшим, деликатнейшим и образованнейшим офицером. «Да, именно недурно»,— повторял он. Когда приходил к нему мужик и, почесавши рукою затылок, говорил: «Барин, позволь отлучиться на работу, по́дать заработать»,— «Ступай»,— говорил он, куря трубку, и ему даже в голову не приходило, что мужик шел пьянствовать. Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выражение; впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними словами. В его кабинете всегда лежала какая-то книжка, заложенная закладкою на четырнадцатой странице, которую он постоянно читал уже два года. В доме его чего-нибудь вечно недоставало: в гостиной стояла прекрасная мебель, обтянутая щегольской шелковой материей, которая, верно, стоила весьма недешево; но на два кресла ее недостало, и кресла стояли обтянуты просто рогожею; впрочем, хозяин в продолжение нескольких

лет всякий раз предостерегал своего гостя словами: «Не садитесь на эти кресла, они еще не готовы». В иной комнате и вовсе не было мебели, хотя и было говорено в первые дни после женитьбы: «Душенька, нужно будет завтра похлопотать, чтобы в эту комнату хоть на время поставить мебель». Ввечеру подавался на стол очень щегольской подсвечник из темной бронзы с тремя античными грациями, с перламутным щегольским щитом, и рядом с ним ставился какой-то просто медный инвалид, хромой, свернувшийся на сторону и весь в сале, хотя этого не замечал ни хозяин, ни хозяйка, ни слуги. Жена его... впрочем, они были совершенно довольны друг другом. Несмотря на то что минуло более восьми лет их супружеству, из них все еще каждый приносил другому или кусочек яблочка, или конфетку, или орешек и говорил трогательно-нежным голосом, выражавшим совершенную любовь: «Разинь, душенька, свой ротик, я тебе положу этот кусочек». Само собою разумеется, что ротик раскрывался при этом случае очень грациозно. Ко дню рождения приготовляемы были сюрпризы: какой-нибудь бисерный чехольчик на зубочистку. И весьма часто, сидя на диване, вдруг, совершенно неизвестно из каких причин, один, оставивши свою трубку, а другая работу, если только она держалась на ту пору в руках, они напечатлевали друг другу такой томный и длинный поцелуй, что в продолжение его можно бы легко выкурить маленькую соломенную сигарку. Словом, они были, то что говорится, счастливы. Конечно, можно бы заметить, что в доме есть много других занятий, кроме продолжительных поцелуев и сюрпризов, и много бы можно сделать разных запросов. Зачем, например, глупо и без толку готовится на кухне? зачем довольно пусто в кладовой? зачем воровка ключница? зачем нечистоплотны и пьяницы слуги? зачем вся дворня спит немилосердным образом и повесничает все остальное время? Но все это предметы низкие, а Манилова воспитана хорошо. А хорошее воспитание, как известно, получается в пансионах. А в пансионах, как известно, три главные предмета составляют основу человеческих добродетелей: французский язык, необходимый для счастия семейственной жизни, фортепьяно, для доставления приятных минут супругу, и, наконец, собственно хозяйственная часть: вязание кошельков и других сюрпризов. Впрочем, бывают разные усовершенствования и изменения в мето́дах, особенно в нынешнее время; все это более зависит от благоразумия и способностей самих содержательниц пансиона. В других пансионах бывает таким образом, что прежде фортепьяно, потом французский язык, а там уже хозяйственная часть. А иногда бывает и так, что прежде хозяйственная часть, то есть вязание сюрпризов, потом французский язык, а там уже фортепьяно. Разные бывают мето́ды. Не мешает сделать еще за-

мечание, что Манилова... но, признаюсь, о дамах я очень боюсь говорить, да притом мне пора возвратиться к нашим героям, которые стояли уже несколько минут перед дверями гостиной, взаимно упрашивая друг друга пройти вперед.

— Сделайте милость, не беспокойтесь так для меня, я пройду после,— говорил Чичиков.

— Нет, Павел Иванович, нет, вы гость,— говорил Манилов, показывая ему рукою на дверь.

— Не затрудняйтесь, пожалуйста, не затрудняйтесь. Пожалуйста, проходите,— говорил Чичиков.

— Нет уж извините, не допущу пройти позади такому приятному, образованному гостю.

— Почему ж образованному?.. Пожалуйста, проходите.

— Ну да уж извольте проходить вы.

— Да отчего ж?

— Ну да уж оттого! — сказал с приятною улыбкою Манилов.

Наконец оба приятеля вошли в дверь боком и несколько притиснули друг друга.

— Позвольте мне вам представить жену мою,— сказал Манилов.— Душенька! Павел Иванович!

Чичиков, точно, увидел даму, которую он совершенно было не приметил, раскланиваясь в дверях с Маниловым. Она была недурна, одета к лицу. На ней хорошо сидел матерчатый шелковый капот бледного цвета; тонкая небольшая кисть руки ее что-то бросила поспешно на стол и сжала батистовый платок с вышитыми уголками. Она поднялась с дивана, на котором сидела; Чичиков не без удовольствия подошел к ее ручке. Манилова проговорила, несколько даже картавя, что он очень обрадовал их своим приездом и что муж ее не проходило дня, чтобы не вспоминал о нем.

— Да,— примолвил Манилов,— уж она, бывало, все спрашивает меня: «Да что же твой приятель не едет?» — «Погоди, душенька, приедет». А вот вы наконец и удостоили нас своим посещением. Уж такое, право, доставили наслаждение... майский день... именины сердца...

Чичиков, услышавши, что дело уже дошло до именин сердца, несколько даже смутился и отвечал скромно, что ни громкого имени не имеет, ни даже ранга заметного.

— Вы всё имеете,— прервал Манилов с такою же приятною улыбкою,— всё имеете, даже еще более.

— Как вам показался наш город? — примолвила Манилова.— Приятно ли провели там время?

— Очень хороший город, прекрасный город,— отвечал Чичиков,— и время провел очень приятно: общество самое обходительное.

— А как вы нашли нашего губернатора? — сказала Манилова.

— Не правда ли, что препочтеннейший и прелюбезнейший человек? — прибавил Манилов.

— Совершенная правда,— сказал Чичиков,— препочтеннейший человек. И как он вошел в свою должность, как понимает ее! Нужно желать побольше таких людей.

— Как он может этак, знаете, принять всякого, наблюсти деликатность в своих поступках,— присовокупил Манилов с улыбкою и от удовольствия почти совсем зажмурил глаза, как кот, у которого слегка пощекотали за ушами пальцем.

— Очень обходительный и приятный человек,— продолжал Чичиков,— и какой искусник! я даже никак не мог предполагать этого. Как хорошо вышивает разные домашние узоры! Он мне показывал своей работы кошелек: редкая дама может так искусно вышить.

— А вице-губернатор, не правда ли, какой милый человек? — сказал Манилов, опять несколько прищурив глаза.

— Очень, очень достойный человек,— отвечал Чичиков.

— Ну, позвольте, а как вам показался полицеймейстер? Не правда ли, что очень приятный человек?

— Чрезвычайно приятный, и какой умный, какой начитанный человек! Мы у него проиграли в вист вместе с прокурором и председателем палаты до самых поздних петухов; очень, очень достойный человек.

— Ну, а какого вы мнения о жене полицеймейстера? — прибавила Манилова.— Не правда ли, прелюбезная женщина?

— О, это одна из достойнейших женщин, каких только я знаю,— отвечал Чичиков.

Засим не пропустили председателя палаты, почтмейстера и таким образом перебрали почти всех чиновников города, которые все оказались самыми достойными людьми.

— Вы всегда в деревне проводите время? — сделал наконец, в свою очередь, вопрос Чичиков.

— Больше в деревне,— отвечал Манилов.— Иногда, впрочем, приезжаем в город для того только, чтобы увидеться с образованными людьми. Одичаешь, знаете, если будешь все время жить взаперти.

— Правда, правда,— сказал Чичиков.

— Конечно,— продолжал Манилов,— другое дело, если бы соседство было хорошее, если бы, например, такой человек, с которым бы в некотором роде можно было поговорить о любезности, о хорошем обращении, следить какую-нибудь этакую науку, чтобы этак расшевелило душу, дало бы, так сказать, паренье этакое...— Здесь он еще что-то хотел выразить, но, заметивши, что несколько

зарапортовался, ковырнул только рукою в воздухе и продолжал: — Тогда, конечно, деревня и уединение имели бы очень много приятностей. Но решительно нет никого... Вот только иногда почитаешь «Сын отечества».

Чичиков согласился с этим совершенно, прибавивши, что ничего не может быть приятнее, как жить в уединенье, наслаждаться зрелищем природы и почитать иногда какую-нибудь книгу...

— Но знаете ли,— прибавил Манилов,— все если нет друга, с которым бы можно поделиться...

— О, это справедливо, это совершенно справедливо! — прервал Чичиков.— Что все сокровища тогда в мире! «Не имей денег, имей хороших людей для обращения», сказал один мудрец.

— И знаете, Павел Иванович! — сказал Манилов, явя в лице своем выражение не только сладкое, но даже приторное, подобное той микстуре, которую ловкий светский доктор засластил немилосердно, воображая ею обрадовать пациента.— Тогда чувствуешь какое-то, в некотором роде, духовное наслаждение... Вот как, например, теперь, когда случай мне доставил счастие, можно сказать образцовое, говорить с вами и наслаждаться приятным вашим разговором...

— Помилуйте, что ж за приятный разговор?.. Ничтожный человек, и больше ничего,— отвечал Чичиков.

— О! Павел Иванович, позвольте мне быть откровенным: я бы с радостию отдал половину всего моего состояния, чтобы иметь часть тех достоинств, которые имеете вы!..

— Напротив, я бы почел с своей стороны за величайшее...

Неизвестно, до чего бы дошло взаимное излияние чувств обоих приятелей, если бы вошедший слуга не доложил, что кушанье готово.

— Прошу покорнейше,— сказал Манилов.— Вы извините, если у нас нет такого обеда, какой на паркетах и в столицах, у нас просто, по русскому обычаю, щи, но от чистого сердца. Покорнейше прошу.

Тут они еще несколько времени поспорили о том, кому первому войти, и наконец Чичиков вошел боком в столовую.

В столовой уже стояли два мальчика, сыновья Манилова, которые были в тех летах, когда сажают уже детей за стол, но еще на высоких стульях. При них стоял учитель, поклонившийся вежливо и с улыбкою. Хозяйка села за свою суповую чашку; гость был посажен между хозяином и хозяйкою, слуга завязал детям на шею салфетки.

— Какие миленькие дети,— сказал Чичиков, посмотрев на них,— а который год?

— Старшему осьмой, а меньшему вчера только минуло шесть,— сказала Манилова.

— Фемистоклюс! — сказал Манилов, обратившись к старшему, который старался освободить свой подбородок, завязанный лакеем в салфетку.

Чичиков поднял несколько бровь, услышав такое отчасти греческое имя, которому, неизвестно почему, Манилов дал окончание на «юс», но постарался тот же час привесть лицо в обыкновенное положение.

— Фемистоклюс, скажи мне, какой лучший город во Франции?

Здесь учитель обратил все внимание на Фемистоклюса и, казалось, хотел ему вскочить в глаза, но наконец совершенно успокоился и кивнул головою, когда Фемистоклюс сказал: «Париж».

— А у нас какой лучший город? — спросил опять Манилов.

Учитель опять настроил внимание.

— Петербург,— отвечал Фемистоклюс.

— А еще какой?

— Москва,— отвечал Фемистоклюс.

— Умница, душенька! — сказал на это Чичиков.— Скажите, однако ж...— продолжал он, обратившись тут же с некоторым видом изумления к Маниловым,— в такие лета и уже такие сведения! Я должен вам сказать, что в этом ребенке будут большие способности.

— О, вы еще не знаете его,— отвечал Манилов,— у него чрезвычайно много остроумия. Вот меньшой, Алкид, тот не так быстр, а этот сейчас, если что-нибудь встретит, букашку, козявку, так уж у него вдруг глазенки и забегают; побежит за ней следом и тотчас обратит внимание. Я его прочу по дипломатической части. Фемистоклюс,— продолжал он, снова обратясь к нему,— хочешь быть посланником?

— Хочу,— отвечал Фемистоклюс, жуя хлеб и болтая головой направо и налево.

В это время стоявший позади лакей утер посланнику нос, и очень хорошо сделал, иначе бы канула в суп препорядочная посторонняя капля. Разговор начался за столом об удовольствии спокойной жизни, прерываемый замечаниями хозяйки о городском театре и об актерах. Учитель очень внимательно глядел на разговаривающих и, как только замечал, что они были готовы усмехнуться, в ту же минуту открывал рот и смеялся с усердием. Вероятно, он был человек признательный и хотел заплатить этим хозяину за хорошее обращение. Один раз, впрочем, лицо его приняло суровый вид, и он строго застучал по столу, устремив глаза на сидевших насупротив его детей. Это было у места, потому что Фемистоклюс укусил за ухо Алкида, и Алкид, зажмурив глаза и от-

крыв рот, готов был зарыдать самым жалким образом, но, почувствовав, что за это легко можно было лишиться блюда, привел рот в прежнее положение и начал со слезами грызть баранью кость, от которой у него обе щеки лоснились жиром. Хозяйка очень часто обращалась к Чичикову с словами: «Вы ничего не кушаете, вы очень мало взяли». На что Чичиков отвечал всякий раз: «Покорнейше благодарю, я сыт, приятный разговор лучше всякого блюда».

Уже встали из-за стола. Манилов был доволен чрезвычайно и, поддерживая рукою спину своего гостя, готовился таким образом препроводить его в гостиную, как вдруг гость объявил с весьма значительным видом, что он намерен с ним поговорить об одном очень нужном деле.

— В таком случае позвольте мне вас попросить в мой кабинет,— сказал Манилов и повел в небольшую комнату, обращенную окном на синевший лес.— Вот мой уголок,— сказал Манилов.

— Приятная комнатка,— сказал Чичиков, окинувши ее глазами.

Комната была, точно, не без приятности: стены были выкрашены какой-то голубенькой краской вроде серенькой, четыре стула, одно кресло, стол, на котором лежала книжка с заложенною закладкою, о которой мы уже имели случай упомянуть, несколько исписанных бумаг, но больше всего было табаку. Он был в разных видах: в картузах и в табачнице, и, наконец, насыпан был просто кучею на столе. На обоих окнах тоже помещены были горки выбитой из трубки золы, расставленные не без старания очень красивыми рядками. Заметно было, что это иногда доставляло хозяину препровождение времени.

— Позвольте вас попросить расположиться в этих креслах,— сказал Манилов.— Здесь вам будет попокойнее.

— Позвольте, я сяду на стуле.

— Позвольте вам этого не позволить,— сказал Манилов с улыбкою.— Это кресло у меня уж ассигновано для гостя: ради или не ради, но должны сесть.

Чичиков сел.

— Позвольте мне вас попотчевать трубочкою.

— Нет, не курю,— отвечал Чичиков ласково и как бы с видом сожаления.

— Отчего? — сказал Манилов тоже ласково и с видом сожаления.

— Не сделал привычки, боюсь; говорят, трубка сушит.

— Позвольте мне вам заметить, что это предубеждение. Я полагаю даже, что курить трубку гораздо здоровее, нежели нюхать табак. В нашем полку был поручик, прекраснейший и образован-

нейший человек, который не выпускал изо рта трубки не только за столом, но даже, с позволения сказать, во всех прочих местах. И вот ему теперь уже сорок с лишком лет, но, благодаря бога, до сих пор так здоров, как нельзя лучше.

Чичиков заметил, что это, точно, случается и что в натуре находится много вещей, неизъяснимых даже для обширного ума.

— Но позвольте прежде одну просьбу...— проговорил он голосом, в котором отдалось какое-то странное или почти странное выражение, и вслед за тем неизвестно отчего оглянулся назад. Манилов тоже неизвестно отчего оглянулся назад.— Как давно вы изволили подавать ревизскую сказку?

— Да уж давно; а лучше сказать, не припомню.

— Как с того времени много у вас умерло крестьян?

— А не могу знать; об этом, я полагаю, нужно спросить приказчика. Эй, человек! позови приказчика, он должен быть сегодня здесь.

Приказчик явился. Это был человек лет под сорок, бривший бороду, ходивший в сюртуке и, по-видимому, проводивший очень покойную жизнь, потому что лицо его глядело какою-то пухлою полнотою, а желтоватый цвет кожи и маленькие глаза показывали, что он знал слишком хорошо, что такое пуховики и перины. Можно было видеть тотчас, что он совершил свое поприще, как совершают его все господские приказчики: был прежде просто грамотным мальчишкой в доме, потом женился на какой-нибудь Агашке-ключнице, барыниной фаворитке, сделался сам ключником, а там и приказчиком. А сделавшись приказчиком, поступал, разумеется, как все приказчики: водился и кумился с теми, которые на деревне были побогаче, подбавлял на тягла победнее, проснувшись в девятом часу утра, поджидал самовара и пил чай.

— Послушай, любезный! сколько у нас умерло крестьян с тех пор, как подавали ревизию?

— Да как сколько? Многие умирали с тех пор,— сказал приказчик и при этом икнул, заслонив рот слегка рукою, наподобие щитка.

— Да, признаюсь, я сам так думал,— подхватил Манилов,— именно, очень многие умирали! — Тут он оборотился к Чичикову и прибавил еще: — Точно, очень многие.

— А как, например, числом? — спросил Чичиков.

— Да, сколько числом? — подхватил Манилов.

— Да как сказать числом? Ведь неизвестно, сколько умирало, их никто не считал.

— Да, именно,— сказал Манилов, обратясь к Чичикову,— я тоже предполагал, большая смертность; совсем неизвестно, сколько умерло.

— Ты, пожалуйста, их перечти,— сказал Чичиков,— и сделай подробный реестрик всех поименно.

— Да, всех поименно,— сказал Манилов.

Приказчик сказал: «Слушаю!» — и ушел.

— А для каких причин вам это нужно? — спросил по уходе приказчика Манилов.

Этот вопрос, казалось, затруднил гостя, в лице его показалось какое-то напряженное выражение, от которого он даже покраснел,— напряжение что-то выразить, не совсем покорное словам. И в самом деле, Манилов наконец услышал такие странные и необыкновенные вещи, каких еще никогда не слыхали человеческие уши.

— Вы спрашиваете, для каких причин? причины вот какие: я хотел бы купить крестьян...— сказал Чичиков, заикнулся и не кончил речи.

— Но позвольте спросить вас,— сказал Манилов,— как желаете вы купить крестьян: с землею или просто на вывод, то есть без земли?

— Нет, я не то чтобы совершенно крестьян,— сказал Чичиков,— я желаю иметь мертвых...

— Как-с? извините... я несколько туг на ухо, мне послышалось престранное слово...

— Я полагаю приобресть мертвых, которые, впрочем, значились бы по ревизии как живые,— сказал Чичиков.

Манилов выронил тут же чубук с трубкою на пол и как разинул рот, так и остался с разинутым ртом в продолжение нескольких минут. Оба приятеля, рассуждавшие о приятностях дружеской жизни, остались недвижимы, вперя друг в друга глаза, как те портреты, которые вешались в старину один против другого по обеим сторонам зеркала. Наконец Манилов поднял трубку с чубуком и поглядел снизу ему в лицо, стараясь высмотреть, не видно ли какой усмешки на губах его, не пошутил ли он; но ничего не было видно такого, напротив, лицо даже казалось степеннее обыкновенного; потом подумал, не спятил ли гость как-нибудь невзначай с ума, и со страхом посмотрел на него пристально; но глаза гостя были совершенно ясны, не было в них дикого, беспокойного огня, какой бегает в глазах сумасшедшего человека, все было прилично и в порядке. Как ни придумывал Манилов, как ему быть и что ему сделать, но ничего другого не мог придумать, как только выпустить изо рта оставшийся дым очень тонкою струею.

— Итак, я бы желал знать, можете ли вы мне таковых, не живых в действительности, но живых относительно законной формы, передать, уступить или как вам заблагорассудится лучше?

Но Манилов так сконфузился и смешался, что только смотрел на него.

— Мне кажется, вы затрудняетесь?..— заметил Чичиков.

— Я?.. нет, я не то,— сказал Манилов,— но я не могу постичь... извините... я, конечно, не мог получить такого блестящего образования, какое, так сказать, видно во всяком вашем движении; не имею высокого искусства выражаться... Может быть, здесь... в этом, вами сейчас выраженном изъяснении... скрыто другое... Может быть, вы изволили выразиться так для красоты слога?

— Нет,— подхватил Чичиков,— нет, я разумею предмет таков как есть, то есть те души, которые, точно, уже умерли.

Манилов совершенно растерялся. Он чувствовал, что ему нужно что-то сделать, предложить вопрос, а какой вопрос — черт его знает. Кончил он наконец тем, что выпустил опять дым, но только уже не ртом, а чрез носовые ноздри.

— Итак, если нет препятствий, то с богом можно бы приступить к совершению купчей крепости,— сказал Чичиков.

— Как, на мертвые души купчую?

— А, нет! — сказал Чичиков.— Мы напишем, что они живы, так, как стоит действительно в ревизской сказке. Я привык ни в чем не отступать от гражданских законов, хотя за это и потерпел на службе, но уж извините: обязанность для меня дело священное, закон — я немею пред законом.

Последние слова понравились Манилову, но в толк самого дела он все-таки никак не вник и вместо ответа принялся насасывать свой чубук так сильно, что тот начал наконец хрипеть, как фагот. Казалось, как будто он хотел вытянуть из него мнение относительно такого неслыханного обстоятельства; но чубук хрипел, и больше ничего.

— Может быть, вы имеете какие-нибудь сомнения?

— О! помилуйте, ничуть. Я не насчет того говорю, чтобы имел какое-нибудь, то есть, критическое предосуждение о вас. Но позвольте доложить, не будет ли это предприятие или, чтоб еще более, так сказать, выразиться, негоция,— так не будет ли эта негоция несоответствующею гражданским постановлениям и дальнейшим видам России?

Здесь Манилов, сделавши некоторое движение головою, посмотрел очень значительно в лицо Чичикова, показав во всех чертах лица своего и в сжатых губах такое глубокое выражение, какого, может быть, и не видано было на человеческом лице, разве только у какого-нибудь слишком умного министра, да и то в минуту самого головоломного дела.

Но Чичиков сказал просто, что подобное предприятие, или негоция, никак не будет несоответствующею гражданским постанов-

лениям и дальнейшим видам России, а чрез минуту потом прибавил, что казна получит даже выгоды, ибо получит законные пошлины.

— Так вы полагаете?..

— Я полагаю, что это будет хорошо.

— А, если хорошо, это другое дело: я против этого ничего,— сказал Манилов и совершенно успокоился.

— Теперь остается условиться в цене.

— Как в цене? — сказал опять Манилов и остановился.— Неужели вы полагаете, что я стану брать деньги за души, которые в некотором роде окончили свое существование? Если уж вам пришло этакое, так сказать, фантастическое желание, то с своей стороны я передаю их вам безынтересно и купчую беру на себя.

Великий упрек был бы историку предлагаемых событий, если бы он упустил сказать, что удовольствие одолело гостя после таких слов, произнесенных Маниловым. Как он ни был степенен и рассудителен, но тут чуть не произвел даже скачок по образцу козла, что, как известно, производится только в самых сильных порывах радости. Он поворотился так сильно в креслах, что лопнула шерстяная материя, обтягивавшая подушку; сам Манилов посмотрел на него в некотором недоумении. Побужденный признательностью, он наговорил тут же столько благодарностей, что тот смешался, весь покраснел, производил головою отрицательный жест и наконец уже выразился, что это сущее ничего, что он, точно, хотел бы доказать чем-нибудь сердечное влечение, магнетизм души, а умершие души в некотором роде совершенная дрянь.

— Очень не дрянь,— сказал Чичиков, пожав ему руку. Здесь был испущен очень глубокий вздох. Казалось, он был настроен к сердечным излияниям; не без чувства и выражения произнес он наконец следующие слова: — Если б вы знали, какую услугу оказали сей, по-видимому, дрянью человеку без племени и роду! Да и действительно, чего не потерпел я? как барка какая-нибудь среди свирепых волн... Каких гонений, каких преследований не испытал, какого горя не вкусил, а за что? за то, что соблюдал правду, что был чист на своей совести, что подавал руку и вдовице беспомощной, и сироте-горемыке!..— Тут даже он отер платком выкатившуюся слезу.

Манилов был совершенно растроган. Оба приятеля долго жали друг другу руку и долго смотрели молча один другому в глаза, в которых видны были навернувшиеся слезы. Манилов никак не хотел выпустить руки нашего героя и продолжал жать ее так горячо, что тот уже не знал, как ее выручить. Наконец, выдернувши ее потихоньку, он сказал, что не худо бы купчую совершить по-

скорее и хорошо бы, если бы он сам понаведался в город. Потом взял шляпу и стал откланиваться.

— Как? вы уже хотите ехать? — сказал Манилов, вдруг очнувшись и почти испугавшись.

В это время вошла в кабинет Манилова.

— Лизанька,— сказал Манилов с несколько жалостливым видом,— Павел Иванович оставляет нас!

— Потому что мы надоели Павлу Ивановичу,— отвечала Манилова.

— Сударыня! здесь,— сказал Чичиков,— здесь, вот где,— тут он положил руку на сердце,— да, здесь пребудет приятность времени, проведенного с вами! и поверьте, не было бы для меня большего блаженства, как жить с вами если не в одном доме, то, по крайней мере, в самом ближайшем соседстве.

— А знаете, Павел Иванович,— сказал Манилов, которому очень понравилась такая мысль,— как было бы в самом деле хорошо, если бы жить этак вместе, под одною кровлею, или под тенью какого-нибудь вяза пофилософствовать о чем-нибудь, углубиться!..

— О! это была бы райская жизнь! — сказал Чичиков, вздохнувши.— Прощайте, сударыня! — продолжал он, подходя к ручке Маниловой.— Прощайте, почтеннейший друг! Не позабудьте просьбы!

— О, будьте уверены! — отвечал Манилов.— Я с вами расстаюсь не долее как на два дни.

Все вышли в столовую.

— Прощайте, миленькие малютки! — сказал Чичиков, увидевши Алкида и Фемистоклюса, которые занимались каким-то деревянным гусаром, у которого уже не было ни руки, ни носа.— Прощайте, мои крошки. Вы извините меня, что я не привез вам гостинца, потому что, признаюсь, не знал даже, живете ли вы на свете, но теперь, как приеду, непременно привезу. Тебе привезу саблю; хочешь саблю?

— Хочу,— отвечал Фемистоклюс.

— А тебе барабан; не правда ли, тебе барабан? — продолжал он, наклонившись к Алкиду.

— Парапан,— отвечал шепотом и потупив голову Алкид.

— Хорошо, я тебе привезу барабан. Такой славный барабан, этак все будет: туррр...ру... тра-та-та, та-та-та... Прощай, душенька! прощай! — Тут поцеловал он его в голову и обратился к Манилову и его супруге с небольшим смехом, с каким обыкновенно обращаются к родителям, давая им знать о невинности желаний их детей.

— Право, останьтесь, Павел Иванович! — сказал Манилов, когда уже все вышли на крыльцо.— Посмотрите, какие тучи.

— Это маленькие тучки,— отвечал Чичиков.

— Да знаете ли вы дорогу к Собакевичу?

— Об этом хочу спросить вас.

— Позвольте, я сейчас расскажу вашему кучеру.— Тут Манилов с такою же любезностью рассказал дело кучеру и сказал ему даже один раз «вы».

Кучер, услышав, что нужно пропустить два поворота и поворотить на третий, сказал: «Потрафим, ваше благородие»,— и Чичиков уехал, сопровождаемый долго поклонами и маханьями платка приподымавшихся на цыпочках хозяев.

Манилов долго стоял на крыльце, провожая глазами удалявшуюся бричку, и когда она уже совершенно стала не видна, он все еще стоял, куря трубку. Наконец вошел он в комнату, сел на стуле и предался размышлению, душевно радуясь, что доставил гостю своему небольшое удовольствие. Потом мысли его перенеслись незаметно к другим предметам и наконец занеслись бог знает куда. Он думал о благополучии дружеской жизни, о том, как бы хорошо было жить с другом на берегу какой-нибудь реки, потом чрез эту реку начал строиться у него мост, потом огромнейший дом с таким высоким бельведером, что можно оттуда видеть даже Москву и там пить вечером чай на открытом воздухе и рассуждать о какихнибудь приятных предметах. Потом, что они вместе с Чичиковым приехали в какое-то общество в хороших каретах, где обворожают всех приятностию обращения, и что будто бы государь, узнавши о такой их дружбе, пожаловал их генералами, и далее, наконец, бог знает что такое, чего уже он и сам никак не мог разобрать. Странная просьба Чичикова прервала вдруг все его мечтания. Мысль о ней как-то особенно не варилась в его голове: как ни переворачивал он ее, но никак не мог изъяснить себе, и все время сидел он и курил трубку, что тянулось до самого ужина.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

А Чичиков в довольном расположении духа сидел в своей бричке, катившейся давно по столбовой дороге. Из предыдущей главы уже видно, в чем состоял главный предмет его вкуса и склонностей, а потому не диво, что он скоро погрузился весь в него и телом и душою. Предположения, сметы и соображения, блуждавшие по лицу его, видно, были очень приятны, ибо ежеминутно оставляли после себя следы довольной усмешки. Занятый ими, он не обращал никакого внимания на то, как его кучер, довольный приемом дворовых людей Манилова, делал весьма дельные замечания чубарому пристяжному коню, запряженному с правой сторо-

ны. Этот чубарый конь был сильно лукав и показывал только для вида, будто бы везет, тогда как коренной гнедой и пристяжной каурой масти, называвшийся Заседателем, потому что был приобретен от какого-то заседателя, трудилися от всего сердца, так что даже в глазах их было заметно получаемое ими от того удовольствие. «Хитри, хитри! вот я тебя перехитрю! — говорил Селифан, приподнявшись и хлыснув кнутом ленивца.— Ты знай свое дело, панталонник ты немецкий! Гнедой — почтенный конь, он сполняет свой долг, я ему с охотою дам лишнюю меру, потому что он почтенный конь, и Заседатель тож хороший конь... Ну, ну! что потряхиваешь ушами? Ты, дурак, слушай, коли говорят! я тебя, невежа, не стану дурному учить. Ишь куда ползет!» Здесь он опять хлыснул его кнутом, примолвив: «У, варвар! Бонапарт ты проклятый!» Потом прикрикнул на всех: «Эй вы, любезные!» — и стегнул по всем по трем уже не в виде наказания, но чтобы показать, что был ими доволен. Доставив такое удовольствие, он опять обратил речь к чубарому: «Ты думаешь, что скроешь свое поведение. Нет, ты живи по правде, когда хочешь, чтобы тебе оказывали почтение. Вот у помещика, что мы были, хорошие люди. Я с удовольствием поговорю, коли хороший человек; с человеком хорошим мы всегда свои други, тонкие приятели: выпить ли чаю или закусить — с охотою, коли хороший человек. Хорошему человеку всякой отдаст почтение. Вот барина нашего всякой уважает, потому что он, слышь ты, сполнял службу государскую, он сколеской советник...»

Так рассуждая, Селифан забрался наконец в самые отдаленные отвлеченности. Если бы Чичиков прислушался, то узнал бы много подробностей, относившихся лично к нему; но мысли его так были заняты своим предметом, что один только сильный удар грома заставил его очнуться и посмотреть вокруг себя; все небо было совершенно обложено тучами, и пыльная почтовая дорога опрыскалась каплями дождя. Наконец громовый удар раздался в другой раз громче и ближе, и дождь хлынул вдруг как из ведра. Сначала, принявши косое направление, хлестал он в одну сторону кузова кибитки, потом в другую, потом, изменивши образ нападения и сделавшись совершенно прямым, барабанил прямо в верх его кузова; брызги наконец стали долетать ему в лицо. Это заставило его задернуться кожаными запавесками с двумя круглыми окошечками, определенными на рассматривание дорожных видов, и приказать Селифану ехать скорее. Селифан, прерванный тоже на самой середине речи, смекнул, что, точно, не нужно мешкать, вытащил тут же из-под козел какую-то дрянь из серого сукна, надел ее в рукава, схватил в руки вожжи и прикрикнул на свою тройку, которая чуть-чуть переступала ногами, ибо чувствовала приятное расслабление от поучительных речей. Но Селифан никак

не мог припомнить, два или три поворота проехал. Сообразив и припоминая несколько дорогу, он догадался, что много было поворотов, которые все пропустил он мимо. Так как русский человек в решительные минуты найдется, что сделать, не вдаваясь в дальние рассуждения, то, поворотивши направо, на первую перекрестную дорогу, прикрикнул он: «Эй вы, други, почтенные!» — и пустился вскачь, мало помышляя о том, куда приведет взятая дорога.

Дождь, однако же, казалось, зарядил надолго. Лежавшая на дороге пыль быстро замесилась в грязь, и лошадям ежеминутно становилось тяжеле тащить бричку. Чичиков уже начинал сильно беспокоиться, не видя так долго деревни Собакевича. По расчету его, давно бы пора было приехать. Он высматривал по сторонам, но темнота была такая, хоть глаз выколи.

— Селифан! — сказал он наконец, высунувшись из брички.

— Что, барин? — отвечал Селифан.

— Погляди-ка, не видно ли деревни?

— Нет, барин, нигде не видно! — После чего Селифан, помахивая кнутом, затянул песню не песню, но что-то такое длинное, чему и конца не было. Туда все вошло: все ободрительные и побудительные крики, которыми потчевают лошадей по всей России от одного конца до другого; прилагательные всех родов без дальнейшего разбора, как что первое попалось на язык. Таким образом дошло до того, что он начал называть их наконец секретарями.

Между тем Чичиков стал примечать, что бричка качалась на все стороны и наделяла его пресильными толчками; это дало ему почувствовать, что они своротили с дороги и, вероятно, тащились по взбороненному полю. Селифан, казалось, сам смекнул, но не говорил ни слова.

— Что, мошенник, по какой дороге ты едешь? — сказал Чичиков.

— Да что ж, барин, делать, время-то такое; кнута не видишь, такая потьма! — Сказавши это, он так покосил бричку, что Чичиков принужден был держаться обеими руками. Тут только заметил он, что Селифан подгулял.

— *Держи, держи, опрокинешь!* — кричал он ему.

— Нет, барин, как можно, чтоб я опрокинул,— говорил Селифан.— Это нехорошо опрокинуть, я уж сам знаю; уж я никак не опрокину.— Затем начал он слегка поворачивать бричку, поворачивал, поворачивал и наконец вывоpотил ее совершенно набок. Чичиков и руками и ногами шлепнулся в грязь. Селифан лошадей, однако ж, остановил, впрочем, они остановились бы и сами, потому что были сильно изнурены. Такой непредвиденный случай совершенно изумил его. Слезши с козел, он стал перед бричкою, подпер-

ся в бока обеими руками, в то время как барин барахтался в грязи, силясь оттуда вылезть, и сказал после некоторого размышления: «Вишь ты, и перекинулась!»

— Ты пьян как сапожник! — сказал Чичиков.

— Нет, барин, как можно, чтоб я был пьян! Я знаю, что это нехорошее дело быть пьяным. С приятелем поговорил, потому что с хорошим человеком можно поговорить, в том нет худого; и закусили вместе. Закуска не обидное дело; с хорошим человеком можно закусить.

— А что я тебе сказал последний раз, когда ты напился? а? забыл? — сказал Чичиков.

— Нет, ваше благородие, как можно, чтобы я позабыл. Я уже дело свое знаю. Я знаю, что нехорошо быть пьяным. С хорошим человеком поговорил, потому что...

— Вот я тебя как высеку, так ты у меня будешь знать, как говорить с хорошим человеком!

— Как милости вашей будет завгодно,— отвечал на все согласный Селифан,— коли высечь, то и высечь; я ничуть не прочь от того. Почему ж не посечь, коли за дело, на то воля господская. Оно нужно посечь, потому что мужик балуется, порядок нужно наблюдать. Коли за дело, то и посеки; почему ж не посечь?

На такое рассуждение барин совершенно не нашелся, что отвечать. Но в это время, казалось, как будто сама судьба решилась над ним сжалиться. Издали послышался собачий лай. Обрадованный Чичиков дал приказание погонять лошадей. Русский возница имеет доброе чутье вместо глаз; от этого случается, что он, зажмуря глаза, качает иногда во весь дух и всегда куда-нибудь да приезжает. Селифан, не видя ни зги, направил лошадей так прямо на деревню, что остановился только тогда, когда бричка ударилася оглоблями в забор и когда решительно уже некуда было ехать. Чичиков только заметил сквозь густое покрывало лившего дождя что-то похожее на крышу. Он послал Селифана отыскивать ворота, что, без сомнения, продолжалось бы долго, если бы на Руси не было вместо швейцаров лихих собак, которые доложили о нем так звонко, что он поднес пальцы к ушам своим. Свет мелькнул в одном окошке и досягнул туманною струею до забора, указавши нашим дорожным ворота. Селифан принялся стучать, и скоро, отворив калитку, высунулась какая-то фигура, покрытая армяком, и барин со слугою услышали хриплый бабий голос:

— Кто стучит? чего расходились?

— Приезжие, матушка, пусти переночевать,— произнес Чичиков.

— Вишь ты, какой востроногий,— сказала старуха,— приехал в какое время! Здесь тебе не постоялый двор: помещица живет.

— Что ж делать, матушка: вишь, с дороги сбились. Не ночевать же в такое время в степи.

— Да, время темное, нехорошее время,— прибавил Селифан.

— Молчи, дурак,— сказал Чичиков.

— Да кто вы такой? — сказала старуха.

— Дворянин, матушка.

Слово «дворянин» заставило старуху как будто несколько подумать.

— Погодите, я скажу барыне,— произнесла она и минуты через две уже возвратилась с фонарем в руке.

Ворота отперлись. Огонек мелькнул и в другом окне. Бричка, въехавши на двор, остановилась перед небольшим домиком, который за темнотою трудно было рассмотреть. Только одна половина его была озарена светом, исходившим из окон; видна была еще лужа перед домом, на которую прямо ударял тот же свет. Дождь стучал звучно по деревянной крыше и журчащими ручьями стекал в подставленную бочку. Между тем псы заливались всеми возможными голосами: один, забросивши вверх голову, выводил так протяжно и с таким старанием, как будто за это получал бог знает какое жалованье; другой отхватывал наскоро, как пономарь; промеж них звенел, как почтовый звонок, неугомонный дискант, вероятно молодого щенка, и все это, наконец, повершал бас, может быть, старик, наделенный дюжею собачьей натурой, потому что хрипел, как хрипит певческий контрабас, когда концерт в полном разливе: тенора поднимаются на цыпочки от сильного желания вывести высокую ноту, и все, что ни есть, порывается кверху, закидывая голову, а он один, засунувши небритый подбородок в галстук, присев и опустившись почти до земли, пропускает оттуда свою ноту, от которой трясутся и дребезжат стекла. Уже по одному собачьему лаю, составленному из таких музыкантов, можно было предположить, что деревушка была порядочная; но промокший и озябший герой наш ни о чем не думал, как только о постели. Не успела бричка совершенно остановиться, как он уже соскочил на крыльцо, пошатнулся и чуть не упал. На крыльцо вышла опять какая-то женщина, помоложе прежней, но очень на нее похожая. Она проводила его в комнату. Чичиков кинул вскользь два взгляда: комната была обвешана старенькими полосатыми обоями; картины с какими-то птицами; между окон старинные маленькие зеркала с темными рамками в виде свернувшихся листьев; за всяким зеркалом заложены были или письмо, или старая колода карт, или чулок; стенные часы с нарисованными цветами на циферблате... невмочь было ничего более заметить. Он чувствовал, что глаза его липнули, как будто их кто-нибудь вымазал медом. Минуту спустя вошла хозяйка, женщина пожилых лет, в каком-то спальном чеп-

це, надетом наскоро, с фланелью на шее, одна из тех матушек, небольших помещиц, которые плачутся на неурожаи, убытки и держат голову несколько набок, а между тем набирают понемногу деньжонок в пестрядевые мешочки, размещенные по ящикам комодов. В один мешочек отбирают всё целковики, в другой полтинники, в третий четвертачки, хотя с виду и кажется, будто бы в комоде ничего нет, кроме белья, да ночных кофточек, да нитяных моточков, да распоротого салопа, имеющего потом обратиться в платье, если старое как-нибудь прогорит во время печения праздничных лепешек со всякими пряженцами или поизотрется само собою. Но не сгорит платье и не изотрется само собою; бережлива старушка, и салопу суждено пролежать долго в распоротом виде, а потом достаться по духовному завещанию племяннице внучатной сестры вместе со всяким другим хламом.

Чичиков извинился, что побеспокоил неожиданным приездом.

— Ничего, ничего,— сказала хозяйка.— В какое это время вас бог принес! Сумятица и вьюга такая... С дороги бы следовало поесть чего-нибудь, да пора-то ночная, приготовить нельзя.

Слова хозяйки были прерваны странным шипением, так что гость было испугался; шум походил на то, как бы вся комната наполнилась змеями; но, взглянувши вверх, он успокоился, ибо смекнул, что стенным часам пришла охота бить. За шипеньем тотчас же последовало хрипенье, и, наконец, понатужась всеми силами, они пробили два часа таким звуком, как бы кто колотил палкой по разбитому горшку, после чего маятник пошел опять покойно щелкать направо и налево.

Чичиков поблагодарил хозяйку, сказавши, что ему не нужно ничего, чтобы она не беспокоилась ни о чем, что, кроме постели, он ничего не требует, и полюбопытствовал только знать, в какие места заехал он и далеко ли отсюда пути к помещику Собакевичу, на что старуха сказала, что и не слыхивала такого имени и что такого помещика вовсе нет.

— По крайней мере, знаете Манилова? — сказал Чичиков.

— А кто таков Манилов?

— Помещик, матушка.

— Нет, не слыхивала, нет такого помещика.

— Какие же есть?

— Бобров, Свиньин, Канапатьев, Харпакин, Трепакин, Плешаков.

— Богатые люди или нет?

— Нет, отец, богатых слишком нет. У кого двадцать душ, у кого тридцать, а таких, чтоб по сотне, таких нет.

Чичиков заметил, что он заехал в порядочную глушь.

— Далеко ли, по крайней мере, до города?

— А верст шестьдесят будет. Как жаль мне, что нечего вам покушать! не хотите ли, батюшка, выпить чаю?

— Благодарю, матушка. Ничего не нужно, кроме постели.

— Правда, с такой дороги и очень нужно отдохнуть. Вот здесь и расположитесь, батюшка, на этом диване. Эй, Фетинья, принеси перину, подушки и простыню. Какое-то время послал бог: гром такой — у меня всю ночь горела свеча перед образом. Эх, отец мой, да у тебя-то, как у борова, вся спина и бок в грязи! где так изволил засалиться?

— Еще слава богу, что только засалился, нужно благодарить, что не отломал совсем боков.

— Святители, какие страсти! Да не нужно ли чем потереть спину?

— Спасибо, спасибо. Не беспокойтесь, а прикажите только вашей девке повысушить и вычистить мое платье.

— Слышишь, Фетинья! — сказала хозяйка, обратясь к женщине, выходившей на крыльцо со свечою, которая успела уже притащить перину и, взбивши ее с обоих боков руками, напустила целый потоп перьев по всей комнате.— Ты возьми ихний-то кафтан вместе с исподним и прежде просуши их перед огнем, как делывали покойнику барину, а после перетри и выколоти хорошенько.

— Слушаю, сударыня! — говорила Фетинья, постилая сверх перины простыню и кладя подушки.

— Ну, вот тебе постель готова,— сказала хозяйка.— Прощай, батюшка, желаю покойной ночи. Да не нужно ли еще чего? Может, ты привык, отец мой, чтобы кто-нибудь почесал на ночь пятки? Покойник мой без этого никак не засыпал.

Но гость отказался и от почесывания пяток. Хозяйка вышла, и он тот же час поспешил раздеться, отдав Фетинье всю снятую с себя сбрую, как верхнюю, так и нижнюю, и Фетинья, пожелав также с своей стороны покойной ночи, утащила эти мокрые доспехи. Оставшись один, он не без удовольствия взглянул на свою постель, которая была почти до потолка. Фетинья, как видно, была мастерица взбивать перины. Когда, подставивши стул, взобрался он на постель, она опустилась под ним почти до самого пола, и перья, вытесненные им из пределов, разлетелись во все углы комнаты. Погасив свечу, он накрылся ситцевым одеялом и, свернувшись под ним кренделем, заснул в ту же минуту. Проснулся на другой день он уже довольно поздним утром. Солнце сквозь окно блистало ему прямо в глаза, и мухи, которые вчера спали спокойно на стенах и на потолке, все обратились к нему: одна села ему на губу, другая на ухо, третья норовила как бы усесться на самый глаз, ту же, которая имела неосторожность подсесть близко к но-

совой ноздре, он потянул впросонках в самый нос, что заставило его крепко чихнуть,— обстоятельство, бывшее причиною его пробуждения. Окинувши взглядом комнату, он теперь заметил, что на картинах не всё были птицы: между ними висел портрет Кутузова и писанный масляными красками какой-то старик с красными обшлагами на мундире, как на́шивали при Павле Петровиче. Часы опять испустили шипение и пробили десять; в дверь выглянуло женское лицо и в ту же минуту спряталось, ибо Чичиков, желая получше заснуть, скинул с себя совершенно все. Выглянувшее лицо показалось ему как будто несколько знакомо. Он стал припоминать себе: кто бы это был, и наконец вспомнил, что это была хозяйка. Он надел рубаху; платье, уже высушенное и вычищенное, лежало возле него. Одевшись, подошел он к зеркалу и чихнул опять так громко, что подошедший в это время к окну индейский петух — окно же было очень близко от земли — заболтал ему что-то вдруг и весьма скоро на своем странном языке, вероятно «желаю здравствовать», на что Чичиков сказал ему дурака. Подошедши к окну, он начал рассматривать бывшие перед ним виды: окно глядело едва ли не в курятник; по крайней мере, находившийся перед ним узенький дворик весь был наполнен птицами и всякой домашней тварью. Индейкам и курам не было числа; промеж них расхаживал петух мерными шагами, потряхивая гребнем и поворачивая голову набок, как будто к чему-то прислушиваясь; свинья с семейством очутилась тут же; тут же, разгребая кучу сора, съела она мимоходом цыпленка и, не замечая этого, продолжала уписывать арбузные корки своим порядком. Этот небольшой дворик, или курятник, перегораживал дощатый забор, за которым тянулись пространные огороды с капустой, луком, картофелем, свеклой и прочим хозяйственным овощем. По огороду были разбросаны кое-где яблони и другие фруктовые деревья, накрытые сетями для защиты от сорок и воробьев, из которых последние целыми косвенными тучами переносились с одного места на другое. Для этой же самой причины водружено было несколько чучел на длинных шестах, с растопыренными руками; на одном из них надет был чепец самой хозяйки. За огородами следовали крестьянские избы, которые хотя были выстроены врассыпную и не заключены в правильные улицы, но, по замечанию, сделанному Чичиковым, показывали довольство обитателей, ибо были поддерживаемы как следует: изветшавший тес на крышах везде был заменен новым; ворота нигде не покосились, а в обращенных к нему крестьянских крытых сараях заметил он где стоявшую запасную почти новую телегу, а где и две. «Да у ней деревушка не маленька»,— сказал он и положил тут же разговориться и познакомиться с хозяйкой покороче. Он заглянул в щелочку двери, из которой она было высунула голову, и, увидев

ее, сидящую за чайным столиком, вошел к ней с веселым и ласковым видом.

— Здравствуйте, батюшка. Каково почивали? — сказала хозяйка, приподнимаясь с места. Она была одета лучше, нежели вчера,— в темном платье и уже не в спальном чепце, но на шее все так же было что-то навязано.

— Хорошо, хорошо,— говорил Чичиков, садясь в кресла.— Вы как, матушка?

— Плохо, отец мой.

— Как так?

— Бессонница. Все поясница болит, и нога, что повыше косточки, так вот и ломит.

— Пройдет, пройдет, матушка. На это нечего глядеть.

— Дай бог, чтобы прошло. Я-то смазывала свиным салом и скипидаром тоже смачивала. А с чем прихлебнете чайку? Во фляжке фруктовая.

— Недурно, матушка, хлебнем и фруктовой.

Читатель, я думаю, уже заметил, что Чичиков, несмотря на ласковый вид, говорил, однако же, с большею свободою, нежели с Маниловым, и вовсе не церемонился. Надобно сказать, что у нас на Руси если не угнались еще кой в чем другом за иностранцами, то далеко перегнали их в умении обращаться. Пересчитать нельзя всех оттенков и тонкостей нашего обращения. Француз или немец век не смекнет и не поймет всех его особенностей и различий; он почти тем же голосом и тем же языком станет говорить и с миллионщиком, и с мелким табачным торгашом, хотя, конечно, в душе поподличает в меру перед первым. У нас не то: у нас есть такие мудрецы, которые с помещиком, имеющим двести душ, будут говорить совсем иначе, нежели с тем, у которого их триста, а с тем, у которого их триста, будут говорить опять не так, как с тем, у которого их пятьсот, а с тем, у которого их пятьсот, опять не так, как с тем, у которого их восемьсот,— словом, хоть восходи до миллиона, всё найдутся оттенки. Положим, например, существует канцелярия, не здесь, а в тридевятом государстве, а в канцелярии, положим, существует правитель канцелярии. Прошу посмотреть на него, когда он сидит среди своих подчиненных,— да просто от страха и слова не выговоришь! гордость и благородство, и уж чего не выражает лицо его? просто бери кисть, да и рисуй: Прометей, решительный Прометей! Высматривает орлом, выступает плавно, мерно. Тот же самый орел, как только вышел из комнаты и приближается к кабинету своего начальника, куропаткой такой спешит с бумагами под мышкой, что мочи нет. В обществе и на вечеринке, будь все небольшого чина, Прометей так и останется Прометеем, а чуть немного повыше его, с Прометеем сделается такое превращение, ка-

кого и Овидий не выдумает: муха, меньше даже мухи, уничтожился в песчинку! «Да это не Иван Петрович,— говоришь, глядя на него.— Иван Петрович выше ростом, а этот и низенький и худенький; тот говорит громко, басит и никогда не смеется, а этот черт знает что: пищит птицей и все смеется». Подходишь ближе, глядишь — точно Иван Петрович! «Эхе-хе»,— думаешь себе... Но, однако ж, обратимся к действующим лицам. Чичиков, как уж мы видели, решился вовсе не церемониться и потому, взявши в руки чашку с чаем и вливши туда фруктовой, повел такие речи:

— У вас, матушка, хорошая деревенька. Сколько в ней душ?

— Душ-то в ней, отец мой, без малого восемьдесят,— сказала хозяйка,— да беда, времена плохи, вот и прошлый год был такой неурожай, что боже храни.

— Однако ж мужички на вид дюжие, избенки крепкие. А позвольте узнать фамилию вашу. Я так рассеялся... приехал в ночное время...

— Коробочка, коллежская секретарша.

— Покорнейше благодарю. А имя и отчество?

— Настасья Петровна.

— Настасья Петровна? хорошее имя Настасья Петровна. У меня тетка родная, сестра моей матери, Настасья Петровна.

— А ваше имя как? — спросила помещица.— Ведь вы, я чай, заседатель?

— Нет, матушка,— отвечал Чичиков, усмехнувшись,— чай, не заседатель, а так ездим по своим делишкам.

— А, так вы покупщик! Как же жаль, право, что я продала мед купцам так дешево, а вот ты бы, отец мой, у меня, верно, его купил.

— А вот меду и не купил бы.

— Что ж другое? Разве пеньку? Да вить и пеньки у меня теперь маловато: полпуда всего.

— Нет, матушка, другого рода товарец: скажите, у вас умирали крестьяне?

— Ох, батюшка, осьмнадцать человек! — сказала старуха, вздохнувши.— И умер такой всё славный народ, всё работники. После того, правда, народилось, да что в них: всё такая мелюзга; а заседатель подъехал — подать, говорит, уплачивать с души. Народ мертвый, а плати, как за живого. На прошлой неделе сгорел у меня кузнец, такой искусный кузнец и слесарное мастерство знал.

— Разве у вас был пожар, матушка?

— Бог приберег от такой беды, пожар бы еще хуже; сам сгорел, отец мой. Внутри у него как-то загорелось, чересчур выпил, только синий огонек пошел от него, весь истлел, истлел и почер-

нел, как уголь, а такой был преискусный кузнец! и теперь мне выехать не на чем: некому лошадей подковать.

— На все воля божья, матушка! — сказал Чичиков, вздохнувши,— против мудрости божией ничего нельзя сказать... Уступите-ка их мне, Настасья Петровна?

— Кого, батюшка?

— Да вот этих-то всех, что умерли.

— Да как же уступить их?

— Да так просто. Или, пожалуй, продайте. Я вам за них дам деньги.

— Да как же? Я, право, в толк-то не возьму. Нешто хочешь ты их откапывать из земли?

Чичиков увидел, что старуха хватила далеко и что необходимо ей нужно растолковать, в чем дело. В немногих словах объяснил он ей, что перевод или покупка будет значиться только на бумаге и души будут прописаны как бы живые.

— Да на что ж они тебе? — сказала старуха, выпучив на него глаза.

— Это уж мое дело.

— Да ведь они ж мертвые.

— Да кто же говорит, что они живые? Потому-то и в убыток вам, что мертвые: вы за них платите, а теперь я вас избавлю от хлопот и платежа. Понимаете? Да не только избавлю, да еще сверх того дам вам пятнадцать рублей. Ну, теперь ясно?

— Право, не знаю,— произнесла хозяйка с расстановкой.— Ведь я мертвых никогда еще не продавала.

— Еще бы! Это бы скорей походило на диво, если бы вы их кому-нибудь продали. Или вы думаете, что в них есть в самом деле какой-нибудь прок?

— Нет, этого-то я не думаю. Что ж в них за прок, проку никакого нет. Меня только то и затрудняет, что они уже мертвые.

«Ну, баба, кажется, крепколобая!» — подумал про себя Чичиков.

— Послушайте, матушка. Да вы рассудите только хорошенько: ведь вы разоряетесь, платите за него подать, как за живого...

— Ох, отец мой, и не говори об этом! — подхватила помещица.— Еще третью неделю взнесла больше полутораста. Да заседателя подмаслила.

— Ну, видите, матушка. А теперь примите в соображение только то, что заседателя вам подмасливать больше не нужно, потому что теперь я плачу за них; я, а не вы; я принимаю на себя все повинности. Я совершу даже крепость на свои деньги, понимаете ли вы это?

Старуха задумалась. Она видела, что дело, точно, как будто выгодно, да только уж слишком новое и небывалое; а потому начала сильно побаиваться, чтобы как-нибудь не надул ее этот покупщик; приехал же бог знает откуда, да еще и в ночное время.

— Так что ж, матушка, по рукам, что ли? — говорил Чичиков.

— Право, отец мой, никогда еще не случалось продавать мне покойников. Живых-то я уступила, вот и третьего года протопопу двух девок, по сту рублей каждую, и очень благодарил, такие вышли славные работницы: сами салфетки ткут.

— Ну, да не о живых дело; бог с ними. Я спрашиваю мертвых.

— Право, я боюсь на первых-то порах, чтобы как-нибудь не понести убытку. Может быть, ты, отец мой, меня обманываешь, а они того... они больше как-нибудь стоят.

— Послушайте, матушка... эх, какие вы! что ж они могут стоить? Рассмотрите: ведь это прах. Понимаете ли? это просто прах. Вы возьмите всякую негодную, последнюю вещь, например, даже простую тряпку, и тряпке есть цена: ее хоть, по крайней мере, купят на бумажную фабрику, а ведь это ни на что не нужно. Ну, скажите сами, на что оно нужно?

— Уж это, точно, правда. Уж совсем ни на что не нужно; да ведь меня одно только и останавливает, что ведь они уже мертвые.

«Эк ее, дубинноголовая какая! — сказал про себя Чичиков, уже начиная выходить из терпения.— Пойди ты сладь с нею! в пот бросила, проклятая старуха!» Тут он, вынувши из кармана платок, начал отирать пот, в самом деле выступивший на лбу. Впрочем, Чичиков напрасно сердился: иной и почтенный, и государственный даже человек, а на деле выходит совершенная Коробочка. Как зарубил что себе в голову, то уж ничем его не пересилишь; сколько ни представляй ему доводов, ясных как день, все отскакивает от него, как резинный мяч отскакивает от стены. Отерши пот, Чичиков решился попробовать, нельзя ли ее навести на путь какою-нибудь иною стороною.

— Вы, матушка,— сказал он,— или не хотите понимать слов моих, или так нарочно говорите, лишь бы что-нибудь говорить... Я вам даю деньги: пятнадцать рублей ассигнациями. Понимаете ли? Ведь это деньги. Вы их не сыщете на улице. Ну, признайтесь, почем продали мед?

— По двенадцати рублей пуд.

— Хватили немножко греха на душу, матушка. По двенадцати не продали.

— Ей-богу, продала.

— Ну видите ль? Так зато это мед. Вы собирали его, может быть, около года, с заботами, со старанием, хлопотами; ездили, морили пчел, кормили их в погребе целую зиму; а мертвые души дело

«Мертвые души»

Худ. А. Лаптев

не от мира сего. Тут вы с своей стороны никакого не прилагали старания, на то была воля божия, чтоб они оставили мир сей, нанеся ущерб вашему хозяйству. Там вы получили за труд, за старание двенадцать рублей, а тут вы берете ни за что, даром, да и не двенадцать, а пятнадцать, да и не серебром, а всё синими ассигнациями.— После таких сильных убеждений Чичиков почти уже не сомневался, что старуха наконец поддастся.

— Право,— отвечала помещица,— мое такое неопытное вдовье дело! лучше ж я маненько повременю, авось понаедут купцы, да применюсь к ценам.

— Страм, страм, матушка! просто страм! Ну что вы это говорите, подумайте сами! Кто же станет покупать их? Ну какое употребление он может из них сделать?

— А может, в хозяйстве-то как-нибудь под случай понадобятся...— возразила старуха, да и не кончила речи, открыла рот и смотрела на него почти со страхом, желая знать, что он на это скажет.

— Мертвые в хозяйстве! Эк куда хватили! Воробьев разве пугать по ночам в вашем огороде, что ли?

— С нами крестная сила! Какие ты страсти говоришь! — проговорила старуха, крестясь.

— Куда ж еще вы их хотели пристроить? Да, впрочем, ведь кости и могилы — все вам остается, перевод только на бумаге. Ну, так что же? Как же? отвечайте, по крайней мере.

Старуха вновь задумалась.

— О чем же вы думаете, Настасья Петровна?

— Право, я все не приберу, как мне быть; лучше я вам пеньку продам.

— Да что ж пенька? Помилуйте, я вас прошу совсем о другом, а вы мне пеньку суете! Пенька пенькою, в другой раз приеду, заберу и пеньку. Так как же, Настасья Петровна?

— Ей-богу, товар такой странный, совсем небывалый!

Здесь Чичиков вышел совершенно из границ всякого терпения, хватил в сердцах стулом об пол и посулил ей черта.

Черта помещица испугалась необыкновенно.

— Ох, не припоминай его, бог с ним! — вскрикнула она, вся побледнев.— Еще третьего дня всю ночь мне снился окаянный. Вздумала было на ночь загадать на картах после молитвы, да, видно, в наказание-то бог и наслал его. Такой гадкий привиделся; а рога-то длиннее бычачьих.

— Я дивлюсь, как они вам десятками не снятся. Из одного христианского человеколюбия хотел: вижу, бедная вдова убивается, терпит нужду... да пропади и околей со всей вашей деревней!..

— Ах, какие ты забранки пригибаешь! — сказала старуха, глядя на него со страхом.

— Да не найдешь слов с вами! Право, словно какая-нибудь, не говоря дурного слова, дворняжка, что лежит на сене: и сама не ест сена, и другим не дает. Я хотел было закупать у вас хозяйственные продукты разные, потому что я и казенные подряды тоже веду...— Здесь он прилгнул, хоть и вскользь, и без всякого дальнейшего размышления, но неожиданно удачно. Казенные подряды подействовали сильно на Настасью Петровну, по крайней мере, она произнесла уже почти просительным голосом:

— Да чего ж ты рассердился так горячо? Знай я прежде, что ты такой сердитый, да я бы совсем тебе и не прекословила.

— Есть из чего сердиться! Дело яйца выеденного не стоит, а я стану из-за него сердиться!

— Ну, да изволь, я готова отдать за пятнадцать ассигнацией! Только смотри, отец мой, насчет подрядов-то: если случится муки брать ржаной, или гречневой, или круп, или скотины битой, так уж, пожалуйста, не обидь меня.

— Нет, матушка не обижу,— говорил он, а между тем отирал рукою пот, который в три ручья катился по лицу его. Он расспросил ее, не имеет ли она в городе какого-нибудь поверенного или знакомого, которого бы могла уполномочить на совершение крепости и всего, что следует.

— Как же, протопопа, отца Кирила, сын служит в палате,— сказала Коробочка.

Чичиков попросил ее написать к нему доверенное письмо и, чтобы избавить от лишних затруднений, сам даже взялся сочинить.

«Хорошо бы было,— подумала между тем про себя Коробочка,— если бы он забирал у меня в казну муку и скотину. Нужно его задобрить: теста со вчерашнего вечера еще осталось, так пойти сказать Фетинье, чтоб спекла блинов; хорошо бы также загнуть пирог пресный с яйцом, у меня его славно загибают, да и времени берет немного». Хозяйка вышла, с тем чтобы привести в исполненье мысль насчет загнутия пирога и, вероятно, пополнить ее другими произведениями домашней пекарни и стряпни; а Чичиков вышел в гостиную, где провел ночь, с тем чтобы вынуть нужные бумаги из своей шкатулки. В гостиной давно уже было все прибрано, роскошные перины вынесены вон, перед диваном стоял покрытый стол. Поставив на него шкатулку, он несколько отдохнул, ибо чувствовал, что был весь в поту, как в реке: все, что ни было на нем, начиная от рубашки до чулок, все было мокро. «Эк уморила как проклятая старуха!» — сказал он, немного отдохнувши, и отпер шкатулку. Автор уверен, что есть читатели такие любопытные, которые пожелают даже узнать план и внутреннее расположение

шкатулки. Пожалуй, почему же не удовлетворить! Вот оно, внутреннее расположение: в самой средине мыльница, за мыльницею шесть-семь узеньких перегородок для бритв; потом квадратные закоулки для песочницы и чернильницы с выдолбленною между ними лодочкой для перьев, сургучей и всего, что подлиннее; потом всякие перегородки с крышечками и без крышечек для того, что покороче, наполненные билетами визитными, похоронными, театральными и другими, которые складывались на память. Весь верхний ящик со всеми перегородками вынимался, и под ним находилось пространство, занятое кипами бумаг в лист, потом следовал маленький потаенный ящик для денег, выдвигавшийся незаметно сбоку шкатулки. Он всегда так поспешно выдвигался и задвигался в ту же минуту хозяином, что наверно нельзя сказать, сколько было там денег. Чичиков тут же занялся и, очинив перо, начал писать. В это время вошла хозяйка.

— Хорош у тебя ящик, отец мой,— сказала она, подсевши к нему.— Чай, в Москве купил его?

— В Москве,— отвечал Чичиков, продолжая писать.

— Я уж знала это: там все хорошая работа. Третьего года сестра моя привезла оттуда теплые сапожки для детей: такой прочный товар, до сих пор носится. Ахти, сколько у тебя тут гербовой бумаги! — продолжала она, заглянувши к нему в шкатулку. И в самом деле, гербовой бумаги было там немало.— Хоть бы мне листок подарил! а у меня такой недостаток; случится в суд просьбу подать, а и не на чем.

Чичиков объяснил ей, что эта бумага не такого рода, что она назначена для совершения крепостей, а не для просьб. Впрочем, чтобы успокоить ее, он дал ей какой-то лист в рубль ценою. Написавши письмо, дал он ей подписаться и попросил маленький списочек мужиков. Оказалось, что помещица не вела никаких записок, ни списков, а знала почти всех наизусть; он заставил ее тут же продиктовать их. Некоторые крестьяне несколько изумили его своими фамилиями, а еще более прозвищами, так что он всякий раз, слыша их, прежде останавливался, а потом уже начинал писать. Особенно поразил его какой-то Петр Савельев Неуважай-Корыто, так что он не мог не сказать: «Экой длинный!» Другой имел прицепленный к имени «Коровий кирпич», иной оказался просто: Колесо Иван. Оканчивая писать, он потянул несколько к себе носом воздух и услышал завлекательный запах чего-то горячего в масле.

— Прошу покорно закусить,— сказала хозяйка.

Чичиков оглянулся и увидел, что на столе стояли уже грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепешки со всякими припеками: припекой с лучком, припекой с маком, припекой с творогом, припекой со сняточками, и невесть чего не было.

— Пресный пирог с яйцом! — сказала хозяйка.

Чичиков подвинулся к пресному пирогу с яйцом, и, съевши тут же с небольшим половину, похвалил его. И в самом деле, пирог сам по себе был вкусен, а после всей возни и проделок со старухой показался еще вкуснее.

— А блинков? — сказала хозяйка.

В ответ на это Чичиков свернул три блина вместе и, обмакнувши их в растопленное масло, отправил в рот, а губы и руки вытер салфеткой. Повторивши это раза три, он попросил хозяйку приказать заложить его бричку. Настасья Петровна тут же послала Фетинью, приказавши в то же время принести еще горячих блинов.

— У вас, матушка, блинцы очень вкусны,— сказал Чичиков, принимаясь за принесенные горячие.

— Да у меня-то их хорошо пекут,— сказала хозяйка,— да вот беда: урожай плох, мука уж такая неавантажная... Да что же, батюшка, вы так спешите? — проговорила она, увидя, что Чичиков взял в руки картуз,— ведь и бричка еще не заложена.

— Заложат, матушка, заложат. У меня скоро закладывают.

— Так уж, пожалуйста, не позабудьте насчет подрядов.

— Не забуду, не забуду,— говорил Чичиков, выходя в сени.

— А свиного сала не покупаете? — сказала хозяйка, следуя за ним.

— Почему не покупать? Покупаю, только после.

— У меня о святках и свиное сало будет.

— Купим, купим, всего купим, и свиного сала купим.

— Может быть, понадобится птичьих перьев. У меня к Филиппову посту будут и птичьи перья.

— Хорошо, хорошо,— говорил Чичиков.

— Вот видишь, отец мой, и бричка твоя еще не готова,— сказала хозяйка, когда они вышли на крыльцо.

— Будет, будет готова. Расскажите только мне, как добраться до большой дороги.

— Как же бы это сделать? — сказала хозяйка.— Рассказать-то мудрено, поворотов много; разве я тебе дам девчонку, чтобы проводила. Ведь у тебя, чай, место есть на козлах, где бы присесть ей.

— Как не быть.

— Пожалуй, я тебе дам девчонку; она у меня знает дорогу, только ты смотри! не завези ее, у меня уже одну завезли купцы.

Чичиков уверил ее, что не завезет, и Коробочка, успокоившись, уже стала рассматривать все, что было во дворе ее; вперила глаза на ключницу, выносившую из кладовой деревянную побратиму с медом, на мужика, показавшегося в воротах, и мало-помалу вся переселилась в хозяйственную жизнь. Но зачем так долго зани-

маться Коробочкой? Коробочка ли, Манилова ли, хозяйственная ли жизнь или нехозяйственная — мимо их! Не то на свете дивно устроено: веселое мигом обратится в печальное, если только долго застоишься перед ним, и тогда бог знает что взбредет в голову. Может быть, станешь даже думать: да полно, точно ли Коробочка стоит так низко на бесконечной лестнице человеческого совершенствования? Точно ли так велика пропасть, отделяющая ее от сестры ее, недосягаемо огражденной стенами аристократического дома с благовонными чугунными лестницами, сияющей медью, красным деревом и коврами, зевающей за недочитанной книгой в ожидании остроумно-светского визита, где ей предстанет поле блеснуть умом и высказать вытверженные мысли, мысли, занимающие по законам моды на целую неделю город, мысли не о том, что делается в ее доме и в ее поместьях, запутанных и расстроенных благодаря незнанью хозяйственного дела, а о том, какой политический переворот готовится во Франции, какое направление принял модный католицизм. Но мимо, мимо! зачем говорить об этом? Но зачем же среди недумающих, веселых, беспечных минут сама собою вдруг пронесется иная чудная струя: еще смех не успел совершенно сбежать с лица, а уже стал другим среди тех же людей, и уже другим светом осветилось лицо...

— А вот бричка, вот бричка! — вскричал Чичиков, увидя наконец подъезжавшую свою бричку.— Что ты, болван, так долго копался? Видно, вчерашний хмель у тебя не весь еще выветрило.

Селифан на это ничего не отвечал.

— Прощайте, матушка! А что же, где ваша девчонка?

— Эй, Пелагея! — сказала помещица стоявшей около крыльца девчонке лет одиннадцати, в платье из домашней крашенины и с босыми ногами, которые издали можно было принять за сапоги, так они были облеплены свежею грязью.— Покажи-ка барину дорогу.

Селифан помог взлезть девчонке на козлы, которая, ставши одной ногой на барскую ступеньку, сначала запачкала ее грязью, а потом уже взобралась на верхушку и поместилась возле него. Вслед за нею и сам Чичиков занес ногу на ступеньку и, понагнувши бричку на правую сторону, потому что был тяжеленек, наконец поместился, сказавши:

— А! теперь хорошо! прощайте, матушка!

Кони тронулись.

Селифан был во всю дорогу суров и с тем вместе очень внимателен к своему делу, что случалося с ним всегда после того, когда либо в чем провинился, либо был пьян. Лошади были удивительно как вычищены. Хомут на одной из них, надевавшийся дотоле почти всегда в разодранном виде, так что из-под кожи выгля-

дывала пакля, был искусно зашит. Во всю дорогу был он молчалив, только похлестывал кнутом и не обращал никакой поучительной речи к лошадям, хотя чубарому коню, конечно, хотелось бы выслушать что-нибудь наставительное, ибо в это время вожжи всегда как-то лениво держались в руках словоохотного возницы и кнут только для формы гулял поверх спин. Но из угрюмых уст слышны были на сей раз одни однообразно неприятные восклицания: «Ну же, ну, ворона! зевай! зевай!» — и больше ничего. Даже сам гнедой и Заседатель были недовольны, не услышавши ни разу ни «любезные», ни «почтенные». Чубарый чувствовал пренеприятные удары по своим полным и широким частям. «Вишь ты, как разнесло его! — думал он сам про себя, несколько припрядывая ушами.— Небось знает, где бить! Не хлыснет прямо по спине, а так и выбирает место, где поживее: по ушам зацепит или под брюхо захлыснет».

— Направо, что ли? — с таким сухим вопросом обратился Селифан к сидевшей возле него девчонке, показывая ей кнутом на почерневшую от дождя дорогу между ярко-зелеными, освеженными полями.

— Нет, нет, я уж покажу,— отвечала девчонка.

— Куда ж? — сказал Селифан, когда подъехали поближе.

— Вот куды,— отвечала девчонка, показывая рукою.

— Эх ты! — сказал Селифан.— Да это и есть направо: не знает, где право, где лево!

Хотя день был очень хорош, но земля до такой степени загрязнилась, что колеса брички, захватывая ее, сделались скоро покрытыми ею, как войлоком, что значительно отяжелило экипаж; к тому же почва была глиниста и цепка необыкновенно. То и другое было причиною, что они не могли выбраться из проселков раньше полудня. Без девчонки было бы трудно сделать и это, потому что дороги расползались во все стороны, как пойманные раки, когда их высыплют из мешка, и Селифану довелось бы поколесить уже не по своей вине. Скоро девчонка показала рукою на черневшее вдали строение, сказавши:

— Вон столбовая дорога!

— А строение? — спросил Селифан.

— Трактир,— сказала девчонка.

— Ну, теперь мы сами доедем,— сказал Селифан,— ступай себе домой.

Он остановился и помог ей сойти, проговорив сквозь зубы: «Эх ты, черноногая!»

Чичиков дал ей медный грош, и она побрела восвояси, уже довольная тем, что посидела на козлах.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Подъехавши к трактиру, Чичиков велел остановиться по двум причинам. С одной стороны, чтоб дать отдохнуть лошадям, а с другой стороны, чтоб и самому несколько закусить и подкрепиться. Автор должен признаться, что весьма завидует аппетиту и желудку такого рода людей. Для него решительно ничего не значат все господа большой руки, живущие в Петербурге и Москве, проводящие время в обдумывании, что бы такое поесть завтра и какой бы обед сочинить на послезавтра, и принимающиеся за этот обед не иначе, как отправивши прежде в рот пилюлю; глотающие устерс, морских пауков и прочих чуд, а потом отправляющиеся в Карлсбад или на Кавказ. Нет, эти господа никогда не возбуждали в нем зависти. Но господа средней руки, что на одной станции потребуют ветчины, на другой поросенка, на третьей ломоть осетра или какую-нибудь запеканную колбасу с луком и потом как ни в чем не бывало садятся за стол в какое хочешь время, и стерляжья уха с налимами и молоками шипит и ворчит у них меж зубами, заедаемая расстегаем или кулебякой с сомовьим плёсом, так что вчуже пронимает аппетит,— вот эти господа, точно, пользуются завидным даянием неба! Не один господин большой руки пожертвовал бы сию же минуту половину душ крестьян и половину имений, заложенных и незаложенных, со всеми улучшениями на иностранную и русскую ногу, с тем только, чтобы иметь такой желудок, какой имеет господин средней руки; но то беда, что ни за какие деньги, ниже́ имения, с улучшениями и без улучшений, нельзя приобресть такого желудка, какой бывает у господина средней руки.

Деревянный, потемневший трактир принял Чичикова под свой узенький гостеприимный навес на деревянных выточенных столбиках, похожих на старинные церковные подсвечники. Трактир был что-то вроде русской избы, несколько в большем размере. Резные узорочные карнизы из свежего дерева вокруг окон и под крышей резко и живо пестрили темные его стены; на ставнях были нарисованы кувшины с цветами.

Взобравшись узенькою деревянною лестницею наверх, в широкие сени, он встретил отворявшуюся со скрипом дверь и толстую старуху в пестрых ситцах, проговорившую: «Сюда пожалуйте!» В комнате попались всё старые приятели, попадающиеся всякому в небольших деревянных трактирах, каких немало выстроено по дорогам, а именно: заиндевевший самовар, выскобленные гладко сосновые стены, трехугольный шкаф с чайниками и чашками в углу, фарфоровые вызолоченные яички пред образами, висевшие на голубых и красных ленточках, окотившаяся недавно кошка, зеркало,

показывавшее вместо двух четыре глаза, а вместо лица какую-то лепешку; наконец натыканные пучками душистые травы и гвоздики у образов, высохшие до такой степени, что желавший понюхать их только чихал и больше ничего.

— Поросенок есть? — с таким вопросом обратился Чичиков к стоявшей бабе.

— Есть.

— С хреном и со сметаною?

— С хреном и со сметаною.

— Давай его сюда!

Старуха пошла копаться и принесла тарелку, салфетку, накрахмаленную до того, что дыбилась, как засохшая кора, потом нож с пожелтевшею костяною колодочкою, тоненький, как перочинный, двузубую вилку и солонку, которую никак нельзя было поставить прямо на стол.

Герой наш, по обыкновению, сейчас вступил с нею в разговор и расспросил, сама ли она держит трактир, или есть хозяин, и сколько дает доходу трактир, и с ними ли живут сыновья, и что старший сын холостой или женатый человек, и какую взял жену, с большим ли приданым или нет, и доволен ли был тесть, и не сердился ли, что мало подарков получил на свадьбе,— словом, не пропустил ничего. Само собою разумеется, что полюбопытствовал узнать, какие в окружности находятся у них помещики, и узнал, что всякие есть помещики: Блохин, Почитаев, Мыльной, Чепраков-полковник, Собакевич. «А! Собакевича знаешь?» — спросил он и тут же услышал, что старуха знает не только Собакевича, но и Манилова, и что Манилов будет повеликатней Собакевича: велит тотчас сварить курицу, спросит и телятинки; коли есть баранья печенка, то и бараньей печенки спросит, и всего только что попробует, а Собакевич одного чего-нибудь спросит, да уж зато всё съест, даже и подбавки потребует за ту же цену.

Когда он таким образом разговаривал, кушая поросенка, которого оставался уже последний кусок, послышался стук колес подъехавшего экипажа. Выглянувши в окно, увидел он остановившуюся перед трактиром легонькую бричку, запряженную тройкою добрых лошадей. Из брички вылезали двое каких-то мужчин. Один белокурый, высокого роста; другой немного пониже, чернявый. Белокурый был в темно-синей венгерке, чернявый просто в полосатом архалуке. Издали тащилась еще колясчонка, пустая, влекомая какой-то длинношерстной четверней с изорванными хомутами и веревочной упряжью. Белокурый тотчас же отправился по лестнице наверх, между тем как черномазый еще оставался и щупал что-то в бричке, разговаривая тут же со слугою и махая в то же время ехавшей за ними коляске. Голос его показался Чичикову как будто

несколько знакомым. Пока он его рассматривал, белокурый успел уже нащупать дверь и отворить ее. Это был мужчина высокого роста, лицом худощавый, или что называют издержанный, с рыжими усиками. По загоревшему лицу его можно было заключить, что он знал, что такое дым, если не пороховой, то, по крайней мере, табачный. Он вежливо поклонился Чичикову, на что последний ответил тем же. В продолжение немногих минут они вероятно бы разговорились и хорошо познакомились между собою, потому что уже начало было сделано, и оба почти в одно и то же время изъявили удовольствие, что пыль по дороге была совершенно прибита вчерашним дождем и теперь ехать и прохладно и приятно, как вошел чернявый его товарищ, сбросив с головы на стол картуз свой, молодцевато взъерошив рукой свои черные густые волосы. Это был среднего роста, очень недурно сложенный молодец с полными румяными щеками, с белыми, как снег, зубами и черными, как смоль, бакенбардами. Свеж он был, как кровь с молоком; здоровье, казалось, так и прыскало с лица его.

— Ба, ба, ба! — вскричал он вдруг, расставив обе руки при виде Чичикова.— Какими судьбами?

Чичиков узнал Ноздрева, того самого, с которым он вместе обедал у прокурора и который с ним в несколько минут сошелся на такую короткую ногу, что начал уже говорить «ты», хотя, впрочем, он с своей стороны не подал к тому никакого повода.

— Куда ездил? — говорил Ноздрев и, не дождавшись ответа, продолжал: — А я, брат, с ярмарки. Поздравь: продулся в пух! Веришь ли, что никогда в жизни так не продувался. Ведь я на обывательских приехал! Вот посмотри нарочно в окно! — Здесь он нагнул сам голову Чичикова, так что тот чуть не ударился ею об рамку.— Видишь, какая дрянь! Насилу дотащили, проклятые, я уже перелез вот в его бричку.— Говоря это, Ноздрев показал пальцем на своего товарища.— А вы еще не знакомы? Зять мой Мижуев! Мы с ним все утро говорили о тебе. «Ну, смотри, говорю, если мы не встретим Чичикова». Ну, брат, если б ты знал, как я продулся! Поверишь ли, что не только убухал четырех рысаков — всё спустил. Ведь на мне нет ни цепочки, ни часов...— Чичиков взглянул и увидел точно, что на нем не было ни цепочки, ни часов. Ему даже показалось, что и один бакенбард был у него меньше и не так густ, как другой.— А ведь будь только двадцать рублей в кармане,— продолжал Ноздрев,— именно не больше как двадцать, я отыграл бы всё, то есть кроме того, что отыграл бы, вот как честный человек, тридцать тысяч сейчас положил бы в бумажник.

— Ты, однако, и тогда так говорил,— отвечал белокурый,— а когда я тебе дал пятьдесят рублей, тут же просадил их.

— И не просадил бы! ей-богу, не просадил бы! Не сделай я сам глупость, право, не просадил бы. Не загни я после пароле на проклятой семерке утку, я бы мог сорвать весь банк.

— Однако ж не сорвал,— сказал белокурый.

— Не сорвал потому, что загнул утку не вовремя. А ты думаешь, майор твой хорошо играет?

— Хорошо или не хорошо, однако ж он тебя обыграл.

— Эка важность! — сказал Ноздрев,— этак и я его обыграю. Нет, вот попробуй он играть дублетом, так вот тогда я посмотрю, я посмотрю тогда, какой он игрок! Зато, брат Чичиков, как покутили мы в первые дни! Правда, ярмарка была отличнейшая. Сами купцы говорят, что никогда не было такого съезда. У меня все, что ни привезли из деревни, продали по самой выгоднейшей цене. Эх, братец, как покутили! Теперь даже, как вспомнишь... черт возьми! то есть как жаль, что ты не был. Вообрази, что в трех верстах от города стоял драгунский полк. Веришь ли, что офицеры, сколько их ни было, сорок человек одних офицеров было в городе; как начали мы, братец, пить... Штабс-ротмистр Поцелуев... такой славный! усы, братец, такие! Бордо называет просто бурдашкой. «Принеси-ка, брат, говорит, бурдашки!» Поручик Кувшинников... Ах, братец, какой премилый человек! вот уж, можно сказать, во всей форме кутила. Мы всё были с ним вместе. Какого вина отпустил нам Пономарев! Нужно тебе знать, что он мошенник и в его лавке ничего нельзя брать: в вино мешает всякую дрянь: сандал, жженую пробку и даже бузиной, подлец, затирает; но зато уж если вытащит из дальней комнатки, которая называется у него особенной, какую-нибудь бутылочку — ну просто, брат, находишься в эмпиреях. Шампанское у нас было такое — что пред ним губернаторское? просто квас. Вообрази, не клико, а какое-то клико-матрадура, это значит двойное клико. И еще достал одну бутылочку французского под названием: бонбон. Запах? — розетка и все что хочешь. Уж так покутили!.. После нас приехал какой-то князь, послал в лавку за шампанским, нет ни одной бутылки во всем городе, всё офицеры выпили. Веришь ли, что я один в продолжение обеда выпил семнадцать бутылок шампанского.

— Ну, семнадцать бутылок ты не выпьешь,— заметил белокурый.

— Как честный человек говорю, что выпил,— отвечал Ноздрев.

— Ты можешь себе говорить, что хочешь, а я тебе говорю, что и десяти не выпьешь.

— Ну хочешь об заклад, что выпью!

— К чему же об заклад?

— Ну, поставь свое ружье, которое купил в городе.

— Не хочу.

— Ну да поставь, попробуй!

— И пробовать не хочу.

— Да, был бы ты без ружья, как без шапки. Эх, брат Чичиков, то есть как я жалел, что тебя не было. Я знаю, что ты бы не расстался с поручиком Кувшинниковым. Уж как бы вы с ним хорошо сошлись! Это не то что прокурор и все губернские скряги в нашем городе, которые так и трясутся за каждую копейку. Этот, братец, и в гальбик, и в банчишку, и во все что хочешь. Эх, Чичиков, ну что бы тебе стоило приехать? Право, свинтус ты за это, скотовод эдакой! Поцелуй меня, душа, смерть люблю тебя! Мижуев, смотри, вот судьба свела: ну что он мне или я ему? Он приехал бог знает откуда, я тоже здесь живу... А сколько было, брат, карет, и все это en gros [1]. В фортунку крутнул: выиграл две банки помады, фарфоровую чашку и гитару; потом опять поставил один раз и прокрутил, канальство, еще сверх шесть целковых. А какой, если б ты знал, волокита Кувшинников! Мы с ним были на всех почти балах. Одна была такая разодетая, рюши на ней, и трюши, и черт знает чего не было... я думаю себе только: «черт возьми!» А Кувшинников, то есть это такая бестия, подсел к ней и на французском языке подпускает ей такие комплименты... Поверишь ли, простых баб не пропустил. Это он называет: попользоваться насчет клубнички. Рыб и балыков навезли чудных. Я таки привез с собою один; хорошо, что догадался купить, когда были еще деньги. Ты куда теперь едешь?

— А я к человечку к одному,— сказал Чичиков.

— Ну, что человечек, брось его! поедем ко мне!

— Нет, нельзя, есть дело.

— Ну вот уж и дело! уж и выдумал! Ах ты, Оподелдок Иванович!

— Право, дело, да еще и нужное.

— Пари держу, врешь! Ну скажи только, к кому едешь?

— Ну, к Собакевичу.

Здесь Ноздрев захохотал тем звонким смехом, каким заливается только свежий, здоровый человек, у которого все до последнего выказываются белые, как сахар, зубы, дрожат и прыгают щеки, и сосед за двумя дверями, в третьей комнате, вскидывается со сна, вытаращив очи и произнося: «Эк его разобрало!»

— Что ж тут смешного? — сказал Чичиков, отчасти недовольный таким смехом.

Но Ноздрев продолжал хохотать во все горло, приговаривая:

— Ой, пощади, право, тресну со смеху!

---

[1] в большом количестве *(франц.)*.

— Ничего нет смешного: я дал ему слово,— сказал Чичиков.

— Да ведь ты жизни не будешь рад, когда приедешь к нему, это просто жидомор! Ведь я знаю твой характер, ты жестоко опешишься, если думаешь найти там банчишку и добрую бутылку какого-нибудь бонбона. Послушай, братец: ну к черту Собакевича, поедем ко мне! каким балыком попотчую! Пономарев, бестия, так раскланивался, говорит: «Для вас только, всю ярмарку, говорит, обыщите, не найдете такого». Плут, однако ж, ужасный. Я ему в глаза это говорил: «Вы, говорю, с нашим откупщиком первые мошенники!» Смеется, бестия, поглаживая бороду. Мы с Кувшинниковым каждый день завтракали в его лавке. Ах, брат, вот позабыл тебе сказать: знаю, что ты теперь не отстанешь, но за десять тысяч не отдам, наперед говорю. Эй, Порфирий! — закричал он, подошедши к окну, на своего человека, который держал в одной руке ножик, а в другой корку хлеба с куском балыка, который посчастливилось ему мимоходом отрезать, вынимая что-то из брички.— Эй, Порфирий,— кричал Ноздрев,— принеси-ка щенка! Каков щенок! — продолжал он, обращаясь к Чичикову.— Краденый, ни за самого себя не отдавал хозяин. Я ему сулил каурую кобылу, которую, помнишь, выменял у Хвостырева...— Чичиков, впрочем, отроду не видел ни каурой кобылы, ни Хвостырева.

— Барин! ничего не хотите закусить? — сказала в это время, подходя к нему, старуха.

— Ничего. Эх, брат, как покутили! Впрочем, давай рюмку водки; какая у тебя есть?

— Анисовая,— отвечала старуха.

— Ну, давай анисовой,— сказал Ноздрев.

— Давай уж и мне рюмку! — сказал белокурый.

— В театре одна актриса так, каналья, пела, как канарейка! Кувшинников, который сидел возле меня,— «Вот, говорит, брат, попользоваться бы насчет клубнички!» Одних балаганов, я думаю, было пятьдесят. Фенарди четыре часа вертелся мельницею.— Здесь он принял рюмку из рук старухи, которая ему за то низко поклонилась.— А, давай его сюда! — закричал он, увидевши Порфирия, вошедшего с щенком. Порфирий был одет, так же как и барин, в каком-то архалуке, стеганном на вате, но несколько позамасленней.

— Давай его, клади сюда на пол!

Порфирий положил щенка на пол, который, растянувшись на все четыре лапы, нюхал землю.

— Вот щенок! — сказал Ноздрев, взявши его за спинку и приподнявши рукою. Щенок испустил довольно жалобный вой.

— Ты, однако ж, не сделал того, что я тебе говорил,— сказал Ноздрев, обратившись к Порфирию и рассматривая тщательно брюхо щенка,— и не подумал вычесать его?

— Нет, я его вычесывал.

— А отчего же блохи?

— Не могу знать. Статься может, как-нибудь из брички поналезли.

— Врешь, врешь, и не воображал чесать; я думаю, дурак, еще своих напустил. Вот посмотри-ка, Чичиков, посмотри, какие уши, на-ка пощупай рукою.

— Да зачем, я и так вижу: доброй породы! — отвечал Чичиков.

— Нет, возьми-ка нарочно, пощупай уши!

Чичиков в угодность ему пощупал уши, примолвивши:

— Да, хорошая будет собака.

— А нос, чувствуешь, какой холодный? возьми-ка рукою.

Не желая обидеть его, Чичиков взял и за нос, сказавши:

— Хорошее чутье.

— Настоящий мордаш,— продолжал Ноздрев,— я признаюсь, давно острил зубы на мордаша. На, Порфирий, отнеси его!

Порфирий, взявши щенка под брюхо, унес его в бричку.

— Послушай, Чичиков, ты должен непременно теперь ехать ко мне, пять верст всего, духом домчимся, а там, пожалуй, можешь и к Собакевичу.

«А что ж,— подумал про себя Чичиков,— заеду я в самом деле к Ноздреву. Чем же он хуже других, такой же человек, да еще и проигрался. Горазд он, как видно, на все, стало быть, у него даром можно кое-что выпросить».

— Изволь, едем,— сказал он,— но чур не задержать, мне время дорого.

— Ну, душа, вот это так! Вот это хорошо, постой же, я тебя поцелую за это.— Здесь Ноздрев и Чичиков поцеловались.— И славно: втроем и покатим!

— Нет, ты уж, пожалуйста, меня-то отпусти,— говорил белокурый,— мне нужно домой.

— Пустяки, пустяки, брат, не пущу.

— Право, жена будет сердиться; теперь же ты можешь пересесть вот в ихнюю бричку.

— Ни, ни, ни! И не думай.

Белокурый был один из тех людей, в характере которых на первый взгляд есть какое-то упорство. Еще не успеешь открыть рта, как они уже готовы спорить и, кажется, никогда не согласятся на то, что явно противуположно их образу мыслей, что никогда не назовут глупого умным и что в особенности не согласятся плясать по чужой дудке; а кончится всегда тем, что в характере их окажется мягкость, что они согласятся именно на то, что отвергали, глупое назовут умным и пойдут потом поплясывать как

нельзя лучше под чужую дудку,— словом, начнут гладью, а кончат гадью.

— Вздор! — сказал Ноздрев в ответ на какое-то представление белокурого, надел ему на голову картуз, и — белокурый отправился вслед за ними.

— За водочку, барин, не заплатили...— сказала старуха.

— А, хорошо, хорошо, матушка. Послушай, зятек! заплати, пожалуйста. У меня нет ни копейки в кармане.

— Сколько тебе? — сказал зятек.

— Да что, батюшка, двугривенник всего,— сказала старуха.

— Врешь, врешь. Дай ей полтину, предовольно с нее.

— Маловато, барин,— сказала старуха, однако ж взяла деньги с благодарностию и еще побежала впопыхах отворять им дверь. Она была не в убытке, потому что запросила вчетверо против того, что стоила водка.

Приезжие уселись. Бричка Чичикова ехала рядом с бричкой, в которой сидели Ноздрев и его зять, и потому они все трое могли свободно между собою разговаривать в продолжение дороги. За ними следовала, беспрестанно отставая, небольшая колясчонка Ноздрева на тощих обывательских лошадях. В ней сидел Порфирий с щенком.

Так как разговор, который путешественники вели между собою, был не очень интересен для читателя, то сделаем лучше, если скажем что-нибудь о самом Ноздреве, которому, может быть, доведется сыграть не вовсе последнюю роль в нашей поэме.

Лицо Ноздрева, верно, уже сколько-нибудь знакомо читателю. Таких людей приходилось всякому встречать немало. Они называются разбитными малыми, слывут еще в детстве и в школе за хороших товарищей и при всем том бывают весьма больно поколачиваемы. В их лицах всегда видно что-то открытое, прямое, удалое. Они скоро знакомятся, и не успеешь оглянуться, как уже говорят тебе «ты». Дружбу заведут, кажется, навек: но всегда почти так случается, что подружившийся подерется с ними того же вечера на дружеской пирушке. Они всегда говоруны, кутилы, лихачи, народ видный. Ноздрев в тридцать пять лет был таков же совершенно, каким был в осьмнадцать и двадцать: охотник погулять. Женитьба его ничуть не переменила, тем более что жена скоро отправилась на тот свет, оставивши двух ребятишек, которые решительно ему были не нужны. За детьми, однако ж, присматривала смазливая нянька. Дома он больше дня никак не мог усидеть. Чуткий нос его слышал за несколько десятков верст, где была ярмарка со всякими съездами и балами; он уж в одно мгновенье ока был там, спорил и заводил сумятицу за зеленым столом, ибо имел, подобно всем таковым, страстишку к картишкам. В кар-

тишки, как мы уже видели из первой главы, играл он не совсем безгрешно и чисто, зная много разных передержек и других тонкостей, и потому игра весьма часто оканчивалась другою игрою: или поколачивали его сапогами, или же задавали передержку его густым и очень хорошим бакенбардам, так что возвращался домой он иногда с одной только бакенбардой, и то довольно жидкой. Но здоровые и полные щеки его так хорошо были сотворены и вмещали в себе столько растительной силы, что бакенбарды скоро вырастали вновь, еще даже лучше прежних. И что всего страннее, что может только на одной Руси случиться, он чрез несколько времени уже встречался опять с теми приятелями, которые его тузили, и встречался как ни в чем не бывало, и он, как говорится, ничего, и они ничего.

Ноздрев был в некотором отношении исторический человек. Ни на одном собрании, где он был, не обходилось без истории. Какая-нибудь история непременно происходила: или выведут его под руки из зала жандармы, или принуждены бывают вытолкать свои же приятели. Если же этого не случится, то все-таки что-нибудь да будет такое, чего с другим никак не будет: или наежется в буфете таким образом, что только смеется, или проврется самым жестоким образом, так что наконец самому сделается совестно. И наврет совершенно без всякой нужды: вдруг расскажет, что у него была лошадь какой-нибудь голубой или розовой шерсти, и тому подобную чепуху, так что слушающие наконец все отходят, произнесши: «Ну, брат, ты, кажется, уж начал пули лить». Есть люди, имеющие страстишку нагадить ближнему, иногда вовсе без всякой причины. Иной, например, даже человек в чинах, с благородною наружностию, со звездой на груди, будет вам жать руку, разговорится с вами о предметах глубоких, вызывающих на размышления, а потом, смотришь, тут же, пред вашими глазами, и нагадит вам. И нагадит так, как простой коллежский регистратор, а вовсе не так, как человек со звездой на груди, разговаривающий о предметах, вызывающих на размышление, так что стоишь только да дивишься, пожимая плечами, да и ничего более. Такую же странную страсть имел и Ноздрев. Чем кто ближе с ним сходился, тому он скорее всех насаливал: распускал небылицу, глупее которой трудно выдумать, расстроивал свадьбу, торговую сделку и вовсе не почитал себя вашим неприятелем; напротив, если случай приводил его опять встретиться с вами, он обходился вновь по-дружески и даже говорил: «Ведь ты такой подлец, никогда ко мне не заедешь». Ноздрев во многих отношениях был многосторонний человек, то есть человек на все руки. В ту же минуту он предлагал вам ехать куда угодно, хоть на край света, войти в какое хотите предприятие, менять все что ни есть на все,

что хотите. Ружье, собака, лошадь — все было предметом мены, но вовсе не с тем, чтобы выиграть: это происходило просто от какой-то неугомонной юркости и бойкости характера. Если ему на ярмарке посчастливилось напасть на простака и обыграть его, он накупал кучу всего, что прежде попадалось ему на глаза в лавках: хомутов, курительных свечек, платков для няньки, жеребца, изюму, серебряный рукомойник, голландского холста, крупичатой муки, табаку, пистолетов, селедок, картин, точильный инструмент, горшков, сапогов, фаянсовую посуду — насколько хватало денег. Впрочем, редко случалось, чтобы это было довезено домой; почти в тот же день спускалось оно все другому, счастливейшему игроку, иногда даже прибавлялась собственная трубка с кисетом и мундштуком, а в другой раз и вся четверня со всем: с коляской и кучером, так что сам хозяин отправлялся в коротеньком сюртучке или архалуке искать какого-нибудь приятеля, чтобы попользоваться его экипажем. Вот какой был Ноздрев! Может быть, назовут его характером избитым, станут говорить, что теперь нет уже Ноздрева. Увы! несправедливы будут те, которые станут говорить так. Ноздрев долго еще не выведется из мира. Он везде между нами и, может быть, только ходит в другом кафтане; но легкомысленно непроницательны люди, и человек в другом кафтане кажется им другим человеком.

Между тем три экипажа подкатили уже к крыльцу дома Ноздрева. В доме не было никакого приготовления к их принятию. Посередине столовой стояли деревянные козлы, и два мужика, стоя на них, белили стены, затягивая какую-то бесконечную песню; пол весь был обрызган белилами. Ноздрев приказал тот же час мужиков и козлы вон и выбежал в другую комнату отдавать повеления. Гости слышали, как он заказывал повару обед; сообразив это, Чичиков, начинавший уже несколько чувствовать аппетит, увидел, что раньше пяти часов они не сядут за стол. Ноздрев, возвратившись, повел гостей осматривать все, что ни было у него на деревне, и в два часа с небольшим показал решительно все, так что ничего уж больше не осталось показывать. Прежде всего пошли они обсматривать конюшню, где видели двух кобыл, одну серую в яблоках, другую каурую, потом гнедого жеребца, на вид и неказистого, но за которого Ноздрев божился, что заплатил десять тысяч.

— Десять тысяч ты за него не дал,— заметил зять.— Он и одной не стоит.

— Ей-богу, дал десять тысяч,— сказал Ноздрев.

— Ты себе можешь божиться, сколько хочешь,— отвечал зять.

— Ну, хочешь, побьемся об заклад! — сказал Ноздрев.

Об заклад зять не захотел биться.

Потом Ноздрев показал пустые стойла, где были прежде тоже хорошие лошади. В этой же конюшне видели козла, которого, по старому поверью, почитали необходимым держать при лошадях, который, как казалось, был с ними в ладу, гулял под их брюхами, как у себя дома. Потом Ноздрев повел их глядеть волчонка, бывшего на привязи. «Вот волчонок! — сказал он.— Я его нарочно кормлю сырым мясом. Мне хочется, чтобы он был совершенным зверем!» Пошли смотреть пруд, в котором, по словам Ноздрева, водилась рыба такой величины, что два человека с трудом вытаскивали штуку, в чем, однако ж, родственник не преминул усомниться. «Я тебе, Чичиков,— сказал Ноздрев,— покажу отличнейшую пару собак: крепость черных мясов просто наводит изумление, щиток — игла!» — и повел их к выстроенному очень красиво маленькому домику, окруженному большим загороженным со всех сторон двором. Вошедши на двор, увидели там всяких собак, и густопсовых, и чистопсовых, всех возможных цветов и мастей: муругих, черных с подпалинами, полво-пегих, муруго-пегих, красно-пегих, черноухих, сероухих... Тут были все клички, все повелительные наклонения: стреляй, обругай, порхай, пожар, скосырь, черкай, допекай, припекай, северга, касатка, награда, попечительница. Ноздрев был среди их совершенно как отец среди семейства; все они, тут же пустивши вверх хвосты, зовомые у собачеев правилами, полетели прямо навстречу гостям и стали с ними здороваться. Штук десять из них положили свои лапы Ноздреву на плеча. Обругай оказал такую же дружбу Чичикову и, поднявшись на задние ноги, лизнул его языком в самые губы, так что Чичиков тут же выплюнул. Осмотрели собак, наводивших изумление крепостью черных мясов,— хорошие были собаки. Потом пошли осматривать крымскую суку, которая была уже слепая и, по словам Ноздрева, должна была скоро издохнуть, но года два тому назад была очень хорошая сука; осмотрели и суку — сука, точно, была слепая. Потом пошли осматривать водяную мельницу, где недоставало порхлицы, в которую утверждается верхний камень, быстро вращающийся на веретене,— «порхающий», по чудному выражению русского мужика.

— А вот тут скоро будет и кузница! — сказал Ноздрев.

Немного прошедши, они увидели, точно, кузницу, осмотрели и кузницу.

— Вот на этом поле,— сказал Ноздрев, указывая пальцем на поле,— русаков такая гибель, что земли не видно; я сам своими руками поймал одного за задние ноги.

— Ну, русака ты не поймаешь рукою! — заметил зять.

— А вот же поймал, нарочно поймал! — отвечал Ноздрев.—

Теперь я поведу тебя посмотреть,— продолжал он, обращаясь к Чичикову,— границу, где оканчивается моя земля.

Ноздрев повел своих гостей полем, которое во многих местах состояло из кочек. Гости должны были пробираться между перелогами и взбороненными нивами. Чичиков начинал чувствовать усталость. Во многих местах ноги их выдавливали под собою воду, до такой степени место было низко. Сначала они было береглись и переступали осторожно, но потом, увидя, что это ни к чему не служит, брели прямо, не разбирая, где бóльшая, а где меньшая грязь. Прошедши порядочное расстояние, увидели, точно, границу, состоявшую из деревянного столбика и узенького рва.

— Вот граница! — сказал Ноздрев.— Все, что ни видишь по эту сторону, все это мое, и даже по ту сторону, весь этот лес, который вон синеет, и все, что за лесом, все мое.

— Да когда же этот лес сделался твоим? — спросил зять.— Разве ты недавно купил его? Ведь он не был твой.

— Да, я купил его недавно,— отвечал Ноздрев.

— Когда же ты успел его так скоро купить?

— Как же, я еще третьего дня купил, и дорого, черт возьми, дал.

— Да ведь ты был в то время на ярмарке.

— Эх ты, Софрон! Разве нельзя быть в одно время и на ярмарке и купить землю? Ну, я был на ярмарке, а приказчик мой тут без меня и купил.

— Да, ну разве приказчик! — сказал зять, но и тут усумнился и покачал головою.

Гости воротились тою же гадкою дорогою к дому. Ноздрев повел их в свой кабинет, в котором, впрочем, не было заметно следов того, что бывает в кабинетах, то есть книг или бумаги; висели только сабли и два ружья — одно в триста, а другое в восемьсот рублей. Зять, осмотревши, покачал только головою. Потом были показаны турецкие кинжалы, на одном из которых по ошибке было вырезано: «Мастер Савелий Сибиряков». Вслед за тем показалась гостям шарманка. Ноздрев тут же провертел пред ними кое-что. Шарманка играла не без приятности, но в средине ее, кажется, что-то случилось, ибо мазурка оканчивалась песнею: «Мальбруг в поход поехал», а «Мальбруг в поход поехал» неожиданно завершался каким-то давно знакомым вальсом. Уже Ноздрев давно перестал вертеть, но в шарманке была одна дудка очень бойкая, никак не хотевшая угомониться, и долго еще потом свистела она одна. Потом показались трубки — деревянные, глиняные, пенковые, обкуренные и необкуренные, обтянутые замшею и необтянутые, чубук с янтарным мундштуком, недавно выигранный, кисет, вышитый какою-то графинею, где-то на почтовой станции влюбив-

шеюся в него по уши, у которой ручки, по словам его, были самой субдительной сюперфлю,— слово, вероятно означавшее у него высочайшую точку совершенства. Закусивши балыком, они сели за стол близ пяти часов. Обед, как видно, не составлял у Ноздрева главного в жизни; блюда не играли большой роли: кое-что и пригорело, кое-что и вовсе не сварилось. Видно, что повар руководствовался более каким-то вдохновеньем и клал первое, что попадалось под руку: стоял ли возле него перец — он сыпал перец, капуста ли попалась — совал капусту, пичкал молоко, ветчину, горох — словом, катай-валяй, было бы горячо, а вкус какой-нибудь, верно, выдет. Зато Ноздрев налег на вина: еще не подавали супа, он уже налил гостям по большому стакану портвейна и по другому госотерна, потому что в губернских и уездных городах не бывает простого сотерна. Потом Ноздрев велел принести бутылку мадеры, лучше которой не пивал сам фельдмаршал. Мадера, точно, даже горела во рту, ибо купцы, зная уже вкус помещиков, любивших добрую мадеру, заправляли ее беспощадно ромом, а иной раз вливали туда и царской водки, в надежде, что всё вынесут русские желудки. Потом Ноздрев велел еще принесть какую-то особенную бутылку, которая, по словам его, была и бургоньон и шампаньон вместе. Он наливал очень усердно в оба стакана, и направо и налево, и зятю и Чичикову; Чичиков заметил, однако же, как-то вскользь, что самому себе он не много прибавлял. Это заставило его быть осторожным, и как только Ноздрев как-нибудь заговаривался или наливал зятю, он опрокидывал в ту же минуту свой стакан в тарелку. В непродолжительном времени была принесена на стол рябиновка, имевшая, по словам Ноздрева, совершенный вкус сливок, но в которой, к изумлению, слышна была сивушища во всей своей силе. Потом пили какой-то бальзам, носивший такое имя, которое даже трудно было припомнить, да и сам хозяин в другой раз назвал его уже другим именем. Обед давно уже кончился, и вина были перепробованы, но гости всё еще сидели за столом. Чичиков никак не хотел заговорить с Ноздревым при зяте насчет главного предмета. Все-таки зять был человек посторонний, а предмет требовал уединенного и дружеского разговора. Впрочем, зять вряд ли мог быть человеком опасным, потому что нагрузился, кажется, вдоволь и, сидя на стуле, ежеминутно клевался носом. Заметив и сам, что находился не в надежном состоянии, он стал наконец отпрашиваться домой, но таким ленивым и вялым голосом, как будто бы, по русскому выражению, натаскивал клещами на лошадь хомут.

— И ни-ни! не пущу! — сказал Ноздрев.

— Нет, не обижай меня, друг мой, право, поеду,— говорил зять,— ты меня очень обидишь.

— Пустяки, пустяки! мы соорудим сию минуту банчишку.

— Нет, сооружай, брат, сам, а я не могу, жена будет в большой претензии, право, я должен ей рассказать о ярмарке. Нужно, брат, право, нужно доставить ей удовольствие. Нет, ты не держи меня!

— Ну ее, жену, к ...! важное в самом деле дело станете делать вместе!

— Нет, брат! она такая почтенная и верная! Услуги оказывает такие... поверишь, у меня слезы на глазах. Нет, ты не держи меня; как честный человек, поеду. Я тебя в этом уверяю по истинной совести.

— Пусть его едет, что в нем проку! — сказал тихо Чичиков Ноздреву.

— А и вправду! — сказал Ноздрев.— Смерть не люблю таких растепелей! — и прибавил вслух: — Ну, черт с тобою, поезжай бабиться с женою, фетюк! [1]

— Нет, брат, ты не ругай меня фетюком,— отвечал зять,— я ей жизнью обязан. Такая, право, добрая, милая, такие ласки оказывает... до слез разбирает; спросит, что видел на ярмарке, нужно всё рассказать, такая, право, милая.

— Ну поезжай, ври ей чепуху! Вот картуз твой.

— Нет, брат, тебе совсем не следует о ней так отзываться; этим ты, можно сказать, меня самого обижаешь, она такая милая.

— Ну, так и убирайся к ней скорее!

— Да, брат, поеду, извини, что не могу остаться. Душой рад бы был, но не могу.

Зять еще долго повторял свои извинения, не замечая, что сам уже давно сидел в бричке, давно выехал за ворота и перед ним давно были одни пустые поля. Должно думать, что жена не много слышала подробностей о ярмарке.

— Такая дрянь! — говорил Ноздрев, стоя перед окном и глядя на уезжавший экипаж.— Вон как потащился! конек пристяжной недурен, я давно хотел подцепить его. Да ведь с ним нельзя никак сойтиться. Фетюк, просто фетюк!

Засим вошли они в комнату. Порфирий подал свечи, и Чичиков заметил в руках хозяина неизвестно откуда взявшуюся колоду карт.

— А что, брат,— говорил Ноздрев, прижавши бока колоды пальцами и несколько погнувши ее, так что треснула и отскочила бумажка.— Ну, для препровождения времени, держу триста рублей банку!

---

[1] Ѳетюк — слово, обидное, для мужчины, происходит от Ѳ — буквы, почитаемой некоторыми неприличною буквою.

Но Чичиков прикинулся, как будто и не слышал, о чем речь, и сказал, как бы вдруг припомнив:

— А! чтоб не позабыть: у меня к тебе просьба.

— Какая?

— Дай прежде слово, что исполнишь.

— Да какая просьба?

— Ну, да уж дай слово!

— Изволь.

— Честное слово?

— Честное слово.

— Вот какая просьба: у тебя есть, чай, много умерших крестьян, которые еще не вычеркнуты из ревизии?

— Ну есть, а что?

— Переведи их на меня, на мое имя.

— А на что тебе?

— Ну да мне нужно.

— Да на что?

— Ну да уж нужно... уж это мое дело,— словом, нужно.

— Ну уж, верно, что-нибудь затеял. Признайся, что?

— Да что ж затеял? из этакого пустяка и затеять ничего нельзя.

— Да зачем же они тебе?

— Ох, какой любопытный! ему всякую дрянь хотелось бы пощупать рукой, да еще и понюхать!

— Да к чему ж ты не хочешь сказать?

— Да что же тебе за прибыль знать? ну, просто так, пришла фантазия.

— Так вот же: до тех пор, пока не скажешь, не сделаю!

— Ну вот видишь, вот уж и нечестно с твоей стороны: слово дал, да и на попятный двор.

— Ну, как ты себе хочешь, а не сделаю, пока не скажешь, на что.

«Что бы такое сказать ему?» — подумал Чичиков и после минутного размышления объявил, что мертвые души нужны ему для приобретения весу в обществе, что он поместьев больших не имеет, так до того времени хоть бы какие-нибудь душонки.

— Врешь, врешь! — сказал Ноздрев, не давши окончить.— Врешь, брат!

Чичиков и сам заметил, что придумал не очень ловко и предлог довольно слаб.

— Ну, так я ж тебе скажу прямее,— сказал он, поправившись,— только, пожалуйста, не проговорись никому. Я задумал жениться; но нужно тебе знать, что отец и мать невесты преамбиционные люди. Такая, право, комиссия: не рад, что связался,

хотят непременно, чтоб у жениха было никак не меньше трехсот душ, а так как у меня целых почти полутораста крестьян недостает...

— Ну врешь! врешь! — закричал опять Ноздрев.

— Ну вот уж здесь,— сказал Чичиков,— ни вот на столько не солгал,— и показал большим пальцем на своем мизинце самую маленькую часть.

— Голову ставлю, что врешь!

— Однако ж это обидно! что же я такое в самом деле! почему я непременно лгу?

— Ну да ведь я знаю тебя: ведь ты большой мошенник, позволь мне это сказать тебе по дружбе! Ежели бы я был твоим начальником, я бы тебя повесил на первом дереве.

Чичиков оскорбился таким замечанием. Уже всякое выражение, сколько-нибудь грубое или оскорбляющее благопристойность, было ему неприятно. Он даже не любил допускать с собой ни в каком случае фамильярного обращения, разве только если особа была слишком высокого звания. И потому теперь он совершенно обиделся.

— Ей-богу, повесил бы,— повторил Ноздрев,— я тебе говорю это откровенно, не с тем чтобы тебя обидеть, а просто по-дружески говорю.

— Всему есть границы,— сказал Чичиков с чувством достоинства.— Если хочешь пощеголять подобными речами, так ступай в казармы,— и потом присовокупил: — Не хочешь подарить, так продай.

— Продать! Да ведь я знаю тебя, ведь ты подлец, ведь ты дорого не дашь за них?

— Эх, да ты ведь тоже хорош! смотри ты! что они у тебя бриллиантовые, что ли?

— Ну, так и есть. Я уж тебя знал.

— Помилуй, брат, что ж у тебя за жидовское побуждение! Ты бы должен просто отдать мне их.

— Ну, послушай, чтоб доказать тебе, что я вовсе не какой-нибудь скалдырник, я не возьму за них ничего. Купи у меня жеребца, я тебе дам их в придачу.

— Помилуй, на что ж мне жеребец? — сказал Чичиков, изумленный в самом деле таким предложением.

— Как на что? да ведь я за него заплатил десять тысяч, а тебе отдаю за четыре.

— Да на что мне жеребец? завода я не держу.

— Да послушай, ты не понимаешь: ведь я с тебя возьму теперь всего только три тысячи, а остальную тысячу ты можешь заплатить мне после.

— Да не нужен мне жеребец, бог с ним!

— Ну, купи каурую кобылу.

— И кобылы не нужно.

— За кобылу и за серого коня, которого ты у меня видел, возьму я с тебя только две тысячи.

— Да не нужны мне лошади.

— Ты их продашь, тебе на первой ярмарке дадут за них втрое больше.

— Так лучше ж ты их сам продай, когда уверен, что выиграешь втрое.

— Я знаю, что выиграю, да мне хочется, чтобы и ты получил выгоду.

Чичиков поблагодарил за расположение и напрямик отказался и от серого коня, и от каурой кобылы.

— Ну так купи собак. Я тебе продам такую пару, просто мороз по коже подирает! брудастая, с усами, шерсть стоит вверх, как щетина. Бочковатость ребр уму непостижимая, лапа вся в комке, земли не заденет.

— Да зачем мне собаки? я не охотник.

— Да мне хочется, чтобы у тебя были собаки. Послушай, если уж не хочешь собак, так купи у меня шарманку, чудная шарманка; самому, как честный человек, обошлась в полторы тысячи: тебе отдаю за девятьсот рублей.

— Да зачем же мне шарманка? Ведь я не немец, чтобы, тащася с ней по дорогам, выпрашивать деньги.

— Да ведь это не такая шарманка, как носят немцы. Это орган; посмотри нарочно: вся из красного дерева. Вот я тебе покажу ее еще! — Здесь Ноздрев, схвативши за руку Чичикова, стал тащить его в другую комнату, и как тот ни упирался ногами в пол и ни уверял, что он знает уже, какая шарманка, но должен был услышать еще раз, каким образом поехал в поход Мальбруг.— Когда ты не хочешь на деньги, так вот что, слушай: я тебе дам шарманку и все, сколько ни есть у меня, мертвые души, а ты мне дай свою бричку и триста рублей придачи.

— Ну вот еще, а я-то в чем поеду?

— Я тебе дам другую бричку. Вот пойдем в сарай, я тебе покажу ее! Ты ее только перекрасишь, и будет чудо бричка.

«Эк его неугомонный бес как обуял!» — подумал про себя Чичиков и решился во что бы то ни стало отделаться от всяких бричек, шарманок и всех возможных собак, несмотря на непостижимую уму бочковатость ребр и комкость лап.

— Да ведь бричка, шарманка и мертвые души, всё вместе!

— Не хочу,— сказал еще раз Чичиков.

— Отчего ж ты не хочешь?

— Оттого, что просто не хочу, да и полно.

— Экой ты, право, такой! с тобой, как я вижу, нельзя, как водится между хорошими друзьями и товарищами, такой, право!.. Сейчас видно, что двуличный человек!

— Да что же я, дурак, что ли? ты посуди сам: зачем же приобретать вещь, решительно для меня ненужную?

— Ну уж, пожалуйста, не говори. Теперь я очень хорошо тебя знаю. Такая, право, ракалия! Ну, послушай, хочешь метнем банчик? Я поставлю всех умерших на карту, шарманку тоже.

— Ну, решаться в банк значит подвергаться неизвестности,— говорил Чичиков и между тем взглянул искоса на бывшие в руках у него карты. Обе талии ему показались очень похожими на искусственные, и самый крап глядел весьма подозрительно.

— Отчего ж неизвестности? — сказал Ноздрев.— Никакой неизвестности! будь только на твоей стороне счастие, ты можешь выиграть чертову пропасть. Вон она! экое счастье! — говорил он, начиная метать для возбуждения задору.— Экое счастье! экое счастье! вон: так и колотит! вот та проклятая девятка, на которой я всё просадил! Чувствовал, что продаст, да уже, зажмурив глаза, думаю себе: «Черт тебя побери, продавай, проклятая!»

Когда Ноздрев это говорил, Порфирий принес бутылку. Но Чичиков отказался решительно как играть, так и пить.

— Отчего ж ты не хочешь играть? — сказал Ноздрев.

— Ну оттого, что не расположен. Да, признаться сказать, я вовсе не охотник играть.

— Отчего ж не охотник?

Чичиков пожал плечами и прибавил:

— Потому что не охотник.

— Дрянь же ты!

— Что ж делать? так бог создал.

— Фетюк просто! Я думал было прежде, что ты хоть сколько-нибудь порядочный человек, а ты никакого не понимаешь обращения. С тобой никак нельзя говорить, как с человеком близким... никакого прямодушия, ни искренности! совершенный Собакевич, такой подлец!

— Да за что же ты бранишь меня? Виноват разве я, что не играю? Продай мне душ одних, если уж ты такой человек, что дрожишь из-за этого вздору.

— Черта лысого получишь! хотел было, даром хотел отдать, но теперь вот не получишь же! Хоть три царства давай, не отдам. Такой шильник, печник гадкий! С этих пор с тобой никакого дела не хочу иметь. Порфирий, ступай скажи конюху, чтобы не давал овса лошадям его, пусть их едят одно сено.

Последнего заключения Чичиков никак не ожидал.

— Лучше б ты мне просто на глаза не показывался! — сказал Ноздрев.

Несмотря, однако ж, на такую размолвку, гость и хозяин поужинали вместе, хотя на этот раз не стояло на столе никаких вин с затейливыми именами. Торчала одна только бутылка с каким-то кипрским, которое было то, что называют кислятина во всех отношениях. После ужина Ноздрев сказал Чичикову, отведя его в боковую комнату, где была приготовлена для него постель:

— Вот тебе постель! Не хочу и доброй ночи желать тебе!

Чичиков остался по уходе Ноздрева в самом неприятном расположении духа. Он внутренно досадовал на себя, бранил себя за то, что к нему заехал и потерял даром время. Но еще более бранил себя за то, что заговорил с ним о деле, поступил неосторожно, как ребенок, как дурак: ибо дело совсем не такого роду, чтобы быть вверену Ноздреву... Ноздрев человек-дрянь, Ноздрев может наврать, прибавить, распустить черт знает что, выйдут еще какие-нибудь сплетни — нехорошо, нехорошо. «Просто дурак я»,— говорил он сам себе. Ночь спал он очень дурно. Какие-то маленькие пребойкие насекомые кусали его нестерпимо больно, так что он всей горстью скреб по уязвленному месту, приговаривая: «А, чтоб вас черт побрал вместе с Ноздревым!» Проснулся он ранним утром. Первым делом его было, надевши халат и сапоги, отправиться через двор в конюшню приказать Селифану сей же час закладывать бричку. Возвращаясь через двор, он встретился с Ноздревым, который был также в халате, с трубкою в зубах.

Ноздрев приветствовал его по-дружески и спросил, каково ему спалось.

— Так себе,— отвечал Чичиков весьма сухо.

— А я, брат,— говорил Ноздрев,— такая мерзость лезла всю ночь, что гнусно рассказывать, и во рту после вчерашнего точно эскадрон переночевал. Представь: снилось, что меня высекли, ей-ей! и, вообрази, кто? Вот ни за что не угадаешь: штабс-ротмистр Поцелуев вместе с Кувшинниковым.

«Да,— подумал про себя Чичиков,— хорошо бы, если б тебя отодрали наяву».

— Ей-богу! да пребольно! Проснулся: черт возьми, в самом деле что-то почесывается,— верно, ведьмы блохи. Ну, ты ступай теперь одевайся, я к тебе сейчас приду. Нужно только ругнуть подлеца приказчика.

Чичиков ушел в комнату одеться и умыться. Когда после того вышел он в столовую, там уже стоял на столе чайный прибор с бутылкою рома. В комнате были следы вчерашнего обеда и ужина; кажется, половая щетка не притрогивалась вовсе. На полу

валялись хлебные крохи, а табачная зола видна даже была на скатерти. Сам хозяин, не замедливший скоро войти, ничего не имел у себя под халатом, кроме открытой груди, на которой росла какая-то борода. Держа в руке чубук и прихлебывая из чашки, он был очень хорош для живописца, не любящего страх господ прилизанных и завитых, подобно цирюльным вывескам, или выстриженных под гребенку.

— Ну, так как же думаешь? — сказал Ноздрев, немного помолчавши.— Не хочешь играть на души?

— Я уже сказал тебе, брат, что не играю; купить — изволь, куплю.

— Продать я не хочу, это будет не по-приятельски. Я не стану снимать плевы с черт знает чего. В банчик — другое дело. Прокинем хоть талию!

— Я уж сказал, что нет.

— А меняться не хочешь?

— Не хочу.

— Ну, послушай, сыграем в шашки, выиграешь — твои все. Ведь у меня много таких, которых нужно вычеркнуть из ревизии. Эй, Порфирий, принеси-ка сюда шашечницу.

— Напрасен труд, я не буду играть.

— Да ведь это не в банк; тут никакого не может быть счастья или фальши: все ведь от искусства; я даже тебя предваряю, что я совсем не умею играть, разве что-нибудь мне дашь вперед.

«Сем-ка я,— подумал про себя Чичиков,— сыграю с ним в шашки! В шашки игрывал я недурно, а на штуки ему здесь трудно подняться».

— Изволь, так и быть, в шашки сыграю.

— Души идут в ста рублях!

— Зачем же? довольно, если пойдут в пятидесяти.

— Нет, что ж за куш пятьдесят? Лучше ж в эту сумму я включу тебе какого-нибудь щенка средней руки или золотую печатку к часам.

— Ну, изволь! — сказал Чичиков.

— Сколько же ты мне дашь вперед? — сказал Ноздрев.

— Это с какой стати? Конечно, ничего.

— По крайней мере, пусть будут мои два хода.

— Не хочу, я сам плохо играю.

— Знаем мы вас, как вы плохо играете! — сказал Ноздрев, выступая шашкой.

— Давненько не брал я в руки шашек! — говорил Чичиков, подвигая тоже шашку.

— Знаем мы вас, как вы плохо играете! — сказал Ноздрев, выступая шашкой.

— Давненько не брал я в руки шашек! — говорил Чичиков, подвигая шашку.

— Знаем мы вас, как вы плохо играете! — сказал Ноздрев, подвигая шашку, да в то же самое время подвинул обшлагом рукава и другую шашку.

— Давненько не брал я в руки!.. Э, э! это, брат, что? отсадика ее назад! — говорил Чичиков.

— Кого?

— Да шашку-то,— сказал Чичиков и в то же время увидел почти перед самым носом своим и другую, которая, как казалось, пробиралась в дамки; откуда она взялась, это один только бог знал.— Нет,— сказал Чичиков, вставши из-за стола,— с тобой нет никакой возможности играть! Этак не ходят, по три шашки вдруг.

— Отчего ж по три? Это по ошибке. Одна подвинулась нечаянно, я ее отодвину, изволь.

— А другая-то откуда взялась?

— Какая другая?

— А вот эта, что пробирается в дамки?

— Вот тебе на, будто не помнишь!

— Нет, брат, я все ходы считал и всё помню; ты ее только теперь пристроил. Ей место вон где!

— Как, где место? — сказал Ноздрев, покрасневши.— Да ты, брат, как я вижу, сочинитель!

— Нет, брат, это, кажется, ты сочинитель, да только неудачно.

— За кого ж ты меня почитаешь? — говорил Ноздрев.— Стану я разве плутовать?

— Я тебя ни за кого не почитаю, но только играть с этих пор никогда не буду.

— Нет, ты не можешь отказаться,— говорил Ноздрев, горячась,— игра начата!

— Я имею право отказаться, потому что ты не так играешь, как прилично честному человеку.

— Нет, врешь, ты этого не можешь сказать!

— Нет, брат, сам ты врешь!

— Я не плутовал, а ты отказаться не можешь, ты должен кончить партию!

— Этого ты меня не заставишь сделать,— сказал Чичиков хладнокровно и, подошедши к доске, смешал шашки.

Ноздрев вспыхнул и подошел к Чичикову так близко, что тот отступил шага два назад.

— Я тебя заставлю играть! Это ничего, что ты смешал шашки, я помню все ходы. Мы их поставим опять так, как были.

— Нет, брат, дело кончено, я с тобою не стану играть.

— Так ты не хочешь играть?

— Ты сам видишь, что с тобою нет возможности играть.

— Нет, скажи напрямик, ты не хочешь играть? — говорил Ноздрев, подступая все ближе.

— Не хочу! — сказал Чичиков и поднес, однако ж, обе руки на всякий случай поближе к лицу, ибо дело становилось в самом деле жарко.

Эта предосторожность была весьма у места, потому что Ноздрев размахнулся рукой... и очень бы могло статься, что одна из приятных и полных щек нашего героя покрылась бы несмываемым бесчестием; но, счастливо отведши удар, он схватил Ноздрева за обе задорные его руки и держал его крепко.

— Порфирий, Павлушка! — кричал Ноздрев в бешенстве, порываясь вырваться.

Услыша эти слова, Чичиков, чтобы не сделать дворовых людей свидетелями соблазнительной сцены и вместе с тем чувствуя, что держать Ноздрева было бесполезно, выпустил его руки. В это самое время вошел Порфирий и с ним Павлушка, парень дюжий, с которым иметь дело было совсем невыгодно.

— Так ты не хочешь оканчивать партии? — говорил Ноздрев.— Отвечай мне напрямик!

— Партии нет возможности оканчивать,— говорил Чичиков и заглянул в окно. Он увидел свою бричку, которая стояла совсем готовая, а Селифан ожидал, казалось, мановения, чтобы подкатить под крыльцо, но из комнаты не было никакой возможности выбраться: в дверях стояли два дюжих крепостных дурака.

— Так ты не хочешь доканчивать партии? — повторил Ноздрев с лицом, горевшим, как в огне.

— Если бы ты играл, как прилично честному человеку. Но теперь не могу.

— А! так ты не можешь, подлец! когда увидел, что не твоя берет, так и не можешь! Бейте его! — кричал он исступленно, обратившись к Порфирию и Павлушке, а сам схватил в руку черешневый чубук. Чичиков стал бледен как полотно. Он хотел что-то сказать, но чувствовал, что губы его шевелились без звука.

— Бейте его! — кричал Ноздрев, порываясь вперед с черешневым чубуком, весь в жару, в поту, как будто подступал под неприступную крепость.— Бейте его! — кричал он таким же голосом, как во время великого приступа кричит своему взводу: «Ребята, вперед!» — какой-нибудь отчаянный поручик, которого взбалмошная храбрость уже приобрела такую известность, что дается нарочный приказ держать его за руки во время горячих дел. Но поручик уже почувствовал бранный задор, все пошло кругом в голове его; перед ним носится Суворов, он лезет на великое дело. «Ребята, вперед!» — кричит он, порываясь, не помышляя, что вредит уже

обдуманному плану общего приступа, что миллионы ружейных дул выставились в амбразуры неприступных, уходящих за облака крепостных стен, что взлетит, как пух, на воздух его бессильный взвод и что уже свищет роковая пуля, готовясь захлопнуть его крикливую глотку. Но если Ноздрев выразил собою подступившего под крепость отчаянного, потерявшегося поручика, то крепость, на которую он шел, никак не была похожа на неприступную. Напротив, крепость чувствовала такой страх, что душа ее спряталась в самые пятки. Уже стул, которым он вздумал было защищаться, был вырван крепостными людьми из рук его, уже, зажмурив глаза, ни жив ни мертв, он готовился отведать черкесского чубука своего хозяина, и бог знает чего бы ни случилось с ним; но судьбам угодно было спасти бока, плеча и все благовоспитанные части нашего героя. Неожиданным образом звякнули вдруг, как с облаков, задребезжавшие звуки колокольчика, раздался ясно стук колес подлетевшей к крыльцу телеги, и отозвались даже в самой комнате тяжелый храп и тяжкая одышка разгоряченных коней остановившейся тройки. Все невольно глянули в окно: кто-то, с усами, в полувоенном сюртуке, вылезал из телеги. Осведомившись в передней, вошел он в ту самую минуту, когда Чичиков не успел еще опомниться от своего страха и был в самом жалком положении, в каком когда-либо находился смертный.

— Позвольте узнать, кто здесь господин Ноздрев? — сказал незнакомец, посмотревши в некотором недоумении на Ноздрева, который стоял с чубуком в руке, и на Чичикова, который едва начинал оправляться от своего невыгодного положения.

— Позвольте прежде узнать, с кем имею честь говорить? — сказал Ноздрев, подходя к нему ближе.

— Капитан-исправник.

— А что вам угодно?

— Я приехал вам объявить сообщенное мне извещение, что вы находитесь под судом до времени окончания решения по вашему делу.

— Что за вздор, по какому делу? — сказал Ноздрев.

— Вы были замешаны в историю, по случаю нанесения помещику Максимову личной обиды розгами в пьяном виде.

— Вы врете! я и в глаза не видал помещика Максимова!

— Милостивый государь! позвольте вам доложить, что я офицер. Вы можете это сказать вашему слуге, а не мне.

Здесь Чичиков, не дожидаясь, что будет отвечать на это Ноздрев, скорее за шапку да по-за спиною капитана-исправника выскользнул на крыльцо, сел в бричку и велел Селифану погонять лошадей во весь дух.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Герой наш трухнул, однако ж, порядком. Хотя бричка мчалась во всю пропалую и деревня Ноздрева давно унеслась из вида, закрывшись полями, отлогостями и пригорками, но он все еще поглядывал назад со страхом, как бы ожидая, что вот-вот налетит погоня. Дыхание его переводилось с трудом, и когда он попробовал приложить руку к сердцу, то почувствовал, что оно билось, как перепелка в клетке. «Эк какую баню задал! смотри ты какой!» Тут много было посулено Ноздреву всяких нелегких и сильных желаний; попались даже и нехорошие слова. Что ж делать? Русский человек, да еще и в сердцах. К тому ж дело было совсем нешуточное. «Что ни говори,— сказал он сам в себе,— а не подоспей капитан-исправник, мне бы, может быть, не далось бы более и на свет божий взглянуть! Пропал бы, как волдырь на воде, без всякого следа, не оставивши потомков, не доставив будущим детям ни состояния, ни честного имени!» Герой наш очень заботился о своих потомках.

«Экой скверный барин! — думал про себя Селифан.— Я еще не видал такого барина. То есть плюнуть бы ему за это! Ты лучше человеку не дай есть, а коня ты должен накормить, потому что конь любит овес. Это его продовольство: что, примером, нам кошт, то для него овес, он его продовольство».

Кони тоже, казалось, думали невыгодно об Ноздреве: не только гнедой и Заседатель, но и сам чубарый был не в духе. Хотя ему на часть и доставался всегда овес похуже и Селифан не иначе всыпал ему в корыто, как сказавши прежде: «Эх ты, подлец!» — но, однако ж, это все-таки был овес, а не простое сено, он жевал его с удовольствием и часто засовывал длинную морду свою в корытца к товарищам поотведать, какое у них было продовольствие, особливо когда Селифана не было в конюшне, но теперь одно сено... нехорошо; все были недовольны.

Но скоро все недовольные были прерваны среди излияний своих внезапным и совсем неожиданным образом. Все, не исключая и самого кучера, опомнились и очнулись только тогда, когда на них наскакала коляска с шестериком коней и почти над головами их раздалися крик сидевших в коляске дам, брань и угрозы чужого кучера: «Ах ты мошенник эдакой; ведь я тебе кричал в голос: сворачивай, ворона, направо! Пьян ты, что ли?» Селифан почувствовал свою оплошность, но так как русский человек не любит сознаться перед другим, что он виноват, то тут же вымолвил он, приосанясь: «А ты что так расскакался? глаза-то свои в кабаке заложил, что ли?» Вслед за сим он принялся отсаживать назад бричку, чтобы высвободиться таким образом из чужой упряжи,

но не тут-то было, все перепуталось. Чубарый с любопытством обнюхивал новых своих приятелей, которые очутились по обеим сторонам его. Между тем сидевшие в коляске дамы глядели на все это с выражением страха в лицах. Одна была старуха, другая молоденькая, шестнадцатилетняя, с золотистыми волосами, весьма ловко и мило приглаженными на небольшой головке. Хорошенький овал лица ее круглился, как свеженькое яичко, и, подобно ему, белел какою-то прозрачною белизною, когда свежее, только что снесенное, оно держится против света в смуглых руках испытующей его ключницы и пропускает сквозь себя лучи сияющего солнца; ее тоненькие ушки также сквозили, рдея проникавшим их теплым светом. При этом испуг в открытых, остановившихся устах, на глазах слезы — все это в ней было так мило, что герой наш глядел на нее несколько минут, не обращая никакого внимания на происшедшую кутерьму между лошадьми и кучерами. «Отсаживай, что ли, нижегородская ворона!» — кричал чужой кучер. Селифан потянул поводья назад, чужой кучер сделал то же, лошади несколько попятились назад и потом опять сшиблись, переступивши постромки. При этом обстоятельстве чубарому коню так понравилось новое знакомство, что он никак не хотел выходить из колеи, в которую попал непредвиденными судьбами, и положивши свою морду на шею своего нового приятеля, казалось, что-то нашептывал ему в самое ухо, вероятно, чепуху страшную, потому что приезжий беспрестанно встряхивал ушами.

На такую сумятицу успели, однако ж, собраться мужики из деревни, которая была, к счастию, неподалеку. Так как подобное зрелище для мужика сущая благодать, все равно что для немца газеты или клуб, то скоро около экипажа накопилась их бездна, и в деревне остались только старые бабы да малые ребята. Постромки отвязали; несколько тычков чубарому коню в морду заставили его попятиться; словом, их разрознили и развели. Но досада ли, которую почувствовали приезжие кони за то, что разлучили их с приятелями, или просто дурь, только, сколько ни хлыстал их кучер, они не двигались и стояли как вкопанные. Участие мужиков возросло до невероятной степени. Каждый наперерыв совался с советом: «Ступай, Андрюшка, проведи-ка ты пристяжного, что с правой стороны, а дядя Митяй пусть сядет верхом на коренного! Садись, дядя Митяй!» Сухощавый и длинный дядя Митяй с рыжей бородой взобрался на коренного коня и сделался похожим на деревенскую колокольню, или, лучше, на крючок, которым достают воду в колодцах. Кучер ударил по лошадям, но не тут-то было, ничего не пособил дядя Митяй. «Стой, стой! — кричали мужики.— Садись-ка ты, дядя Митяй, на пристяжную, а на коренную пусть сядет дядя Миняй!» Дядя Миняй, широкоплечий мужик с черною,

как уголь, бородою и брюхом, похожим на тот исполинский самовар, в котором варится сбитень для всего прозябнувшего рынка, с охотою сел на коренного, который чуть не пригнулся под ним до земли. «Теперь дело пойдет! — кричали мужики.— Накаливай, накаливай его! пришпандорь кнутом вон того, того, солового, что он корячится, как корамора!» [1] Но, увидевши, что дело не шло и не помогло никакое накаливанье, дядя Митяй и дядя Миняй сели оба на коренного, а на пристяжного посадили Андрюшку. Наконец кучер, потерявши терпение, прогнал и дядю Митяя и дядю Миняя, и хорошо сделал, потому что от лошадей пошел такой пар, как будто бы они отхватали не переводя духа станцию. Он дал им минуту отдохнуть, после чего они пошли сами собою. Во все продолжение этой проделки Чичиков глядел очень внимательно на молоденькую незнакомку. Он пытался несколько раз с нею заговорить, но как-то не пришлось так. А между тем дамы уехали, хорошенькая головка с тоненькими чертами лица и тоненьким станом скрылась, как что-то похожее на виденье, и опять осталась дорога, бричка, тройка знакомых читателю лошадей, Селифан, Чичиков, гладь и пустота окрестных полей. Везде, где бы ни было в жизни, среди ли черствых, шероховато-бедных и неопрятно-плеснеющих низменных рядов ее или среди однообразно-хладных и скучно-опрятных сословий высших, везде хоть раз встретится на пути человеку явленье, не похожее на все то, что случалось ему видеть дотоле, которое хоть раз пробудит в нем чувство, не похожее на те, которые суждено ему чувствовать всю жизнь. Везде поперек каким бы ни было печалям, из которых плетется жизнь наша, весело промчится блистающая радость, как иногда блестящий экипаж с золотой упряжью, картинными конями и сверкающим блеском стекол вдруг неожиданно пронесется мимо какой-нибудь заглохнувшей бедной деревушки, не видавшей ничего, кроме сельской телеги, и долго мужики стоят, зевая, с открытыми ртами, не надевая шапок, хотя давно уже унесся и пропал из виду дивный экипаж. Так и блондинка тоже вдруг совершенно неожиданным образом показалась в нашей повести и так же скрылась. Попадись на ту пору вместо Чичикова какой-нибудь двадцатилетний юноша, гусар ли он, студент ли он или просто только что начавший жизненное поприще,— и боже! чего бы не проснулось, не зашевелилось, не заговорило в нем! Долго бы стоял он бесчувственно на одном месте, вперивши бессмысленно очи в даль, позабыв и дорогу, и все ожи-

---

[1] Корамора — большой, длинный, вялый комар; иногда залетает в комнату и торчит где-нибудь одиночкой на стене. К нему спокойно можно подойти и ухватить его за ногу, в ответ на что он только топырится или корячится, как говорит народ.

«Мертвые души»

Худ. А. Лаптев

дающие впереди выговоры, и распеканья за промедление, позабыв и себя, и службу, и мир, и все, что ни есть в мире.

Но герой наш уже был средних лет и осмотрительно-охлажденного характера. Он тоже задумался и думал, но положительнее, не так безотчетны и даже отчасти очень основательны были его мысли. «Славная бабешка! — сказал он, открывши табакерку и понюхавши табаку.— Но ведь что, главное, в ней хорошо? Хорошо то, что она сейчас только, как видно, выпущена из какого-нибудь пансиона или института, что в ней, как говорится, нет еще ничего бабьего, то есть именно того, что у них есть самого неприятного. Она теперь как дитя, все в ней просто, она скажет, что ей вздумается, засмеется, где захочет засмеяться. Из нее все можно сделать, она может быть чудо, а может выйти и дрянь, и выдет дрянь! Вот пусть-ка только за нее примутся теперь маменьки и тетушки. В один год так ее наполнят всяким бабьем, что сам родной отец не узнает. Откуда возьмется и надутость и чопорность, станет ворочаться по вытверженным наставлениям, станет ломать голову и придумывать, с кем и как, и сколько нужно говорить, как на кого смотреть, всякую минуту будет бояться, чтобы не сказать больше, чем нужно, запутается наконец сама, и кончится тем, что станет наконец врать всю жизнь, и выдет просто черт знает что!» Здесь он несколько времени помолчал и потом прибавил: «А любопытно бы знать, чьих она? что, как ее отец? богатый ли помещик почтенного нрава или просто благомыслящий человек с капиталом, приобретенным на службе? Ведь если, положим, этой девушке да придать тысячонок двести приданого, из нее бы мог выйти очень, очень лакомый кусочек. Это бы могло составить, так сказать, счастье порядочного человека». Двести тысячонок так привлекательно стали рисоваться в голове его, что он внутренно начал досадовать на самого себя, зачем в продолжение хлопотни около экипажей не разведал от форейтора или кучера, кто такие были проезжающие. Скоро, однако ж, показавшаяся деревня Собакевича рассеяла его мысли и заставила их обратиться к своему постоянному предмету.

Деревня показалась ему довольно велика; два леса, березовый и сосновый, как два крыла, одно темнее, другое светлее, были у ней справа и слева; посреди виднелся деревянный дом с мезонином, красной крышей и темно-серыми или, лучше, дикими стенами,— дом вроде тех, как у нас строят для военных поселений и немецких колонистов. Было заметно, что при постройке его зодчий беспрестанно боролся со вкусом хозяина. Зодчий был педант и хотел симметрии, хозяин — удобства и, как видно, вследствие того заколотил на одной стороне все отвечающие окна и провертел на место их одно маленькое, вероятно понадобившееся для темного

чулана. Фронтон тоже никак не пришелся посреди дома, как ни бился архитектор, потому что хозяин приказал одну колонну сбоку выкинуть, и оттого очутилось не четыре колонны, как было назначено, а только три. Двор окружен был крепкою и непомерно толстою деревянною решеткой. Помещик, казалось, хлопотал много о прочности. На конюшни, сараи и кухни были употреблены полновесные и толстые бревна, определенные на вековое стояние. Деревенские избы мужиков тож срублены были на диво: не было кирчёных стен, резных узоров и прочих затей, но все было пригнано плотно и как следует. Даже колодец был обделан в такой крепкий дуб, какой идет только на мельницы да на корабли. Словом, все, на что ни глядел он, было упористо, без пошатки, в каком-то крепком и неуклюжем порядке. Подъезжая к крыльцу, заметил он выглянувшие из окна почти в одно время два лица: женское, в чепце, узкое, длинное, как огурец, и мужское, круглое, широкое, как молдаванские тыквы, называемые горлянками, из которых делают на Руси балалайки, двухструнные легкие балалайки, красу и потеху ухватливого двадцатилетнего парня, мигача и щеголя, и подмигивающего и посвистывающего на белогрудых и белошейных девиц, собравшихся послушать его тихострунного треньканья. Выглянувши, оба лица в ту же минуту спрятались. На крыльцо вышел лакей в серой куртке с голубым стоячим воротником и ввел Чичикова в сени, куда вышел уже сам хозяин. Увидев гостя, он сказал отрывисто: «Прошу!» — и повел его во внутренние жилья.

Когда Чичиков взглянул искоса на Собакевича, он ему на этот раз показался весьма похожим на средней величины медведя. Для довершения сходства фрак на нем был совершенно медвежьего цвета, рукава длинны, панталоны длинны, ступнями ступал он и вкривь и вкось и наступал беспрестанно на чужие ноги. Цвет лица имел каленый, горячий, какой бывает на медном пятаке. Известно, что есть много на свете таких лиц, над отделкою которых натура недолго мудрила, не употребляла никаких мелких инструментов, как-то: напильников, буравчиков и прочего, но просто рубила со своего плеча: хватила топором раз — вышел нос, хватила в другой — вышли губы, большим сверлом ковырнула глаза и, не обскобливши, пустила на свет, сказавши: «Живет!» Такой же самый крепкий и на диво стаченный образ был у Собакевича: держал он его более вниз, чем вверх, шеей не ворочал вовсе и в силу такого неповорота редко глядел на того, с которым говорил, но всегда или на угол печки, или на дверь. Чичиков еще раз взглянул на него искоса, когда проходили они столовую: медведь! совершенный медведь! Нужно же такое странное сближение: его даже звали Михайлом Семеновичем. Зная привычку его наступать на ноги, он очень осторожно передвигал своими и давал ему дорогу вперед.

Хозяин, казалось, сам чувствовал за собою этот грех и тот же час спросил: «Не побеспокоил ли я вас?» Но Чичиков поблагодарил, сказав, что еще не произошло никакого беспокойства.

Вошед в гостиную, Собакевич показал на кресла, сказавши опять: «Прошу!» Садясь, Чичиков взглянул на стены и на висевшие на них картины. На картинах всё были молодцы, всё греческие полководцы, гравированные во весь рост: Маврокордато в красных панталонах и мундире, с очками на носу, Миаули, Канари. Все эти герои были с такими толстыми ляжками и неслыханными усами, что дрожь проходила по телу. Между крепкими греками, неизвестно каким образом и для чего, поместился Багратион, тощий, худенький, с маленькими знаменами и пушками внизу и в самых узеньких рамках. Потом опять следовала героиня греческая Бобелина, которой одна нога казалась больше всего туловища тех щеголей, которые наполняют нынешние гостиные. Хозяин, будучи сам человек здоровый и крепкий, казалось, хотел, чтобы и комнату его украшали тоже люди крепкие и здоровые. Возле Бобелины, у самого окна, висела клетка, из которой глядел дрозд темного цвета с белыми крапинками, очень похожий тоже на Собакевича. Гость и хозяин не успели помолчать двух минут, как дверь в гостиной отворилась и вошла хозяйка, дама весьма высокая, в чепце с лентами, перекрашеннымп домашнею краскою. Вошла она степенно, держа голову прямо, как пальма.

— Это моя Феодулия Ивановна! — сказал Собакевич.

Чичиков подошел к ручке Феодулии Ивановны, которую она почти впихнула ему в губы, причем он имел случай заметить, что руки были вымыты огуречным рассолом.

— Душенька, рекомендую тебе,— продолжал Собакевич,— Павел Иванович Чичиков! У губернатора и почтмейстера имел честь познакомиться.

Феодулия Ивановна попросила садиться, сказавши тоже: «Прошу!» — и сделав движение головою, подобно актрисам, представляющим королев. Затем она уселась на диване, накрылась своим мериносовым платком и уже не двигнула более ни глазом, ни бровью.

Чичиков опять поднял глаза вверх и опять увидел Канари с толстыми ляжками и нескончаемыми усами, Бобелину и дрозда в клетке.

Почти в течение целых пяти минут все хранили молчание; раздавался только стук, производимый носом дрозда о дерево деревянной клетки, на дне которой удил он хлебные зернышки. Чичиков еще раз окинул комнату, и все, что в ней ни было,— все было прочно, неуклюже в высочайшей степени и имело какое-то странное сходство с самим хозяином дома; в углу гостиной стояло пуза-

тое ореховое бюро на пренелепых четырех ногах, совершенный медведь. Стол, кресла, стулья — все было самого тяжелого и беспокойного свойства,— словом, каждый предмет, каждый стул, казалось, говорил: «И я тоже Собакевич!» или: «И я тоже очень похож на Собакевича!»

— Мы об вас вспоминали у председателя палаты, у Ивана Григорьевича,— сказал наконец Чичиков, видя, что никто не располагается начинать разговора,— в прошедший четверг. Очень приятно провели там время.

— Да, я не был тогда у председателя,— отвечал Собакевич.

— А прекрасный человек!

— Кто такой? — сказал Собакевич, глядя на угол печи.

— Председатель.

— Ну, может быть, это вам так показалось: он только что масон, а такой дурак, какого свет не производил.

Чичиков немного озадачился таким отчасти резким определением, но потом, поправившись, продолжал:

— Конечно, всякий человек не без слабостей, но зато губернатор какой превосходный человек!

— Губернатор превосходный человек?

— Да, не правда ли?

— Первый разбойник в мире!

— Как, губернатор разбойник? — сказал Чичиков и совершенно не мог понять, как губернатор мог попасть в разбойники.— Признаюсь, этого я бы никак не подумал,— продолжал он.— Но позвольте, однако же, заметить: поступки его совершенно не такие, напротив, скорее даже мягкости в нем много.— Тут он привел в доказательство даже кошельки, вышитые его собственными руками, и отозвался с похвалою об ласковом выражении лица его.

— И лицо разбойничье! — сказал Собакевич.— Дайте ему только нож да выпустите его на большую дорогу — зарежет, за копейку зарежет! Он да еще вице-губернатор — это Гога и Магога!

«Нет, он с ними не в ладах,— подумал про себя Чичиков.— А вот заговорю я с ним о полицеймейстере: он, кажется, друг его».

— Впрочем, что до меня,— сказал он,— мне, признаюсь, более всех нравится полицеймейстер. Какой-то этакой характер прямой, открытый; в лице видно что-то простосердечное.

— Мошенник! — сказал Собакевич очень хладнокровно,— продаст, обманет, еще и пообедает с вами! Я их знаю всех: это всё мошенники, весь город там такой: мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Все христопродавцы. Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья.

После таких похвальных, хотя несколько кратких биографий

Чичиков увидел, что о других чиновниках нечего упоминать, и вспомнил, что Собакевич не любил ни о ком хорошо отзываться.

— Что ж, душенька, пойдем обедать,— сказала Собакевичу его супруга.

— Прошу! — сказал Собакевич.

Засим, подошедши к столу, где была закуска, гость и хозяин выпили как следует по рюмке водки, закусили, как закусывает вся пространная Россия по городам и деревням, то есть всякими соленостями и иными возбуждающими благодатями, и потекли все в столовую; впереди их, как плавный гусь, понеслась хозяйка. Небольшой стол был накрыт на четыре прибора. На четвертое место явилась очень скоро, трудно сказать утвердительно, кто такая, дама или девица, родственница, домоводка или просто проживающая в доме: что-то без чепца, около тридцати лет, в пестром платке. Есть лица, которые существуют на свете не как предмет, а как посторонние крапинки или пятнышки на предмете. Сидят они на том же месте, одинаково держат голову, их почти готов принять за мебель и думаешь, что отроду еще не выходило слово из таких уст; а где-нибудь в девичьей или в кладовой окажется просто: ого-го!

— Щи, моя душа, сегодня очень хороши! — сказал Собакевич, хлебнувши щей и отваливши себе с блюда огромный кусок няни, известного блюда, которое подается к щам и состоит из баранього желудка, начиненного гречневой кашей, мозгом и ножками.— Эдакой няни,— продолжал он, обратившись к Чичикову,— вы не будете есть в городе, там вам черт знает что подадут!

— У губернатора, однако ж, недурен стол,— сказал Чичиков.

— Да знаете ли, из чего это все готовится? вы есть не станете, когда узнаете.

— Не знаю, как приготовляется, об этом я не могу судить, но свиные котлеты и разварная рыба были превосходны.

— Это вам так показалось. Ведь я знаю, что они на рынке покупают. Купит вон тот каналья повар, что выучился у француза, кота, обдерет его, да и подает на стол вместо зайца.

— Фу! какую ты неприятность говоришь,— сказала супруга Собакевича.

— А что ж, душенька, так у них делается, я не виноват, так у них у всех делается. Все что ни есть ненужного, что Акулька у нас бросает, с позволения сказать, в помойную лохань, они его в суп! да в суп! туда его!

— Ты за столом всегда эдакое расскажешь! — возразила опять супруга Собакевича.

— Что ж, душа моя,— сказал Собакевич,— если б я сам это делал, но я тебе прямо в глаза скажу, что я гадостей не стану есть.

Мне лягушку хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот, и устрицы тоже не возьму: я знаю, на что устрица похожа. Возьмите барана,— продолжал он, обращаясь к Чичикову,— это бараний бок с кашей! Это не те фрикасе, что делаются на барских кухнях из баранины, какая суток по четыре на рынке валяется! Это все выдумали доктора немцы да французы, я бы их перевешал за это! Выдумали диету, лечить голодом! Что у них немецкая жидкостная натура, так они воображают, что и с русским желудком сладят! Нет, это все не то, это всё выдумки, это всё...— Здесь Собакевич даже сердито покачал головою.— Толкуют: просвещенье, просвещенье, а это просвещенье — фук! Сказал бы и другое слово, да вот только что за столом неприлично. У меня не так. У меня когда свинина — всю свинью давай на стол, баранина — всего барана тащи, гусь — всего гуся! Лучше я съем двух блюд, да съем в меру, как душа требует.— Собакевич подтвердил это делом: он опрокинул половину бараньего бока к себе на тарелку, съел все, обгрыз, обсосал до последней косточки.

«Да,— подумал Чичиков,— у этого губа не дура».

— У меня не так,— говорил Собакевич, вытирая салфеткою руки,— у меня не так, как у какого-нибудь Плюшкина: восемьсот душ имеет, а живет и обедает хуже моего пастуха!

— Кто такой этот Плюшкин? — спросил Чичиков.

— Мошенник,— отвечал Собакевич.— Такой скряга, какого вообразить трудно. В тюрьме колодники лучше живут, чем он: всех людей переморил голодом.

— Вправду! — подхватил с участием Чичиков.— И вы говорите, что у него, точно, люди умирают в большом количестве?

— Как мухи мрут.

— Неужели как мухи! А позвольте спросить, как далеко живет он от вас?

— В пяти верстах.

— В пяти верстах! — воскликнул Чичиков и даже почувствовал небольшое сердечное биение.— Но если выехать из ваших ворот, это будет направо или налево?

— Я вам даже не советую дороги знать к этой собаке! — сказал Собакевич.— Извинительней сходить в какое-нибудь непристойное место, чем к нему.

— Нет, я спросил не для каких-либо, а потому только, что интересуюсь познанием всякого рода мест,— отвечал на это Чичиков.

За бараньим боком последовали ватрушки, из которых каждая была гораздо больше тарелки, потом индюк ростом в теленка, набитый всяким добром: яйцами, рисом, печенками и невесть чем, что все ложилось комом в желудке. Этим обед и кончился; но ко-

гда встали из-за стола, Чичиков почувствовал в себе тяжести на целый пуд больше. Пошли в гостиную, где уже очутилось на блюдечке варенье — ни груша, ни слива, ни иная ягода, до которого, впрочем, не дотронулись ни гость, ни хозяин. Хозяйка вышла, с тем чтобы накласть его и на другие блюдечки. Воспользовавшись ее отсутствием, Чичиков обратился к Собакевичу, который, лежа в креслах, только покряхтывал после такого сытного обеда и издавал ртом какие-то невнятные звуки, крестясь и закрывая поминутно его рукою. Чичиков обратился к нему с такими словами:

— Я хотел было поговорить с вами об одном дельце.

— Вот еще варенье,— сказала хозяйка, возвращаясь с блюдечком,— редька, варенная в меду!

— А вот мы его после! — сказал Собакевич.— Ты ступай теперь в свою комнату, мы с Павлом Ивановичем скинем фраки, маленько приотдохнем!

Хозяйка уже изъявила было готовность послать за пуховиками и подушками, но хозяин сказал: «Ничего, мы отдохнем в креслах»,— и хозяйка ушла.

Собакевич слегка принагнул голову, приготовляясь слышать, в чем было дельце.

Чичиков начал как-то очень отдаленно, коснулся вообще всего русского государства и отозвался с большою похвалою об его пространстве, сказал, что даже самая древняя римская монархия не была так велика, и иностранцы справедливо удивляются... Собакевич все слушал, наклонивши голову. И что по существующим положениям этого государства, в славе которому нет равного, ревизские души, окончивши жизненное поприще, числятся, однако ж, до подачи новой ревизской сказки наравне с живыми, чтоб таким образом не обременить присутственные места множеством мелочных и бесполезных справок и не увеличить сложность и без того уже весьма сложного государственного механизма... Собакевич все слушал, наклонивши голову,— и что, однако же, при всей справедливости этой меры она бывает отчасти тягостна для многих владельцев, обязывая их взносить подати так, как бы за живой предмет, и что он, чувствуя уважение личное к нему, готов бы даже отчасти принять на себя эту действительно тяжелую обязанность. Насчет главного предмета Чичиков выразился очень осторожно: никак не назвал души умершими, а только несуществующими.

Собакевич слушал все по-прежнему, нагнувши голову, и хоть бы что-нибудь похожее на выражение показалось на лице его. Казалось, в этом теле совсем не было души, или она у него была, но вовсе не там, где следует, а, как у бессмертного кощея, где-то за горами и закрыта такою толстою скорлупою, что все, что ни воро-

чалось на дне ее, не производило решительно никакого потрясения на поверхности.

— Итак?..— сказал Чичиков, ожидая не без некоторого волнения ответа.

— Вам нужно мертвых душ? — спросил Собакевич очень просто, без малейшего удивления, как бы речь шла о хлебе.

— Да,— отвечал Чичиков и опять смягчил выражение, прибавивши: — несуществующих.

— Найдутся, почему не быть...— сказал Собакевич.

— А если найдутся, то вам, без сомнения... будет приятно от них избавиться?

— Извольте, я готов продать,— сказал Собакевич, уже несколько приподнявши голову и смекнувши, что покупщик, верно, должен иметь здесь какую-нибудь выгоду.

«Черт возьми,— подумал Чичиков про себя,— этот уж продает прежде, чем я заикнулся!» — и проговорил вслух:

— А, например, как же цена? хотя, впрочем, это такой предмет... что о цене даже странно...

— Да чтобы не запрашивать с вас лишнего, по сту рублей за штуку! — сказал Собакевич.

— По сту! — вскричал Чичиков, разинув рот и поглядевши ему в самые глаза, не зная, сам ли он ослышался, или язык Собакевича по своей тяжелой натуре, не так поворотившись, брякнул вместо одного другое слово.

— Что ж, разве это для вас дорого? — произнес Собакевич и потом прибавил: — А какая бы, однако ж, ваша цена?

— Моя цена! Мы, верно, как-нибудь ошиблись или не понимаем друг друга, позабыли, в чем состоит предмет. Я полагаю с своей стороны, положа руку на сердце: по восьми гривен за душу, это самая красная цена!

— Эк куда хватили — по восьми гривенок!

— Что ж, по моему суждению, как я думаю, больше нельзя.

— Ведь я продаю не лапти.

— Однако ж согласитесь сами: ведь это тоже и не люди.

— Так вы думаете, сыщете такого дурака, который бы вам продал по двугривенному ревизскую душу?

— Но позвольте: зачем вы их называете ревизскими, ведь души-то самые давно уже умерли, остался один неосязаемый чувствами звук. Впрочем, чтобы не входить в дальнейшие разговоры по этой части, по полтора рубли, извольте, дам, а больше не могу.

— Стыдно вам и говорить такую сумму! вы торгуйтесь, говорите настоящую цену!

— Не могу, Михаил Семенович, поверьте моей совести, не

могу: чего уж невозможно сделать, того невозможно сделать,— говорил Чичиков, однако ж по полтинке еще прибавил.

— Да чего вы скупитесь? — сказал Собакевич.— Право, недорого! Другой мошенник обманет вас, продаст вам дрянь, а не души; а у меня что ядреный орех, все на отбор: не мастеровой, так иной какой-нибудь здоровый мужик. Вы рассмотрите: вот, например, каретник Михеев! ведь больше никаких экипажей и не делал, как только рессорные. И не то, как бывает московская работа, что на один час,— прочность такая, сам и обобьет, и лаком покроет!

Чичиков открыл рот, с тем чтобы заметить, что Михеева, однако же, давно нет на свете; но Собакевич вошел, как говорится, в самую силу речи, откуда взялась рысь и дар слова:

— А Пробка Степан, плотник? я голову прозакладую, если вы где сыщете такого мужика. Ведь что за силища была! Служи он в гвардии, ему бы бог знает что дали, трех аршин с вершком ростом!

Чичиков опять хотел заметить, что и Пробки нет на свете; но Собакевича, как видно, пронесло: полились такие потоки речей, что только нужно было слушать:

— Милушкин, кирпичник! мог поставить печь в каком угодно доме. Максим Телятников, сапожник: что шилом кольнет, то и сапоги, что сапоги, то и спасибо, и хоть бы в рот хмельного. А Еремей Сорокоплёхин! да этот мужик один станет за всех, в Москве торговал, одного оброку приносил по пятисот рублей. Ведь вот какой народ! Это не то, что вам продаст какой-нибудь Плюшкин.

— Но позвольте,— сказал наконец Чичиков, изумленный таким обильным наводнением речей, которым, казалось, и конца не было,— зачем вы исчисляете все их качества, ведь в них толку теперь нет никакого, ведь это всё народ мертвый. Мертвым телом хоть забор подпирай, говорит пословица.

— Да, конечно, мертвые,— сказал Собакевич, как бы одумавшись и припомнив, что они в самом деле были уже мертвые, а потом прибавил: — Впрочем, и то сказать: что из этих людей, которые числятся теперь живущими? Что это за люди? Мухи, а не люди.

— Да всё же они существуют, а это ведь мечта.

— Ну нет, не мечта! Я вам доложу, каков был Михеев, так вы таких людей не сыщете: машинища такая, что в эту комнату не войдет; нет, это не мечта! А в плечищах у него была такая силища, какой нет у лошади; хотел бы я знать, где бы вы в другом месте нашли такую мечту!

Последние слова он уже сказал, обратившись к висевшим на стене портретам Багратиона и Колокотрони, как обыкновенно случается с разговаривающими, когда один из них вдруг, неизвестно

почему, обратится не к тому лицу, к которому относятся слова, а к какому-нибудь нечаянно пришедшему третьему, даже вовсе незнакомому, от которого знает, что не услышит ни ответа, ни мнения, ни подтверждения, но на которого, однако ж, так устремит взгляд, как будто призывает его в посредники; и несколько смешавшийся в первую минуту незнакомец не знает, отвечать ли ему на то дело, о котором ничего не слышал, или так постоять, соблюдши надлежащее приличие, и потом уже уйти прочь.

— Нет, больше двух рублей я не могу дать,— сказал Чичиков.

— Извольте, чтоб не претендовали на меня, что дорого запрашиваю и не хочу сделать вам никакого одолжения, извольте — по семидесяти пяти рублей за душу, только ассигнациями, право, только для знакомства!

«Что он в самом деле,— подумал про себя Чичиков,— за дурака, что ли, принимает меня?» — и прибавил потом вслух:

— Мне странно, право: кажется, между нами происходит какое-то театральное представление или комедия, иначе я не могу себе объяснить... Вы, кажется, человек довольно умный, владеете сведениями образованности. Ведь предмет просто фу-фу. Что ж он стоит? кому нужен?

— Да вот вы же покупаете, стало быть, нужен.

Здесь Чичиков закусил губу и не нашелся, что отвечать. Он стал было говорить про какие-то обстоятельства фамильные и семейственные, но Собакевич отвечал просто:

— Мне не нужно знать, какие у вас отношения; я в дела фамильные не мешаюсь, это ваше дело. Вам понадобились души, я и продаю вам, и будете раскаиваться, что не купили.

— Два рублика,— сказал Чичиков.

— Эк, право, затвердила сорока Якова одно про всякого, как говорит пословица; как наладили на два, так не хотите с них и съехать. Вы давайте настоящую цену!

«Ну, уж черт его побери,— подумал про себя Чичиков,— по полтине ему прибавлю, собаке, на орехи!»

— Извольте, по полтине прибавлю.

— Ну, извольте, и я вам скажу тоже мое последнее слово: пятьдесят рублей! право, убыток себе, дешевле нигде не купите такого хорошего народа!

«Экой кулак!» — сказал про себя Чичиков и потом продолжал вслух с некоторою досадою:

— Да что в самом деле... как будто точно сурьезное дело; да я в другом месте нипочем возьму. Еще мне всякий с охотой сбудет их, чтобы только поскорей избавиться. Дурак разве станет держать их при себе и платить за них подати!

— Но знаете ли, что такого рода покупки, я это говорю ме-

жду нами, по дружбе, не всегда позволительны, и расскажи я или кто иной — такому человеку не будет никакой доверенности относительно контрактов или вступления в какие-нибудь выгодные обязательства.

«Вишь, куды метит, подлец!» — подумал Чичиков и тут же произнес с самым хладнокровным видом:

— Как вы себе хотите, я покупаю не для какой-либо надобности, как вы думаете, а так, по наклонности собственных мыслей. Два с полтиною не хотите — прощайте!

«Его не собьешь, неподатлив!» — подумал Собакевич.

— Ну, бог с вами, давайте по тридцати и берите их себе!

— Нет, я вижу, вы не хотите продать, прощайте!

— Позвольте, позвольте! — сказал Собакевич, не выпуская его руки и наступив ему на ногу, ибо герой наш позабыл поберечься, в наказанье за что должен был зашипеть и подскочить на одной ноге.

— Прошу прощенья! я, кажется, вас побеспокоил. Пожалуйте, садитесь сюда! Прошу! — Здесь он усадил его в кресла с некоторою даже ловкостию, как такой медведь, который уже побывал в руках, умеет и перевертываться, и делать разные штуки на вопросы: «А покажи, Миша, как бабы парятся» или: «А как, Миша, малые ребята горох крадут?»

— Право, я напрасно время трачу, мне нужно спешить.

— Посидите одну минуточку, я вам сейчас скажу одно приятное для вас слово.— Тут Собакевич подсел поближе и сказал ему тихо на ухо, как будто секрет: — Хотите угол?

— То есть двадцать пять рублей? Ни, ни, ни, даже четверти угла не дам, копейки не прибавлю.

Собакевич замолчал. Чичиков тоже замолчал. Минуты две длилось молчание. Багратион с орлиным носом глядел со стены чрезвычайно внимательно на эту покупку.

— Какая ж ваша будет последняя цена? — сказал наконец Собакевич.

— Два с полтиною.

— Право, у вас душа человеческая все равно что пареная репа. Уж хоть по три рубли дайте!

— Не могу.

— Ну, нечего с вами делать, извольте! Убыток, да уж прав такой собачий: не могу не доставить удовольствия ближнему. Ведь, я чай, нужно и купчую совершить, чтоб все было в порядке.

— Разумеется.

— Ну вот то-то же, нужно будет ехать в город.

Так совершилось дело. Оба решили, чтобы завтра же быть в городе и управиться с купчей крепостью. Чичиков попросил спи-

сочка крестьян. Собакевич согласился охотно и тут же, подошед к бюро, собственноручно принялся выписывать всех не только поименно, но даже с означением похвальных качеств.

А Чичиков от нечего делать занялся, находясь позади, рассматриваньем всего просторного его оклада. Как взглянул он на его спину, широкую, как у вятских приземистых лошадей, и на ноги его, походившие на чугунные тумбы, которые ставят на тротуарах, не мог не воскликнуть внутренно: «Эк наградил-то тебя бог! вот уж точно, как говорят, неладно скроен, да крепко сшит!.. Родился ли ты уж так медведем, или омедведила тебя захолустная жизнь, хлебные посевы, возня с мужиками, и ты чрез них сделался то, что называют человек-кулак? Но нет: я думаю, ты все был бы тот же, хотя бы даже воспитали тебя по моде, пустили бы в ход и жил бы ты в Петербурге, а не в захолустье. Вся разница в том, что теперь ты упишешь полбараньего бока с кашей, закусивши ватрушкою в тарелку, а тогда бы ты ел какие-нибудь котлетки с трюфелями. Да вот теперь у тебя под властью мужики: ты с ними в ладу и, конечно, их не обидишь, потому что они твои, тебе же будет хуже; а тогда бы у тебя были чиновники, которых бы ты сильно пощелкивал, смекнувши, что они не твои же крепостные, или грабил бы ты казну! Нет! кто уж кулак, тому не разогнуться в ладонь! А разогни кулаку один или два пальца, выдет еще хуже. Попробуй он слегка верхушек какой-нибудь науки, даст он знать потом, занявши место повиднее, всем тем, которые в самом деле узнали какую-нибудь науку. Да еще, пожалуй, скажет потом: «Дай-ка себя покажу!» Да такое выдумает мудрое постановление, что многим придется солоно... Эх, если бы все кулаки!..»

— Готова записка,— сказал Собакевич, оборотившись.

— Готова? Пожалуйте ее сюда! — Он пробежал ее глазами и подивился аккуратности и точности: не только было обстоятельно прописано ремесло, звание, лета и семейное состояние, но даже на полях находились особенные отметки насчет поведения, трезвости,— словом, любо было глядеть.

— Теперь пожалуйте же задаточек! — сказал Собакевич.

— К чему же вам задаточек? Вы получите в городе за одним разом все деньги.

— Все, знаете, так уж водится,— возразил Собакевич.

— Не знаю, как вам дать, я не взял с собою денег. Да, вот десять рублей есть.

— Что ж десять! Дайте, по крайней мере, хоть пятьдесят!

Чичиков стал было отговариваться, что нет; но Собакевич так сказал утвердительно, что у него есть деньги, что он вынул еще бумажку, сказавши:

— Пожалуй, вот вам еще пятнадцать, итого двадцать пять. Пожалуйте только расписку.

— Да на что ж вам расписка?

— Все, знаете, лучше расписку. Не ровен час, все может случиться.

— Хорошо, дайте же сюда деньги!

— На что ж деньги? У меня вот они в руке! как только напишете расписку, в ту же минуту их возьмете.

— Да позвольте, как же мне писать расписку? прежде нужно видеть деньги.

Чичиков выпустил из рук бумажки Собакевичу, который, приблизившись к столу и накрывши их пальцами левой руки, другою написал на лоскутке бумаги, что задаток двадцать пять рублей государственными ассигнациями за проданные души получил сполна. Написавши записку, он пересмотрел еще раз ассигнации.

— Бумажка-то старенькая! — произнес он, рассматривая одну из них на свете,— немножко разорвана, ну да между приятелями нечего на это глядеть.

«Кулак, кулак! — подумал про себя Чичиков,— да еще и бестия в придачу!»

— А женского пола не хотите?

— Нет, благодарю.

— Я бы недорого и взял. Для знакомства по рублику за штуку.

— Нет, в женском поле не нуждаюсь.

— Ну, когда не нуждаетесь, так нечего и говорить. На вкусы нет закона: кто любит попа, а кто попадью, говорит пословица.

— Еще я хотел вас попросить, чтобы эта сделка осталась между нами,— говорил Чичиков, прощаясь.

— Да уж само собою разумеется. Третьего сюда нечего мешать; что по искренности происходит между короткими друзьями, то должно остаться во взаимной их дружбе. Прощайте! Благодарю, что посетили; прошу и вперед не забывать: коли выберется свободный часик, приезжайте пообедать, время провести. Может быть, опять случится услужить чем-нибудь друг другу.

«Да, как бы не так! — думал про себя Чичиков, садясь в бричку.— По два с полтиною содрал за мертвую душу, чертов кулак!»

Он был недоволен поведением Собакевича. Все-таки, как бы то ни было, человек знакомый, и у губернатора, и у полицеймейстера видались, а поступил как бы совершенно чужой, за дрянь взял деньги! Когда бричка выехала со двора, он оглянулся назад и увидел, что Собакевич все еще стоял на крыльце и, как казалось, приглядывался, желая знать, куда гость поедет.

— Подлец, до сих пор еще стоит! — проговорил он сквозь зубы и велел Селифану, поворотивши к крестьянским избам, отъ-

ехать таким образом, чтобы нельзя было видеть экипажа со стороны господского двора. Ему хотелось заехать к Плюшкину, у которого, по словам Собакевича, люди умирали, как мухи, но не хотелось, чтобы Собакевич знал про это. Когда бричка была уже на конце деревни, он подозвал к себе первого мужика, который, попавши где-то на дороге претолстое бревно, тащил его на плече, подобно неутомимому муравью, к себе в избу.

— Эй, борода! а как проехать отсюда к Плюшкину, так чтоб не мимо господского дома?

Мужик, казалось, затруднился сим вопросом.

— Что ж, не знаешь?

— Нет, барин, не знаю.

— Эх ты! А и седым волосом еще подернуло! скрягу Плюшкина не знаешь, того, что плохо кормит людей?

— А! заплатанной, заплатанной! — вскрикнул мужик.

Было им прибавлено и существительное к слову «заплатанной», очень удачное, но неупотребительное в светском разговоре, а потому мы его пропустим. Впрочем, можно догадываться, что оно выражено было очень метко, потому что Чичиков, хотя мужик давно уже пропал из виду и много уехали вперед, однако ж все еще усмехался, сидя в бричке. Выражается сильно российский народ! и если наградит кого словцом, то пойдет оно ему в род и потомство, утащит он его с собою и на службу, и в отставку, и в Петербург, и на край света. И как уж потом ни хитри и ни облагораживай свое прозвище, хоть заставь пишущих людишек выводить его за наемную плату от древнекняжеского рода, ничто не поможет: каркнет само за себя прозвище во все свое воронье горло и скажет ясно, откуда вылетела птица. Произнесенное метко, все равно что писанное, не вырубливается топором. А уж куды бывает метко все то, что вышло из глубины Руси, где нет ни немецких, ни чухонских, ни всяких иных племен, а всё сам-самородок, живой и бойкий русский ум, что не лезет за словом в карман, не высиживает его, как наседка цыплят, а влепливает сразу, как пашпорт на вечную носку, и нечего прибавлять уже потом, какой у тебя нос или губы,— одной чертой обрисован ты с ног до головы!

Как несметное множество церквей, монастырей с куполами, главами, крестами, рассыпано на святой, благочестивой Руси, так несметное множество племен, поколений, народов толпится, пестреет и мечется по лицу земли. И всякий народ, носящий в себе залог сил, полный творящих способностей души, своей яркой особенности и других даров бога, своеобразно отличился каждый своим собственным словом, которым, выражая какой ни есть предмет, отражает в выраженье его часть собственного своего характера. Сердцеведением и мудрым познаньем жизни отзовется слово бри-

танца; легким щеголем блеснет и разлетится недолговечное слово француза; затейливо придумает свое, не всякому доступное, умнохудощавое слово немец; но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Прежде, давно, в лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувшего моего детства, мне было весело подъезжать в первый раз к незнакомому месту: все равно, была ли то деревушка, бедный уездный городишка, село ли, слободка,— любопытного много открывал в нем детский любопытный взгляд. Всякое строение, все, что носило только на себе напечатленье какой-нибудь заметной особенности,— все останавливало меня и поражало. Каменный ли казенный дом, известной архитектуры с половиною фальшивых окон, один-одинешенек торчавший среди бревенчатой тесаной кучи одноэтажных мещанских обывательских домиков, круглый ли правильный купол, весь обитый листовым белым железом, вознесенный над выбеленною, как снег, новою церковью, рынок ли, франт ли уездный, попавшийся среди города,— ничто не ускользало от свежего тонкого вниманья, и, высунувши нос из походной телеги своей, я глядел и на невиданный дотоле покрой какого-нибудь сюртука, и на деревянные ящики с гвоздями, с серой, желтевшей вдали, с изюмом и мылом, мелькавшие из дверей овощной лавки вместе с банками высохших московских конфект, глядел и на шедшего в стороне пехотного офицера, занесенного бог знает из какой губернии на уездную скуку, и на купца, мелькнувшего в сибирке на беговых дрожках, и уносился мысленно за ними в бедную жизнь их. Уездный чиновник пройди мимо — я уже и задумывался: куда он идет, на вечер ли к какому-нибудь своему брату или прямо к себе домой, чтобы, посидевши с полчаса на крыльце, пока не совсем еще сгустились сумерки, сесть за ранний ужин с матушкой; с женой, с сестрой жены и всей семьей, и о чем будет веден разговор у них в то время, когда дворовая девка в монистах или мальчик в толстой куртке принесет уже после супа сальную свечу в долговечном домашнем подсвечнике. Подъезжая к деревне какого-нибудь помещика, я любопытно смотрел на высокую узкую деревянную колокольню или широкую темную деревянную старую церковь. Заманчиво мелькали мне издали сквозь древесную зелень красная крыша и белые трубы помещичьего дома, и я ждал нетерпеливо, пока разойдутся на обе стороны заступавшие его сады и он покажется весь с своею, тогда, увы! вовсе не пошлою, наруж-

ностью; и по нем старался я угадать, кто таков сам помещик, толст ли он, и сыновья ли у него, или целых шестеро дочерей с звонким девическим смехом, играми и вечною красавицей меньшею сестрицей, и черноглазы ли они, и весельчак ли он сам или хмурен, как сентябрь в последних числах, глядит в календарь да говорит про скучную для юности рожь и пшеницу.

Теперь равнодушно подъезжаю ко всякой незнакомой деревне и равнодушно гляжу на ее пошлую наружность; моему охлажденному взору неприютно, мне не смешно, и то, что пробудило бы в прежние годы живое движенье в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои недвижные уста. О моя юность! о моя свежесть!

Покамест Чичиков думал и внутренно посмеивался над прозвищем, отпущенным мужиками Плюшкину, он не заметил, как въехал в средину обширного села со множеством изб и улиц. Скоро, однако же, дал заметить ему это препорядочный толчок, произведенный бревенчатою мостовою, пред которою городская каменная была ничто. Эти бревна, как фортепьянные клавиши, подымались то вверх, то вниз, и необеregшийся ездок приобретал или шишку на затылок, или синее пятно на лоб, или же случалось своими собственными зубами откусить пребольно хвостик собственного же языка. Какую-то особенную ветхость заметил он на всех деревенских строениях: бревно на избах было темно и старо; многие крыши сквозили, как решето; на иных оставался только конек вверху да жерди по сторонам в виде ребр. Кажется, сами хозяева снесли с них дранье и тес, рассуждая, и, конечно, справедливо, что в дождь избы не кроют, а в вёдро и сама не каплет, бабиться же в пей незачем, когда есть простор и в кабаке, и на большой дороге,— словом, где хочешь. Окна в избенках были без стекол, иные были заткнуты тряпкой или зипуном; балкончики под крышами с перилами, неизвестно для каких причин делаемые в иных русских избах, покосились и почернели даже не живописно. Из-за изб тянулись во многих местах рядами огромные клади хлеба, застоявшиеся, как видно, долго; цветом походили они на старый, плохо выжженный кирпич, на верхушке их росла всякая дрянь, и даже прицепился сбоку кустарник. Хлеб, как видно, был господский. Из-за хлебных кладей и ветхих крыш возносились и мелькали на чистом воздухе, то справа, то слева, по мере того как бричка делала повороты, две сельские церкви, одна возле другой: опустевшая деревянная и каменная, с желтенькими стенами, испятнанная, истрескавшаяся. Частями стал выказываться господский дом и наконец глянул весь в том месте, где цепь изб прервалась и наместо их остался пустырем огород или капустник, обнесенный низкою, местами изломанною городьбою. Каким-то дряхлым инвалидом гля-

дел сей странный замок, длинный, длинный непомерно. Местами был он в один этаж, местами в два; на темной крыше, не везде надежно защищавшей его старость, торчали два бельведера, один против другого, оба уже пошатнувшиеся, лишенные когда-то покрывавшей их краски. Стены дома ощеливали местами нагую штукатурную решетку и, как видно, много потерпели от всяких непогод, дождей, вихрей и осенних перемен. Из окон только два были открыты, прочие были заставлены ставнями или даже забиты досками. Эти два окна, с своей стороны, были тоже подслеповаты; на одном из них темнел наклеенный треугольник из синей сахарной бумаги.

Старый, обширный, тянувшийся позади дома сад, выходивший за село и потом пропадавший в поле, заросший и заглохлый, казалось, один освежал эту обширную деревню и один был вполне живописен в своем картинном опустении. Зелеными облаками и неправильными трепетолистными куполами лежали на небесном горизонте соединенные вершины разросшихся на свободе дерев. Белый колоссальный ствол березы, лишенный верхушки, отломленной бурею или грозою, подымался из этой зеленой гущи и круглился на воздухе, как правильная мраморная сверкающая колонна; косой остроконечный излом его, которым он оканчивался кверху вместо капители, темнел на снежной белизне его, как шапка или черная птица. Хмель, глушивший внизу кусты бузины, рябины и лесного орешника и пробежавший потом по верхушке всего частокола, взбегал наконец вверх и обвивал до половины сломленную березу. Достигнув середины ее, он оттуда свешивался вниз и начинал уже цеплять вершины других дерев или же висел на воздухе, завязавши кольцами свои тонкие цепкие крючья, легко колеблемые воздухом. Местами расходились зеленые чащи, озаренные солнцем, и показывали неосвещенное между них углубление, зиявшее, как темная пасть; оно было все окинуто тенью, и чуть-чуть мелькали в черной глубине его: бежавшая узкая дорожка, обрушенные перилы, пошатнувшаяся беседка, дуплистый дряхлый ствол ивы, седой чапыжник, густой щетиною вытыкавший из-за ивы иссохшие от страшной глушины, перепутавшиеся и скрестившиеся листья и сучья, и, наконец, молодая ветвь клена, протянувшая сбоку свои зеленые лапы-листы, под один из которых забравшись бог весть каким образом, солнце превращало его вдруг в прозрачный и огненный, чудно сиявший в этой густой темноте. В стороне, у самого края сада, несколько высокорослых, не вровень другим, осин подымали огромные вороньи гнезда на трепетные свои вершины. У иных из них отдернутые и не вполне отделенные ветви висели вниз вместе с иссохшими листьями. Словом, все было хорошо, как не выдумать ни природе, ни искусству, но как бывает

только тогда, когда они соединятся вместе, когда по нагроможденному, часто без толку, труду человека пройдет окончательным резцом своим природа, облегчит тяжелые массы, уничтожит грубоощутительную правильность и нищенские прорехи, сквозь которые проглядывает нескрытый, нагой план, и даст чудную теплоту всему, что создалось в хладе размеренной чистоты и опрятности.

Сделав один или два поворота, герой наш очутился наконец перед самым домом, который показался теперь еще печальнее. Зеленая плесень уже покрыла ветхое дерево на ограде и воротах. Толпа строений: людских, амбаров, погребов, видимо ветшавших,— наполняла двор; возле них направо и налево видны были ворота в другие дворы. Все говорило, что здесь когда-то хозяйство текло в обширном размере, и все глядело ныне пасмурно. Ничего не заметно было оживляющего картину: ни отворявшихся дверей, ни выходивших откуда-нибудь людей, никаких живых хлопот и забот дома! Только одни главные ворота были растворены, и то потому, что въехал мужик с нагруженною телегою, покрытою рогожею, показавшийся как бы нарочно для оживления сего вымершего места; в другое время и они были заперты наглухо, ибо в железной петле висел замок-исполин. У одного из строений Чичиков скоро заметил какую-то фигуру, которая начала вздорить с мужиком, приехавшим на телеге. Долго он не мог распознать, какого пола была фигура: баба или мужик. Платье на ней было совершенно неопределенное, похожее очень на женский капот, на голове колпак, какой носят деревенские дворовые бабы, только один голос показался ему несколько сиплым для женщины. «Ой, баба! — подумал он про себя и тут же прибавил: — Ой, нет!» — «Конечно, баба!» — наконец сказал он, рассмотрев попристальнее. Фигура с своей стороны глядела на него тоже пристально. Казалось, гость был для нее в диковинку, потому что она обсмотрела не только его, но и Селифана, и лошадей, начиная с хвоста и до морды. По висевшим у ней за поясом ключам и по тому, что она бранила мужика довольно поносными словами, Чичиков заключил, что это, верно, ключница.

— Послушай, матушка,— сказал он, выходя из брички,— что барин?..

— Нет дома,— прервала ключница, не дожидаясь окончания вопроса, и потом, спустя минуту, прибавила: — А что вам нужно?

— Есть дело!

— Идите в комнаты! — сказала ключница, отворотившись и показав ему спину, запачканную мукою, с большой прорехою пониже...

Он вступил в темные широкие сени, от которых подуло холодом, как из погреба. Из сеней он попал в комнату, тоже темную,

чуть-чуть озаренную светом, выходившим из-под широкой щели, находившейся внизу двери. Отворивши эту дверь, он наконец очутился в свету и был поражен представшим беспорядком. Казалось, как будто в доме происходило мытье полов и сюда на время нагромоздили всю мебель. На одном столе стоял даже сломанный стул, и рядом с ним часы с остановившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину. Тут же стоял прислоненный боком к стене шкаф с старинным серебром, графинчиками и китайским фарфором. На бюре, выложенном перламутною мозаикой, которая местами уже выпала и оставила после себя одни желтенькие желобки, наполненные клеем, лежало множество всякой всячины: куча исписанных мелко бумажек, накрытых мраморным позеленевшим прессом с яичком наверху, какая-то старинная книга в кожаном переплете с красным обрезом, лимон, весь высохший, ростом не более лесного ореха, отломленная ручка кресел, рюмка с какою-то жидкостью и тремя мухами, накрытая письмом, кусочек сургучика, кусочек где-то поднятой тряпки, два пера, запачканные чернилами, высохшие, как в чахотке, зубочистка, совершенно пожелтевшая, которою хозяин, может быть, ковырял в зубах своих еще до нашествия на Москву французов.

По стенам навешано было весьма тесно и бестолково несколько картин: длинный пожелтевший гравюр какого-то сражения, с огромными барабанами, кричащими солдатами в треугольных шляпах и тонущими конями, без стекла, вставленный в раму красного дерева с тоненькими бронзовыми полосками и бронзовыми же кружками по углам. В ряд с ними занимала полстены огромная почерневшая картина, писанная масляными красками, изображавшая цветы, фрукты, разрезанный арбуз, кабанью морду и висевшую головою вниз утку. С середины потолка висела люстра в холстинном мешке, от пыли сделавшаяся похожею на шелковый кокон, в котором сидит червяк. В углу комнаты была навалена на полу куча того, что погрубее и что недостойно лежать на столах. Что именно находилось в куче, решить было трудно, ибо пыли на ней было в таком изобилии, что руки всякого касавшегося становились похожими на перчатки; заметнее прочего высовывался оттуда отломленный кусок деревянной лопаты и старая подошва сапога. Никак бы нельзя было сказать, чтобы в комнате сей обитало живое существо, если бы не возвещал его пребыванье старый, поношенный колпак, лежавший на столе. Пока он рассматривал все странное убранство, отворилась боковая дверь и взошла та же самая ключница, которую встретил он на дворе. Но тут увидел он, что это был скорее ключник, чем ключница: ключница, по крайней мере, не бреет бороды, а этот, напротив того, брил, и, казалось, довольно редко, потому что весь подбородок с нижней частью щеки

походил у него на скребницу из железной проволоки, какою чистят на конюшне лошадей. Чичиков, давши вопросительное выражение лицу своему, ожидал с нетерпеньем, что хочет сказать ему ключник. Ключник тоже с своей стороны ожидал, что хочет ему сказать Чичиков. Наконец последний, удивленный таким странным недоумением, решился спросить:

— Что ж барин? у себя, что ли?

— Здесь хозяин,— сказал ключник.

— Где же? — повторил Чичиков.

— Что, батюшка, слепы-то, что ли? — спросил ключник.— Эхва! А вить хозяин-то я!

Здесь герой наш поневоле отступил назад и поглядел на него пристально. Ему случалось видеть немало всякого рода людей, даже таких, каких нам с читателем, может быть, никогда не придется увидать; но такого он еще не видывал. Лицо его не представляло ничего особенного; оно было почти такое же, как у многих худощавых стариков, один подбородок только выступал очень далеко вперед, так что он должен был всякий раз закрывать его платком, чтобы не заплевать; маленькие глазки еще не потухнули и бегали из-под высоко выросших бровей, как мыши, когда, высунувши из темных нор остренькие морды, насторожа уши и моргая усом, они высматривают, не затаился ли где кот или шалун мальчишка, и нюхают подозрительно самый воздух. Гораздо замечательнее был наряд его: никакими средствами и стараньями нельзя бы докопаться, из чего состряпан был его халат: рукава и верхние полы до того засалились и залоснились, что походили на юфть, какая идет на сапоги; назади вместо двух болталось четыре полы, из которых охлопьями лезла хлопчатая бумага. На шее у него тоже было повязано что-то такое, которого нельзя было разобрать: чулок ли, подвязка ли, или набрюшник, только никак не галстук. Словом, если бы Чичиков встретил его, так принаряженного, где-нибудь у церковных дверей, то, вероятно, дал бы ему медный грош. Ибо к чести героя нашего нужно сказать, что сердце у него было сострадательно и он не мог никак удержаться, чтобы не подать бедному человеку медного гроша. Но пред ним стоял не нищий, пред ним стоял помещик. У этого помещика была тысяча с лишком душ, и попробовал бы кто найти у кого другого столько хлеба зерном, мукою и просто в кладях, у кого бы кладовые, амбары и сушилы загромождены были таким множеством холстов, сукон, овчин выделанных и сыромятных, высушенными рыбами и всякой овощью, или губиной. Заглянул бы кто-нибудь к нему на рабочий двор, где наготовлено было на запас всякого дерева и посуды, никогда не употреблявшейся,— ему бы показалось, уж не попал ли он как-нибудь в Москву на щепной двор, куда ежедневно отправ-

ляются расторопные тещи и свекрухи, с кухарками позади, делать свои хозяйственные запасы и где горами белеет всякое дерево — шитое, точеное, лаженое и плетеное: бочки, пересеки, ушаты, лагуны́, жбаны с рыльцами и без рылец, побратимы, лукошки, мыкольники, куда бабы кладут свои мочки и прочий дрязг, коробья́ из тонкой гнутой осины, бураки из плетеной берестки и много всего, что идет на потребу богатой и бедной Руси. На что бы, казалось, нужна была Плюшкину такая гибель подобных изделий? во всю жизнь не пришлось бы их употребить даже на два таких имения, какие были у него,— но ему и этого казалось мало. Не довольствуясь сим, он ходил еще каждый день по улицам своей деревни, заглядывал под мостики, под перекладины и все, что ни попадалось ему: старая подошва, бабья тряпка, железный гвоздь, глиняный черепок,— все тащил к себе и складывал в ту кучу, которую Чичиков заметил в углу комнаты. «Вон уже рыболов пошел на охоту!» — говорили мужики, когда видели его, идущего на добычу. И в самом деле, после него незачем было мести улицу: случилось проезжавшему офицеру потерять шпору, шпора эта мигом отправилась в известную кучу; если баба, как-нибудь зазевавшись у колодца, позабывала ведро, он утаскивал и ведро. Впрочем, когда приметивший мужик уличал его тут же, он не спорил и отдавал похищенную вещь; но если только она попадала в кучу, тогда все кончено: он божился, что вещь его, куплена им тогда-то, у того-то или досталась от деда. В комнате своей он подымал с пола все, что ни видел: сургучик, лоскуток бумажки, перышко, и все это клал на бюро или на окошко.

А ведь было время, когда он только был бережливым хозяином! был женат и семьянин, и сосед заезжал к нему пообедать, слушать и учиться у него хозяйству и мудрой скупости. Все текло живо и совершалось размеренным ходом: двигались мельницы, валяльни, работали суконные фабрики, столярные станки, прядильни; везде во все входил зоркий взгляд хозяина и, как трудолюбивый паук, бегал хлопотливо, но расторопно, по всем концам своей хозяйственной паутины. Слишком сильные чувства не отражались в чертах лица его, но в глазах был виден ум; опытностию и познанием света была проникнута речь его, и гостю было приятно его слушать; приветливая и говорливая хозяйка славилась хлебосольством; навстречу выходили две миловидные дочки, обе белокурые и свежие, как розы; выбегал сын, разбитной мальчишка, и целовался со всеми, мало обращая внимания на то, рад ли или не рад был этому гость. В доме были открыты все окна, антресоли были заняты квартирою учителя-француза, который славно брился и был большой стрелок: приносил всегда к обеду тетерек или уток, а иногда и одни воробьиные яйца, из которых заказывал себе яич-

ницу, потому что больше в целом доме никто ее не ел. На антресолях жила также его компатриотка, наставница двух девиц. Сам хозяин являлся к столу в сюртуке, хотя несколько поношенном, но опрятном, локти были в порядке: нигде никакой заплаты. Но добрая хозяйка умерла; часть ключей, а с ними мелких забот, перешла к нему. Плюшкин стал беспокойнее и, как все вдовцы, подозрительнее и скупее. На старшую дочь Александру Степановну он не мог во всем положиться, да и был прав, потому что Александра Степановна скоро убежала с штабс-ротмистром, бог весть какого кавалерийского полка, и обвенчалась с ним где-то наскоро в деревенской церкви, зная, что отец не любит офицеров по странному предубеждению, будто бы все военные картежники и мотишки. Отец послал ей на дорогу проклятие, а преследовать не заботился. В доме стало еще пустее. Во владельце стала заметнее обнаруживаться скупость, сверкнувшая в жестких волосах его седина, верная подруга ее, помогла ей еще более развиться; учитель-француз был отпущен, потому что сыну пришла пора на службу; мадам была прогнана, потому что оказалась не безгрешною в похищении Александры Степановны; сын, будучи отправлен в губернский город, с тем чтобы узнать в палате, по мнению отца, службу существенную, определился вместо того в полк и написал к отцу уже по своем определении, прося денег на обмундировку; весьма естественно, что он получил на это то, что называется в простонародии шиш. Наконец последняя дочь, остававшаяся с ним в доме, умерла, и старик очутился один сторожем, хранителем и владетелем своих богатств. Одинокая жизнь дала сытную пищу скупости, которая, как известно, имеет волчий голод и чем более пожирает, тем становится ненасытнее; человеческие чувства, которые и без того не были в нем глубоки, мелели ежеминутно, и каждый день что-нибудь утрачивалось в этой изношенной развалине. Случись же под такую минуту, как будто нарочно в подтверждение его мнения о военных, что сын его проигрался в карты; он послал ему от души свое отцовское проклятие и никогда уже не интересовался знать, существует ли он на свете или нет. С каждым годом притворялись окна в его доме, наконец остались только два, из которых одно, как уже видел читатель, было заклеено бумагою; с каждым годом уходили из вида более и более главные части хозяйства, и мелкий взгляд его обращался к бумажкам и перышкам, которые он собирал в своей комнате; неуступчивее становился он к покупщикам, которые приезжали забирать у него хозяйственные произведения; покупщики торговались, торговались и наконец бросили его вовсе, сказавши, что это бес, а не человек; сено и хлеб гнили, клади и стоги обращались в чистый навоз, хоть разводи на них капусту, мука в подвалах превратилась в камень, и нужно было ее

рубить, к сукнам, холстам и домашним материям страшно было притронуться: они обращались в пыль. Он уже позабывал сам, сколько у него было чего, и помнил только, в каком месте стоял у него в шкафу графинчик с остатком какой-нибудь настойки, на котором он сам сделал наметку, чтобы никто воровским образом ее не выпил, да где лежало перышко или сургучик. А между тем в хозяйстве доход собирался по-прежнему: столько же оброку должен был принесть мужик, таким же приносом орехов обложена была всякая баба, столько же поставов холста должна была наткать ткачиха,— все это сваливалось в кладовые, и все становилось гниль и прореха, и сам он обратился наконец в какую-то прореху на человечестве. Александра Степановна как-то приезжала раза два с маленьким сынком, пытаясь, нельзя ли чего-нибудь получить; видно, походная жизнь с штабс-ротмистром не была так привлекательна, какою казалась до свадьбы. Плюшкин, однако же, ее простил и даже дал маленькому внучку поиграть какую-то пуговицу, лежавшую на столе, но денег ничего не дал. В другой раз Александра Степановна приехала с двумя малютками и привезла ему кулич к чаю и новый халат, потому что у батюшки был такой халат, на который глядеть не только было совестно, но даже стыдно. Плюшкин приласкал обоих внуков и, посадивши их к себе одного на правое колено, а другого на левое, покачал их совершенно таким образом, как будто они ехали на лошадях, кулич и халат взял, но дочери решительно ничего не дал; с тем и уехала Александра Степановна.

Итак, вот какого рода помещик стоял перед Чичиковым! Должно сказать, что подобное явление редко попадается на Руси, где все любит скорее развернуться, нежели съежиться, и тем поразительнее бывает оно, что тут же в соседстве подвернется помещик, кутящий во всю ширину русской удали и барства, прожигающий, как говорится, насквозь жизнь. Небывалый проезжий остановится с изумлением при виде его жилища, недоумевая, какой владетельный принц очутился внезапно среди маленьких, темных владельцев: дворцами глядят его белые каменные домы с бесчисленным множеством труб, бельведеров, флюгеров, окруженные стадом флигелей и всякими помещеньями для приезжих гостей. Чего нет у него? Театры, балы; всю ночь сияет убранный огнями и плошками, оглашенный громом музыки сад. Полгубернии разодето и весело гуляет под деревьями, и никому не является дикое и грозящее в сем насильственном освещении, когда театрально выскакивает из древесной гущи озаренная поддельным светом ветвь, лишенная своей яркой зелени, а вверху темнее, и суровее, и в двадцать раз грознее является чрез то ночное небо и, далеко трепеща листьями

в вышине, уходя глубже в непробудный мрак, негодуют суровые вершины дерев на сей мишурный блеск, осветивший снизу их корни.

Уже несколько минут стоял Плюшкин, не говоря ни слова, а Чичиков все еще не мог начать разговора, развлеченный как видом самого хозяина, так и всего того, что было в его комнате. Долго не мог он придумать, в каких бы словах изъяснить причину своего посещения. Он уже хотел было выразиться в таком духе, что, наслышась о добродетели и редких свойствах души его, почел долгом принести лично дань уважения, но спохватился и почувствовал, что это слишком. Искоса бросив еще один взгляд на все, что было в комнате, он почувствовал, что слово «добродетель» и «редкие свойства души» можно с успехом заменить словами «экономия» и «порядок»; и потому, преобразивши таким образом речь, он сказал, что, наслышась об экономии его и редком управлении имениями, он почел за долг познакомиться и принести лично свое почтение. Конечно, можно бы было привести иную, лучшую причину, но ничего иного не взбрело тогда на ум.

На это Плюшкин что-то пробормотал сквозь губы, ибо зубов не было, что именно, неизвестно, но, вероятно, смысл был таков: «А побрал бы тебя черт с твоим почтением!» Но так как гостеприимство у нас в таком ходу, что и скряга не в силах преступить его законов, то он прибавил тут же несколько внятнее: «Прошу покорнейше садиться!»

— Я давненько не вижу гостей,— сказал он,— да, признаться сказать, в них мало вижу проку. Завели пренеприличный обычай ездить друг к другу, а в хозяйстве-то упущения... да и лошадей их корми сеном! Я давно уж отобедал, а кухня у меня низкая, прескверная, и труба-то совсем развалилась: пачнешь топить, еще пожару наделаешь.

«Вон оно как! — подумал про себя Чичиков.— Хорошо же, что я у Собакевича перехватил ватрушку да ломоть бараньего бока».

— И такой скверный анекдот, что сена хоть бы клок в целом хозяйстве! — продолжал Плюшкин.— Да и в самом деле, как прибережешь его? землишка маленькая, мужик ленив, работать не любит, думает, как бы в кабак... того и гляди, пойдешь на старости лет по миру!

— Мне, однако же, сказывали,— скромно заметил Чичиков,— что у вас более тысячи душ.

— А кто это сказывал? А вы бы, батюшка, наплевали в глаза тому, который это сказывал! Он, пересмешник, видно, хотел пошутить над вами. Вот, бают, тысячи душ, а поди-тка сосчитай, а и ничего не начтешь! Последние три года проклятая горячка выморила у меня здоровённый куш мужиков.

— Скажите! и много выморила? — воскликнул Чичиков с участием.

— Да, снесли многих.

— А позвольте узнать: сколько числом?

— Душ восемьдесят.

— Нет?

— Не стану лгать, батюшка.

— Позвольте еще спросить: ведь эти души, я полагаю, вы считаете со дня подачи последней ревизии?

— Это бы еще слава богу,— сказал Плюшкин,— да лих-то, что с того времени до ста двадцати наберется.

— Вправду? Целых сто двадцать? — воскликнул Чичиков и даже разинул несколько рот от изумления.

— Стар я, батюшка, чтобы лгать: седьмой десяток живу! — сказал Плюшкин. Он, казалось, обиделся таким почти радостным восклицанием. Чичиков заметил, что в самом деле неприлично подобное безучастие к чужому горю, и потому вздохнул тут же и сказал, что соболезнует.

— Да ведь соболезнование в карман не положишь,— сказал Плюшкин.— Вот возле меня живет капитан; черт знает его, откуда взялся, говорит — родственник: «Дядюшка, дядюшка!» — и в руку целует, а как начнет соболезновать, вой такой подымет, что уши береги. С лица весь красный: пеннику, чай, насмерть придерживается. Верно, спустил денежки, служа в офицерах, или театральная актриса выманила, так вот он теперь и соболезнует!

Чичиков постарался объяснить, что его соболезнование совсем не такого рода, как капитанское, и что он не пустыми словами, а делом готов доказать его и, не откладывая дела далее, без всяких обиняков, тут же изъявил готовность принять на себя обязанность платить подати за всех крестьян, умерших такими несчастными случаями. Предложение, казалось, совершенно изумило Плюшкина. Он, вытаращив глаза, долго смотрел на него и наконец спросил:

— Да вы, батюшка, не служили ли в военной службе?

— Нет,— отвечал Чичиков довольно лукаво,— служил по статской.

— По статской? — повторил Плюшкин и стал жевать губами, как будто что-нибудь кушал.— Да ведь как же? Ведь это вам самим-то в убыток?

— Для удовольствия вашего готов и на убыток.

— Ах, батюшка! ах, благодетель мой! — вскрикнул Плюшкин, не замечая от радости, что у него из носа выглянул весьма некартинно табак, на образец густого кофия, и полы халата, раскрывшись, показали платье, не весьма приличное для рассматриванья.— Вот утешили старика! Ах, господи ты мой! ах, святители вы

мои!..— Далее Плюшкин и говорить не мог. Но не прошло и минуты, как эта радость, так мгновенно показавшаяся на деревянном лице его, так же мгновенно и прошла, будто ее вовсе не бывало, и лицо его вновь приняло заботливое выражение. Он даже утерся платком и, свернувши его в комок, стал им возить себя по верхней губе.

— Как же, с позволения вашего, чтобы не рассердить вас, вы за всякий год беретесь платить за них подать? и деньги будете выдавать мне или в казну?

— Да мы вот как сделаем: мы совершим на них купчую крепость, как бы они были живые и как бы вы их мне продали.

— Да, купчую крепость...— сказал Плюшкин, задумался и стал опять кушать губами.— Ведь вот купчую крепость — всё издержки. Приказные такие бессовестные! Прежде, бывало, полтиной меди отделаешься да мешком муки, а теперь пошли целую подводу круп, да и красную бумажку прибавь, такое сребролюбие! Я не знаю, как священники-то не обращают на это внимание; сказал бы какое-нибудь поучение: ведь что ни говори, а против слова-то божия не устоишь.

«Ну, ты, я думаю, устоишь!» — подумал про себя Чичиков и произнес тут же, что, из уважения к нему, он готов принять даже издержки по купчей на свой счет.

Услыша, что даже издержки по купчей он принимает на себя, Плюшкин заключил, что гость должен быть совершенно глуп и только прикидывается, будто служил по статской, а, верно, был в офицерах и волочился за актерками. При всем том он, однако ж, не мог скрыть своей радости и пожелал всяких утешений не только ему, но даже и деткам его, не спросив, были ли они у него или нет. Подошед к окну, постучал он пальцами в стекло и закричал: «Эй, Прошка!» Чрез минуту было слышно, что кто-то вбежал впопыхах в сени, долго возился там и стучал сапогами, наконец дверь отворилась и вошел Прошка, мальчик лет тринадцати, в таких больших сапогах, что, ступая, едва не вынул из них ноги. Почему у Прошки были такие большие сапоги, это можно узнать сейчас же: у Плюшкина для всей дворни, сколько ни было ее в доме, были одни только сапоги, которые должны были всегда находиться в сенях. Всякий призываемый в барские покои обыкновенно отплясывал через весь двор босиком, но, входя в сени, надевал сапоги и таким уже образом являлся в комнату. Выходя из комнаты, он оставлял сапоги опять в сенях и отправлялся вновь на собственной подошве. Если бы кто взглянул из окошка в осеннее время и особенно когда по утрам начинаются маленькие изморози, то бы увидел, что вся дворня делала такие скачки, какие вряд ли удастся выделать на театрах самому бойкому танцовщику.

— Вот посмотрите, батюшка, какая рожа! — сказал Плюшкин Чичикову, указывая пальцем на лицо Прошки.— Глуп ведь как дерево, а попробуй что-нибудь положить, мигом украдет! Ну, чего ты пришел, дурак, скажи, чего? — Тут он произвел небольшое молчание, на которое Прошка отвечал тоже молчанием.— Поставь самовар, слышишь, да вот возьми ключ да отдай Мавре, чтобы пошла в кладовую: там на полке есть сухарь из кулича, который привезла Александра Степановна, чтобы подали его к чаю!.. Постой, куда же ты? Дурачина! эхва, дурачина! Бес у тебя в ногах, что ли, чешется?.. ты выслушай прежде: сухарь-то сверху, чай, поиспортился, так пусть соскоблит его ножом да крох не бросает, а снесет в курятник. Да смотри ты, ты не входи, брат, в кладовую, не то я тебя, знаешь! березовым-то веником, чтобы для вкуса-то! Вот у тебя теперь славный аппетит, так чтобы еще был получше! Вот попробуй-ка пойти в кладовую, а я тем временем из окна стану глядеть. Им ни в чем нельзя доверять,— продолжал он, обратившись к Чичикову, после того как Прошка убрался вместе с своими сапогами. Вслед за тем он начал и на Чичикова посматривать подозрительно. Черты такого необыкновенного великодушия стали ему казаться невероятными, и он подумал про себя: «Ведь черт его знает, может быть, он просто хвастун, как все эти мотишки; наврет, наврет, чтобы поговорить да напиться чаю, а потом и уедет!» А потому из предосторожности и вместе желая несколько поиспытать его, сказал он, что недурно бы совершить купчую поскорее, потому что-де в человеке не уверен: сегодня жив, а завтра и бог весть.

Чичиков изъявил готовность совершить ее хоть сию же минуту и потребовал только списка всем крестьянам.

Это успокоило Плюшкина. Заметно было, что он придумывал что-то сделать, и точно, взявши ключи, приблизился к шкафу и, отперши дверцу, рылся долго между стаканами и чашками и наконец произнес:

— Ведь вот не сыщешь, а у меня был славный ликерчик, если только не выпили! народ такие воры! А вот разве не это ли он? — Чичиков увидел в руках его графинчик, который был весь в пыли, как в фуфайке.— Еще покойница делала,— продолжал Плюшкин,— мошенница ключница совсем было его забросила и даже не закупорила, каналья! Козявки и всякая дрянь было напичкались туда, но я весь сор-то повынул, и теперь вот чистенькая; я вам налью рюмочку.

Но Чичиков постарался отказаться от такого ликерчика, сказавши, что он уже и пил и ел.

— Пили уже и ели! — сказал Плюшкин.— Да, конечно, хорошего общества человека хоть где узнаешь: он не ест, а сыт; а как

эдакой какой-нибудь воришка, да его сколько ни корми... Ведь вот капитан — приедет: «Дядюшка, говорит, дайте чего-нибудь поесть!» А я ему такой же дядюшка, как он мне дедушка. У себя дома есть, верно, нечего, так вот он и шатается! Да, ведь вам нужен реестрик всех этих тунеядцев? Как же, я, как знал, всех их списал на особую бумажку, чтобы при первой подаче ревизии всех их вычеркнуть.

Плюшкин надел очки и стал рыться в бумагах. Развязывая всякие связки, он попотчевал своего гостя такою пылью, что тот чихнул. Наконец вытащил бумажку, всю исписанную кругом. Крестьянские имена усыпали ее тесно, как мошки. Были там всякие: и Парамонов, и Пименов, и Пантелеймонов, и даже выглянул какой-то Григорий Доезжай-не-доедешь; всех было сто двадцать с лишком. Чичиков улыбнулся при виде такой многочисленности. Спрятав ее в карман, он заметил Плюшкину, что ему нужно будет для совершения крепости приехать в город.

— В город? Да как же?.. а дом-то как оставить? Ведь у меня народ или вор, или мошенник: в день так оберут, что и кафтана не на чем будет повесить.

— Так не имеете ли кого-нибудь знакомого?

— Да кого же знакомого? Все мои знакомые перемерли или раззнакомились. Ах, батюшка! как не иметь, имею! — вскричал он.— Ведь знаком сам председатель, езжал даже в старые годы ко мне, как не знать! однокорытниками были, вместе по заборам лазили! как не знакомый? уж такой знакомый! так уж не к нему ли написать?

— И, конечно, к нему.

— Как же, уж такой знакомый! в школе были приятели.

И на этом деревянном лице вдруг скользнул какой-то теплый луч, выразилось не чувство, а какое-то бледное отражение чувства, явление, подобное неожиданному появлению на поверхности вод утопающего, произведшему радостный крик в толпе, обступившей берег. Но напрасно обрадовавшиеся братья и сестры кидают с берега веревку и ждут, не мелькнет ли вновь спина или утомленные бореньем руки,— появление было последнее. Глухо все, и еще страшнее и пустыннее становится после того затихнувшая поверхность безответной стихии. Так и лицо Плюшкина вслед за мгновенно скользнувшим на нем чувством стало еще бесчувственней и еще пошлее.

— Лежала на столе четвертка чистой бумаги,— сказал он,—да не знаю, куда запропастилась: люди у меня такие негодные! — Тут стал он заглядывать и под стол и на стол, шарил везде и наконец закричал: — Мавра! а Мавра!

На зов явилась женщина с тарелкой в руках, на которой

лежал сухарь, уже знакомый читателю. И между ними произошел такой разговор:

— Куда ты дела, разбойница, бумагу?

— Ей-богу, барин, не видывала, опричь небольшого лоскутка, которым изволили прикрыть рюмку.

— А вот я по глазам вижу, что подтибрила.

— Да на что ж бы я подтибрила? Ведь мне проку с ней никакого; я грамоте не знаю.

— Врешь, ты снесла пономаренку: он маракует, так ты ему и снесла.

— Да пономаренок, если захочет, так достанет себе бумаги. Не видал он вашего лоскутка!

— Вот погоди-ка: на Страшном суде черти припекут тебя за это железными рогатками! вот посмотришь, как припекут!

— Да за что же припекут, коли я не брала и в руки четвертки? Уж скорее другой какой бабьей слабостью, а воровством меня еще никто не попрекал.

— А вот черти-то тебя и припекут! скажут: «А вот тебе, мошенница, за то, что барина-то обманывала!», да горячими-то тебя и припекут!

— А я скажу: «Не за что! ей-богу, не за что, не брала я...» Да вон она лежит на столе. Всегда понапраслиной попрекаете!

Плюшкин увидел, точно, четвертку и на минуту остановился, пожевал губами и произнес:

— Ну, что ж ты расходилась так? Экая занозистая! Ей скажи только одно слово, а она уж в ответ десяток! Поди-ка принеси огоньку запечатать письмо. Да стой, ты схватишь сальную свечу, сало дело топкое: сгорит — да и нет, только убыток, а ты принеси-ка мне лучинку!

Мавра ушла, а Плюшкин, севши в кресла и взявши в руку перо, долго еще ворочал на все стороны четвертку, придумывая: нельзя ли отделить от нее еще осьмушку, но наконец убедился, что никак нельзя; всунул перо в чернильницу с какою-то заплеснев-шею жидкостью и множеством мух на дне и стал писать, выставляя буквы, похожие на музыкальные ноты, придерживая помпнутно прыть руки, которая расскакивалась по всей бумаге, лепя скупо строка на строку и не без сожаления подумывая о том, что все еще останется много чистого пробела.

И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек! мог так измениться! И похоже это на правду? Все похоже на правду, все может статься с человеком. Нынешний же пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его же портрет в старости. Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте

с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом! Грозна, страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдает назад и обратно! Могила милосерднее ее, на могиле напишется: «Здесь погребен человек!», но ничего не прочитаешь в хладных, бесчувственных чертах бесчеловечной старости.

— А не знаете ли вы какого-нибудь вашего приятеля,— сказал Плюшкин, складывая письмо,— которому бы понадобились беглые души?

— А у вас есть и беглые? — быстро спросил Чичиков, очнувшись.

— В том-то и дело, что есть. Зять делал выправки: говорит, будто и след простыл, но ведь он человек военный: мастер притопывать шпорой, а если бы похлопотать по судам...

— А сколько их будет числом?

— Да десятков до семи тоже наберется.

— Нет?

— А ей-богу, так! Ведь у меня что год, то бегают. Народ-то больно прожорлив, от праздности завел привычку трескать, а у меня есть и самому нечего... А уж я бы за них что ни дай взял бы. Так посоветуйте вашему приятелю-то: отыщись ведь только десяток, так вот уж у него славная деньга. Ведь ревизская душа стоит в пятистах рублях.

«Нет, этого мы приятелю и понюхать не дадим»,— сказал про себя Чичиков и потом объяснил, что такого приятеля никак не найдется, что одни издержки по этому делу будут стоить более, ибо от судов нужно отрезать полы собственного кафтана да уходить подалее; но что если он уже действительно так стиснут, то, будучи подвигнут участием, он готов дать... но что это такая безделица, о которой даже не стоит и говорить.

— А сколько бы вы дали? — спросил Плюшкин и сам ожидовел: руки его задрожали, как ртуть.

— Я бы дал по двадцати пяти копеек за душу.

— А как вы покупаете, на чистые?

— Да, сейчас деньги.

— Только, батюшка, ради нищеты-то моей, уже дали бы по сорока копеек.

— Почтеннейший! — сказал Чичиков,— не только по сорока копеек, по пятисот рублей заплатил бы! с удовольствием заплатил бы, потому что вижу — почтенный, добрый старик терпит по причине собственного добродушия.

— А ей-богу, так! ей-богу, правда! — сказал Плюшкин, свесив голову вниз и сокрушительно покачав ее.— Всё от добродушия.

— Ну, видите ли, я вдруг постигнул ваш характер. Итак, почему ж не дать бы мне по пятисот рублей за душу, но... состоянья

нет; по пяти копеек, извольте, готов прибавить, чтобы каждая душа обошлась, таким образом, в тридцать копеек.

— Ну, батюшка, воля ваша, хоть по две копейки пристегните.

— По две копеечки пристегну, извольте. Сколько их у вас? Вы, кажется, говорили семьдесят?

— Нет. Всего наберется семьдесят восемь.

— Семьдесят восемь, семьдесят восемь, по тридцати копеек за душу, это будет...— здесь герой наш одну секунду, не более, подумал и сказал вдруг: — это будет двадцать четыре рубля девяносто шесть копеек! — он был в арифметике силен. Тут же заставил он Плюшкина написать расписку и выдал ему деньги, которые тот принял в обе руки и понес их к бюро с такою же осторожностью, как будто бы нес какую-нибудь жидкость, ежеминутно боясь расхлестать ее. Подошедши к бюро, он переглядел их еще раз и уложил, тоже чрезвычайно осторожно, в один из ящиков, где, верно, им суждено быть погребенными до тех пор, покамест отец Карп и отец Поликарп, два священника его деревни, не погребут его самого, к неописанной радости зятя и дочери, а может быть, и капитана, приписавшегося ему в родню. Спрятавши деньги, Плюшкин сел в кресла и уже, казалось, больше не мог найти материи, о чем говорить.

— А что, вы уж собираетесь ехать? — сказал он, заметив небольшое движение, которое сделал Чичиков для того только, чтобы достать из кармана платок.

Этот вопрос напомнил ему, что в самом деле незачем более мешкать.

— Да, мне пора! — произнес он, взявшись за шляпу.

— А чайку?

— Нет, уж чайку пусть лучше когда-нибудь в другое время.

— Как же, а я приказал самовар. Я, признаться сказать, не охотник до чаю: напиток дорогой, да и цена на сахар поднялась немилосердная. Прошка! не нужно самовара! Сухарь отнеси Мавре, слышишь: пусть его положит на то же место, или нет, подай его сюда, я ужо снесу его сам. Прощайте, батюшка, да благословит вас бог, а письмо-то председателю вы отдайте. Да! пусть прочтет, он мой старый знакомый. Как же! были с ним однокорытниками!

Засим это странное явление, этот съежившийся старичишка проводил его со двора, после чего велел ворота тот же час запереть, потом обошел кладовые, с тем чтобы осмотреть, на своих ли местах сторожа, которые стояли на всех углах, колотя деревянными лопатками в пустой бочонок, наместо чугунной доски; после того заглянул в кухню, где под видом того чтобы попробовать, хорошо ли едят люди, наелся препорядочно щей с кашею и, выбранивши всех до последнего за воровство и дурное поведение, воз-

вратился в свою комнату. Оставшись один, он даже подумал о том, как бы ему возблагодарить гостя за такое в самом деле беспримерное великодушие. «Я ему подарю,— подумал он про себя,— карманные часы: они ведь хорошие, серебряные часы, а не то чтобы какие-нибудь томпаковые или бронзовые; немножко поиспорчены, да ведь он себе переправит; он человек еще молодой, так ему нужны карманные часы, чтобы понравиться своей невесте! Или нет,— прибавил он после некоторого размышления,— лучше я оставлю их ему после моей смерти, в духовной, чтобы вспоминал обо мне».

Но герой наш и без часов был в самом веселом расположении духа. Такое неожиданное приобретение было сущий подарок. В самом деле, что ни говори, не только одни мертвые души, но еще и беглые, и всего двести с лишком человек! Конечно, еще подъезжая к деревне Плюшкина, он уже предчувствовал, что будет кое-какая пожива, но такой прибыточной никак не ожидал. Всю дорогу он был весел необыкновенно, посвистывал, наигрывал губами, приставивши ко рту кулак, как будто играл на трубе, и наконец затянул какую-то песню, до такой степени необыкновенную, что сам Селифан слушал, слушал и потом, покачав слегка головой, сказал: «Вишь ты, как барин поет!» Были уже густые сумерки, когда подъехали они к городу. Тень со светом перемешалась совершенно, и казалось, самые предметы перемешалися тоже. Пестрый шлагбаум принял какой-то неопределенный цвет; усы у стоявшего на часах солдата казались на лбу и гораздо выше глаз, а носа как будто не было вовсе. Гром и прыжки дали заметить, что бричка взъехала на мостовую. Фонари еще не зажигались, кое-где только начинались освещаться окна домов, а в переулках и закоулках происходили сцены и разговоры, неразлучные с этим временем во всех городах, где много солдат, извозчиков, работников и особенного рода существ, в виде дам в красных шалях и башмаках без чулок, которые, как летучие мыши, шныряют по перекресткам. Чичиков не замечал их и даже не заметил многих тоненьких чиновников с тросточками, которые, вероятно сделавши прогулку за городом, возвращались домой. Изредка доходили до слуха его какие-то, казалось, женские восклицания: «Врешь, пьяница! я никогда не позволяла ему такого грубиянства!» — или: «Ты не дерись, невежа, а ступай в часть, там я тебе докажу!..» Словом, те слова, которые вдруг обдадут, как варом, какого-нибудь замечтавшегося двадцатилетнего юношу, когда, возвращаясь из театра, несет он в голове испанскую улицу, ночь, чудный женский образ с гитарой и кудрями. Чего нет и что не грезится в голове его? он в небесах и к Шиллеру заехал в гости — и вдруг раздаются над ним, как гром, роковые слова, и видит он, что вновь очутился на земле, и даже

«Мертвые души»

Худ. А. Лаптев

на Сенной площади, и даже близ кабака, и вновь пошла по-будничному щеголять перед ним жизнь.

Наконец бричка, сделавши порядочный скачок, опустилась, как будто в яму, в ворота гостиницы, и Чичиков был встречен Петрушкою, который одною рукою придерживал полу своего сюртука, ибо не любил, чтобы расходились полы, а другою стал помогать ему вылезать из брички. Половой тоже выбежал, со свечою в руке и салфеткою на плече. Обрадовался ли Петрушка приезду барина, неизвестно, по крайней мере, они перемигнулись с Селифаном, и обыкновенно суровая его наружность на этот раз как будто несколько прояснилась.

— Долго изволили погулять,— сказал половой, освещая лестницу.

— Да,— сказал Чичиков, когда взошел на лестницу.— Ну, а ты что?

— Слава богу,— отвечал половой, кланяясь.— Вчера приехал поручик какой-то военный, занял шестнадцатый номер.

— Поручик?

— Неизвестно какой, из Рязани, гнедые лошади.

— Хорошо, хорошо, веди себя и вперед хорошо! — сказал Чичиков и вошел в свою комнату. Проходя переднюю, он покрутил носом и сказал Петрушке: — Ты бы, по крайней мере, хоть окна отпер!

— Да я их отпирал,— сказал Петрушка, да и соврал. Впрочем, барин и сам знал, что он соврал, но уж не хотел ничего возражать. После сделанной поездки он чувствовал сильную усталость. Потребовавши самый легкий ужин, состоявший только в поросенке, он тот же час разделся и, забравшись под одеяло, заснул сильно, крепко, заснул чудным образом, как спят одни только те счастливцы, которые не ведают ни геморроя, ни блох, ни слишком сильных умственных способностей.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Счастлив путник, который после длинной, скучной дороги с ее холодами, слякотью, грязью, невыспавшимися станционными смотрителями, бряканьями колокольчиков, починками, перебранками, ямщиками, кузнецами и всякого рода дорожными подлецами видит наконец знакомую крышу с несущимися навстречу огоньками, и предстанут пред ним знакомые комнаты, радостный крик выбежавших навстречу людей, шум и беготня детей и успокоительные тихие речи, прерываемые пылающими лобзаниями, властными истребить все печальное из памяти. Счастлив семьянин, у кого есть такой угол, но горе холостяку!

Счастлив писатель, который мимо характеров скучных, противных, поражающих и печальною своею действительностью, приближается к характерам, являющим высокое достоинство человека, который из великого омута ежедневно вращающихся образов избрал одни немногие исключения, который не изменял ни разу возвышенного строя своей лиры, не ниспускался с вершины своей к бедным, ничтожным своим собратьям, и, не касаясь земли, весь повергался и в свои далеко отторгнутые от нее и возвеличенные образы. Вдвойне завиден прекрасный удел его: он среди их, как в родной семье; а между тем далеко и громко разносится слава. Он окурил упоительным куревом людские очи; он чудно польстил им, сокрыв печальное в жизни, показав им прекрасного человека. Все, рукоплеща, несется за ним и мчится вслед за торжественной его колесницей. Великим всемирным поэтом именуют его, парящим высоко над всеми другими гениями мира, как парит орел над другими высоко летающими. При одном имени его уже объемлются трепетом молодые пылкие сердца, ответные слезы ему блещут во всех очах... Нет равного ему в силе — он бог! Но не таков удел, и другая судьба писателя, дерзнувшего вызвать наружу все, что ежеминутно пред очами и чего не зрят равнодушные очи,— всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скучная дорога, и крепкою силою неумолимого резца дерзнувшего выставить их выпукло и ярко на всенародные очи! Ему не собрать народных рукоплесканий, ему не зреть признательных слез и единодушного восторга взволнованных им душ; к нему не полетит навстречу шестнадцатилетняя девушка с закружившеюся головою и геройским увлечением; ему не позабыться в сладком обаянье им же исторгнутых звуков; ему не избежать, наконец, от современного суда, лицемерно-бесчувственного современного суда, который назовет ничтожными и низкими им лелеянные созданья, отведет ему презренный угол в ряду писателей, оскорбляющих человечество, придаст ему качества им же изображенных героев, отнимет от него и сердце, и душу, и божественное пламя таланта. Ибо не признаёт современный суд, что равно чудны стекла, озирающие солнцы и передающие движенья незамеченных насекомых; ибо не признаёт современный суд, что много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести ее в перл созданья; ибо не признаёт современный суд, что высокий восторженный смех достоин стать рядом с высоким лирическим движеньем и что целая пропасть между ним и кривляньем балаганного скомороха! Не признаёт сего современный суд и все обратит в упрек и поношенье непризнанному писателю; без разделенья, без

ответа, без участья, как бессемейный путник, останется он один посреди дороги. Сурово его поприще, и горько почувствует он свое одиночество.

И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы! И далеко еще то время, когда иным ключом грозная вьюга вдохновенья подымется из облеченной в святый ужас и в блистанье главы и почуют в смущенном трепете величавый гром других речей...

В дорогу! в дорогу! прочь набежавшая на чело морщина и строгий сумрак лица! Разом и вдруг окунемся в жизнь со всей ее беззвучной трескотней и бубенчиками и посмотрим, что делает Чичиков.

Чичиков проснулся, потянул руки и ноги и почувствовал, что выспался хорошо. Полежав минуты две на спине, он щелкнул рукою и вспомнил с просиявшим лицом, что у него теперь без малого четыреста душ. Тут же вскочил он с постели, не посмотрел даже на свое лицо, которое любил искренно и в котором, как кажется, привлекательнее всего находил подбородок, ибо весьма часто хвалился им перед кем-нибудь из приятелей, особливо если это происходило во время бритья. «Вот, посмотри,— говорил он обыкновенно, поглаживая его рукою,— какой у меня подбородок: совсем круглый!» Но теперь он не взглянул ни на подбородок, ни на лицо, а прямо, так, как был, надел сафьяновые сапоги с резными выкладками всяких цветов, какими бойко торгует город Торжок благодаря халатным побужденьям русской натуры, и, по-шотландски, в одной короткой рубашке, позабыв свою степенность и приличные средние лета, произвел по комнате два прыжка, пришлепнув себя весьма ловко пяткой ноги. Потом в ту же минуту приступил к делу: перед шкатулкой потер руки с таким же удовольствием, как потирает их выехавший на следствие неподкупный земский суд, подходящий к закуске, и тот же час вынул из нее бумаги. Ему хотелось поскорее кончить все, не откладывая в долгий ящик. Сам решился он сочинить крепости, написать и переписать, чтоб не платить ничего подъячим. Форменный порядок был ему совершенно известен: бойко выставил он большими буквами: «Тысяча восемьсот такого-то года», потом вслед за тем мелкими: «помещик такой-то», и все, что следует. В два часа готово было все. Когда взглянул он потом на эти листики, на мужиков, которые, точно, были когда-то мужиками, работали, пахали, пьянствовали, извозничали, обманывали бар, а может быть, и просто были хорошими мужиками, то какое-то странное, непонятное ему самому чувство овладело им. Каждая из записочек как будто имела какой-то осо-

бенный характер, и чрез то как будто бы самые мужики получали свой собственный характер. Мужики, принадлежавшие Коробочке, все почти были с придатками и прозвищами. Записка Плюшкина отличалась краткостию в слоге: часто были выставлены только начальные слова имен и отчеств и потом две точки. Реестр Собакевича поражал необыкновенною полнотою и обстоятельностию, ни одно из качеств мужика не было пропущено; об одном было сказано: «хороший столяр», к другому приписано: «дело смыслит и хмельного не берет». Означено было также обстоятельно, кто отец, и кто мать, и какого оба были поведения; у одного только какого-то Федотова было написано: «отец неизвестно кто, а родился от дворовой девки Капитолины, но хорошего нрава и не вор». Все сии подробности придавали какой-то особенный вид свежести: казалось, как будто мужики еще вчера были живы. Смотря долго на имена их, он умилился духом и, вздохнувши, произнес: «Батюшки мои, сколько вас здесь напичкано! что вы, сердечные мои, поделывали на веку своем? как перебивались?» И глаза его невольно остановились на одной фамилии: это был известный Петр Савельев Неуважай-Корыто, принадлежавший когда-то помещице Коробочке. Он опять не утерпел, чтоб не сказать: «Эх, какой длинный, во всю строку разъехался! Мастер ли ты был или просто мужик, и какою смертью тебя прибрало? в кабаке ли, или середи дороги переехал тебя сонного неуклюжий обоз? Пробка Степан, плотник, трезвости примерной. А! вот он, Степан Пробка, вот тот богатырь, что в гвардию годился бы! Чай, все губернии исходил с топором за поясом и сапогами на плечах, съедал на грош хлеба да на два сушеной рыбы, а в мошне, чай, притаскивал всякий раз домой целковиков по сту, а может, и государственную зашивал в холстяные штаны или затыкал в сапог,— где тебя прибрало? Взмостился ли ты для большего прибытку под церковный купол, а может быть, и на крест потащился и, поскользнувшись, оттуда, с перекладины, шлепнулся оземь, и только какой-нибудь стоявший возле тебя дядя Михей, почесав рукою в затылке, примолвил: «Эх, Ваня, угораздило тебя!» — а сам, подвязавшись веревкой, полез на твое место. Максим Телятников, сапожник. Хе, сапожник! «Пьян, как сапожник», говорит пословица. Знаю, знаю тебя, голубчик; если хочешь, всю историю твою расскажу: учился ты у немца, который кормил вас всех вместе, бил ремнем по спине за неаккуратность и не выпускал на улицу повесничать, и был ты чудо, а не сапожник, и не нахвалился тобою немец, говоря с женой или с камрадом. А как кончилось твое ученье: «А вот теперь я заведусь своим домком,— сказал ты,— да не так, как немец, что из копейки тянется, а вдруг разбогатею». И вот, давши барину порядочный оброк, завел ты лавчонку, набрав за-

казов кучу, и пошел работать. Достал где-то втридешева гнилушки кожи и выиграл, точно, вдвое на всяком сапоге, да через недели две перелопались твои сапоги, и выбранили тебя подлейшим образом. И вот лавчонка твоя запустела, и ты пошел попивать да валяться по улицам, приговаривая: «Нет, плохо на свете! Нет житья русскому человеку, всё немцы мешают». Это что за мужик: Елизавета Воробей. Фу-ты пропасть: баба! она как сюда затесалась? Подлец, Собакевич, и здесь надул!» Чичиков был прав: это была, точно, баба. Как она забралась туда, неизвестно, но так искусно была прописана, что издали можно было принять ее за мужика, и даже имя оканчивалось на букву ъ, то есть не Елизавета, а Елизаветъ. Однако же он это не принял в уваженье, и тут же ее вычеркнул. «Григорий Доезжай-не-доедешь! Ты что был за человек? Извозом ли промышлял и, заведши тройку и рогожную кибитку, отрекся навеки от дому, от родной берлоги, и пошел тащиться с купцами на ярмарку. На дороге ли ты отдал душу богу, или уходили тебя твои же приятели за какую-нибудь толстую и краснощекую солдатку, или пригляделись лесному бродяге ременные твои рукавицы и тройка приземистых, но крепких коньков, или, может, и сам, лежа на полатях, думал, думал, да ни с того ни с другого заворотил в кабак, а потом прямо в прорубь, и поминай как звали. Эх, русский народец! не любит умирать своею смертью! А вы что, мои голубчики? — продолжал он, переводя глаза на бумажку, где были помечены беглые души Плюшкина,— вы хоть и в живых еще, а что в вас толку! то же, что и мертвые, и где-то носят вас теперь ваши быстрые ноги? Плохо ли вам было у Плюшкина или просто, по своей охоте, гуляете по лесам да дерете проезжих? По тюрьмам ли сидите или пристали к другим господам и пашете землю? Еремей Карякин, Никита Волокита, сын его Антон Волокита — эти, и по прозвищу видно, что хорошие бегуны. Попов, дворовый человек, должен быть грамотей: ножа, я чай, не взял в руки, а проворовался благородным образом. Но вот уж тебя беспашпортного поймал капитан-исправник. Ты стоишь бодро на очной ставке. «Чей ты?» — говорит капитан-исправник, ввернувши тебе при сей верной оказии кое-какое крепкое словцо. «Такого-то и такого-то помещика»,— отвечаешь ты бойко. «Зачем ты здесь?» — говорит капитан-исправник. «Отпущен на оброк»,— отвечаешь ты без запинки. «Где твой пашпорт?» — «У хозяина, мещанина Пименова».— «Позвать Пименова! Ты Пименов?» — «Я Пименов».— «Давал он тебе пашпорт свой?» — «Нет, не давал он мне никакого пашпорта».— «Что ж ты врешь?» — говорит капитан-исправник с прибавкою кое-какого крепкого словца. «Так точно,— отвечаешь ты бойко,— я не давал ему, потому что пришел домой поздно, а отдал на подержание Антипу Прохорову, звона-

рю».— «Позвать звонаря! Давал он тебе паспорт?» — «Нет, не получал я от него паспорта».— «Что ж ты опять врешь! — говорит капитан-исправник, скрепивши речь кое-каким крепким словцом.— Где ж твой паспорт?» — «Он у меня был,— говоришь ты проворно,— да, статься может, видно, как-нибудь дорогой пообронил его».— «А солдатскую шинель,— говорит капитан-исправник, загвоздивши тебе опять в придачу кое-какое крепкое словцо,— зачем стащил? и у священника тоже сундук с медными деньгами?» — «Никак нет,— говоришь ты, не сдвинувшись,— в воровском деле никогда еще не оказывался».— «А почему же шинель нашли у тебя?» — «Не могу знать: верно, кто-нибудь другой принес ее».— «Ах ты бестия, бестия! — говорит капитан-исправник, покачивая головою и взявшись под бока.— А набейте ему на ноги колодки да сведите в тюрьму».— «Извольте! я с удовольствием»,— отвечаешь ты. И вот, вынувши из кармана табакерку, ты потчеваешь дружелюбно каких-то двух инвалидов, набивающих на тебя колодки, и расспрашиваешь их, давно ли они в отставке и в какой войне бывали. И вот ты себе живешь в тюрьме, покамест в суде производится твое дело. И пишет суд: препроводить тебя из Царевококшайска в тюрьму такого-то города, а тот суд пишет опять: препроводить тебя в какой-нибудь Весьегонск, и ты переезжаешь себе из тюрьмы в тюрьму и говоришь, осматривая новое обиталище: «Нет, вот весьегонская тюрьма будет почище: там хоть и в бабки, так есть место, да и общества больше!» Абакум Фыров! ты, брат, что? где, в каких местах шатаешься? Занесло ли тебя на Волгу и взлюбил ты вольную жизнь, приставши к бурлакам?..» Тут Чичиков остановился и слегка задумался. Над чем он задумался? Задумался ли он над участью Абакума Фырова или задумался так, сам собою, как задумывается всякий русский, каких бы ни был лет, чина и состояния, когда замыслит об разгуле широкой жизни? И в самом деле, где теперь Фыров? Гуляет шумно и весело на хлебной пристани, порядившись с купцами. Цветы и ленты на шляпе, вся веселится бурлацкая ватага, прощаясь с любовницами и женами, высокими, стройными, в монистах и лентах; хороводы, песни, кипит вся площадь, а носильщики между тем при криках, бранях и понуканьях, нацепляя крючком по девяти пудов себе на спину, с шумом сыплют горох и пшеницу в глубокие суда, валят кули с овсом и крупой, и далече виднеют по всей площади кучи наваленных в пирамиду, как ядра, мешков, и громадно выглядывает весь хлебный арсенал, пока не перегрузится весь в глубокие суда-суряки и не понесется гусем вместе с весенними льдами бесконечный флот. Там-то вы наработаетесь, бурлаки! и дружно, как прежде гуляли и бесились, приметесь за труд и пот, таща лямку под одну бесконечную, как Русь, песню.

«Эхе, хе! двенадцать часов! — сказал наконец Чичиков, взглянув на часы.— Что ж я так закопался? Да еще пусть бы дело делал, а то ни с того ни с другого сначала загородил околесину, а потом задумался. Экой я дурак в самом деле!» Сказавши это, он переменил свой шотландский костюм на европейский, стянул покрепче пряжкой свой полный живот, вспрыснул себя одеколоном, взял в руки теплый картуз и бумаги под мышку и отправился в гражданскую палату совершать купчую. Он спешил не потому, что боялся опоздать,— опоздать он не боялся, ибо председатель был человек знакомый и мог продлить и укоротить по его желанию присутствие, подобно древнему Зевесу Гомера, длившему дни и насылавшему быстрые ночи, когда нужно было прекратить брань любезных ему героев или дать им средство додраться, но он сам в себе чувствовал желание скорее как можно привести дела к концу; до тех пор ему казалось все неспокойно и неловко; все-таки приходила мысль: что души не совсем настоящие и что в подобных случаях такую обузу всегда нужно поскорее с плеч. Не успел он выйти на улицу, размышляя об всем этом и в то же время таща на плечах медведя, крытого коричневым сукном, как на самом повороте в переулок столкнулся тоже с господином в медведях, крытых коричневым сукном, и в теплом картузе с ушами. Господин вскрикнул, это был Манилов. Они заключили тут же друг друга в объятия и минут пять оставались на улице в таком положении. Поцелуи с обеих сторон так были сильны, что у обоих весь день почти болели передние зубы. У Манилова от радости остались только нос да губы на лице, глаза совершенно исчезли. С четверть часа держал он обеими руками руку Чичикова и нагрел ее страшно. В оборотах самых тонких и приятных он рассказал, как летел обнять Павла Ивановича; речь была заключена таким комплиментом, какой разве только приличен одной девице, с которой идут танцевать. Чичиков открыл рот, еще не зная сам, как благодарить, как вдруг Манилов вынул из-под шубы бумагу, свернутую в трубочку и связанную розовою ленточкой, и подал очень ловко двумя пальцами.

— Это что?

— Мужички.

— А! — Он тут же развернул ее, пробежал глазами и подивился чистоте и красоте почерка.— Славно написано,— сказал он,— не нужно и переписывать. Еще и каемка вокруг! кто это так искусно сделал каемку?

— Ну, уж не спрашивайте,— сказал Манилов.

— Вы?

— Жена.

— Ах боже мой! мне, право, совестно, что нанес столько затруднений.

— Для Павла Ивановича не существует затруднений.

Чичиков поклонился с признательностью. Узнавши, что он шел в палату за совершением купчей, Манилов изъявил готовность ему сопутствовать. Приятели взялись под руку и пошли вместе. При всяком небольшом возвышении, или горке, или ступеньке, Манилов поддерживал Чичикова и почти приподнимал его рукою, присовокупляя с приятною улыбкою, что он не допустит никак Павла Ивановича зашибить свои ножки. Чичиков совестился, не зная, как благодарить, ибо чувствовал, что несколько был тяжеленек. Во взаимных услугах они дошли наконец до площади, где находились присутственные места: большой трехэтажный каменный дом, весь белый, как мел, вероятно для изображения чистоты душ помещавшихся в нем должностей; прочие здания на площади не отвечали огромностию каменному дому. Это были: караульная будка, у которой стоял солдат с ружьем, две-три извозчичьи биржи и, наконец, длинные заборы с известными заборными надписями и рисунками, нацарапанными углем и мелом; более не находилось ничего на сей уединенной, или, как у нас выражаются, красивой площади. Из окон второго и третьего этажа высовывались неподкупные головы жрецов Фемиды и в ту ж минуту прятались опять: вероятно, в то время входил в комнату начальник. Приятели не взошли, а взбежали по лестнице, потому что Чичиков, стараясь избегнуть поддерживанья под руки со стороны Манилова, ускорял шаг, а Манилов тоже, с своей стороны, летел вперед, стараясь не позволить Чичикову устать, и потому оба запыхались весьма сильно, когда вступили в темный коридор. Ни в коридорах, ни в комнатах взор их не был поражен чистотою. Тогда еще не заботились о ней, и то, что было грязно, так и оставалось грязным, не принимая привлекательной наружности. Фемида просто, какова есть, в неглиже и халате принимала гостей. Следовало бы описать канцелярские комнаты, которыми проходили наши герои, но автор питает сильную робость ко всем присутственным местам. Если и случалось ему проходить их даже в блистательном и облагороженном виде, с лакированными полами и столами, он старался пробежать как можно скорее, смиренно опустив и потупив глаза в землю, а потому совершенно не знает, как там все благоденствует и процветает. Герои наши видели много бумаги, и черновой и белой, наклонившиеся головы, широкие затылки, фраки, сертуки губернского покроя и даже просто какую-то светло-серую куртку, отделившуюся весьма резко, которая, своротив голову набок и положив ее почти на самую бумагу, выписывала бойко и замашисто какой-нибудь протокол об оттяганье земли или описке имения, захваченного каким-нибудь мирным помещиком, покойно доживающим век свой под судом, нажившим себе и детей и внуков под его покро-

вом, да слышались урывками короткие выражения, произносимые хриплым голосом: «Одолжите, Федосей Федосеевич, дельце за № 368!» — «Вы всегда куда-нибудь затаскаете пробку с казенной чернильницы!» Иногда голос более величавый, без сомнения одного из начальников, раздавался повелительно: «На, перепиши! а не то снимут сапоги и просидишь ты у меня шесть суток не евши». Шум от перьев был большой и походил на то, как будто бы несколько телег с хворостом проезжали лес, заваленный на четверть аршина иссохшими листьями.

Чичиков и Манилов подошли к первому столу, где сидели два чиновника еще юных лет, и спросили:

— Позвольте узнать, где здесь дела по крепостям?

— А что вам нужно? — сказали оба чиновника, оборотившись.

— А мне нужно подать просьбу.

— А вы что купили такое?

— Я бы хотел прежде знать, где крепостной стол, здесь или в другом месте?

— Да скажите прежде, что купили и в какую цену, так мы вам тогда и скажем где, а так нельзя знать.

Чичиков тотчас увидел, что чиновники были просто любопытны, подобно всем молодым чиновникам, и хотели придать более весу и значения себе и своим занятиям.

— Послушайте, любезные,— сказал он,— я очень хорошо знаю, что все дела по крепостям, в какую бы ни было цену, находятся в одном месте, а потому прошу вас показать нам стол, а если вы не знаете, что у вас делается, так мы спросим у других.

Чиновники на это ничего не отвечали, один из них только тыкнул пальцем в угол комнаты, где сидел за столом какой-то старик, перемечавший какие-то бумаги. Чичиков и Манилов прошли промеж столами прямо к нему. Старик занимался очень внимательно.

— Позвольте узнать,— сказал Чичиков с поклоном,— здесь дела по крепостям?

Старик поднял глаза и произнес с расстановкою:

— Здесь нет дел по крепостям.

— А где же?

— Это в крепостной экспедиции.

— А где же крепостная экспедиция?

— Это у Ивана Антоновича.

— А где же Иван Антонович?

Старик тыкнул пальцем в другой угол комнаты. Чичиков и Манилов отправились к Ивану Антоновичу. Иван Антонович уже запустил один глаз назад и оглянул их искоса, но в ту же минуту погрузился еще внимательнее в писание.

— Позвольте узнать,— сказал Чичиков с поклоном,— здесь крепостной стол?

Иван Антонович как будто бы и не слыхал и углубился совершенно в бумаги, не отвечая ничего. Видно было вдруг, что это был уже человек благоразумных лет, не то что молодой болтун и вертопляс. Иван Антонович, казалось, имел уже далеко за сорок лет; волос на нем был черный, густой; вся середина лица выступала у него вперед и пошла в нос,— словом, это было то лицо, которое называют в общежитье кувшинным рылом.

— Позвольте узнать, здесь крепостная экспедиция? — сказал Чичиков.

— Здесь,— сказал Иван Антонович, поворотил свое кувшинное рыло и приложился опять писать.

— А у меня дело вот какое: куплены мною у разных владельцев здешнего уезда крестьяне на вывод: купчая есть, остается совершить.

— А продавцы налицо?

— Некоторые здесь, а от других доверенность.

— А просьбу принесли?

— Принес и просьбу. Я бы хотел... мне нужно поторопиться... так нельзя ли, например, кончить дело сегодня?

— Да, сегодня! сегодня нельзя,— сказал Иван Антонович.— Нужно навести еще справки, нет ли еще запрещений.

— Впрочем, что до того, чтоб ускорить дело, так Иван Григорьевич, председатель, мне большой друг...

— Да ведь Иван Григорьевич не один; бывают и другие,— сказал сурово Иван Антонович.

Чичиков понял заковыку, которую завернул Иван Антонович, и сказал:

— Другие тоже не будут в обиде, я сам служил, дело знаю...

— Идите к Ивану Григорьевичу,— сказал Иван Антонович голосом несколько поласковее,— пусть он даст приказ, кому следует, а за нами дело не постоит.

Чичиков, вынув из кармана бумажку, положил ее перед Иваном Антоновичем, которую тот совершенно не заметил и накрыл тотчас ее книгою. Чичиков хотел было указать ему ее, но Иван Антонович движением головы дал знать, что не нужно показывать.

— Вот он вас проведет в присутствие! — сказал Иван Антонович, кивнув головою, и один из священнодействующих, тут же находившихся, приносивший с таким усердием жертвы Фемиде, что оба рукава лопнули на локтях и давно лезла оттуда подкладка, за что и получил в свое время коллежского регистратора, прислужился нашим приятелям, как некогда Виргилий прислужился Данту,

и провел их в комнату присутствия, где стояли одни только широкие кресла и в них перед столом, за зерцалом и двумя толстыми книгами, сидел один, как солнце, председатель. В этом месте новый Виргилий почувствовал такое благоговение, что никак не осмелился занести туда ногу и поворотил назад, показав свою спину, вытертую, как рогожка, с прилипнувшим где-то куриным пером. Вошедши в залу присутствия, они увидели, что председатель был не один, подле него сидел Собакевич, совершенно заслоненный зерцалом. Приход гостей произвел восклицание, правительственные кресла были отодвинуты с шумом. Собакевич тоже привстал со стула и стал виден со всех сторон с длинными своими рукавами. Председатель принял Чичикова в объятия, и комната присутствия огласилась поцелуями; спросили друг друга о здоровье; оказалось, что у обоих побаливает поясница, что тут же было отнесено к сидячей жизни. Председатель, казалось, уже был уведомлен Собакевичем о покупке, потому что принялся поздравлять, что сначала несколько смешало нашего героя, особливо когда он увидел, что и Собакевич и Манилов, оба продавцы, с которыми дело было улажено келейно, теперь стояли вместе лицом друг к другу. Однако же он поблагодарил председателя и, обратившись тут же к Собакевичу, спросил:

— А ваше как здоровье?

— Слава богу, не пожалуюсь,— сказал Собакевич.

И точно, не на что было жаловаться: скорее железо могло простудиться и кашлять, чем этот на диво сформованный помещик.

— Да вы всегда славились здоровьем,— сказал председатель,— и покойный ваш батюшка был также крепкий человек.

— Да, на медведя один хаживал,— отвечал Собакевич.

— Мне кажется, однако ж,— сказал председатель,— вы бы тоже повалили медведя, если бы захотели выйти против него.

— Нет, не повалю,— отвечал Собакевич,— покойник был меня покрепче,— и, вздохнувши, продолжал: — Нет, теперь не те люди; вот хоть и моя жизнь, что за жизнь? так как-то себе...

— Чем же ваша жизнь не красна? — сказал председатель.

— Нехорошо, нехорошо,— сказал Собакевич, покачав головою.— Вы посудите, Иван Григорьевич: пятый десяток живу, ни разу не был болен; хоть бы горло заболело, вереД или чирей выскочил... Нет, не к добру! когда-нибудь придется поплатиться за это.— Тут Собакевич погрузился в меланхолию.

«Эк его,— подумали в одно время и Чичиков и председатель,— на что вздумал пенять!»

— К вам у меня есть письмецо,— сказал Чичиков, вынув из кармана письмо Плюшкина.

— От кого? — сказал председатель и, распечатавши, воскликнул: — А! от Плюшкина. Он еще до сих пор прозябает на свете. Вот судьба, ведь какой был умнейший, богатейший человек! а теперь...

— Собака,— сказал Собакевич,— мошенник, всех людей переморил голодом.

— Извольте, извольте,— сказал председатель, прочитав письмо,— я готов быть поверенным. Когда вы хотите совершить купчую, теперь или после?

— Теперь,— сказал Чичиков,— я буду просить даже вас, если можно, сегодня, потому что мне завтра хотелось бы выехать из города; я принес и крепости, и просьбу.

— Все это хорошо, только, уж как хотите, мы вас не выпустим так рано. Крепости будут совершены сегодня, а вы все-таки с нами поживите. Вот я сейчас отдам приказ,— сказал он и отворил дверь в канцелярскую комнату, всю наполненную чиновниками, которые уподобились трудолюбивым пчелам, рассыпавшимся по сотам, если только соты можно уподобить канцелярским делам: — Иван Антонович здесь?

— Здесь,— отозвался голос извнутри.

— Позовите его сюда!

Уже известный читателям Иван Антонович кувшинное рыло показался в зале присутствия и почтительно поклонился.

— Вот возьмите, Иван Антонович, все эти крепости их...

— Да не позабудьте, Иван Григорьевич,— подхватил Собакевич,— нужно будет свидетелей, хотя по два с каждой стороны. Пошлите теперь же к прокурору, он человек праздный и, верно, сидит дома, за него все делает стряпчий Золотуха, первейший хапуга в мире. Инспектор врачебной управы, он также человек праздный и, верно, дома, если не поехал куда-нибудь играть в карты, да еще тут много есть, кто поближе,— Трухачевский, Бегушкин, они все даром бременят землю!

— Именно, именно! — сказал председатель и тот же час отрядил за ними всеми канцелярского.

— Еще я попрошу вас,— сказал Чичиков,— пошлите за поверенным одной помещицы, с которой я тоже совершил сделку, сыном протопопа отца Кирила; он служит у вас же.

— Как же, пошлем и за ним! — сказал председатель.— Все будет сделано, а чиновным вы никому не давайте ничего, об этом я вас прошу. Приятели мои не должны платить.— Сказавши это, он тут же дал какое-то приказанье Ивану Антоновичу, как видно ему не понравившееся. Крепости произвели, кажется, хорошее действие на председателя, особливо когда он увидел, что всех покупок было почти на сто тысяч рублей. Несколько минут он смот-

рел в глаза Чичикову с выраженьем большого удовольствия и наконец сказал:

— Так вот как! Этаким-то образом, Павел Иванович! так вот вы приобрели.

— Приобрел,— отвечал Чичиков.

— Благое дело, право, благое дело!

— Да я вижу сам, что более благого дела не мог бы предпринять. Как бы то ни было, цель человека все еще не определена, если он не стал наконец твердой стопою на прочное основание, а не на какую-нибудь вольнодумную химеру юности.— Тут он весьма кстати выбранил за либерализм, и поделом, всех молодых людей. Но замечательно, что в словах его была все какая-то нетвердость, как будто бы тут же сказал он сам себе: «Эх, брат, врешь ты, да еще и сильно!» Он даже не взглянул на Собакевича и Манилова из боязни встретить что-нибудь на их лицах. Но напрасно боялся он: лицо Собакевича не шевельнулось, а Манилов, обвороженный фразою, от удовольствия только потряхивал одобрительно головою, погрузясь в такое положение, в каком находится любитель музыки, когда певица перещеголяла самую скрыпку и пискнула такую тонкую ноту, какая невмочь и птичьему горлу.

— Да, что ж вы не скажете Ивану Григорьевичу,— отозвался Собакевич,— что такое именно вы приобрели; а вы, Иван Григорьевич, что вы не спросите, какое приобретение они сделали? Ведь какой народ! просто золото. Ведь я им продал и каретника Михеева.

— Нет, будто и Михеева продали? — сказал председатель.— Я знаю каретника Михеева: славный мастер; он мне дрожки переделал. Только позвольте, как же... Ведь вы мне сказывали, что он умер...

— Кто, Михеев умер? — сказал Собакевич, ничуть не смешавшись.— Это его брат умер, а он преживехонький и стал здоровее прежнего. На днях такую бричку наладил, что и в Москве не сделать. Ему, по-настоящему, только на одного государя и работать.

— Да, Михеев славный мастер,— сказал председатель,— и я дивлюсь даже, как вы могли с ним расстаться.

— Да будто один Михеев! А Пробка Степан, плотник, Милушкин, кирпичник, Телятников Максим, сапожник,— ведь все пошли, всех продал! — А когда председатель спросил, зачем же они пошли, будучи людьми необходимыми для дому и мастеровыми, Собакевич отвечал, махнувши рукой: — А! так просто, нашла дурь: дай, говорю, продам, да и продал сдуру! — Засим он повесил голову так, как будто сам раскаивался в этом деле, и прибавил: — Вот и седой человек, а до сих пор не набрался ума.

— Но позвольте, Павел Иванович,— сказал председатель,— как же вы покупаете крестьян без земли? разве на вывод?

— На вывод.

— Ну, на вывод другое дело. А в какие места?

— В места... в Херсонскую губернию.

— О, там отличные земли! — сказал председатель и отозвался с большою похвалою насчет рослости тамошних трав.— А земли в достаточном количестве?

— В достаточном; столько, сколько нужно для купленных крестьян.

— Река или пруд?

— Река. Впрочем, и пруд есть.— Сказав это, Чичиков взглянул ненароком на Собакевича, и хотя Собакевич был по-прежнему неподвижен, но ему казалось, будто бы было написано на лице его: «Ой, врешь ты! вряд ли есть река, и пруд, да и вся земля!»

Пока продолжались разговоры, начали мало-помалу появляться свидетели: знакомый читателю прокурор-моргун, инспектор врачебной управы, Трухачевский, Бегушкин и прочие, по словам Собакевича, даром бременящие землю. Многие из них были совсем незнакомы Чичикову: недостававшие и лишние набраны были тут же, из палатских чиновников. Привели также не только сына протопопа отца Кирила, но даже и самого протопопа. Каждый из свидетелей поместил себя со всеми своими достоинствами и чинами, кто оборотным шрифтом, кто косяками, кто просто чуть не вверх ногами, помещая такие буквы, каких даже и не видано было в русском алфавите. Известный Иван Антонович управился весьма проворно: крепости были записаны, помечены, занесены в книгу и куда следует, с принятием полупроцентовых и за припечатку в «Ведомостях», и Чичикову пришлось заплатить самую малость. Даже председатель дал приказание из пошлинных денег взять с него только половину, а другая, неизвестно каким образом, отнесена была на счет какого-то другого просителя.

— Итак,— сказал председатель, когда все было кончено,— остается теперь только вспрыснуть покупочку.

— Я готов,— сказал Чичиков.— От вас зависит только назначить время. Был бы грех с моей стороны, если бы для эдакого приятного общества да не раскупорить другую-третью бутылочку шипучего.

— Нет, вы не так приняли дело: шипучего мы сами поставим,— сказал председатель,— это наша обязанность, наш долг. Вы у нас гость: нам должно угощать. Знаете ли что, господа! Покамест что, а мы вот как сделаем: отправимтесь-ка все, так как есть, к полицеймейстеру; он у нас чудотворец: ему стоит только миг-

нуть, проходя мимо рыбного ряда или погреба, так мы, знаете ли, так закусим! да при этой оказии и в вистишку.

От такого предложения никто не мог отказаться. Свидетели уже при одном наименованье рыбного ряда почувствовали аппетит; взялись все тот же час за картузы и шапки, и присутствие кончилось. Когда проходили они канцелярию, Иван Антонович кувшинное рыло, учтиво поклонившись, сказал потихоньку Чичикову:

— Крестьян накупили на сто тысяч, а за труды дали только одну беленькую.

— Да ведь какие крестьяне,— отвечал ему на это тоже шепотом Чичиков,— препустой и преничтожный народ, и половины не стоит.

Иван Антонович понял, что посетитель был характера твердого и больше не даст.

— А почем купили душу у Плюшкина? — шепнул ему на другое ухо Собакевич.

— А Воробья зачем приписали? — сказал ему в ответ на это Чичиков.

— Какого Воробья? — сказал Собакевич.

— Да бабу, Елизавету Воробья, еще и букву ъ поставили на конце.

— Нет, никакого Воробья я не приписывал,— сказал Собакевич и отошел к другим гостям.

Гости добрались наконец гурьбой к дому полицеймейстера. Полицеймейстер, точно, был чудотворец: как только услышал он, в чем дело, в ту ж минуту кликнул квартального, бойкого малого в лакированных ботфортах, и, кажется, всего два слова шепнул ему на ухо да прибавил только: «Понимаешь!» — а уж там, в другой комнате, в продолжение того времени, как гости резались в вист, появилась на столе белуга, осетры, семга, икра паюсная, икра свежепросольная, селедки, севрюжки, сыры, копченые языки и балыки,— это все было со стороны рыбного ряда. Потом появились прибавления с хозяйской стороны, изделия кухни: пирог с головизною, куда вошли хрящ и щеки девятипудового осетра, другой пирог — с груздями, пряженцы, маслянцы, взваренцы. Полицеймейстер был некоторым образом отец и благотворитель в городе. Он был среди граждан совершенно как в родной семье, а в лавки и в гостиный двор наведывался, как в собственную кладовую. Вообще он сидел, как говорится, на своем месте и должность свою постигнул в совершенстве. Трудно было даже и решить, он ли был создан для места или место для него. Дело было так поведено умно, что он получал вдвое больше доходов противу всех своих предшественников, а между тем заслужил любовь всего города. Купцы первые

его очень любили, именно за то, что не горд; и точно, он крестил у них детей, кумился с ними и хоть драл подчас с них сильно, но как-то чрезвычайно ловко: и по плечу потреплет, и засмеется, и чаем напоит, пообещается и сам прийти поиграть в шашки, расспросит обо всем: как делишки, что и как. Если узнает, что детеныш как-нибудь прихворнул, и лекарство присоветует,— словом, молодец! Поедет на дрожках, даст порядок, а между тем и словцо промолвит тому-другому: «Что, Михеич! нужно бы нам с тобою доиграть когда-нибудь в горку».— «Да, Алексей Иванович,— отвечал тот, снимая шапку,— нужно бы».— «Ну, брат, Илья Парамоныч, приходи ко мне поглядеть рысака: в обгон с твоим пойдет, да и своего заложи в беговые; попробуем». Купец, который на рысаке был помешан, улыбался на это с особенною, как говорится, охотою и, поглаживая бороду, говорил: «Попробуем, Алексей Иванович!» Даже все сидельцы обыкновенно в это время, снявши шапки, с удовольствием посматривали друг на друга и как будто бы хотели сказать: «Алексей Иванович хороший человек!» Словом, он успел приобресть совершенную народность, и мнение купцов было такое, что Алексей Иванович «хоть оно и возьмет, но зато уж никак тебя не выдаст».

Заметив, что закуска была готова, полицеймейстер предложил гостям окончить вист после завтрака, и все пошли в ту комнату, откуда несшийся запах давно начинал приятным образом щекотать ноздри гостей и куда уже Собакевич давно заглядывал в дверь, наметив издали осетра, лежавшего в стороне на большом блюде. Гости, выпивши по рюмке водки темного оливкового цвета, какой бывает только на сибирских прозрачных камнях, из которых режут на Руси печати, приступили со всех сторон с вилками к столу и стали обнаруживать, как говорится, каждый свой характер и склонности, налегая кто на икру, кто на семгу, кто на сыр. Собакевич, оставив без всякого внимания все эти мелочи, пристроился к осетру, и, покамест те пили, разговаривали и ели, он в четверть часа с небольшим доехал его всего, так что когда полицеймейстер вспомнил было о нем и, сказавши: «А каково вам, господа, покажется вот это произведенье природы?» — подошел было к нему с вилкою вместе с другими, то увидел, что от произведенья природы оставался всего один хвост; а Собакевич пришипился так, как будто и не он, и, подошедши к тарелке, которая была подальше прочих, тыкал вилкою в какую-то сушеную маленькую рыбку. Отделавши осетра, Собакевич сел в кресла и уж более не ел, не пил, а только жмурил и хлопал глазами. Полицеймейстер, кажется, не любил жалеть вина; тостам не было числа. Первый тост был выпит, как читатели, может быть, и сами догадаются, за здоровье нового херсонского помещика, потом за благоденствие крестьян его и

счастливое их переселение, потом за здоровье будущей жены его, красавицы, что сорвало приятную улыбку с уст нашего героя. Приступили к нему со всех сторон и стали упрашивать убедительно остаться хоть на две недели в городе:

— Нет, Павел Иванович! как вы себе хотите, это выходит избу только выхолаживать: на порог, да и назад! нет, вы проведите время с нами! Вот мы вас женим: не правда ли, Иван Григорьевич, женим его?

— Женим, женим! — подхватил председатель.— Уж как ни упирайтесь руками и ногами, мы вас женим! Нет, батюшка, попали сюда, так не жалуйтесь. Мы шутить не любим.

— Что ж? зачем упираться руками и ногами,— сказал, усмехнувшись, Чичиков,— женитьба еще не такая вещь, чтобы того, была бы невеста.

— Будет и невеста, как не быть, все будет, все, что хотите!..

— А коли будет...

— Браво, остается! — закричали все.— Виват, ура, Павел Иванович! ура! — И все подошли к нему чокаться с бокалами в руках.

Чичиков перечокался со всеми. «Нет, нет, еще!» — говорили те, которые были позадорнее, и вновь перечокались; потом полезли в третий раз чокаться, перечокались и в третий раз. В непродолжительное время всем сделалось весело необыкновенно. Председатель, который был премилый человек, когда развеселялся, обнимал несколько раз Чичикова, произнеся в излиянии сердечном: «Душа ты моя! маменька моя!» — и даже, щелкнув пальцами, пошел приплясывать вокруг него, припевая известную песню: «Ах ты такой и этакой камаринский мужик». После шампанского раскупорили венгерское, которое придало еще более духу и развеселило общество. Об висте решительно позабыли; спорили, кричали, говорили обо всем: об политике, об военном даже деле, излагали вольные мысли, за которые в другое время сами бы высекли своих детей. Решили тут же множество самых затруднительных вопросов. Чичиков никогда не чувствовал себя в таком веселом расположении, воображал себя уже настоящим херсонским помещиком, говорил об разных улучшениях: о трехпольном хозяйстве, о счастии и блаженстве двух душ, и стал читать Собакевичу послание в стихах Вертера к Шарлотте, на которое тот хлопал только глазами, сидя в креслах, ибо после осетра чувствовал большой позыв ко сну. Чичиков смекнул и сам, что начал уже слишком развязываться, попросил экипажа и воспользовался прокурорскими дрожками. Прокурорский кучер, как оказалось в дороге, был малый опытный, потому что правил одной только рукой, а другую засунув назад, придерживал ею барина. Таким образом, уже на проку-

рорских дрожках доехал он к себе в гостиницу, где долго еще у него вертелся на языке всякий вздор: белокурая невеста с румянцем и ямочкой на правой щеке, херсонские деревни, капиталы. Селифану даже были даны кое-какие хозяйственные приказания: собрать всех вновь переселившихся мужиков, чтобы сделать всем лично поголовную перекличку. Селифан молча слушал очень долго и потом вышел из комнаты, сказавши Петрушке: «Ступай раздевать барина!» Петрушка принялся снимать с него сапоги и чуть не стащил вместе с ними на пол и самого барина. Но наконец сапоги были сняты; барин разделся как следует и, поворочавшись несколько времени на постеле, которая скрыпела немилосердно, заснул решительно херсонским помещиком. А Петрушка между тем вынес на коридор панталоны и фрак брусничного цвета с искрой, который, растопыривши на деревянную вешалку, начал бить хлыстом и щеткой, напустивши пыли на весь коридор. Готовясь уже снять их, он взглянул с галереи вниз и увидел Селифана, возвращавшегося из конюшни. Они встретились взглядами и чутьем поняли друг друга: барин-де завалился спать, можно и заглянуть кое-куда. Тот же час, отнесши в комнату фрак и панталоны, Петрушка сошел вниз, и оба пошли вместе, не говоря друг другу ничего о цели путешествия и балагуря дорогою совершенно о постороннем. Прогулку сделали они недалекую: именно, перешли только на другую сторону улицы, к дому, бывшему насупротив гостиницы, и вошли в низенькую стеклянную закоптившуюся дверь, приводившую почти в подвал, где уже сидело за деревянными столами много всяких: и бривших и не бривших бороды, и в нагольных тулупах и просто в рубахе, а кое-кто и во фризовой шинели. Что делали там Петрушка с Селифаном, бог их ведает, но вышли они оттуда через час, взявшись за руки, сохраняя совершенное молчание, оказывая друг другу большое внимание и предостерегая взаимно от всяких углов. Рука в руку, не выпуская друг друга, они целые четверть часа взбирались на лестницу, наконец одолели ее и взошли. Петрушка остановился с минуту перед низенькою своею кроватью, придумывая, как бы лечь приличнее, и лег совершенно поперек, так что ноги его упирались в пол. Селифан лег и сам на той же кровати, поместив голову у Петрушки на брюхе и позабыв о том, что ему следовало спать вовсе не здесь, а, может быть, в людской, если не в конюшне близ лошадей. Оба заснули в ту же минуту, поднявши храп неслыханной густоты, на который барин из другой комнаты отвечал тонким носовым свистом. Скоро вслед за ними все угомонилось, и гостиница объялась непробудным сном; только в одном окошечке виден еще был свет, где жил какой-то приехавший из Рязани поручик, большой, по-видимому, охотник до сапогов, потому что заказал уже четыре пары и беспрестанно

примеривал пятую. Несколько раз подходил он к постели, с тем чтобы их скинуть и лечь, но никак не мог: сапоги, точно, были хорошо сшиты, и долго еще поднимал он ногу и обсматривал бойко и на диво стачанный каблук.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Покупки Чичикова сделались предметом разговоров. В городе пошли толки, мнения, рассуждения о том, выгодно ли покупать на вывод крестьян. Из прений многие отзывались совершенным познанием предмета. «Конечно,— говорили иные,— это так, против этого и спору нет: земли в южных губерниях, точно, хороши и плодородны; но каково будет крестьянам Чичикова без воды? реки ведь нет никакой».— «Это бы еще ничего, что нет воды, это бы ничего, Степан Дмитриевич, но переселение-то ненадежная вещь. Дело известное, что мужик: на новой земле, да заняться еще хлебопашеством, да ничего у него нет, ни избы, ни двора,— убежит, как дважды два, навострит так лыжи, что и следа не отыщешь».— «Нет, Алексей Иванович, позвольте, позвольте, я не согласен с тем, что вы говорите, что мужик Чичикова убежит. Русский человек способен ко всему и привыкает ко всякому климату. Пошли его хоть в Камчатку, да дай только теплые рукавицы, он похлопает руками, топор в руки, и пошел рубить себе новую избу».— «Но, Иван Григорьевич, ты упустил из виду важное дело: ты не спросил еще, каков мужик у Чичикова. Позабыл то, что ведь хорошего человека не продаст помещик; я готов голову положить, если мужик Чичикова не вор и не пьяница в последней степени, праздношатайка и буйного поведения».— «Так, так, на это я согласен, это правда, никто не продаст хороших людей, и мужики Чичикова пьяницы, но нужно принять во внимание, что вот тут-то и есть мораль, тут-то и заключена мораль: они теперь негодяи, а, переселившись на новую землю, вдруг могут сделаться отличными подданными. Уж было немало таких примеров: просто в мире, да и по истории тоже».— «Никогда, никогда,— говорил управляющий казенными фабриками,— поверьте, никогда это не может быть. Ибо у крестьян Чичикова будут теперь два сильные врага. Первый враг есть близость губерний малороссийских, где, как известно, свободная продажа вина. Я вас уверяю: в две недели они изопьются и будут стельки. Другой враг есть уже самая привычка к бродяжнической жизни, которая необходимо приобретется крестьянами во время переселения. Нужно разве, чтобы они вечно были перед глазами Чичикова и чтоб он держал их в ежовых рукавицах, гонял бы их за всякий вздор, да и не то чтобы полагаясь на

другого, а чтобы сам таки лично, где следует, дал бы и зуботычину и подзатыльника».— «Зачем же Чичикову возиться самому и давать подзатыльники, он может найти и управителя».— «Да, найдете управителя: все мошенники!» — «Мошенники потому, что господа не занимаются делом».— «Это правда,— подхватили многие.— Знай господин сам хотя сколько-нибудь толку в хозяйстве да умей различать людей — у него будет всегда хороший управитель». Но управляющий сказал, что меньше как за пять тысяч пельзя найти хорошего управителя. Но председатель сказал, что можно и за три тысячи сыскать. Но управляющий сказал: «Где же вы его сыщете? разве у себя в носу?» Но председатель сказал: «Нет, не в носу, а в здешнем же уезде, именно: Петр Петрович Самойлов: вот управитель, какой нужен для мужиков Чичикова!» Многие сильно входили в положение Чичикова, и трудность переселения такого огромного количества крестьян их чрезвычайно устрашала; стали сильно опасаться, чтобы не произошло даже бунта между таким беспокойным народом, каковы крестьяне Чичикова. На это полицеймейстер заметил, что бунта нечего опасаться, что в отвращение его существует власть капитана-исправника, что капитан-исправник хоть сам и не езди, а пошли только на место себя один картуз свой, то один этот картуз погонит крестьян до самого места их жительства. Многие предложили свои мнения насчет того, как искоренить буйный дух, обуревавший крестьян Чичикова. Мнения были всякого рода: были такие, которые уже чересчур отзывались военною жестокостью и строгостию, едва ли не излишнею; были, однако же, и такие, которые дышали кротостию. Почтмейстер заметил, что Чичикову предстоит священная обязанность, что он может сделаться среди своих крестьян некоторого рода отцом, по его выражению, ввести даже благодетельное просвещение, и при этом случае отозвался с большою похвалою об Ланкастеровой школе взаимного обученья.

Таким образом рассуждали и говорили в городе, и многие, побуждаемые участием, сообщили даже Чичикову лично некоторые из сих советов, предлагали даже конвой для безопасного препровожденья крестьян до места жительства. За советы Чичиков благодарил, говоря, что при случае не преминет ими воспользоваться, а от конвоя отказался решительно, говоря, что он совершенно не нужен, что купленные им крестьяне отменно смирного характера, чувствуют сами добровольное расположение к переселению и что бунта ни в каком случае между ними быть не может.

Все эти толки и рассуждения произвели, однако ж, самые благоприятные следствия, каких только мог ожидать Чичиков. Именно, пронеслись слухи, что он не более, не менее как миллионщик. Жители города и без того, как уже мы видели в первой

главе, душевно полюбили Чичикова, а теперь, после таких слухов, полюбили еще душевнее. Впрочем, если сказать правду, они всё были народ добрый, жили между собою в ладу, обращались совершенно по-приятельски, и беседы их носили печать какого-то особенного простодушия и короткости: «Любезный друг Илья Ильич», «Послушай, брат, Антипатор Захарьевич!», «Ты заврался, мамочка, Иван Григорьевич». К почтмейстеру, которого звали Иван Андреевич, всегда прибавляли: «Шпрехен зи дейч, Иван Андрейч?» — словом, все было очень семейственно. Многие были не без образования: председатель палаты знал наизусть «Людмилу» Жуковского, которая еще была тогда непростывшею новостию, и мастерски читал многие места, особенно: «Бор заснул, долина спит», и слово «чу!» так, что в самом деле виделось, как будто долина спит; для большего сходства он даже в это время зажмуривал глаза. Почтмейстер вдался более в философию и читал весьма прилежно, даже по ночам, Юнговы «Ночи» и «Ключ к таинствам натуры» Эккартсгаузена, из которых делал весьма длинные выписки, но какого рода они были, это никому не было известно; впрочем, он был остряк, цветист в словах и любил, как сам выражался, уснастить речь. А уснащивал он речь множеством разных частиц, как-то: «судырь ты мой, эдакой какой-нибудь, знаете, понимаете, можете себе представить, относительно так сказать, некоторым образом», и прочими, которые сыпал он мешками; уснащивал он речь тоже довольно удачно подмаргиванием, прищуриванием одного глаза, что все придавало весьма едкое выражение многим его сатирическим намекам. Прочие тоже были более или менее люди просвещенные: кто читал Карамзина, кто «Московские ведомости», кто даже и совсем ничего не читал. Кто был то, что называют тюрюк, то есть человек, которого нужно было подымать пинком на что-нибудь; кто был просто байбак, лежавший, как говорится, весь век на боку, которого даже напрасно было подымать: не встанет ни в каком случае. Насчет благовидности уже известно, все они были люди надежные, чахоточного между ними никого не было. Все были такого рода, которым жены в нежных разговорах, происходящих в уединении, давали названия: кубышки, толстунчика, пузантика, чернушки, кики, жужу и проч. Но вообще они были народ добрый, полны гостеприимства, и человек, вкусивший с ними хлеба-соли или просидевший вечер за вистом, уже становился чем-то близким, тем более Чичиков с своими обворожительными качествами и приемами, знавший в самом деле великую тайну нравиться. Они так полюбили его, что он не видел средств, как вырваться из города; только и слышал он: «Ну, недельку, еще одну недельку поживите с нами, Павел Иванович!» — словом, он был носим, как говорится, на руках. Но несравненно замечательнее было впечат-

ление (совершенный предмет изумления!), которое произвел Чичиков на дам. Чтоб это сколько-нибудь изъяснить, следовало бы сказать многое о самих дамах, об их обществе, описать, как говорится, живыми красками их душевные качества; но для автора это очень трудно. С одной стороны, останавливает его неограниченное почтение к супругам сановников, а с другой стороны... с другой стороны — просто трудно. Дамы города N. были... нет, никаким образом не могу: чувствуется точно робость. В дамах города N. больше всего замечательно было то... Даже странно, совсем не подымается перо, точно будто свинец какой-нибудь сидит в нем. Так и быть: о характерах их, видно, нужно предоставить сказать тому, у которого поживее краски и побольше их на палитре, а нам придется разве слова два о наружности да о том, что поповерхностней. Дамы города N. были то, что называют презентабельны, и в этом отношении их можно было смело поставить в пример всем другим. Что до того, как вести себя, соблюсти тон, поддержать этикет, множество приличий самых тонких, а особенно наблюсти моду в самых последних мелочах, то в этом они опередили даже дам петербургских и московских. Одевались они с большим вкусом, разъезжали по городу в колясках, как предписывала последняя мода, сзади покачивался лакей, и ливрея в золотых позументах. Визитная карточка, будь она писана хоть на трефовой двойке или бубновом тузе, но вещь была очень священная. Из-за нее две дамы, большие приятельницы и даже родственницы, перессорились совершенно, именно за то, что одна из них как-то манкировала контрвизитом. И уж как ни старались потом мужья и родственники примирить их, но нет, оказалось, что все можно сделать на свете, одного только нельзя: примирить двух дам, поссорившихся за манкировку визита. Так обе дамы и остались во взаимном нерасположении, по выражению городского света. Насчет занятия первых мест происходило тоже множество весьма сильных сцен, внушавших мужьям иногда совершенно рыцарские, великодушные понятия о заступничестве. Дуэли, конечно, между ними не происходило, потому что все были гражданские чиновники, но зато один другому старался напакостить, где было можно, что, как известно, подчас бывает тяжелее всякой дуэли. В нравах дамы города N. были строги, исполнены благородного негодования противу всего порочного и всяких соблазнов, казнили без всякой пощады всякие слабости. Если же между ими и происходило какое-нибудь то, что называют *другое-третье,* то оно происходило втайне, так что не было подаваемо никакого вида, что происходило; сохранялось все достоинство, и самый муж так был приготовлен, что если и видел *другое-третье* или слышал о нем, то отвечал коротко и благоразумно пословицею: «Кому какое дело, что кума с кумом сидела». Еще

нужно сказать, что дамы города N. отличались, подобно многим дамам петербургским, необыкновенною осторожностию и приличием в словах и выражениях. Никогда не говорили они: «я высморкалась», «я вспотела», «я плюнула», а говорили: «я облегчила себе нос», «я обошлась посредством платка». Ни в каком случае нельзя было сказать: «этот стакан или эта тарелка воняет». И даже нельзя было сказать ничего такого, что бы подало намек на это, а говорили вместо того: «этот стакан нехорошо ведет себя» или что-нибудь вроде этого. Чтоб еще более облагородить русский язык, половина почти слов была выброшена вовсе из разговора и потому весьма часто было нужно прибегать к французскому языку, зато уж там, по-французски, другое дело: там позволялись такие слова, которые были гораздо пожестче упомянутых. Итак, вот что можно сказать о дамах города N., говоря поповерхностней. Но если заглянуть поглубже, то, конечно, откроется много иных вещей; но весьма опасно заглядывать поглубже в дамские сердца. Итак, ограничась поверхностью, будем продолжать. До сих пор все дамы как-то мало говорили о Чичикове, отдавая, впрочем, ему полную справедливость в приятности светского обращения; но с тех пор как пронеслись слухи об его миллионстве, отыскались и другие качества. Впрочем, дамы были вовсе не интересанки; виною всему слово «миллионщик»,— не сам миллионщик, а именно одно слово; ибо в одном звуке этого слова, мимо всякого денежного мешка, заключается что-то такое, которое действует и на людей подлецов, и на людей ни се ни то, и на людей хороших,— словом, на всех действует. Миллионщик имеет ту выгоду, что может видеть подлость, совершенно бескорыстную, чистую подлость, не основанную ни на каких расчетах: многие очень хорошо знают, что ничего не получат от него и не имеют никакого права получить, но непременно хоть забегут ему вперед, хоть засмеются, хоть снимут шляпу, хоть напросятся насильно на тот обед, куда узнают, что приглашен миллионщик. Нельзя сказать, чтобы это нежное расположение к подлости было почувствовано дамами; однако же в многих гостиных стали говорить, что, конечно, Чичиков не первый красавец, но зато таков, как следует быть мужчине, что будь он немного толще или полнее, уж это было бы нехорошо. При этом было сказано как-то даже несколько обидно насчет тоненького мужчины: что он больше ничего, как что-то вроде зубочистки, а не человек. В дамских нарядах оказались многие разные прибавления. В гостином дворе сделалась толкотня, чуть не давка; образовалось даже гулянье, до такой степени наехало экипажей. Купцы изумились, увидя, как несколько кусков материй, привезенных ими с ярмарки и не сходивших с рук по причине цены, показавшейся высокою, пошли вдруг в ход и были раскуплены нарасхват. Во время обедни у од-

ной из дам заметили внизу платья такое руло, которое растопырило его на полцеркви, так что частный пристав, находившийся тут же, дал приказание подвинуться народу подалее, то есть поближе к паперти, чтоб как-нибудь не измялся туалет ее высокоблагородия. Сам даже Чичиков не мог отчасти не заметить такого необыкновенного внимания. Один раз, возвратясь к себе домой, он нашел на столе у себя письмо; откуда и кто принес его, ничего нельзя было узнать; трактирный слуга отозвался, что принесли-де и не велели сказывать от кого. Письмо начиналось очень решительно, именно так: «Нет, я должна к тебе писать!» Потом говорено было о том, что есть тайное сочувствие между душами; эта истина скреплена была несколькими точками, занявшими почти полстроки; потом следовало несколько мыслей, весьма замечательных по своей справедливости, так что считаем почти необходимым их выписать: «Что жизнь наша? — Долина, где поселились горести. Что свет? — Толпа людей, которая не чувствует». Затем писавшая упоминала, что омочает слезами строки нежной матери, которая, протекло двадцать пять лет, как уже не существует на свете; приглашали Чичикова в пустыню, оставить навсегда город, где люди в душных оградах не пользуются воздухом; окончание письма отзывалось даже решительным отчаяньем и заключалось такими стихами:

Две горлицы покажут
Тебе мой хладный прах.
Воркуя томно, скажут,
Что она умерла во слезах.

В последней строке не было размера, но это, впрочем, ничего: письмо было написано в духе тогдашнего времени. Никакой подписи тоже не было: ни имени, ни фамилии, ни даже месяца и числа. В postscriptum [1] было только прибавлено, что его собственное сердце должно отгадать писавшую и что на бале у губернатора, имеющем быть завтра, будет присутствовать сам оригинал.

Это очень его заинтересовало. В анониме было так много заманчивого и подстрекающего любопытство, что он перечел и в другой и в третий раз письмо и наконец сказал: «Любопытно бы, однако ж, знать, кто бы такая была писавшая!» Словом, дело, как видно, сделалось сурьезно; более часу он все думал об этом, наконец, расставив руки и наклоня голову, сказал: «А письмо очень, очень кудряво написано!» Потом, само собой разумеется, письмо было свернуто и уложено в шкатулку, в соседстве с какою-то афишею и пригласительным свадебным билетом, семь лет сохранявшимся в том же положении и на том же месте. Немного спустя принесли к нему, точно, приглашенье на бал к губернатору,— дело

[1] В приписке *(лат.)*.

весьма обыкновенное в губернских городах: где губернатор, там и бал, иначе никак не будет надлежащей любви и уважения со стороны дворянства.

Все постороннее было в ту же минуту оставлено и отстранено прочь, и все было устремлено на приготовление к балу; ибо, точно, было много побудительных и задирающих причин. Зато, может быть, от самого созданья света не было употреблено столько времени на туалет. Целый час был посвящен только на одно рассматривание лица в зеркале. Пробовалось сообщить ему множество разных выражений: то важное и степенное, то почтительное, но с некоторою улыбкою, то просто почтительное без улыбки; отпущено было в зеркало несколько поклонов в сопровождении неясных звуков, отчасти похожих на французские, хотя по-французски Чичиков не знал вовсе. Он сделал даже самому себе множество приятных сюрпризов, подмигнул бровью и губами и сделал кое-что даже языком; словом, мало ли чего не делаешь, оставшись один, чувствуя притом, что хорош, да к тому же будучи уверен, что никто не заглядывает в щелку. Наконец он слегка трепнул себя по подбородку, сказавши: «Ах ты мордашка эдакой!» — и стал одеваться. Самое довольное расположение сопровождало его во все время одевания: надевая подтяжки или повязывая галстук, он расшаркивался и кланялся с особенною ловкостию и хотя никогда не танцевал, но сделал антраша. Это антраша произвело маленькое невинное следствие: задрожал комод, и упала со стола щетка.

Появление его на бале произвело необыкновенное действие. Все, что ни было, обратилось к нему навстречу, кто с картами в руках, кто на самом интересном пункте разговора произнесши: «а нижний земский суд отвечает на это...», но что такое отвечает земский суд, уж это он бросил в сторону и спешил с приветствием к нашему герою. «Павел Иванович! Ах боже мой, Павел Иванович! Любезный Павел Иванович! Почтеннейший Павел Иванович! Душа моя, Павел Иванович! Вот вы где, Павел Иванович! Вот он, наш Павел Иванович! Позвольте прижать вас, Павел Иванович! Давайте-ка его сюда, вот я его поцелую покрепче, моего дорогого Павла Ивановича!» Чичиков разом почувствовал себя в нескольких объятиях. Не успел совершенно выкарабкаться из объятий председателя, как очутился уже в объятиях полицеймейстера; полицеймейстер сдал его инспектору врачебной управы; инспектор врачебной управы — откупщику, откупщик — архитектору... Губернатор, который в это время стоял возле дам и держал в одной руке конфектный билет, а в другой болонку, увидя его, бросил на пол и билет и болонку,— только завизжала собачонка; словом, распространил он радость и веселье необыкновенное. Не было лица, на котором бы не выразилось удовольствие или, по крайней мере, от-

ражение всеобщего удовольствия. Так бывает на лицах чиновников во время осмотра приехавшим начальником вверенных управлению их мест: после того как уже первый страх прошел, они увидели, что многое ему нравится, и он сам изволил наконец пошутить, то есть произнести с приятною усмешкой несколько слов. Смеются вдвое в ответ на это обступившие его приближенные чиновники; смеются от души те, которые, впрочем, несколько плохо услыхали произнесенные им слова, и, наконец, стоящий далеко у дверей у самого выхода какой-нибудь полицейский, отроду не смеявшийся во всю жизнь свою и только что показавший перед тем народу кулак, и тот по неизменным законам отражения выражает на лице своем какую-то улыбку, хотя эта улыбка более похожа на то, как бы кто-нибудь собирался чихнуть после крепкого табаку. Герой наш отвечал всем и каждому и чувствовал какую-то ловкость необыкновенную: раскланивался направо и налево, по обыкновению своему несколько набок, но совершенно свободно, так что очаровал всех. Дамы тут же обступили его блистающею гирляндою и нанесли с собой целые облака всякого рода благоуханий: одна дышала розами, от другой несло весной и фиалками, третья вся насквозь была продушена резедой; Чичиков подымал только нос кверху да нюхал. В нарядах их вкусу было пропасть: муслины, атласы, кисеи были таких бледных модных цветов, каким даже и названья нельзя было прибрать (до такой степени дошла тонкость вкуса). Ленточные банты и цветочные букеты порхали там и там по платьям в самом картинном беспорядке, хотя над этим беспорядком трудилась много порядочная голова. Легкий головной убор держался только на одних ушах и, казалось, говорил: «Эй, улечу, жаль только, что не подыму с собой красавицу!» Талии были обтянуты и имели самые крепкие и приятные для глаз формы (нужно заметить, что вообще все дамы города N. были несколько полны, но шнуровались так искусно и имели такое приятное обращение, что толщины никак нельзя было приметить). Все было у них придумано и предусмотрено с необыкновенною осмотрительностию; шея, плечи были открыты именно настолько, насколько нужно, и никак не дальше; каждая обнажила свои владения до тех пор, пока чувствовала по собственному убеждению, что они способны погубить человека; остальное все было припрятано с необыкновенным вкусом: или какой-нибудь легонький галстучек из ленты, или шарф легче пирожного, известного под именем «поцелуя», эфирно обнимал шею, или выпущены были из-за плеч, из-под платья, маленькие зубчатые стенки из тонкого батиста, известные под именем «скромностей». Эти «скромности» скрывали напереди и сзади то, что уже не могло нанести гибели человеку, а между тем заставляли подозревать, что там-то именно и была самая погибель. Длин-

ные перчатки были надеты не вплоть до рукавов, но обдуманно оставляли обнаженными возбудительные части рук повыше локтя, которые у многих дышали завидною полнотою; у иных даже лопнули лайковые перчатки, побужденные надвинуться далее,— словом, кажется, как будто на всем было написано: нет, это не губерния, это столица, это сам Париж! Только местами вдруг высовывался какой-нибудь не виданный землею чепец или даже какое-то чуть не павлиное перо в противность всем модам, по собственному вкусу. Но уж без этого нельзя, таково свойство губернского города: где-нибудь уж он непременно оборвется. Чичиков, стоя перед ними, думал: «Которая, однако же, сочинительница письма?» — и высунул было вперед нос; но по самому носу дернул его целый ряд локтей, обшлагов, рукавов, концов лент, душистых шемизеток и платьев. Галопад летел во всю пропалую: почтмейстерша, капитан-исправник, дама с голубым пером, дама с белым пером, грузинский князь Чипхайхилидзев, чиновник из Петербурга, чиновник из Москвы, француз Куку, Перхуновский, Беребендовский — все поднялось и понеслось...

— Вона! пошла писать губерния! — проговорил Чичиков, попятившись назад, и как только дамы расселись по местам, он вновь начал выглядывать: нельзя ли по выражению в лице и в глазах узнать, которая была сочинительница; но никак нельзя было узнать ни по выражению в лице, ни по выражению в глазах, которая была сочинительница. Везде было заметно такое чуть-чуть обнаруженное, такое неуловимо-тонкое, у! какое тонкое!.. «Нет,— сказал сам в себе Чичиков,— женщины, это такой предмет...— Здесь он и рукой махнул: — просто и говорить нечего! Поди-ка попробуй рассказать или передать все то, что бегает на их лицах, все те излучинки, намеки,— а вот просто ничего не передашь. Одни глаза их такое бесконечное государство, в которое заехал человек — и поминай как звали! Уж его оттуда ни крючком, ничем не вытащишь. Ну попробуй, например, рассказать один блеск их: влажный, бархатный, сахарный. Бог их знает какого нет еще! и жесткий, и мягкий, и даже совсем томный, или, как иные говорят, в неге, или без неги, но пуще, нежели в неге — так вот зацепит за сердце, да и поведет по всей душе, как будто смычком. Нет, просто не приберешь слова: галантёрная половина человеческого рода, да и ничего больше!»

Виноват! Кажется, из уст нашего героя излетело словцо, подмеченное на улице. Что ж делать? Таково на Руси положение писателя! Впрочем, если слово из улицы попало в книгу, не писатель виноват, виноваты читатели, и прежде всего читатели высшего общества: от них первых не услышишь ни одного порядочного русского слова, а французскими, немецкими и английскими они, пожа-

луй, наделят в таком количестве, что и не захочешь, и наделят даже с сохранением всех возможных произношений: по-французски в нос и картавя, по-английски произнесут, как следует птице, и даже физиономию сделают птичью, и даже посмеются над тем, кто не сумеет сделать птичьей физиономии; а вот только русским ничем не наделят, разве из патриотизма выстроят для себя на даче избу в русском вкусе. Вот каковы читатели высшего сословия, а за ними и все причитающие себя к высшему сословию! А между тем какая взыскательность! Хотят непременно, чтобы все было написано языком самым строгим, очищенным и благородным,— словом, хотят, чтобы русский язык сам собою опустился вдруг с облаков, обработанный как следует, и сел бы им прямо на язык, а им бы больше ничего, как только разинуть рты да выставить его. Конечно, мудрена женская половина человеческого рода; но почтенные читатели, надо признаться, бывают еще мудренее.

А Чичиков приходил между тем в совершенное недоумение решить, которая из дам была сочинительница письма. Попробовавши устремить внимательнее взор, он увидел, что с дамской стороны тоже выражалось что-то такое, ниспосылающее вместе и надежду, и сладкие муки в сердце бедного смертного, что он наконец сказал: «Нет, никак нельзя угадать!» Это, однако же, никак не уменьшило веселого расположения духа, в котором он находился. Он непринужденно и ловко разменялся с некоторыми из дам приятными словами, подходил к той и другой дробным, мелким шагом, или, как говорят, семенил ножками, как обыкновенно делают маленькие старички щеголи на высоких каблуках, называемые мышиными жеребчиками, забегающие весьма проворно около дам. Посеменивши с довольно ловкими поворотами направо и налево, он подшаркнул тут же ножкой в виде коротенького хвостика или наподобие запятой. Дамы были очень довольны и не только отыскали в нем кучу приятностей и любезностей, но даже стали находить величественное выражение в лице, что-то даже марсовское и военное, что, как известно, очень нравится женщинам. Даже из-за него уже начинали несколько ссориться: заметивши, что он становился обыкновенно около дверей, некоторые наперерыв спешили занять стул поближе к дверям, и когда одной посчастливилось сделать это прежде, то едва не произошла пренеприятная история, и многим, желавшим себе сделать то же, показалась уже чересчур отвратительною подобная наглость.

Чичиков так занялся разговорами с дамами, или, лучше, дамы так заняли и закружили его своими разговорами, подсыпая кучу самых замысловатых и тонких аллегорий, которые все нужно было разгадывать, отчего даже выступил у него на лбу пот,— что он позабыл исполнить долг приличия и подойти прежде всего к хозяй-

ке. Вспомнил он об этом уже тогда, когда услышал голос самой губернаторши, стоявшей перед ним уже несколько минут. Губернаторша произнесла несколько ласковым и лукавым голосом с приятным потряхиванием головы: «А, Павел Иванович, так вот как вы!..» В точности не могу передать слов губернаторши, но было сказано что-то исполненное большой любезности, в том духе, в котором изъясняются дамы и кавалеры в повестях наших светских писателей, охотников описывать гостиные и похвалиться знанием высшего тона, в духе того, что «неужели овладели так вашим сердцем, что в нем нет более ни места, ни самого тесного уголка для безжалостно позабытых вами». Герой наш поворотился в ту ж минуту к губернаторше и уже готов был отпустить ей ответ, вероятно ничем не хуже тех, какие отпускают в модных повестях Звонские, Линские, Лидины, Гремины и всякие ловкие военные люди, как, невзначай поднявши глаза, остановился вдруг, будто оглушенный ударом.

Перед ним стояла не одна губернаторша: она держала под руку молоденькую шестнадцатилетнюю девушку, свеженькую блондинку с тоненькими и стройными чертами лица, с остреньким подбородком, с очаровательно кругливши́мся овалом лица, какое художник взял бы в образец для мадонны и какое только редким случаем попадается на Руси, где любит все оказаться в широком размере, всё что ни есть: и горы и леса и степи, и лица и губы и ноги; ту самую блондинку, которую он встретил на дороге, ехавши от Ноздрева, когда, по глупости кучеров или лошадей, их экипажи так странно столкнулись, перепутавшись упряжью, и дядя Митяй с дядею Миняем взялись распутывать дело. Чичиков так смешался, что не мог произнести ни одного толкового слова, и пробормотал черт знает что такое, чего бы уж никак не сказал ни Гремин, ни Звонский, ни Лидин.

— Вы не знаете еще моей дочери? — сказала губернаторша,— институтка, только что выпущена.

Он отвечал, что уже имел счастие нечаянным образом познакомиться; попробовал еще кое-что прибавить, но кое-что совсем не вышло. Губернаторша, сказав два-три слова, наконец отошла с дочерью в другой конец залы к другим гостям, а Чичиков все еще стоял неподвижно на одном и том же месте, как человек, который весело вышел на улицу, с тем чтобы прогуляться, с глазами, расположенными глядеть на все, и вдруг неподвижно остановился, вспомнив, что он позабыл что-то и уж тогда глупее ничего не может быть такого человека: вмиг беззаботное выражение слетает с лица его; он силится припомнить, что позабыл он,— не платок ли? но платок в кармане; не деньги ли? но деньги тоже в кармане, все, кажется, при нем, а между тем какой-то неведомый дух шеп-

чет ему в уши, что он позабыл что-то. И вот уже глядит он растерянно и смутно на движущуюся толпу перед ним, на летающие экипажи, на кивера и ружья проходящего полка, на вывеску — и ничего хорошо не видит. Так и Чичиков вдруг сделался чуждым всему, что ни происходило вокруг него. В это время из дамских благовонных уст к нему устремилось множество намеков и вопросов, проникнутых насквозь тонкостию и любезностию. «Позволено ли нам, бедным жителям земли, быть так дерзкими, чтобы спросить вас, о чем мечтаете?» — «Где находятся те счастливые места, в которых порхает мысль ваша?» — «Можно ли знать имя той, которая погрузила вас в эту сладкую долину задумчивости?» Но он отвечал на все решительным невниманием, и приятные фразы канули, как в воду. Он даже до того был неучтив, что скоро ушел от них в другую сторону, желая повысмотреть, куда ушла губернаторша с своей дочкой. Но дамы, кажется, не хотели оставить его так скоро; каждая внутренно решилась употребить всевозможные орудия, столь опасные для сердец наших, и пустить в ход все, что было лучшего. Нужно заметить, что у некоторых дам,— я говорю у некоторых, это не то, что у всех,— есть маленькая слабость: если они заметят у себя что-нибудь особенно хорошее, лоб ли, рот ли, руки ли, то уже думают, что лучшая часть лица их так первая и бросится всем в глаза и все вдруг заговорят в один голос: «Посмотрите, посмотрите, какой у ней прекрасный греческий нос!» или: «Какой правильный, очаровательный лоб!» У которой же хороши плечи, та уверена заранее, что все молодые люди будут совершенно восхищены и то и дело станут повторять в то время, когда она будет проходить мимо: «Ах, какие чудесные у этой плечи»,— а на лицо, волосы, нос, лоб даже не взглянут, если же и взглянут, то как на что-то постороннее. Таким образом думают иные дамы. Каждая дама дала себе внутренний обет быть как можно очаровательней в танцах и показать во всем блеске превосходство того, что у нее было самого превосходного. Почтмейстерша, вальсируя, с такой томностию опустила набок голову, что слышалось в самом деле что-то неземное. Одна очень любезная дама,— которая приехала вовсе не с тем чтобы танцевать, по причине приключившегося, как сама выразилась, небольшого инкомодите́ [1] в виде горошинки на правой ноге, вследствие чего должна была даже надеть плисовые сапоги,— не вытерпела, однако же, и сделала несколько кругов в плисовых сапогах, для того именно, чтобы почтмейстерша не забрала в самом деле слишком много себе в голову.

Но все это никак не производило предполагаемого действия

---

[1] Инкомодите́ — неудобство, затруднение; здесь: нездоровье (от *франц.* l'incommodité).

па Чичикова. Он даже не смотрел на круги, производимые дамами, но беспрестанно подымался на цыпочки выглядывать поверх голов, куда бы могла забраться занимательная блондинка; приседал и вниз тоже, высматривая промеж плечей и спин, наконец доискался и увидел ее, сидящую вместе с матерью, над которою величаво колебалась какая-то восточная чалма с пером. Казалось, как будто он хотел взять их приступом; весеннее ли расположение подействовало на него, или толкал его кто сзади, только он протеснялся решительно вперед, несмотря ни на что; откупщик получил от него такой толчок, что пошатнулся и чуть-чуть удержался на одной ноге, не то бы, конечно, повалил за собою целый ряд; почтмейстер тоже отступился и посмотрел на него с изумлением, смешанным с довольно тонкой иронией, но он на них не поглядел; он видел только вдали блондинку, надевавшую длинную перчатку и, без сомнения, сгоравшую желанием пуститься летать по паркету. А уж там в стороне четыре пары откалывали мазурку; каблуки ломали пол, и армейский штабс-капитан работал и душою и телом, и руками и ногами, отвертывая такие па, какие и во сне никому не случалось отвертывать. Чичиков прошмыгнул мимо мазурки почти по самым каблукам и прямо к тому месту, где сидела губернаторша с дочкой. Однако ж он подступил к ним очень робко, не семенил так бойко и франтовски ногами, даже несколько замялся, и во всех движениях оказалась какая-то неловкость.

Нельзя сказать наверно, точно ли пробудилось в нашем герое чувство любви,— даже сомнительно, чтобы господа такого рода, то есть не так чтобы толстые, однако ж и не то чтобы тонкие, способны были к любви; но при всем том здесь было что-то такое странное, что-то в таком роде, чего он сам не мог себе объяснить: ему показалось, как сам он потом сознавался, что весь бал, со всем своим говором и шумом, стал на несколько минут как будто где-то вдали; скрыпки и трубы нарезывали где-то за горами, и все подернулось туманом, похожим на небрежно замалеванное поле на картине. И из этого мглистого, кое-как набросанного поля выходили ясно и оконченно только одни тонкие черты увлекательной блондинки: ее овально-круглившееся личико, ее тоненький, тоненький стан, какой бывает у институтки в первые месяцы после выпуска, ее белое, почти простое платьице, легко и ловко обхватившее во всех местах молоденькие стройные члены, которые означались в каких-то чистых линиях. Казалось, она вся походила на какую-то игрушку, отчетливо выточенную из слоновой кости; она только одна белела и выходила прозрачною и светлою из мутной и непрозрачной толпы.

Видно, так уж бывает на свете; видно, и Чичиковы на несколько минут в жизни обращаются в поэтов; но слово «поэт» будет уже

слишком. По крайней мере, он почувствовал себя совершенно чем-то вроде молодого человека, чуть-чуть не гусаром. Увидевши возле них пустой стул, он тотчас его занял. Разговор сначала не клеился, но после дело пошло, и он начал даже получать форс, но... здесь, к величайшему прискорбию, надобно заметить, что люди степенные и занимающие важные должности как-то немного тяжеловаты в разговорах с дамами; на это мастера господа поручики и никак не далее капитанских чинов. Как они делают, бог их ведает: кажется, и не очень мудреные вещи говорят, а девица то и дело качается на стуле от смеха; статский же советник бог знает что расскажет: или поведет речь о том, что Россия очень пространное государство, или отпустит комплимент, который, конечно, выдуман не без остроумия, но от него ужасно пахнет книгою; если же скажет что-нибудь смешное, то сам несравненно больше смеется, чем та, которая его слушает. Здесь это замечено для того, чтобы читатели видели, почему блондинка стала зевать во время рассказов нашего героя. Герой, однако же, совсем этого не замечал, рассказывая множество приятных вещей, которые уже случалось ему произносить в подобных случаях в разных местах: именно в Симбирской губернии у Софрона Ивановича Беспечного, где были тогда дочь его Аделаида Софроновна с тремя золовками: Марьей Гавриловной, Александрой Гавриловной и Адельгейдой Гавриловной; у Федора Федоровича Перекроева в Рязанской губернии; у Фрола Васильевича Победоносного в Пензенской губернии и у брата его Петра Васильевича, где были свояченица его Катерина Михайловна и внучатные сестры ее Роза Федоровна и Эмилия Федоровна; в Вятской губернии у Петра Варсонофьевича, где была сестра невестки его Пелагея Егоровна с племянницей Софьей Ростиславной и двумя сводными сестрами — Софией Александровной и Маклатурой Александровной.

Всем дамам совершенно не понравилось такое обхождение Чичикова. Одна из них нарочно прошла мимо его, чтобы дать ему это заметить, и даже задела блондинку довольно небрежно толстым руло своего платья, а шарфом, который порхал вокруг плеч ее, распорядилась так, что он махнул концом своим ее по самому лицу; в то же самое время позади его из одних дамских уст изнеслось вместе с запахом фиалок довольно колкое и язвительное замечание. Но, или он не услышал в самом деле, или прикинулся, что не услышал, только это было нехорошо, ибо мнением дам нужно дорожить: в этом он и раскаялся, но уже после, стало быть поздно.

Негодование, во всех отношениях справедливое, изобразилось во многих лицах. Как ни велик был в обществе вес Чичикова, хотя он и миллионщик, и в лице его выражалось величие и даже что-то марсовское и военное, но есть вещи, которых дамы не простят ни-

«Мертвые души»

Худ. А. Лаптев

кому, будь он кто бы ни было, и тогда прямо пиши пропало! Есть случаи, где женщина, как ни слаба и бессильна характером в сравнении с мужчиною, но становится вдруг тверже не только мужчины, но и всего что ни есть на свете. Пренебрежение, оказанное Чичиковым, почти неумышленное, восстановило между дамами даже согласие, бывшее было на краю погибели по случаю завладения стулом. В произнесенных им невзначай каких-то сухих и обыкновенных словах нашли колкие намеки. В довершение бед какой-то из молодых людей сочинил тут же сатирические стихи на танцевавшее общество, без чего, как известно, никогда почти не обходится на губернских балах. Эти стихи были приписаны тут же Чичикову. Негодованье росло, и дамы стали говорить о нем в разных углах самым неблагоприятным образом; а бедная институтка была уничтожена совершенно, и приговор ее уже был подписан.

А между тем герою нашему готовилась пренеприятнейшая неожиданность: в то время, когда блондинка зевала, а он рассказывал ей кое-какие в разные времена случившиеся историйки, и даже коснулся было греческого философа Диогена, показался из последней комнаты Ноздрев. Из буфета ли он вырвался или из небольшой зеленой гостиной, где производилась игра посильнее, чем в обыкновенный вист, своей ли волею или вытолкали его, только он явился веселый, радостный, ухвативши под руку прокурора, которого, вероятно, уже таскал несколько времени, потому что бедный прокурор поворачивал на все стороны свои густые брови, как бы придумывая средство выбраться из этого дружеского подручного путешествия. В самом деле, оно было невыносимо. Ноздрев, захлебнув куражу в двух чашках чаю, конечно не без рома, врал немилосердно. Завидев еще издали его, Чичиков решился даже на пожертвование, то есть оставить свое завидное место и сколько можно поспешнее удалиться: ничего хорошего не предвещала ему эта встреча. Но, как на беду, в это время подвернулся губернатор, изъявивший необыкновенную радость, что нашел Павла Ивановича, и остановил его, прося быть судиею в споре его с двумя дамами насчет того, продолжительна ли женская любовь или нет; а между тем Ноздрев уже увидал его и шел прямо навстречу.

— А, херсонский помещик, херсонский помещик! — кричал он, подходя и заливаясь смехом, от которого дрожали его свежие, румяные, как весенняя роза, щеки.— Что? много наторговал мертвых? Ведь вы не знаете, ваше превосходительство,— горланил он тут же, обратившись к губернатору,— он торгует мертвыми душами! Ей-богу! Послушай, Чичиков! ведь ты,— я тебе говорю по дружбе, вот мы все здесь твои друзья, вот и его превосходительство здесь,— я бы тебя повесил, ей-богу, повесил!

Чичиков просто не знал, где сидел.

— Поверите ли, ваше превосходительство,— продолжал Ноздрев,— как сказал он мне: «Продай мертвых душ»,— я так и лопнул со смеха. Приезжаю сюда, мне говорят, что накупил на три миллиона крестьян на вывод: каких на вывод! да он торговал у меня мертвых. Послушай, Чичиков, да ты скотина, ей-богу, скотина, вот и его превосходительство здесь, не правда ли, прокурор?

Но прокурор, и Чичиков, и сам губернатор пришли в такое замешательство, что не нашлись совершенно, что отвечать, а между тем Ноздрев, нимало не обращая внимания, нес полутрезвую речь:

— Уж ты, брат, ты, ты... я не отойду от тебя, пока не узнаю, зачем ты покупал мертвые души. Послушай, Чичиков, ведь тебе, право, стыдно, у тебя, ты сам знаешь, нет лучшего друга, как я. Вот и его превосходительство здесь, не правда ли, прокурор? Вы не поверите, ваше превосходительство, как мы друг к другу привязаны, то есть, просто если бы вы сказали, вот, я тут стою, а вы бы сказали: «Ноздрев! скажи по совести, кто тебе дороже, отец родной или Чичиков?» — скажу: «Чичиков», ей-богу... Позволь, душа, я тебе влеплю один безе[1]. Уж вы позвольте, ваше превосходительство, поцеловать мне его. Да, Чичиков, уж ты не противься, одну безешку позволь напечатлеть тебе в белоснежную щеку твою!

Ноздрев был так оттолкнут с своими безе, что чуть не полетел на землю: от него все отступились и не слушали больше; но все же слова его о покупке мертвых душ были произнесены во всю глотку и сопровождены таким громким смехом, что привлекли внимание даже тех, которые находились в самых дальних углах комнаты. Эта новость так показалась странною, что все остановились с каким-то деревянным, глупо-вопросительным выражением. Чичиков заметил, что многие дамы перемигнулись между собою с какою-то злобною, едкою усмешкою и в выражении некоторых лиц показалось что-то такое двусмысленное, которое еще более увеличило это смущение. Что Ноздрев лгун отъявленный, это было известно всем, и вовсе не было в диковинку слышать от него решительную бессмыслицу; но смертный, право, трудно даже понять, как устроен этот смертный: как бы ни была пошла новость, но лишь бы она была новость, он непременно сообщит ее другому смертному, хотя бы именно для того только, чтобы сказать: «Посмотрите, какую ложь распустили!» — а другой смертный с удовольствием преклонит ухо, хотя после скажет сам: «Да это совершенно пошлая ложь, не стоящая никакого внимания!» — и вслед за тем сей же час отправится искать третьего смертного, чтобы, рассказавши ему, после вместе с ним воскликнуть с благородным негодованием: «Какая пошлая ложь!» И это непременно обойдет весь

---

[1] Безе — поцелуй (от *франц.* le baiser).

город, и все смертные, сколько их ни есть, наговорятся непременно досыта и потом признают, что это не стоит внимания и не достойно, чтобы о нем говорить.

Это вздорное, по-видимому, происшествие заметно расстроило нашего героя. Как ни глупы слова дурака, а иногда бывают они достаточны, чтобы смутить умного человека. Он стал чувствовать себя неловко, неладно: точь-в-точь как будто прекрасно вычищенным сапогом вступил вдруг в грязную, вонючую лужу; словом, нехорошо, совсем нехорошо! Он пробовал об этом не думать, старался рассеяться, развлечься, присел в вист, но все пошло как кривое колесо: два раза сходил он в чужую масть и, позабыв, что по третьей не бьют, размахнулся со всей руки и хватил сдуру свою же. Председатель никак не мог понять, как Павел Иванович, так хорошо и, можно сказать, тонко разумевший игру, мог сделать подобные ошибки и подвел даже под обух его пикового короля, на которого он, по собственному выражению, надеялся, как на бога. Конечно, почтмейстер и председатель и даже сам полицеймейстер, как водится, подшучивали над нашим героем, что уж не влюблен ли он и что мы знаем, дескать, что у Павла Ивановича сердечишко прихрамывает, знаем, кем и подстрелено; но все это никак его не утешало, как он ни пробовал усмехаться и отшучиваться. За ужином тоже он никак не был в состоянии развернуться, несмотря на то что общество за столом было приятное и что Ноздрева давно уже вывели; ибо сами даже дамы наконец заметили, что поведение его чересчур становилось скандалезно. Посреди котильона он сел на пол и стал хватать за полы танцующих, что было уже ни на что не похоже, по выражению дам. Ужин был очень весел, все лица, мелькавшие перед тройными подсвечниками, цветами, конфектами и бутылками, были озарены самым непринужденным довольством. Офицеры, дамы, фраки — все сделалось любезно, даже до приторности. Мужчины вскакивали со стульев и бежали отнимать у слуг блюда, чтобы с необыкновенною ловкостию предложить их дамам. Один полковник подал даме тарелку с соусом на конце обнаженной шпаги. Мужчины почтенных лет, между которыми сидел Чичиков, спорили громко, заедая дельное слово рыбой или говядиной, обмакнутой нещадным образом в горчицу, и спорили о тех предметах, в которых он даже всегда принимал участие; но он был похож на какого-то человека, уставшего или разбитого дальней дорогой, которому ничто не лезет на ум и который не в силах войти ни во что. Даже не дождался он окончания ужина и уехал к себе несравненно ранее, чем имел обыкновение уезжать.

Там, в этой комнатке, так знакомой читателю, с дверью, заставленной комодом, и выглядывавшими иногда из углов тараканами, положение мыслей и духа его было так же неспокойно, как

неспокойны те кресла, в которых он сидел. Неприятно, смутно было у него на сердце, какая-то тягостная пустота оставалась там. «Чтоб вас черт побрал всех, кто выдумал эти балы! — говорил он в сердцах.— Ну, чему сдуру обрадовались? В губернии неурожаи, дороговизна, так вот они за балы! Эк штука: разрядились в бабьи тряпки! Невидаль, что иная навертела на себя тысячу рублей! А ведь на счет же крестьянских оброков или, что еще хуже, на счет совести нашего брата. Ведь известно, зачем берешь взятку и покривишь душой: для того чтобы жене достать на шаль или на разные роброны, провал их возьми, как их называют. А из чего? чтобы не сказала какая-нибудь подстёга Сидоровна, что на почтмейстерше лучше было платье, да из-за нее бух тысячу рублей. Кричат: «Бал, бал, веселость!» — просто дрянь бал, не в русском духе, не в русской натуре; черт знает что такое: взрослый, совершеннолетний вдруг выскочит весь в черном, общипанный, обтянутый, как чертик, и давай месить ногами. Иной даже, стоя в паре, переговаривает с другим об важном деле, а ногами в то же время, как козленок, вензеля направо и налево... Всё из обезьянства, всё из обезьянства! Что француз в сорок лет такой же ребенок, каким был и в пятнадцать, так вот давай же и мы! Нет, право... после всякого бала точно как будто какой грех сделал; и вспомнить даже о нем не хочется. В голове просто ничего, как после разговора с светским человеком: всего он наговорит, всего слегка коснется, все скажет, что понадергал из книжек, пестро, красно, а в голове хоть бы что-нибудь из того вынес, и видишь потом, как даже разговор с простым купцом, знающим одно свое дело, но знающим его твердо и опытно, лучше всех этих побрякушек. Ну что из него выжмешь, из этого бала? Ну если бы, положим, какой-нибудь писатель вздумал описывать всю эту сцену так, как она есть? Ну и в книге, и там была бы она так же бестолкова, как в натуре. Что она такое: нравственная ли, безнравственная ли? просто черт знает что такое! Плюнешь, да и книгу потом закроешь». Так отзывался неблагоприятно Чичиков о балах вообще; но, кажется, сюда вмешалась другая причина негодованья. Главная досада была не на бал, а на то, что случилось ему оборваться, что он вдруг показался пред всеми бог знает в каком виде, что сыграл какую-то странную, двусмысленную роль. Конечно, взглянувши оком благоразумного человека, он видел, что все это вздор, что глупое слово ничего не значит, особливо теперь, когда главное дело уже обделано как следует. Но странен человек: его огорчало сильно нерасположенье тех самых, которых он не уважал и насчет которых отзывался резко, понося их суетность и наряды. Это тем более было ему досадно, что, разобравши дело ясно, он видел, как причиной этого был отчасти сам. На себя, однако же, он не рассердился, и в том, конечно, был прав.

Все мы имеем маленькую слабость немножко пощадить себя, а постараемся лучше приискать какого-нибудь ближнего, на ком бы выместить свою досаду, например, на слуге, на чиновнике, нам подведомственном, который в пору подвернулся, на жене или, наконец, на стуле, который швырнется черт знает куда, к самым дверям, так что отлетит от него ручка и спинка: пусть, мол, его знает, что такое гнев. Так и Чичиков скоро нашел ближнего, который потащил на плечах своих все, что только могла внушить ему досада. Ближний этот был Ноздрев, и нечего сказать, он был так отделан со всех боков и сторон, как разве только какой-нибудь плут староста или ямщик бывает отделан каким-нибудь езжалым, опытным капитаном, а иногда и генералом, который сверх многих выражений, сделавшихся классическими, прибавляет еще много неизвестных, которых изобретение принадлежит ему собственно. Вся родословная Ноздрева была разобрана, и многие из членов его фамилии в восходящей линии сильно потерпели.

Но в продолжение того, как он сидел в жестких своих креслах, тревожимый мыслями и бессонницей, угощая усердно Ноздрева и всю родню его, и перед ним теплилась сальная свечка, которой светильня давно уже накрылась нагоревшею черною шапкою, ежеминутно грозя погаснуть, и глядела ему в окна слепая, темная ночь, готовая посинеть от приближавшегося рассвета, и пересвистывались вдали отдаленные петухи, и в совершенно заснувшем городе, может быть, плелась где-нибудь фризовая шинель, горемыка неизвестно какого класса и чина, знающая одну только (увы!) слишком протертую русским забубенным народом дорогу,— в это время на другом конце города происходило событие, которое готовилось увеличить неприятность положения нашего героя. Именно, в отдаленных улицах и закоулках города дребезжал весьма странный экипаж, наводивший недоумение насчет своего названия. Он не был похож ни на тарантас, ни на коляску, ни на бричку, а был скорее похож на толстощекий выпуклый арбуз, поставленный на колеса. Щеки этого арбуза, то есть дверцы, носившие следы желтой краски, затворялись очень плохо по причине плохого состояния ручек и замков, кое-как связанных веревками. Арбуз был наполнен ситцевыми подушками в виде кисетов, валиков и просто подушек, напичкан мешками с хлебами, калачами, кокурками, скородумками и кренделями из заварного теста. Пирог-курник и пирог-рассольник выглядывали даже наверх. Запятки были заняты лицом лакейского происхождения, в куртке из домашней пеструшки, с небритой бородою, подернутою легкой проседью,— лицо, известное под именем «малого». Шум и визг от железных скобок и ржавых винтов разбудили на другом конце города будочника, который, подняв свою алебарду, закричал спросонья что стало мочи: «Кто

идет?» — но, увидев, что никто не шел, а слышалось только вдали дребезжанье, поймал у себя на воротнике какого-то зверя и, подошед к фонарю, казнил его тут же у себя на ногте. После чего, отставивши алебарду, опять заснул по уставам своего рыцарства. Лошади то и дело падали на передние коленки, потому что не были подкованы, и притом, как видно, покойная городская мостовая была им мало знакома. Колымага, сделавши несколько поворотов из улицы в улицу, наконец поворотила в темный переулок мимо небольшой приходской церкви Николы на Недотычках и остановилась пред воротами дома протопопши. Из брички вылезла девка, с платком на голове, в телогрейке, и хватила обеими кулаками в ворота так сильно, хоть бы и мужчине (малый в куртке из пеструшки был уже потом стащен за ноги, ибо спал мертвецки). Собаки залаяли, и ворота, разинувшись наконец, проглотили, хотя и с большим трудом, это неуклюжее дорожное произведение. Экипаж въехал в тесный двор, заваленный дровами, курятниками и всякими клетухами; из экипажа вылезла барыня: эта барыня была помещица, коллежская секретарша Коробочка. Старушка вскоре после отъезда нашего героя в такое пришла беспокойство насчет могущего произойти со стороны его обмана, что, не поспавши три ночи сряду, решилась ехать в город, несмотря на то что лошади не были подкованы, и там узнать наверно, почем ходят мертвые души и уж не промахнулась ли она, боже сохрани, продав их, может быть, втридешева. Какое произвело следствие это прибытие, читатель может узнать из одного разговора, который произошел между одними двумя дамами. Разговор сей... но пусть лучше сей разговор будет в следующей главе.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Поутру, ранее даже того времени, которое назначено в городе N. для визитов, из дверей оранжевого деревянного дома с мезонином и голубыми колоннами выпорхнула дама в клетчатом щегольском клоке, сопровождаемая лакеем в шинели с несколькими воротниками и золотым галуном на круглой лощеной шляпе. Дама вспорхнула в тот же час с необыкновенною поспешностью по откинутым ступенькам в стоявшую у подъезда коляску. Лакей тут же захлопнул даму дверцами, закидал ступеньками и, ухватясь за ремни сзади коляски, закричал кучеру: «Пошел!» Дама везла только что услышанную новость и чувствовала побуждение непреодолимое скорее сообщить ее. Всякую минуту выглядывала она из окна и видела, к несказанной досаде, что все еще остается полдороги. Всякий дом казался ей длиннее обыкновенного; белая каменная

богадельня с узенькими окнами тянулась нестерпимо долго, так что она наконец не вытерпела не сказать: «Проклятое строение, и конца нет!» Кучер уже два раза получал приказание: «Поскорее, поскорее, Андрюшка! ты сегодня несносно долго едешь!» Наконец цель была достигнута. Коляска остановилась перед деревянным же одноэтажным домом темно-серого цвета, с белыми барельефчиками над окнами, с высокою деревянною решеткою перед самыми окнами и узеньким палисадником, за решеткою которого находившиеся тоненькие деревца побелели от никогда не сходившей с них городской пыли. В окнах мелькали горшки с цветами, попугай, качавшийся в клетке, уцепясь носом за кольцо, и две собачонки, спавшие перед солнцем. В этом доме жила искренняя приятельница приехавшей дамы. Автор чрезвычайно затрудняется, как назвать ему обеих дам таким образом, чтобы опять не рассердились на него, как серживались встарь. Назвать выдуманною фамилией опасно. Какое ни придумай имя, уж непременно найдется в каком-нибудь углу нашего государства, благо велико, кто-нибудь, носящий его, и непременно рассердится не на живот, а на смерть, станет говорить, что автор нарочно приезжал секретно, с тем чтобы выведать все, что он такое сам, и в каком тулупчике ходит, и к какой Аграфене Ивановне наведывается, и что любит покушать. Назови же по чинам — боже сохрани, и того опасней. Теперь у нас все чины и сословия так раздражены, что все, что ни есть в печатной книге, уже кажется им личностью: таково уж, видно, расположенье в воздухе. Достаточно сказать только, что есть в одном городе глупый человек, это уже и личность; вдруг выскочит господин почтенной наружности и закричит: «Ведь я тоже человек, стало быть, я тоже глуп»,— словом, вмиг смекнет, в чем дело. А потому, для избежания всего этого, будем называть даму, к которой приехала гостья, так, как она называлась почти единогласно в городе N.: именно, дамою приятною во всех отношениях. Это название она приобрела законным образом, ибо, точно, ничего не пожалела, чтобы сделаться любезною в последней степени, хотя, конечно, сквозь любезность прокрадывалась ух какая юркая прыть женского характера! и хотя подчас в каждом приятном слове ее торчала ух какая булавка! а уж не приведи бог, что кипело в сердце против той, которая бы пролезла как-нибудь и чем-нибудь в первые. Но все это было облечено самою тонкою светскостью, какая только бывает в губернском городе. Всякое движение производила она со вкусом, даже любила стихи, даже иногда мечтательно умела держать голову,— и все согласились, что она, точно, дама приятная во всех отношениях. Другая же дама, то есть приехавшая, не имела такой многосторонности в характере, и потому будем называть ее: просто приятная дама. Приезд гостьи разбудил собачонок, спавших на

солнце: мохнатую Адель, беспрестанно путавшуюся в собственной шерсти, и кобелька Попури на тоненьких ножках. Тот и другая с лаем понесли кольцами хвосты свои в переднюю, где гостья освобождалась от своего клока и очутилась в платье модного узора и цвета и в длинных хвостах на шее: жасмины понеслись по всей комнате. Едва только во всех отношениях приятная дама узнала о приезде просто приятной дамы, как уже вбежала в переднюю. Дамы ухватились за руки, поцеловались и вскрикнули, как вскрикивают институтки, встретившиеся вскоре после выпуска, когда маменьки еще не успели объяснить им, что отец у одной беднее и ниже чином, нежели у другой. Поцелуй совершился звонко, потому что собачонки залаяли снова, за что были хлопнуты платком, и обе дамы отправились в гостиную, разумеется голубую, с диваном, овальным столом и даже ширмочками, обвитыми плющом; вслед за ними побежали, ворча, мохнатая Адель и высокий Попури на тоненьких ножках. «Сюда, сюда, вот в этот уголочек! — говорила хозяйка, усаживая гостью в угол дивана.— Вот так! вот так! вот вам и подушка!» Сказавши это, она запихнула ей за спину подушку, на которой был вышит шерстью рыцарь таким образом, как их всегда вышивают по канве: нос вышел лестницею, а губы четвероугольником. «Как же я рада, что вы... Я слышу, кто-то подъехал, да думаю себе, кто бы мог так рано. Параша говорит: «вице-губернаторша», а я говорю: «ну вот, опять приехала дура надоедать», и уж хотела сказать, что меня нет дома...»

Гостья уже хотела было приступить к делу и сообщить новость. Но восклицание, которое издала в это время дама приятная во всех отношениях, вдруг дало другое направление разговору.

— Какой веселенький ситец! — воскликнула во всех отношениях приятная дама, глядя на платье просто приятной дамы.

— Да, очень веселенький. Прасковья Федоровна, однако же, находит, что лучше, если бы клеточки были помельче, и чтобы не коричневые были крапинки, а голубые. Сестре ее прислали материйку: это такое очарованье, которого просто нельзя выразить словами; вообразите себе: полосочки узенькие-узенькие, какие только может представить воображение человеческое, фон голубой и через полоску всё глазки и лапки, глазки и лапки, глазки и лапки... Словом, бесподобно! Можно сказать решительно, что ничего еще не было подобного на свете.

— Милая, это пестро.

— Ах нет, не пестро.

— Ах, пестро!

Нужно заметить, что во всех отношениях приятная дама была отчасти материалистка, склонна к отрицанию и сомнению и отвергала весьма многое в жизни.

Здесь просто приятная дама объяснила, что это отнюдь не пестро, и вскрикнула:

— Да, поздравляю вас: оборок более не носят.

— Как не носят?

— На место их фестончики.

— Ах, это нехорошо, фестончики!

— Фестончики, всё фестончики: пелеринка из фестончиков, на рукавах фестончики, эполетцы из фестончиков, внизу фестончики, везде фестончики.

— Нехорошо, Софья Ивановна, если всё фестончики.

— Мило, Анна Григорьевна, до невероятности; шьется в два рубчика: широкие проймы и сверху... Но вот, вот, когда вы изумитесь, вот уж когда скажете, что... Ну, изумляйтесь: вообразите, лифчики пошли еще длиннее, впереди мыском, и передняя косточка совсем выходит из границ; юбка вся собирается вокруг, как, бывало, в старину фижмы, даже сзади немножко подкладывают ваты, чтобы была совершенная бель-фам.

— Ну уж это просто: признаюсь! — сказала дама приятная во всех отношениях, сделавши движенье головою с чувством достоинства.

— Именно, это уж, точно, признаюсь,— отвечала просто приятная дама.

— Уж как вы хотите, я ни за что не стану подражать этому.

— Я сама тоже... Право, как вообразишь, до чего иногда доходит мода... ни на что не похоже! Я выпросила у сестры выкройку нарочно для смеху; Меланья моя принялась шить.

— Так у вас разве есть выкройка? — вскрикнула во всех отношениях приятная дама не без заметного сердечного движенья.

— Как же, сестра привезла.

— Душа моя, дайте ее мне ради всего святого.

— Ах, я уж дала слово Прасковье Федоровне. Разве после нее.

— Кто ж станет носить после Прасковьи Федоровны? Это уже слишком странно будет с вашей стороны, если вы чужих предпочтете своим.

— Да ведь она тоже мне двоюродная тетка.

— Она вам тетка еще бог знает какая: с мужниной стороны... Нет, Софья Ивановна, я и слышать не хочу, это выходит: вы мне хотите нанесть такое оскорбленье... Видно, я вам наскучила уже, видно, вы хотите прекратить со мною всякое знакомство.

Бедная Софья Ивановна не знала совершенно, что ей делать. Она чувствовала сама, между каких сильных огней себя поставила. Вот тебе и похвасталась! Она бы готова была исколоть за это иголками глупый язык.

— Ну что ж наш прелестник? — сказала между тем дама приятная во всех отношениях.

— Ах, боже мой! что ж я так сижу перед вами! вот хорошо! Ведь вы знаете, Анна Григорьевна, с чем я приехала к вам? — Тут дыхание гостьи сперлось, слова, как ястребы, готовы были пуститься в погоню одно за другим, и только нужно было до такой степени быть бесчеловечной, какова была искренняя приятельница, чтобы решиться остановить ее.

— Как вы ни выхваляйте и ни превозносите его,— говорила она с живостью, более нежели обыкновенною,— а я скажу прямо, и ему в глаза скажу, что он негодный человек, негодный, негодный, негодный...

— Да послушайте только, что я вам открою...

— Распустили слухи, что он хорош, а он совсем не хорош, совсем не хорош, и нос у него... самый неприятный нос.

— Позвольте же, позвольте же только рассказать вам... душенька, Анна Григорьевна, позвольте рассказать! Ведь это история, понимаете ли: история, сконапель истоар,— говорила гостья с выражением почти отчаяния и совершенно умоляющим голосом. Не мешает заметить, что в разговор обеих дам вмешивалось очень много иностранных слов и целиком иногда длинные французские фразы. Но как ни исполнен автор благоговения к тем спасительным пользам, которые приносит французский язык России, как ни исполнен благоговения к похвальному обычаю нашего высшего общества, изъясняющегося на нем во все часы дня, конечно, из глубокого чувства любви к отчизне, но при всем том никак не решается внести фразу какого бы ни было чуждого языка в сию русскую свою поэму. Итак, станем продолжать по-русски.

— Какая же история?

— Ах, жизнь моя, Анна Григорьевна, если бы вы могли только представить то положение, в котором я находилась, вообразите: приходит ко мне сегодня протопопша — протопопша, отца Кирилы жена — и что бы вы думали: наш-то смиренник, приезжий-то наш, каков, а?

— Как, неужели он и протопопше строил куры?

— Ах, Анна Григорьевна, пусть бы еще куры, это бы еще ничего; слушайте только, что рассказала протопопша: приехала, говорит, к ней помещица Коробочка, перепуганная и бледная как смерть, и рассказывает, и как рассказывает, послушайте только, совершенный роман: вдруг в глухую полночь, когда все уже спало в доме, раздается в ворота стук, ужаснейший, какой только можно себе представить; кричат: «Отворите, отворите, не то будут выломаны ворота!» Каково вам это покажется? Каков же после этого прелестник?

— Да что Коробочка, разве молода и хороша собою?

— Ничуть, старуха.

— Ах, прелести! Так он за старуху принялся. Ну, хорош же после этого вкус наших дам, нашли в кого влюбиться.

— Да ведь нет, Анна Григорьевна, совсем не то, что вы полагаете. Вообразите себе только то, что является вооруженный с ног до головы, вроде Ринальда Ринальдина, и требует: «Продайте, говорит, все души, которые умерли». Коробочка отвечает очень резонно, говорит: «Я не могу продать, потому что они мертвые».— «Нет, говорит, они не мертвые, это мое, говорит, дело знать, мертвые ли они или нет, они не мертвые, не мертвые, кричит, не мертвые». Словом, скандальозу наделал ужасного: вся деревня сбежалась, ребенки плачут, все кричит, никто никого не понимает, ну просто оррёр, оррёр, оррёр!..[1] Но вы себе представить не можете, Анна Григорьевна, как я перетревожилась, когда услышала все это. «Голубушка барыня,— говорит мне Машка,— посмотрите в зеркало: вы бледны».— «Не до зеркала, говорю, мне, я должна ехать рассказать Анне Григорьевне». В ту ж минуту приказываю заложить коляску: кучер Андрюшка спрашивает меня, куда ехать, а я ничего не могу и говорить, гляжу просто ему в глаза, как дура; я думаю, что он подумал, что я сумасшедшая. Ах, Анна Григорьевна, если б вы только могли себе представить, как я перетревожилась!

— Это, однако ж, странно,— сказала во всех отношениях приятная дама,— что бы такое могли значить эти мертвые души? Я, признаюсь, тут ровно ничего не понимаю. Вот уже во второй раз я все слышу про эти мертвые души; а муж мой еще говорит, что Ноздрев врет; что-нибудь, верно же, есть.

— Но представьте же, Анна Григорьевна, каково мое было положение, когда я услышала это. «И теперь,— говорит Коробочка,— я не знаю, говорит, что мне делать. Заставил, говорит, подписать меня какую-то фальшивую бумагу, бросил пятнадцать рублей ассигнациями; я, говорит, неопытная беспомощная вдова, я ничего не знаю...» Так вот происшествия! Но только если бы вы могли сколько-нибудь себе представить, как я вся перетревожилась.

— Но только, воля ваша, здесь не мертвые души, здесь скрывается что-то другое.

— Я, признаюсь, тоже,— произнесла не без удивления просто приятная дама и почувствовала тут же сильное желание узнать, что бы такое могло здесь скрываться. Она даже произнесла с расстановкой: — А что ж, вы полагаете, здесь скрывается?

— Ну, как вы думаете?

---

[1] Оррёр — ужас (от *франц.* une horreur).

— Как я думаю?.. Я, признаюсь, совершенно потеряна.

— Но, однако ж, я бы все хотела знать, какие ваши насчет этого мысли?

Но приятная дама ничего не нашлась сказать. Она умела только тревожиться, но чтобы составить какое-нибудь сметливое предположение, для этого никак ее не ставало, и оттого, более нежели всякая другая, она имела потребность в нежной дружбе и советах.

— Ну, слушайте же, что такое эти мертвые души,— сказала дама приятная во всех отношениях, и гостья при таких словах вся обратилась в слух: ушки ее вытянулись сами собою, она приподнялась, почти не сидя и не держась на диване, и, несмотря на то что была отчасти тяжеловата, сделалась вдруг тонее, стала похожа на легкий пух, который вот так и полетит на воздух от дуновенья.

Так русский барин, собачей и иора-охотник, подъезжая к лесу, из которого вот-вот выскочит оттопанный доезжачими заяц, превращается весь с своим конем и поднятым арапником в один застывший миг, в порох, к которому вот-вот поднесут огонь. Весь впился он очами в мутный воздух и уж настигнет зверя, уже допечет его неотбойный, как ни воздымайся против него вся мятущая снеговая степь, пускающая серебряные звезды ему в уста, в усы, в очи, в брови и в бобровую его шапку.

— Мертвые души...— произнесла во всех отношениях приятная дама.

— Что, что? — подхватила гостья, вся в волненье.

— Мертвые души!..

— Ах, говорите, ради бога!

— Это просто выдумано только для прикрытья, а дело вот в чем: он хочет увезти губернаторскую дочку.

Это заключение, точно, было никак неожиданно и во всех отношениях необыкновенно. Приятная дама, услышав это, так и окаменела на месте, побледнела, побледнела как смерть и, точно, перетревожилась не на шутку.

— Ах, боже мой! — вскрикнула она, всплеснув руками,— уж этого я бы никак не могла предполагать.

— А я, признаюсь, как только вы открыли рот, я уже смекнула, в чем дело,— отвечала дама приятная во всех отношениях.

— Но каково же после этого, Анна Григорьевна, институтское воспитание! ведь вот невинность!

— Какая невинность! Я слышала, как она говорила такие речи, что, признаюсь, у меня не станет духа произнести их.

— Знаете, Анна Григорьевна, ведь это просто раздирает сердце, когда видишь, до чего достигла наконец безнравственность.

— А мужчины от нее без ума. А по мне, так я, признаюсь, ничего не нахожу в ней... Манерна нестерпимо.

— Ах, жизнь моя, Анна Григорьевна, она статуя, и хоть бы какое-нибудь выраженье в лице.

— Ах, как манерна! ах, как манерна! Боже, как манерна! Кто выучил ее, я не знаю, но я еще не видывала женщины, в которой бы было столько жеманства.

— Душенька! она статуя и бледна как смерть.

— Ах, не говорите, Софья Ивановна: румянится безбожно.

— Ах, что это вы, Анна Григорьевна: она мел, мел, чистейший мел.

— Милая, я сидела возле нее: румянец в палец толщиной и отваливается, как штукатурка, кусками. Мать выучила, сама кокетка, а дочка еще превзойдет матушку.

— Ну, позвольте, ну положите сами клятву, какую хотите, я готова сей же час лишиться детей, мужа, всего именья, если у ней есть хоть одна капелька, хоть частица, хоть тень какого-нибудь румянца!

— Ах, что вы это говорите, Софья Ивановна! — сказала дама приятная во всех отношениях и всплеснула руками.

— Ах, какие же вы, право, Анна Григорьевна! я с изумленьем на вас гляжу! — сказала приятная дама и всплеснула тоже руками.

Да не покажется читателю странным, что обе дамы были не согласны между собою в том, что видели почти в одно и то же время. Есть, точно, на свете много таких вещей, которые имеют уже такое свойство: если на них взглянет одна дама, они выйдут совершенно белые, а взглянет другая, выйдут красные, красные, как брусника.

— Ну, вот вам еще доказательство, что она бледна,— продолжала приятная дама,— я помню, как теперь, что я сижу возле Манилова и говорю ему: «Посмотрите, какая она бледная!» Право, нужно быть до такой степени бестолковыми, как наши мужчины, чтобы восхищаться ею. А наш-то прелестник... Ах, как он мне показался противным! Вы не можете себе представить, Анна Григорьевна, до какой степени он мне показался противным.

— Да, однако же, нашлись некоторые дамы, которые были неравнодушны к нему.

— Я, Анна Григорьевна? Вот уж никогда вы не можете сказать этого, никогда, никогда!

— Да я не говорю об вас, как будто, кроме вас, никого нет.

— Никогда, никогда, Анна Григорьевна! Позвольте мне вам заметить, что я очень хорошо себя знаю; а разве со стороны каких-нибудь иных дам, которые играют роль недоступных.

— Уж извините, Софья Ивановна! Уж позвольте вам сказать, что за мной подобных скандальозностей никогда еще не водилось.

За кем другим разве, а уж за мной нет, уж позвольте мне вам это заметить.

— Отчего же вы обиделись? ведь там были и другие дамы, были даже такие, которые первые захватили стул у дверей, чтобы сидеть к нему поближе.

Ну, уж после таких слов, произнесенных приятною дамою, должна была неминуемо последовать буря, но, к величайшему изумлению, обе дамы вдруг приутихли, и совершенно ничего не последовало. Во всех отношениях приятная дама вспомнила, что выкройка для модного платья еще не находится в ее руках, а просто приятная дама смекнула, что она еще не успела выведать никаких подробностей насчет открытия, сделанного ее искреннею приятельницею, и потому мир последовал очень скоро. Впрочем, обе дамы нельзя сказать чтобы имели в своей натуре потребность наносить неприятность, и вообще в характерах их ничего не было злого, а так, нечувствительно, в разговоре рождалось само собою маленькое желание кольнуть друг друга; просто одна другой из небольшого наслаждения при случае всунет иное живое словцо: вот, мол, тебе! на, возьми, съешь! Разного рода бывают потребности в сердцах как мужеского, так и женского пола.

— Я не могу, однако же, понять только того,— сказала просто приятная дама,— как Чичиков, будучи человек заезжий, мог решиться на такой отважный пассаж. Не может быть, чтобы тут не было участников.

— А вы думаете, нет их?

— А кто же бы, полагаете, мог помогать ему?

— Ну да хоть и Ноздрев.

— Неужели Ноздрев?

— А что ж? ведь его на это станет. Вы знаете, он родного отца хотел продать или, еще лучше, проиграть в карты.

— Ах, боже мой, какие интересные новости я узнаю от вас! Я бы никак не могла предполагать, чтобы и Ноздрев был замешан в эту историю!

— А я всегда предполагала.

— Как подумаешь, право, чего не происходит на свете! Ну можно ли было предполагать, когда, помните, Чичиков только что приехал к нам в город, что он произведет такой странный марш в свете? Ах, Анна Григорьевна, если бы вы знали, как я перетревожилась! Если бы не ваша благосклонность и дружба... вот уже, точно, на краю погибели... куда ж? Машка моя видит, что я бледна как смерть. «Душечка барыня,— говорит мне,— вы бледны как смерть».— «Машка, говорю, мне не до того теперь». Так вот какой случай! Так и Ноздрев здесь, прошу покорно!

Приятной даме очень хотелось выведать дальнейшие подроб-

ности насчет похищения, то есть в котором часу и прочее, но многого захотела. Во всех отношениях приятная дама прямо отозвалась незнанием. Она не умела лгать: предположить что-нибудь — это другое дело, но и то в таком случае, когда предположение основывалось на внутреннем убеждении; если ж было почувствовано внутреннее убеждение, тогда умела она постоять за себя, и попробовал бы какой-нибудь дока-адвокат, славящийся даром побеждать чужие мнения, попробовал бы он состязаться здесь,— увидел бы он, что значит внутреннее убеждение.

Что обе дамы наконец решительно убедились в том, что прежде предположили только как одно предположение, в этом ничего нет необыкновенного. Наша братья, народ умный, как мы называем себя, поступает почти так же, и доказательством служат наши ученые рассуждения. Сперва ученый подъезжает в них необыкновенным подлецом, начинает робко, умеренно, начинает самым смиренным запросом: не оттуда ли? не из того ли угла получила имя такая-то страна? или: не принадлежит ли этот документ к другому, позднейшему времени? или: не нужно ли под этим народом разуметь вот какой народ? Цитует немедленно тех и других древних писателей и чуть только видит какой-нибудь намек или просто показалось ему намеком, уж он получает рысь и бодрится, разговаривает с древними писателями запросто, задает им запросы и сам даже отвечает на них, позабывая вовсе о том, что начал робким предположением; ему уже кажется, что он это видит, что это ясно,— и рассуждение заключено словами: «так это вот как было, так вот какой народ нужно разуметь, так вот с какой точки нужно смотреть на предмет!» Потом во всеуслышанье с кафедры,— и новооткрытая истина пошла гулять по свету, набирая себе последователей и поклонников.

В то время, когда обе дамы так удачно и остроумно решили такое запутанное обстоятельство, вошел в гостиную прокурор с вечно неподвижною своей физиономией, густыми бровями и моргавшим глазом. Дамы наперерыв принялись сообщать ему все события, рассказали о покупке мертвых душ, о намерении увезти губернаторскую дочку и сбили его совершенно с толку, так что сколько ни продолжал он стоять на одном и том же месте, хлопать левым глазом и бить себя платком по бороде, сметая оттуда табак, но ничего решительно не мог понять. Так на том и оставили его обе дамы и отправились каждая в свою сторону бунтовать город. Это предприятие удалось произвести им с небольшим в полчаса. Город был решительно взбунтован; все пришло в брожение, и хоть бы кто-нибудь мог что-либо понять. Дамы умели напустить такого тумана в глаза всем, что все, а особенно чиновники, несколько времени оставались ошеломленными. Положение их в первую

минуту было похоже на положение школьника, которому сонному товарищи, вставшие поранее, засунули в нос гусара, то есть бумажку, наполненную табаком. Потянувши впросонках весь табак к себе со всем усердием спящего, он пробуждается, вскакивает, глядит, как дурак, выпучив глаза, во все стороны, и не может понять, где он, что с ним было, и потом уже различает озаренные косвенным лучом солнца стены, смех товарищей, скрывшихся по углам, и глядящее в окно наступившее утро, с проснувшимся лесом, звучащим тысячами птичьих голосов, и с осветившеюся речкою, там и там пропадающею блещущими загогулинами между тонких тростников, всю усыпанную нагими ребятишками, зазывающими на купанье, и потом уже наконец чувствует, что в носу у него сидит гусар. Таково совершенно было в первую минуту положение обитателей и чиновников города. Всякий, как баран, остановился, выпучив глаза. Мертвые души, губернаторская дочка и Чичиков сбились и смешались в головах их необыкновенно странно; и потом уже, после первого одурения, они как будто бы стали различать их порознь и отделять одно от другого, стали требовать отчета и сердиться, видя, что дело никак не хочет объясниться. Что ж за притча, в самом деле, что за притча эти мертвые души? Логики нет никакой в мертвых душах; как же покупать мертвые души? где ж дурак такой возьмется? и на какие слепые деньги станет он покупать их? и на какой конец, к какому делу можно приткнуть эти мертвые души? и зачем вмешалась сюда губернаторская дочка? Если же он хотел увезти ее, так зачем для этого покупать мертвые души? Если же покупать мертвые души, так зачем увозить губернаторскую дочку? подарить, что ли, он хотел ей эти мертвые души? Что ж за вздор, в самом деле, разнесли по городу? Что ж за направленье такое, что не успеешь поворотиться, а тут уж и выпустят историю, и хоть бы какой-нибудь смысл был... Однако ж разнесли, стало быть, была же какая-нибудь причина? Какая же причина в мертвых душах? даже и причины нет. Это, выходит, просто: Андроны едут, чепуха, белиберда, сапоги всмятку! это просто черт побери!.. Словом, пошли толки, толки, и весь город заговорил про мертвые души и губернаторскую дочку, про Чичикова и мертвые души, про губернаторскую дочку и Чичикова, и все, что ни есть, поднялось. Как вихорь взметнулся дотоле, казалось, дремавший город! Вылезли из нор все тюрюки и байбаки, которые позалеживались в халатах по нескольку лет дома, сваливая вину то на сапожника, сшившего узкие сапоги, то на портного, то на пьяницу кучера. Все те, которые прекратили давно уже всякие знакомства и знались только, как выражаются, с помещиками Завалишиным да Полежаевым (знаменитые термины, произведенные от глаголов «полежать» и «завалиться», которые в большом ходу у

нас на Руси, все равно как фраза: заехать к Сопикову и Храповицкому, означающая всякие мертвецкие сны на боку, на спине и во всех иных положениях, с захрапами, носовыми свистами и прочими принадлежностями); все те, которых нельзя было выманить из дому даже зазывом на расхлебку пятисотрублевой ухи с двухаршинными стерлядями и всякими тающими во рту кулебяками; словом, оказалось, что город и люден, и велик, и населен как следует. Показался какой-то Сысой Пафнутьевич и Макдональд Карлович, о которых и не слышно было никогда; в гостиных заторчал какой-то длинный, длинный, с простреленною рукою, такого высокого роста, какого даже и не видано было. На улицах показались крытые дрожки, неведомые линейки, дребезжалки, колесосвистки — и заварилась каша. В другое время и при других обстоятельствах подобные слухи, может быть, не обратили бы на себя никакого внимания; но город N. уже давно не получал никаких совершенно вестей. Даже не происходило в продолжение трех месяцев ничего такого, что называют в столицах комеражами [1], что, как известно, для города то же, что своевременный подвоз съестных припасов. В городской толковне оказалось вдруг два совершенно противоположных мнения и образовалися вдруг две противоположные партии: мужская и женская. Мужская партия, самая бестолковая, обратила внимание на мертвые души. Женская занялась исключительно похищением губернаторской дочки. В этой партии, надо заметить к чести дам, было несравненно более порядка и осмотрительности. Таково уже, видно, самое назначение их быть хорошими хозяйками и распорядительницами. Все у них скоро приняло живой определенный вид, облеклось в ясные и очевидные формы, объяснилось, очистилось, одним словом, вышла оконченная картинка. Оказалось, что Чичиков давно уже был влюблен, и виделись они в саду при лунном свете, что губернатор даже бы отдал за него дочку, потому что Чичиков богат, как жид, если бы причиною не была жена его, которую он бросил (откуда они узнали, что Чичиков женат,— это никому не было ведомо), и что жена, которая страдает от безнадежной любви, написала письмо к губернатору самое трогательное, и что Чичиков, видя, что отец и мать никогда не согласятся, решился на похищение. В других домах рассказывалось это несколько иначе: что у Чичикова нет вовсе никакой жены, но что он, как человек тонкий и действующий наверняка, предпринял, с тем чтобы получить руку дочери, начать дело с матери и имел с нею сердечную тайную связь, и что потом сделал декларацию насчет руки дочери; но мать, испугавшись, чтобы не совершилось преступление, противное религии, и чувствуя в душе

[1] Комеражи — сплетни (от *франц.* le commerage).

угрызение совести, отказала наотрез, и что вот потому Чичиков решился на похищение. Ко всему этому присоединялись многие объяснения и поправки по мере того, как слухи проникали наконец в самые глухие переулки. На Руси же общества низшие очень любят поговорить о сплетнях, бывающих в обществах высших, а потому начали обо всем этом говорить в таких домишках, где даже в глаза не видывали и не знали Чичикова, пошли прибавления и еще большие пояснения. Сюжет становился ежеминутно занимательнее, принимал с каждым днем более окончательные формы и наконец, так как есть, во всей своей окончательности, доставлен был в собственные уши губернаторши. Губернаторша, как мать семейства, как первая в городе дама, наконец как дама, не подозревавшая ничего подобного, была совершенно оскорблена подобными историями и пришла в негодование, во всех отношениях справедливое. Бедная блондинка выдержала самый неприятный tête-à-tête [1], какой только когда-либо случалось иметь шестнадцатилетней девушке. Полились целые потоки расспросов, допросов, выговоров, угроз, упреков, увещаний, так что девушка бросилась в слезы, рыдала и не могла понять ни одного слова; швейцару дан был строжайший приказ не принимать ни в какое время и ни под каким видом Чичикова.

Сделавши свое дело относительно губернаторши, дамы насели было на мужскую партию, пытаясь склонить их на свою сторону и утверждая, что мертвые души выдумка и употреблена только для того, чтобы отвлечь всякое подозрение и успешнее произвесть похищение. Многие даже из мужчин были совращены и пристали к их партии, несмотря на то что подвергнулись сильным нареканиям от своих же товарищей, обругавших их бабами и юбками — именами, как известно, очень обидными для мужеского пола.

Но как ни вооружались и ни противились мужчины, а в их партии совсем не было такого порядка, как в женской. Все у них было как-то черство, неотесанно, неладно, негоже, нестройно, нехорошо, в голове кутерьма, сутолока, сбивчивость, неопрятность в мыслях,— одним словом, так и вызначилась во всем пустая природа мужчины, природа грубая, тяжелая, не способная ни к домостроительству, ни к сердечным убеждениям, маловерная, ленивая, исполненная беспрерывных сомнений и вечной боязни. Они говорили, что все это вздор, что похищенье губернаторской дочки более дело гусарское, нежели гражданское, что Чичиков не сделает этого, что бабы врут, что баба что мешок: что положат, то несет, что главный предмет, на который нужно обратить внимание, есть мертвые души, которые, впрочем, черт его знает, что значат, но в них

[1] разговор с глазу на глаз *(франц.)*.

заключено, однако ж, весьма скверное, нехорошее. Почему казалось мужчинам, что в них заключалось скверное и нехорошее, сию минуту узнаем: в губернию назначен был новый генерал-губернатор — событие, как известно, приводящее чиновников в тревожное состояние: пойдут переборки, распеканья, взбутетениванья и всякие должностные похлебки, которыми угощает начальник своих подчиненных. «Ну что,— думали чиновники,— если он узнает только просто, что в городе их вот-де какие глупые слухи, да за это одно может вскипятить не на жизнь, а на самую смерть». Инспектор врачебной управы вдруг побледнел; ему представилось бог знает что: не разумеются ли под словом «мертвые души» больные, умершие в значительном количестве в лазаретах и в других местах от повальной горячки, против которой не было взято надлежащих мер, и что Чичиков не есть ли подосланный чиновник из канцелярии генерал-губернатора для произведения тайного следствия. Он сообщил об этом председателю. Председатель отвечал, что это вздор, и потом вдруг побледнел сам, задав себе вопрос, а что, если души, купленные Чичиковым, в самом деле мертвые? а он допустил совершить на них крепость да еще сам сыграл роль поверенного Плюшкина, и дойдет это до сведения генерал-губернатора, что тогда? Он об этом больше ничего, как только сказал тому и другому, и вдруг побледнели и тот и другой; страх прилипчивее чумы и сообщается вмиг. Все вдруг отыскали в себе такие грехи, каких даже не было. Слово «мертвые души» так раздалось неопределенно, что стали подозревать даже, нет ли здесь какого намека на скоропостижно погребенные тела, вследствие двух не так давно случившихся событий. Первое событие было с какими-то сольвычегодскими купцами, приехавшими в город на ярмарку и задавшими после торгов пирушку приятелям своим устьсысольским купцам, пирушку на русскую ногу с немецкими затеями: аршадами, пуншами, бальзамами и проч. Пирушка, как водится, кончилась дракой. Сольвычегодские уходили насмерть устьсысольских, хотя и от них понесли крепкую ссадку на бока, под микитки и в подсочельник, свидетельствовавшую о непомерной величине кулаков, которыми были снабжены покойники. У одного из восторжествовавших даже был вплоть сколот нос, по выражению бойцов, то есть весь размозжен нос, так что не оставалось его на лице и на полпальца. В деле своем купцы повинились, изъясняясь, что немного пошалили; носились слухи, будто при повинной голове они приложили по четыре государственные каждый; впрочем, дело слишком темное; из учиненных выправок и следствий оказалось, что устьсысольские ребята умерли от угара, а потому так их и похоронили, как угоревших. Другое происшествие, недавно случившееся, было следующее: казенные крестьяне сельца Вшивая-спесь, соединившись с таковы-

ми же крестьянами сельца Боровки, Задирайлово-тож, снесли с лица земли будто бы земскую полицию в лице заседателя, какого-то Дробяжкина, что будто земская полиция, то есть заседатель Дробяжкин, повадился уж чересчур часто ездить в их деревню, что в иных случаях стоит повальной горячки, а причина-де та, что земская полиция, имея кое-какие слабости со стороны сердечной, приглядывался на баб и деревенских девок. Наверное, впрочем, неизвестно, хотя в показаниях крестьяне выразились прямо, что земская полиция был-де блудлив, как кошка, и что уже не раз они его оберегали и один раз даже выгнали нагишом из какой-то избы, куда он было забрался. Конечно, земская полиция достоин был наказания за сердечные слабости, но мужиков как Вшивой-спеси, так и Задирайлова-тож нельзя было также оправдать за самоуправство, если они только действительно участвовали в убиении. Но дело было темно, земскую полицию нашли на дороге, мундир или сертук на земской полиции был хуже тряпки, а уж физиогномии и распознать нельзя было. Дело ходило по судам и поступило наконец в палату, где было сначала наедине рассуждено в таком смысле: так как неизвестно, кто из крестьян именно участвовал, а всех их много, Дробяжкин же человек мертвый, стало быть, ему немного в том проку, если бы даже он и выиграл дело, а мужики были еще живы, стало быть, для них весьма важно решение в их пользу; то вследствие того решено было так: что заседатель Дробяжкин был сам причиною, оказывая несправедливые притеснения мужикам Вшивой-спеси и Задирайлова-тож, а умер-де он, возвращаясь в санях, от апоплексического удара. Дело, казалось бы, обделано было кругло, но чиновники, неизвестно почему, стали думать, что, верно, об этих мертвых душах идет теперь дело. Случись же так, что, как нарочно, в то время, когда господа чиновники и без того находились в затруднительном положении, пришли к губернатору разом две бумаги. В одной из них содержалось, что по дошедшим показаниям и донесениям находится в их губернии делатель фальшивых ассигнаций, скрывающийся под разными именами, и чтобы немедленно было учинено строжайшее розыскание. Другая бумага содержала в себе отношение губернатора соседственной губернии о убежавшем от законного преследования разбойнике, и что буде окажется в их губернии какой подозрительный человек, не предъявящий никаких свидетельств и пашпортов, то задержать его немедленно. Эти две бумаги так и ошеломили всех. Прежние заключения и догадки совсем были сбиты с толку. Конечно, никак нельзя было предполагать, чтобы тут относилось что-нибудь к Чичикову; однако ж все, как поразмыслили каждый с своей стороны, как припомнили, что они еще не знают, кто таков на самом деле есть Чичиков, что он сам весьма неясно отзывался насчет собственного лица, го-

ворил, правда, что потерпел по службе за правду, да ведь все это как-то неясно, и когда вспомнили при этом, что он даже выразился, будто имел много неприятелей, покушавшихся на жизнь его, то задумались еще более: стало быть, жизнь его была в опасности, стало быть, его преследовали, стало быть, он ведь сделал же что-нибудь такое... да кто же он в самом деле такой? Конечно, нельзя думать, чтобы он мог делать фальшивые бумажки, а тем более быть разбойником: наружность благонамеренна; но при всем том, кто же бы, однако ж, он был такой на самом деле? И вот господа чиновники задали себе теперь вопрос, который должны были задать себе в начале, то есть в первой главе нашей поэмы. Решено было еще сделать несколько расспросов тем, у которых были куплены души, чтобы, по крайней мере, узнать, что за покупки, и что именно нужно разуметь под этими мертвыми душами, и не объяснил ли он кому, хоть, может быть, невзначай, хоть вскользь как-нибудь настоящих своих намерений, и не сказал ли он кому-нибудь о том, кто он такой. Прежде всего отнеслись к Коробочке, но тут почерпнули не много: купил-де за пятнадцать рублей, и птичьи перья тоже покупает, и много всего обещался накупить, в казну сало тоже ставит, и потому, наверно, плут, ибо уж был один такой, который покупал птичьи перья и в казну сало поставлял, да обманул всех и протопопшу надул более чем на сто рублей. Все, что ни говорила она далее, было повторение почти одного и того же, и чиновники увидели только, что Коробочка была просто глупая старуха. Манилов отвечал, что за Павла Ивановича всегда готов он ручаться, как за самого себя, что он бы пожертвовал всем своим имением, чтобы иметь сотую долю качеств Павла Ивановича, и отозвался о нем вообще в самых лестных выражениях, присовокупив несколько мыслей насчет дружбы уже с зажмуренными глазами. Эти мысли, конечно, удовлетворительно объяснили нежное движение его сердца, но не объяснили чиновникам настоящего дела. Собакевич отвечал, что Чичиков, по его мнению, человек хороший, а что крестьян он ему продал на выбор и народ во всех отношениях живой; но что он не ручается за то, что случится вперед, что если они попримрут во время трудностей переселения в дороге, то не его вина, и в том властен бог, а горячек и разных смертоносных болезней есть на свете немало, и бывают примеры, что вымирают-де целые деревни. Господа чиновники прибегнули еще к одному средству, не весьма благородному, но которое, однако же, иногда употребляется, то есть стороною, посредством разных лакейских знакомств, расспросить людей Чичикова, не знают ли они каких подробностей насчет прежней жизни и обстоятельств барина, но услышали тоже не много. От Петрушки услышали только запах жилого покоя, а от Селифана, что сполнял службу государскую да

служил прежде по таможне, и ничего более. У этого класса людей есть весьма странный обычай. Если его спросить прямо о чем-нибудь, он никогда не вспомнит, не приберет всего в голову и даже просто ответит, что не знает, а если спросить о чем другом, тут-то он и приплетет его, и расскажет с такими подробностями, которых и знать не захочешь. Все поиски, произведенные чиновниками, открыли им только то, что они наверное никак не знают, что такое Чичиков, а что, однако же, Чичиков что-нибудь да должен быть непременно. Они положили наконец потолковать окончательно об этом предмете и решить, по крайней мере, что и как им делать, и какие меры предпринять, и что такое он именно: такой ли человек, которого нужно задержать и схватить, как неблагонамеренного, или же он такой человек, который может сам схватить и задержать их всех, как неблагонамеренных. Для всего этого предположено было собраться нарочно у полицеймейстера, уже известного читателям отца и благодетеля города.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Собравшись у полицеймейстера, уже известного читателям отца и благодетеля города, чиновники имели случай заметить друг другу, что они даже похудели от этих забот и тревог. В самом деле, назначение нового генерал-губернатора, и эти полученные бумаги такого сурьезного содержания, и эти бог знает какие слухи — все это оставило заметные следы в их лицах, и фраки на многих сделались заметно просторней. Все подалось: и председатель похудел, и инспектор врачебной управы похудел, и прокурор похудел, и какой-то Семен Иванович, никогда не называвшийся по фамилии, носивший на указательном пальце перстень, который давал рассматривать дамам, даже и тот похудел. Конечно, нашлись, как и везде бывает, кое-кто неробкого десятка, которые не теряли присутствия духа, но их было весьма немного. Почтмейстер один только. Он один не изменялся в постоянно ровном характере и всегда в подобных случаях имел обыкновение говорить: «Знаем мы вас, генерал-губернаторов! Вас, может быть, три-четыре переменится, а я вот уже тридцать лет, судырь мой, сижу на одном месте». На это обыкновенно замечали другие чиновники: «Хорошо тебе, шпрехен зи дейч Иван Андрейч, у тебя дело почтовое: принять да отправить экспедицию; разве только надуешь, заперши присутствие часом раньше, да возьмешь с опоздавшего купца за прием письма в неуказанное время или перешлешь иную посылку, которую не следует пересылать,— тут, конечно, всякий будет святой. А вот пусть к тебе повадится черт подвертываться всякий день под руку, так

что вот и не хочешь брать, а он сам сует. Тебе, разумеется, сполагоря, у тебя один сынишка, а тут, брат, Прасковью Федоровну наделил бог такою благодатию, что год, то несет: либо Праскушку, либо Петрушу; тут, брат, другое запоешь». Так говорили чиновники, а можно ли в самом деле устоять против черта, об этом судить не авторское дело. В собравшемся на сей раз совете очень заметно было отсутствие той необходимой вещи, которую в простонародье называют толком. Вообще мы как-то не создались для представительных заседаний. Во всех наших собраниях, начиная от крестьянской мирской сходки до всяких возможных ученых и прочих комитетов, если в них нет одной главы, управляющей всем, присутствует препорядочная путаница. Трудно даже и сказать, почему это; видно, уже народ такой, только и удаются те совещания, которые составляются для того, чтобы покутить или пообедать, как то: клубы и всякие воксалы на немецкую ногу. А готовность всякую минуту есть, пожалуй, на все. Мы вдруг, как ветер повеет, заведем общества благотворительные, поощрительные и невесть какие. Цель будет прекрасна, а при всем том ничего не выйдет. Может быть, это происходит оттого, что мы вдруг удовлетворяемся в самом начале и уже почитаем, что все сделано. Например, затеявши какое-нибудь благотворительное общество для бедных и пожертвовавши значительные суммы, мы тотчас в ознаменование такого похвального поступка задаем обед всем первым сановникам города, разумеется, на половину всех пожертвованных сумм; на остальные нанимается тут же для комитета великолепная квартира, с отоплением и сторожами, а затем и остается всей суммы для бедных пять рублей с полтиною, да и тут в распределении этой суммы еще не все члены согласны между собою, и всякий сует какую-нибудь свою куму. Впрочем, собравшееся ныне совещание было совершенно другого рода: оно образовалось вследствие необходимости. Не о каких-либо бедных или посторонних шло дело, дело касалось всякого чиновника лично, дело касалось беды, всем равно грозившей; стало быть, поневоле тут должно быть единодушнее, теснее. Но при всем том вышло черт знает что такое. Не говоря уже о разногласиях, свойственных всем советам, во мнении собравшихся обнаружилась какая-то даже непостижимая нерешительность: один говорил, что Чичиков делатель государственных ассигнаций, и потом сам прибавлял: «а может быть, и не делатель»; другой утверждал, что он чиновник генерал-губернаторской канцелярии, и тут же присовокуплял: «а впрочем, черт его знает, на лбу ведь не прочтешь». Против догадки, не переодетый ли разбойник, вооружились все; нашли, что сверх наружности, которая сама по себе была уже благонамеренна, в разговорах его ничего не было такого, которое бы показывало человека с буйными поступками.

Вдруг почтмейстер, остававшийся несколько минут погруженным в какое-то размышление, вследствие ли внезапного вдохновения, осенившего его, или чего иного, вскрикнул неожиданно:

— Знаете ли, господа, кто это?

Голос, которым он произнес это, заключал в себе что-то потрясающее, так что заставил вскрикнуть всех в одно время:

— А кто?

— Это, господа, судырь мой, не кто другой, как капитан Копейкин!

А когда все тут же в один голос спросили: «Кто таков этот капитан Копейкин?» — почтмейстер сказал:

— Так вы не знаете, кто такой капитан Копейкин?

Все отвечали, что никак не знают, кто таков капитан Копейкин.

— Капитан Копейкин,— сказал почтмейстер, открывший свою табакерку только вполовину, из боязни, чтобы кто-нибудь из соседей не запустил туда своих пальцев, в чистоту которых он плохо верил и даже имел обыкновение приговаривать: «Знаем, батюшка: вы пальцами своими, может быть, невесть в какие места наведываетесь, а табак вещь, требующая чистоты».— Капитан Копейкин,— сказал почтмейстер, уже понюхавши табаку,— да ведь это, впрочем, если рассказать, выйдет презанимательная для какого-нибудь писателя в некотором роде целая поэма.

Все присутствующие изъявили желание узнать эту историю, или, как выразился почтмейстер, презанимательную для писателя в некотором роде целую поэму, и он начал так:

## ПОВЕСТЬ О КАПИТАНЕ КОПЕЙКИНЕ

«После кампании двенадцатого года, судырь ты мой,— так начал почтмейстер, несмотря на то что в комнате сидел не один сударь, а целых шестеро,— после кампании двенадцатого года вместе с ранеными прислан был и капитан Копейкин. Под Красным ли, или под Лейпцигом, только, можете вообразить, ему оторвало руку и ногу. Ну, тогда еще не сделано было насчет раненых никаких, знаете, эдаких распоряжений; этот какой-нибудь инвалидный капитал был уже заведен, можете представить себе, в некотором роде гораздо после. Капитан Копейкин видит: нужно работать бы, только рука-то у него, понимаете, левая. Наведался было домой к отцу; отец говорит: «Мне нечем тебя кормить, я,— можете представить себе,— сам едва достаю хлеб». Вот мой капитан Копейкин решился отправиться, судырь мой, в Петербург, чтобы просить государя, не будет ли какой монаршей милости: «что вот-де, так и

так, в некотором роде, так сказать, жизнию жертвовал, проливал кровь...» Ну, как-то там, знаете, с обозами или фурами казенными,— словом, судырь мой, дотащился он кое-как до Петербурга. Ну, можете представить себе: эдакой какой-нибудь, то есть, капитан Копейкин и очутился вдруг в столице, которой подобной, так сказать, нет в мире! Вдруг перед ним свет, так сказать, некоторое поле жизни, сказочная Шехерезада. Вдруг какой-нибудь эдакой, можете представить себе, Невский проспект, или там, знаете, какая-нибудь Гороховая, черт возьми! или там эдакая какая-нибудь Литейная; там шпиц эдакой какой-нибудь в воздухе; мосты там висят эдаким чертом, можете представить себе, без всякого, то есть, прикосновения,— словом, Семирамида, судырь, да и полно! Понатолкался было нанять квартиры, только все это кусается страшно: гардины, шторы, чертовство такое, понимаете, ковры — Персия целиком; ногой, так сказать, попираешь капиталы. Ну просто, то есть, идешь по улице, а уж нос твой так и слышит, что пахнет тысячами; а у моего капитана Копейкина весь ассигнационный банк, понимаете, состоит из каких-нибудь десяти синюх. Ну, както там приютился в ревельском трактире за рубль в сутки; обед — щи, кусок битой говядины. Видит: заживаться нечего. Расспросил, куда обратиться. Говорят, есть, в некотором роде, высшая комиссия, правленье, понимаете, эдакое, и начальником генерал-аншеф такой-то. А государя, нужно вам знать, в то время не было еще в столице; войска, можете себе представить, еще не возвращались из Парижа, все было за границей. Копейкин мой, вставший пораньше, поскреб себе левой рукой бороду, потому что платить цирюльнику — это составит, в некотором роде, счет, натащил на себя мундиришку и на деревяшке своей, можете вообразить, отправился к самому начальнику, к вельможе. Расспросил квартиру. «Вон»,— говорят, указав ему дом на Дворцовой набережной. Избенка, понимаете, мужичья: стеклушки в окнах, можете себе представить, полуторасаженные зеркала, так что вазы и всё, что там ни есть в комнатах, кажутся как бы внаруже,— мог бы, в некотором роде, достать с улицы рукой; драгоценные марморы на стенах, металлические галантереи, какая-нибудь ручка у дверей, так что нужно, знаете, забежать наперед в мелочную лавочку, да купить на грош мыла, да прежде часа два тереть им руки, да потом уже решишься ухватиться за нее,— словом: лаки на всем такие — в некотором роде ума помрачение. Один швейцар уже смотрит генералиссимусом: вызолоченная булава, графская физиогномия, как откормленный жирный мопс какой-нибудь; батистовые воротнички, канальство!.. Копейкин мой встащился кое-как с своей деревяшкой в приемную, прижался там в уголку себе, чтобы не толкнуть локтем, можете себе представить, какую-нибудь Америку или Индию —

раззолоченную, понимаете, фарфоровую вазу эдакую. Ну, разумеется, что он настоялся там вдоволь, потому что, можете представить себе, пришел еще в такое время, когда генерал, в некотором роде, едва поднялся с постели и камердинер, может быть, поднес ему какую-нибудь серебряную лоханку для разных, понимаете, умываний эдаких. Ждет мой Копейкин часа четыре, как вот входит наконец адъютант или там другой дежурный чиновник. «Генерал, говорит, сейчас выйдет в приемную». А в приемной уж народу — как бобов на тарелке. Все это не то, что наш брат холоп, всё четвертого или пятого класса, полковники, а кое-где и толстый макарон блестит на эполете — генералитет, словом, такой. Вдруг в комнате, понимаете, пронеслась чуть заметная суета, как эфир какой-нибудь тонкий. Раздалось там и там: «шу, шу», и наконец тишина настала страшная. Вельможа входит. Ну... можете представить себе: государственный человек! В лице, так сказать... ну, сообразно с званием, понимаете... с высоким чином... такое и выраженье, понимаете. Все, что ни было в передней, разумеется, в ту же минуту в струнку, ожидает, дрожит, ждет решенья, в некотором роде, судьбы. Министр, или вельможа, подходит к одному, к другому: «Зачем вы? зачем вы? что вам угодно? какое ваше дело?» Наконец, судырь мой, к Копейкину. Копейкин, собравшись с духом: «Так и так, ваше превосходительство: проливал кровь, лишился, в некотором роде, руки и ноги, работать не могу, осмеливаюсь просить монаршей милости». Министр видит: человек на деревяшке и правый рукав пустой пристегнут к мундиру: «Хорошо, говорит, понаведайтесь на днях». Копейкин мой выходит чуть не в восторге: одно то, что удостоился аудиенции, так сказать, с первостатейным вельможею; а другое то, что вот теперь наконец решится, в некотором роде, насчет пенсиона. В духе, понимаете, таком, подпрыгивает по тротуару. Зашел в Палкинский трактир выпить рюмку водки, пообедал, судырь мой, в Лондоне, приказал подать себе котлетку с каперсами, пулярку спросил с разными финтерлеями; спросил бутылку вина, ввечеру отправился в театр — одним словом, понимаете, кутнул. На тротуаре, видит, идет какая-то стройная англичанка, как лебедь, можете себе представить, эдакой. Мой Копейкин — кровь-то, знаете, разыгралась в нем — побежал было за ней на своей деревяшке, трюх-трюх следом — «да нет, подумал, пусть после, когда получу пенсион, теперь уж я что-то расходился слишком». Вот, судырь мой, каких-нибудь через три-четыре дня является Копейкин мой снова к министру, дождался выходу. «Так и так, говорит, пришел, говорит, услышать приказ вашего высокопревосходительства по одержимым болезням и за ранами...»,— и тому подобное, понимаете, в должностном слоге. Вельможа, можете вообразить, тотчас его узнал: «А, говорит, хорошо, говорит, на этот

раз ничего не могу сказать вам более, как только то, что вам нужно будет ожидать приезда государя; тогда, без сомнения, будут сделаны распоряжения насчет раненых, а без монаршей, так сказать, воли я ничего не могу сделать». Поклон, понимаете, и — прощайте. Копейкин, можете вообразить себе, вышел в положении самом неопределенном. Он-то уже думал, что вот ему завтра так и выдадут деньги: «На тебе, голубчик, пей да веселись»; а вместо того ему приказано ждать, да и время не назначено. Вот он совой такой вышел с крыльца, как пудель, понимаете, которого повар облил водой: и хвост у него между ног, и уши повесил. «Ну, нет,— думает себе,— пойду в другой раз, объясню, что последний кусок доедаю,— не поможете, должен умереть, в некотором роде, с голода». Словом, приходит он, судырь мой, опять на Дворцовую набережную; говорят: «Нельзя, не принимает, приходите завтра». На другой день — то же; а швейцар на него просто и смотреть не хочет. А между тем у него из синюх-то, понимаете, уж остается только одна в кармане. То, бывало, едал щи, говядины кусок, а теперь в лавочке возьмет какую-нибудь селедку или огурец соленый да хлеба па два гроша,— словом, голодает бедняга, а между тем аппетит просто волчий. Проходит мимо эдакого какого-нибудь ресторана — повар там, можете себе представить, иностранец, француз эдакой с открытой физиогномией, белье на нем голландское, фартук, белизною равный снегам, работает там фензерв какой-нибудь, котлетки с трюфелями,— словом, рассупе-деликатес такой, что просто себя, то есть, съел бы от аппетита. Пройдет ли мимо Милютинских лавок, там из окна выглядывает, в некотором роде, семга эдакая, вишенки — по пяти рублей штучка, арбуз-громадище, дилижанс эдакой, высунулся из окна и, так сказать, ищет дурака, который бы заплатил сто рублей,— словом, на всяком шагу соблазн такой, слюнки текут, а он слышит между тем всё «завтра». Так можете вообразить себе, каково его положение: тут, с одной стороны, так сказать, семга и арбуз, а с другой-то,— ему подносят все одно и то же блюдо: «завтра». Наконец сделалось бедняге, в некотором роде, невтерпеж, решился во что бы то ни стало пролезть штурмом, понимаете. Дождался у подъезда, не пройдет ли еще какой проситель, и там с каким-то генералом, понимаете, проскользнул с своей деревяшкой в приемную. Вельможа, по обыкновению, выходит: «Зачем вы? Зачем вы? А! — говорит, увидевши Копейкина,— ведь я уже объявил вам, что вы должны ожидать решения».— «Помилуйте, ваше высокопревосходительство, не имею, так сказать, куска хлеба...» — «Что же делать? Я для вас ничего не могу сделать; старайтесь покамест помочь себе сами, ищите сами средств».— «Но, ваше высокопревосходительство, сами можете, в некотором роде, судить, какие средства могу сыскать,

не имея ни руки, ни ноги».— «Но,— говорит сановник,— согласитесь: я не могу вас содержать, в некотором роде, на свой счет; у меня много раненых, все они имеют равное право... Вооружитесь терпением. Приедет государь, я могу вам дать честное слово, что его монаршая милость вас не оставит».— «Но, ваше высокопревосходительство, я не могу ждать»,— говорит Копейкин, и говорит, в некотором отношении, грубо. Вельможе, понимаете, сделалось уже досадно. В самом деле: тут со всех сторон генералы ожидают решений, приказаний; дела, так сказать, важные, государственные, требующие самоскорейшего исполнения,— минута упущения может быть важна,— а тут еще привязался сбоку неотвязчивый черт. «Извините, говорит, мне некогда... меня ждут дела важнее ваших». Напоминает способом, в некотором роде, тонким, что пора наконец и выйти. А мой Копейкин,— голод-то, знаете, пришпорил его: «Как хотите, ваше высокопревосходительство, говорит, не сойду с места до тех пор, пока не дадите резолюцию». Ну... можете представить: отвечать таким образом вельможе, которому стоит только слово — так вот уж и полетел вверх тарашки, так что и черт тебя не отыщет... Тут если нашему брату скажет чиновник, одним чином поменьше, подобное, так уж и грубость. Ну, а там размер-то, размер каков: генерал-аншеф и какой-нибудь капитан Копейкин! Девяносто рублей и нуль! Генерал, понимаете, больше ничего, как только взглянул, а взгляд — огнестрельное оружие: души уж нет — уж она ушла в пятки. А мой Копейкин, можете вообразить, ни с места, стоит как вкопанный. «Что же вы?» — говорит генерал и принял его, как говорится, в лопатки. Впрочем, сказать правду, обошелся он еще довольно милостиво: иной бы пугнул так, что дня три вертелась бы после того улица вверх ногами, а он сказал только: «Хорошо, говорит, если вам здесь дорого жить и вы не можете в столице покойно ожидать решенья вашей участи, так я вас вышлю на казенный счет. Позвать фельдъегеря! препроводить его на место жительства!» А фельдъегерь уж там, понимаете, и стоит: трехаршинный мужичина какой-нибудь, ручища у него, можете вообразить, самой натурой устроена для ямщиков,— словом, дантист эдакой... Вот его, раба божия, схватили, судырь мой, да в тележку, с фельдъегерем. «Ну,— Копейкин думает,— по крайней мере, не нужно платить прогонов, спасибо и за то». Вот он, судырь мой, едет на фельдъегере, да, едучи на фельдъегере, в некотором роде, так сказать, рассуждает сам себе: «Когда генерал говорит, чтобы я поискал сам средств помочь себе,— хорошо, говорит, я, говорит, найду средства!» Ну, уж как только его доставили на место и куда именно привезли, ничего этого неизвестно. Так, понимаете, и слухи о капитане Копейкине канули в реку забвения, в какую-нибудь эдакую Лету, как называют поэты. Но, позвольте, господа,

вот тут-то и начинается, можно сказать, нить, завязка романа. Итак, куда делся Копейкин, неизвестно; но не прошло, можете представить себе, двух месяцев, как появилась в рязанских лесах шайка разбойников, и атаман-то этой шайки был, судырь мой, не кто другой...»

— Только позволь, Иван Андреевич,— сказал вдруг, прервавши его, полицеймейстер,— ведь капитан Копейкин, ты сам сказал, без руки и ноги, а у Чичикова...

Здесь почтмейстер вскрикнул и хлопнул со всего размаха рукой по своему лбу, назвавши себя публично при всех телятиной. Он не мог понять, как подобное обстоятельство не пришло ему в самом начале рассказа, и сознался, что совершенно справедлива поговорка: «Русский человек задним умом крепок». Однако ж минуту спустя он тут же стал хитрить и попробовал было вывернуться, говоря, что, впрочем, в Англии очень усовершенствована механика, что видно по газетам, как один изобрел деревянные ноги таким образом, что при одном прикосновении к незаметной пружинке уносили эти ноги человека бог знает в какие места, так что после нигде и отыскать его нельзя было.

Но все очень усомнились, чтобы Чичиков был капитан Копейкин, и нашли, что почтмейстер хватил уже слишком далеко. Впрочем, они, с своей стороны, тоже не ударили лицом в грязь и, наведенные остроумной догадкой почтмейстера, забрели едва ли не далее. Из числа многих в своем роде сметливых предположений было наконец одно — странно даже и сказать: что не есть ли Чичиков переодетый Наполеон, что англичанин издавна завидует, что, дескать, Россия так велика и обширна, что даже несколько раз выходили и карикатуры, где русский изображен разговаривающим с англичанином. Англичанин стоит и сзади держит на веревке собаку, и под собакой разумеется Наполеон: «Смотри, мол, говорит, если что не так, так я на тебя сейчас выпущу эту собаку!»— и вот теперь они, может быть, и выпустили его с острова Елены, и вот он теперь и пробирается в Россию, будто бы Чичиков, а в самом деле вовсе не Чичиков.

Конечно, поверить этому чиновники не поверили, а, впрочем, призадумались и, рассматривая это дело каждый про себя, нашли, что лицо Чичикова, если он поворотится и станет боком, очень сдает на портрет Наполеона. Полицеймейстер, который служил в кампанию двенадцатого года и лично видел Наполеона, не мог тоже не сознаться, что ростом он никак не будет выше Чичикова и что складом своей фигуры Наполеон тоже нельзя сказать чтобы слишком толст, однако ж и не так чтобы тонок. Может быть, некоторые читатели назовут все это невероятным; автор тоже в угоду

им готов бы назвать все это невероятным; но, как на беду, все именно произошло так, как рассказывается, и тем еще изумительнее, что город был не в глуши, а, напротив, недалеко от обеих столиц. Впрочем, нужно помнить, что все это происходило вскоре после достославного изгнания французов. В это время все наши помещики, чиновники, купцы, сидельцы и всякий грамотный и даже неграмотный народ сделались, по крайней мере, на целые восемь лет заклятыми политиками. «Московские ведомости» и «Сын отечества» зачитывались немилосердно и доходили к последнему чтецу в кусочках, не годных ни на какое употребление. Вместо вопросов: «Почем, батюшка, продали меру овса? как воспользовались вчерашней порошей?» — говорили: «А что пишут в газетах, не выпустили ли опять Наполеона из острова?» Купцы этого сильно опасались, ибо совершенно верили предсказанию одного пророка, уже три года сидевшего в остроге; пророк пришел неизвестно откуда в лаптях и нагольном тулупе, страшно отзывавшемся тухлой рыбой, и возвестил, что Наполеон есть антихрист и держится на каменной цепи, за шестью стенами и семью морями, но после разорвет цепь и овладеет всем миром. Пророк за предсказание попал, как следует, в острог, но тем не менее дело свое сделал и смутил совершенно купцов. Долго еще, во время даже самых прибыточных сделок, купцы, отправляясь в трактир запивать их чаем, поговаривали об антихристе. Многие из чиновников и благородного дворянства тоже невольно подумывали об этом и, зараженные мистицизмом, который, как известно, был тогда в большой моде, видели в каждой букве, из которых было составлено слово «Наполеон», какое-то особенное значение; многие даже открыли в нем апокалипсические цифры. Итак, ничего нет удивительного, что чиновники невольно задумались на этом пункте; скоро, однако же, спохватились, заметив, что воображение их уже чересчур рысисто и что все это не то. Думали, думали, толковали, толковали и наконец решили, что не худо бы еще расспросить хорошенько Ноздрева. Так как он первый вынес историю о мертвых душах и был, как говорится, в каких-то тесных отношениях с Чичиковым, стало быть, без сомнения, знает кое-что из обстоятельств его жизни, то попробовать еще, что скажет Ноздрев.

Странные люди эти господа чиновники, а за ними и все прочие звания: ведь очень хорошо знали, что Ноздрев лгун, что ему нельзя верить ни в одном слове, ни в самой безделице, а между тем именно прибегнули к нему. Поди ты сладь с человеком! не верит в бога, а верит, что если почешется переносье, то непременно умрет; пропустит мимо создание поэта, ясное как день, все проникнутое согласием и высокою мудростью простоты, а бросится именно на то, где какой-нибудь удалец напутает, наплетет, изломает,

выворотит природу, и ему оно понравится, и он станет кричать: «Вот оно, вот настоящее знание тайн сердца!» Всю жизнь не ставит в грош докторов, а кончится тем, что обратится наконец к бабе, которая лечит зашептываньями и заплевками, или, еще лучше, выдумает сам какой-нибудь декохт из невесть какой дряни, которая, бог знает почему, вообразится ему именно средством против его болезни. Конечно, можно отчасти извинить господ чиновников действительно затруднительным их положением. Утопающий, говорят, хватается и за маленькую щепку, и у него нет в это время рассудка подумать, что на щепке может разве прокатиться верхом муха, а в нем весу чуть не четыре пуда, если даже не целых пять; но не приходит ему в то время соображение в голову, и он хватается за щепку. Так и господа наши ухватились наконец и за Ноздрева. Полицеймейстер в ту же минуту написал к нему записочку пожаловать на вечер, и квартальный, в ботфортах, с привлекательным румянцем на щеках, побежал в ту же минуту, придерживая шпагу, вприскочку на квартиру Ноздрева. Ноздрев был занят важным делом; целые четыре дня уже не выходил он из комнаты, не впускал никого и получал обед в окошко,— словом, даже исхудал и позеленел. Дело требовало большой внимательности: оно состояло в подбирании из нескольких десятков дюжин карт одной талии, но самой меткой, на которую можно было бы понадеяться, как на вернейшего друга. Работы оставалось еще, по крайней мере, на две недели; во все продолжение этого времени Порфирий должен был чистить меделянскому щенку пуп особенной щеточкой и мыть его три раза на день в мыле. Ноздрев был очень рассержен за то, что потревожили его уединение; прежде всего он отправил квартального к черту, но, когда прочитал в записке городничего, что может случиться пожива, потому что на вечер ожидают какого-то новичка, смягчился в ту же минуту, запер комнату наскоро ключом, оделся как попало и отправился к ним. Показания, свидетельства и предположения Ноздрева представили такую резкую противоположность таковым же господ чиновников, что и последние их догадки были сбиты с толку. Это был решительно человек, для которого не существовало сомнений вовсе; и сколько у них заметно было шаткости и робости в предположениях, столько у него твердости и уверенности. Он отвечал на все пункты даже не заикнувшись, объявил, что Чичиков накупил мертвых душ на несколько тысяч и что он сам продал ему, потому что не видит причины, почему не продать; на вопрос, не шпион ли он и не старается ли что-нибудь разведать, Ноздрев отвечал, что шпион, что еще в школе, где он с ним вместе учился, его называли фискалом, и что за это товарищи, а в том числе и он, несколько его поизмяли, так что нужно было потом приставить к одним вискам двести сорок пья-

вок,— то есть он хотел было сказать сорок, но двести сказалось как-то само собою. На вопрос, не делатель ли он фальшивых бумажек, он отвечал, что делатель, и при этом случае рассказал анекдот о необыкновенной ловкости Чичикова: как, узнавши, что в его доме находилось на два миллиона фальшивых ассигнаций, опечатали дом его и приставили караул, на каждую дверь по два солдата, и как Чичиков переменил их все в одну ночь, так что на другой день, когда сняли печати, увидели, что все были ассигнации настоящие. На вопрос, точно ли Чичиков имел намерение увезти губернаторскую дочку и правда ли, что он сам взялся помогать и участвовать в этом деле, Ноздрев отвечал, что помогал и что если бы не он, то не вышло бы ничего,— тут он и спохватился было, видя, что солгал вовсе напрасно и мог таким образом накликать на себя беду, но языка никак уже не мог придержать. Впрочем, и трудно было, потому что представились сами собою такие интересные подробности, от которых никак нельзя было отказаться: даже названа была по имени деревня, где находилась та приходская церковь, в которой положено было венчаться, именно деревня Трухмачевка, поп — отец Сидор, за венчание — семьдесят пять рублей, и то не согласился бы, если бы он не припугнул его, обещаясь донести на него, что перевенчал лабазника Михайла на куме, что он уступил даже свою коляску и заготовил на всех станциях переменных лошадей. Подробности дошли до того, что уже начинал называть по именам ямщиков. Попробовали было заикнуться о Наполеоне, но и сами были не рады, что попробовали, потому что Ноздрев понес такую околесину, которая не только не имела никакого подобия правды, но даже просто ни на что не имела подобия, так что чиновники, вздохнувши, все отошли прочь; один только полицеймейстер долго еще слушал, думая, не будет ли, по крайней мере, чего-нибудь далее, но наконец и рукой махнул, сказавши: «Черт знает что такое!» И все согласились в том, что как с быком ни биться, а все молока от него не добиться. И остались чиновники еще в худшем положении, чем были прежде, и решилось дело тем, что никак не могли узнать, что такое был Чичиков. И оказалось ясно, какого рода созданье человек: мудр, умен и толков он бывает во всем, что касается других, а не себя; какими осмотрительными, твердыми советами снабдит он в трудных случаях жизни! «Экая расторопная голова! — кричит толпа.— Какой неколебимый характер!» А нанесись на эту расторопную голову какая-нибудь беда и доведись ему самому быть поставлену в трудные случаи жизни, куды делся характер, весь растерялся неколебимый муж, и вышел из него жалкий трусишка, пичтожный, слабый ребенок, или просто фетюк, как называет Ноздрев.

«Мертвые души»

Худ. А. Лаптев

Все эти толки, мнения и слухи, неизвестно по какой причине, больше всего подействовали на бедного прокурора. Они подействовали на него до такой степени, что он, пришедши домой, стал думать, думать и вдруг, как говорится, ни с того ни с другого умер. Параличом ли его или чем другим прихватило, только он как сидел, так и хлопнулся со стула навзничь. Вскрикнули, как водится, всплеснув руками: «Ах, боже мой!» — послали за доктором, чтобы пустить кровь, но увидели, что прокурор был уже одно бездушное тело. Тогда только с соболезнованием узнали, что у покойника была, точно, душа, хотя он по скромности своей никогда ее не показывал. А между тем появленье смерти так же было страшно в малом, как страшно оно и в великом человеке: тот, кто еще не так давно ходил, двигался, играл в вист, подписывал разные бумаги и был так часто виден между чиновников с своими густыми бровями и мигающим глазом, теперь лежал на столе, левый глаз уже не мигал вовсе, но бровь одна все еще была приподнята с каким-то вопросительным выражением. О чем покойник спрашивал, зачем он умер или зачем жил, об этом один бог ведает.

Но это, однако ж, несообразно! это несогласно ни с чем! это невозможно, чтобы чиновники так могли сами напугать себя; создать такой вздор, так отдалиться от истины, когда даже ребенку видно, в чем дело! Так скажут многие читатели и укорят автора в несообразностях или назовут бедных чиновников дураками, потому что щедр человек на слово «дурак» и готов прислужиться им двадцать раз на день своему ближнему. Довольно из десяти сторон иметь одну глупую, чтобы быть признану дураком мимо девяти хороших. Читателям легко судить, глядя из своего покойного угла и верхушки, откуда открыт весь горизонт на все, что делается внизу, где человеку виден только близкий предмет. И во всемирной летописи человечества много есть целых столетий, которые, казалось бы, вычеркнул и уничтожил как ненужные. Много совершилось в мире заблуждений, которых бы, казалось, теперь не сделал и ребенок. Какие искривленные, глухие, узкие, непроходимые, заносящие далеко в сторону дороги избирало человечество, стремясь достигнуть вечной истины, тогда как перед ним весь был открыт прямой путь, подобный пути, ведущему к великолепной храмине, назначенной царю в чертоги! Всех других путей шире и роскошнее он, озаренный солнцем и освещенный всю ночь огнями, но мимо его в глухой темноте текли люди. И сколько раз уже наведенные нисходившим с небес смыслом, они и тут умели отшатнуться и сбиться в сторону, умели среди бела дня попасть вновь в непроходимые захолустья, умели напустить вновь слепой туман друг другу в очи и, влачась вслед за болотными огнями, умели-таки добраться до пропасти, чтобы потом с ужасом спросить друг

друга: где выход, где дорога? Видит теперь все ясно текущее поколение, дивится заблужденьям, смеется над неразумием своих предков, не зря, что небесным огнем исчерчена сия летопись, что кричит в ней каждая буква, что отвсюду устремлен пронзительный перст на него же, на него, на текущее поколение; но смеется текущее поколение и самонадеянно, гордо начинает ряд новых заблуждений, над которыми также потом посмеются потомки.

Чичиков ничего обо всем этом не знал совершенно. Как нарочно, в то время он получил легкую простуду — флюс и небольшое воспаление в горле, в раздаче которых чрезвычайно щедр климат многих наших губернских городов. Чтобы не прекратилась, боже сохрани, как-нибудь жизнь без потомков, он решился лучше посидеть денька три в комнате. В продолжение сих дней он полоскал беспрестанно горло молоком с фигой, которую потом съедал, и носил привязанную к щеке подушечку из ромашки и камфары. Желая чем-нибудь занять время, он сделал несколько новых и подробных списков всем накупленным крестьянам, прочитал даже какой-то том герцогини Лавальер, отыскавшийся в чемодане, пересмотрел в ларце разные находившиеся там предметы и записочки, кое-что перечел и в другой раз, и все это прискучило ему сильно. Никак не мог он понять, что бы значило, что ни один из городских чиновников не приехал к нему хоть бы раз наведаться о здоровье, тогда как еще недавно то и дело стояли перед гостиницей дрожки — то почтмейстерские, то прокурорские, то председательские. Он пожимал только плечами, ходя по комнате. Наконец почувствовал он себя лучше и обрадовался бог знает как, когда увидел возможность выйти на свежий воздух. Не откладывая, принялся он немедленно за туалет, отпер свою шкатулку, налил в стакан горячей воды, вынул щетку и мыло и расположился бриться, чему, впрочем, давно была пора и время, потому что, пощупав бороду рукою и взглянув в зеркало, он уже произнес: «Эк какие пошли писать леса!» И в самом деле, леса не леса, а по всей щеке и подбородку высыпал довольно густой посев. Выбрившись, принялся он за одеванье живо и скоро, так что чуть не выпрыгнул из панталон. Наконец он был одет, вспрыснут одеколоном и, закутанный потеплее, выбрался на улицу, завязавши из предосторожности щеку. Выход его, как всякого выздоровевшего человека, был точно праздничный. Все, что ни попадалось ему, приняло вид смеющийся: и домы, и проходившие мужики, довольно, впрочем, сурьезные, из которых иной уже успел съездить своего брата в ухо. Первый визит он намерен был сделать губернатору. Дорогою много приходило ему всяких мыслей на ум; вертелась в голове блондинка, воображенье начало даже слегка шалить, и он уже сам стал немного шутить и подсмеиваться над собою. В таком духе очутился он

перед губернаторским подъездом. Уже стал он было в сенях поспешно сбрасывать с себя шинель, как швейцар поразил его совершенно неожиданными словами:

— Не приказано принимать!

— Как, что ты, ты, видно, не узнал меня? Ты всмотрись хорошенько в лицо! — говорил ему Чичиков.

— Как не узнать, ведь я вас не впервой вижу,— сказал швейцар.— Да вас-то именно одних и не велено пускать, других всех можно.

— Вот тебе на! отчего? почему?

— Такой приказ, так уж, видно, следует,— сказал швейцар и прибавил к тому слово: «да». После чего стал перед ним совершенно непринужденно, не сохраняя того ласкового вида, с каким прежде торопился снимать с него шинель. Казалось, он думал, глядя на него: «Эге! уж коли тебя бары гоняют с крыльца, так ты, видно, так себе, шушера какой-нибудь!»

«Непонятно!» — подумал про себя Чичиков и отправился тут же к председателю палаты, но председатель палаты так смутился, увидя его, что не мог связать двух слов, и наговорил такую дрянь, что даже им обоим сделалось совестно. Уходя от него, как ни старался Чичиков изъяснить дорогою и добраться, что такое разумел председатель и насчет чего могли относиться слова его, но ничего не мог понять. Потом зашел к другим: к полицеймейстеру, к вицегубернатору, к почтмейстеру, но все или не приняли его, или приняли так странно, такой принужденный и непонятный вели разговор, так растерялись, и такая вышла бестолковщина изо всего, что он усомнился в здоровье их мозга. Попробовал было еще зайти кое к кому, чтобы узнать, по крайней мере, причину, и не добрался никакой причины. Как полусонный, бродил он без цели по городу, не будучи в состоянии решить, он ли сошел с ума, чиновники ли потеряли голову, во сне ли все это делается или наяву заварилась дурь почище сна. Поздно уже, почти в сумерки, возвратился он к себе в гостиницу, из которой было вышел в таком хорошем расположении духа, и от скуки велел подать себе чаю. В задумчивости и в каком-то бессмысленном рассуждении о странности положения своего стал он разливать чай, как вдруг отворилась дверь его комнаты и предстал Ноздрев никак неожиданным образом.

— Вот говорит пословица: «Для друга семь верст не околица!» — говорил он, снимая картуз.— Прохожу мимо, вижу свет в окне, дай, думаю себе, зайду, верно, не спит. А! вот хорошо, что у тебя на столе чай, выпью с удовольствием чашечку: сегодня за обедом объелся всякой дряни, чувствую, что уж начинается в желудке возня. Прикажи-ка мне набить трубку! Где твоя трубка?

— Да ведь я не курю трубки,— сказал сухо Чичиков.

— Пустое, будто я не знаю, что ты куряка. Эй! как, бишь, зовут твоего человека? Эй, Вахрамей, послушай!

— Да не Вахрамей, а Петрушка.

— Как же? да у тебя ведь прежде был Вахрамей.

— Никакого не было у меня Вахрамея.

— Да, точно, это у Деребина Вахрамей. Вообрази, Деребину какое счастье: тетка его поссорилась с сыном за то, что женился на крепостной, и теперь записала ему все именье. Я думаю себе, вот если бы эдакую тетку иметь для дальнейших! Да что ты, брат, так отдалился от всех, нигде не бываешь? Конечно, я знаю, что ты занят иногда учеными предметами, любишь читать (уж почему Ноздрев заключил, что герой наш занимается учеными предметами и любит почитать, этого, признаемся, мы никак не можем сказать, а Чичиков и того менее). Ах, брат Чичиков, если бы ты только увидал... вот уж, точно, была бы пища твоему сатирическому уму (почему у Чичикова был сатирический ум, это тоже неизвестно). Вообрази, брат, у купца Лихачева играли в горку, вот уж где смех был! Перепендев, который был со мною: «Вот, говорит, если бы теперь Чичиков, уж вот бы ему точно!..» (между тем Чичиков отроду не знал никакого Перепендева). А ведь признайся, брат, ведь ты, право, преподло поступил тогда со мною, помнишь, как играли в шашки, ведь я выиграл... Да, брат, ты просто поддедюлил меня. Но ведь я, черт меня знает, никак не могу сердиться. Намедни с председателем... Ах, да! я ведь тебе должен сказать, что в городе все против тебя; они думают, что ты делаешь фальшивые бумажки, пристали ко мне, да я за тебя горой, наговорил им, что с тобой учился и отца знал; ну и, уж нечего говорить, слил им пулю порядочную.

— Я делаю фальшивые бумажки? — вскрикнул Чичиков, приподнявшись со стула.

— Зачем ты, однако ж, так напугал их? — продолжал Ноздрев.— Они, черт знает, с ума сошли со страху: нарядили тебя в разбойники и в шпионы... А прокурор с испугу умер, завтра будет погребение. Ты не будешь? Они, сказать правду, боятся нового генерал-губернатора, чтобы из-за тебя чего-нибудь не вышло; а я насчет генерал-губернатора такого мнения, что если он подымет нос и заважничает, то с дворянством решительно ничего не сделает. Дворянство требует радушия, не правда ли? Конечно, можно запрятаться к себе в кабинет и не дать ни одного бала, да ведь этим что ж? Ведь этим ничего не выиграешь. А ведь ты, однако ж, Чичиков, рискованное дело затеял.

— Какое рискованное дело? — спросил беспокойно Чичиков.

— Да увезти губернаторскую дочку. Я, признаюсь, ждал этого, ей-богу, ждал! В первый раз, как только увидел вас вместе

на бале, ну уж, думаю себе, Чичиков, верно, недаром... Впрочем, напрасно ты сделал такой выбор, я ничего в ней не нахожу хорошего. А есть одна, родственница Бикусова, сестры его дочь, так вот уж девушка! можно сказать: чудо коленкор!

— Да что ты, что ты путаешь? Как увезти губернаторскую дочку, что ты? — говорил Чичиков, выпуча глаза.

— Ну, полно, брат, экой скрытный человек! Я, признаюсь, к тебе с тем пришел: изволь, я готов тебе помогать. Так и быть: подержу венец тебе, коляска и переменные лошади будут мои, только с уговором: ты должен мне дать три тысячи взаймы. Нужны, брат, хоть зарежь!

В продолжение всей болтовни Ноздрева Чичиков протирал несколько раз себе глаза, желая увериться, не во сне ли он все это слышит. Делатель фальшивых ассигнаций, увоз губернаторской дочки, смерть прокурора, которой причиною будто бы он, приезд генерал-губернатора — все это навело на него порядочный испуг. «Ну, уж коли пошло на то,— подумал он сам в себе,— так мешкать более нечего, нужно отсюда убираться поскорей».

Он постарался сбыть поскорее Ноздрева, призвал к себе тот же час Селифана и велел ему быть готовым на заре, с тем чтобы завтра же в шесть часов утра выехать из города непременно, чтобы все было пересмотрено, бричка подмазана и прочее, и прочее. Селифан произнес: «Слушаю, Павел Иванович!» — и остановился, однако ж, несколько времени у дверей, не двигаясь с места. Барин тут же велел Петрушке выдвинуть из-под кровати чемодан, покрывшийся уже порядочно пылью, и принялся укладывать вместе с ним, без большого разбора, чулки, рубашки, белье мытое и немытое, сапожные колодки, календарь... Все это укладывалось как попало; он хотел непременно быть готовым с вечера, чтобы назавтра не могло случиться никакой задержки. Селифан, постоявши минуты две у дверей, наконец очень медленно вышел из комнаты. Медленно, как только можно вообразить себе медленно, спускался он с лестницы, отпечатывая своими мокрыми сапогами следы по сходившим вниз избитым ступеням, и долго почесывал у себя рукою в затылке. Что означало это почесыванье? и что вообще оно значит? Досада ли на то, что вот не удалась задуманная назавтра сходка с своим братом в неприглядном тулупе, опоясанном кушаком, где-нибудь во царевом кабаке, или уже завязалась в новом месте какая зазнобушка сердечная и приходится оставлять вечернее стоянье у ворот и политичное держанье за белы ручки в тот час, как нахлобучиваются на город сумерки, детина в красной рубахе бренчит на балалайке перед дворовой челядью и плетет тихие речи разночинный отработавшийся народ? Или просто жаль оставлять отогретое уже место на людской кухне под тулупом, близ

печи, да щей с городским мягким пирогом, с тем чтобы вновь тащиться под дождь, и слякоть, и всякую дорожную невзгоду? Бог весть, не угадаешь. Многое разное значит у русского народа почесыванье в затылке.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Ничто, однако же, не случилось так, как предполагал Чичиков. Во-первых, проснулся он позже, нежели думал,— это была первая неприятность. Вставши, он послал тот же час узнать, заложена ли бричка и все ли готово; но донесли, что бричка еще была не заложена и ничего не было готово. Это была вторая неприятность. Он рассердился, приготовился даже задать что-то вроде потасовки приятелю нашему Селифану и ожидал только с нетерпением, какую тот с своей стороны приведет причину в оправдание. Скоро Селифан показался в дверях, и барин имел удовольствие услышать те же самые речи, какие обыкновенно слышатся от прислуги в таком случае, когда нужно скоро ехать.

— Да ведь, Павел Иванович, нужно будет лошадей ковать.

— Ах ты чушка! чурбан! а прежде зачем об этом не сказал? Не было разве времени?

— Да время-то было... Да вот и колесо тоже, Павел Иванович, шину нужно будет совсем перетянуть, потому что теперь дорога ухабиста, шибень такой везде пошел... Да если позволите доложить: перед у брички совсем расшатался, так что она, может быть, и двух станций не сделает.

— Подлец ты! — вскрикнул Чичиков, всплеснув руками, и подошел к нему так близко, что Селифан из боязни, чтобы не получить от барина подарка, попятился несколько назад и посторонился.— Убить ты меня собрался? а? зарезать меня хочешь? На большой дороге меня собрался зарезать, разбойник, чушка ты проклятый, страшилище морское! а? а? Три недели сидели на месте, а? Хоть бы заикнулся, беспутный,— а вот теперь к последнему часу и пригнал! когда уж почти начеку: сесть бы да и ехать, а? а ты вот тут-то и напакостил, а? а? Ведь ты знал это прежде? ведь ты знал это, а? а? Отвечай. Знал? А?

— Знал,— отвечал Селифан, потупивши голову.

— Ну так зачем же тогда не сказал, а?

На этот вопрос Селифан ничего не отвечал, но, потупивши голову, казалось, говорил сам себе: «Вишь ты, как оно мудрено случилось; и знал ведь, да не сказал!»

— А вот теперь ступай приведи кузнеца, да чтоб в два часа все было сделано. Слышишь? непременно в два часа, а если не бу-

дет, так я тебя, я тебя... в рог согну и узлом завяжу! — Герой наш был сильно рассержен.

Селифан оборотился было к дверям, с тем чтоб идти выполнить приказание, но остановился и сказал:

— Да еще, сударь, чубарого коня, право, хоть бы продать, потому что он, Павел Иванович, совсем подлец; он такой конь, просто не приведи бог, только помеха.

— Да! вот пойду, побегу на рынок продавать!

— Ей-богу, Павел Иванович, он только что на вид казистый, а на деле самый лукавый конь; такого коня нигде...

— Дурак! когда захочу продать, так продам. Еще пустился в рассужденья! Вот посмотрю я: если ты мне не приведешь сейчас кузнецов да в два часа не будет все готово, так я тебе такую дам потасовку... сам на себе лица не увидишь! Пошел! ступай!

Селифан вышел.

Чичиков сделался совершенно не в духе и швырнул на пол саблю, которая ездила с ним в дороге для внушения надлежащего страха кому следует. Около четверти часа с лишком провозился он с кузнецами, покамест сладил, потому что кузнецы, как водится, были отъявленные подлецы и, смекнув, что работа нужна к спеху, заломили ровно вшестеро. Как он ни горячился, называл их мошенниками, разбойниками, грабителями проезжающих, намекнул даже на Страшный суд, но кузнецов ничем не пронял: они совершенно выдержали характер — не только не отступились от цены, но даже провозились за работой вместо двух часов целых пять с половиною. В продолжение этого времени он имел удовольствие испытать приятные минуты, известные всякому путешественнику, когда в чемодане все уложено и в комнате валяются только веревочки, бумажки да разный сор, когда человек не принадлежит ни к дороге, ни к сиденью на месте, видит из окна проходящих плетущихся людей, толкующих об своих гривнах и с каким-то глупым любопытством поднимающих глаза, чтобы, взглянув на него, опять продолжать свою дорогу, что еще более растравляет нерасположение духа бедного неедущего путешественника. Все, что ни есть, все, что ни видит он: и лавчонка против его окон, и голова старухи, живущей в супротивном доме, подходящей к окну с коротенькими занавесками,— все ему гадко, однако же он не отходит от окна. Стоит, то позабываясь, то обращая вновь какое-то притупленное внимание на все, что перед ним движется и не движется, и душит с досады какую-нибудь муху, которая в это время жужжит и бьется об стекло под его пальцем. Но всему бывает конец, и желанная минута настала: все было готово, перед у брички как следует был налажен, колесо было обтянуто новою шиною, кони приведены с водопоя, и разбойники кузнецы отправились,

пересчитав полученные целковые и пожелав благополучия. Наконец и бричка была заложена, и два горячие калача, только что купленные, положены туда, и Селифан уже засунул кое-что для себя в карман, бывший у кучерских козел, и сам герой наконец, при взмахивании картузом полового, стоявшего в том же демикотоновом сюртуке, при трактирных и чужих лакеях и кучерах, собравшихся позевать, как выезжает чужой барин, и при всяких других обстоятельствах, сопровождающих выезд, сел в экипаж,— и бричка, в которой ездят холостяки, которая так долго застоялась в городе и так, может быть, надоела читателю, наконец выехала из ворот гостиницы. «Слава те, господи!» — подумал Чичиков и перекрестился. Селифан хлыснул кнутом; к нему подсел сперва повисевший несколько времени на подножке Петрушка, и герой наш, усевшись получше на грузинском коврике, заложил за спину себе кожаную подушку, притиснул два горячие калача, и экипаж пошел опять подплясывать и покачиваться благодаря мостовой, которая, как известно, имела подкидывающую силу. С каким-то неопределенным чувством глядел он на домы, стены, забор и улицы, которые также с своей стороны, как будто подскакивая, медленно уходили назад и которые, бог знает, судила ли ему участь увидеть еще когда-либо в продолжение своей жизни. При повороте в одну из улиц бричка должна была остановиться, потому что во всю длину ее проходила бесконечная погребальная процессия. Чичиков, высунувшись, велел Петрушке спросить, кого хоронят, и узнал, что хоронят прокурора. Исполненный неприятных ощущений, он тот же час спрятался в угол, закрыл себя кожею и задернул занавески. В это время, когда экипаж был таким образом остановлен, Селифан и Петрушка, набожно снявши шляпу, рассматривали, кто, как, в чем и на чем ехал, считая числом, сколько было всех и пеших и ехавших, а барин, приказавши им не признаваться и не кланяться никому из знакомых лакеев, тоже принялся рассматривать робко сквозь стеклышка, находившиеся в кожаных занавесках: за гробом шли, снявши шляпы, все чиновники. Он начал было побаиваться, чтобы не узнали его экипажа, но им было не до того. Они даже не занялись разными житейскими разговорами, какие обыкновенно ведут между собою провожающие покойника. Все мысли их были сосредоточены в это время в самих себе: они думали, каков-то будет новый генерал-губернатор, как возьмется за дело и как примет их. За чиновниками, шедшими пешком, следовали кареты, из которых выглядывали дамы в траурных чепцах. По движениям губ и рук их видно было, что они были заняты живым разговором; может быть, они тоже говорили о приезде нового генерал-губернатора и делали предположения насчет балов, какие он даст, и хлопотали о вечных своих фестончиках и нашивочках.

Наконец за каретами следовало несколько пустых дрожек, вытянувшихся гуськом, наконец и ничего уже не осталось, и герой наш мог ехать. Открывши кожаные занавески, он вздохнул, произнесши от души: «Вот, прокурор! жил, жил, а потом и умер! И вот напечатают в газетах, что скончался, к прискорбию подчиненных и всего человечества, почтенный гражданин, редкий отец, примерный супруг, и много напишут всякой всячины; прибавят, пожалуй, что был сопровождаем плачем вдов и сирот; а ведь если разобрать хорошенько дело, так на поверку у тебя всего только и было, что густые брови». Тут он приказал Селифану ехать поскорее и между тем подумал про себя: «Это, однако ж, хорошо, что встретились похороны; говорят, значит счастие, если встретишь покойника».

Бричка между тем поворотила в более пустынные улицы; скоро потянулись одни длинные деревянные заборы, предвещавшие конец города. Вот уже и мостовая кончилась, и шлагбаум, и город назади, и ничего нет, и опять в дороге. И опять по обеим сторонам столбового пути пошли вновь писать версты, станционные смотрители, колодцы, обозы, серые деревни с самоварами, бабами и бойким бородатым хозяином, бегущим из постоялого двора с овсом в руке, пешеход в протертых лаптях, плетущийся за восемьсот верст, городишки, выстроенные живьем, с деревянными лавчонками, мучными бочками, лаптями, калачами и прочей мелюзгой, рябые шлагбаумы, чинимые мосты, поля неоглядные и по ту сторону и по другую, помещичьи рыдваны, солдат верхом на лошади, везущий зеленый ящик с свинцовым горохом и подписью: такой-то артиллерийской батареи, зеленые, желтые и свежеразрытые черные полосы, мелькающие по степям, затянутая вдали песня, сосновые верхушки в тумане, пропадающий далече колокольный звон, вороны как мухи и горизонт без конца... Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу: бедно, разбросанно и неприютно в тебе; не развеселят, не испугают взоров дерзкие дива природы, венчанные дерзкими дивами искусства, города с многооконными высокими дворцами, вросшими в утесы, картинные деревья и плющи, вросшие в домы, в шуме и в вечной пыли водопадов; не опрокинется назад голова посмотреть на громоздящиеся без конца над нею и в вышине каменные глыбы; не блеснут сквозь наброшенные одна на другую темные арки, опутанные виноградными сучьями, плющами и несметными миллионами диких роз, не блеснут сквозь них вдали вечные линии сияющих гор, несущихся в серебряные ясные небеса. Открыто-пустынно и ровно все в тебе; как точки, как значки, неприметно торчат среди равнин невысокие твои города; ничто не обольстит и не очарует взора. Но какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущая-

ся по всей длине и ширине твоей, от моря до моря, песня? Что в ней, в этой песне? Что зовет, и рыдает, и хватает за сердце? Какие звуки болезненно лобзают, и стремятся в душу, и вьются около моего сердца? Русь! чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?.. И еще, полный недоумения, неподвижно стою я, а уже главу осенило грозное облако, тяжелое грядущими дождями, и онемела мысль пред твоим пространством. Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему? И грозно объемлет меня могучее пространство, страшною силою отразясь во глубине моей; неестественной властью осветились мои очи: у! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!..

— Держи, держи, дурак! — кричал Чичиков Селифану.

— Вот я тебя палашом! — кричал скакавший навстречу фельдъегерь с усами в аршин.— Не видишь, леший дери твою душу: казенный экипаж! — И, как призрак, исчезнула с громом и пылью тройка.

Какое странное, и манящее, и несущее, и чудесное в слове: дорога! и как чудна она сама, эта дорога: ясный день, осенние листья, холодный воздух... покрепче в дорожную шинель, шапку на уши, тесней и уютней прижмемся к углу! В последний раз пробежавшая дрожь прохватила члены, и уже сменила ее приятная теплота. Кони мчатся... как соблазнительно крадется дремота и смежаются очи, и уже сквозь сон слышатся и «Не белы снеги», и сап лошадей, и шум колес, и уже храпишь, прижавши к углу своего соседа. Проснулся: пять станций убежало назад; луна, неведомый город, церкви с старинными деревянными куполами и чернеющими остроконечьями, темные бревенчатые и белые каменные дома. Сияние месяца там и там: будто белые полотняные платки развешались по стенам, по мостовой, по улицам; косяками пересекают их черные, как уголь, тени; подобно сверкающему металлу блистают вкось озаренные деревянные крыши, и нигде ни души — все спит. Один-одинешенек, разве где-нибудь в окошке брезжит огонек: мещанин ли городской тачает свою пару сапогов, пекарь ли возится в печурке — что до них? А ночь! небесные силы! какая ночь совершается в вышине! А воздух, а небо, далекое, высокое, там, в недоступной глубине своей, так необъятно, звучно и ясно раскинувшееся!.. Но дышит свежо в самые очи холодное ночное дыхание и убаюкивает тебя, и вот уже дремлешь, и забываешься, и храпишь, и ворочается сердито, почувствовав на себе тяжесть, бедный, притиснутый в углу сосед. Проснулся — и уже опять

перед тобою поля и степи, нигде ничего — везде пустырь, все открыто. Верста с цифрой летит тебе в очи; занимается утро; на побелевшем холодном небосклоне золотая бледная полоса; свежее и жестче становится ветер: покрепче в теплую шинель!.. какой славный холод! какой чудный, вновь обнимающий тебя сон! Толчок — и опять проснулся. На вершине неба солнце. «Полегче! легче!» — слышится голос, телега спускается с кручи: внизу плотина широкая и широкий ясный пруд, сияющий, как медное дно, перед солнцем; деревня, избы рассыпались на косогоре; как звезда, блестит в стороне крест сельской церкви; болтовня мужиков и невыносимый аппетит в желудке... Боже! как ты хороша подчас, далекая, далекая дорога! Сколько раз, как погибающий и тонущий, я хватался за тебя, и ты всякий раз меня великодушно выносила и спасала! А сколько родилось в тебе чудных замыслов, поэтических грез, сколько перечувствовалось дивных впечатлений!.. Но и друг наш Чичиков чувствовал в это время не вовсе прозаические грезы. А посмотрим, что он чувствовал. Сначала он не чувствовал ничего и поглядывал только назад, желая уверить-ся, точно ли выехал из города; но когда увидел, что город уже давно скрылся, ни кузниц, ни мельниц, ни всего того, что находится вокруг городов, не было видно и даже белые верхушки каменных церквей давно ушли в землю, он занялся только одной дорогою, посматривал только направо и налево, и город N. как будто не бывал в его памяти, как будто проезжал он его давно, в детстве. Наконец и дорога перестала занимать его, и он стал слегка закрывать глаза и склонять голову к подушке. Автор признается, этому даже рад, находя, таким образом, случай поговорить о своем герое; ибо доселе, как читатель видел, ему беспрестанно мешали то Ноздрев, то балы, то дамы, то городские сплетни, то, наконец, тысячи тех мелочей, которые кажутся только тогда мелочами, когда внесены в книгу, а покамест обращаются в свете, почитаются за весьма важные дела. Но теперь отложим совершенно все в сторону и прямо займемся делом.

Очень сомнительно, чтобы избранный нами герой понравился читателям. Дамам он не понравится, это можно сказать утвердительно, ибо дамы требуют, чтоб герой был решительное совершенство, и если какое-нибудь душевное или телесное пятнышко, тогда беда! Как глубоко ни загляни автор ему в душу, хоть отрази чище зеркала его образ, ему не дадут никакой цены. Самая полнота и средние лета Чичикова много повредят ему: полноты ни в каком случае не простят герою, и весьма многие дамы, отворотившись, скажут: «Фи, такой гадкий!» Увы! все это известно автору, и при всем том он не может взять в герои добродетельного человека, но... может быть, в сей же самой повести почуются иные, еще доселе

не бранные струны, предстанет несметное богатство русского духа, пройдет муж, одаренный божескими доблестями, или чудная русская девица, какой не сыскать нигде в мире, со всей дивной красотой женской души, вся из великодушного стремления и самоотвержения. И мертвыми покажутся пред ними все добродетельные люди других племен, как мертва книга пред живым словом! Подымутся русские движения... и увидят, как глубоко заронилось в славянскую природу то, что скользнуло только по природе других народов... Но к чему и зачем говорить о том, что впереди? Неприлично автору, будучи давно уже мужем, воспитанному суровой внутренней жизнью и свежительной трезвостью уединения, забываться подобно юноше. Всему свой черед, и место, и время! А добродетельный человек все-таки не взят в герои. И можно даже сказать, почему не взят. Потому что пора наконец дать отдых бедному добродетельному человеку, потому что праздно вращается на устах слово «добродетельный человек»; потому что обратили в лошадь добродетельного человека, и нет писателя, который бы не ездил на нем, понукая и кнутом, и всем чем ни попало; потому что изморили добродетельного человека до того, что теперь нет на нем и тени добродетели, а остались только ребра да кожа вместо тела; потому что лицемерно призывают добродетельного человека; потому что не уважают добродетельного человека. Нет, пора наконец припрячь и подлеца. Итак, припряжем подлеца!

Темно и скромно происхождение нашего героя. Родители были дворяне, но столбовые или личные — бог ведает; лицом он на них не походил: по крайней мере, родственница, бывшая при его рождении, низенькая, коротенькая женщина, которых обыкновенно называют пигалицами, взявши в руки ребенка, вскрикнула: «Совсем вышел не такой, как я думала! Ему бы следовало пойти в бабку с матерней стороны, что было бы и лучше, а он родился просто, как говорит пословица: ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца». Жизнь при начале взглянула на него как-то кисло-неприютно, сквозь какое-то мутное, занесенное снегом окошко: ни друга, ни товарища в детстве! Маленькая горенка с маленькими окнами, не отворявшимися ни в зиму, ни в лето, отец, больной человек, в длинном сюртуке на мерлушках и в вязаных хлопанцах, надетых на босую ногу, беспрестанно вздыхавший, ходя по комнате, и плевавший в стоявшую в углу песочницу, вечное сиденье на лавке, с пером в руках, чернилами на пальцах и даже на губах, вечная пропись перед глазами: «не лги, послушествуй старшим и носи добродетель в сердце»; вечный шарк и шлепанье по комнате хлопанцев, знакомый, но всегда суровый голос: «опять задурил!», отзывавшийся в то время, когда ребенок, наскучa однообразием труда, приделывал к букве какую-нибудь кавыку или хвост; и

вечно знакомое, всегда неприятное чувство, когда вслед за сими словами краюшка уха его скручивалась очень больно ногтями длинных протянувшихся сзади пальцев: вот бедная картина первоначального его детства, о котором едва сохранил он бледную память. Но в жизни все меняется быстро и живо: и в один день, с первым весенним солнцем и разлившимися потоками, отец, взявши сына, выехал с ним на тележке, которую потащила мухортая пегая лошадка, известная у лошадиных барышников под именем сорóки; ею правил кучер, маленький горбунок, родоначальник единственной крепостной семьи, принадлежавшей отцу Чичикова, занимавший почти все должности в доме. На сорóке тащились они полтора дни с лишком; на дороге ночевали, переправлялись через реку, закусывали холодным пирогом и жареною бараниною, и только на третий день утром добрались до города. Перед мальчиком блеснули нежданным великолепием городские улицы, заставившие его на несколько минут разинуть рот. Потом сорóка бултыхнула вместе с тележкою в яму, которою начинался узкий переулок, весь стремившийся вниз и запруженный грязью; долго работала она там всеми силами и месила ногами, подстрекаемая и горбуном, и самим барином, и наконец втащила их в небольшой дворик, стоявший на косогоре с двумя расцветшими яблонями пред стареньким домиком и садиком позади его, низеньким, маленьким, состоявшим только из рябины, бузины и скрывавшейся во глубине ее деревянной будочки, крытой драньем, с узеньким матовым окошечком. Тут жила родственница их, дряблая старушонка, все еще ходившая всякое утро на рынок и сушившая потом чулки свои у самовара, которая потрепала мальчика по щеке и полюбовалась его полнотою. Тут должен был он остаться и ходить ежедневно в классы городского училища. Отец, переночевавши, на другой же день выбрался в дорогу. При расставании слез не было пролито из родительских глаз; дана была полтина меди на расход и лакомства и, что гораздо важнее, умное наставление: «Смотри же, Павлуша, учись, не дури и не повесничай, а больше всего угождай учителям и начальникам. Коли будешь угождать начальнику, то, хоть и в науке не успеешь и таланту бог не дал, все пойдешь в ход и всех опередишь. С товарищами не водись, они тебя добру не научат; а если уж пошло на то, так водись с теми, которые побогаче, чтобы при случае могли быть тебе полезными. Не угощай и не потчевай никого, а веди себя лучше так, чтобы тебя угощали, а больше всего береги и копи копейку: эта вещь надежнее всего на свете. Товарищ или приятель тебя надует и в беде первый тебя выдаст, а копейка не выдаст, в какой бы беде ты ни был. Все сделаешь и все прошибешь на свете копейкой». Давши такое наставление, отец расстался с сыном и потащился вновь домой на своей сорóке,

и с тех пор уже никогда он больше его не видел, но слова и наставления заронились глубоко ему в душу.

Павлуша с другого же дни принялся ходить в классы. Особенных способностей к какой-нибудь науке в нем не оказалось; отличился он больше прилежанием и опрятностию; но зато оказался в нем большой ум с другой стороны, со стороны практической. Он вдруг смекнул и понял дело и повел себя в отношении к товарищам точно таким образом, что они его угощали, а он их не только никогда, но даже иногда, припрятав полученное угощенье, потом продавал им же. Еще ребенком он умел уже отказать себе во всем. Из данной отцом полтины не издержал ни копейки, напротив — в тот же год уже сделал к ней приращения, показав оборотливость почти необыкновенную: слепил из воску снегиря, выкрасил его и продал очень выгодно. Потом в продолжение некоторого времени пустился на другие спекуляции, именно вот какие: накупивши на рынке съестного, садился в классе возле тех, которые были побогаче, и как только замечал, что товарища начинало тошнить,— признак подступающего голода,— он высовывал ему из-под скамьи будто невзначай угол пряника или булки и, раззадоривши его, брал деньги, соображаясь с аппетитом. Два месяца он провозился у себя на квартире без отдыха около мыши, которую засадил в маленькую деревянную клеточку, и добился наконец до того, что мышь становилась на задние лапки, ложилась и вставала по приказу, и продал потом ее тоже очень выгодно. Когда набралось денег до пяти рублей, он мешочек зашил и стал копить в другой. В отношении к начальству он повел себя еще умнее. Сидеть на лавке никто не умел так смирно. Надобно заметить, что учитель был большой любитель тишины и хорошего поведения и терпеть не мог умных и острых мальчиков; ему казалось, что они непременно должны над ним смеяться. Достаточно было тому, который попал на замечание со стороны остроумия, достаточно было ему только пошевелиться или как-нибудь ненароком мигнуть бровью, чтобы подпасть вдруг под гнев. Он его гнал и наказывал немилосердно. «Я, брат, из тебя выгоню заносчивость и непокорность! — говорил он.— Я тебя знаю насквозь, как ты сам себя не знаешь. Вот ты у меня постоишь на коленях! ты у меня поголодаешь!» И бедный мальчишка, сам не зная за что, натирал себе колени и голодал по суткам. «Способности и дарования? это все вздор,— говаривал он,— я смотрю только на поведенье. Я поставлю полные баллы во всех науках тому, кто ни аза не знает, да ведет себя похвально; а в ком я вижу дурной дух да насмешливость, я тому нуль, хотя он Солона заткни за пояс!» Так говорил учитель, не любивший насмерть Крылова за то, что он сказал: «По мне, уж лучше пей, да дело разумей»,— и всегда рассказы-

вавший с наслаждением в лице и в глазах, как в том училище, где он преподавал прежде, такая была тишина, что слышно было, как муха летит; что ни один из учеников в течение круглого года не кашлянул и не высморкался в классе и что до самого звонка нельзя было узнать, был ли кто там или нет. Чичиков вдруг постигнул дух начальника и в чем должно состоять поведение. Не шевельнул он ни глазом, ни бровью во все время класса, как ни щипали его сзади; как только раздавался звонок, он бросался опрометью и подавал учителю прежде всех треух (учитель ходил в треухе); подавши треух, он выходил первый из класса и старался ему попасться раза три на дороге, беспрестанно снимая шапку. Дело имело совершенный успех. Во все время пребывания в училище был он на отличном счету и при выпуске получил полное удостоение во всех науках, аттестат и книгу с золотыми буквами *за примерное прилежание и благонадежное поведение*. Вышед из училища, он очутился уже юношей довольно заманчивой наружности, с подбородком, потребовавшим бритвы. В это время умер отец его. В наследстве оказались четыре заношенные безвозвратно фуфайки, два старых сертука, подбитых мерлушками, и незначительная сумма денег. Отец, как видно, был сведущ только в совете копить копейку, а сам накопил ее немного. Чичиков продал тут же ветхий дворишко с ничтожной землицей за тысячу рублей, а семью людей перевел в город, располагаясь основаться в нем и заняться службой. В это же время был выгнан из училища за глупость или другую вину бедный учитель, любитель тишины и похвального поведения. Учитель с горя принялся пить; наконец и пить уже было ему не на что; больной, без куска хлеба и помощи, пропадал он где-то в нетопленной забытой конурке. Бывшие ученики его, умники и остряки, в которых ему мерещилась беспрестанно непокорность и заносчивое поведение, узнавши об жалком его положении, собрали тут же для него деньги, продав даже многое нужное; один только Павлуша Чичиков отговорился неимением и дал какой-то пятак серебра, который тут же товарищи ему бросили, сказавши: «Эх ты, жила!» Закрыл лицо руками бедный учитель, когда услышал о таком поступке бывших учеников своих; слезы градом полились из погасавших очей, как у бессильного дитяти. «При смерти на одре привел бог заплакать»,— произнес он слабым голосом и тяжело вздохнул, услышав о Чичикове, прибавя тут же: «Эх, Павлуша! вот как переменяется человек! ведь какой был благонравный, ничего буйного, шелк! Надул, сильно надул...»

Нельзя, однако же, сказать, чтобы природа героя нашего была так сурова и черства и чувства его были до того притуплены, чтобы он не знал ни жалости, ни сострадания; он чувствовал и то и другое, он бы даже хотел помочь, но только, чтобы не заключалось

это в значительной сумме, чтобы не трогать уже тех денег, которых положено было не трогать; словом, отцовское наставление: береги и копи копейку — пошло впрок. Но в нем не было привязанности собственно к деньгам для денег; им не владели скряжничество и скупость. Нет, не они двигали им: ему мерещилась впереди жизнь во всех довольствах, со всякими достатками; экипажи, дом, отлично устроенный, вкусные обеды — вот что беспрерывно носилось в голове его. Чтобы наконец потом, со временем, вкусить непременно все это, вот для чего береглась копейка, скупо отказываемая до времени и себе и другому. Когда проносился мимо его богач на пролетных красивых дрожках, на рысаках в богатой упряжи, он как вкопанный останавливался на месте и потом, очнувшись, как после долгого сна, говорил: «А ведь был конторщик, волосы носил в кружок!» И все, что ни отзывалось богатством и довольством, производило на него впечатление, непостижимое им самим. Вышед из училища, он не хотел даже отдохнуть: так сильно было у него желанье скорее приняться за дело и службу. Однако же, несмотря на похвальные аттестаты, с большим трудом определился он в казенную палату. И в дальних захолустьях нужна протекция! Местечко досталось ему ничтожное, жалованья тридцать или сорок рублей в год. Но решился он жарко заняться службою, все победить и преодолеть. И точно, самоотвержение, терпенье и ограничение нужд показал он неслыханное. С раннего утра до позднего вечера, не уставая ни душевными, ни телесными силами, писал он, погрязнув весь в канцелярские бумаги, не ходил домой, спал в канцелярских комнатах на столах, обедал подчас с сторожами и при всем том умел сохранить опрятность, порядочно одеться, сообщить лицу приятное выражение и даже что-то благородное в движениях. Надобно сказать, что палатские чиновники особенно отличались невзрачностью и неблагообразием. У иных были лица, точно дурно выпеченный хлеб: щеку раздуло в одну сторону, подбородок покосило в другую, верхнюю губу взнесло пузырем, которая в прибавку к тому еще и треснула; словом, совсем некрасиво. Говорили они все как-то сурово, таким голосом, как бы собирались кого прибить; приносили частые жертвы Вакху, показав таким образом, что в славянской природе есть еще много остатков язычества; приходили даже подчас в присутствие, как говорится, нализавшись, отчего в присутствии было нехорошо и воздух был вовсе не ароматический. Между такими чиновниками не мог не быть замечен и отличен Чичиков, представляя во всем совершенную противоположность и взрачностью лица, и приветливостью голоса, и совершенным неупотребленьем никаких крепких напитков. Но при всем том трудна была его дорога; он попал под начальство уже престарелому повытчику, который был образ какой-то каменной бес-

чувственности и непотрясаемости: вечно тот же, неприступный, никогда в жизни не явивший на лице своем усмешки, не приветствовавший ни разу никого даже запросом о здоровье. Никто не видал, чтобы он хоть раз был не тем, чем всегда, хоть на улице, хоть у себя дома; хоть бы раз показал он в чем-нибудь участье, хоть бы напился пьян и в пьянстве рассмеялся бы; хоть бы даже предался дикому веселью, какому предается разбойник в пьяную минуту, но даже тени не было в нем ничего такого. Ничего не было в нем ровно: ни злодейского, ни доброго, и что-то страшное являлось в сем отсутствии всего. Черство-мраморное лицо его, без всякой резкой неправильности, не намекало ни на какое сходство; в суровой соразмерности между собою были черты его. Одни только частые рябины и ухабины, истыкавшие их, причисляли его к числу тех лиц, на которых, по народному выражению, черт приходил по ночам молотить горох. Казалось, не было сил человеческих подбиться к такому человеку и привлечь его расположение, но Чичиков попробовал. Сначала он принялся угождать во всяких незаметных мелочах: рассмотрел внимательно чинку перьев, какими писал он, и, приготовивши несколько по образцу их, клал ему всякий раз их под руку; сдувал и сметал со стола его песок и табак; завел новую тряпку для его чернильницы; отыскал где-то его шапку, прескверную шапку, какая когда-либо существовала в мире, и всякий раз клал ее возле него за минуту до окончания присутствия; чистил ему спину, если тот запачкал ее мелом у стены,— но все это осталось решительно без всякого замечания, так, как будто ничего этого не было и делано. Наконец, он пронюхал его домашнюю, семейственную жизнь, узнал, что у него была зрелая дочь, с лицом, тоже похожим на то, как будто бы на нем происходила по ночам молотьба гороху. С этой-то стороны придумал он навести приступ. Узнал, в какую церковь приходила она по воскресным дням, становился всякий раз насупротив ее, чисто одетый, накрахмаливши сильно манишку,— и дело возымело успех: пошатнулся суровый повытчик и зазвал его на чай! И в канцелярии не успели оглянуться, как устроилось дело так, что Чичиков переехал к нему в дом, сделался нужным и необходимым человеком, закупал и муку и сахар, с дочерью обращался, как с невестой, повытчика звал папенькой и целовал его в руку; все положили в палате, что в конце февраля перед великим постом будет свадьба. Суровый повытчик стал даже хлопотать за него у начальства, и чрез несколько времени Чичиков сам сел повытчиком на одно открывшееся вакантное место. В этом, казалось, и заключалась главная цель связей его с старым повытчиком, потому что тут же сундук свой он отправил секретно домой и на другой день очутился уже на другой квартире. Повытчика перестал звать папенькой и

не целовал больше его руки, а о свадьбе так дело и замялось, как будто вовсе ничего не происходило. Однако же, встречаясь с ним, он всякий раз ласково жал ему руку и приглашал его на чай, так что старый повытчик, несмотря на вечную неподвижность и черствое равнодушие, всякий раз встряхивал головою и произносил себе под нос: «Надул, надул, чертов сын!»

Это был самый трудный порог, через который перешагнул он. С этих пор пошло легче и успешнее. Он стал человеком заметным. Все оказалось в нем, что нужно для этого мира: и приятность в оборотах и поступках, и бойкость в деловых делах. С такими средствами добыл он в непродолжительное время то, что называют хлебное местечко, и воспользовался им отличным образом. Нужно знать, что в то же самое время начались строжайшие преследования всяких взяток; преследований он не испугался и обратил их тот же час в свою пользу, показав таким образом прямо русскую изобретательность, являющуюся только во время прижимок. Дело устроено было вот как: как только приходил проситель и засовывал руку в карман, с тем чтобы вытащить оттуда известные рекомендательные письма за подписью князя Хованского, как выражаются у нас на Руси: «Нет, нет,— говорил он с улыбкой, удерживая его руки,— вы думаете, что я... нет, нет. Это наш долг, наша обязанность, без всяких возмездий мы должны сделать! С этой стороны уж будьте покойны: завтра же все будет сделано. Позвольте узнать вашу квартиру, вам и заботиться не нужно самим, все будет принесено к вам на дом». Очарованный проситель возвращался домой чуть не в восторге, думая: «Вот наконец человек, каких нужно побольше, это просто драгоценный алмаз!» Но ждет проситель день, другой, не приносят дела на дом, на третий тоже. Он в канцелярию, дело и не начиналось; он к драгоценному алмазу. «Ах, извините! — говорил Чичиков очень учтиво, схвативши его за обе руки,— у нас было столько дел; но завтра же все будет сделано, завтра непременно, право, мне даже совестно!» И все это сопровождалось движениями обворожительными. Если при этом распахивалась как-нибудь пола халата, то рука в ту же минуту старалась дело поправить и придержать полу. Но ни завтра, ни послезавтра, ни на третий день не несут дела на дом. Проситель берется за ум: да полно, нет ли чего? Выведывает; говорят, нужно дать писарям. «Почему ж не дать? я готов четвертак, другой».— «Нет, не четвертак, а по беленькой».— «По беленькой писарям!» — вскрикивает проситель. «Да чего вы так горячитесь? — отвечают ему,— оно так и выйдет, писарям и достанется по четвертаку, а остальное пойдет к начальству». Бьет себя по лбу недогадливый проситель и бранит на чем свет стоит новый порядок вещей, преследование взяток и вежливые, облагороженные обращения чи-

новников. Прежде было знаешь, по крайней мере, что делать: принес правителю дел красную, да и дело в шляпе, а теперь по беленькой, да еще неделю провозишься, пока догадаешься; черт бы побрал бескорыстие и чиновное благородство! Проситель, конечно, прав, но зато теперь нет взяточников: все правители дел честнейшие и благороднейшие люди, секретари только да писаря мошенники. Скоро представилось Чичикову поле гораздо пространнее: образовалась комиссия для построения какого-то казенного весьма капитального строения. В эту комиссию пристроился и он, и оказался одним из деятельнейших членов. Комиссия немедленно приступила к делу. Шесть лет возилась около здания; но климат, что ли, мешал, или материал уже был такой, только никак не шло казенное здание выше фундамента. А между тем в других концах города очутилось у каждого из членов по красивому дому гражданской архитектуры: видно, грунт земли был там получше. Члены уже начинали благоденствовать и стали заводиться семейством. Тут только и теперь только стал Чичиков понемногу выпутываться из-под суровых законов воздержанья и неумолимого своего самоотверженья. Тут только долговременный пост наконец был смягчен, и оказалось, что он всегда не был чужд разных наслаждений, от которых умел удержаться в лета пылкой молодости, когда ни один человек совершенно не властен над собою. Оказались кое-какие излишества: он завел довольно хорошего повара, тонкие голландские рубашки. Уже сукна купил он себе такого, какого не носила вся губерния, и с этих пор стал держаться более коричневых и красноватых цветов с искрою; уже приобрел он отличную пару и сам держал одну вожжу, заставляя пристяжную виться кольцом; уже завел он обычай вытираться губкой, намоченной в воде, смешанной с одеколоном; уже покупал он весьма недешево какое-то мыло для сообщения гладкости коже, уже...

Но вдруг на место прежнего тюфяка был прислан новый начальник, человек военный, строгий, враг взяточников и всего, что зовется неправдой. На другой же день пугнул он всех до одного, потребовал отчеты, увидел недочеты, на каждом шагу недостающие суммы, заметил в ту же минуту дома красивой гражданской архитектуры, и пошла переборка. Чиновники были отставлены от должности; дома гражданской архитектуры поступили в казну и обращены были на разные богоугодные заведения и школы для кантонистов, все распушено было в пух, и Чичиков более других. Лицо его вдруг, несмотря на приятность, не понравилось начальнику, почему именно, бог ведает,— иногда даже просто не бывает на это причин,— и он возненавидел его насмерть. И грозен был сильно для всех неумолимый начальник. Но так как все же он был человек военный, стало быть, не знал всех тонкостей гражданских

проделок, то чрез несколько времени, посредством правдивой наружности и уменья подделаться ко всему, втерлись к нему в милость другие чиновники, и генерал скоро очутился в руках еще бóльших мошенников, которых он вовсе не почитал такими; даже был доволен, что выбрал наконец людей как следует, и хвастался не в шутку тонким уменьем различать способности. Чиновники вдруг постигнули дух его и характер. Все, что ни было под начальством его, сделалось страшными гонителями неправды; везде, во всех делах они преследовали ее, как рыбак острогой преследует какую-нибудь мясистую белугу, и преследовали ее с таким успехом, что в скором времени у каждого очутилось по нескольку тысяч капиталу. В это время обратились на путь истины многие из прежних чиновников и были вновь приняты на службу. Но Чичиков уж никаким образом не мог втереться, как ни старался и ни стоял за него подстрекнутый письмами князя Хованского первый генеральский секретарь, постигнувший совершенно управленье генеральским носом, но тут он ничего решительно не мог сделать. Генерал был такого рода человек, которого хотя и водили за нос (впрочем, без его ведома), но зато уже, если в голову ему западала какая-нибудь мысль, то она там была все равно что железный гвоздь: ничем нельзя было ее оттуда вытеребить. Все, что мог сделать умный секретарь, было уничтоженье запачканного послужного списка, и на то уже он подвинул начальника не иначе, как состраданием, изобразив ему в живых красках трогательную судьбу несчастного семейства Чичикова, которого, к счастию, у него не было.

«Ну, что ж! — сказал Чичиков,— зацепил — поволок, сорвалось — не спрашивай. Плачем горю не пособить, нужно дело делать». И вот решился он сызнова начать карьер, вновь вооружиться терпением, вновь ограничиться во всем, как ни привольно и ни хорошо было развернулся прежде. Нужно было переехать в другой город, там еще приводить себя в известность. Все как-то не клеилось. Две, три должности должен он был переменить в самое короткое время. Должности как-то были грязны, низменны. Нужно знать, что Чичиков был самый благопристойный человек, какой когда-либо существовал в свете. Хотя он и должен был вначале протираться в грязном обществе, но в душе всегда сохранял чистоту, любил, чтобы в канцеляриях были столы из лакированного дерева и все бы было благородно. Никогда не позволял он себе в речи неблагопристойного слова и оскорблялся всегда, если в словах других видел отсутствие должного уважения к чину или званию. Читателю, я думаю, приятно будет узнать, что он всякие два дни переменял на себе белье, а летом во время жаров даже и всякий день: всякий сколько-нибудь неприятный запах уже

оскорблял его. По этой причине он всякий раз, когда Петрушка приходил раздевать его и скидавать сапоги, клал себе в нос гвоздичку, и во многих случаях нервы у него были щекотливые, как у девушки; и потому тяжело ему было очутиться вновь в тех рядах, где все отзывалось пенником и неприличьем в поступках. Как ни крепился он духом, однако же похудел и даже позеленел во время таких невзгод. Уже начинал было он полнеть и приходить в те круглые и приличные формы, в каких читатель застал его при заключении с ним знакомства, и уже не раз, поглядывая в зеркало, подумывал он о многом приятном: о бабенке, о детской, и улыбка следовала за такими мыслями; но теперь, когда он взглянул на себя как-то ненароком в зеркало, не мог не вскрикнуть: «Мать ты моя пресвятая! какой же я стал гадкий!» И после долго не хотел смотреться. Но переносил все герой наш, переносил сильно, терпеливо переносил, и — перешел наконец в службу по таможне. Надобно сказать, что эта служба давно составляла тайный предмет его помышлений. Он видел, какими щегольскими заграничными вещицами заводились таможенные чиновники, какие фарфоры и батисты пересылали кумушкам, тетушкам и сестрам. Не раз давно уже он говорил со вздохом: «Вот бы куда перебраться: и граница близко, и просвещенные люди, а какими тонкими голландскими рубашками можно обзавестись!» Надобно прибавить, что при этом он подумывал еще об особенном сорте французского мыла, сообщавшего необыкновенную белизну коже и свежесть щекам; как оно называлось, бог ведает, но, по его предположениям, непременно находилось на границе. Итак, он давно бы хотел в таможню, но удерживали текущие разные выгоды по строительной комиссии, и он рассуждал справедливо, что таможня, как бы то ни было, все еще не более как журавль в небе, а комиссия уже была синица в руках. Теперь же решился он во что бы то ни стало добраться до таможни, и добрался. За службу свою принялся он с ревностью необыкновенною. Казалось, сама судьба определила ему быть таможенным чиновником. Подобной расторопности, проницательности и прозорливости было не только не видано, но даже не слыхано. В три-четыре недели он уже так набил руку в таможенном деле, что знал решительно все: даже не весил, не мерил, а по фактуре узнавал, сколько в какой штуке аршин сукна или иной материи; взявши в руку сверток, он мог сказать вдруг, сколько в нем фунтов. Что же касается до обысков, то здесь, как выражались даже сами товарищи, у него просто было собачье чутье: нельзя было не изумиться, видя, как у него доставало столько терпения, чтобы ощупать всякую пуговку, и все это производилось с убийственным хладнокровием, вежливым до невероятности. И в то время, когда обыскиваемые бесились, выходили из себя и

чувствовали злобное побуждение избить щелчками приятную его наружность, он, не изменяясь ни в лице, ни в вежливых поступках, приговаривал только: «Не угодно ли вам будет немножко побеспокоиться и привстать?» Или: «Не угодно ли вам будет, сударыня, пожаловать в другую комнату? там супруга одного из наших чиновников объяснится с вами». Или: «Позвольте, вот я ножичком немного распорю подкладку вашей шинели» — и, говоря это, он вытаскивал оттуда шали, платки, хладнокровно, как из собственного сундука. Даже начальство изъяснилось, что это был черт, а не человек: он отыскивал в колесах, дышлах, лошадиных ушах и невесть в каких местах, куда бы никакому автору не пришло в мысль забраться и куда позволяется забираться только одним таможенным чиновникам. Так что бедный путешественник, переехавший через границу, все еще в продолжение нескольких минут не мог опомниться и, отирая пот, выступивший мелкою сыпью по всему телу, только крестился да приговаривал: «Ну, ну!» Положение его весьма походило на положение школьника, выбежавшего из секретной комнаты, куда начальник призвал его, с тем чтобы дать кое-какое наставление, но вместо того высек совершенно неожиданным образом. В непродолжительное время не было от него никакого житья контрабандистам. Это была гроза и отчаяние всего польского жидовства. Честность и неподкупность его были неодолимы, почти неестественны. Он даже не составил себе небольшого капитальца из разных конфискованных товаров и отбираемых кое-каких вещиц, не поступающих в казну во избежание лишней переписки. Такая ревностно-бескорыстная служба не могла не сделаться предметом общего удивления и не дойти наконец до сведения начальства. Он получил чин и повышение и вслед за тем представил проект изловить всех контрабандистов, прося только средств исполнить его самому. Ему тот же час вручена была команда и неограниченное право производить всякие поиски. Этого только ему и хотелось. В то время образовалось сильное общество контрабандистов обдуманно-правильным образом; на миллионы сулило выгод дерзкое предприятие. Он давно уже имел сведение о нем и даже отказал подосланным подкупить, сказавши сухо: «Еще не время». Получив же в свое распоряжение все, в ту же минуту дал знать обществу, сказавши: «Теперь пора». Расчет был слишком верен. Тут в один год он мог получить то, чего не выиграл бы в двадцать лет самой ревностной службы. Прежде он не хотел вступать ни в какие сношения с ними, потому что был не более как простой пешкой, стало быть, немного получил бы; но теперь... теперь совсем другое дело: он мог предложить какие угодно условия. Чтобы дело шло беспрепятственней, он склонил и другого чиновника, своего товарища, который не устоял против со-

блазна, несмотря на то что волосом был сед. Условия были заключены, и общество приступило к действиям. Действия начались блистательно: читатель, без сомнения, слышал так часто повторяемую историю об остроумном путешествии испанских баранов, которые, совершив переход через границу в двойных тулупчиках, пронесли под тулупчиками на миллион брабантских кружев. Это происшествие случилось именно тогда, когда Чичиков служил при таможне. Не участвуй он сам в этом предприятии, никаким жидам в мире не удалось бы привести в исполнение подобного дела. После трех или четырех бараньих походов через границу у обоих чиновников очутилось по четыреста тысяч капиталу. У Чичикова, говорят, даже перевалило и за пятьсот, потому что был побойчее. Бог знает до какой бы громадной цифры не возросли благодатные суммы, если бы какой-то нелегкий зверь не перебежал поперек всему. Черт сбил с толку обоих чиновников; чиновники, говоря попросту, перебесились и поссорились ни за что. Както в жарком разговоре, а может быть, несколько и выпивши, Чичиков назвал другого чиновника поповичем, а тот, хотя действительно был попович, неизвестно почему обиделся жестоко и ответил ему тут же сильно и необыкновенно резко, именно вот как: «Нет, врешь, я статский советник, а не попович, а вот ты так попович!» И потом еще прибавил ему в пику для большей досады: «Да вот, мол, что!» Хотя он отбрил таким образом его кругом, обратив на него им же приданное название, и хотя выражение «вот, мол, что!» могло быть сильно, но, недовольный сим, он послал еще на него тайный донос. Впрочем, говорят, что и без того была у них ссора за какую-то бабенку, свежую и крепкую, как ядреная репа, по выражению таможенных чиновников; что были даже подкуплены люди, чтобы под вечерок в темном переулке поизбить нашего героя; но что оба чиновника были в дураках и бабенкой воспользовался какой-то штабс-капитан Шамшарев. Как было дело в самом деле, бог их ведает; пусть лучше читатель-охотник досочинит сам. Главное в том, что тайные сношения с контрабандистами сделались явными. Статский советник хоть и сам пропал, но-таки упек своего товарища. Чиновников взяли под суд, конфисковали, описали все, что у них ни было, и все это разрешилось вдруг как гром над головами их. Как после чаду опомнились они и увидели с ужасом, что наделали. Статский советник, по русскому обычаю, с горя запил, но коллежский устоял. Он умел затаить часть деньжонок, как ни чутко было обоняние наехавшего на следствие начальства. Употребил все тонкие изгороты ума, уже слишком опытного, слишком знающего хорошо людей: где подействовал приятностью оборотов, где трогательною речью, где покурил лестью, ни в каком случае не портящею дела, где всунул деньжон-

ку,— словом, обработал дело, по крайней мере, так, что отставлен был не с таким бесчестьем, как товарищ, и увернулся из-под уголовного суда. Но уже ни капитала, ни разных заграничных вещиц, ничего не осталось ему; на все это нашлись другие охотники. Удержалось у него тысячонок десяток, запрятанных про черный день, да дюжины две голландских рубашек, да небольшая бричка, в какой ездят холостяки, да два крепостных человека, кучер Селифан и лакей Петрушка, да таможенные чиновники, движимые сердечною добротою, оставили ему пять или шесть кусков мыла для сбережения свежести щек — вот и все. Итак, вот в каком положении вновь очутился герой наш! Вот какая громада бедствий обрушилась ему на голову! Это называл он: потерпеть по службе за правду. Теперь можно бы заключить, что после таких бурь, испытаний, превратностей судьбы и жизненного горя он удалится с оставшимися кровными десятью тысячонками в какое-нибудь мирное захолустье уездного городишка и там заклекнет навеки в ситцевом халате у окна низенького домика, разбирая по воскресным дням драку мужиков, возникшую пред окнами, или для освежения пройдясь в курятник пощупать лично курицу, назначенную в суп, и проведет таким образом нешумный, но в своем роде тоже небесполезный век. Но так не случилось. Надобно отдать справедливость непреодолимой силе его характера. После всего того, что бы достаточно было если не убить, то охладить и усмирить навсегда человека, в нем не потухла непостижимая страсть. Он был в горе, в досаде, роптал на весь свет, сердился на несправедливость судьбы, негодовал на несправедливость людей и, однако же, не мог отказаться от новых попыток. Словом, он показал терпенье, пред которым ничто деревянное терпенье немца, заключенное уже в медленном, ленивом обращении крови его. Кровь Чичикова, напротив, играла сильно, и нужно было много разумной воли, чтоб набросить узду на все то, что хотело бы выпрыгнуть и погулять на свободе. Он рассуждал, и в рассуждении его видна была некоторая сторона справедливости: «Почему ж я? зачем на меня обрушилась беда? Кто ж зевает теперь на должности? — все приобретают. Несчастным я не сделал никого: я не ограбил вдову, я не пустил никого по миру, пользовался я от избытков, брал там, где всякий брал бы; не воспользуйся я, другие воспользовались бы. За что же другие благоденствуют, и почему должен я пропасть червем? И что я теперь? Куда я гожусь? какими глазами я стану смотреть теперь в глаза всякому почтенному отцу семейства? Как не чувствовать мне угрызения совести, зная, что даром бременю землю, и что скажут потом мои дети? Вот, скажут, отец, скотина, не оставил нам никакого состояния!»

Уже известно, что Чичиков сильно заботился о своих потомках. Такой чувствительный предмет! Иной, может быть, и не так бы глубоко запустил руку, если бы не вопрос, который, неизвестно почему, приходит сам собою: а что скажут дети? И вот будущий родоначальник, как осторожный кот, покося только одним глазом вбок, не глядит ли откуда хозяин, хватает поспешно все, что к нему поближе: мыло ли стоит, свечи ли, сало, канарейка ли попалась под лапу — словом, не пропускает ничего. Так жаловался и плакал герой наш, а между тем деятельность никак не умирала в голове его; там все хотело что-то строиться и ждало только плана. Вновь съежился он, вновь принялся вести трудную жизнь, вновь ограничил себя во всем, вновь из чистоты и приличного положения опустился в грязь и низменную жизнь. И в ожидании лучшего принужден был даже заняться званием поверенного, званием, еще не приобретшим у нас гражданства, толкаемым со всех сторон, плохо уважаемым мелкою приказною тварью и даже самими доверителями, осужденным на пресмыканье в передних, грубости и прочее, но нужда заставила решиться на все. Из поручений досталось ему, между прочим, одно: похлопотать о заложении в опекунский совет нескольких сот крестьян. Имение было расстроено в последней степени. Расстроено оно было скотскими падежами, плутами приказчиками, неурожаями, повальными болезнями, истребившими лучших работников, и, наконец, бестолковьем самого помещика, убиравшего себе в Москве дом в последнем вкусе и убившего на эту уборку все состояние свое до последней копейки, так что уж не на что было есть. По этой-то причине понадобилось наконец заложить последнее оставшееся имение. Заклад в казну был тогда еще дело новое, на которое решались не без страха. Чичиков в качестве поверенного, прежде расположивши всех (без предварительного расположения, как известно, не может быть даже взята простая справка или выправка, все же хоть по бутылке мадеры придется влить во всякую глотку),— итак, расположивши всех, кого следует, объяснил он, что вот какое, между прочим, обстоятельство: половина крестьян вымерла, так чтобы не было каких-нибудь потом привязок...

— Да ведь они по ревизской сказке числятся? — сказал секретарь.

— Числятся,— отвечал Чичиков.

— Ну, так чего же вы оробели? — сказал секретарь,— один умер, другой родится, а все в дело годится.

Секретарь, как видно, умел говорить и в рифму. А между тем героя нашего осенила вдохновеннейшая мысль, какая когда-либо приходила в человеческую голову. «Эх я Аким-простота,— сказал он сам в себе,— ищу рукавиц, а обе за поясом! Да накупи я всех

этих, которые вымерли, пока еще не подавали новых ревизских сказок, приобрети их, положим, тысячу, да, положим, опекунский совет даст по двести рублей на душу: вот уж двести тысяч капиталу! А теперь же время удобное, недавно была эпидемия, народу вымерло, слава богу, немало. Помещики попроигрывались в карты, закутили и промотались как следует; все полезло в Петербург служить; имения брошены, управляются как ни попало, подати уплачиваются с каждым годом труднее, так мне с радостью уступит их каждый уже потому только, чтобы не платить за них подушных денег; может, в другой раз так случится, что с иного и я еще зашибу за это копейку. Конечно, трудно, хлопотливо, страшно, чтобы как-нибудь еще не досталось, чтобы не вывести из этого истории. Ну да ведь дан же человеку на что-нибудь ум. А главное то хорошо, что предмет-то покажется всем невероятным, никто не поверит. Правда, без земли нельзя ни купить, ни заложить. Да ведь я куплю на вывод, на вывод; теперь земли в Таврической и Херсонской губерниях отдаются даром, только заселяй. Туда я их всех и переселю! в Херсонскую их! пусть их там живут! А переселение можно сделать законным образом, как следует по судам. Если захотят освидетельствовать крестьян: пожалуй, я и тут не прочь, почему же нет? я представлю и свидетельство за собственноручным подписанием капитана-исправника. Деревню можно назвать Чичикова слободка или по имени, данному при крещении: сельцо Павловское». И вот таким образом составился в голове нашего героя сей странный сюжет, за который, не знаю, будут ли благодарны ему читатели, а уж как благодарен автор, так и выразить трудно. Ибо, что ни говори, не приди в голову Чичикову эта мысль, не явилась бы на свет сия поэма.

Перекрестясь по русскому обычаю, приступил он к исполнению. Под видом избрания места для жительства и под другими предлогами предпринял он заглянуть в те и другие углы нашего государства, и преимущественно в те, которые более других пострадали от несчастных случаев, неурожаев, смертностей и прочего и прочего,— словом, где бы можно удобнее и дешевле накупить потребного народа. Он не обращался наобум ко всякому помещику, но избирал людей более по своему вкусу или таких, с которыми бы можно было с меньшими затруднениями делать подобные сделки, стараясь прежде познакомиться, расположить к себе, чтобы, если можно, более дружбою, а не покупкою приобрести мужиков. Итак, читатели не должны негодовать на автора, если лица, доныне являвшиеся, не пришлись по его вкусу: это вина Чичикова, здесь он полный хозяин, и куда ему вздумается, туда и мы должны тащиться. С нашей стороны, если, точно, падет обвинение за бледность и невзрачность лиц и характеров, скажем толь-

ко то, что никогда вначале не видно всего широкого теченья и объема дела. Въезд в какой бы ни было город, хоть даже в столицу, всегда как-то бледен; сначала все серо и однообразно: тянутся бесконечные заводы да фабрики, закопченные дымом, а потом уже выглянут углы шестиэтажных домов, магазины, вывески, громадные перспективы улиц, все в колокольнях, колоннах, статуях, башнях, с городским блеском, шумом и громом и всем, что на диво произвела рука и мысль человека. Как произвелись первые покупки, читатель уже видел; как пойдет дело далее, какие будут удачи и неудачи герою, как придется разрешить и преодолеть ему более трудные препятствия, как предстанут колоссальные образы, как двигнутся сокровенные рычаги широкой повести, раздастся далече ее горизонт и вся она примет величавое лирическое течение, то увидит потом. Еще много пути предстоит совершить всему походному экипажу, состоящему из господина средних лет, брички, в которой ездят холостяки, лакея Петрушки, кучера Селифана и тройки коней, уже известных поименно от Заседателя до подлеца чубарого. Итак, вот весь налицо герой наш, каков он есть! Но потребуют, может быть, заключительного определения одной чертою: кто же он относительно качеств нравственных? Что он не герой, исполненный совершенств и добродетелей, это видно. Кто же он? стало быть, подлец? Почему ж подлец, зачем же быть так строгу к другим? Теперь у нас подлецов не бывает, есть люди благонамеренные, приятные, а таких, которые бы на всеобщий позор выставили свою физиогномию под публичную оплеуху, отыщется разве каких-нибудь два, три человека, да и те уже говорят теперь о добродетели. Справедливее всего назвать его: хозяин, приобретатель. Приобретение — вина всего; из-за него произвелись дела, которым свет дает название *не очень чистых*. Правда, в таком характере есть уже что-то отталкивающее, и тот же читатель, который на жизненной своей дороге будет дружен с таким человеком, будет водить с ним хлеб-соль и проводить приятно время, станет глядеть на него косо, если он очутится героем драмы или поэмы. Но мудр тот, кто не гнушается никаким характером, но, вперя в него испытующий взгляд, изведывает его до первоначальных причин. Быстро все превращается в человеке; не успеешь оглянуться, как уже вырос внутри страшный червь, самовластно обративший к себе все жизненные соки. И не раз не только широкая страсть, но ничтожная страстишка к чему-нибудь мелкому разрасталась в рожденном па лучшие подвиги, заставляла его позабывать великие и святые обязанности и в ничтожных побрякушках видеть великое и святое. Бесчисленны, как морские пески, человеческие страсти, и все не похожи одна на другую, и все они, низкие и прекрасные, вначале покорны человеку и потом уже становятся страшными вла-

стелинами его. Блажен избравший себе из всех прекраснейшую страсть; растет и десятерится с каждым часом и минутой безмерное его блаженство, и входит он глубже и глубже в бесконечный рай своей души. Но есть страсти, которых избранье не от человека. Уже родились они с ним в минуту рожденья его в свет, и не дано ему сил отклониться от них. Высшими начертаньями они ведутся, и есть в них что-то вечно зовущее, неумолкающее во всю жизнь. Земное великое поприще суждено совершить им: все равно, в мрачном ли образе или пронестись светлым явленьем, возрадующим мир,— одинаково вызваны они для неведомого человеком блага. И, может быть, в сем же самом Чичикове страсть, его влекущая, уже не от него, и в холодном его существовании заключено то, что потом повергнет в прах и на колени человека пред мудростью небес. И еще тайна, почему сей образ предстал в ныне являющейся на свет поэме.

Но не то тяжело, что будут недовольны героем, тяжело то, что живет в душе неотразимая уверенность, что тем же самым героем, тем же самым Чичиковым были бы довольны читатели. Не загляни автор поглубже ему в душу, не шевельни на дне ее того, что ускользает и прячется от света, не обнаружь сокровеннейших мыслей, которых никому другому не вверяет человек, а покажи его таким, каким он показался всему городу, Манилову и другим людям, и все были бы радешеньки и приняли бы его за интересного человека. Нет нужды, что ни лицо, ни весь образ его не метался бы как живой пред глазами; зато по окончании чтения душа не встревожена ничем, и можно обратиться вновь к карточному столу, тешащему всю Россию. Да, мои добрые читатели, вам бы не хотелось видеть обнаруженную человеческую бедность. Зачем, говорите вы, к чему это? Разве мы не знаем сами, что есть много презренного и глупого в жизни? И без того случается нам часто видеть то, что вовсе не утешительно. Лучше же представляйте нам прекрасное, увлекательное. Пусть лучше позабудемся мы! «Зачем ты, брат, говоришь мне, что дела в хозяйстве идут скверно? — говорит помещик приказчику.— Я, брат, это знаю без тебя, да у тебя речей разве нет других, что ли? Ты дай мне позабыть это, не знать этого, я тогда счастлив». И вот те деньги, которые бы поправили сколько-нибудь дело, идут на разные средства для приведения себя в забвенье. Спит ум, может быть обретший бы внезапный родник великих средств; а там имение бух с аукциона, и пошел помещик забываться по миру с душою, от крайности готовою на низости, которых бы сам ужаснулся прежде.

Еще падет обвинение на автора со стороны так называемых патриотов, которые спокойно сидят себе по углам и занимаются совершенно посторонними делами, накопляют себе капитальцы,

устроивая судьбу свою на счет других; но как только случится что-нибудь, по мненью их, оскорбительное для отечества, появится какая-нибудь книга, в которой скажется иногда горькая правда, они выбегут со всех углов, как пауки, увидевшие, что запуталась в паутину муха, и подымут вдруг крики: «Да хорошо ли выводить это на свет, провозглашать об этом? Ведь это все, что ни описано здесь, это все наше — хорошо ли это? А что скажут иностранцы? Разве весело слышать дурное мнение о себе? Думают, разве это не больно? Думают, разве мы не патриоты?» На такие мудрые замечания, особенно насчет мнения иностранцев, признаюсь, ничего нельзя прибрать в ответ. А разве вот что: жили в одном отдаленном уголке России два обитателя. Один был отец семейства, по имени Кифа Мокиевич, человек нрава кроткого, проводивший жизнь халатным образом. Семейством своим он не занимался; существованье его было обращено более в умозрительную сторону и занято следующим, как он называл, философическим вопросом: «Вот, например, зверь,— говорил он, ходя по комнате,— зверь родится нагишом. Почему же именно нагишом? Почему не так, как птица, почему не вылупливается из яйца? Как, право, того: совсем не поймешь натуры, как побольше в нее углубишься!» Так мыслил обитатель Кифа Мокиевич. Но не в этом еще главное дело. Другой обитатель был Мокий Кифович, родной сын его. Был он то, что называют на Руси богатырь, и в то время, когда отец занимался рожденьем зверя, двадцатилетняя плечистая натура его так и порывалась развернуться. Ни за что не умел он взяться слегка: все или рука у кого-нибудь затрещит, или волдырь вскочит на чьем-нибудь носу. В доме и в соседстве все, от дворовой девки до дворовой собаки, бежало прочь, его завидя; даже собственную кровать в спальне изломал он в куски. Таков был Мокий Кифович, а впрочем, был он доброй души. Но не в этом еще главное дело. А главное дело вот в чем: «Помилуй, батюшка барин, Кифа Мокиевич,— говорила отцу и своя и чужая дворня,— что у тебя за Мокий Кифович? Никому нет от него покоя, такой припертень!»— «Да, шаловлив, шаловлив,— говорил обыкновенно на это отец,— да ведь как быть: драться с ним поздно, да и меня же все обвинят в жестокости; а человек он честолюбивый, укори его при другом-третьем, он уймется, да ведь гласность-то — вот беда! город узнает, назовет его совсем собакой. Что, право, думают, мне разве не больно? разве я не отец? Что занимаюсь философией да иной раз нет времени, так уж я и не отец? Ан вот нет же, отец! отец, черт их побери, отец! У меня Мокий Кифович вот тут сидит, в сердце! — Тут Кифа Мокиевич бил себя весьма сильно в грудь кулаком и приходил в совершенный азарт.— Уж если он и останется собакой, так пусть же не от меня об этом узнают, пусть не я выдал его».

И, показав такое отеческое чувство, он оставлял Мокия Кифовича продолжать богатырские свои подвиги, а сам обращался вновь к любимому предмету, задав себе вдруг какой-нибудь подобный вопрос: «Ну а если бы слон родился в яйце, ведь скорлупа, чай, сильно бы толста была, пушкой не прошибешь; нужно какое-нибудь новое огнестрельное орудие выдумать». Так проводили жизнь два обитателя мирного уголка, которые нежданно, как из окошка, выглянули в конце нашей поэмы, выглянули для того, чтобы отвечать скромно на обвиненье со стороны некоторых горячих патриотов, до времени покойно занимающихся какой-нибудь философией или приращениями на счет сумм нежно любимого ими отечества, думающих не о том, чтобы не делать дурного, а о том, чтобы только не говорили, что они делают дурное. Но нет, не патриотизм и не первое чувство суть причины обвинений, другое скрывается под ними. К чему таить слово? Кто же, как не автор, должен сказать святую правду? Вы боитесь глубоко устремленного взора, вы страшитесь сами устремить на что-нибудь глубокий взор, вы любите скользнуть по всему недумающими глазами. Вы посмеетесь даже от души над Чичиковым, может быть, даже похвалите автора, скажете: «Однако ж кое-что он ловко подметил, должен быть веселого нрава человек!» И после таких слов с удвоившеюся гордостию обратитесь к себе, самодовольная улыбка покажется на лице вашем, и вы прибавите: «А ведь должно согласиться, престранные и пресмешные бывают люди в некоторых провинциях, да и подлецы притом немалые!» А кто из вас, полный христианского смиренья, не гласно, а в тишине, один, в минуты уединенных бесед с самим собой, углубит во внутрь собственной души сей тяжелый запрос: «А нет ли и во мне какой-нибудь части Чичикова?» Да, как бы не так! А вот пройди в это время мимо его какой-нибудь его же знакомый, имеющий чин ни слишком большой, ни слишком малый, он в ту же минуту толкнет под руку своего соседа и скажет ему, чуть не фыркнув от смеха: «Смотри, смотри, вон Чичиков, Чичиков пошел!» И потом, как ребенок, позабыв всякое приличие, должное знанию и летам, побежит за ним вдогонку, поддразнивая сзади и приговаривая: «Чичиков! Чичиков! Чичиков!»

Но мы стали говорить довольно громко, позабыв, что герой наш, спавший во все время рассказа его повести, уже проснулся и легко может услышать так часто повторяемую свою фамилию. Он же человек обидчивый и недоволен, если о нем изъясняются неуважительно. Читателю сполагоря, рассердится ли на него Чичиков или нет, но что до автора, то он ни в каком случае не должен ссориться с своим героем: еще не мало пути и дороги придется им пройти вдвоем рука в руку; две большие части впереди — это не безделица.

— Эхе-хе! что ж ты? — сказал Чичиков Селифану,— ты?

— Что? — сказал Селифан медленным голосом.

— Как что? Гусь ты! как ты едешь? Ну же, потрогивай!

И в самом деле, Селифан давно уже ехал зажмуря глаза, изредка только потряхивая впросонках вожжами по бокам дремавших тоже лошадей; а с Петрушки уже давно невесть в каком месте слетел картуз, и он сам, опрокинувшись назад, уткнул свою голову в колено Чичикову, так что тот должен был дать ей щелчка. Селифан приободрился и, отшлепавши несколько раз по спине чубарого, после чего тот пустился рысцой, да помахнувши сверху кнутом на всех, примолвил тонким певучим голоском: «Не бойся!» Лошадки расшевелились и понесли, как пух, легонькую бричку. Селифан только помахивал да покрикивал: «Эх! эх! эх!» — плавно подскакивая на козлах, по мере того как тройка то взлетала на пригорок, то неслась духом с пригорка, которыми была усеяна вся столбовая дорога, стремившаяся чуть заметным накатом вниз. Чичиков только улыбался, слегка подлетывая на своей кожаной подушке, ибо любил быструю езду. И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «черт побери все!» — его ли душе не любить ее? Ее ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и все летит: летят версты, летят навстречу купцы на облучках своих кибиток, летит с обеих сторон лес с темными строями елей и сосен, с топорным стуком и вороньим криком, летит вся дорога невесть куда в пропадающую даль, и что-то страшное заключено в сем быстром мельканье, где не успевает означиться пропадающий предмет,— только небо над головою, да легкие тучи, да продирающийся месяц одни кажутся недвижны. Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе в очи. И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро живьем с одним топором да долотом снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик. Не в немецких ботфортах ямщик: борода да рукавицы, и сидит черт знает на чем; а привстал, да замахнулся, да затянул песню — кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг, только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход — и вон она понеслась, понеслась, понеслась!.. И вон уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух.

Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный божьим чудом созерца-

тель: не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная богом!.. Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земли, и, косясь, посторанивaются и дают ей дорогу другие народы и государства.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Зачем же выставлять напоказ бедность нашей жизни и наше грустное несовершенство, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства? Что ж делать, если такого свойства сочинитель, и так уже заболел он сам собственным несовершенством, и так уже устроен талант его, чтобы изображать ему бедность нашей жизни, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства! И вот опять попали мы в глушь, опять наткнулись на закоулок.

Зато какая глушь и какой закоулок!

На тысячу с лишком верст неслись, извиваясь, горные возвышения. Точно как бы исполинский вал какой-то бесконечной крепости, возвышались они над равнинами то желтоватым отломом, в виде стены, с промоинами и рытвинами, то зеленой кругловидной выпуклиной, покрытой, как мерлушками, молодым кустарником, подымавшимся от срубленных дерев, то наконец темным лесом, еще уцелевшим от топора. Река то, верная своим высоким берегам, давала вместе с ними углы и колена по всему пространству, то иногда уходила от них прочь, в луга, затем, чтобы, извившись там в несколько извивов, блеснуть, как огонь, перед солнцем, скрыться в рощи берез, осин и ольх и выбежать оттуда в торжестве, в сопровожденье мостов, мельниц и плотин, как бы гонявшихся за нею на всяком повороте.

В одном месте крутой бок возвышений воздымался выше прочих и весь от низу до верху убирался в зелень столпившихся густо дерев. Тут было все вместе: и клен, и груша, и низкорослый ракитник, и чилига, и березка, и ель, и рябина, опутанная хмелем; тут...[1] мелькали красные крыши господских строений, коньки и

[1] В рукописи стерто два слова.— *Ред.*

гребни сзади скрывшихся изб и верхняя надстройка господского дома, а над всей этой кучей дерев и крыш старинная церковь возносила свои пять играющих верхушек. На всех их были золотые прорезные кресты, золотыми прорезными цепями прикрепленные к куполам, так что издали сверкало, как бы на воздухе, ни к чему не прикрепленное, висевшее золото. И вся эта куча дерев, крыш, вместе с церковью, опрокинувшись верхушками вниз, отдавалась в реке, где картинно-безобразные старые ивы, одни стоя у берегов, другие совсем в воде, опустивши туда и ветви и листья, точно как бы рассматривали это изображение, которым не могли налюбоваться во все продолженье своей многолетней жизни.

Вид был очень недурен, но вид сверху вниз, с надстройки дома на равнины и отдаленья, был еще лучше. Равнодушно не мог выстоять на балконе никакой гость и посетитель. У него захватывало в груди, и он мог только произнесть: «Господи, как здесь просторно!» Пространства открывались без конца. За лугами, усеянными рощами и водяными мельницами, зеленели и синели густые леса, как моря или туман, далеко разливавшийся. За лесами, сквозь мглистый воздух, желтели пески. За песками лежали гребнем на отдаленном небосклоне меловые горы, блиставшие ослепительной белизной даже и в ненастное время, как бы освещало их вечное солнце. Кое-где дымились по ним легкие туманно-сизые пятна. Это были отдаленные деревни, но их уже не мог рассмотреть человеческий глаз. Только вспыхивавшая, подобно искре, золотая церковная маковка давала знать, что это было людное, большое селенье. Все это облечено было в тишину невозмущаемую, которую не пробуждали даже чуть долетавшие до слуха отголоски воздушных певцов, наполнявших воздух. Словом, не мог равнодушно выстоять на балконе никакой гость и посетитель, и после какого-нибудь двухчасового созерцания издавал он то же самое восклицание, как и в первую минуту: «Силы небес, как здесь просторно!»

Кто ж был жилец этой деревни, к которой, как к неприступной крепости, нельзя было и подъехать отсюда, а нужно было подъезжать с другой стороны — полями, хлебами и, наконец, редкой дубровой, раскинутой картинно по зелени, вплоть до самых изб и господского дома? Кто был жилец, господин и владетель этой деревни? Какому счастливцу принадлежал этот закоулок?

А помещику Тремалаханского уезда Андрею Ивановичу Тентетникову, молодому тридцатитрехлетнему господину, коллежскому секретарю, неженатому человеку.

Что же за человек такой, какого нрава, каких свойств и какого характера был помещик Андрей Иванович Тентетников?

Разумеется, следует расспросить у соседей. Сосед, принадлежавший к фамилии отставных штаб-офицеров, брандеров, выра-

жался о нем лаконическим выраженьем: «Естественнейший скотина!» Генерал, проживавший в десяти верстах, говорил: «Молодой человек, неглупый, но много забрал себе в голову. Я бы мог быть ему полезным, потому что у меня и в Петербурге, и даже при...» Генерал речи не оканчивал. Капитан-исправник замечал: «Да ведь чинишка на нем — дрянь; а вот я завтра же к нему за недоимкой!» Мужик его деревни на вопрос о том, какой у них барин, ничего не отвечал. Словом, общественное мненье о нем было скорее неблагоприятное, чем благоприятное.

А между тем в существе своем Андрей Иванович был не то доброе, не то дурное существо, а просто — коптитель неба. Так как уже немало есть на белом свете людей, коптящих небо, то почему же и Тентетникову не коптить его? Впрочем, вот в немногих словах весь журнал его дня, и пусть из него судит читатель сам, какой у него был характер.

Поутру просыпался он очень поздно и, приподнявшись, долго еще сидел на своей кровати, протирая глаза. Глаза же, как на беду, были маленькие, и потому протиранье их производилось необыкновенно долго. Во все это время стоял у дверей человек Михайло с рукомойником и полотенцем. Стоял этот бедный Михайло час, другой, отправлялся потом на кухню, потом вновь приходил,— барин все еще протирал глаза и сидел на кровати. Наконец подымался он с постели, умывался, надевал халат и выходил в гостиную затем, чтобы пить чай, кофий, какао и даже парное молоко, всего прихлебывая понемногу, накрошивая хлеба безжалостно и насоривая повсюду трубочной золы бессовестно. Два часа просиживал он за чаем; этого мало: он брал еще холодную чашку и с ней подвигался к окну, обращенному на двор. У окна же происходила всякий раз следующая сцена.

Прежде всего ревел небритый буфетчик Григорий, относившийся к Перфильевне, ключнице, в сих выражениях:

— Душонка ты мелкопоместная, ничтожность этакая! Тебе бы, гнусной бабе, молчать, да и только.

— Уж тебя-то не послушаюсь, ненасытное горло! — выкрикивала ничтожность, или Перфильевна.

— Да ведь с тобой никто не уживется, ведь ты и с приказчиком сцепишься, мелочь ты анбарная! — ревел Григорий.

— Да и приказчик — вор такой же, как и ты! — выкрикивала ничтожность так, что было на деревне слышно.— Вы оба пиющие, губители господского, бездонные бочки! Ты думаешь, барин не знает вас? Ведь он здесь, ведь он вас слышит.

— Где барин?

— Да вот он сидит у окна; он все видит.

И точно, барин сидел у окна и все видел.

К довершению этого, кричал кричмя дворовый ребятишка, получивший от матери затрещину; визжал борзой кобель, присев задом к земле, по поводу горячего кипятка, которым обкатил его, выглянувши из кухни, повар. Словом, все голосило и верещало невыносимо. Барин все видел и слышал. И только тогда, когда это делалось до такой степени несносно, что даже мешало барину ничем не заниматься, высылал он сказать, чтоб шумели потише.

За два часа до обеда Андрей Иванович уходил к себе в кабинет затем, чтобы заняться сурьезно и действительно. Занятие было, точно, сурьезное. Оно состояло в обдумыванье сочинения, которое уже издавна и постоянно обдумывалось. Сочинение это долженствовало обнять всю Россию со всех точек — с гражданской, политической, религиозной, философической, разрешить затруднительные задачи и вопросы, заданные ей временем, и определить ясно ее великую будущность — словом, большого объема. Но покуда все оканчивалось одним обдумыванием; изгрызалось перо, являлись на бумаге рисунки, и потом все это отодвигалось на сторону, бралась наместо того в руки книга и уже не выпускалась до самого обеда. Книга эта читалась вместе с супом, соусом, жарким и даже с пирожным, так что иные блюда оттого стыли, а другие принимались вовсе нетронутыми. Потом следовала прихлебка чашки кофию с трубкой, потом игра в шахматы с самим собой. Что же делалось потом до самого ужина — право, уже и сказать трудно. Кажется, просто ничего не делалось.

И этак проводил время, один-одинешенек в целом <мире>, молодой тридцатидвухлетний человек, сидень сиднем, в халате, без галстука. Ему не гулялось, не ходилось, не хотелось даже подняться вверх взглянуть на отдаленности и виды, не хотелось даже растворять окна затем, чтобы забрать свежего воздуха в комнату, и прекрасный вид деревни, которым не мог равнодушно любоваться никакой посетитель, точно не существовал для самого хозяина.

Из этого журнала читатель может видеть, что Андрей Иванович Тентетников принадлежал к семейству тех людей, которых на Руси много, которым имена — увальни, лежебоки, байбаки и тому подобные.

Родятся ли уже сами собою такие характеры или создаются потом, как отвечать на это. Я думаю, что лучше вместо ответа рассказать историю детства и воспитания Андрея Ивановича.

В детстве был он остроумный, талантливый мальчик, то живой, то задумчивый. Счастливым или несчастливым случаем попал он в такое училище, где был директором человек, в своем роде необыкновенный, несмотря на некоторые причуды. Александр Петрович имел дар слышать природу русского человека и знал язык, которым нужно говорить с ним. Никто из детей не уходил от него

с повиснувшим носом; напротив, даже после строжайшего выговора чувствовал он какую-то бодрость и желанье загладить сделанную пакость и проступок. Толпа воспитанников его с виду казалась так шаловлива, развязна и жива, что иной принял бы ее за беспорядочную, необузданную вольницу. Но он обманулся бы: власть одного слишком была слышна в этой вольнице. Не было проказника и шалуна, который бы не пришел к нему сам и не рассказал всего, что ни напроказил. Малейшее движенье их помышлений было ему известно. Во всем поступал он необыкновенно. Он говорил, что прежде всего следует пробудить в человеке честолюбье,— честолюбье называл он силою, толкающею вперед человека,— без которого не подвигнешь его на деятельность. Многих резвостей и шалостей он не удерживал вовсе: в первоначальных резвостях видел он начало развитья свойств душевных. Они были ему нужны затем, чтобы видеть, что такое именно таится в ребенке. Так умный врач глядит спокойно на появляющиеся временные припадки и сыпи, показывающиеся на теле, не истребляет их, но всматривается внимательно, дабы узнать достоверно, что именно заключено внутри человека.

Учителей у него было немного: большую часть наук читал он сам. И надо сказать правду, что, без всяких педантских терминов, огромных воззрений и взглядов, которыми любят пощеголять молодые профессора, он умел в немногих словах передать самую душу науки, так что и малолетнему было очевидно, на что именно она ему нужна, наука. Он утверждал, что всего нужнее человеку наука жизни, что, узнав ее, он узнает тогда сам, чем он должен заняться преимущественнее.

Эту-то науку жизни сделал он предметом отдельного курса воспитания, в который поступали только одни самые отличные. Малоспособных выпускал он на службу из первого курса, утверждая, что их не нужно много мучить: довольно с них, если приучились быть терпеливыми, работящими исполнителями, не приобретая заносчивости и всяких видов вдаль. «Но с умниками, но с даровитыми мне нужно долго повозиться»,— обыкновенно говорил он. И становился в этом курсе совершенно другой Александр Петрович и с первых же раз возвещал, что доселе он требовал от них простого ума, теперь потребует ума высшего. Не того ума, который умеет подтрунить над дураком и посмеяться, но умеющего вынесть всякое оскорбление, спустить дураку — и не раздражиться. Здесь-то стал он требовать того, что другие требуют от детей. Это-то называл он высшей степенью ума. Сохранить посреди каких бы то ни было огорчений высокий покой, в котором вечно должен пребывать человек,— вот что называл он умом! В этом-то курсе Александр Петрович показал, что знает, точно, науку жизни. Из наук

были избраны только те, которые способны образовать из человека гражданина земли своей. Большая часть лекций состояла в рассказах о том, что ожидает впереди человека на всех поприщах и ступенях государственной службы и частных занятий. Все огорченья и преграды, какие только воздвигаются человеку на пути его, все искушенья и соблазны, ему предстоящие, собирал он перед ними во всей наготе, не скрывая ничего. Все было ему известно, точно как бы перебыл он сам во всех званьях и должностях. Словом, чертил он перед ними вовсе не радужную будущность. Странное дело! оттого ли, что честолюбие уже так сильно было в них возбуждено; оттого ли, что в самых глазах необыкновенного наставника было что-то говорящее юноше: вперед! — это слово, производящее такие чудеса над русским человеком,— то ли, другое ли, но юноша с самого начала искал только трудностей, алча действовать только там, где трудно, где нужно было показать бóльшую силу души. Было что-то трезвое в их жизни. Александр Петрович делал с ними всякие опыты и пробы, наносил им <то> сам чувствительные оскорбления, то посредством их же товарищей, но, проникнувши это, они становились еще осторожней. Из этого курса вышло немного, но эти немногие были крепыши, были обкуренные порохом люди. В службе они удержались на самых шатких местах, тогда как многие, гораздо их умнейшие, не вытерпев, бросили службу из-за мелочных личных неприятностей, бросили вовсе или же, не ведая ничего, очутились в руках взяточников и плутов. Но воспитанные Александ <ром Петровичем> не только не пошатнулись, но, умудренные познаньем человека и души, возымели высокое нравственное влияние даже на взяточников и дурных людей.

Но этого ученья не удалось попробовать бедному Андрею Ивановичу. Только что он был удостоен перевода в этот высший курс как один из самых лучших,— вдруг несчастие: необыкновенный наставник, которого одно одобрительное слово уже бросало его в сладкий трепет, скоропостижно умер. Все переменилось в училище: на место Александра Петровича поступил какой-то Федор Иванович, человек добрый и старательный, но совершенно другого взгляда на вещи. В свободной развязности детей первого курса почудилось ему что-то необузданное. Начал он заводить между ними какие-то внешние порядки, требовал, чтобы молодой народ пребывал в какой-то безмолвной тишине, чтобы ни в каком случае иначе все не ходили, как попарно. Начал даже сам аршином размерять расстоянье от пары до пары. За столом, для лучшего вида, рассадил всех по росту, а не по уму, так что ослам доставались лучшие куски, умным — оглодки. Все это произвело ропот, особенно когда новый начальник, точно как наперекор своему предместнику, объя-

вил, что для него ум и хорошие успехи в науках ничего не значат, что он смотрит только на поведенье, что если человек и плохо учится, но хорошо ведет себя, он предпочтет его умнику. Но именно того-то и не получил Федор Иванович, чего добивался. Завелись шалости потаенные, которые, как известно, хуже открытых. Все было в струнку днем, а по ночам — кутежи.

В образе преподавания наук он все переворотил вверх дном. С самыми благими намерениями завел он всякие нововведения — и все невпопад. Выписал новых преподавателей, с новыми взглядами и новыми точками воззрений. Читали они учено, забросали слушателей множеством новых терминов и слов. Видна была и логическая связь, и следованье за новыми открытиями, но увы! не было только жизни в самой науке. Мертвечиной стало все это казаться в глазах уж начинавших понимать слушателей. Все пошло навыворот. Но хуже всего было то, что потерялось уваженье к начальству и власти: стали насмехаться и над наставниками, и над преподавателями, директора стали называть Федькой, Булкой и другими разными именами; завелись такие дела, что нужно было многих выключить и выгнать.

Андрей Иванович был нрава тихого. Он не участвовал в ночных оргиях с товарищами, которые, несмотря на строжайший присмотр, завели на стороне любовницу — одну на восемь человек,— ни также в других шалостях, доходивших до кощунства и насмешек над самою религиею из-за того только, что директор требовал частого хожденья в церковь и попался плохой священник. Но он повесил нос. Честолюбье было возбуждено в нем сильно, а деятельности и поприща ему не было. Лучше б было и не возбуждать его! Он слушал горячившихся на кафедре профессоров, а вспоминал прежнего наставника, который, не горячась, умел говорить понятно. Он слушал и химию, и философию прав, и профессорские углубления во все тонкости политических наук, и всеобщую историю человечества в таком огромном виде, что профессор в три года успел только прочесть введение да развитие общин каких-то немецких городов; но все это оставалось в голове его какими-то безобразными клочками. Благодаря природному уму он чувствовал только, что не так должно преподаваться, а как — не знал. И вспоминал он часто об Александре Петровиче, и так ему бывало грустно, что не знал он, куда деться от тоски.

Но у молодости есть будущее. По мере того как приближалось время к выпуску, сердце у него билось. Он говорил себе: «Ведь это еще не жизнь, это только приготовленье к жизни: настоящая жизнь на службе. Там подвиги». И, не взглянувши на прекрасный уголок, так поражавший всякого гостя-посетителя, не поклонившись праху своих родителей, по обычаю всех честолюбцев понесся

он в Петербург, куда, как известно, стремится ото всех сторон России наша пылкая молодежь — служить, блистать, выслуживаться или же просто схватывать вершки бесцветного, холодного как лед, общественного обманчивого образованья. Честолюбивое стремление Андрея Ивановича осадил, однако же, с самого начала его дядя, действительный статский советник Онуфрий Иванович. Он объявил, что главное дело — в хорошем почерке, а не в чем-либо другом, что без этого не попадешь ни в министры, ни в государственные советники, а Тентетников писал тем самым письмом, о котором говорят: «Писала сорока лапой, а не человек».

С большим трудом и с помощью дядиных протекций, проведя два месяца в каллиграфических уроках, достал он наконец место списывателя бумаг в каком-то департаменте. Когда взошел он в светлый зал, где повсюду за письменными лакированными столами сидели пишущие господа, шумя перьями и наклоня голову набок, и когда посадили его самого, предложа ему тут же переписать какую-то бумагу,— необыкновенно странное чувство его проникнуло. Ему на время показалось, как бы он очутился в какой-то малолетней школе, затем, чтобы сызнова учиться азбуке, как бы за проступок перевели его из верхнего класса в нижний. Сидевшие вокруг его господа показались ему так похожими на учеников. Иные из них читали роман, засунув его в большие листы разбираемого дела, как бы занимались они самым делом, и в то же время вздрагивая при всяком появленье начальника. Ему вдруг представилось, как невозвратно-потерянный рай, школьное время его. Так высокими сделались вдруг занятья ученьем перед этим мелким письменным занятьем. Как это учебное приготовленье к службе казалось ему теперь выше самой службы. И вдруг предстал в его мыслях, как живой, его ни с кем не сравненный, чудесный воспитатель, никем не заменимый Александр Петрович,— и в три ручья потекли вдруг слезы из глаз его. Закружилась комната, задвигались столы, перемешались чиновники, и чуть не упал он от мгновенного потемненья. «Нет,— сказал он в себе, очнувшись,— примусь за дело, как бы оно ни казалось вначале мелким!» Скрепясь духом и сердцем, решился он служить по примеру прочих.

Где не бывает наслаждений? Живут они и в Петербурге, несмотря на суровую, сумрачную его наружность. Трещит по улицам сердитый тридцатиградусный мороз, визжит отчаянным бесом ведьма-вьюга, нахлобучивая на голову воротники шуб и шинелей, пудря усы людей и морды скотов, но приветливо светит вверху окошко где-нибудь, даже и в четвертом этаже; в уютной комнатке, при скромных стеариновых свечках, под шумок самовара, ведется согревающий и сердце и душу разговор, читается светлая страница вдохновенного русского поэта, какими наградил бог свою Россию,

и так возвышенно-пылко трепещет молодое сердце юноши, как не случается нигде в других землях и под полуденным роскошным небом.

Скоро Тентетников свыкнулся с службою, но только она сделалась у него не первым делом и целью, как он полагал было вначале, но чем-то вторым. Она служила ему распределеньем времени, заставив его более дорожить оставшимися минутами. Дядя, действительный статский советник, уже начинал было думать, что в племяннике будет прок, как вдруг племянник подгадил. Надобно сказать, что в числе друзей Андрея Ивановича попалось два человека, которые были то, что называется огорченные люди. Это были те беспокойно-странные характеры, которые не могут переносить равнодушно не только несправедливостей, но даже и всего того, что кажется в их глазах несправедливостью. Добрые поначалу, но беспорядочные сами в своих действиях, они исполнены нетерпимости к другим. Пылкая речь их и благородный образ негодованья подействовали на него сильно. Разбудивши в нем нервы и дух раздражительности, они заставили замечать все те мелочи, на которые он прежде и не думал обращать внимание. Федор Федорович Леницын, начальник того отделения, в котором он числился, человек наиприятнейшей наружности, вдруг ему не понравился. Он стал отыскивать в нем бездну недостатков и возненавидел его за то, будто бы он выражал в лице своем чересчур много сахару, когда говорил с высшими, и тут же, оборотившись к низшему, становился весь уксус. «Я бы ему простил,— говорил Тентетников,— если бы эта перемена происходила не так скоро в его лице; но как тут же, при моих глазах, и сахар и уксус в одно и то же время!» С этих пор он стал замечать всякий шаг. Ему казалось, что и важничал Федор Федорович уже чересчур, что имел он все замашки мелких начальников, как-то: брать на замечанье тех, которые не являлись к нему с поздравленьем в праздники, даже мстить всем тем, которых имена не находились у швейцара на листе, и множество разных тех грешных принадлежностей, без которых не обходится ни добрый, ни злой человек. Он почувствовал к нему отвращенье нервическое. Какой-то злой дух толкал его сделать что-нибудь неприятное Федору Федоровичу. Он наискивался на это с каким-то особым наслажденим и в том успел. Раз поговорил он с ним до того крупно, что ему объявлено было от начальства — или просить извинения, или выходить в отставку. Он подал в отставку. Дядя, действительный статский советник, приехал к нему перепуганный и умоляющий.

— Ради самого Христа! помилуй, Андрей Иванович, что это ты делаешь! Оставлять так выгодно начатый карьер из-за того только, что попался начальник не того... Что ж это? Ведь если на это глядеть, тогда и в службе никто бы не остался. Образумься, об-

разумься. Еще есть время! Отринь гордость и самолюбье, поезжай и объяснись с ним!

— Не в том дело, дядюшка,— сказал племянник.— Мне не трудно попросить у него извиненья, тем более что я, точно, виноват. Он мне начальник, и мне ни в каком случае не следовало так говорить с ним. Но дело вот в чем: вы позабыли, что у меня есть другая служба; у меня триста душ крестьян, именье в расстройстве, а управляющий — дурак. Государству утраты немного, если вместо меня сядет в канцелярию другой переписывать бумагу, но большая утрата, если триста человек не заплатят податей. Я помещик: званье это также не бездельно. Если я позабочусь о сохраненье, сбереженье и улучшенье участи вверенных мне людей и представлю государству триста исправнейших, трезвых, работящих подданных — чем моя служба будет хуже службы какого-нибудь начальника отделения Леницына?

Действительный статский советник остался с открытым ртом от изумленья. Такого потока слов он не ожидал. Немного подумавши, начал он было в таком роде:

— Но все же таки... но как же таки... как же запропастить себя в деревне? Какое же общество может быть между мужичьем? Здесь все-таки на улице попадется навстречу генерал или князь. Захочешь — и сам пройдешь мимо каких-нибудь публичных красивых зданий, на Неву пойдешь взглянуть, а ведь там, что ни попадется, все это или мужик, или баба. За что ж себя осудить на невежество на всю жизнь свою?

Так говорил дядя, действительный статский советник. Сам же он во всю жизнь свою не ходил по другой улице, кроме той, которая вела к месту его службы, где не было никаких публичных красивых зданий; не замечал никого из встречных, был ли он генерал или князь; в глаза не знал прихотей, какие дразнят в столицах людей, падких на невоздержанье, и даже отроду не был в театре. Все это он говорил единственно затем, чтобы затеребить честолюбье и подействовать на воображенье молодого человека. В этом, однако же, не успел: Тентетников стоял на своем упрямо. Департаменты и столица стали ему надоедать. Деревня начинала представляться каким-то привольным приютом, воспоительницею дум и помышлений, единственным поприщем полезной деятельности. Через недели две после этого разговора был он уже в окрестности мест, где пронеслось его детство. Как стало все припоминаться, как забилось в нем сердце, когда почувствовал, что он уже вблизи отцовской деревни! Он уже многие места позабыл вовсе и смотрел любопытно, как новичок, на прекрасные виды. Когда дорога понеслась узким оврагом в чащу огромного заглохнувшего леса и он увидел вверху, внизу, над собой и под собой трехсотлет-

ние дубы, трем человекам в обхват, вперемежку с пихтой, вязом и осокором, перераставшим вершину тополя, и когда на вопрос: «Чей лес?» — ему сказали: «Тентетникова»; когда, выбравшись из леса, понеслась дорога лугами, мимо осиновых рощ, молодых и старых ив и лоз, в виду тянувшихся вдали возвышений, и перелетела мостами в разных местах одну и ту же реку, оставляя ее то вправо, то влево от себя, и когда на вопрос: «Чьи луга и поемные места?» — отвечали ему: «Тентетникова»; когда поднялась потом дорога на гору и пошла по ровной возвышенности с одной стороны мимо неснятых хлебов: пшеницы, ржи и ячменя, с другой же стороны мимо всех прежде проеханных им мест, которые все вдруг показались в картинном отдалении, и когда, постепенно темнея, входила и вошла потом дорога под тень широких развилистых деревьев, разместившихся врассыпку по зеленому ковру до самой деревни, и замелькали кирченые избы мужиков и крытые красными крышами господские строения; когда пылко забившееся сердце и без вопроса знало, куды приехало,— ощущенья, непрестанно накоплявшиеся, исторгнулись наконец почти такими словами: «Ну, не дурак ли я был доселе? Судьба назначила мне быть обладателем земного рая, принцем, а я закабалил себя в канцелярию писцом! Учившись, воспитавшись, просветившись, сделавши порядочный запас тех именно сведений, какие требуются для управления людьми, улучшения целой области, для исполнения многообразных обязанностей помещика, являющегося и судьей, и распорядителем, и блюстителем порядка, вверить это место невеже-управителю! И выбрать вместо этого что же? — переписыванье бумаг, что может несравненно лучше производить ничему не учившийся кантонист!» И еще раз дал себе названье дурака Андрей Иванович Тентетников.

А между тем его ожидало другое зрелище. Узнавши о приезде барина, населенье всей деревни собралося к крыльцу. Пестрые платки, повязки, повойники, зипуны, бороды всех родов: заступом, лопатой и клином, рыжие, русые и белые, как серебро, покрыли всю площадь. Мужики загремели: «Кормилец, дождались мы тебя!» Бабы заголосили: «Золото, серебро ты сердечное!» Стоявшие подале даже подрались от усердья продраться. Дряблая старушонка, похожая на сушеную грушу, прошмыгнула промеж ног других, подступила к нему, всплеснула руками и взвизгнула: «Соплюнчик ты наш, да какой же ты жиденький! изморила тебя окаянная немчура!» — «Пошла ты, баба! — закричали ей тут же бороды заступом, лопатой и клином.— Ишь куды полезла, корявая!» Кто-то приворотил к этому такое словцо, от которого один только русский мужик мог не засмеяться. Барин не выдержал и рассмеялся, но тем не менее он тронут был глубоко в душе своей. «Столько

любви! и за что? — думал он в себе.— За то, что я никогда не видал их, никогда не занимался ими! Отныне же даю слово разделить с вами труды и занятья ваши! Употреблю все, чтобы помочь вам сделаться тем, чем вы должны быть, чем вам назначила быть ваша добрая, внутри вас же самих заключенная природа ваша, чтобы не даром была любовь ваша ко мне, чтобы я, точно, был кормилец ваш!»

И действительно, Тентетников не шутя принялся хозяйничать и распоряжаться. Он увидел на месте, что приказчик был баба и дурак со всеми качествами дрянного приказчика, то есть вел аккуратно счет кур и яиц, пряжи и полотна, приносимых бабами, но не знал ни бельмеса в уборке хлеба и посевах, а в прибавленье ко всему подозревал мужиков в покушенье на жизнь свою. Дурака приказчика он выгнал, наместо его выбрал другого, бойкого. Оставил мелочи, обратил вниманье на главные части, уменьшил барщину, убавил дни работы на себя, прибавил времени мужикам работать на них самих и думал, что теперь дела пойдут наиотличнейшим порядком. Сам стал входить во все, показываться на полях, на гумне, в овинах, на мельницах, у пристани, при грузке и сплавке барок и плоскодонов.

«Да он, вишь ты, востроногой!» — стали говорить мужики и даже почесывать в затылках, потому что от долговременного бабьего управления они все изрядно поизленились. Но это продолжалось не долго. Русский мужик сметлив и умен: он понял скоро, что барин хоть и прыток, и есть в нем охота взяться за многое, но как именно, каким образом взяться,— этого еще не смыслит, говорит как-то чересчур грамотно и затейливо, мужику невдолбеж и не в науку. Вышло то, что барин и мужик как-то не то чтобы совершенно не поняли друг друга, но просто не спелись вместе, не приспособились выводить одну и ту же ноту. Тентетников стал замечать, что на господской земле все выходило как-то хуже, чем на мужичьей: сеялось раньше, всходило позже. А работали, казалось, хорошо: он сам присутствовал и приказал выдать даже по чапорухе водки за усердные труды. У мужиков уже давно колосилась рожь, высыпался овес и кустилось просо, а у него едва начинал только идти хлеб в трубку, пятка колоса еще не завязывалась. Словом, стал замечать барин, что мужик просто плутует, несмотря на все льготы. Попробовал было укорить, но получил такой ответ: «Как можно, барин, чтобы мы о господской, то есть, выгоде не радели? Сами изволили видеть, как старались, когда пахали и сеяли: по чапорухе водки приказали подать». Что было на это возражать? «Да отчего ж теперь вышло скверно?» — допрашивал барин. «Кто его знает! Видно, червь подъел снизу, да и лето, вишь ты, какое: совсем дождей не было». Но барин видел, что у мужиков червь не

подъедал снизу, да и дождь шел как-то странно, полосою: мужику угодил, а на барскую ниву хоть бы каплю выронил. Еще трудней ему было ладить с бабами. То и дело отпрашивались они от работ, жалуясь на тягость барщины. Странное дело! Он уничтожил вовсе всякие приносы холста, ягод, грибов и орехов, наполовину сбавил с них других работ, думая, что бабы обратят это время на домашнее хозяйство, обошьют, оденут своих мужей, умножат огороды. Не тут-то было! Праздность, драка, сплетни и всякие ссоры завелись между прекрасным полом такие, что мужья то и дело приходили к нему с такими словами: «Барин, уйми беса-бабу! Точно черт какой! житья нет от ней!» Несколько раз, скрепя свое сердце, хотел он приняться за строгость. Но как быть строгим? Баба приходила такой бабой, так развизгивалась, такая была хворая, больная, таких скверных, гадких наворачивала на себя тряпок — уж откуда она их набирала, бог ее весть. «Ступай, ступай себе только с глаз моих, бог с тобой!» — говорил бедный Тентетников и вослед за тем имел удовольствие видеть, как больная, вышед за ворота, схватывалась с соседкой за какую-нибудь репу и так отламывала ей бока, как не сумеет и здоровый мужик. Вздумал он было попробовать какую-то школу между ними завести, но от этого вышла такая чепуха, что он и голову повесил,— лучше было и не задумывать! Все это значительно охладило его рвенье и к хозяйству, и к разбирательному судейскому делу, и вообще к деятельности. При работах он уже присутствовал почти без вниманья: мысли были далеко, глаза отыскивали посторонние предметы. Во время покосов не глядел он на быстрое подыманье шестидесяти разом кос и мерное с легким шумом паденье под ними рядами высокой травы; он глядел вместо того на какой-нибудь в стороне извив реки, по берегам которой ходил красноносый, красноногий мартын — разумеется, птица, а не человек; он глядел, как этот мартын, поймав рыбу, держал ее впоперек в носу, как бы раздумывая, глотать или не глотать, и глядя в то же время пристально вздоль реки, где в отдаленье виден был другой мартын, еще не поймавший рыбы, но глядевший пристально на мартына, уже поймавшего рыбу. Во время уборки хлебов не глядел он на то, как складывали снопы копнами, крестами, а иногда и просто шишом. Ему не было дела до того, лениво или шибко метали стога и клали клади. Зажмуря глаза и приподняв голову кверху, к пространствам небесным, предоставлял он обонянью впивать запах полей, а слуху — поражаться голосами воздушного певучего населенья, когда оно отовсюду, от небес и от земли, соединяется в один звукосогласный хор, не переча друг другу. Бьет перепел, дергает в траве дергун, урчат и чиликают перелетающие коноплянки, по невидимой воздушной лестнице сыплются трели жаворонков, и турлыканье журавлей,

несущихся в стороне вереницею,— точный звон серебряных труб,— слышится в пустоте звонко сотрясающейся пустыни воздушной. Вблизи ли производилась работа — он был вдали от нее; была ли она вдали — его глаза отыскивали, что было поближе. И был он похож на того рассеянного ученика, который глядит в книгу, но в то же время видит и фигу, подставленную ему товарищем. Наконец и совсем перестал он ходить на работы, бросил совершенно и суд, и всякие расправы, засел в комнаты и перестал принимать к себе даже с докладами приказчика.

Временами из соседей завернет к нему, бывало, отставной гусар-поручик, прокуренный насквозь трубочный куряка, или брандер-полковник, мастер и охотник на разговоры обо всем. Но и это стало ему надоедать. Разговоры их начали ему казаться както поверхностными; живое, ловкое обращенье, потрепки по колену и прочие развязности начали ему казаться уже чересчур прямыми и открытыми. Он решился с ними раззнакомиться и произвел это даже довольно резко. Именно, когда представитель всех полковников-брандеров, наиприятнейший во всех поверхностных разговорах обо всем, Варвар Николаич Вишнепокромов приехал к нему затем именно, чтобы наговориться вдоволь, коснувшись и политики, и философии, и литературы, и морали, и даже состоянья финансов в Англии, он выслал сказать, что его нет дома, и в то же время имел неосторожность показаться перед окошком. Гость и хозяин встретились взорами. Один, разумеется, проворчал сквозь зубы: «Скотина!», другой послал ему тоже что-то вроде свиньи. Так и кончилось знакомство. С тех пор не заезжал к нему никто. Уединенье полное водворилось в доме. Хозяин залез в халат безвыходно, предавши тело бездействию, а мысль — обдумыванью большого сочиненья о России. Как обдумывалось это сочинение, читатель уже видел. День приходил и уходил, однообразный и бесцветный. Нельзя сказать, однако же, чтобы не было минут, в которые как будто пробуждался он ото сна. Когда привозила почта газеты, новые книги и журналы и попадалось ему в печати знакомое имя прежнего товарища, уже преуспевавшего на видном поприще государственной службы или приносившего посильную дань наукам и образованью всемирному, тайная тихая грусть подступала ему под сердце, и скорбная, безмолвно-грустная, тихая жалоба на бездействие свое прорывалась невольно. Тогда противной и гадкой казалась ему жизнь его. С необыкновенной силой воскресало пред ним школьное минувшее время и представал вдруг, как живой, Александр Петрович... Градом лились из глаз его слезы, и рыданья продолжались почти весь день.

Что значили эти рыданья? Обнаруживала ли ими болеющая душа скорбную тайну своей болезни, что не успел образоваться и

окрепнуть начинавший в нем строиться высокий внутренний человек; что, не испытанный измлада в борьбе с неудачами, не достигнул он до высокого состоянья возвышаться и крепнуть от преград и препятствий; что, растопившись, подобно разогретому металлу, богатый запас великих ощущений не принял последней закалки, и теперь, без упругости, бессильна его воля; что слишком для него рано умер необыкновенный наставник и нет теперь никого во всем свете, кто бы был в силах воздвигнуть и поднять шатаемые вечными колебаньями силы и лишенную упругости немощную волю,— кто бы крикнул живым, пробуждающим голосом,— крикнул душе пробуждающее слово: *вперед!* — которого жаждет повсюду, на всех ступенях стоящий, всех сословий, званий и промыслов, русский человек?

Где же тот, кто бы на родном языке русской души нашей умел бы нам сказать это всемогущее слово: *вперед?* кто, зная все силы, и свойства, и всю глубину нашей природы, одним чародейным мановеньем мог бы устремить на высокую жизнь русского человека? Какими словами, какой любовью заплатил бы ему благодарный русский человек. Но веки проходят за веками; полмиллиона сидней, увальней и байбаков дремлют непробудно, и редко рождается на Руси муж, умеющий произносить его, это всемогущее слово.

Одно обстоятельство чуть было, однако же, не разбудило Тентетникова и чуть было не произвело переворота в его характере. Случилось что-то вроде любви, но и тут дело как-то свелось на ничего. В соседстве, в десяти верстах от его деревни, проживал генерал, отзывавшийся, как мы уже видели, не совсем благосклонно о Тентетникове. Генерал жил генералом, хлебосольствовал, любил, чтобы соседи приезжали изъявлять ему почтенье; сам, разумеется, визитов не платил, говорил хрипло, читал книги и имел дочь, существо невиданное, странное, которую скорей можно было почесть каким-то фантастическим видением, чем женщиной. Иногда случается человеку во сне увидеть что-то подобное, и с тех пор он уже во всю жизнь свою грезит этим сновиденьем, действительность для него пропадает навсегда, и он решительно ни на что не годится. Имя ей было Улинька. Воспиталась она как-то странно. Ее воспитывала англичанка-гувернантка, не знавшая ни слова по-русски. Матери лишилась она еще в детстве. Отцу было некогда. Впрочем, любя дочь до безумия, он мог только избаловать ее. Необыкновенно трудно изобразить портрет ее. Это было что-то живое, как сама жизнь. Она была миловидней, чем красавица; лучше, чем умна; стройней, воздушней классической женщины. Никак бы нельзя было сказать, какая страна положила на нее свой отпечаток, потому что подобного профиля и очертанья лица трудно было

где-нибудь отыскать, разве только на античных камеях. Как в ребенке, воспитанном на свободе, в ней было все своенравно. Если бы кто увидал, как внезапный гнев собирал вдруг строгие морщины на прекрасном челе ее и как она спорила пылко с отцом своим, он бы подумал, что это было капризнейшее созданье. Но гнев бывал у нее только тогда, когда она слышала о какой бы то ни было несправедливости или жестоком поступке с кем бы то ни было. Но как вдруг исчезнул бы этот гнев, если бы она увидела в несчастии того самого, на кого гневалась, как бы вдруг бросила она ему свой кошелек не размышляя, умно ли это или глупо, и разорвала на себе платье для перевязки, если б он был ранен! Было в ней что-то стремительное. Когда она говорила, у ней, казалось, все стремилось вослед за мыслью: выраженье лица, выраженье разговора, движенье рук, самые складки платья как бы стремились в ту же сторону, и казалось, как бы она сама вот улетит вослед за собственными ее словами. Ничего не было в ней утаенного. Ни перед кем не побоялась бы она обнаружить своих мыслей, и никакая сила не могла бы ее заставить молчать, когда ей хотелось говорить. Ее очаровательная, особенная, принадлежавшая ей одной походка была до того бестрепетно-свободна, что все ей уступало бы невольно дорогу. При ней как-то смущался недобрый человек и немел, а добрый, даже самый застенчивый, мог разговориться с нею, как никогда в жизни своей ни с кем, и — странный обман! — с первых минут разговора ему уже казалось, что где-то и когда-то он знал ее, что случилось это во дни какого-то незапамятного младенчества, в каком-то родном доме, веселым вечером, при радостных играх детской толпы, и надолго после того как-то становился ему скучным разумный возраст человека.

Андрей Иванович Тентетников не мог бы никак рассказать, как это случилось, что с первого же дни он стал с ней так, как бы знаком был вечно. Неизъяснимое, новое чувство вошло к нему в душу. Скучная жизнь его на мгновенье озарилась. Халат на время был оставлен. Не так долго копался он на кровати, не так долго стоял Михайло с рукомойником в руках. Растворялись окна в комнатах, и часто владетель картинного поместья долго ходил по темным излучинам своего сада и останавливался по часам перед пленительными видами на отдаленья.

Генерал принимал сначала Тентетникова довольно хорошо и радушно; но совершенно сойтись между собою они не могли. Разговоры у них всегда оканчивались спором и каким-то неприятным ощущеньем с обеих сторон. Генерал не любил противуречья и возраженья, хотя в то же время любил поговорить даже и о том, чего не знал вовсе. Тентетников, со своей стороны, тоже был человек щекотливый. Впрочем, ради дочери прощалось многое отцу, и мир

у них держался до тех пор, покуда не приехали гостить к генералу родственницы, графиня Болдырева и княжна Юзякина: одна — вдова, другая — старая девка, обе фрейлины прежних времен, обе болтуньи, обе сплетницы, не весьма обворожительные любезностью своей, но, однако же, имевшие значительные связи в Петербурге, и перед которыми генерал немножко даже подличал. Тентетникову показалось, что с самого дня приезда их генерал стал к нему както холоднее, почти не замечал его и обращался как с лицом бессловесным или с чиновником, употребляемым для переписки, самым мелким. Он говорил ему то *братец,* то *любезнейший,* и один раз сказал ему даже *ты.* Андрея Ивановича взорвало; кровь бросилась ему в голову. Скрепя сердце и стиснув зубы, он, однако же, имел присутствие духа сказать необыкновенно учтивым и мягким голосом, между тем как пятна выступили на лице его и все внутри его кипело:

— Я должен благодарить вас, генерал, за ваше расположение. Вы приглашаете и вызываете меня словом *ты* на самую тесную дружбу, обязывая и меня также говорить вам *ты.* Но позвольте вам заметить, что я помню различие наше в летах, совершенно препятствующее такому фамильярному между нами обращению.

Генерал смутился. Собирая слова и мысли, стал он говорить, хотя несколько несвязно, что слово *ты* было им сказано не в том смысле, что старику иной раз позволительно сказать молодому человеку *ты* (о чине своем он не упомянул ни слова).

Разумеется, с этих пор знакомство между ними прекратилось, и любовь кончилась при самом начале. Потухнул свет, на минуту было перед ним блеснувший, и последовавшие за ним сумерки стали еще сумрачней. Байбак сызнова залез в халат свой. Все поворотило сызнова на лежанье и бездействие. В доме завелись гадость и беспорядок. Половая щетка оставалась по целому дню посреди комнаты вместе с сором. Панталоны заходили даже в гостиную. На щеголеватом столе перед диваном лежали засаленные подтяжки, точно какое угощенье гостю, и до того стала ничтожной и сонной его жизнь, что не только перестали уважать его дворовые люди, но даже чуть не клевали домашние куры. Бессильно чертил он на бумаге по целым часам рогульки, домики, избы, телеги, тройки или же выписывал «Милостивый государь!» с восклицательным знаком всеми почерками и характерами. А иногда же, все позабывши, перо чертило само собой, без ведома хозяина, маленькую головку с тонкими, острыми чертами, с приподнятой легкой прядью волос, упадавшей из-под гребня длинными тонкими кудрями, молодыми обнаженными руками, как бы летевшую,— и в изумленье видел хозяин, как выходил портрет той, с которой портрета

не мог бы написать никакой живописец. И еще грустнее становилось ему потом, и, веря тому, что нет на земле счастья, оставался он на целый день скучным и безответным.

Таковы были обстоятельства Андрея Ивановича Тентетникова. Вдруг в один день, подходя к окну обычным порядком, с трубкой и чашкой в руках, заметил он во дворе движенье и некоторую суету. Поварчонок и поломойка бежали отворять вороты, и в воротах показались кони, точь-в-точь как лепят иль рисуют их на триумфальных воротах: морда направо, морда налево, морда посередине. Свыше их, на козлах — кучер и лакей в широком сюртуке, опоясавший себя носовым платком. За ними господин в картузе и шинели, закутанный в косынку радужных цветов. Когда экипаж изворотился перед крыльцом, оказалось, что был он не что другое, как рессорная легкая бричка. Господин необыкновенно приличной наружности соскочил на крыльцо с быстротой и ловкостью почти военного человека.

Андрей Иванович струсил. Он принял его за чиновника от правительства. Надобно сказать, что в молодости своей он было замешался в одно неразумное дело. Какие-то философы из гусар, да недоучившийся студент, да промотавшийся игрок затеяли какое-то филантропическое общество, под верховным распоряжением старого плута, и масона, и карточного игрока, пьяницы и красноречивейшего человека. Общество было устроено с целью доставить прочное счастье всему человечеству от берегов Темзы до Камчатки. Касса денег потребовалась огромная, пожертвованья собирались с великодушных членов неимоверные. Куда это все пошло — знал об этом только один верховный распорядитель. В общество это затянули его два приятеля, принадлежавшие к классу огорченных людей, добрые люди, но которые от частых тостов во имя науки, просвещения и прогресса сделались потом формальными пьяницами. Тентетников скоро спохватился и выбыл из этого круга. Но общество успело уже запутаться в каких-то других действиях, даже не совсем приличных дворянину, так что потом завязались дела и с полицией... А потому не мудрено, что хотя и вышедши, и разорвавши всякие сношения с благодетелем человечества, Тентетников не мог, однако же, оставаться покоен. На совести у него было не совсем ловко. Не без страха глядел он и теперь на растворявшуюся дверь.

Страх его, однако же, прошел вдруг, когда гость раскланялся с ловкостью неимоверной, сохраняя почтительное положение головы несколько набок. В коротких, но определительных словах изъяснил, что уже издавна ездит он по России, побуждаемый и потребностями, и любознательностью; что государство наше преизобилует предметами замечательными, не говоря уже о красоте мест, обилии

промыслов и разнообразии почв; что он увлекся картинностью местоположенья его деревни; что, несмотря, однако же, на картинность местоположенья, он не дерзнул бы никак обеспокоить его неуместным заездом своим, если бы не случилось что-то в бричке его, требующее руки помощи со стороны кузнецов и мастеров; что при всем том, однако же, если бы даже и ничего не случилось в его бричке, он бы не мог отказать себе в удовольствии засвидетельствовать ему лично свое почтенье.

Окончив речь, гость с обворожительной приятностью подшаркнул ножкой и, несмотря на полноту корпуса, отпрыгнул тут же несколько назад с легкостью резинного мячика.

Андрей Иванович подумал, что это должен быть какой-нибудь любознательный ученый-профессор, который ездит по России затем, чтобы собирать какие-нибудь растения или даже предметы ископаемые. Он изъявил ему всякую готовность споспешествовать; предложил своих мастеров, колесников и кузнецов для поправки брички; просил расположиться у него как в собственном доме; усадил обходительного гостя в большие вольтеровские <кресла> и приготовился слушать его рассказ, без сомнения, об ученых предметах и естественных.

Гость, однако же, коснулся больше событий внутреннего мира. Заговорил о превратностях судьбы; уподобил жизнь свою судну посреди морей, гонимому отовсюду ветрами; упомянул о том, что должен был переменить много мест и должностей, что много потерпел за правду, что даже самая жизнь его была не раз в опасности со стороны врагов, и много еще рассказал он такого, из чего Тентетников мог видеть, что гость его был скорее практический человек. В заключенье всего, он высморкался в белый батистовый платок так громко, как Андрей Иванович еще и не слыхивал. Подчас попадается в оркестре такая пройдоха-труба, которая когда хватит, покажется, что крякнуло не в оркестре, но в собственном ухе. Точно такой же звук раздался в пробужденных покоях дремавшего дома, и немедленно вослед за ним воспоследовало благоуханье одеколона, невидимо распространенное ловким встряхнутьем носового батистового платка.

Читатель, может быть, уже догадался, что гость был не другой кто, как наш почтенный, давно нами оставленный Павел Иванович Чичиков. Он немножко постарел: как видно, не без бурь и тревог было для него это время. Казалось, как бы и самый фрак на нем немножко поустарел, и бричка, и кучер, и слуга, и лошади, и упряжь как бы поистерлись и поизносились. Казалось, как бы и самые финансы не были в завидном состоянии. Но выраженье лица, приличье, обхожденье остались те же. Даже как бы еще приятнее стал он в поступках и оборотах, еще ловче подвертывал под нож-

ку ножку, когда садился в кресла; еще более было мягкости в выговоре речей, осторожной умеренности в словах и выраженьях, более уменья держать себя и более такту во всем. Белей и чище снегов были на нем воротнички и манишка, и, несмотря на то что был он с дороги, ни пушинки не село к нему на фрак,— хоть на именинный обед! Щеки и подбородок выбриты были так, что один разве только слепой мог не полюбоваться приятной выпуклостью и круглотой их.

В доме произошло преобразованье. Половина его, дотоле пребывавшая в слепоте, с заколоченными ставнями, вдруг прозрела и озарилась. Из брички стали выносить поклажу. Все начало размещаться в осветившихся комнатах, и скоро все приняло такой вид: комната, определенная быть спальней, вместила в себе вещи, необходимые для ночного туалета; комната, определенная быть кабинетом... Но прежде необходимо знать, что в этой комнате было три стола: один письменный — перед диваном, другой ломберный — между окнами у стены, третий угольный — в углу, между дверью в спальню и дверью в необитаемый зал с инвалидною мебелью. На этом угольном столе поместилось вынутое из чемодана платье, а именно: панталоны под фрак, панталоны под сюртук, панталоны серенькие, два бархатных жилета и два атласных, сюртук и два фрака. (Жилеты же белого пике и летние брюки отошли к белью в комод.) Все это разместилось один на другом пирамидкой и прикрылось сверху носовым шелковым платком. В другом углу, между дверью и окном, выстроились рядком сапоги: сапоги не совсем новые, сапоги совсем новые, сапоги с новыми головками и лакированные полусапожки. Они также стыдливо занавесились шелковым носовым платком — так, как бы их там вовсе не было. На столе перед двумя окнами поместилась шкатулка. На письменном столе перед диваном — портфель, банка с одеколоном, сургуч, зубные щетки, новый календарь и два какие-то романа, оба вторые тома. Чистое белье поместилось в комоде, уже находившемся в спальне; белье же, которое следовало прачке, завязано было в узел и подсунуто под кровать. Чемодан, по опростанье его, был тоже подсунут под кровать. Сабля поместилась также в спальне, повиснувши на гвозде невдалеке от кровати. Та и другая комната приняли вид чистоты и опрятности необыкновенной. Нигде ни бумажки, ни перышка, ни соринки. Самый воздух как-то облагородился. В нем утвердился приятный запах здорового, свежего мужчины, который белья не занашивает, в баню ходит и вытирает себя мокрой губкой по воскресным дням. В вестибульной комнате покушался было утвердиться на время запах служителя Петрушки, но Петрушка скоро перемещен был на кухню, как оно и следовало.

В первые дни Андрей Иванович опасался за свою независимость, чтобы как-нибудь гость не связал его, не стеснил какими-нибудь измененьями в образе жизни, и не разрушился бы порядок дня его, так удачно заведенный,— но опасенья были напрасны. Павел Иванович наш показал необыкновенно гибкую способность приспособиться ко всему. Одобрил философическую неторопливость хозяина, сказавши, что она обещает столетнюю жизнь. Об уединении выразился весьма счастливо — именно, что оно питает великие мысли в человеке. Взглянув на библиотеку и отозвавшись с похвалой о книгах вообще, заметил, что они спасают от праздности человека. Словом, выронил слов не много, но значительных. В поступках же своих поступал еще более кстати. Вовремя являлся, вовремя уходил; не затруднял хозяина запросами в часы неразговорчивости его; с удовольствием играл с ним в шахматы, с удовольствием молчал. В то время, когда один пускал кудреватыми облаками трубочный дым, другой, не куря трубки, придумывал, однако же, соответствовавшее тому занятие: вынимал, например, из кармана серебряную с чернью табакерку и, утвердив ее между двух пальцев левой руки, оборачивал ее быстро пальцем правой, в подобье того как земная сфера обращается около своей оси, или же просто барабанил по табакерке пальцами, насвистывая какое-нибудь ни то ни се. Словом, он не мешал хозяину никак. «Я в первый раз вижу человека, с которым можно жить,— говорил про себя Тентетников.— Вообще этого искусства у нас мало. Между нами есть довольно людей и умных, и образованных, и добрых, но людей постоянно приятных, людей постоянно ровного характера, людей, с которыми можно прожить век и не поссориться,— я не знаю, много ли у нас можно отыскать таких людей! Вот первый, единственный человек, которого я вижу!» Так отзывался Тентетников о своем госте.

Чичиков, со своей стороны, был очень рад, что поселился на время у такого мирного и смирного хозяина. Цыганская жизнь ему надоела. Приотдохнуть, хотя на месяц, в прекрасной деревне, в виду полей и начинавшейся весны, полезно было даже и в геморроидальном отношении. Трудно было найти лучший уголок для отдохновения. Весна убрала его красотой несказанной. Что яркости в зелени! Что свежести в воздухе! Что птичьего крику в садах! Рай, радость и ликованье всего! Деревня звучала и пела, как будто новорожденная.

Чичиков ходил много. То направлял он прогулку свою по плоской вершине возвышений, в виду расстилавшихся внизу долин, по которым повсюду оставались еще большие озера от разлития воды; или же вступал в овраги, где едва начинавшие убираться листьями дерева отягчены птичьими гнездами,— оглушенный кар-

каньем ворон, разговорами галок и граньями грачей, перекрестными летаньями, помрачавшими небо; или же спускался вниз к поемным местам и разорванным плотинам — глядеть, как с оглушительным шумом неслась повергаться вода на мельничные колеса; или же пробирался дале к пристани, откуда неслись, вместе с течью воды, первые суда, нагруженные горохом, овсом, ячменем и пшеницей; или отправлялся в поля на первые весенние работы глядеть, как свежая орань черной полосою проходила по зелени, или же как ловкий сеятель бросал из горсти семена ровно, метко, ни зернышка не передавши на ту или другую сторону. Толковал и говорил и с приказчиком, и с мужиком, и мельником — и что, и как, и каковых урожаев можно ожидать, и на какой лад идет у них запашка, и по сколько хлеба продается, и что выбирают весной и осенью за умол муки, и как зовут каждого мужика, и кто с кем в родстве, и где купил корову, и чем кормит свинью — словом, все. Узнал и то, сколько перемерло мужиков. Оказалось, немного. Как умный человек, заметил он вдруг, что незавидно идет хозяйство у Андрея Ивановича. Повсюду упущенья, нераденье, воровство, немало и пьянства. И мысленно говорил он сам в себе: «Какая, однако же, скотина Тентетников! Запустить так имение, которое могло бы приносить по малой мере пятьдесят тысяч годового доходу!» И, не будучи в силах удержать справедливого негодования, повторял он: «Решительно скотина!» Не раз посреди таких прогулок приходило ему на мысль сделаться когда-нибудь самому,— то есть, разумеется, не теперь, но после, когда обделается главное дело и будут средства в руках,— сделаться самому мирным владельцем подобного поместья. Тут обыкновенно представлялась ему молодая хозяйка, свежая, белолицая бабенка, может быть, даже из купеческого сословия, впрочем, однако же, образованная и воспитанная так, как и дворянка,— чтобы понимала и музыку, хотя, конечно, музыка и не главное, но почему же, если уже так заведено, зачем же идти противу общего мнения? Представлялось ему и молодое поколение, долженствовавшее увековечить фамилью Чичиковых: резвунчик мальчишка и красавица дочка, или даже два мальчугана, две и даже три девчонки, чтобы было всем известно, что он действительно жил и существовал, а не то что прошел по земле какой-нибудь тенью или призраком,— чтобы не было стыдно и перед отечеством. Представлялось ему даже и то, что недурно бы к чину некоторое прибавление: статский советник, например, чин почтенный и уважительный... И много приходило ему в голову того, что так часто уносит человека от скучной настоящей минуты, теребит, дразнит, шевелит его и бывает ему любо даже и тогда, когда уверен он сам, что это никогда не сбудется.

Людям Павла Ивановича деревня тоже понравилась. Они так же, как и он, обжились в ней. Петрушка сошелся очень скоро с буфетчиком Григорием, хотя сначала они оба важничали и дулись друг перед другом нестерпимо. Петрушка пустил Григорию пыль в глаза тем, что он бывал в Костроме, Ярославле, Нижнем и даже в Москве; Григорий же осадил его сразу Петербургом, в котором Петрушка не был. Последний хотел было подняться и выехать на дальности расстояний тех мест, в которых он бывал; но Григорий назвал ему такое место, какого ни на какой карте нельзя было отыскать, и насчитал тридцать тысяч с лишком верст, так что Петрушка осовел, разинул рот и был поднят на смех тут же всею дворней. Впрочем, дело кончилось между ними самой тесной дружбой: дядя лысый Пимен держал в конце деревни знаменитый кабак, которому имя было «Акулька»; в этом заведенье видели их все часы дня. Там стали они свои други, или то, что называют в народе — кабацкие завсегдатели.

У Селифана была другого рода приманка. На деревне, что ни вечер, пелись песни, заплетались и расплетались весенние хороводы. Породистые, стройные девки, каких трудно было найти в другом месте, заставляли его по нескольким часам стоять вороной. Трудно было сказать, которая лучше: все белогрудые, белошейные, у всех глаза репой, у всех глаза с поволокой, походка павлином и коса до пояса. Когда, взявшись обеими руками за белые руки, медленно двигался он с ними в хороводе или же выходил на них стеной, в ряду других парней и погасал горячо рдеющий вечер, и тихо померкала вокруг окольность, и далече за рекой отдавался верный отголосок неизменно грустного напева,— не знал он и сам тогда, что с ним делалось. Долго потом во сне и наяву, утром и в сумерки все мерещилось ему, что в обеих руках его белые руки и движется он с ними в хороводе. Махнув рукой, говорил он: «Проклятые девки!»

Коням Чичикова понравилось тоже новое жилище. И коренной, и пристяжной каурой масти, называемый Заседателем, и самый чубарый, о котором выражался Селифан: «подлец-лошадь», нашли пребыванье у Тентетникова совсем нескучным, овес отличным, а расположенье конюшен необыкновенно удобным. У всякого стойло, хотя и отгороженное, но через перегородки можно было видеть и других лошадей, так что, если бы пришла кому-нибудь из них, даже самому дальнему, фантазия вдруг заржать, то можно было ему ответствовать тем же тот же час.

Словом, все обжились, как дома. Читатель, может быть, изумляется, что Чичиков доселе не заикнулся по части известных душ. Как бы не так! Павел Иванович стал очень осторожен насчет этого предмета. Если бы даже пришлось вести дело с дураками круглы-

ми, он бы и тут не вдруг начал. Тентетников же, как бы то ни было, читает книги, философствует, старается изъяснить себе всякие причины всего — и отчего, и почему... «Нет, черт его возьми! разве начать с другого конца?» — Так думал Чичиков. Раздобаривая почасту с дворовыми людьми, он, между прочим, от них разведал, что барин ездил прежде довольно нередко к соседу генералу, что у генерала барышня, что барин было к барышне, да и барышня тоже к барину... но потом вдруг за что-то не поладили и разошлись. Он заметил и сам, что Андрей Иванович карандашом и пером все рисовал какие-то головки, одна на другую похожие. Один раз после обеда, оборачивая, по обыкновению, пальцем серебряную табакерку вокруг ее оси, сказал он так:

— У вас всё есть, Андрей Иванович; одного только недостает.

— Чего? — спросил тот, выпуская кудреватый дым.

— Подруги жизни,— сказал Чичиков.

Ничего не сказал Андрей Иванович. Тем разговор и кончился.

Чичиков не смутился, выбрал другое время, уже перед ужином, и, разговаривая о том и о сем, сказал вдруг:

— А право, Андрей Иванович, вам бы очень не мешало жениться.

Хоть бы слово сказал на это Тентетников, точно как бы и самая речь об этом была ему неприятна.

Чичиков не смутился. В третий раз выбрал он время, уже после ужина, и сказал так:

— А все-таки, как ни переворочу обстоятельства ваши, вижу, что нужно вам жениться: впадете в ипохондрию.

Слова ли Чичикова были на этот раз так убедительны, или же расположение духа у Андрея Ивановича было как-то особенно настроено к откровенности,— он вздохнул и сказал, пустивши кверху трубочный дым: «На все нужно родиться счастливцем, Павел Иванович»,— и рассказал все, как было, всю историю знакомства с генералом и разрыв.

Когда услышал Чичиков, от слова до слова, все дело и увидел, что из-за одного слова *ты* произошла такая история, он оторопел. Несколько минут смотрел пристально в глаза Тентетникова и заключил: «Да он просто круглый дурак!»

— Андрей Иванович, помилуйте! — сказал он, взявши его за обе руки.— Какое ж оскорбление? что ж тут оскорбительного в слове *ты?*

— В самом слове нет ничего оскорбительного,— сказал Тентетников,— но в смысле слова, но в голосе, с которым сказано оно, заключается оскорбленье. *Ты* — это значит: «Помни, что ты дрянь;

я принимаю тебя потому только, что нет никого лучше, а приехала какая-нибудь княжна Юзякина,— ты знай свое место, стой у порога». Вот что это значит!

Говоря это, смирный и кроткий Андрей Иванович засверкал глазами; в голосе его послышалось раздражение оскорбленного чувства.

— Да хоть бы даже и в этом смысле,— что ж тут такого? — сказал Чичиков.

— Как? — сказал Тентетников, смотря пристально в глаза Чичикову.— Вы хотите, чтобы <я> продолжал бывать у него после такого поступка?

— Да какой же это поступок? это даже не поступок! — сказал Чичиков.

«Какой странный человек этот Чичиков!» — подумал про себя Тентетников.

«Какой странный человек этот Тентетников!» — подумал про себя Чичиков.

— Это не поступок, Андрей Иванович. Это просто генеральская привычка: они всем говорят *ты*. Да, впрочем, уж почему этого и не позволить заслуженному, почтенному человеку?

— Это другое дело,— сказал Тентетников.— Если бы он был старик, бедняк, не горд, не чванлив, не генерал, я бы тогда позволил ему говорить мне *ты* и принял бы даже почтительно.

«Он совсем дурак! — подумал про себя Чичиков.— Оборвышу позволить, а генералу не позволить!» И вслед за таким размышлением так возразил ему вслух:

— Хорошо; положим, он вас оскорбил, зато вы и поквитались с ним: он вам, и вы ему. Но расставаться навсегда из пустяка,— помилуйте, на что же это похоже? Как же оставлять дело, которое только что началось? Если уже избрана цель, так тут уже нужно идти напролом. Что глядеть на то, что человек плюется! Человек всегда плюется; да вы не отыщете теперь во всем свете такого, который бы не плевался.

Тентетников совершенно озадачился этими словами, оторопел, глядел в глаза Павлу Ивановичу и думал про себя: «Престранный, однако ж, человек этот Чичиков!»

«Какой, однако же, чудак этот Тентетников!» — думал между тем Чичиков.

— Позвольте мне как-нибудь обделать это дело,— сказал он вслух.— Я могу съездить к его превосходительству и объясню, что случилось это с вашей стороны по недоразумению, по молодости и незнанью людей и света.

— Подличать перед ним я не намерен! — сказал сильно Тентетников.

— Сохрани бог подличать! — сказал Чичиков и перекрестился.— Подействовать словом увещания, как благоразумный посредник, но подличать... Извините, Андрей Иванович, за мое доброе желанье и преданность, я даже не ожидал, чтобы слова <мои> принимали вы в таком обидном смысле!

— Простите, Павел Иванович, я виноват! — сказал тронутый Тентетников, схвативши признательно обе его руки.— Ваше доброе участие мне дорого, клянусь! Но оставим этот разговор, не будем больше никогда об этом говорить.

— В таком случае я поеду просто к генералу без причины,— сказал Чичиков.

— Зачем? — спросил Тентетников, в недоумении смотря на Чичикова.

— Засвидетельствовать почтенье,— сказал Чичиков.

«Какой странный человек этот Чичиков!» — подумал Тентетников.

«Какой странный человек этот Тентетников!» — подумал Чичиков.

— Так как моя бричка,— сказал Чичиков,— не пришла еще в надлежащее состояние, то позвольте мне взять у вас коляску. Я бы завтра же, эдак около десяти часов, к нему съездил.

— Помилуйте, что за просьба! Вы — полный господин, выбирайте какой хотите экипаж: всё в вашем распоряжении.

Они простились и разошлись спать, не без рассуждения о странностях друг друга.

Чудная, однако же, вещь: на другой день, когда подали Чичикову лошадей и вскочил он в коляску с легкостью почти военного человека, одетый в новый фрак, белый галстук и жилет, и покатился свидетельствовать почтение генералу, Тентетников пришел в такое волненье духа, какого давно не испытывал. Весь этот ржавый и дремлющий ход его мыслей превратился в деятельно-беспокойный. Возмущенье нервическое обуяло вдруг всеми чувствами доселе погруженного в беспечную лень байбака. То садился он на диван, то подходил к окну, то принимался за книгу, то хотел мыслить,— безуспешное хотенье! — мысль не лезла к нему в голову. То старался ни о чем не мыслить,— безуспешное старание! — отрывки чего-то похожего на мысли, концы и хвостики мыслей лезли и отовсюду наклевывались к нему в голову. «Странное состоянье!» — сказал он и придвинулся к окну глядеть на дорогу, прорезавшую дуброву, в конце которой еще курилась не успевшая улечься пыль, поднятая уехавшей коляской. Но оставим Тентетникова и последуем за Чичиковым.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

В полчаса с небольшим кони пронесли Чичикова чрез десятиверстное пространство — сначала дубровою, потом хлебами, начинавшими зелепеть посреди свежей орани, потом горной окраиной, с которой поминутно открывались виды на отдаленья,— и широкою аллеею раскидистых лип внесли его в генеральскую деревню. Аллея лип превратилась в аллею тополей, огороженных снизу плетеными коробками, и уперлась в чугунные сквозные ворота, сквозь которые глядел кудряво-великолепный резной фронтон генеральского дома, опиравшийся на восемь колонн с коринфскими капителями. Пахнуло повсюду масляной краской, которою беспрерывно обновлялося все, ничему не давая состареться. Двор чистотой подобен был паркету. Подкативши к подъезду, Чичиков с почтеньем соскочил на крыльцо, приказал о себе доложить и был введен прямо в кабинет к генералу.

Генерал поразил его величественной паружностью. Он был на ту пору в атласном малиновом халате. Открытый взгляд, лицо мужественное, бакенбарды и большие усы с проседью, стрижка низкая, а на затылке даже под гребенку, шея толстая, широкая, так называемая в три этажа или в три складки с трещиной поперек, голос — бас с некоторою охрипью, движения генеральские. Генерал Бетрищев, как и все мы грешные, был одарен многими достоинствами и многими недостатками. То и другое, как случается в русском человеке, было набросано в нем в каком-то картинном беспорядке. Самопожертвованье, великодушье в решительные минуты, храбрость, ум — и ко всему этому — изрядная подмесь себялюбья, честолюбья, самолюбия, мелочной щекотливости личной и многого того, без чего уже не обходится человек. Всех, которые ушли вперед его по службе, он не любил, выражался о них едко, в сардонических, колких эпиграммах. Всего больше доставалось от него его прежнему сотоварищу, которого считал он ниже себя и умом и способностями, и который, однако же, обогнал его и был уже генерал-губернатором двух губерний, и как нарочно тех, в которых находились его поместья, так что он очутился как бы в зависимости от него. В отместку язвил он его при всяком случае, критиковал всякое распоряженье и видел во всех мерах и действиях его верх неразумия. Несмотря на доброе сердце, генерал был насмешлив. Вообще говоря, он любил первенствовать, любил фимиам, любил блеснуть и похвастаться умом, любил знать то, чего другие не знают, и не любил тех людей, которые знают что-нибудь такое, чего он не знает. Воспитанный полуиностранным воспитаньем, он хотел сыграть в то же время роль русского барина. С такой неров-

ностью в характере, с такими крупными, яркими противуположностями, он должен был неминуемо встретить по службе кучу неприятностей, вследствие которых и вышел в отставку, обвиняя во всем какую-то враждебную партию и не имея великодушия обвинить в чем-либо себя самого. В отставке сохранил он ту же картинную, величавую осанку. В сертуке ли, во фраке ли, в халате — он был все тот же. От голоса до малейшего телодвиженья в нем все было властительное, повелевающее, внушавшее в низших чинах если не уважение, то, по крайней мере, робость.

Чичиков почувствовал то и другое: и уваженье и робость. Наклоня почтительно голову набок, начал он так:

— Счел долгом представиться вашему превосходительству. Питая уваженье к доблестям мужей, спасавших отечество на бранном поле, счел долгом представиться лично вашему превосходительству.

Генералу, как видно, не не понравился такой приступ. Сделавши весьма милостивое движенье головою, он сказал:

— Весьма рад познакомиться. Милости просим садиться. Вы где служили?

— Поприще службы моей,— сказал Чичиков, садясь в кресла не в середине, но наискось, и ухватившись рукою за ручку кресел,— началось в казенной палате, ваше превосходительство; дальнейшее же теченье оной продолжал в разных местах: был и в надворном суде, и в комиссии построения, и в таможне. Жизнь мою можно уподобить судну среди волн, ваше превосходительство. На терпенье, можно сказать, вырос, терпеньем воспоен, терпеньем спеленат, и сам, так сказать, не что другое, как одно терпенье. А уж сколько претерпел от врагов, так ни слова, ни краски не сумеют передать. Теперь же, на вечере, так сказать, жизни своей, ищу уголка, где бы провесть остаток дней. Приостановился же покуда у близкого соседа вашего превосходительства...

— У кого это?

— У Тентетникова, ваше превосходительство.

Генерал поморщился.

— Он, ваше превосходительство, весьма раскаивается в том, что не оказал должного уважения...

— К чему?

— К заслугам вашего превосходительства. Не находит слов. Говорит: «Если бы я только мог чему-нибудь... потому что, точно, говорит, умею ценить мужей, спасавших отечество»,— говорит.

— Помилуйте, что ж он?.. Да ведь я не сержусь! — сказал смягчившийся генерал.— В душе моей я искренно полюбил его и уверен, что со временем он будет преполезныи человек.

— Совершенно справедливо изволите выразиться, ваше пре-

восходительство, преполезный человек, обладает даром слова и владеет пером.

— Но пишет, я чай, пустяки, какие-нибудь стишки?

— Нет, ваше превосходительство, не пустяки...

— Что ж такое?

— Он пишет... историю, ваше превосходительство.

— Историю! о чем историю?

— Историю...— тут Чичиков остановился, и оттого ли, что перед ним сидел генерал, или просто чтобы придать более важности предмету, прибавил: — историю о генералах, ваше превосходительство.

— Как о генералах! о каких генералах?

— Вообще о генералах, ваше превосходительство, в общности... то есть, говоря собственно, об отечественных генералах,— сказал Чичиков, а сам подумал: «Чтой-то я за вздор такой несу!»

— Извините, я не очень понимаю... что ж это выходит, историю какого-нибудь времени, или отдельные биографии, и притом всех ли, или только участвовавших в двенадцатом году?

— Точно так, ваше превосходительство, участвовавших в двенадцатом году! — проговоривши это, он подумал в себе: «Хоть убей, не понимаю».

— Так что же он ко мне не приедет? Я бы мог собрать ему весьма много любопытных материалов.

— Не смеет, ваше превосходительство.

— Какой вздор! Из какого-нибудь пустого слова... Да я совсем не такой человек. Я, пожалуй, к нему сам готов приехать.

— Он к тому не допустит, он сам приедет,— сказал Чичиков, и в то же время подумал в себе: «Генералы пришлись, однако же, кстати; между тем ведь язык совершенно взболтнул сдуру».

В кабинете послышался шорох. Ореховая дверь резного шкафа отворилась сама собою. На обратной половине растворенной двери, ухватившись чудесной рукой за ручку двери, явилась живая фигурка. Если бы в темной комнате вдруг вспыхнула прозрачная картина, освещенная сзади лампою, она бы не поразила так, как эта сиявшая жизнью фигурка, которая точно предстала затем, чтобы осветить комнату. Казалось, как бы вместе с нею влетел солнечный луч в комнату, озаривши вдруг потолок, карниз и темные углы ее. Она казалась блистающего роста. Это было обольщенье; происходило это от необыкновенной стройности и гармонического соотношенья между собой всех частей тела, от головы до пальчиков. Одноцветное платье, на ней наброшенное, было наброшено с таким <вкусом>, что казалось, швеи столиц делали совещанье между собой, как бы получше убрать ее. Это был обман. Оделась она кое-как, сама собой; в двух, трех местах схватила не-

изрезанный кусок ткани, и он прильнул и расположился вокруг нее в таких складках, что ваятель перенес бы их тотчас же на мрамор, и барышни, одетые по моде, все казались перед ней какими-то пеструшками. Несмотря на то что Чичикову почти знакомо было лицо ее по рисункам Андрея Ивановича, он смотрел на нее, как оторопелый, и после, уже очнувшись, заметил, что у ней был существенный недостаток, именно — недостаток толщины.

— Рекомендую вам мою баловницу! — сказал генерал, обратясь к Чичикову.— Однако ж, я вашего имени и отчества до сих пор не знаю.

— Впрочем, должно ли быть знаемо имя и отчество человека, не ознаменовавшего себя доблестями? — сказал Чичиков.

— Все же, однако ж, нужно знать...

— Павел Иванович, ваше превосходительство,— проговорил Чичиков, с легким наклоном головы набок.

— Улинька! Павел Иванович сейчас сказал преинтересную новость. Сосед наш Тентетников совсем не такой глупый человек, как мы полагали. Он занимается довольно важным делом: историей генералов двенадцатого года.

Улинька вдруг как бы вспыхнула и оживилась.

— Да кто же думал, что он глупый человек? — проговорила она быстро.— Это мог думать разве один только Вишнепокромов, которому ты веришь, папа, который и пустой и низкий человек!

— Зачем же низкий? Он пустоват, это правда,— сказал генерал.

— Он подловат и гадковат, не только что пустоват,— подхватила живо Улинька.— Кто так обидел своих братьев и выгнал из дому родную сестру, тот гадкий человек...

— Да ведь это рассказывают только.

— Рассказывать не будут напрасно. У тебя, отец, добрейшая душа и редкое сердце, но ты поступаешь так, что иной подумает о тебе совсем другое. Ты будешь принимать человека, о котором сам знаешь, что он дурен, потому что он только краснобай и мастер перед тобой увиваться.

— Душа моя! ведь мне ж не прогнать его,— сказал генерал.

— Зачем прогонять, но зачем и любить?!

— А вот и нет, ваше превосходительство,— сказал Чичиков Улиньке, с легким наклоном головы, с приятной улыбкой.— По христианству именно таких мы должны любить.

И тут же, обратясь к генералу, сказал с улыбкой, уже несколько плутоватой:

— Изволили ли, ваше превосходительство, слышать когда-нибудь о том, что такое — «полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит»?

— Нет, не слыхал.

— А это преказусный анекдот,— сказал Чичиков с плутоватой улыбкой.— В имении, ваше превосходительство, у князя Гукзовского, которого, без сомнения, ваше превосходительство, изволите знать...

— Не знаю.

— Был управитель, ваше превосходительство, из немцев, молодой человек. По случаю поставки рекрут и прочего имел он надобность приезжать в город и, разумеется, подмазывать судейских.— Тут Чичиков, прищуря глаз, выразил в лице своем, как подмазываются судейские.— Впрочем, и они тоже полюбили, угощали его. Вот как-то один раз у них на обеде говорит он: «Что ж, господа, когда-нибудь и ко мне, в имение к князю». Говорят: «Приедем». Скоро после того случилось выехать суду на следствие, по делу, случившемуся во владениях графа Трехметьева, которого, ваше превосходительство, без сомнения, тоже изволите знать.

— Не знаю.

— Самого-то следствия они не делали, а всем судом заворотили на экономический двор, к старику, графскому эконому, да три дня и три ночи без просыпу — в карты. Самовар и пунш, разумеется, со стола не сходят. Старику-то они уж и надоели. Чтобы как-нибудь от них отделаться, он и говорит: «Вы бы, господа, заехали к княжому управителю немцу: он недалеко отсюда и вас ждет».— «А и в самом деле»,— говорят, и сполупьяна, небритые и заспанные, как были, на телеги да к немцу... А немец, ваше превосходительство, надобно знать, в это время только что женился. Женился на институтке, молоденькой, субтильной (Чичиков выразил в лице своем субтильность). Сидят они двое за чаем, ни о чем не думая, вдруг отворяются двери — и ввалилось сонмище.

— Воображаю — хороши! — сказал генерал, смеясь.

— Управитель так и оторопел, говорит: «Что вам угодно?» — «А! говорят, так вот ты как!» И вдруг, с этим словом, перемена лиц и физиогномии... «За делом! Сколько вина выкуривается по именью? Покажите книги!» Тот сюды-туды. «Эй, понятых!» Взяли, связали, да в город, да полтора года и просидел немец в тюрьме.

— Вот на!— сказал генерал.

Улинька всплеснула руками.

— Жена — хлопотать! — продолжал Чичиков.— Ну, что ж может какая-нибудь неопытная молодая женщина? Спасибо, что случились добрые люди, которые посоветовали пойти на мировую. Отделался он двумя тысячами да угостительным обедом. И на обеде, когда все уже развеселились, и он также, вот и говорят они ему: «Не стыдно ли тебе так поступить с нами? Ты все бы хотел

нас видеть прибранными, да выбритыми, да во фраках. Нет, *ты полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит».*

Генерал расхохотался; болезненно застонала Улинька.

— Я не понимаю, папа, как ты можешь смеяться! — сказала она быстро. Гнев отемнил прекрасный лоб ее...— Бесчестнейший поступок, за который я не знаю, куды бы их следовало всех услать...

— Друг мой, я их ничуть не оправдываю,— сказал генерал,— но что ж делать, если смешно? Как бишь: «полюби нас беленькими»?..

— Черненькими, ваше превосходительство,— подхватил Чичиков.

— Полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит. Ха, ха, ха, ха!

И туловище генерала стало колебаться от смеха. Плечи, носившие некогда густые эполеты, тряслись, точно как бы носили и поныне густые эполеты.

Чичиков разрешился тоже междуиметием смеха, но, из уважения к генералу, пустил его на букву э: хе, хе, хе, хе, хе! И туловище его также стало колебаться от смеха, хотя плечи и не тряслись, потому что не носили густых эполет.

— Воображаю, хорош был небритый суд! — говорил генерал, продолжая смеяться.

— Да, ваше превосходительство, как бы то ни было... без просыпу... трехдневное бдение — тот же пост: поизнурились, поизнурились,— говорил Чичиков, продолжая смеяться.

Улинька опустилась в кресла и закрыла рукой прекрасные глаза; как бы досадуя на то, что не с кем было поделиться негодованием, сказала она:

— Я не знаю, меня только берет одна досада.

В самом деле, необыкновенно странны были своею противуположностью те чувства, которые родились в сердцах троих беседовавших людей. Одному была смешна неповоротливая ненаходчивость немца. Другому смешно было оттого, что смешно изворотились плуты. Третьему было грустно, что безнаказанно совершился несправедливый поступок. Не было только четвертого, который бы задумался именно над этими словами, произведшими смех в одном и грусть в другом. Что значит, однако же, что и в паденье своем гибнущий грязный человек требует любви к себе? Животный ли инстинкт это? или слабый крик души, заглушенной тяжелым гнетом подлых страстей, еще пробивающийся сквозь деревенеющую кору мерзостей, еще вопиющий: «Брат, спаси!» Не было четвертого, которому бы тяжелей всего была погибающая душа его брата.

«Мертвые души»

Худ. А. Лаптев

— Я не знаю,— говорила Улинька, отнимая от лица руку,— меня одна только досада берет.

— Только, пожалуйста, не гневайся на нас,— сказал генерал.— Мы тут ни в чем не виноваты. Поцелуй меня и уходи к себе, потому что я сейчас буду одеваться к обеду. Ведь ты,— сказал генерал, вдруг обратясь к Чичикову,— обедаешь у меня?

— Если только ваше превосходительство...

— Без церемонии. Щи есть!

Чичиков приятно наклонил голову, и, когда приподнял потом ее вверх, он уже не увидал Улиньки. Она исчезнула. Наместо ее предстал, в густых усах и бакенбардах, великан-камердинер, с серебряной лоханкой и рукомойником в руках.

— Ты мне позволишь одеваться при себе? — сказал генерал, скидая халат и засучивая рукава рубашки на богатырских руках.

— Помилуйте, не только одеваться, но можете совершать при мне все, что угодно вашему превосходительству,— сказал Чичиков.

Генерал стал умываться, брызгаясь и фыркая, как утка. Вода с мылом летела во все стороны.

— Как бишь? — сказал он, вытирая со всех сторон свою толстую шею,— полюби нас беленькими?..

— Черненькими, ваше превосходительство.

— Полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит. Очень, очень хорошо!

Чичиков был в духе необыкновенном; он чувствовал какое-то вдохновенье.

— Ваше превосходительство! — сказал он.

— Что? — сказал генерал.

— Есть еще одна история.

— Какая?

— История тоже смешная, но мне-то от ней не смешно. Даже так, что если ваше превосходительство...

— Как так?

— Да вот, ваше превосходительство, как!..— Тут Чичиков осмотрелся и, увидя, что камердинер с лоханкою вышел, начал так: — Есть у меня дядя, дряхлый старик. У него триста душ и, кроме меня, наследников никого. Сам управлять именьем, по дряхлости, не может, а мне не передает тоже. И какой странный приводит резон: «Я, говорит, племянника не знаю; может быть, он мот. Пусть он докажет мне, что он надежный человек, пусть приобретет прежде сам собой триста душ, тогда я ему отдам и свои триста душ».

— Какой дурак!

— Справедливо изволили заметить, ваше превосходительство. Но представьте же теперь мое положение...— Тут Чичиков, пони-

зивши голос, стал говорить как бы по секрету: — У него в доме, ваше превосходительство, есть ключница, а у ключницы дети. Того и смотри, все перейдет им.

— Выжил глупый старик из ума, и больше ничего,— сказал генерал.— Только я не вижу, чем тут я могу пособить.

— Я придумал вот что. Теперь, покуда новые ревижские сказки не поданы, у помещиков больших имений наберется немало, наряду с душами живыми, отбывших и умерших... Так, если, например, ваше превосходительство передадите мне их в таком виде, как бы они были живые, с совершением купчей крепости, я бы тогда эту крепость представил старику, и он, как ни вертись, а наследство бы мне отдал.

Тут генерал разразился таким смехом, каким вряд ли когда смеялся человек: как был, так и повалился он в кресла; голову забросил назад и чуть не захлебнулся. Весь дом встревожился. Предстал камердинер. Дочь прибежала в испуге.

— Папа, что с тобой случилось?

— Ничего, мой друг. Ха, ха, ха! Ступай к себе, мы сейчас явимся обедать. Ха, ха, ха!

И несколько раз задохнувшись, вырывался с новою силою генеральский хохот, раздаваясь от передней до последней комнаты в высоких звонких генеральских покоях.

Чичиков с беспокойством ожидал конца этому необыкновенному смеху.

— Ну, брат, извини: тебя сам черт угораздил на такую штуку. Ха, ха, ха! Попотчевать старика, подсунуть ему мертвых! Ха, ха, ха, ха! Дядя-то, дядя! В каких дураках дядя! Ха, ха, ха, ха!

Положение Чичикова было конфузное: тут же стоял камердинер, разинувши рот и выпуча глаза.

— Ваше превосходительство, ведь смех этот выдумали слезы,— сказал он.

— Извини, брат! Ну, уморил. Да я бы пятьсот тысяч дал за то только, чтобы посмотреть на твоего дядю в то время, как ты поднесешь ему купчую на мертвые души. Да что, он слишком стар? Сколько ему лет?

— Восемьдесят лет, ваше превосходительство. Но это келейное, я бы... чтобы...— Чичиков посмотрел значительно в лицо генерала и в то же время искоса на камердинера.

— Поди вон, братец. Придешь после,— сказал генерал камердинеру. Усач удалился.

— Да, ваше превосходительство... Это, ваше превосходительство, дело такое, что я бы хотел его подержать в секрете...

— Разумеется, я это очень понимаю. Экой дурак старик! Ведь

придет же в восемьдесят лет этакая дурь в голову! Да что, он с виду как? бодр? держится еще на ногах?

— Держится, но с трудом.

— Экой дурак! И зубы есть?

— Два зуба всего, ваше превосходительство.

— Экой осел! Ты, братец, не сердись... а ведь он осел...

— Точно так, ваше превосходительство. Хоть он мне и родственник, и тяжело сознаваться в этом, но действительно — осел.

Впрочем, как читатель может смекнуть и сам, Чичикову не тяжело было в этом сознаться, тем более что вряд ли у него был когда-либо какой дядя.

— Так если, ваше превосходительство, будете уже так добры...

— Чтобы отдать тебе мертвых душ? Да за такую выдумку я их тебе с землей, с жильем! Возьми себе все кладбище! Ха, ха, ха, ха! Старик-то, старик! Ха, ха, ха, ха! В каких дураках! Ха, ха, ха, ха!

И генеральский смех пошел отдаваться вновь по генеральским покоям [1].

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

«Нет, я не так,— говорил Чичиков, очутившись опять посреди открытых полей и пространств,— нет, я не так распоряжусь. Как только, даст бог, все покончу благополучно и сделаюсь действительно состоятельным, зажиточным человеком, я поступлю тогда совсем иначе: будет у меня и повар, и дом, как полная чаша, но будет и хозяйственная часть в порядке. Концы сведутся с концами, да понемножку всякий год будет откладываться сумма и для потомства, если только бог пошлет жене плодородье...» — Эй ты — дурачина!

Селифан и Петрушка оглянулись оба с козел.

— А куда ты едешь?

— Да так изволили приказывать, Павел Иванович,— к полковнику Кошкареву,— сказал Селифан.

— А дорогу расспросил?

— Я, Павел Иванович, изволите видеть, так как все хлопотал около коляски, так оно-с... генеральского конюха только видел... А Петрушка расспрашивал у кучера.

[1] Окончание главы отсутствует. В первом издании второго тома «Мертвых душ» (1855) имеется примечание: «Здесь пропущено примирение генерала Бетрищева с Тентетниковым; обед у генерала и беседа их о двенадцатом годе; помолвка Улиньки за Тентетниковым; молитва ее и плач на гробе матери; беседа помолвленных в саду. Чичиков отправляется, по поручению генерала Бетрищева, к родственникам его, для извещения о помолвке дочери, и едет к одному из этих родственников, полковнику Кошкареву».— *Ред.*

— Вот и дурак! На Петрушку, сказано, не полагаться: Петрушка бревно.

— Ведь тут не мудрость какая,— сказал Петрушка, глядя искоса,— окроме того, что, спустясь с горы, взять попрямей, ничего больше и нет.

— А ты, окроме сивухи, ничего больше, чай, и в рот не брал? Чай, и теперь налимонился?

Увидя, что речь повернула вона в какую сторону, Петрушка закрутил только носом. Хотел он было сказать, что даже и не пробовал, да уж как-то и самому стало стыдно.

— В коляске-с хорошо-с ехать,— сказал Селифан, оборотившись.

— Что?

— Говорю, Павел Иванович, что в коляске-де вашей милости хорошо-с ехать, получше-с, как в бричке — не трясет.

— Пошел, пошел! Тебя ведь не спрашивают об этом.

Селифан хлыснул слегка бичом по крутым бокам лошадей и поворотил речь к Петрушке:

— Слышь, мужика Кошкарев барин одел, говорят, как немца: поодаль и не распознаешь,— выступает по-журавлиному, как немец. И на бабе не то чтобы платок, как бывает, пирогом или кокошник на голове, а немецкий капор такой, как немки ходят, знашь, в капорах,— так капор называется, знашь, капор. Немецкий такой капор.

— А тебя как бы нарядить немцем да в капор! — сказал Петрушка, острясь над Селифаном и ухмыльнувшись. Но что за рожа вышла из этой усмешки! И подобья не было на усмешку, а точно как бы человек, доставши себе в нос насморк и силясь при насморке чихнуть, не чихнул, но так и остался в положенье человека, собирающегося чихнуть.

Чичиков заглянул из-под низа ему в рожу, желая знать, что там делается, и сказал: «Хорош! а еще воображает, что красавец!» Надобно сказать, что Павел Иванович был сурьезно уверен в том, что Петрушка влюблен в красоту свою, тогда как последний временами позабывал, есть ли у него даже вовсе рожа.

— Вот как бы догадались было, Павел Иванович,— сказал Селифан, оборотившись с козел,— чтобы выпросить у Андрея Ивановича другого коня, в обмен на чубарого; он бы, по дружественному расположению к вам, не отказал бы, а это конь-с, право, подлец-лошадь и помеха.

— Пошел, пошел, не болтай! — сказал Чичиков и про себя подумал: «В самом деле, напрасно я не догадался».

Легким ходом неслась тем временем легкая на ходу коляска. Легко подымалась и вверх, хотя подчас и неровна была дорога;

легко опускалась и под гору, хотя и беспокойны были спуски проселочных дорог. С горы спустились. Дорога шла лугами через извивы реки, мимо мельниц. Вдали мелькали пески, выступали картинно одна из-за другой осиновые рощи; быстро пролетали мимо их кусты лоз, тонкие ольхи и серебристые тополи, ударявшие ветвями сидевших на козлах Селифана и Петрушку. С последнего ежеминутно сбрасывали они картуз. Суровый служитель соскакивал с козел, бранил глупое дерево и хозяина, который насадил его, но привязать картуза или даже придержать рукою не догадался, все надеясь на то, что авось дальше не случится. Деревья же становились гуще: к осинам и ольхам начала присоединяться береза, и скоро образовалась вокруг лесная гущина. Свет солнца сокрылся. Затемнели сосны и ели. Непробудный мрак бесконечного леса сгущался и, казалось, готовился превратиться в ночь. И вдруг промеж дерев — свет, там и там промеж ветвей и пней, точно живое серебро или зеркала. Лес стал освещаться, деревья редеть, послышались крики — и вдруг перед ними озеро. Водная равнина версты четыре в поперечнике, вокруг дерева́, позади их избы. Человек двадцать, по пояс, по плеча и по горло в воде, тянули к супротивному берегу невод. Посреди их плавал проворно, кричал и хлопотал за всех человек, почти такой же меры в вышину, как и в толщину, круглый кругом, точный арбуз. По причине толщины, он уже не мог ни в каком случае потонуть и как бы ни кувыркался, желая нырнуть, вода бы его все выносила наверх; и если бы село к нему на спину еще двое человек, он бы, как упрямый пузырь, остался с ними на верхушке воды, слегка только под ними покряхтывал да пускал носом и ртом пузыри.

— Этот, Павел Иванович,— сказал Селифан, оборотясь с козел,— должен быть барин, полковник Кошкарев.

— Отчего?

— Оттого, что тело у него, изволите видеть, побелей, чем у других, и дородство почтительное, как у барина.

Крики между тем становились явственней. Скороговоркой и звонко выкрикивал барин-арбуз:

— Передавай, передавай, Денис, Козьме! Козьма, бери хвост у Дениса! Фома Большой, напирай туды же, где и Фома Меньшой! Заходи справа, справа заходи! Стой, стой, черт вас побери обоих! Запутали меня самого в невод! Зацепили, говорю, проклятые, зацепили за пуп.

Влачители правого крыла остановились, увидя, что действительно случилась непредвиденная оказия: барин запутался в сети.

— Вишь ты,— сказал Селифан Петрушке,— потащили барина, как рыбу.

Барин барахтался и, желая выпутаться, перевернулся на спи-

ну, брюхом вверх, запутавшись еще в сетку. Боясь оборвать сеть, плыл он вместе с пойманною рыбою, приказавши себя перехватить только впоперек веревкой. Перевязавши его веревкой, бросили конец ее на берег. Человек с двадцать рыбаков, стоявших на берегу, подхватили конец и стали бережно тащить его. Добравшись до мелкого места, барин стал на ноги, покрытый клетками сети, как в летнее время дамская ручка под сквозной перчаткой,— взглянул вверх и увидел гостя, в коляске въезжавшего на плотину. Увидя гостя, кивнул он головой. Чичиков снял картуз и учтиво раскланялся с коляски.

— Обедали? — закричал барин, подходя с пойманною рыбою на берег, держа одну руку над глазами козырьком в защиту от солнца, другую же пониже — на манер Венеры Медицейской, выходящей из бани.

— Нет,— сказал Чичиков.

— Ну, так благодарите же бога.

— А что? — спросил Чичиков любопытно, держа над головою картуз.

— А вот что! — сказал барин, очутившийся на берегу вместе с коропами и карасями, которые бились у ног его и прыгали на аршин от земли.— Это ничего, на это не глядите; а вот штука, вон где!.. А покажите-ка, Фома Большой, осетра.— Два здоровых мужика вытащили из кадушки какое-то чудовище.— Каков князек? из реки зашел!

— Да это целый князь! — сказал Чичиков.

— Вот то-то же. Поезжайте-ка вы теперь вперед, а я за вами. Кучер, ты, братец, возьми дорогу пониже, через огород. Побеги, телепень Фома Меньшой, снять перегородку. А я за вами — как тут, прежде чем успеете оглянуться.

«Полковник чудаковат»,— подумал <Чичиков>, проехавши наконец бесконечную плотину и подъезжая к избам, из которых одни, подобно стаду уток, рассыпались по косогору возвышенья, а другие стояли внизу на сваях, как цапли. Сети, невода, бредни развешаны были повсюду. Фома Меньшой снял перегородку, коляска проехала огородом и очутилась на площади возле устаревшей деревянной церкви. За церковью, подальше, видны были крыши господских строений.

— А вот я и здесь! — раздался голос сбоку. Чичиков оглянулся. Барин уже ехал возле него, одетый, на дрожках — травяно-зеленый нанковый сюртук, желтые штаны и шея без галстука, на манер купидона! Боком сидел он на дрожках, занявши собою все дрожки. Чичиков хотел было что-то сказать ему, но толстяк уже исчез. Дрожки показались на другой стороне и только слы-

шался голос: «Щуку и семь карасей отнесите повару-телепню, а осетра подавай сюда: я его свезу сам на дрожках». Раздались снова голоса: «Фома Большой да Фома Меньшой! Козьма да Денис!» Когда же подъехал он к крыльцу дома, к величайшему изумленью его, толстый барин был уже на крыльце и принял его в свои объятья. Как он успел так слетать, было непостижимо. Они поцеловались троекратно навкрест.

— Я привез вам поклон от его превосходительства,— сказал Чичиков.

— От какого превосходительства?

— От родственника вашего, от генерала Александра Дмитриевича.

— Кто это Александр Дмитриевич?

— Генерал Бетрищев,— отвечал Чичиков с некоторым изумлением.

— Не знаю-с, незнаком.

Чичиков пришел еще в большее изумление.

— Как же это?.. Я надеюсь, по крайней мере, что имею удовольствие говорить с полковником Кошкаревым?

— Петр Петрович Петух, Петух Петр Петрович! — подхватил хозяин.

Чичиков остолбенел.

— Вот тебе на! Как же вы, дураки,— сказал он, оборотившись к Селифану и Петрушке, которые оба разинули рты и выпучили глаза, один сидя на козлах, другой стоя у дверец коляски,— как же вы, дураки? Ведь вам сказано — к полковнику Кошкареву... А ведь это Петр Петрович Петух...

— Ребята сделали отлично! — сказал Петр Петрович.— За это вам по чапорухе водки и кулебяка в придачу. Откладывайте коней и ступайте сей же час в людскую!

— Я совещусь,— говорил Чичиков, раскланиваясь,— такая неожиданная ошибка...

— Не ошибка,— живо проговорил Петр Петрович Петух,— не ошибка. Вы прежде попробуйте, каков обед, да потом скажете: ошибка ли это? Покорнейше прошу,— сказал <он>, взявши Чичикова под руку и вводя его во внутренние покои.

Чичиков, чинясь, проходил в дверь боком, чтоб дать и хозяину пройти с ним вместе; но это было напрасно: хозяин бы не прошел, да его уж и не было. Слышно было только, как раздавались его речи по двору: «Да что ж Фома Большой? Зачем он до сих пор не здесь? Ротозей Емельян, беги к повару-телепню, чтобы потрошил поскорей осетра. Молоки, икру, потроха и лещей в уху, а карасей — в соус. Да раки, раки! Ротозей Фома Меньшой, где же раки? раки, говорю, раки?!» И долго раздавалися всё — раки да раки.

— Ну, хозяин захлопотался,— сказал Чичиков, садясь в кресла и осматривая углы и стены.

— А вот я и здесь,— сказал, входя, хозяин и ведя за собой двух юношей, в летних сюртуках. Тонкие, точно ивовые хлысты, выгнало их вверх почти на целый аршин выше Петра Петровича.

— Сыны мои, гимназисты. Приехали на праздники. Николаша, ты побудь с гостем, а ты, Алексаша, ступай за мной.

И снова исчезнул Петр Петрович Петух.

Чичиков занялся с Николашей. Николаша был говорлив. Он рассказал, что у них в гимназии не очень хорошо учат, что больше благоволят к тем, которых маменьки шлют побогаче подарки, что в городе стоит Ингерманландский гусарский полк; что у ротмистра Ветвицкого лучше лошадь, нежели у самого полковника, хотя поручик Взъемцев ездит гораздо его почище.

— А что, в каком состоянье имение вашего батюшки? — спросил Чичиков.

— Заложено,— сказал на это сам батюшка, снова очутившийся в гостиной,— заложено.

Чичикову осталось сделать то же самое движенье губами, которое делает человек, как дело идет на нуль и оканчивается ничем.

— Зачем же вы заложили? — спросил он.

— Да так. Все пошли закладывать, так зачем же отставать от других? Говорят, выгодно. Притом же все жил здесь, дай-ка еще попробую прожить в Москве.

«Дурак, дурак! — думал Чичиков,— промотает все, да и детей сделает мотишками. Оставался бы себе, кулебяка, в деревне».

— А ведь я знаю, что вы думаете,— сказал Петух.

— Что? — спросил Чичиков, смутившись.

— Вы думаете: «Дурак, дурак этот Петух! зазвал обедать, а обеда до сих пор нет». Будет готов, почтеннейший. Не успеет стриженая девка косы заплесть, как он поспеет.

— Батюшка, Платон Михалыч едет! — сказал Алексаша, глядя в окно.

— Верхом на гнедой лошади! — подхватил Николаша, нагибаясь к окну.— Ты думаешь, Алексаша, наш чагравый хуже его?

— Хуже не хуже, но выступка не такая.

Между ними завязался спор о гнедом и чагравом. Между тем вошел в комнату красавец — стройного роста, светло-русые блестящие кудри и темные глаза. Гремя медным ошейником, мордатый пес, собака-страшилище, вошел вослед за ним.

— Обедали? — спросил Петр Петрович Петух.

— Обедал,— сказал гость.

— Что ж вы, смеяться, что ли, надо мной приехали? — сказал, сердясь, Петух.— Что мне в вас после обеда?

— Впрочем, Петр Петрович,— сказал гость, усмехнувшись,— могу вас утешить тем, что ничего не ел за обедом: совсем нет аппетита.

— А каков был улов, если б вы видели! Какой осетрище пожаловал! Карасей и не считали.

— Даже завидно вас слушать,— сказал гость.— Научите меня быть так же веселым, как вы.

— Да от<чего> же скучать? помилуйте! — сказал хозяин.

— Как отчего скучать? — оттого, что скучно.

— Мало едите, вот и все. Попробуйте-ка хорошенько пообедать. Ведь это в последнее время выдумали скуку. Прежде никто не скучал.

— Да полно хвастать! Будто уж вы никогда не скучали?

— Никогда! Да и не знаю, даже и времени нет для скучанья. Поутру проснешься — ведь нужно пить чай, и тут ведь приказчик, а тут и на рыбную ловлю, а тут и обед. После обеда не успеешь всхрапнуть, а тут и ужин, а после пришел повар — заказывать нужно на завтра обед. Когда же скучать?

Во все время разговора Чичиков рассматривал гостя.

Платон Михалыч Платонов был Ахиллес и Парид[1] вместе: стройное сложение, картинный рост, свежесть — все было собрано в нем. Приятная усмешка с легким выраженьем иронии как бы еще усиливала его красоту. Но, несмотря на все это, было в нем что-то неоживленное и сонное. Страсти, печали и потрясения не навели морщины на девственное, свежее его лицо, но с тем вместе и не оживили его.

— Признаюсь, я тоже,— произнес Чичиков,— не могу понять, если позволите так заметить, не могу понять, как при такой наружности, как ваша, скучать. Конечно, могут быть причины другие: недостача денег, притесненья от каких-нибудь злоумышленников, как есть иногда такие, которые готовы покуситься даже на самую жизнь.

— В том-то <и дело>, что ничего этого нет,— сказал Платонов.— Поверите ли, что иной раз я бы хотел, чтобы это было, чтобы была какая-нибудь тревога и волненья. Ну, хоть бы просто рассердил меня кто-нибудь. Но нет! Скучно — да и только.

— Не понимаю. Но, может быть, именье у вас недостаточное, малое количество душ?

— Ничуть, у нас с братом земли на десять тысяч десятин и при них тысяча душ крестьян.

— И при этом скучать. Непонятно! Но, может быть, именье в беспорядке? были неурожаи, много людей вымерло?

---

[1] Так в рукописи. Следует: Парис.— *Ред.*

— Напротив, всё в наилучшем порядке, и брат мой отличнейший хозяин.

— Не понимаю! — сказал Чичиков и пожал плечами.

— А вот мы скуку сейчас прогоним,— сказал хозяин.— Бежи, Алексаша, проворней на кухню и скажи повару, чтобы поскорей прислал нам расстегайчиков. Да где ж ротозей Емельян и вор Антошка? Зачем не дают закуски?

Но дверь растворилась. Ротозей Емельян и вор Антошка явились с салфетками, накрыли стол, поставили поднос с шестью графинами разноцветных настоек. Скоро вокруг подносов и графинов обстановилось ожерелье тарелок — икра, сыры, соленые грузди, опенки, да новые приносы из кухни чего-то в закрытых тарелках, сквозь которые слышно было ворчавшее масло. Ротозей Емельян и вор Антошка были народ хороший и расторопный. Названья эти хозяин давал только потому, что без прозвищ все как-то выходило пресно, а он пресного не любил; сам был добр душой, но словцо любил пряное. Впрочем, и люди за это не сердились.

Закуске последовал обед. Здесь добродушный хозяин сделался совершенным разбойником. Чуть замечал у кого один кусок, подкладывал ему тут же другой, приговаривая: «Без пары ни человек, ни птица не могут жить на свете». Съедал гость два — подваливал ему третий, приговаривая: «Что ж за число два? Бог любит троицу». Съедал гость три — он ему: «Где ж бывает телега о трех колесах? Кто ж строит избу о трех углах?» На четыре у него была опять поговорка, на пять — тоже. Чичиков съел чего-то чуть ли не двенадцать ломтей и думал: «Ну, теперь ничего не приберет больше хозяин». Не тут-то было: хозяин, не говоря ни слова, положил ему на тарелку хребтовую часть теленка, жаренного на вертеле, лучшую часть, какая ни была, с почками, да и какого теленка!

— Два года воспитывал на молоке,— сказал хозяин,— ухаживал, как за сыном!

— Не могу! — сказал Чичиков.

— Да вы попробуйте, да потом скажите: не могу!

— Не взойдет. Нет места.

— Да ведь и в церкви не было места. Взошел городничий — нашлось. А ведь была такая давка, что и яблоку негде было упасть. Вы только попробуйте: этот кусок — тот же городничий.

Попробовал Чичиков — действительно, кусок был вроде городничего. Нашлось ему место, а казалось, ничего нельзя было поместить.

С винами была тоже история. Получивши деньги из ломбарда, Петр Петрович запасся провизией на десять лет вперед. Он то и дело подливал да подливал; чего ж не допивали гости, давал допить Алексаше и Николаше, которые так и хлопали рюмка за рюмкой,

а встали из-за стола — как бы ни в чем не бывали, точно выпили по стакану воды. С гостьми было не то: в силу, в силу перетащились они на балкон и в силу поместились в креслах. Хозяин как сел в свое, какое-то четырехместное, так тут же и заснул. Тучная собственность его превратилась в кузнецкий мех. Через открытый рот и носовые поздри начала она издавать какие-то звуки, какие не бывают и в новой музыке. Тут было все — и барабан, и флейта, и какой-то отрывистый звук, точно собачий лай.

— Эк его насвистывает! — сказал Платонов.

Чичиков рассмеялся.

— Разумеется, если этак пообедать,— заговорил Платонов,— как тут прийти скуке! тут сон придет.

— Да,— говорил Чичиков лениво. Глазки стали у него необыкновенно маленькие.— А все-таки, однако ж, извините, не могу понять, как можно скучать. Против скуки есть так много средств.

— Какие же?

— Да мало ли для молодого человека! Можно танцевать, играть на каком-нибудь инструменте... а не то — жениться.

— На ком? скажите.

— Да будто в окружности нет хороших и богатых невест?

— Да нет.

— Ну, поискать в других местах, поездить.— Тут богатая мысль сверкнула в голове Чичикова, глаза его стали побольше.— Да вот прекрасное средство! — сказал он, глядя в глаза Платонову.

— Какое?

— Путешествие.

— Куды ж ехать?

— Да если вам свободно, так поедем со мной,— сказал Чичиков и подумал про себя, глядя на Платонова: «А это было бы хорошо: тогда бы можно издержки пополам, а подчинку коляски отнести вовсе на его счет».

— А вы куда едете?

— Да как сказать — куда? Еду я покуда не столько по своей надобности, сколько по надобности другого. Генерал Бетрищев, близкий приятель и, можно сказать, благотворитель, просил навестить родственников... Конечно, родственники родственниками, но отчасти, так сказать, и для самого себя; ибо видеть свет, коловращенье людей — кто что ни говори, есть как бы живая книга, вторая наука.

Платонов задумался.

Чичиков между тем так помышлял: «Право, было <бы> хорошо! Можно даже и так, что все издержки будут на его счет.

Можно даже сделать и так, чтобы отправиться на его лошадях, а мои покормятся у него в деревне. Для сбереженья можно и коляску оставить у него в деревне, а в дорогу взять его коляску».

«Что ж? почему ж не проездиться? — думал между тем Платонов.— Авось-либо будет повеселее. Дома же мне делать нечего, хозяйство и без того на руках у брата; стало быть, расстройства никакого. Почему ж, в самом деле не проездиться?»

— А согласны ли вы,— сказал он вслух,— погостить у брата денька два? Иначе он меня не отпустит.

— С большим удовольствием! Хоть три.

— Ну, если так — по рукам! Едем! — сказал, оживляясь, Платонов.

— Браво! — сказал Чичиков, хлопнув по руке его.— Едем!

— Куда? куда? — воскликнул хозяин, проснувшись и выпуча на них глаза.— Нет, государи, и колеса приказано снять с вашей коляски, а ваш жеребец, Платон Михайлыч, отсюда теперь за пятнадцать верст. Нет, вот вы сегодня переночуйте, а завтра после раннего обеда и поезжайте себе.

«Вот тебе на!» — подумал Чичиков. Платонов ничего на это не сказал, зная, что Петух держался обычаев своих крепко. Нужно было остаться.

Зато награждены они были удивительным весенним вечером. Хозяин устроил гулянье на реке. Двенадцать гребцов, в двадцать четыре весла, с песнями, понесли их по гладкому хребту зеркального озера. Из озера они пронеслись в реку, беспредельную, с пологими берегами по обе стороны. Хоть бы струйкой шевельнулись воды. На катере они пили с калачами чай, подходя ежеминутно под протянутые впоперек реки канаты для ловли рыбы снастью. Еще до чаю <хозяин> успел раздеться и выпрыгнуть в реку, где барахтался и шумел с полчаса с рыбаками, покрикивая на Фому Большого и Кузьму, и, накричавшись, нахлопотавшись, намерзнувшись в воде, очутился на катере с аппетитом и так пил чай, что было завидно. Тем временем солнце зашло. Осталась небесная ясность. Крики отдавались звонче. Наместо рыбаков показались повсюду у берегов группы купающихся ребятишек: хлопанье по воде, смех отдавались далече. Гребцы, хвативши разом в двадцать четыре весла, подымали вдруг все весла вверх, и катер сам собой, как легкая птица, стремился по недвижной зеркальной поверхности. Здоровый, свежий, как девка, детина, третий от руля, запевал звонко один, вырабатывая чистым голосом; пятеро подхватывало, шестеро выносило — и разливалась беспредельная, как Русь, песня; и, заслонивши ухо рукой, как бы терялись сами певцы в ее беспредельности. Становилося как-то льготно, и думал Чичиков: «Эх, право, заведу себе когда-нибудь деревеньку!» — «Ну, что тут хо-

рошего,— думал Платонов,— в этой заунывной песне? от ней еще большая тоска находит на душу».

Возвращались назад уже сумерками. Весла ударяли впотьмах по водам, уже не отражавшим неба. Едва видны были по берегам озера огоньки. Месяц подымался, когда они пристали к берегу. Повсюду на треногах варили рыбаки уху, все из ершей да из животрепещущей рыбы. Все уже было дома. Гуси, коровы, козы давно уже были пригнаны, и самая пыль от них уже давно улеглась, и пастухи, пригнавшие их, стояли у ворот, ожидая крынки молока и приглашенья к ухе. Там и там слышались говор и гомон людской, громкое лаянье собак своей деревни и отдаленное — чужих деревень. Месяц подымался, стали озаряться потемки; и все наконец озарилось — и озеро и избы; побледнели огни; стал виден дым из труб, осеребренный лучами. Николаша и Алексаша пронеслись в это время перед ними на двух лихих жеребцах, в обгонку друг друга; пыль за ними поднялась, как от стада баранов. «Эх, право, заведу себе когда-нибудь деревеньку!» — думал Чичиков. Бабенка и маленькие Чичонки начали ему снова представляться. Кого ж не разогреет такой вечер?

А за ужином опять объелись. Когда вошел Павел Иванович в отведенную комнату для спанья и, ложась в постель, пощупал животик свой: «Барабан! — сказал,— никакой городничий не взойдет!» Надобно же было такому стеченью обстоятельств: за стеной был кабинет хозяина. Стена была тонкая, и слышалось все, что там ни говорилось. Хозяин заказывал повару, под видом раннего завтрака, на завтрашний день, решительный обед. И как заказывал! У мертвого родился бы аппетит. И губами подсасывал, и причмокивал. Раздавалось только: «Да поджарь, да дай взопреть хорошенько!» А повар приговаривал тоненькой фистулой: «Слушаю-с. Можно-с. Можно-с и такой».

— Да кулебяку сделай на четыре угла. В один угол положи ты мне щеки осетра да вязигу, в другой запусти гречневой кашицы, да грибочков с лучком, да молок сладких, да мозгов, да еще чего знаешь там этакого...

— Слушаю-с. Можно будет и так.

— Да чтобы с одного боку она, понимаешь — зарумянилась бы, а с другого пусти ее полегче. Да исподку-то, исподку-то, понимаешь, пропеки ее так, чтобы рассыпáлась, чтобы всю ее проняло, знаешь, соком, чтобы и не услышал ее во рту — как снег бы растаяла.

«Черт побери! — думал Чичиков, ворочаясь.— Просто не даст спать!»

— Да сделай ты мне свиной сычуг. Положи в середку кусочек льду, чтобы он взбухнул хорошенько. Да чтобы к осетру об-

кладка, гарнир-то, гарнир-то чтобы был побогаче! Обложи его раками, да поджаренной маленькой рыбкой, да проложи фаршецом из снеточков, да подбавь мелкой сечки, хренку, да груздочков, да репушки, да морковки, да бобков, да нет ли еще там какого коренья?

— Можно будет подпустить брюкву или свеклу звездочкой,— сказал повар.

— Подпусти и брюкву, и свеклу. А к жаркому ты сделай мне вот какую обкладку...

— Пропал совершенно сон! — сказал Чичиков, переворачиваясь на другую сторону, закутал голову в подушки и закрыл себя всего одеялом, чтобы не слышать ничего. Но сквозь одеяло слышалось беспрестанно: «Да поджарь, да подпеки, да дай взопреть хорошенько». Заснул он уже на каком-то индюке.

На другой день до того объелись гости, что Платонов уже не мог ехать верхом; жеребец был отправлен с конюхом Петуха. Они сели в коляску. Мордатый пес лениво пошел за коляской: он тоже объелся.

— Нет, это уже слишком,— сказал Чичиков, когда выехали они со двора.— Это даже по-свински. Не беспокойно ли вам, Платон Михалыч? Препокойная была коляска, и вдруг стало беспокойно. Петрушка, ты, верно, по глупости, стал перекладывать? отовсюду торчат какие-то коробки!

Платон усмехнулся.

— Это, я вам объясню,— сказал он,— Петр Петрович насовал в дорогу.

— Точно так,— сказал Петрушка, оборотясь с козел,— приказано было все поставить в коляску — пашкеты и пироги.

— Точно-с, Павел Иванович,— сказал Селифан, оборотясь с козел, веселый,— очень почтенный барин. Угостительный помещик! По рюмке шампанского выслал. Точно-с, и приказал от стола отпустить блюда — оченно хорошего блюда, деликатного скусу. Такого почтительного господина еще и не было.

— Видите ли? он всех удовлетворил,— сказал Платонов.— Однако же, скажите просто: есть ли у вас время, что<бы> заехать в одну деревню, отсюда верст десять? Мне бы хотелось проститься с сестрой и зятем.

— С большим удовольствием,— сказал Чичиков.

— От этого вы не будете внакладе: зять мой — весьма замечательный человек.

— По какой части? — спросил Чичиков.

— Это первый хозяин, какой когда-либо бывал на Руси. Он в десять лет с небольшим, купивши расстроенное имение, едва да-

вавшее двадцать тысяч, возвел его до того, что теперь он получает двести тысяч.

— А, почтенный человек! Вот этакого человека жизнь стоит того, чтобы быть переданной в поученье людям! Очень, очень будет приятно познакомиться. А как по фамилии?

— Костанжогло [1].

— А имя и отчество?

— Копстантин Федорович.

— Константин Федорович Костанжогло. Очень приятно познакомиться. Поучительно узнать этакого человека.— И Чичиков пустился в расспросы о Костанжогле, и все, что он узнал о нем от Платонова, было, точно, изумительно.

— Вот смотрите, в этом месте уже начинаются его земли,— говорил Платонов, указывая на поля.— Вы увидите тотчас отличье от других. Кучер, здесь возьмешь дорогу налево. Видите ли этот молодник-лес? Это — сеяный. У другого в пятнадцать лет не поднялся <бы> так, а у него в восемь вырос. Смотрите, вот лес и кончился. Начались уже хлеба; а через пятьдесят десятин опять будет лес, тоже сеяный, а там опять. Смотрите на хлеба, во сколько раз они гуще, чем у другого.

— Вижу. Да как же он это делает?

— Ну, расспросите у него, вы увидите, что... [2] Это всезнай, такой всезнай, какого вы нигде не найдете. Он мало того что знает, какую почву что любит, знает, какое соседство для кого нужно, поблизости какого леса нужно сеять какой хлеб. У нас у всех земля трескается от засух, а у него нет. Он рассчитает, насколько нужно влажности, столько и дерева разведет; у него все играет две-три роли: лес лесом, а полю удобренье от листьев да от тени. И это во всем так.

— Изумительный человек! — сказал Чичиков и с любопытством посматривал на поля.

Все было в порядке необыкновенном. Леса были загороженные; повсюду попадались скотные дворы, тоже не без причины обстроенные, завидно содержимые; хлебные клади росту великанского. Обильно и хлебно было повсюду. Видно было вдруг, что живет туз-хозяин. Поднявшись на небольшую возвышенность, <увидели> на супротивной стороне большую деревню, рассыпавшуюся на трех горных возвышениях. Все тут было богато: торные улицы, крепкие избы; стояла ли где телега — телега была крепкая и новешенькая; попадался ли конь — конь был откормленный и добрый;

[1] В ранней редакции — Скудронжогло. В дальнейшем Гоголь изменил эту фамилию на Костанжогло. Так печаталось во всех изданиях второго тома «Мертвых душ». Это написание сохраняется и в настоящем издании.— *Ред.*

[2] В рукописи четыре слова не разобрано.— *Ред.*

рогатый скот — как на отбор. Даже мужичья свинья глядела дворянином. Так и видно, что здесь именно живут те мужики, которые гребут, как поется в песне, серебро лопатой. Не было тут аглицких парков, беседок и мостов с затеями и разных проспектов перед домом. От изб до господского двора потянулись рабочьи дворы. На крыше большой фонарь, не для видов, но для рассматривания, где и в каком месте и как производились работы.

Они подъехали к дому. Хозяина не было; встретила их жена, родная сестра Платонова, белокурая, белоликая, с прямо русским выраженьем, так же красавица, но так же полусонная, как он. Кажется, как будто ее мало заботило то, о чем заботятся, или оттого, что всепоглощающая деятельность мужа ничего не оставила на ее долю, или оттого, что она принадлежала, по самому сложению своему, к тому философическому разряду людей, которые, имея и чувства, и мысли, и ум, живут как-то вполовину, на жизнь глядят вполглаза и, видя возмутительные тревоги и борьбы, говорят: «<Пусть> их, дураки, бесятся! Им же хуже».

— Здравствуй, сестра! — сказал Платонов.— Где же Константин?

— Не знаю. Ему следовало быть давно уже здесь. Верно, захлопотался.

Чичиков на хозяйку не обратил <вниманья>. Ему было интересно рассмотреть жилище этого необыкновенного человека. Он думал отыскать в нем свойства самого хозяина,— как по раковине можно судить, какого рода сидела в ней устрица или улитка. Но этого-то и не было. Комнаты были бесхарактерны совершенно — просторны, и ничего больше. Ни фресков, ни картин по стенам, ни бронзы по столам, ни этажерок с фарфором или чашками, ни ваз, ни цветов, ни статуек,— словом, как-то голо. Простая обыкновенная мебель да рояль стоял в стороне, и тот покрыт был пылью: как видно, хозяйка редко за него садилась. Из гостиной отворена <была дверь в кабинет хозяина>;[1] но и там было так же — просто и голо. Видно было, что хозяин приходил в дом только отдохнуть, а не то чтобы жить в нем; что для обдумыванья своих планов и мыслей ему не надобно было кабинета с пружинными креслами и всякими покойными удобствами и что жизнь его заключалась не в очаровательных грезах у пылающего камина, но прямо в деле. Мысль исходила вдруг из обстоятельств, в ту минуту, как они представлялись, и обращалась вдруг в дело, не имея никакой надобности в том, чтобы быть записанной.

---

[1] В рукописи фраза не дописана. Стоящие в скобках слова прибавлены П. Кулишом в издании «Сочинения и письма Н. В. Гоголя». СПб. 1857.— *Ред.*

— А! вот он! Идет, идет! — сказал Платонов.

Чичиков тоже устремился к окну. К крыльцу подходил лет сорока человек, живой, смуглой наружности. На нем был триповый картуз. По обеим сторонам его, сняв шапки, шли двое нижнего сословия,— шли, разговаривая и о чем-то с <ним> толкуя. Один, казалось, был простой мужик; другой, в синей сибирке, какой-то заезжий кулак и пройдоха.

— Так уж прикажите, батюшка, принять! — говорил мужик, кланяясь.

— Да нет, братец, я уж двадцать раз вам повторял: не возите больше. У меня материалу столько накопилось, что девать некуда.

— Да у вас, батюшка Константин Федорович, весь пойдет в дело. Уж эдакого умного человека во всем свете нельзя сыскать. Ваше здоровье всяку вещь в место поставит. Так уж прикажите принять.

— Мне, братец, руки нужны; мне работников доставляй, а не материал.

— Да уж в работниках не будете иметь недостатку. У нас целые деревни пойдут в работы: бесхлебье такое, что и не запомним. Уж вот беда-то, что не хотите нас совсем взять, а отслужили бы верою вам, ей-богу, отслужили. У вас всякому уму научишься, Константин Федорович. Так прикажите принять в последний раз.

— Да ведь ты и тогда говорил: в последний раз, а ведь вот опять привез.

— Уж в последний раз, Константин Федорович. Если вы не возьмете, то у меня никто не возьмет. Так уж прикажите, батюшка, принять.

— Ну, слушай, этот раз возьму, и то из сожаления только, чтобы не провозился напрасно. Но если ты привезешь в другой раз, хоть три недели канючь — не возьму.

— Слушаю-с, Константин Федорович; уж будьте покойны, в другой раз уж никак не привезу. Покорнейше благодарю.— Мужик отошел, довольный. Врет, однако же, привезет: авось — великое словцо.

— Так уж того-с, Константин Федорович, уж сделайте милость... посбавьте,— говорил шедший по другую сторону заезжий кулак в синей сибирке.

— Ведь я тебе на первых порах объявил. Торговаться я не охотник. Я тебе говорю опять: я не то, что другой помещик, к которому ты подъедешь под самый срок уплаты в ломбард. Ведь я вас знаю всех. У вас есть списки всех, кому когда следует уплачивать. Что ж тут мудреного? Ему приспичит, он тебе и отдаст за полцены. А мне что твои деньги? У меня вещь хоть три года лежи! Мне в ломбард не нужно уплачивать...

— Настоящее дело, Константин Федорович. Да ведь я того-с... оттого только, чтобы и впредь иметь с вами касательство, а не ради какого корыстья. Три тысячи задаточку извольте принять.

Кулак вынул из-за пазухи пук засаленных ассигнаций. Костанжогло прехладнокровно взял их и, не считая, сунул в задний карман своего сюртука.

«Гм,— подумал Чичиков,— точно как бы носовой платок!»

Минуту спустя Костанжогло показался в дверях гостиной.

— Ба, брат, ты здесь! — сказал он, увидев Платонова. Они обнялись и поцеловались. Платонов рекомендовал Чичикова. Чичиков благоговейно подступил к хозяину, лобызнул его в щеку, принявши и от него впечатленье поцелуя.

Лицо Костанжогло было очень замечательно. В нем было заметно южное происхожденье. Волосы на голове и на бровях темны и густы, глаза говорящие, блеску сильного. Ум сверкал во всяком выраженье лица, и уж ничего не было в нем сонного. Но заметна, однако же, была примесь чего-то желчного и озлобленного. Какой, собственно, был он нации? Есть много на Руси русских нерусского происхожденья, в душе, однако же, русские. Костанжогло не занимался своим происхожденьем, находя, что это в строку нейдет и в хозяйстве вещь лишняя. Притом не знал и другого языка, кроме русского.

— Знаешь ли, Константин, что я выдумал? — сказал Платонов.

— А что?

— Выдумал я проездиться по разным губерниям; авось-либо это вылечит от хандры.

— Что ж? это очень может быть.

— Вот вместе с Павлом Ивановичем.

— Прекрасно! В какие же места,— спросил Костанжогло, приветливо обращаясь к Чичикову,— предполагаете теперь ехать?

— Признаюсь,— сказал Чичиков, наклоня голову набок и взявшись рукою за ручку кресел,— еду я, покамест, не столько по своей нужде, сколько по нужде другого. Генерал Бетрищев, близкий приятель и, можно сказать, благотворитель, просил навестить родственников. Родственники, конечно, родственниками, но отчасти, так сказать, и для самого себя; потому что, точно, не говоря уже о пользе, которая может быть в геморроидальном отношенье, одно уже то, чтоб увидать свет, коловращенье людей... кто что ни говори, есть, так сказать, живая книга, та же наука.

— Да, заглянуть в иные уголки не мешает.

— Превосходно изволили заметить,— отнесся Чичиков,— точно, не мешает. Видишь вещи, которых бы не видел; встречаешь людей, которых бы не встретил. Разговор с иным тот же червонец.

Научите, почтеннейший Константин Федорович, научите, к вам прибегаю. Жду, как манны, сладких слов ваших.

Костанжогло смутился.

— Чему же, однако?.. чему научить? Я и сам учился на медные деньги.

— Мудрости, почтеннейший, мудрости! мудрости управлять хозяйством, подобно вам; подобно вам уметь извлекать доходы верные; приобресть, подобно вам, имущество не мечтательное, а существенное, и тем исполнить долг гражданина, заслужить уваженье соотечественников.

— Знаете ли что? — сказал Костанжогло,— останьтесь денек у меня. Я покажу вам все управление и расскажу обо всем. Мудрости тут, как вы увидите, никакой нет.

— Брат, оставайся этот день,— сказала хозяйка, обращаясь к Платонову.

— Пожалуй, мне все равно,— произнес тот равнодушно,— как Павел Иванович?

— Я тоже, я с большим удовольствием... Но вот обстоятельство — нужно посетить родственника генерала Бетрищева. Есть некто полковник Кошкарев...

— Да ведь он... знаете ли вы это? Ведь он дурак и помешан.

— Об этом я уже слышал. Мне к нему и дела нет. Но так как генерал Бетрищев — близкий приятель и, даже так сказать, благотворитель... так уж как-то и неловко.

— В таком случае знаете ли что,— сказал <Костанжогло>,— поезжайте к нему теперь же. У меня стоят готовые пролетки. К нему и десяти верст <нет>, так вы слетаете духом. Вы даже раньше ужина возвратитесь назад.

Чичиков с радостью воспользовался предложеньем. Пролетки были поданы, и он поехал тот же час к полковнику, который изумил его так, как еще никогда ему не случалось изумляться. Все было у полковника необыкновенно. Вся деревня была вразброску: постройки, перестройки, кучи извести, кирпичу и бревен по всем улицам. Выстроены были какие-то дома вроде присутственных мест. На одном было написано золотыми буквами: «Депо земледельческих орудий», на другом: «Главная счетная экспедиция», на третьем: «Комитет сельских дел»; «Школа нормального просвещенья поселян»,— словом, черт знает, чего не было! Он думал, не въехал ли в губернский город. Сам полковник был какой-то чопорный. Лицо какое-то чинное в виде треугольника. Бакенбарды по щекам его были протянуты в струнку; волосы, прическа, нос, губы, подбородок — все как бы лежало дотоле под прессом. Начал он говорить, как бы и дельный человек. С первых нача́л на́чал он ему жаловаться на необразованность окружающих помещиков, на ве-

ликие труды, которые ему предстоят. Принял он Чичикова отменно ласково и радушно, ввел его совершенно в доверенность и рассказал с самоуслажденьем, скольких и скольких стоило ему трудов возвесть именье до нынешнего благосостояния; как трудно было дать понять простому мужику, что есть высшие побуждения, которые доставляют человеку просвещенная роскошь, искусство и художества; сколько нужно было бороться с невежеством русского мужика, чтобы одеть его в немецкие штаны и заставить почувствовать, хотя сколько-нибудь, высшее достоинство человека; что баб, несмотря на все усилия, он до сих <пор> не мог заставить надеть корсет, тогда как в Германии, где он стоял с полком в 14-м году, дочь мельника умела играть даже на фортепиано, говорила по-французски и делала книксен. С соболезнованием рассказывал он, как велика необразованность соседей помещиков; как мало думают они о своих подвластных; как они даже смеялись, когда он старался изъяснить, как необходимо для хозяйства устроенье письменной конторы, контор комиссии и даже комитетов, чтобы тем предохранить всякие кражи и всякая вещь была бы известна, чтобы писарь, управитель и бухгалтер образовались бы не как-нибудь, но оканчивали бы университетское воспитанье; как, несмотря на все убеждения, он не мог убедить помещиков в том, что какая бы выгода была их имениям, если бы каждый крестьянин был воспитан так, чтобы, идя за плугом, мог читать в то же время книгу о громовых отводах.

На это Чичиков <подумал>: «Ну, вряд ли выберется такое время. Вот я выучился грамоте, а «Графиня Лавальер» до сих пор еще не прочитана».

— Ужасное невежество! — сказал в заключенье полковник Кошкарев.— Тьма средних веков, и нет средств помочь... Поверьте, нет! А я бы мог всему помочь; я знаю одно средство, вернейшее средство.

— Какое?

— Одеть всех до одного в России, как ходят в Германии. Ничего больше, как только это, и я вам ручаюсь, что все пойдет как по маслу: науки возвысятся, торговля подымется, золотой век настанет в России.

Чичиков глядел на него пристально и думал: «Что ж? с этим, кажется, чиниться нечего». Не отлагая дела в дальний ящик, он объяснил полковнику тут же, что так и так: имеется надобность вот в каких душах, с совершеньем таких-то крепостей.

— Сколько могу видеть из слов ваших,— сказал полковник, нимало не смутясь,— это просьба; не так ли?

— Так точно.

— В таком случае, изложите ее письменно. Она пойдет в ко-

миссию всяких прошений. Комиссия всяких прошений, пометивши, препроводит ее ко мне. От меня поступит она в комитет сельских дел, там сделают всякие справки и выправки по этому делу. Главноуправляющий вместе с конторою в самоскорейшем времени положит свою резолюцию, и дело будет сделано.

Чичиков оторопел.

— Позвольте,— сказал <он>,— этак дело затянется.

— А! — сказал с улыбкой полковник,— вот тут-то и выгода бумажного производства! Оно, точно, несколько затянется, но зато уже ничто не ускользнет: всякая мелочь будет видна.

— Но позвольте... Как же трактовать об этом письменно? Ведь это такого рода дело... Души ведь некоторым образом... мертвые.

— Очень хорошо. Вы так и напишите, что души некоторым образом... мертвые.

— Но ведь как же — мертвые? Ведь этак же нельзя написать. Они хотя и мертвые, но нужно, чтобы казались как бы были живые.

— Хорошо. Вы так и напишите: «но нужно, или требуется, чтобы казалось, как бы живые».

Что было делать с полковником? Чичиков решился отправиться сам поглядеть, что это за комиссии и комитеты; и что нашел он там, то было не только изумительно, но превышало решительно всякое понятье. Комиссия всяких прошений существовала только на вывеске. Председатель ее, прежний камердинер, был переведен во вновь образовавшийся комитет сельских построек. Место его заступил конторщик Тимошка, откомандированный на следствие — разбирать пьяницу приказчика с старостой, мошенником и плутом. Чиновника — нигде.

— Да где ж тут?.. да как добиться какого-нибудь <толку>? — сказал Чичиков своему сопутнику, чиновнику по особенным поручениям, которого полковник дал ему в проводники.

— Да никакого толку не добьетесь,— сказал проводник,— у нас бестолковщина. У нас всем, изволите видеть, распоряжается комиссия построения, отрывает всех от дела, посылает куды угодно. Только и выгодно у нас, что в комиссии построения.— Он, как видно, был недоволен на комиссию построенья.— У нас так заведено, что все водят за нос барина. Он думает, что всё-с как следует, а ведь это названье только одно.

«Это, однако же, нужно ему сказать»,— подумал Чичиков и, пришедши к полковнику, объявил, что у него каша и никакого толку нельзя добиться, и комиссия построений ворует напропалую.

Полковник воскипел благородным негодованьем. Тут же, схвативши бумагу и перо, написал восемь строжайших запросов: на ка-

ком основании комиссия построений самоуправно распорядилась с неподведомственными ей чиновниками? Как мог допустить главноуправляющий, чтобы председатель, не сдавши своего поста, отправился на следствие? и как мог видеть равнодушно комитет сельских дел, что даже не существует комиссии прошений?

«Ну, пойдет кутерьма»,— подумал Чичиков и начал раскланиваться.

— Нет, я вас не отпущу. В два часа, не более, вы будете удовлетворены во всем. Дело ваше я поручу теперь особенному человеку, который только что окончил университетский курс. Посидите у меня в библиотеке. Тут все, что для вас нужно: книги, бумага, перья, карандаши — все. Пользуйтесь, пользуйтесь всем — вы господин.

Так говорил Кошкарев, введя его в книгохранилище. Это был огромный зал, снизу доверху уставленный книгами. Были там даже и чучела животных. Книги по всем частям — по части лесоводства, скотоводства, свиноводства, садоводства, тысячи всяких журналов, руководств и множество журналов, представлявших самые позднейшие развития и усовершенствования и по коннозаводству, и естественным наукам. Были и такие названия: «Свиноводство как наука». Видя, что здесь вещи не приятного препровождения <времени>, он обратился к другому шкафу. Из огня — в полымя. Тут были всё книги философии. На одной было заглавие: «Философия, в смысле науки»; шесть томов в ряд под названием: «Предуготовительное вступление к теории мышления в их общности, совокупности, сущности и во применении к уразумению органических начал обоюдного раздвоения общественной производительности». Что ни разворачивал Чичиков книгу, на всякой странице — проявленье, развитье, абстракт, замкнутость и сомкнутость, и черт знает, чего там не было. «Нет, это все не по мне»,— сказал Чичиков и оборотился к третьему шкафу, где были книги всё по части искусств. Тут вытащил он какую-то огромную книгу с нескромными мифологическими картинками и начал их рассматривать. Это было по его вкусу. Такого рода картинки нравятся холостякам средних <лет>. Говорят, что в последнее время стали они нравиться даже и старичкам, изощрившим вкус на балетах. Что ж делать, человечество нашего века пряные коренья любит. Окончивши рассматриванье этой книги, Чичиков вытащил уже было и другую в том же роде, как вдруг появился полковник Кошкарев, с сияющим видом и бумагою.

— Все сделано, и сделано отлично. Человек этот решительно понимает один за всех. За это я его поставлю выше всех: заведу особенное, высшее управление и поставлю его президентом. Вот что он пишет...

«Ну слава те господи»,— подумал Чичиков и приготовился слушать. Полковник стал читать:

— «Приступая к обдумыванью возложенного на меня вашим высокородием поручения, честь имею сим донести на оное: 1) В самой просьбе господина коллежского советника и кавалера Павла Ивановича Чичикова есть уже некоторое недоразумение: в изъясненье того, что требуются ревизские души, постигнутые всякими внезапностями, вставлены и умершие. Под сим, вероятно, они изволили разуметь близкие к смерти, а не умершие; ибо умершие не приобретаются. Что ж и приобретать, если ничего нет? Об этом говорит и самая логика. Да и в словесных науках они, как видно, не далеко уходили...» — Тут на минуту Кошкарев остановился и сказал: — В этом месте, плут... он немножко кольнул вас. Но судите, однако же, какое бойкое перо — статс-секретарский слог; а ведь всего три года побыл в университете, даже не кончил курса.— Кошкарев продолжал: — «...в словесных науках, как видно, не далеко... ибо выразились о душах *умершие,* тогда как всякому, изучавшему курс познаний человеческих, известно заподлинно, что душа бессмертна. 2) Оных упомянутых ревижских душ, пришлых, или прибылых, или, как они неправильно изволили выразиться, умерших, нет налицо таковых, которые бы не были в залоге, ибо все в совокупности не только заложены без изъятия, но и перезаложены, с прибавкой по полутораста рублей на душу, кроме небольшой деревни Гурмайловка, находящейся в спорном положении по случаю тяжбы с помещиком Предищевым, и потому ни в продажу, ни в залог поступить не может».

— Так зачем же вы мне этого не объявили прежде? Зачем из пустяков держали? — сказал с сердцем Чичиков.

— Да ведь как же я мог знать об этом сначала? В этом-то и выгода бумажного производства, что вот теперь все, как на ладони, оказалось ясно.

«Дурак ты, глупая скотина! — думал про себя Чичиков.— В книгах копался, а чему выучился?» Мимо всяких учтивств и приличий, схватил он шапку — из дома. Кучер стоял, пролетки наготове и лошадей не откладывал: о корме пошла бы письменная просьба, и резолюция — выдать овес лошадям — вышла бы только на другой день. Как ни был Чичиков груб и неучтив, но Кошкарев, несмотря на все, был с ним необыкновенно учтив и деликатен. Он насильно пожал ему руку, и прижал ее к сердцу, и благодарил его за то, что он дал ему случай увидеть на деле ход производства; что передрягу и гонку нужно дать необходимо, потому что способно все задремать и пружины сельского управленья заржавеют и ослабеют; что вследствие этого события пришла ему счастливая мысль: устроить новую комиссию, которая будет называться комиссией

наблюдения за комиссиею построения, так что уже тогда никто не осмелится украсть.

«Осел! дурак!» — думал Чичиков, сердитый и недовольный во всю дорогу. Ехал он уже при звездах. Ночь была на небе. В деревнях были огни. Подъезжая к крыльцу, он увидел в окнах, что уже стол был накрыт для ужина.

— Что это вы так запоздали? — сказал Костанжогло, когда он показался в дверях.

— О чем вы это так долго с ним толковали? — сказал Платонов.

— Уморил! — сказал Чичиков.— Этакого дурака я еще отроду не видывал.

— Это еще ничего! — сказал Костанжогло.— Кошкарев — утешительное явление. Он нужен затем, что в нем отражаются карикатурно и видней глупости умных людей. Завели конторы и присутствия, и управителей, и мануфактуры, и фабрики, и школы, и комиссию, и черт их знает что такое. Точно как будто бы у них государство какое! Как вам это нравится? я спрашиваю. Помещик, у которого пахотные земли и недостает крестьян обработывать, а он завел свечной завод, из Лондона мастеров выписал свечных, торгашом сделался! Вон другой дурак еще лучше: фабрику шелковых материй завел!

— Да ведь и у тебя же есть фабрики,— заметил Платонов.

— А кто их заводил? Сами завелись: накопилось шерсти, сбыть некуды, я и начал ткать сукна, да и сукна толстые, простые; по дешевой цене их тут же на рынках у меня и разбирают. Рыбью шелуху, например, сбрасывали на мой берег шесть лет сряду; ну, куды ее девать? я начал с нее варить клей, да сорок тысяч и взял. Ведь у меня всё так.

«Экой черт! — думал Чичиков, глядя на него в оба глаза,— загребистая какая лапа!»

— Да я и строений для этого не строю; у меня нет зданий с колоннами да фронтонами. Мастеров я не выписываю из-за границы. А уж крестьян от хлебопашества ни за что не оторву. На фабриках у меня работают только в голодный год, всё пришлые, из-за куска хлеба. Этаких фабрик наберется много. Рассмотри только попристальнее свое хозяйство, то увидишь — всякая тряпка пойдет в дело, всякая дрянь даст доход, так что после отталкиваешь только да говоришь: не нужно.

— Это изумительно! Изумительнее же всего то, что всякая дрянь даст доход! — сказал Чичиков.

— Гм! да не только это!..— Речи Костанжогло не кончил: желчь в нем пробудилась, и ему хотелось побранить соседей помещиков.— Вон опять один умник — что вы думаете у себя завел?

Богоугодные заведения, каменное строение в деревне! Христолюбивое дело!.. Уж хочешь помогать, так ты помогай всякому исполнить этот долг, а не отрывай его от христианского долга. Помоги сыну пригреть у себя больного отца, а не давай ему возможности сбросить его с плеч своих. Дай лучше ему средства приютить у себя в дому ближнего и брата, дай ему на это денег, помоги всеми силами, а не отлучай его: он совсем отстанет от всяких христианских обязанностей. Дон-Кишоты просто по всем частям!.. Двести рублей выходит на человека в год в богоугодном заведении!.. Да я на эти деньги буду у себя в деревне десять человек содержать! — Костанжогло рассердился и плюнул.

Чичиков не интересовался богоугодным заведеньем: он хотел повести речь о том, как всякая дрянь дает доход. Но Костанжогло уже рассердился, желчь в нем закипела, и слова полились.

— А вот другой Дон-Кишот просвещенья: завел школы! Ну, что, например, полезнее человеку, как знанье грамоты? А ведь как распорядился? Ведь ко мне приходят мужики из его деревни. «Что это, говорят, батюшка, такое? сыновья наши совсем от рук отбились, помогать в работах не хотят, все в писаря хотят, а ведь писарь нужен один». Ведь вот что вышло!

Чичикову тоже не было надобности до школ, но Платонов подхватил этот предмет:

— Да ведь этим нечего останавливаться, что теперь не надобны писаря: после будет надобность. Работать нужно для потомства.

— Да будь, братец, хоть ты умен! Ну, что вам далось это потомство? Все думают, что они какие-то Петры Великие. Да ты смотри себе под ноги, а не гляди в потомство; хлопочи о том, чтобы мужика сделать достаточным да богатым, да чтобы было у него время учиться по охоте своей, а не то что с палкой в руке говорить: «Учись!» Черт знает, с которого конца начинают!.. Ну, послушайте: ну, вот я вам на суд...— Тут Костанжогло подвинулся ближе к Чичикову и, чтобы заставить его получше вникнуть в дело, взял его на абордаж, другими словами — засунул палец в петлю его фрака.— Ну, что может быть яснее? У тебя крестьяне затем, чтобы ты им покровительствовал в их крестьянском быту. В чем же быт? в чем же занятия крестьянина? В хлебопашестве? Так старайся, чтобы он был хорошим хлебопашцем. Ясно? Нет, нашлись умники, говорят: «Из этого состоянья его нужно вывести. Он ведет слишком грубую, простую жизнь: нужно познакомить его с предметами роскоши». Что сами благодаря этой роскоши стали тряпки, а не люди, и болезней черт знает каких понабрались, и уж нет осьмнадцатилетнего мальчишки, который бы не испробовал всего: и зубов у него нет, и плешив,— так хотят теперь и этих

заразить. Да слава богу, что у нас осталось хотя одно еще здоровое сословие, которое не познакомилось с этими прихотями! За это мы просто должны благодарить бога. Да, хлебопашцы для меня всех почтеннее. Дай бог, чтобы все были хлебопашцы!

— Так вы полагаете, что хлебопашеством всего выгоднее заниматься? — спросил Чичиков.

— Законнее, а не то, что выгоднее. Возделывай землю в поте лица своего. Это нам всем сказано; это недаром сказано. Опытом веков уже это доказано, что в земледельческом звании человек чище нравами. Где хлебопашество легло в основанье быта общественного, там изобилье и довольство; бедности нет, роскоши нет, а есть довольство. Возделывай землю — сказано человеку, трудись... что тут хитрить! Я говорю мужику: «Кому бы ты ни трудился, мне ли, себе ли, соседу ли, только трудись. В деятельности я твой первый помощник. Нет у тебя скотины, вот тебе лошадь, вот тебе корова, вот тебе телега... Всем, что нужно, готов тебя снабдить, но трудись. Для меня смерть, если хозяйство у тебя не в устройстве и вижу у тебя беспорядок и бедность. Не потерплю праздности. Я затем над тобой, чтобы ты трудился». Гм! думают увеличить доходы заведеньями да фабриками! Да ты подумай прежде о том, чтобы всякий мужик был у тебя богат, так тогда ты и сам будешь богат без фабрик, и без заводов, и без глупых <затей>.

— Чем больше слушаешь вас, почтеннейший Константин Федорович,— сказал Чичиков,— тем большее получаешь желание слушать. Скажите, досточтимый мною: если бы, например, я возымел намерение сделаться помещиком, положим, здешней губернии, на что преимущественно обратить внимание? как быть, как поступить, чтобы в непродолжительное <время> разбогатеть, чтобы тем, так сказать, исполнить существенную обязанность гражданина?

— Как поступить, чтобы разбогатеть? А вот как...— сказал Костанжогло.

— Пойдем ужинать! — сказала хозяйка, поднявшись с дивана, и выступила на середину комнаты, закутывая в шаль молодые продрогнувшие свои члены.

Чичиков схватился со стула с ловкостью почти военного человека, подлетел к хозяйке с мягким выраженьем в улыбке деликатного штатского человека, коромыслом подставил ей руку и повел ее парадно через две комнаты в столовую, сохраняя во все время приятное наклоненье головы несколько набок. Служитель снял крышку с суповой чашки; все со стульями придвинулись ближе к столу, и началось хлебанье супа.

Отделавши суп и запивши рюмкой наливки (наливка была отличная), Чичиков сказал так Костанжоглу:

— Позвольте, почтеннейший, вновь обратить вас к предмету прекращенного разговора. Я спрашивал вас о том, как быть, как поступить, как лучше приняться...[1]

. . . . . .

— Именье, за которое если бы он запросил и сорок тысяч, я б ему тут же отсчитал.

— Гм! — Чичиков задумался.— А отчего же вы сами,— проговорил он с некоторою робостью,— не покупаете его?

— Да нужно знать наконец пределы. У меня и без того много хлопот около своих имений. Притом у нас дворяне и без того уже кричат на меня, будто я, пользуясь крайностями и разоренными их положеньями, скупаю земли за бесценок. Это мне уж наконец надоело.

— Дворянство способно к злословью! — сказал Чичиков.

— А уж у нас, в нашей губернии... Вы не можете себе представить, что они говорят обо мне. Они меня иначе и не называют, как сквалыгой и скупердяем первой степени. Себя они во всем извиняют. «Я, говорит, конечно, промотался, но потому, что жил высшими потребностями жизни. Мне нужны книги, я должен жить роскошно, чтобы промышленность поощрять; а этак, пожалуй, можно прожить и не разорившись, если бы жить такой свиньею, как Костанжогло». Ведь вот как!

— Желал бы я быть этакой свиньей! — сказал Чичиков.

— И ведь это всё оттого, что не задаю обедов да не занимаю им денег. Обедов я потому не даю, что меня бы тяготило, я к этому не привык. А приезжай ко мне есть то, что я ем,— милости просим! Не даю денег взаймы — это вздор. Приезжай ко мне в самом деле нуждающийся да расскажи мне обстоятельно, как ты распорядишься с моими деньгами. Если я увижу из твоих слов, что ты употребишь их умно и деньги принесут тебе явную прибыль,— я тебе не откажу и не возьму даже процентов. Но бросать денег на ветер я не стану. Уж пусть меня в этом извинят. Он затевает какой-нибудь обед своей любовнице или на сумасшедшую ногу убирает мебелями дом, а ему давай деньги взаймы!..

Здесь Костанжогло плюнул и чуть-чуть не выговорил несколько неприличных и бранных слов в присутствии супруги. Суровая тень темной ипохондрии омрачила его живое лицо. Вздоль лба и впоперек его собрались морщины, обличители гневного движенья взволнованной желчи.

---

[1] Далее в рукописи отсутствуют две страницы. В первом издании второго тома «Мертвых душ» (1855) примечание: «Здесь в разговоре Костанжогло с Чичиковым пропуск. Должно полагать, что Костанжогло предложил Чичикову приобрести покупкою именье соседа его, помещика Хлобуева».— *Ред.*

Чичиков выпил рюмку малиновки и сказал так:

— Позвольте мне, досточтимый мною, обратить вас вновь к предмету прекращенного разговора. Если бы, положим, я приобрел то самое имение, о котором вы изволили упомянуть, то во сколько времени и как скоро можно разбогатеть в такой степени...

— Если вы хотите,— подхватил сурово и отрывисто Костанжогло, еще полный нерасположенья духа,— разбогатеть скоро, так вы никогда не разбогатеете; если же хотите разбогатеть, не спрашивая о времени, то разбогатеете скоро.

— Вот оно как! — сказал Чичиков.

— Да,— сказал Костанжогло отрывисто, точно как бы он сердился на самого Чичикова.— Надобно иметь любовь к труду; без этого ничего нельзя сделать. Надобно полюбить хозяйство, да! И, поверьте, это вовсе не скучно. Выдумали, что в деревне тоска... да я бы умер от тоски, если бы хотя один день провел в городе так, как проводят они! Хозяину нет времени скучать. В жизни его нет пустоты — все полнота. Нужно только рассмотреть весь этот многообразный круг годовых занятий — и каких занятий! занятий, истинно возвышающих дух, не говоря уже о разнообразии. Тут человек идет рядом с природой, с временами года, соучастник и собеседник всему, что совершается в творенье. Еще не появилась весна, а уж зачинаются работы: подвозы и дров, и всего на время распутицы; подготовка семян; переборка, перемерка по амбарам хлеба и пересушка; установленье новых тягол. Прошли снега и реки,— работы так вдруг и закипят: там погрузки на суда, здесь расчистка дерев по лесам, пересадка дерев по садам, и пошли взрывать повсюду землю. В огородах работает заступ, в полях — соха и борона. И начинаются посевы. Безделица! Грядущий урожай сеют! Наступило лето — покосы, первейший праздник хлебопашца. Безделица! Пойдут жатва за жатвой: за рожью пшеница, за ячменем овес, а тут и дерганье конопли. Мечут стога, кладут клади. А тут и август перевалил за половину — пошла свозка всего на гумны. Наступила осень — запашки и посевы озимых хлебов, чинка амбаров, риг, скотных дворов, хлебный опыт и первый умолот. Наступит зима — и тут не дремлют работы: первые подвозы в город, молотьба по всем гумнам, перевозка перемолотого хлеба из риг в амбары, по лесам рубка и пиленье дров, подвоз кирпичу и материалу для весенних построек. Да просто я и обнять всего не в состоянье. Какое разнообразие работ! Сюда и туда взглянуть идешь: и на мельницу, и на рабочий двор, и на фабрики, и на гумна! Идешь и к мужику взглянуть, как он на себя работает. Безделица! Да для меня праздник, если плотник хорошо владеет топором; я два часа готов пред ним простоять: так веселит меня рабо-

та. А если видишь еще, с какой целью все это творится, как вокруг тебя все множится да множится, принося плод да доход. Да я и рассказать вам не могу, какое удовольствие. И не потому, что растут деньги,— деньги деньгами,— но потому, что все это — дело рук твоих; потому, что видишь, как ты всему причина и творец всего, и от тебя, как от какого-нибудь мага, сыплется изобилье и добро на все. Да где вы найдете мне равное наслажденье? — сказал Костанжогло, и лицо его поднялось кверху, все морщины исчезнули. Как царь в день торжественного венчанья своего, сиял он.— Да в целом мире не отыщете вы подобного наслажденья! Здесь, именно здесь подражает богу человек: бог предоставил себе дело творенья, как высшее наслажденье, и требует от человека также, чтобы он был творцом благоденствия и стройного теченья дел. И это называют скучным делом!

Как пенья райской птички, заслушался Чичиков сладкозвучных хозяйских речей. Глотали слюнку его уста. Глаза умаслились и выражали сладость, и все бы он слушал.

— Константин! пора вставать,— сказала хозяйка, приподнявшись со стула. Платонов приподнялся, Костанжогло приподнялся, Чичиков приподнялся, хотя хотелось ему все сидеть да слушать. Подставив руку коромыслом, повел он обратно хозяйку. Но голова его не была склонена приветливо набок, недоставало ловкости в его оборотах, потому что мысли были заняты существенными оборотами и соображениями.

— Что ни рассказывай, а все, однако же, скучно,— говорил, идя позади их, Платонов.

«Гость, кажется, очень неглупый человек,— думал хозяин,— степенен в словах и не щелкопер». И, подумавши так, стал он еще веселее, точно как бы сам разогрелся от своего разговора и как бы празднуя, что нашел человека, готового слушать умные советы.

Когда потом поместились они все в маленькой, уютной комнатке, озаренной свечками, насупротив балконной стеклянной двери наместо окна, Чичикову сделалось так приютно, как не бывало давно. Точно как бы после долгих странствований приняла уже его родная крыша и, по совершенье всего, он уже получил все желаемое и бросил скитальческий посох, сказавши: «Довольно!» Такое обаятельное расположенье навел ему на душу разумный разговор хозяина. Есть для всякого человека такие речи, которые как бы ближе и родственней ему других речей. И часто неожиданно, в глухом, забытом захолустье, на безлюдье безлюдном, встретишь человека, которого греющая беседа заставит позабыть тебя и бездорожье дороги, и бесприютность ночлегов, и современный свет, полный глупостей людских, обманов, обманывающих человека. И живо потом навсегда и навеки останется проведенный таким образом

вечер, и все, что тогда случилось и было, удержит верная память: и кто соприсутствовал, и кто на каком месте стоял, и что было в руках его,— стены, углы и всякую безделушку.

Так и Чичикову заметилось все в тот вечер: и эта малая, неприхотливо убранная комнатка, и добродушное выраженье, воцарившееся в лице хозяина, и поданная Платонову трубка с янтарным мундштуком, и дым, который он стал пускать в толстую морду Ярбу, и фырканье Ярба, и смех миловидной хозяйки, прерываемый словами: «Полно, не мучь его»,— и веселые свечки, и сверчок в углу, и стеклянная дверь, и весенняя ночь, которая оттоле на них глядела, облокотясь на вершины деревь, из чащи которых высвистывали весенние соловьи.

— Сладки мне ваши речи, досточтимый мною Константин Федорович,— произнес Чичиков.— Могу сказать, что не встречал во всей России человека, подобного вам по уму.

Он улыбнулся.

— Нет, Павел Иванович,— сказал он,— уж если хотите знать умного человека, так у нас, действительно, есть один, о котором, точно, можно сказать: «умный человек», которого я и подметки не стою.

— Кто это? — с изумленьем спросил Чичиков.

— Это наш откупщик Муразов.

— В другой уже раз про него слышу! — вскрикнул Чичиков.

— Это человек, который не то что именьем помещика,— целым государством управит. Будь у меня государство, я бы его сей же час сделал министром финансов.

— Слышал. Говорят, человек, превосходящий меру всякого вероятия, десять миллионов, говорят, нажил.

— Какое десять! перевалило за сорок. Скоро половина России будет в его руках.

— Что вы говорите! — вскрикнул Чичиков, оторопев.

— Всенепременно. У него теперь приращенье должно идти с быстротой невероятной. Это ясно. Медленно богатеет только тот, у кого какие-нибудь сотни тысяч; а у кого миллионы, у того радиус велик: что ни захватит, так вдвое и втрое противу самого себя. Поле-то, поприще слишком просторно. Тут уж и соперников нет. С ним некому тягаться. Какую цену чему ни назначит, такая и останется: некому перебить.

Вытаращив глаза и разинувши рот, как вкопанный, смотрел Чичиков в глаза Костанжогло. Захватило дух в груди ему.

— Уму непостижимо! — сказал он, приходя немного в себя.— Каменеет мысль от страха. Изумляются мудрости промысла в рассматриванье букашки; для меня более изумительно то, что в руках смертного могут обращаться такие громадные суммы! Позвольте

предложить вам вопрос насчет одного обстоятельства; скажите, ведь это, разумеется, вначале приобретено не без греха?

— Самым безукоризненным путем и самыми справедливыми средствами.

— Не поверю, почтеннейший, извините, не поверю. Если б это были тысячи, еще бы так, но миллионы... извините, не поверю.

— Напротив, тысячи — трудно без греха, а миллионы наживаются легко. Миллионщику нечего прибегать к кривым путям. Прямой таки дорогой так и ступай, все бери, что ни лежит перед тобой! Другой не подымет.

— Уму непостижимо! И что всего непостижимей, это то, что дело ведь началось из копейки!

— Да иначе и не бывает. Это законный порядок вещей,— сказал Костанжогло.— Кто родился с тысячами, воспитался на тысячах, тот уже не приобретет: у того уже завелись и прихоти, и мало ли чего нет! Начинать нужно с начала, а не с середины. Снизу, снизу нужно начинать. Тут только узнаешь хорошо люд и быт, среди которых придется потом изворачиваться. Как вытерпишь на собственной коже то да другое, да как узнаешь, что всякая копейка алтынным гвоздем прибита, да как перейдешь все мытарства, тогда тебя умудрит и вышколит <так>, что уж не дашь промаха ни в каком предприятье и не оборвешься. Поверьте, это правда. С начала нужно начинать, а не с середины. Кто говорит мне: «Дайте мне сто тысяч, я сейчас разбогатею»,— я тому не поверю: он бьет наудачу, а не наверняка. С копейки нужно начинать!

— В таком случае я разбогатею,— сказал Чичиков,— потому что начинаю почти, так сказать, с ничего.

Он разумел мертвые души.

— Константин, пора дать Павлу Ивановичу отдохнуть и поспать,— сказала хозяйка,— а ты все болтаешь.

— И непременно разбогатеете,— сказал Костанжогло, не слушая хозяйки.— К вам потекут реки, реки золота. Не будете знать, куда девать доходы.

Как очарованный, сидел Павел Иванович, и в золотой области возрастающих грез и мечтаний закружилися его мысли.

— Право, Константин, Павлу Ивановичу пора спать.

— Да что ж тебе? Ну, и ступай, если захотелось! — сказал хозяин и остановился: громко, по всей комнате раздалось храпенье Платонова, а вслед за ним Ярб захрапел еще громче. Уже давно слышался отдаленный стук в чугунные доски. Дело потянуло за полночь. Костанжогло заметил, что в самом деле пора на покой. Все разбрелись, пожелав спокойного сна друг другу, и не замедлили им воспользоваться.

Одному Чичикову только не спалось. Его мысли бодрствовали.

Он обдумывал, как сделаться помещиком, подобным Костанжогло. После разговора с хозяином все становилося так ясно; возможность разбогатеть казалась так очевидной. Трудное дело хозяйства становилось теперь так легко и понятно и так казалось свойственно самой его натуре, что начал помышлять он сурьезно о приобретении не воображаемого, но действительного поместья; он определил тут же на деньги, которые будут выданы ему из ломбарда за фантастические души, приобресть поместье уже не фантастическое. Уже он видел себя действующим и правящим именно так, как поучал Костанжогло,— расторопно, осмотрительно, ничего не заводя нового, не узнавши насквозь всего старого, все высмотревши собственными глазами, всех мужиков узнавши, все излишества от себя оттолкнувши, отдавши себя только труду да хозяйству. Уже заранее предвкушал он то удовольствие, которое будет он чувствовать, когда заведется стройный порядок и бойким ходом двигнутся все пружины хозяйства, деятельно толкая друг друга. Труд закипит, и, подобно тому <как> в ходкой мельнице шибко вымалывается из зерна мука, пойдет вымалываться изо всякого дрязгу и хламу чистоган да чистоган. Чудный хозяин так и стоял перед ним ежеминутно. Это был первый человек во всей России, к которому почувствовал он уважение личное. Доселе уважал он человека или за хороший чин, или за большие достатки! Собственно за ум он не уважал еще ни одного человека. Костанжогло был первый. Чичиков понял и то, что с этаким нечего толковать о мертвых душах и самая речь об этом будет неуместна. Его занимал теперь другой прожект — купить именье Хлобуева. Десять тысяч у него было: другие десять тысяч предполагал он призанять у Костанжогло, так как он сам объявил уже, что готов помочь всякому, желающему разбогатеть и заняться хозяйством. Остальные десять тысяч можно было обязаться потом, по заложении душ. Заложить все накупленные души еще нельзя было, потому что не было еще земель, на которые следовало переселить их. Хотя <уверял> он, что в Херсонской губернии есть у него земли, но они существовали больше в предположенье. Предполагалось еще и скупить их в Херсонской губернии, потому что они там продавались за бесценок и даже отдавались даром, лишь бы только на них селились. Думал он также и о том, что надобно торопиться закупать, у кого какие еще находятся беглецы и мертвецы, ибо помещики друг перед другом спешат закладывать имения и скоро во всей России может не остаться и угла, не заложенного в казну. Все эти мысли попеременно наполняли его голову и мешали сну. Наконец сон, который уже целые четыре часа держал весь дом, как говорится, в объятиях, принял наконец и Чичикова в свои объятия. Он заснул крепко.

«Мертвые души»

Худ. А. Лаптев

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

На другой день все обделалось как нельзя лучше. Костанжогло дал с радостью десять тысяч без процентов, без поручительства — просто под одну расписку. Так был он готов помогать всякому на пути к приобретенью. Этого мало: он сам взялся сопровождать Чичикова к Хлобуеву, с тем чтобы осмотреть вместе с ним имение. После сытного завтрака все они отправились, севши все трое в коляску Павла Ивановича; пролетки хозяина следовали порожняком за ними. Ярб бежал впереди, сгоняя с дороги птиц. В полтора часа с небольшим сделали они восемнадцать верст и увидели деревушку с двумя домами. Один большой и новый, недостроенный и остававшийся вчерне несколько лет, другой маленький и старенький. Хозяина нашли они растрепанного, заспанного, недавно проснувшегося; на сюртуке у него была заплата, а на сапоге дырка.

Приезду гостей он обрадовался, как бог весть чему. Точно как бы увидел он братьев, с которыми надолго расстался.

— Константин Федорович! Платон Михайлович! — вскрикнул он.— Отцы родные! вот одолжили приездом! Дайте протереть глаза! Я уж, право, думал, что ко мне никто не заедет. Всяк бегает меня, как чумы: думает — попрошу взаймы. Ох, трудно, трудно, Константин Федорович! Вижу — сам всему виной! Что делать? свинья свиньей зажил. Извините, господа, что принимаю вас в таком наряде: сапоги, как видите, с дырами. Да чем вас потчевать, скажите?

— Пожалуйста, без околичностей. Мы к вам приехали за делом,— сказал Костанжогло.— Вот вам покупщик, Павел Иванович Чичиков.

— Душевно рад познакомиться. Дайте прижать мне вашу руку.

Чичиков дал ему обе.

— Хотел бы очень, почтеннейший Павел Иванович, показать вам имение, стоящее внимания... Да что, господа, позвольте спросить, вы обедали?

— Обедали, обедали,— сказал Костанжогло, желая отделаться.— Не будем и мешкать и пойдем теперь же.

— В таком случае пойдем.

Хлобуев взял в руки картуз. Гости надели на головы картузы, и все отправились пешком осматривать деревню.

— Пойдем осматривать беспорядки и беспутство мое,— говорил Хлобуев.— Конечно, вы сделали хорошо, что пообедали. Поверите ли, Константин Федорович, курицы нет в доме,— до того дожил. Свиньей себя веду, просто свиньей!

Он, глубоко вздохнув и как бы чувствуя, что мало будет участия со стороны Константина Федоровича и жестковато его сердце, подхватил под руку Платонова и пошел с ним вперед, прижимая крепко его к груди своей. Костанжогло и Чичиков остались позади и, взявшись под руки, следовали за ними в отдалении.

— Трудно, Платон Михалыч, трудно! — говорил Хлобуев Платонову.— Не можете вообразить, как трудно! Безденежье, бесхлебье, бессапожье! Трын-трава бы это было все, если бы был молод и один. Но когда все эти невзгоды станут тебя ломать под старость, а под боком жена, пятеро детей,— сгрустнется, поневоле сгрустнется...

Платонову стало жалко.

— Ну, а если вы продадите деревню, это вас поправит? — спросил он.

— Какое поправит! — сказал Хлобуев, махнувши рукой.— Все пойдет на уплату необходимейших долгов, а затем для себя не останется и тысячи.

— Так что ж вы будете делать?

— А бог знает,— говорил Хлобуев, пожимая плечами.

Платонов удивился.

— Как же вы ничего не предпринимаете, чтобы выпутаться из таких обстоятельств?

— Что ж предпринять?

— Будто нет уже средств?

— Никаких.

— Ну, ищите должности, возьмите какое-нибудь место.

— Ведь я губернский секретарь. Какое ж мне могут дать выгодное место? Жалованье дадут ничтожное, а ведь у меня жена, пятеро детей.

— Ну, частную какую-нибудь должность. Пойдите в управляющие.

— Да кто ж мне поверит имение! я промотал свое.

— Ну, да если голод и смерть грозят, нужно же что-нибудь предпринимать. Я спрошу, не может ли брат мой через кого-либо в городе выхлопотать какую-нибудь должность.

— Нет, Платон Михайлович,— сказал Хлобуев, вздохнувши и сжавши крепко его руку,— не гожусь я теперь никуды. Одряхлел прежде старости своей, и поясница болит от прежних грехов, и ревматизм в плече. Куды мне! Что разорять казну! И без того теперь завелось много служащих ради доходных мест. Храни бог, чтобы из-за меня, из-за доставки мне жалованья прибавлены были подати на бедное сословие: и без того ему трудно при этом множестве сосущих. Нет, Платон Михайлович, бог с ним.

«Вот положение! — думал Платонов.— Это хуже моей спячки».

Тем временем Костанжогло и Чичиков, идя позади их на порядочном расстоянии, так между собою говорили:

— Вон запустил как все! — говорил Костанжогло, указывая пальцем.— Довел мужика до какой бедности! Когда случился падеж, так уж тут нечего глядеть на свое добро. Тут все свое продай, да снабди мужика скотиной, чтобы он не оставался и одного дни без средств производить работу. А ведь теперь и годами не поправишь: и мужик уже изленился, и загулял, и стал пьяница.

— Так, стало быть, теперь не совсем выгодно и покупать эдакое имение? — спросил Чичиков.

Тут Костанжогло взглянул на него так, как бы хотел ему сказать: «Ты что за невежа! С азбуки, что ли, нужно с тобой начинать?»

— Невыгодно! да через три года я буду получать двадцать тысяч годового дохода с этого именья. Вот оно как невыгодно! В пятнадцати верстах. Безделица! А земля-то какова? разглядите землю! Всё поемные места. Да я засею льну, да тысяч на пять одного льну отпущу; репой засею — на репе выручу тысячи четыре. А вон смотрите — по косогору рожь поднялась; ведь это все падаль. Он хлеба не сеял — я это знаю. Да этому именью полтораста тысяч, а не сорок.

Чичиков стал опасаться, чтобы Хлобуев не услышал, и потому отстал еще подальше.

— Вон сколько земли оставил впусте! — говорил, начиная сердиться, Костанжогло.— Хоть бы повестил вперед, так набрели бы охотники. Ну, уж если нечем пахать, так копай под огород. Огородом бы взял. Мужика заставил пробыть четыре года без труда. Безделица! Да ведь этим одним ты уже его развратил и навеки погубил. Уж он успел привыкнуть к лохмотью и бродяжничеству! Это стало уже жизнью его.— И, сказавши это, плюнул Костанжогло, и желчное расположение осенило сумрачным облаком его чело...

— Я не могу здесь больше оставаться: мне смерть глядеть на этот беспорядок и запустенье! Вы теперь можете с ним покончить и без меня. Отберите у этого дурака поскорее сокровище. Он только бесчестит божий дар!

И, сказавши это, Костанжогло простился с Чичиковым и, нагнавши хозяина, стал также прощаться.

— Помилуйте, Константин Федорович,— говорил удивленный хозяин,— только что приехали — и назад!

— Не могу. Мне крайняя надобность быть дома,— сказал Костанжогло, простился, сел и уехал на своих пролетках.

Казалось, как будто Хлобуев понял причину его отъезда.

— Не выдержал Константин Федорович,— сказал он.— Чувствую, что не весело такому хозяину, каков он, глядеть на эдакое беспутное управленье. Верите ли, что не могу, не могу, Павел Иванович... что почти вовсе не сеял хлеба в этом году! Как честный человек. Семян не было, не говоря уже о том, что нечем пахать. Ваш братец, Платон Михайлыч, говорят, необыкновенный хозяин; о Константине Федоровиче что уж говорить — это Наполеон своего рода. Часто, право, думаю: «Ну, зачем столько ума дается в одну голову? ну, что бы хоть каплю его в мою глупую, хоть бы на то, чтобы сумел дом свой держать! Ничего не умею, ничего не могу». Ах, Павел Иванович, [возьмите] в свое распоряжение! Жаль больше всего мне мужичков бедных. Чувствую, что не умел быть... [1] что прикажете делать, не могу быть взыскательным и строгим. Да и как мог приучить их к порядку, когда сам беспорядочен! Я бы их отпустил сейчас же на волю, да как-то устроен русский человек, как-то не может без понукателя... Так и задремлет, так и заплеснет.

— Ведь это, точно, странно,— сказал Платонов,— отчего это у нас так, что если не смотришь во все глаза за простым человеком, сделается и пьяницей и негодяем?

— От недостатка просвещения,— заметил Чичиков.

— Ну, бог весть отчего. Вот мы и просветились, а ведь как живем? Я и в университете был, и слушал лекции по всем частям, а искусству и порядку жить не только не выучился, а еще как бы больше выучился искусству побольше издерживать деньги на всякие новые утонченности да комфорты, больше познакомился с такими предметами, на которые нужны деньги. Оттого ли, что я бестолково учился? Только нет: ведь так и другие товарищи. Может быть, два-три человека извлекли себе настоящую пользу, да и то оттого, может, что и без того были умны, а прочие ведь только и стараются узнать то, что портит здоровье, да и выманивает деньги. Ей-богу! Ведь учиться приходили только затем, чтобы аплодировать профессорам, раздавать им награды, а не самим от них получать. Так из просвещенья-то мы все-таки выберем то, что погаже; наружность его схватим, а его самого <не> возьмем. Нет, Павел Иванович, не умеем мы жить отчего-то другого, а отчего, ей-богу, я не знаю.

— Причины должны быть,— сказал Чичиков.

Вздохнул глубоко бедный Хлобуев и сказал так:

— Иной раз, право, мне кажется, что будто русский человек — какой-то пропащий человек. Нет силы воли, нет отваги на постоянство. Хочешь все сделать — и ничего не можешь. Все ду-

[1] Одно слово в рукописи не прочтено.— *Ред.*

маешь — с завтрашнего дни начнешь новую жизнь, с завтрашнего дни примешься за все как следует, с завтрашнего дни сядешь на диету,— ничуть не бывало: к вечеру того же дни так объешься, что только хлопаешь глазами и язык не ворочается, как сова, сидишь, глядя на всех,— право и эдак все.

— Нужно в запасе держать благоразумие,— сказал Чичиков,— ежеминутно совещаться с благоразумием, вести с ним дружескую беседу.

— Да что! — сказал Хлобуев.— Право, мне кажется, мы совсем не для благоразумия рождены. Я не верю, чтобы из нас был кто-нибудь благоразумным. Если я вижу, что иной даже и порядочно живет, собирает и копит деньгу,— не верю я и тому! На старости и его черт попутает — спустит потом всё вдруг! И все у нас так: и благородные, и мужики, и просвещенные, и непросвещенные. Вон какой был умный мужик: из ничего нажил сто тысяч, а как нажил сто тысяч, пришла в голову дурь сделать ванну из шампанского, и выкупался в шампанском. Но вот мы, кажется, и все обсмотрели. Больше ничего нет. Хотите разве взглянуть на мельницу? Впрочем, в ней нет колеса, да и строенье никуда не годится.

— Что ж и рассматривать ее! — сказал Чичиков.

— В таком случае пойдем домой.— И они все направили шаги к дому.

На возвратном пути были виды те же. Неопрятный беспорядок так и выказывал отовсюду безобразную свою наружность. Все было опущено и запущено. Прибавилась только новая лужа посреди улицы. Сердитая баба, в замасленной дерюге, прибила до полусмерти бедную девчонку и ругала на все бока всех чертей. Поодаль два мужика глядели с равнодушием стоическим на гнев пьяной бабы. Один чесал у себя пониже спины, другой зевал. Зевота видна была на строениях. Крыши тоже зевали. Платонов, глядя на них, зевнул. «Мое-то будущее достоянье — мужики,— подумал Чичиков,— дыра на дыре и заплата на заплате!» И точно, на одной избе, вместо крыши, лежали целиком ворота; провалившиеся окна подперты были жердями, стащенными с господского амбара. Словом, в хозяйство введена была, кажется, система Тришкина кафтана: отрезывались обшлага и фалды на заплату локтей.

Они вошли в комнаты. Чичикова несколько поразило смешение нищеты с некоторыми блестящими безделушками позднейшей роскоши. Посреди изорванной утвари и мебели — новенькие бронзы. Какой-то Шекспир сидел на чернильнице; на столе лежала щегольская ручка слоновой кости для почесыванья себе самому спины. Хлобуев отрекомендовал им хозяйку жену. Она была хоть куда. В Москве не ударила бы лицом в <грязь>. Платье на ней было со вкусом, по моде. Говорить любила больше о городе да о

театре, который там завелся. По всему было видно, что деревню она любила еще меньше, чем муж, и что зевала она больше Платонова, когда оставалась одна. Скоро комната наполнилась детьми, девочками и мальчиками. Их было пятеро. Шестое принеслось на руках. Все были прекрасны. Мальчики и девочки — загляденье. Они были одеты мило и со вкусом, были резвы и веселы. И от этого было еще грустнее глядеть на них. Лучше бы одеты они были дурно, в простых нестрядевых юбках и рубашках, бегали себе по двору и ничем не отличались от простых крестьянских детей! К хозяйке приехала гостья. Дамы ушли на свою половину. Дети убежали вслед за ними. Мужчины остались одни.

Чичиков приступил к покупке. По обычаю всех покупщиков, сначала он охаял покупаемое имение. И, охаявши его со всех сторон, сказал:

— Какая же будет ваша цена?

— Видите ли что? — сказал Хлобуев.— Запрашивать с вас дорого не буду, да и не люблю: это было бы с моей стороны и бессовестно. Я от вас не скрою также и того, что в деревне моей из ста душ, числящихся по ревизии, и пятидесяти нет налицо: прочие или померли от эпидемической болезни, или отлучились беспаспортно, так что вы почитайте их как бы умершими. Поэтому-то я и прошу с вас всего только тридцать тысяч.

— Ну вот — тридцать тысяч! Именье запущено, люди мертвы, и тридцать тысяч! Возьмите двадцать пять тысяч.

— Павел Иванович! Я могу его заложить в ломбард в двадцать пять тысяч, понимаете ли это? Тогда я получаю двадцать пять тысяч и имение при мне. Продаю я единственно затем, что мне нужны скоро деньги, а при закладке была бы проволочка, надобно бы платить приказным, а платить нечем.

— Ну, да все-таки возьмите двадцать пять тысяч.

Платонову сделалось совестно за Чичикова.

— Покупайте, Павел Иванович,— сказал он.— За именье можно всегда дать эту <цену>. Если вы не дадите за него тридцать тысяч, мы с братом складываемся и покупаем.

Чичиков испугался...

— Хорошо! — сказал он.— Даю тридцать тысяч. Вот две тысячи задатку дам вам теперь, восемь тысяч через неделю, а остальные двадцать тысяч через месяц.

— Нет, Павел Иванович, только на том условии, чтобы деньги как можно скорее. Теперь вы мне дайте пятнадцать тысяч, по крайней мере, а остальные никак не дальше, как через две недели.

— Да нет пятнадцати тысяч! Десять у меня всего теперь. Дайте соберу.

То есть Чичиков лгал: у него было двадцать тысяч.

— Нет, пожалуйста, Павел Иванович! я говорю, что необходимо мне нужны пятнадцать тысяч.

— Да, право, недостает пяти тысяч. Не знаю сам откуда взять.

— Я вам займу,— подхватил Платонов.

— Разве эдак! — сказал Чичиков и подумал про себя: «А это, однако же, кстати, что он дает взаймы: в таком случае завтра можно будет привезти». Из коляски была принесена шкатулка, и тут же было из нее вынуто десять тысяч Хлобуеву; остальные же пять тысяч обещано было привезти ему завтра: то есть обещано; предполагалось же привезти три; другие потом, денька через два или три, а если можно, то и еще несколько просрочить. Павел Иванович как-то особенно не любил выпускать из рук денег. Если ж настояла крайняя необходимость, то все-таки казалось ему, лучше выдать деньги завтра, а не сегодня. То есть он поступал как все мы! Ведь нам приятно же поводить просителя. Пусть его натрет себе спину в передней! Будто уж и нельзя подождать ему! Какое нам дело до того, что, может быть, всякий час ему дорог и терпят оттого дела его! «Приходи, братец, завтра, а сегодня мне как-то некогда».

— Где ж вы после этого будете жить? — спросил Платонов Хлобуева.— Есть у вас другая деревушка?

— Деревушки нет, а я перееду в город. Все же равно это было нужно сделать не для себя, а для детей. Им нужны будут учителя закону божию, музыке, танцеванью. Ведь в деревне нельзя достать.

«Куска хлеба нет, а детей хочет учить танцеванью!» — подумал Чичиков.

«Странно!» — подумал Платонов.

— Что ж, нужно нам чем-нибудь вспрыснуть сделку,— сказал Хлобуев.— Эй, Кирюшка, принеси, брат, бутылку шампанского.

«Куска хлеба нет, а шампанское есть!» — подумал Чичиков.

Платонов не знал, что и думать.

Шампанское было принесено. Они выпили по три бокала и развеселились. Хлобуев развязался, стал умен и мил. Остроты и анекдоты сыпались у него беспрерывно. В речах его оказалось столько познанья людей и света! Так хорошо и верно видел он многие вещи, так метко и ловко очерчивал в немногих словах соседей помещиков, так видел ясно недостатки и ошибки всех, так хорошо знал историю разорившихся бар — и почему, и как, и отчего они разорились, так оригинально и метко умел передавать малейшие их привычки, что они оба были совершенно обворожены его речами и готовы были признать его за умнейшего человека.

— Послушайте,— сказал Платонов, схвативши его за руку,— как вам, при таком уме, опытности и познаниях житейских, не

найти средств выпутаться из вашего затруднительного положения?

— Средства-то есть,— сказал Хлобуев и вслед за тем выгрузил им целую кучу прожектов. Все они были до того нелепы, так странны, так мало истекали из познанья людей и света, что оставалось только пожимать плечами да говорить: «Господи боже! какое необъятное расстояние между *знаньем света* и уменьем пользоваться этим знаньем!» Почти все прожекты основывались на потребности вдруг достать откуда-нибудь сто или двести тысяч. Тогда, казалось ему, все бы устроилось как следует, и хозяйство бы пошло, и прорехи все бы заплатались, и доходы можно учетверить, и себя привести в возможность выплатить все долги. И оканчивал он речь свою: — Но что прикажете делать? Нет да и нет такого благодетеля, который бы решился дать двести или хоть сто тысяч взаймы! Видно, уж бог не хочет.

«Еще бы,— подумал Чичиков,— эдакому дураку послал бог двести тысяч!»

— Есть у меня, пожалуй, трехмиллионная тетушка,— сказал Хлобуев,— старушка богомольная: на церкви и монастыри дает, но помогать ближнему тугенька. А старушка очень замечательная. Прежних времен тетушка, на которую бы взглянуть стоило. У ней одних канареек сотни четыре. Моськи, и приживалки, и слуги, каких уж теперь нет. Меньшому из слуг будет лет шестьдесят, хоть она и зовет его: «Эй, малый!» Если гость как-нибудь себя не так поведет, так она за обедом прикажет обнести его блюдом. И обнесут, право.

Платонов усмехнулся.

— А как ее фамилия и где она проживает? — спросил Чичиков.

— Живет она у нас же в городе — Александра Ивановна Ханасарова.

— Отчего ж вы не обратитесь к ней? — сказал с участьем Платонов.— Мне кажется, если бы она только поближе вошла в положенье вашего семейства, она бы не в силах была отказать вам, как бы ни была туга.

— Ну нет, в силах! У тетушки натура крепковата. Это старушка — кремень, Платон Михайлыч! Да к тому ж есть и без меня угодники, которые около нее увиваются. Там есть один, который метит в губернаторы, приплелся ей в родню... бог с ним! может быть, и успеет! Бог с ними со всеми! Я подъезжать и прежде не умел, а теперь и подавно: спина уж не гнется.

«Дурак! — подумал Чичиков.— Да я бы за этакой тетушкой ухаживал, как нянька за ребенком!»

— Что ж, ведь этак разговаривать сухо,— сказал Хлобуев.— Эй, Кирюшка! принеси-ка еще другую бутылку шампанского.

— Нет, нет, я больше не буду пить,— сказал Платонов.

— Я также,— сказал Чичиков. И оба отказались они решительно.

— Ну, так, по крайней мере, дайте мне слово побывать у меня в городе: восьмого июня я даю обед нашим городским сановникам.

— Помилуйте! — воскликнул Платонов.— В таком состоянии, разорившись совершенно,— и еще обед?

— Что же делать? нельзя. Это долг,— сказал Хлобуев.— Они меня также угощали.

«Что с ним делать?» — подумал Платонов. Он еще не знал того, что на Руси, на Москве и других городах, водятся такие мудрецы, которых жизнь — необъяснимая загадка. Все, кажется, прожил, кругом в долгах, ниоткуда никаких средств, и обед, который задается, кажется, последний; и думают обедающие, что завтра же хозяина потащут в тюрьму. Проходит после того десять лет — мудрец все еще держится на свете, еще больше прежнего кругом в долгах и так же задает обед, и все думают, что он последний, и все уверены, что завтра же потащут хозяина в тюрьму. Такой же мудрец был Хлобуев. Только на одной Руси можно было существовать таким образом. Не имея ничего, он угощал и хлебосольничал, и даже оказывал покровительство, поощрял всяких артистов, приезжавших в город, давал им у себя приют и квартиру. Если <бы> кто заглянул в дом его, находившийся в городе, он бы никак не узнал, кто в нем хозяин. Сегодня поп в ризе служил там молебен, завтра давали репетицию французские актеры. В иной день какой-нибудь, не известный никому почти в дому, поселялся в самой гостиной с бумагами и заводил там кабинет, и это не смущало, не беспокоило никого в доме, как бы было житейское дело. Иногда по целым дням не бывало крохи в доме, иногда же задавали в нем такой обед, который удовлетворил бы вкусу утонченнейшего гастронома. Хозяин являлся праздничный, веселый, с осанкой богатого барина, с походкой человека, которого жизнь протекает в избытке и довольстве. Зато временами бывали такие тяжелые минуты, что другой давно бы на его месте повесился или застрелился. Но его спасало религиозное настроение, которое странным образом совмещалось в нем с беспутною его жизнью. В эти горькие, тяжелые минуты развертывал он книгу и читал жития страдальцев и тружеников, воспитывавших дух свой быть превыше страданий и несчастий. Душа его в это время вся размягчалась, умилялся дух и слезами исполнялись глаза его. И — странное дело! — почти всегда приходила к нему в то время откуда-нибудь неожиданная помощь. Или кто-нибудь из старых

друзей его вспоминал о нем и присылал ему деньги; или какая-нибудь проезжая незнакомка, нечаянно услышав о нем историю, с стремительным великодушьем женского сердца присылала ему богатую подачу; или выигрывалось где-нибудь в пользу его дело, о котором он никогда и не слышал. Благоговейно, благодарно признавал он тогда необъятное милосердье провиденья, служил благодарственный молебен и — вновь начинал беспутную жизнь свою.

— Жалок он мне, право, жалок! — сказал Чичикову Платонов, когда они, простившись с ним, выехали от него.

— Блудный сын! — сказал Чичиков.— О таких людях и жалеть нечего.

И скоро они оба перестали о нем думать: Платонов — потому, что лениво и полусонно смотрел на положенья людей, так же как и на все в мире. Сердце его сострадало и щемило при виде страданий других, но впечатленья как-то не впечатлевались глубоко в его душе. Он потому не думал о Хлобуеве, что и о себе самом не думал. Чичиков потому не думал о Хлобуеве, что все мысли были заняты приобретенною покупкою. Он исчислял, рассчитывал и соображал все выгоды купленного имения. И как ни рассматривал, на какую сторону ни оборачивал дело, видел, что во всяком случае покупка была выгодна. Можно было поступить и так, чтобы заложить именье в ломбард. Можно было поступить и так, чтобы заложить одних только мертвецов и беглых. Можно было поступить и так, чтобы прежде выпродать по частям все лучшие земли, а потом уже заложить в ломбард. Можно было распорядиться и так, чтобы заняться самому хозяйством и сделаться помещиком, по образцу Костанжогла, пользуясь его советами, как соседа и благодетеля. Можно было поступить даже и так, чтобы перепродать в частные <руки> имение (разумеется, если не захочется самому хозяйничать), оставивши при себе беглых и мертвецов. Тогда представлялась и другая выгода: можно было вовсе улизнуть из этих мест и не заплатить Костанжогле денег, взятых у него взаймы. Словом, всячески, как ни оборачивал он это дело, видел, что во всяком случае покупка была выгодна. Он почувствовал удовольствие,— удовольствие оттого, что стал теперь помещиком, помещиком не фантастическим, но действительным, помещиком, у которого есть уже и земли, и угодья, и люди — люди не мечтательные, не в воображенье пребываемые, но существующие. И понемногу начал он и подпрыгивать, и потирать себе руки, и подпевать, и приговаривать, и вытрубил на кулаке, приставивши его себе ко рту, как бы на трубе, какой-то марш, и даже выговорил вслух несколько поощрительных слов и названий себе самому, вроде мордашки и каплунчика. Но потом, вспомнивши, что он не один, притихнул вдруг, поста-

рался кое-как замять неумеренный порыв восторгновенья, и когда Платонов, принявши кое-какие из этих звуков за обращенную к нему речь, спросил у него: «Чего?» — он отвечал: «Ничего».

Тут только, оглянувшись вокруг себя, он заметил, что они ехали прекрасною рощей; миловидная березовая ограда тянулась у них справа и слева. Между дерев мелькала белая каменная церковь. В конце улицы показался господин, шедший к ним навстречу, в картузе, с суковатой палкой в руке. Облизанный аглицкий пес на высоких ножках бежал перед ним.

— Стой! — сказал Платонов кучеру и выскочил из коляски.

Чичиков вышел вслед за ним также из коляски. Они пошли пешком навстречу господину. Ярб уже успел облобызаться с аглицким псом, с которым, как видно, был знаком уже давно, потому что принял равнодушно в свою толстую морду живое лобызанье Азора (так назывался аглицкий пес). Проворный пес, именем Азор, облобызавши Ярба, подбежал к Платонову, лизнул проворным языком ему руки, вскочил на грудь Чичикова с намереньем лизнуть его в губы, но не достал и, оттолкнутый им, побежал снова к Платонову, пробуя лизнуть его хоть в ухо.

Платон и господин, шедший навстречу, в это время сошлись и обнялись.

— Помилуй, брат Платон! что это ты со мною делаешь? — живо спросил господин.

— Как что? — равнодушно отвечал Платонов.

— Да как же в самом деле: три дни от тебя ни слуху ни духу! Конюх от Петуха привел твоего жеребца. «Поехал, говорит, с каким-то барином». Ну, хоть бы слово сказал: куды, зачем, на сколько времени? Помилуй, братец, как же можно этак поступать? А я бог знает чего не передумал в эти дни!

— Ну что ж делать? позабыл,— сказал Платонов.— Мы заехали к Константину Федоровичу... Он тебе кланяется, сестра также. Рекомендую тебе Павла Ивановича Чичикова. Павел Иванович,— брат Василий. Прошу полюбить его так же, как и меня.

Брат Василий и Чичиков, снявши картузы, поцеловались.

«Кто бы такой был этот Чичиков? — думал брат Василий.— Брат Платон на знакомства неразборчив и, верно, не узнал, что он за человек». И оглянул он Чичикова, насколько позволяло приличие, и увидел, что он стоял, несколько наклонивши голову и сохранив приятное выраженье в лице.

Со своей стороны Чичиков оглянул также, насколько позволяло приличие, брата Василия. Он был ростом пониже Платона, волосом темней его и лицом далеко не так красив; но в чертах его лица было много жизни и одушевленья. Видно было, что он не пребывал в дремоте и спячке.

— Знаешь ли, Василий, что я придумал? — сказал брат Платон.

— Что? — спросил Василий.

— Проездиться по святой Руси, вот именно с Павлом Ивановичем: авось-либо это размычет и растеребит хандру мою.

— Как же так вдруг решился?..— начал было говорить Василий, озадаченный не на шутку таким решеньем, и чуть было не прибавил: «И еще замыслил ехать с человеком, которого видишь в первый раз, который, может быть, и дрянь, и черт знает что!» И, полный недоверия, стал он рассматривать искоса Чичикова и увидел, что он держался необыкновенно прилично, сохраняя все то же приятное наклоненье головы несколько набок и почтительно-приветное выражение в лице, так что никак нельзя было узнать, какого роду был Чичиков.

В молчанье они пошли все трое по дороге, по левую руку которой находилась мелькавшая промеж дерев белая каменная церковь, по правую — начинавшие показываться, также промеж дерев, строенья господского двора. Наконец показались и ворота. Они вступили на двор, где был старинный господский дом под высокой крышей. Две огромные липы, росшие посреди двора, покрывали почти половину его своею тенью. Сквозь опущенные вниз развесистые их ветви едва сквозили стены дома, находившегося позади их. Под липами стояло несколько длинных скамеек. Брат Василий пригласил Чичикова садиться. Чичиков сел, и Платонов сел. По всему двору разливалось благоуханье цветущих сиреней и черемух, которые, нависши отовсюду из саду в двор через миловидную березовую ограду, кругом его обходившую, казалися цветущею цепью или бисерным ожерельем, его короновавшим.

Ухватливый и ловкий детина лет семнадцати, в красивой рубашке розовой ксандрейки, принес и поставил перед ними графины с водой и разноцветными квасами всех сортов, шипевшими, как газовые лимонады. Поставивши пред ними графины, он подошел к дереву и, взявши прислоненный к нему заступ, отправился в сад. У братьев Платоновых вся дворня работала в саду, все слуги были садовники, или лучше сказать, слуг не было, но садовники исправляли иногда эту должность. Брат Василий все утверждал, что без слуг можно обойтись. Подать что-пибудь может всякий, и для этого не стоит заводить особого сословья; что будто русский человек по тех пор только хорош, и расторопен, и красив, и развязен, и много работает, покуда он ходит в рубашке и зипуне, но что, как только заберется в немецкий сертук — станет и неуклюж, и некрасив, и нерасторопен, и лентяй. Он утверждал, что и чистоплотность у него содержится по тех пор, покуда он еще носит рубашку и зипун, и что, как только заберется в немецкий сер-

тук — и рубашки не переменяет, и в баню не ходит, и спит в сертуке, и заведутся у него под сертуком и клопы, и блохи, и черт знает что. В этом, может быть, он был и прав. В деревне их народ одевался как-то особенно щеголевато и опрятно, и таких красивых рубашек и зипунов нужно было далеко поискать.

— Не угодно ли вам прохладиться? — сказал брат Василий Чичикову, указывая на графины.— Это квасы нашей фабрики; ими издавна славится дом наш.

Чичиков налил стакан из первого графина — точно липец, который он некогда пивал в Польше: игра как у шампанского, а газ так и шибнул приятным кручком изо рта в нос.

— Нектар! — сказал Чичиков. Выпил стакан от другого графина — еще лучше.

— В какую же сторону и в какие места предполагаете преимущественно ехать? — спросил брат Василий.

— Еду я,— сказал Чичиков, потирая себе рукой по колену, в сопровожденье легкого покачиванья всего туловища и наклоняя голову набок,— не столько по своей нужде, сколько по нужде другого. Генерал Бетрищев, близкий приятель и, можно сказать, благотворитель, просил навестить родственников. Родственники, конечно, родственниками, но отчасти, так сказать, и для самого себя, ибо,— не говоря уже о пользе в геморроидальном отношении,— видеть свет и коловращенье людей — есть уже само по себе, так сказать, живая книга и вторая наука.

Брат Василий задумался. «Говорит этот человек несколько витиевато, но в словах его есть правда,— думал <он>.— Брату моему Платону недостает познания людей, света и жизни». Несколько помолчав, сказал так вслух:

— Я начинаю думать, Платон, что путешествие может, точно, расшевелить тебя. У тебя душевная спячка. Ты просто заснул, и заснул не от пресыщения или усталости, но от недостатка живых впечатлений и ощущений. Вот я совершенно напротив. Я бы очень желал не так живо чувствовать и не так близко принимать к сердцу все, что ни случается.

— Вольно ж принимать все близко к сердцу! — сказал Платон.— Ты выискиваешь себе беспокойства и сам сочиняешь себе тревоги.

— Как сочинять, когда и без того на всяком шагу неприятность? — сказал Василий.— Слышал ты, какую без тебя сыграл с нами штуку Леницын? Захватил пустошь, где у нас празднуют красную горку.

— Не знает, потому и захватил,— сказал Платон,— человек новый, только что приехал из Петербурга. Ему нужно объяснить, растолковать.

— Знает, очень знает. Я посылал ему сказать, но он отвечал грубостью.

— Тебе нужно было съездить самому растолковать. Переговори с ним сам.

— Ну нет. Он чересчур уже заважничал. Я к нему не поеду. Поезжай, если хочешь, ты.

— Я бы поехал, но ведь я не мешаюсь. Он может меня и провести и обмануть.

— Да если угодно, так я поеду,— сказал Чичиков.

Василий взглянул на него и подумал: «Экой охотник ездить!»

— Вы мне подайте только понятие, какого рода он человек,— сказал Чичиков,— и в чем дело.

— Мне совестно наложить на вас такую неприятную комиссию, потому что одно изъяснение с таким человеком для меня уже неприятная комиссия. Надобно вам сказать, что он из простых, мелкопоместных дворян нашей губернии, выслужился в Петербурге, вышел кое-как в люди, женившись там на чьей-то побочной дочери, и заважничал. Задает здесь тоны. Да у нас в губернии, слава богу, народ живет не глупый: мода нам не указ, а Петербург — не церковь.

— Конечно,— сказал Чичиков,— а дело в чем?

— А дело по-настоящему, вздор. У него нет достаточно земли,— ну, он и захватил чужую пустошь, то есть он рассчитывал, что она не нужна, и о ней хозяева <забыли>, а у нас, как нарочно, уже испокон века собираются крестьяне праздновать там красную горку. По этому-то поводу я готов пожертвовать лучше другими лучшими землями, чем отдать ее. Обычай для меня — святыня.

— Стало быть, вы готовы уступить ему другие земли?

— То есть, если бы он не так со мной поступил; но он хочет, как я вижу, знаться судом. Пожалуй, посмотрим, кто выиграет. Хоть на плане и не так ясно, но есть свидетели — старики еще живы и помнят.

«Гм! — подумал Чичиков.— Оба-то, как вижу, с душком». И сказал вслух:

— А мне кажется, что это дело обделать можно миролюбно. Все зависит от посредника. Письмен... [1]

. . . . . .

...что и для вас самих будет очень выгодно перевесть, например, на мое имя всех умерших душ, какие по сказкам последней реви-

[1] В рукописи отсутствуют две страницы. В первом издании второго тома «Мертвых душ» (1855) примечание: «Здесь пропуск, в котором, вероятно, содержался рассказ о том, как Чичиков отправился к помещику Ленитцыну».— *Ред.*

зии числятся в имениях ваших, так, чтобы я за них платил подати. А чтобы не подать какого соблазна, то передачу эту вы совершите посредством купчей крепости, как бы эти души были живые.

«Вот тебе на! — подумал Леницын.— Это что-то престранное». И несколько даже отодвинулся со стулом назад, потому что совершенно озадачился.

— Я никак в том не сомневаюсь, что вы на это дело совершенно будете согласны,— сказал Чичиков,— потому что это дело совершенно в том роде, как мы сейчас говорили. Совершено оно будет между солидными людьми втайне, и соблазна никому.

Что тут делать? Леницын очутился в затруднительном положении. Он никак не мог предвидеть, чтобы мнение, им незадолго изъявленное, привело его к такому быстрому осуществленью на деле. Предложение было до крайности неожиданно. Конечно, ничего вредоносного ни для кого не могло быть в этом поступке: помещики все равно заложили бы также эти души наравне с живыми, стало быть, казне убытку не может быть никакого; разница в том, что они были бы в одних руках, а тогда были бы в разных. Но тем не менее он затруднился. Он был законник и делец, и делец в хорошую сторону: неправо не решил бы он дела ни за какие подкупы. Но тут он остановился, не зная, какое имя дать этому действию — правое ли оно или неправое. Если бы кто-нибудь другой обратился к нему с таким предложением, он мог бы сказать: «Это вздор! пустяки! Я не хочу играть в куклы или дурачиться». Но гость уже так ему понравился, так они сошлись во многом насчет успехов просвещенья и наук,— как отказать? Леницын находился в презатруднительном положении.

Но в это время, точно как будто затем, чтобы помочь горю, вошла в комнату молодая курносенькая хозяйка, супруга Леницына, и бледная, и худенькая, и низенькая, и одетая со вкусом, как все петербургские дамы. За нею был вынесен мамкой на руках ребенок-первенец, плод нежной любви недавно бракосочетавшихся супругов. Чичиков, разумеется, подошел тот же час к даме и, не говоря уже о приличном приветствии, одним приятным наклоненьем головы набок много расположил ее в свою пользу. Затем подбежал к ребенку. Тот было разревелся; но, однако же, Чичикову удалось словами: «Агу, агу, душенька!» — пощелкиваньем пальцев и сердоликовой печаткой от часов переманить его на руки к себе. Взявши его к себе на руки, начал он приподымать его кверху и тем возбудил в ребенке приятную усмешку, которая очень обрадовала обоих родителей.

Но от удовольствия ли или от чего-нибудь другого, ребенок вдруг повел себя нехорошо. Жена Леницына закричала:

— Ах, боже мой! он вам испортил весь фрак!

Чичиков посмотрел: рукав новешенького фрака был весь испорчен. «Пострел бы тебя побрал, чертенок проклятый!» — пробормотал он в сердцах про себя.

Хозяин, и хозяйка, и мамка — все побежали за одеколоном; со всех сторон принялись его вытирать.

— Ничего, ничего, совершенно ничего,— говорил Чичиков.— Может ли что-нибудь невинный ребенок? — И в то же время думал про себя: «Да ведь как метко обделал, канальчонок проклятый!» — Золотой возраст! — сказал он, когда уже его совершенно вытерли и приятное выражение возвратилось на его лицо.

— А ведь точно,— сказал хозяин, обратившись к Чичикову, тоже с приятной улыбкой,— что может быть завидней ребяческого возраста: никаких забот, никаких мыслей о будущем...

— Состоянье, на которое можно сей же час поменяться,— сказал Чичиков.

— За глаза,— сказал Леницын.

Но, кажется, оба соврали: предложи им такой обмен, они бы тут же на попятный двор. Да и что за радость сидеть у мамки на руках да портить фраки!

Молодая хозяйка и первенец удалились с мамкой, потому что и на нем требовалось кое-что поправить: наградив Чичикова, он и себя не позабыл.

Это, по-видимому, незначительное обстоятельство совершенно преклонило хозяина к удовлетворению Чичикова. Как, в самом деле, отказать такому гостю, который столько ласк оказал его малютке и великодушно поплатился за то собственным фраком? Леницын думал так: «Почему ж, в самом деле, не исполнить его просьбы, если уж такое его желание?» [1] . . . . . .

## <ОДНА ИЗ ПОСЛЕДНИХ ГЛАВ> [2]

В то самое время, когда Чичиков в персидском новом халате из золотистой термаламы, развалясь на диване, торговался с заезжим контрабандистом-купцом жидовского происхождения и немецкого выговора, и перед ними уже лежали купленная штука первейшего голландского полотна на рубашки и две бумажные коробки с отличнейшим мылом первостатейнейшего свойства (это было мыло то именно, которое он некогда приобретал на радзивилловской таможне; оно имело действительно свойство сообщать нежность и белизну щекам изумительную),— в то время, когда он, как

[1] Окончание главы в рукописи отсутствует.— *Ред.*

[2] Из более ранней, чем остальные главы, редакции.— *Ред.*

знаток, покупал эти необходимые для воспитанного человека продукты, раздался гром подъехавшей кареты, отозвавшийся легким дрожаньем комнатных окон и стен, и вошел его превосходительство Алексей Иванович Леницын.

— На суд вашего превосходительства представляю: каково полотно, и каково мыло, и какова эта вчерашнего дни купленная вещица! — При этом Чичиков надел на голову ермолку, вышитую золотом и бусами, и очутился, как персидский шах, исполненный достоинства и величия.

Но его превосходительство, не отвечая на вопрос, сказал с озабоченным видом:

— Мне нужно с вами поговорить об деле.

В лице его заметно было расстройство. Почтенный купец немецкого выговора был тот же час выслан, и они остались <одни>.

— Знаете ли вы, какая неприятность? Отыскалось другое завещание старухи, сделанное назад тому пять <лет>. Половина именья отдается на монастырь, а другая — обеим воспитанницам пополам, и ничего больше никому.

Чичиков оторопел.

— Ну это завещанье — вздор. Оно ничего не значит, оно уничтожено вторым.

— Но ведь это не сказано в последнем завещании, что им уничтожается первое.

— Это само собою разумеется: последнее уничтожает первое. Первое завещанье никуда не годится. Я знаю хорошо волю покойницы. Я был при ней. Кто его подписал? кто были свидетели?

— Засвидетельствовано оно, как следует, в суде. Свидетелем был бывший совестный судья Бурмилов и Хаванов.

«Худо,— подумал Чичиков,— Хаванов, говорят, честен; Бурмилов — старый ханжа, читает по праздникам «Апостола» в церквях».

— Но вздор, вздор,— сказал он вслух и тут же почувствовал решимость на все штуки.— Я знаю это лучше: я участвовал при последних минутах покойницы. Мне это лучше всех известно. Я готов присягнуть самолично.

Слова эти и решимость на минуту успокоили Леницына. Он был очень взволнован и уже начинал было подозревать, не было ли со стороны Чичикова какой-нибудь фабрикации относительно завещания. Теперь укорил себя в подозрении. Готовность присягнуть была явным доказательством, что Чичиков <невинен>. Не знаем мы, точно ли достало бы духу у Павла Ивановича присягнуть на святом, но сказать это достало духа.

— Будьте покойны, я переговорю об этом деле с некоторыми юрисконсультами. С вашей стороны тут ничего не должно прила-

гать; вы должны быть совершенно в стороне. Я же теперь могу жить в городе, сколько мне угодно.

Чичиков тот же час приказал подать экипаж и отправился к юрисконсульту. Этот юрисконсульт был опытности необыкновенной. Уже пятнадцать лет, как он находился под судом, и так умел распорядиться, что никак нельзя было отрешить от должности. Все знали его, за подвиги его следовало бы шесть раз уже послать на поселенье. Кругом и со всех сторон был он в подозрениях, но никаких нельзя было возвести явных и доказанных улик. Тут было действительно что-то таинственное, и его бы можно было смело признать колдуном, если бы история, нами описанная, принадлежала временам невежества.

Юрисконсульт поразил холодностью своего вида, замасленностью своего халата, представлявшего совершенную противуположность хорошим мебелям красного дерева, золотым часам под стеклянным колпаком, люстре, сквозившей сквозь кисейный чехол, ее сохранявший, и вообще всему, что было вокруг и носило на себе яркую печать блистательного европейского просвещения.

Не останавливаясь, однако ж, скептической наружностью юрисконсульта, Чичиков объяснил затруднительные пункты дела и в заманчивой перспективе изобразил необходимо последующую благодарность за добрый совет и участие.

Юрисконсульт отвечал на это изображеньем неверности всего земного и дал тоже искусно заметить, что журавль в небе ничего не значит, а нужно синицу в руку.

Нечего делать: нужно было дать синицу в руки. Скептическая холодность философа вдруг исчезла. Оказалось, что это был наидобродушнейший человек, наиразговорчивый и наиприятнейший в разговорах, не уступавший ловкостью оборотов самому Чичикову.

— Позвольте вам вместо того, чтобы заводить длинное дело, вы, верно, не хорошо рассмотрели самое завещание: там, верно, есть какая-нибудь приписочка. Вы возьмите его на время к себе. Хотя, конечно, подобных вещей на дом брать запрещено, но если хорошенько попросить некоторых чиновников... Я с своей стороны употреблю мое участие.

«Понимаю»,— подумал Чичиков и сказал:

— В самом деле, я, точно, хорошо не помню, есть ли там приписочка или нет,— точно как будто и не сам писал это завещание.

— Лучше всего вы это посмотрите. Впрочем, во всяком случае,— продолжал он весьма добродушно,— будьте всегда покойны и не смущайтесь ничем, даже если бы и хуже что произошло. Никогда и ни в чем не отчаивайтесь: нет дела неисправимого. Смотрите на меня: я всегда покоен. Какие бы ни были возводимы на меня казусы, спокойствие мое непоколебимо.

Лицо юрисконсульта-философа пребывало действительно в необыкновенном спокойствии, так что Чичиков много...[1]

— Конечно, это первая вещь,— сказал <он>.— Но согласитесь, однако ж, что могут быть такие случаи и дела, такие дела и такие поклепы со стороны врагов, и такие затруднительные положения, что отлетит всякое спокойствие.

— Поверьте мне, это малодушие,— отвечал очень покойно и добродушно философ-юрист.— Старайтесь только, чтобы производство дела было все основано на бумагах, чтобы на словах ничего не было. И как только увидите, что дело идет к развязке и удобно к решению, старайтесь — не то чтобы оправдывать и защищать себя,— нет, просто спутать новыми вводными и так посторонними статьями.

— То есть, чтобы...

— Спутать, спутать,— и ничего больше,— отвечал философ,— ввести в это дело посторонние, другие обстоятельства, которые запутали <бы> сюда и других, сделать сложным — и ничего больше. И там пусть приезжий петербургский чиновник разбирает. Пусть разбирает, пусть его разбирает! — повторил он, смотря с необыкновенным удовольствием в глаза Чичикову, как смотрит учитель ученику, когда объясняет ему заманчивое место из русской грамматики.

— Да, хорошо, если подберешь такие обстоятельства, которые способны пустить в глаза мглу,— сказал Чичиков, смотря тоже с удовольствием в глаза философа, как ученик, который понял заманчивое место, объясняемое учителем.

— Подберутся обстоятельства, подберутся! Поверьте: от частого упражнения и голова сделается находчивою. Прежде всего помните, что вам будут помогать. В сложности дела выигрыш многим: и чиновников нужно больше, и жалованья им больше... Словом, втянуть в дело побольше лиц. Нет нужды, что иные напрасно попадут: да ведь им же оправдаться легко, им нужно отвечать на бумаги, им нужно о<т>купиться... Вот уж и хлеб... Поверьте мне, что, как только обстоятельства становятся критические, первое дело спутать. Так можно спутать, так все перепутать, что никто ничего не поймет. Я почему спокоен? Потому что знаю: пусть только дела мои пойдут похуже, да я всех впутаю в свое — и губернатора, и вице-губернатора, и полицеймейстера, и казначея,— всех запутаю. Я знаю все их обстоятельства: и кто на кого сердится, и кто на кого дуется, и кто кого хочет упечь. Там, пожалуй, пусть их выпутываются, да покуда они выпутаются, другие успеют нажиться. Ведь только в мутной воде и ловятся раки. Все только ждут, чтобы запу-

---

[1] Фраза в рукописи не дописана.— *Ред.*

тать.— Здесь юрист-философ посмотрел Чичикову в глаза опять с тем наслажденьем, с каким учитель объясняет ученику еще заманчивейшее место из русской грамматики.

«Нет, этот человек, точно, мудрец»,— подумал про себя Чичиков и расстался с юрисконсультом в наиприятнейшем и в наилучшем расположении духа.

Совершенно успокоившись и укрепившись, он с небрежною ловкостью бросился на эластические подушки коляски, приказал Селифану откинуть кузов назад (к юрисконсульту он ехал с поднятым кузовом и даже застегнутой кожей) и расположился, точь-в-точь как отставной гусарский полковник или сам Вишнепокромов — ловко подвернувши одну ножку под другую, обратя с приятностью ко встречным лицо, сиявшее из-под шелковой новой шляпы, надвинутой несколько на ухо. Селифану было приказано держать направленье к гостиному двору. Купцы, и приезжие и туземные, стоя у дверей лавок, почтительно снимали шляпы, и Чичиков, не без достоинства, приподнимал им в ответ свою. Многие из них уже были ему знакомы; другие были хоть приезжие, но, очарованные ловким видом умеющего держать себя господина, приветствовали его, как знакомые. Ярмарка в городе Тьфуславле не прекращалась. Отошла конная и земледельческая, началась — с красными товарами для господ просвещенья высшего. Купцы, приехавшие на колесах, располагали назад не иначе возвращаться, как на санях.

— Пожалуте-с, пожалуте-с! — говорил у суконной лавки, учтиво рисуясь, с открытою головою, немецкий сюртук московского шитья, с шляпой в руке на отлете, только чуть державший двумя пальцами бритый круглый подбородок и выраженье тонкости просвещенья в лице.

Чичиков вошел в лавку.

— Покажите-ка мне, любезнейший, суконца.

Благоприятный купец тотчас приподнял вверх открывавшуюся доску с стола и, сделавши таким образом себе проход, очутился в лавке, спиною к товару и лицом к покупателю.

Ставши спиной к товарам и лицом к покупателю, купец, с обнаженной головою и шляпой на отлете, еще раз приветствовал Чичикова. Потом надел шляпу и, приятно нагнувшись, обеими же руками упершись в стол, сказал так:

— Какого рода сукон-с? английских мануфактур или отечественной фабрикации предпочитаете?

— Отечественной фабрикации,— сказал Чичиков,— но только именно лучшего сорта, который называется аглицким.

— Каких цветов пожелаете иметь? — вопросил купец, все так <же> приятно колеблясь на двух упершихся в стол руках.

— Цветов темных, оливковых или бутылочных с искрою, приближающихся, так сказать, к бруснике,— сказал Чичиков.

— Могу сказать, что получите первейшего сорта, лучше которого <нет> в обеих столицах,— говорил купец, потащившись доставать сверху штуку; бросил ее ловко на стол, разворотил с другого конца и поднес к свету.— Каков отлив-с! Самого модного, последнего вкуса!

Сукно блистало, как шелковое. Купец чутьем пронюхал, что перед ним стоит знаток сукон, и не захотел начинать с десятирублевого.

— Порядочное,— сказал Чичиков, слегка погладивши.— Но знаете ли, почтеннейший? покажите мне сразу то, что вы напоследок показываете, да и цвету больше того... больше искрасна, чтобы искры были.

— Понимаю-с: вы истинно желаете такого цвета, какой нонче в Пе<тербурге в моду> входит. Есть у меня сукно отличнейшего свойства. Предуведомляю, что высокой цены, но и высокого достоинства.

— Давайте.

О цене ни слова.

Штука упала сверху. Купец ее развернул еще с большим искусством, поймал другой конец и развернул точно шелковую материю, поднес ее Чичикову так, что <тот> имел возможность не только рассмотреть его, но даже понюхать, сказавши только:

— Вот-с сукно-с! цвету наваринского дыму с пламенем.

О цене условились. Железный аршин, подобный жезлу чародея, отхватал тут же Чичикову на фрак <и> на панталоны. Сделавши ножницами нарезку, купец произвел обеими руками ловкое дранье сукна во всю его ширину, при окончанье которого поклонился Чичикову с наиобольстительнейшею приятностью. Сукно тут же было свернуто и ловко заворочено в бумагу; сверток завертелся под легкой бечевкой. Чичиков хотел было лезть в карман, но почувствовал, <что> поясницу его приятно окружает чья-то весьма деликатная рука, и уши его услышали:

— Что вы здесь покупаете, почтеннейший?

— А, приятнейше неожиданная встреча! — сказал Чичиков.

— Приятное столкновенье,— сказал голос того же самого, который окружил его поясницу. Это был Вишнепокромов.— Готовился было пройти лавку без вниманья, вдруг вижу знакомое лицо — как отказаться от приятного удовольствия! Нечего сказать, сукна в этом году несравненно лучше. Ведь это стыд, срам! Я никак не мог было отыскать... Я готов тридцать рублей, сорок рублей... возьми пятьдесят даже, но дай хорошего. По мне, или иметь

вещь, которая бы, точно, была уже отличнейшая, или уж лучше вовсе не иметь. Не так ли?

— Совершенно так! — сказал Чичиков.— Зачем же трудиться, как не затем, чтобы, точно, иметь хорошую вещь?

— Покажите мне сукна средних цен,— раздался позади голос, показавшийся Чичикову знакомым. Он оборотился: это был Хлобуев. По всему видно было, что он покупал сукно не для прихоти, потому что сертучок был больно протерт.

— Ах, Павел Иванович! позвольте мне с вами наконец поговорить. Вас нигде не встретишь. Я был несколько раз — все вас нет и нет.

— Почтеннейший, я так был занят, что, ей-ей, нет времени.— Он поглядел по сторонам, как бы от объясненья улизнуть, и увидел входящего в лавку Муразова. —Афанасий Васильевич! Ах, боже мой! — сказал Чичиков.— Вот приятное столкновение!

И вслед за ним повторил Вишнепокромов:

— Афанасий Васильевич!

<Хлобуев> повторил:

— Афанасий Васильевич!

И, наконец, благовоспитанный купец, отнеся шляпу от головы настолько, сколько могла рука, и весь подавшись вперед, произнес:

— Афанасию Васильевичу наше нижайшее почтенье!

На лицах напечатлелась та собачья услужливость, какую оказывает миллионщикам собачье отродье людей.

Старик раскланялся со всеми и обратился прямо к Хлобуеву:

— Извините меня: я, увидевши издали, как вы вошли в лавку, решился вас побеспокоить. Если вам будет после свободно и по дороге мимо моего дома, так сделайте милость, зайдите на малость времени. Мне с вами нужно будет переговорить.

Хлобуев сказал:

— Очень хорошо, Афанасий Васильевич.

— Какая прекрасная погода у нас, Афанасий Васильевич,— сказал Чичиков.

— Не правда ли, Афанасий Васильевич,— подхватил Вишнепокромов,— ведь это необыкновенно.

— Да-с, благодаря бога недурно. Но нужно бы дождичка для посева.

— Очень, очень бы нужно,— сказал Вишнепокромов,— даже и для охоты хорошо.

— Да, дождичка бы очень не мешало,— сказал Чичиков, которому не нужно было дождика, но как уже приятно согласиться с тем, у кого миллион.

И старик, раскланявшись снова со всеми, вышел.

— У меня просто голова кружится,— сказал Чичиков,— как

подумаешь, что у этого человека десять миллионов. Это просто даже невероятно.

— Противузаконная, однако ж, вещь,— сказал Вишнепокромов,— капиталы не должны быть в одних <руках>. Это теперь предмет трактатов во всей Европе. Имеешь деньги,— ну, сообщай другим: угощай, давай балы, производи благодетельную роскошь, которая дает хлеб мастерам, ремесленникам.

— Это я не могу понять,— сказал Чичиков.— Десять миллионов — и живет как простой мужик! Ведь это с десятью мильонами черт знает что можно сделать. Ведь это можно так завести, что и общества другого у тебя не будет, как генералы да князья.

— Да-с,— прибавил купец,— у Афанасия Васильевича при всех почтенных качествах непросветительности много. Если купец почтенный, так уж он не купец, он некоторым образом есть уже негоциант. Я уж тогда должен себе взять и ложу в театре, и дочь уж я за простого полковника — нет-с, не выдам: я за генерала, иначе я ее не выдам. Что мне полковник? Обед мне уж должен кондитер поставлять, а не то что кухарка...

— Да что говорить! помилуйте,— сказал Вишнепокромов,— с десятью миллионами чего не сделать? Дайте мне десять миллионов,— вы посмотрите, что я сделаю!

«Нет,— подумал Чичиков,— ты-то не много сделаешь толку с десятью миллионами. А вот если б мне десять миллионов, я бы, точно, кое-что сделал».

«Нет, если бы мне теперь, после этих страшных опытов, десять миллионов! — подумал Хлобуев.— Э, теперь бы я не так: опытом узнаешь цену всякой копейки». И потом, минуту подумавши, спросил себя внутренно: «Точно ли бы теперь умней распорядился?» И, махнувши рукой, прибавил: «Кой черт! я думаю, так же бы растратил, как и прежде»,— и вышел из лавки, сгорая желанием> знать, что объявит ему Муразов.

— Вас жду, Петр Петрович! — сказал Муразов, увидевши входящего Хлобуева.— Пожалуста ко мне в комнатку.

И он повел Хлобуева в комнатку, уже знакомую читателю, неприхотливее которой нельзя было найти и у чиновника, получающего семьсот рублей в год жалованья.

— Скажите, ведь теперь, я полагаю, обстоятельства ваши получше? После тетушки все-таки вам досталось кое-что?

— Да как вам сказать, Афанасий Васильевич? Я не знаю, лучше ли мои обстоятельства. Мне досталось всего пя<тьдесят> душ крестьян и тридцать тысяч денег, которыми я должен был расплатиться с частью моих долгов,— и у меня вновь ровно ничего. А главное дело, что дело по этому завещанью самое нечистое. Тут, Афанасий Васильевич, завелись такие мошенничества! Я вам

сейчас расскажу, и вы подивитесь, что такое делается. Этот Чичиков...

— Позвольте, Петр Петрович: прежде чем говорить об этом Чичикове, позвольте поговорить собственно о вас. Скажите мне: сколько, по вашему заключению, было бы для вас удовлетворительно и достаточно затем, чтобы совершенно выпутаться из обстоятельств?

— Мои обстоятельства трудные,— сказал Хлобуев.— Да чтобы выпутаться из обстоятельств, расплатиться совсем и быть в возможности жить самым умеренным образом, мне нужно, по крайней мере, сто тысяч, если не больше. Словом, мне это невозможно.

— Ну, если бы это у вас было, как бы вы тогда повели жизнь свою?

— Ну, я бы тогда нанял себе квартирку, занялся бы воспитанием детей, потому что мне самому не служить: я уж никуды не гожусь.

— А почему ж вы никуды не годитесь?

— Да куды ж мне, сами посудите! Мне нельзя начинать с канцелярского писца. Вы позабыли, что у меня семейство. Мне сорок, у меня уж и поясница болит, я обленился; а должности мне поважнее не дадут; я ведь не на хорошем счету. Я признаюсь вам: я бы и сам не взял наживной должности. Я человек хоть и дрянной, и картежник, и все что хотите, но взятков брать я не стану. Мне не ужиться с Красноносовым да Самосвистовым.

— Но все, извините-с, я не могу понять, как же быть без дороги; как идти не по дороге; как ехать, когда нет земли под ногами; как плыть, когда челн не на воде? А ведь жизнь — путешествие. Извините, Петр Петрович, те господа ведь, про которых вы говорите, всё же они на какой-нибудь дороге, всё же они трудятся. Ну, положим, как-нибудь своротили, как случается со всяким грешным; да есть надежда, что опять набредут. Кто идет — нельзя, чтоб не пришел; есть надежда, что и набредет. Но как тому попасть на какую-нибудь дорогу, кто остается праздно? Ведь дорога не придет ко мне.

— Поверьте мне, Афанасий Васильевич, я чувствую совершенно справедливость <вашу>, но говорю вам, что во мне решительно погибла, умерла всякая деятельность; не вижу я, что могу сделать какую-нибудь пользу кому-нибудь на свете. Я чувствую, что я решительно бесполезное бревно. Прежде, покамест был помоложе, так мне казалось, что все дело в деньгах, что если бы мне в руки сотни тысяч, я бы осчастливил множество: помог бы бедным художникам, завел бы библиотеки, полезные заведения, собрал бы коллекции. Я человек не без вкуса и, знаю, во многом мог бы гораздо лучше распорядиться тех наших богачей, которые все это

делают бестолково. А теперь вижу, что и это суета, и в этом немного толку. Нет, Афанасий Васильевич, никуда не гожусь, ровно никуда, говорю вам. На малейшее дело не способен.

— Послушаїте, Петр <Петрович>! Но ведь вы же молитесь, ходите в церковь, не пропускаете, я знаю, ни утрени, ни вечерни. Вам хоть и не хочется рано вставать, но ведь вы встаете и идете,— идете в четыре часа утра, когда никто не подымается.

— Это — другое дело, Афанасий Васильевич. Я это делаю для спасения души, потому что в убеждении, что этим хоть сколько-нибудь заглажу праздную жизнь, что как я ни дурен, но молитвы все-таки что-нибудь значат у бога. Скажу вам, что я молюсь,— даже и без веры, но все-таки молюсь. Слышится только, что есть господин, от которого все зависит, как лошадь и скотина, которою пашем, знает чутьем того, <кто> запрягает.

— Стало быть, вы молитесь затем, чтобы угодить тому, которому молитесь, чтобы спасти свою душу, и это дает вам силы и заставляет вас подыматься рано с постели. Поверьте, что если <бы> вы взялись за должность свою таким образом, как бы в уверенности, что служите тому, кому вы молитесь, у вас бы появилась деятельность, и вас никто из людей не в силах <был бы> охладить.

— Афанасий Васильевич! вновь скажу вам — это другое. В первом случае я вижу, что я все-таки делаю. Говорю вам, что я готов пойти в монастырь и самые тяжкие, какие на меня ни наложат, труды и подвиги я буду исполнять там. Я уверен, что не мое дело рассуждать, что взыщется <с тех>, которые заставили меня делать; там я повинуюсь и знаю, что богу повинуюсь.

— А зачем же так вы не рассуждаете и в делах света? Ведь и в свете мы должны служить богу, а не кому иному. Если и другому кому служим, мы потому только служим, будучи уверены, что так бог велит, а без того мы бы и не служили. Что ж другое все способности и дары, которые розные у всякого? Ведь это орудия моленья нашего: то — словами, а это делом. Ведь вам же в монастырь нельзя идти: вы прикреплены к миру, у вас семейство.

Здесь Муразов замолчал. Хлобуев тоже замолчал.

— Так вы полагаете, что если бы, например, у <вас> было двести тысяч, так вы могли <бы> упрочить жизнь и повести отныне жизнь расчетливее?

— То есть, по крайней мере, я займусь тем, что можно будет сделать,— займусь воспитаньем детей, буду иметь в возможности доставить им хороших учителей.

— А сказать ли вам на это, Петр Петрович, что чрез два года будете опять кругом в долгах, как в шнурках?

Хлобуев несколько помолчал и начал с расстановкою:

— Однако ж нет, после этаких опытов...

— Да что ж опыты,— сказал Муразов.— Ведь я вас знаю. Вы человек с доброй душой: к вам придет приятель попросить взаймы — вы ему дадите; увидите бедного человека — вы захотите помочь; приятный гость придет к вам — захотите получше угостить, да и покоритесь первому доброму движенью, а расчет и позабываете. И позвольте вам наконец сказать по искренности, что детей-то своих вы не в состоянии воспитать. Детей своих воспитать может только тот отец, который уж сам выполнил долг свой. Да и супруга ваша... она и доброй души... она совсем не так воспитана, чтобы детей воспитать. Я даже думаю — извините меня, Петр Петрович,— не во вред ли детям будет даже и быть с вами?

Хлобуев призадумался; он начал себя мысленно осматривать со всех сторон и наконец почувствовал, что Муразов был прав отчасти.

— Знаете ли, Петр Петрович? отдайте мне на руки это — детей, дела; оставьте и семью вашу, и детей: я их приберегу. Ведь обстоятельства ваши таковы, что вы в моих руках; ведь дело идет к тому, чтобы умирать с голоду. Тут уже на все нужно решаться. Знаете ли вы Ивана Потапыча?

— И очень уважаю, даже несмотря на то что он ходит в сибирке.

— Иван Потапыч был миллионщик, выдал дочерей своих за чиновников, жил как царь; а как обанкрутился — что ж делать? — пошел в приказчики. Не весело-то было ему с серебряного блюда перейти за простую миску: казалось-то, что и руки ни к чему не подымались. Теперь Иван Потапыч мог бы хлебать с серебряного блюда, да уж не хочет. У него уж набралось бы опять, да он говорит: «Нет, Афанасий Иванович [1], служу я теперь уж не себе и <не> для себя, а потому, что бог так <судил>. По своей воле не хочу ничего делать. Слушаю вас, потому что бога хочу слушаться, а не людей, и так как бог устами лучших людей только говорит. Вы умнее меня, а потому не я отвечаю, а вы». Вот что говорит Иван Потапыч; а он, если сказать по правде, в несколько раз умнее меня.

— Афанасий Васильевич! вашу власть и я готов над собою <признать>, ваш слуга и что хотите: отдаюсь вам. Но не давайте работы свыше сил: я не Потапыч и говорю вам, что ни на что доброе не гожусь.

— Не я-с, Петр Петрович, наложу-с <на> вас, а так как вы хотели бы послужить, как говорите сами, так вот богоугодное дело. Строится в одном месте церковь доброхотным дательством благоче-

[1] То есть Васильевич.— *Ред.*

стивых людей. Денег нестает, нужен сбор. Наденьте простую сибирку... ведь вы теперь простой человек, разорившийся дворянин и тот же нищий: что ж тут чиниться? — да с книгой в руках, на простой тележке и отправляйтесь по городам и деревням. От архиерея вы получите благословенье и шнурованную книгу, да и с богом.

Петр Петрович был изумлен этой совершенно новой должностью. Ему, все-таки дворянину некогда древнего рода, отправиться с книгой в руках просить на церковь, притом трястись на телеге! А между тем вывернуться и уклониться нельзя: дело богоугодное.

— Призадумались? — сказал Муразов.— Вы здесь две службы сослужите: одну службу богу, а другую — мне.

— Какую же вам?

— А вот какую. Так как вы отправитесь по тем местам, где я еще не был, так вы узнаете-с на месте все: как там живут мужички, где побогаче, где терпят нужду и в каком состоянье все. Скажу вам, что мужичков люблю оттого, может быть, что я и сам из мужиков. Но дело в том, что завелось меж ними много всякой мерзости. Раскольники там и всякие-с бродяги смущают их, против властей их восстановляют, против властей и порядков, а если человек притеснен, так он легко восстает. Что ж, будто трудно подстрекнуть человека, который, точно, терпит. Да дело в том, что не снизу должна начинаться расправа. Уж тогда плохо, когда пойдут на кулаки: уж тут толку не будет — только ворам пожива. Вы человек умный, вы рассмотрите, узнаете, где действительно терпит человек от других, а где от собственного неспокойного нрава, да и расскажете мне потом все это. Я вам на всякий случай небольшую сумму дам на раздачу тем, которые уже и действительно терпят безвинно. С вашей стороны будет также полезно утешить их словом и получше истолковать им то, что бог велит переносить безропотно, и молиться в это время, когда несчастлив, а не буйствовать и расправляться самому. Словом, говорите им, никого не возбуждая ни против кого, а всех примиряя. Если увидите в ком противу кого бы то ни было ненависть, употребите все усилие.

— Афанасий Васильевич! дело, которое вы мне поручаете,— сказал Хлобуев,— святое дело; но вы вспомните, кому вы его поручаете. Поручить его можно человеку почти святой жизни, который бы и сам уже <умел> прощать другим.

— Да я и не говорю, чтобы все это вы исполнили, а по возможности, что можно. Дело-то в том, что вы все-таки приедете с познаньями тех мест и будете иметь понятие, в каком положении находится тот край. Чиновник никогда не столкнется с лицом, да и мужик-то с ним не будет откровенен. А вы, прося на церковь, заглянете ко всякому — и к мещанину и к купцу, и будете иметь

случай расспросить всякого. Говорю-с вам это по той причине, что генерал-губернатор особенно теперь нуждается в таких людях; и вы, мимо всяких канцелярских повышений, получите такое место, где не бесполезна будет ваша жизнь.

— Попробую, приложу старанья, сколько хватит сил,— сказал Хлобуев. И в голосе его было заметно ободренье, спина распрямилась, и голова приподнялась, как у человека, которому светит надежда.— Вижу, что вас бог наградил разуменьем, и вы знаете иное лучше нас, близоруких людей.

— Теперь позвольте вас спросить,— сказал Муразов,— что ж Чичиков и какого роду <дело>?

— А <про> Чичикова я вам расскажу вещи неслыханные. Делает он такие дела... Знаете ли, Афанасий Васильевич, что завещание ведь ложное? Отыскалось настоящее, где все имение принадлежит воспитанницам.

— Что вы говорите? Да ложное-то завещание кто смастерил?

— В том-то и дело, что премерзейшее дело! Говорят, что Чичиков и что подписано завещание уже после смерти: нарядили какую-то бабу, наместо покойницы, и она уж подписала. Словом, дело соблазнительнейшее. Говорят, тысячи просьб поступило с разных сторон. К Марье Еремеевне теперь подъезжают женихи; двое уж чиновных лиц из-за нее дерутся. Вот какого роду дело, Афанасий Васильевич!

— Не слышал я об этом ничего, а дело, точно, не без греха. Павел Иванович Чичиков, признаюсь, для меня презагадочен,— сказал Муразов.

— Я подал от себя также просьбу, затем, чтобы напомнить, что существует ближайший наследник...

«А мне пусть их все передерутся,— думал Хлобуев, выходя.— Афанасий Васильевич не глуп. Он дал мне это порученье, верно, обдумавши. Исполнить его — вот и все». Он стал думать о дороге, в то время, когда Муразов все еще повторял в себе: «Презагадочный для меня человек Павел Иванович Чичиков! Ведь если бы с этакой волей и настойчивостью да на доброе дело!»

А между тем, в самом деле, по судам шли просьбы за просьбой. Оказались родственники, о которых и не слышал никто. Как птицы слетаются на мертвечину, так все налетело на несметное имущество, оставшееся после старухи. Доносы на Чичикова, на подложность последнего завещания, доносы на подложность и первого завещания, улики в покраже и в утаении сумм. Явились улики на Чичикова в покупке мертвых душ, в провозе контрабанды во время бытности его еще при таможне. Выкопали все, разузнали его прежнюю историю. Бог весть откуда все это пронюхали и знали. Только были улики даже и в таких делах, об которых, думал Чичиков,

кроме его и четырех стен никто не знал. Покамест все это было еще судейская тайна и до ушей его не дошло, хотя верная записка юрисконсульта, которую он вскоре получил, несколько дала ему понять, что каша заварится. Записка была краткого содержания: «Спешу вас уведомить, что по делу будет возня: но помните, что тревожиться никак не следует. Главное дело — спокойствие. Обделаем все». Записка эта успокоила совершенно его. «Этот человек, точно, гений»,— сказал Чичиков.

В довершение хорошего, портной в это время принес <платье>. <Чичиков> получил желанье сильное посмотреть на самого себя в новом фраке наваринского пламени с дымом. Натянул штаны, которые обхватили его чудесным образом со всех сторон, так что хоть рисуй. Ляжки так славно обтянуло, икры тоже, сукно обхватило все малости, сообща им еще большую упругость. Как затянул он позади себя пряжку, живот стал точно барабан. Он ударил по нем тут щеткой, прибавив: «Ведь какой дурак, а в целом он составляет картину». Фрак, казалось, был сшит еще лучше штанов: ни морщинки, все бока обтянул, выгнулся на перехвате, показавши весь его перегиб. Под правой мышкой немного жало, но от этого еще лучше прихватывало на талии. Портной, который стоял в полном торжестве, говорил только: «Будьте покойны, кроме Петербурга, нигде так не сошьют». Портной был сам из Петербурга и на вывеске выставил: «Иностранец из Лондона и Парижа». Шутить он не любил и двумя городами разом хотел заткнуть глотку всем другим портным, так, чтобы впредь никто не появился с такими городами, а пусть себе пишет из какого-нибудь «Карлсеру» или «Копенгара».

Чичиков великодушно расплатился с портным и, оставшись один, стал рассматривать себя на досуге в зеркале, как артист с эстетическим чувством и con amore [1]. Оказалось, что все как-то было еще лучше, чем прежде: щечки интереснее, подбородок заманчивей, белые воротнички давали тон щеке, атласный синий галстук давал тон воротничкам; новомодные складки манишки давали тон галстуку, богатый бархатный <жилет> давал <тон> манишке, а фрак наваринского дыма с пламенем, блистая, как шелк, давал тон всему. Поворотился направо — хорошо! Поворотился налево — еще лучше! Перегиб такой, как у камергера или у такого господина, который так чешет по-французски, что перед ним сам француз ничего, который, даже и рассердясь, не срамит себя непристойно русским словом, даже и выбраниться не умеет на русском языке, а распечет французским диалектом. Деликатность такая! Он попробовал, склоня головку несколько набок, при-

[1] с любовью *(итал.)*.

нять позу, как бы адресовался к даме средних лет и последнего просвещения: выходила просто картина. Художник, бери кисть и пиши! В удовольствии, он совершил тут же легкий прыжок, вроде антраша. Вздрогнул комод и шлепнулась на землю склянка с одеколоном; но это не причинило никакого помешательства. Он назвал, как и следовало, глупую склянку дурой и подумал: «К кому теперь прежде всего явиться? Всего лучше...»

Как вдруг в передней — вроде некоторого бряканья сапогов с шпорами и жандарм в полном вооружении, как <будто> в лице его было целое войско. «Приказано сей же час явиться к генерал-губернатору!» Чичиков так и обомлел. Перед ним торчало страшилище с усами, лошадиный хвост на голове, через плечо перевязь, через другое перевязь, огромнейший палаш привешен к боку. Ему показалось, что при другом боку висело и ружье, и черт знает что: целое войско в одном только! Он начал было возражать, страшило грубо заговорило: «Приказано сей же час!» Сквозь дверь в переднюю он увидел, что там мелькало и другое страшило, взглянул в окошко — и экипаж. Что тут делать? Так, как был, в фраке наваринского пламени с дымом, должен был сесть и, дрожа всем телом, отправился к генерал-губернатору, и жандарм с ним.

В передней не дали даже и опомниться ему. «Ступайте! вас князь уже ждет»,— сказал дежурный чиновник. Перед ним, как в тумане, мелькнула передняя с курьерами, принимавшими пакеты, потом зала, через которую он прошел, думая только: «Вот как схватит, да без суда, без всего, прямо в Сибирь!» Сердце его забилось с такой силою, с какой не бьется даже у наиревнивейшего любовника. Наконец растворилась пред ним дверь: предстал кабинет, с портфелями, шкафами и книгами, и князь гневный, как сам гнев.

— Губитель, губитель! — сказал Чичиков.— Он мою душу погубит, зарежет, как волк агнца!

— Я вас пощадил, я позволил вам остаться в городе, тогда как вам следовало бы в острог; а вы запятнали себя вновь бесчестнейшим мошенничеством, каким когда-либо запятнал себя человек.

Губы князя дрожали от гнева.

— Каким же, ваше сиятельство, бесчестнейшим поступком и мошенничеством? — спросил Чичиков, дрожа всем телом.

— Женщина,— произнес князь, подступая несколько ближе и смотря прямо в глаза Чичикову,— женщина, которая подписывала по вашей диктовке завещание, схвачена и станет с вами на очную ставку.

Чичиков стал бледен, как полотно.

— Ваше сиятельство! Скажу всю истину дела. Я виноват; точно, виноват; но не так виноват. Меня обнесли враги.

— Вас не может никто обнесть, потому что в вас мерзостей в

несколько раз больше того, что может <выдумать> последний лжец. Вы во всю свою жизнь, я думаю, не делали небесчестного дела. Всякая копейка, добытая вами, добыта бесчестно, есть воровство и бесчестнейшее дело, за которое кнут и Сибирь! Нет, теперь полно! С сей же минуты будешь отведен в острог и там, наряду с последними мерзавцами и разбойниками, ты должен <ждать> разрешенья участи своей. И это милостиво еще, потому что <ты> хуже их в несколько <раз>: они в армяке и тулупе, а ты...

Он взглянул на фрак наваринского пламени с дымом и, взявшись за шнурок, позвонил.

— Ваше сиятельство,— вскрикнул Чичиков,— умилосердитесь! Вы отец семейства. Не меня пощадите — старуха мать!

— Врешь! — вскрикнул гневно князь.— Так же ты меня тогда умолял детьми и семейством, которых у тебя никогда не было, теперь — матерью!

— Ваше сиятельство, я мерзавец и последний негодяй,— сказал Чичиков голосом...[1] — Я действительно лгал, я не имел ни детей, ни семейства; но, вот бог свидетель, я всегда хотел иметь жену, исполнить долг человека и гражданина, чтобы действительно потом заслужить уваженье граждан и начальства... Но что за бедственные стечения обстоятельств! Кровью, ваше сиятельство, кровью нужно было добывать насущное существование. На всяком шагу соблазны и искушенье... враги, и губители, и похитители. Вся жизнь была — точно вихорь буйный или судно среди волн по воле ветров. Я — человек, ваше сиятельство!

Слезы вдруг хлынули ручьями из глаз его. Он повалился в ноги князю, так, как был, во фраке наваринского пламени с дымом, в бархатном жилете с атласным галстуком, новых штанах и причесанных волосах, изливавших чистый запах одеколона.

— Поди прочь от меня! Позвать, чтобы его взяли, солдат! — сказал князь взошедшим.

— Ваше сиятельство! — кричал <Чичиков>и обхватил обеими руками сапог князя.

Чувство содроганья пробежало по всем жилам <князя>.

— Подите прочь, говорю вам! — сказал он, усиливаясь вырвать свою ногу из объятья Чичикова.

— Ваше сиятельство! не сойду с места, покуда не получу милости! — говорил <Чичиков>, не выпуская сапог князя и проехавшись, вместе с ногой, по полу в фраке наваринского пламени и дыма.

— Подите, говорю вам! — говорил он с тем неизъяснимым чувством отвращенья, какое чувствует человек при виде безобраз-

[1] В рукописи не дописано.— *Ред.*

нейшего насекомого, которого нет духу раздавить ногой. Он стряхнул так, что Чичиков почувствовал удар сапога в нос, губы и округленный подбородок, но не выпустил сапога и еще с большей силой держал ногу в своих объятьях. Два дюжих жандарма в силах оттащили его и, взявши под руки, повели через все комнаты. Он был бледный, убитый, в том бесчувственно-страшном состоянии, в каком бывает человек, видящий перед собою черную, неотвратимую смерть, это страшилище, противное естеству нашему...

В самых дверях на лестницу навстречу — Муразов. Луч надежды вдруг скользнул. В один миг с силой неестественной вырвался он из рук обоих жандармов и бросился в ноги изумленному старику.

— Батюшка, Павел Иванович, что с вами?

— Спасите! ведут в острог, на смерть...

Жандармы схватили его и повели, не дали даже и услышать.

Промозглый сырой чулан с запахом сапогов и онуч гарнизонных солдат, некрашеный стол, два скверных стула, с железною решеткой окно, дряхлая печь, сквозь щели которой шел дым и не давало тепла,— вот обиталище, где помещен был наш <герой>, уже было начинавший вкушать сладость жизни и привлекать внимание соотечественников в тонком новом фраке наваринского пламени и дыма. Не дали даже ему распорядиться взять с собой необходимые вещи, взять шкатулку, где были деньги. Бумаги, крепости на мертвые <души> — все было теперь у чиновников! Он повалился на землю, и плотоядный червь грусти страшной, безнадежной обвился около его сердца. С возрастающей быстротой стала точить она это сердце, ничем не защищенное. Еще день такой, день такой грусти, и не было <бы> Чичикова вовсе на свете. Но и над Чичиковым не дремствовала чья-то всеспасающая рука. Час спустя двери тюрьмы растворились: взошел старик Муразов.

Если бы терзаемому палящей жаждой влил кто в засохнувшее горло струю ключевой воды, то он бы не оживился так, как оживился бедный Чичиков.

— Спаситель мой! — сказал Чичиков и, схвативши вдруг его руку, быстро поцеловал и прижал к груди.— Бог да наградит вас за то, что посетили несчастного!

Он залился слезами.

Старик глядел на него скорбно-болезненным взором и говорил только:

— Ах, Павел, Павел Иванович! Павел Иванович, что вы сделали?

— Я подлец... Виноват... Я преступил... Но посудите, посудите, разве можно так поступать? Я — дворянин. Без суда, без следствия, бросить в тюрьму, отобрать все от меня: вещи, шкатулка...

там деньги, там все имущество, там все мое имущество, Афанасий Васильевич,— имущество, которое кровным потом приобрел...

И, не в силах будучи удерживать порыва вновь подступившей к сердцу грусти, он громко зарыдал голосом, проникнувшим толщу стен острога и глухо отозвавшимся в отдаленье, сорвал с себя атласный галстук и, схвативши рукою около воротника, разорвал на себе фрак наваринского пламени с дымом.

— Павел Иванович, все равно: и с имуществом, и со всем, что ни есть на свете, вы должны проститься. Вы подпали под неумолимый закон, а не под власть какого человека.

— Сам погубил себя, сам знаю — не умел вовремя остановиться. Но за что же такая страшная <кара>, Афанасий Васильевич? Я разве разбойник? От меня разве пострадал кто-нибудь? Разве я сделал кого несчастным? Трудом и потом, кровавым потом добывал копейку. Зачем добывал копейку? Затем, чтобы в довольстве прожить остаток дней, оставить что-нибудь детям, которых намеревался приобресть для блага, для службы отечеству. Покривил, не спорю, покривил... что ж делать? Но ведь покривил, увидя, что прямой дорогой не возьмешь и что косой дорогой больше напрямик. Но ведь я трудился, я изощрялся. А эти мерзавцы, которые по судам берут тысячи с казны, иль небогатых людей грабят, последнюю копейку сдирают с того, у кого нет ничего!.. Афанасий Васильевич! Я не блудничал, я не пьянствовал. Да ведь сколько трудов, сколько железного терпенья! Да я, можно сказать, выкупил всякую добытую копейку страданьями, страданьями! Пусть их кто-нибудь выстрадает то, что я! Ведь что вся жизнь моя: лютая борьба, судно среди волн. И потеряно, Афанасий Васильевич, то, что приобретено такой борьбой...

Он не договорил и зарыдал громко от нестерпимой боли сердца, упал на стул, и оторвал совсем висевшую разорванную полу фрака, и швырнул ее прочь от себя, и, запустивши обе руки себе в волосы, об укрепленье которых прежде старался, безжалостно рвал их, услаждаясь болью, которою хотел заглушить ничем не угасимую боль сердца.

— Ах, Павел Иванович, Павел Иванович! — говорил <Муразов>, скорбно смотря на него и качая <головой>.— Я все думаю о том, какой бы из вас был человек, если бы так же, и силою и терпеньем, да подвизались бы на добрый труд и для лучшей <цели>! Если бы хоть кто-нибудь из тех людей, которые любят добро, да употребили бы столько усилий для него, как вы для добыванья своей копейки!.. да умели бы так пожертвовать для добра и собственным самолюбием, и честолюбием, не жалея себя, как вы не жалели для добыванья своей копейки!..

— Афанасий Васильевич! — сказал бедный Чичиков и схватил его обеими руками за руки.— О, если бы удалось мне освободиться, возвратить мое имущество! клянусь вам, повел бы отныне совсем другую жизнь! Спасите, благодетель, спасите!

— Что ж могу я сделать? Я должен воевать с законом. Положим, если бы я даже и решился на это, но ведь князь справедлив,— он ни за что не отступит.

— Благодетель! вы все можете сделать. Не закон меня страшит,— я перед законом найду средства,— но то, что непов<инно> я брошен в тюрьму, что я пропаду здесь, как собака, и что мое имущество, бумаги, шкатулка... спасите!

Он обнял ноги старика, облил их слезами.

— Ах, Павел Иванович, Павел Иванович! — говорил старик Муразов, качая <головою>.— Как вас ослепило это имущество! Из-за него вы и бедной души своей не слышите!

— Подумаю и о душе, но спасите!

— Павел Иванович! — сказал старик Муразов и остановился.— Спасти вас не в моей власти,— вы сами видите. Но приложу старанье, какое могу, чтобы облегчить вашу участь и освободить. Не знаю, удастся ли это сделать, но буду стараться. Если же, паче чаянья, удастся, Павел Иванович,— я попрошу у вас награды за труды: бросьте все эти поползновенья на эти приобретения. Говорю вам по чести, что если бы я и всего лишился моего имущества,— а у меня его больше, чем у вас,— я бы не заплакал. Ей-ей, <дело> не в этом имуществе, которое могут у меня конфисковать, а в том, которого никто не может украсть и отнять! Вы уж пожили на свете довольно. Вы сами называете жизнь свою судном среди волн. У вас есть уже чем прожить остаток дней. Поселитесь себе в тихом уголке, поближе к церкви и простым, добрым людям; или, если знобит сильное желанье оставить по себе потомков, женитесь на небогатой доброй девушке, привыкшей к умеренности и простому хозяйству. Забудьте этот шумный мир и все его обольстительные прихоти; пусть и он вас позабудет. В нем нет успокоенья. Вы видите: все в нем враг, искуситель или предатель.

Чичиков задумался. Что-то странное, какие-то неведомые дотоле, незнаемые чувства, ему необъяснимые, пришли к нему: как будто хотело в нем что-то пробудиться, что-то подавленное из детства суровым, мертвым поученьем, бесприветностью скучного детства, пустынностью родного жилища, бессемейным одиночеством, нищетой и бедностью первоначальных впечатлений, суровым взглядом судьбы, взглянувшей на него скучно, сквозь какое-то мутно занесенное зимней вьюгой окно.

— Спасите только, Афанасий Васильевич! — вскричал он,— поведу другую жизнь, последую вашему совету! Вот вам мое слово!

— Смотрите же, Павел Иванович, от слова не отступитесь,— сказал Муразов, держа его руку.

— Отступился бы, может быть, если бы не такой страшный урок,— сказал, вздохнувши, бедный Чичиков и прибавил: — Но урок тяжел; тяжел, тяжел урок, Афанасий Васильевич!

— Хорошо, что тяжел. Благодарите за это бога, помолитесь. Я пойду о вас стараться.

Сказавши это, старик вышел.

Чичиков уже не плакал, не рвал на себе фрака и волос: он успокоился.

— Нет, полно! — сказал он наконец,— другую, другую жизнь. Пора в самом деле сделаться порядочным. О, если бы мне как-нибудь только выпутаться и уехать хоть с небольшим капиталом, поселюсь вдали от... А купчие?..— Он подумал: «Что ж? зачем оставить это дело, стольким трудом приобретенное?.. Больше не стану покупать, но заложить те нужно. Ведь приобретенье это стоило трудов! Это я заложу, заложу, с тем чтобы купить на деньги поместье. Сделаюсь помещиком, потому что тут можно сделать много хорошего». И в мыслях его пробудились те чувства, которые овладели им, когда он был <у> Гоброжогло [1], и милая, при греющем свете вечернем, умная беседа хозяина о том, как плодотворно и полезно занятье поместьем. Деревня так вдруг представилась ему прекрасно, точно как бы он в силах был почувствовать все прелести деревни.

— Глупы мы, за суетой гоняемся! — сказал он наконец.— Право, от безделья! Все близко, все под рукой, а мы бежим за тридевять <земель>. Чем не жизнь, если займешься хоть бы и в глуши? Ведь удовольствие действительно в труде. И ничего нет слаще, как плод собственных трудов... Нет, займусь трудом, поселюсь в деревне, и займусь честно, так, чтобы иметь доброе влиянье и на других. Что ж в самом деле, будто я уже совсем негодный? У меня есть способности к хозяйству; я имею качества и бережливости, и расторопности, и благоразумия, даже постоянства. Стоит только решиться, чувствую, что есть. Теперь только истинно и ясно чувствую, что есть какой-то долг, который нужно исполнять человеку на земле, не отрываясь от того места и угла, на котором он постановлен.

И трудолюбивая жизнь, удаленная от шума городов и тех обольщений, которые от праздности выдумал, позабывши труд, человек, так сильно стала перед ним рисоваться, что он уже почти позабыл всю неприятность своего положения и, может быть, готов был даже возблагодарить провиденье за этот тяжелый <урок>,

[1] То есть Костанжогло.— *Ред.*

если только выпустят его и отдадут хотя часть. Но... одностворчатая дверь его нечистого чулана растворилась, вошла чиновная особа — Самосвистов, эпикуреец, собой лихач, отличный товарищ, кутила и продувная бестия, как выражались о нем сами товарищи. В военное время человек этот наделал бы чудес: его бы послать куда-нибудь пробраться сквозь непроходимые, опасные места, украсть перед носом у самого неприятеля пушку,— это его бы дело. Но за неимением военного поприща, на котором бы, может быть, он был честным человеком, он пакостил и гадил. Непостижимое дело! с товарищами он был хорош, никого не продавал и, давши слово, держал; но высшее над собою начальство он считал чем-то вроде неприятельской батареи, сквозь которую нужно пробиваться, пользуясь всяким слабым местом, проломом или упущением...

— Знаем все об вашем положении, все услышали! — сказал он, когда увидел, что дверь за ним плотно затворилась.— Ничего, ничего! Не робейте: все будет поправлено. Все станет работать за вас и — ваши слуги! Тридцать тысяч на всех — и ничего больше.

— Будто? — вскрикнул Чичиков.— И я буду совершенно оправдан?

— Кругом! еще и вознагражденье получите за убытки.

— И за труд?..

— Тридцать тысяч. Тут уже все вместе — и нашим, и генерал-губернаторским, и секретарю.

— Но позвольте, как же я могу? Мои все вещи... шкатулка... все это теперь запечатано, под присмотром...

— Через час получите все. По рукам, что ли?

Чичиков дал руку. Сердце его билось, и он не доверял, чтобы это было возможно...

— Пока прощайте! Поручил вам <сказать> наш общий приятель, что главное дело — спокойствие и присутствие духа.

«Гм! — подумал Чичиков,— понимаю: юрисконсульт!»

Самосвистов скрылся. Чичиков, оставшись, все еще не доверял словам, как не прошло часа после этого разговора, как была принесена шкатулка: бумаги, деньги — и всё в наилучшем порядке. Самосвистов явился в качестве распорядителя: выбранил поставленных часовых за то, что небдительно смотрели, приказал приставить еще лишних солдат для усиленья присмотра, взял не только шкатулку, но отобрал даже все такие бумаги, которые могли бы чем-нибудь компрометировать Чичикова; связал все это вместе, запечатал и повелел самому солдату отнести немедленно к самому Чичикову, в виде необходимых ночных и спальных вещей, так что Чичиков, вместе с бумагами, получил даже и все теплое, что нужно было для покрытия бренного его тела. Это скорое доставление обрадовало его несказанно. Он возымел сильную надежду, и уже на-

чали ему вновь грезиться кое-какие приманки: вечером театр, плясунья, за которою он волочился. Деревня и тишина стали бледней, город и шум — опять ярче, ясней... О, жизнь!

А между тем завязалось дело размера беспредельного в судах и палатах. Работали перья писцов, и, понюхивая табак, трудились казусные головы, любуясь, как художники, крючковатой строкой. Юрисконсульт, как скрытый маг, незримо ворочал всем механизмом; всех опутал решительно, прежде чем кто успел осмотреться. Путаница увеличилась. Самосвистов превзошел самого себя отважностью и дерзостью неслыханною. Узнавши, где караулилась схваченная женщина, он явился прямо и вошел таким молодцом и начальником, что часовой сделал ему честь и вытянулся в струнку.

— Давно ты здесь стоишь?

— С утра, ваше благородие!

— Долго до смены?

— Три часа, ваше благородие!

— Ты мне будешь нужен. Я скажу офицеру, чтобы наместо тебя отрядил другого.

— Слушаю, ваше благородие!

И, уехав домой, ни минуты не медля, чтобы не замешивать никого и все концы в воду, сам нарядился жандармом, оказался в усах и бакенбардах — сам черт бы не узнал. Явился в доме, где был Чичиков, и, схвативши первую бабу, какая попалась, сдал ее двум чиновным молодцам, докам тоже, а сам прямо явился, в усах и с ружьем, как следует, к часовым:

— Ступай, меня прислал командир выстоять, наместо тебя, смену.— Обменился с часовым и стал сам с ружьем.

Только этого было и нужно. В это время наместо прежней бабы очутилась другая, ничего не знавшая и не понимавшая. Прежнюю запрятали куды-то так, что и потом не узнали, куда она делась. В то время, когда Самосвистов подвизался в лице воина, юрисконсульт произвел чудеса на гражданском поприще: губернатору дал знать стороною, что прокурор на него пишет донос; жандармскому чиновнику дал знать, <что> секретно проживающий чиновник пишет на него доносы; секретно проживавшего чиновника уверил, что есть еще секретнейший чиновник, который на него доносит,— и всех привел в такое положение, что к нему должны были обратиться за советами. Произошла такая бестолковщина: донос сел верхом на доносе, и пошли открываться такие дела, которых и солнце не видало, и даже такие, которых и не было. Все пошло в работу и в дело: и кто незаконнорожденный сын, и какого рода и званья у кого любовница, и чья жена за кем волочится. Скандалы, соблазны, и все так замешалось и сплелось вместе с историей Чичикова, с мертвыми душами, что никоим об-

разом нельзя было понять, которое из этих дел было главнейшая чепуха: оба казались равного достоинства. Когда стали наконец поступать бумаги к генерал-губернатору, бедный князь ничего не мог понять. Весьма умный и расторопный чиновник, которому поручено было сделать экстракт, чуть не сошел с ума: никаким образом нельзя было поймать нити дела. Князь был в это время озабочен множеством других дел, одно другого неприятнейших. В одной части губернии оказался голод. Чиновники, посланные раздать хлеб, как-то не так распорядились, как следовало. В другой части губернии расшевелились раскольники. Кто-то пропустил между ними, что народился антихрист, который и мертвым не дает покоя, скупая какие-то мертвые души. Каялись и грешили и, под видом изловить антихриста, укокошили неантихристов. В другом месте мужики взбунтовались против помещиков и капитан-исправников. Какие-то бродяги пропустили между ними слухи, что наступает такое время, что мужики должны <быть> помещики и нарядиться во фраки, а помещики нарядятся в армяки и будут мужики,— и целая волость, не размысля того, что слишком много выйдет тогда помещиков и капитан-исправников, отказалась платить всякую подать. Нужно было прибегнуть к насильственным мерам. Бедный князь был в самом расстроенном состоянии духа. В это время доложили ему, что пришел откупщик.

— Пусть войдет,— сказал князь.

Старик взошел...

— Вот вам Чичиков! Вы стояли за него и защищали. Теперь он попался в таком деле, на какое последний вор не решится.

— Позвольте вам доложить, ваше сиятельство, что я не очень понимаю это дело.

— Подлог завещания, и еще какой!.. Публичное наказание плетьми за этакое дело!

— Ваше сиятельство, скажу не с тем, чтобы защищать Чичикова. Но ведь это дело не доказанное: следствие еще не сделано.

— Улика: женщина, которая была наряжена наместо умершей, схвачена. Я ее хочу расспросить нарочно при вас.— Князь позвонил и дал приказ позвать ту женщину.

Муразов замолчал.

— Бесчестнейшее дело! И, к стыду, замешались первые чиновники города, сам губернатор. Он не должен быть там, где воры и бездельники! — сказал князь с жаром.

— Ведь губернатор — наследник; он имеет право на притязания; а что другие-то со всех сторон прицепились, так это-с, ваше сиятельство, человеческое дело. Умерла-с богатая, распоряженья умного и справедливого не сделала; слетелись со всех сторон охотники поживиться — человеческое дело...

— Но ведь мерзости зачем же делать?.. Подлецы! — сказал князь с чувством негодованья.— Ни одного чиновника нет у меня хорошего: все — мерзавцы!

— Ваше сиятельство! да кто ж из нас, как следует, хорош? Все чиновники нашего города — люди, имеют достоинства и многие очень знающие в деле, а от греха всяк близок.

— Послушайте, Афанасий Васильевич, скажите мне, я вас одного знаю за честного человека, что у вас за страсть защищать всякого рода мерзавцев?

— Ваше сиятельство,— сказал Муразов,— кто бы ни был человек, которого вы называете мерзавцем, но ведь он человек. Как же не защищать человека, когда знаешь, что он половину зол делает от грубости и неведенья? Ведь мы делаем несправедливости на всяком шагу и всякую минуту бываем причиной несчастья другого, даже и не с дурным намереньем. Ведь ваше сиятельство сделали также большую несправедливость.

— Как! — воскликнул в изумлении князь, совершенно пораженный таким нежданным оборотом речи.

Муразов остановился, помолчал, как бы соображая что-то, и наконец сказал:

— Да вот хоть бы по делу Дерпенникова [1].

— Афанасий Васильевич! Преступленье против коренных государственных законов, равное измене земле своей!

— Я не оправдываю его. Но справедливо ли то, если юношу, который по неопытности своей был обольщен и сманен другими, осудить так, как и того, который был один из зачинщиков? Ведь участь постигла ровная и Дерпенникова, и какого-нибудь Вороного-Дрянного; а ведь преступленья их не равны.

— Ради бога...— сказал князь с заметным волненьем,— вы что-нибудь знаете об этом? скажите. Я именно недавно послал еще прямо в Петербург об смягчении его участи.

— Нет, ваше сиятельство, я не насчет того говорю, чтобы я знал что-нибудь такое, чего вы не знаете. Хотя, точно, есть одно такое обстоятельство, которое бы послужило в его пользу, да он сам не согласится, потому <что> через это пострадал бы другой. А я думаю только то, что не изволили ли вы тогда слишком поспешить. Извините, ваше сиятельство, я сужу по своему слабому разуму. Вы несколько раз приказывали мне откровенно говорить. У меня-с, когда я еще был начальником, много было всяких работников, и дурных и хороших... Следовало бы тоже принять во внимание и прежнюю жизнь человека, потому что, если не рассмотришь все хладнокровно, а накричишь с первого раза,— запу-

[1] Ранее: Тентетникова.— *Ред.*

гаешь только его, да и признанья настоящего не добьешься: а как с участием его расспросишь, как брат брата,— сам все выскажет и даже не просит о смягчении, и ожесточенья ни против кого нет, потому что ясно видит, что не я его наказываю, а закон.

Князь задумался. В это время вошел молодой чиновник и почтительно остановился с портфелем. Забота, труд выражались на его молодом и еще свежем лице. Видно было, что он недаром служил по особым порученьям. Это был один из числа тех немногих, который занимался делопроизводством con amore. Не сгорая ни честолюбьем, ни желаньем прибытков, ни подражаньем другим, он занимался только потому, что был убежден, что ему нужно быть здесь, а не на другом месте, что для этого дана ему жизнь. Следить, разобрать по частям и, поймавши все нити запутаннейшего дела, разъяснить его — это было его дело. И труды, и старания, и бессонные ночи вознаграждались ему изобильно, если дело наконец начинало перед ним объясняться, сокровенные причины обнаруживаться, и он чувствовал, что может передать его все в немногих словах, отчетливо и ясно, так что всякому будет очевидно и понятно. Можно сказать, что не столько радовался ученик, когда пред ним раскрывалась какая-<нибудь> труднейшая фраза и обнаруживается настоящий смысл мысли великого писателя, как радовался он, когда пред ним распутывалось запутаннейшее дело. Зато...[1]

[2] — ...хлебом в местах, где голод; я эту часть получше знаю чиновников: рассмотрю самолично, что кому нужно. Да если позволите, ваше сиятельство, я поговорю и с раскольниками. Они-то с нашим братом, с простым человеком, охотнее разговорятся. Так, бог весть, может быть, помогу уладить с ними миролюбиво. А денег-то от вас я не возьму, потому что, ей-богу, стыдно в такое время думать о своей прибыли, когда умирают с голода. У меня есть в запасе готовый хлеб; я и теперь еще послал в Сибирь, и к будущему лету вновь подвезут.

— Вас может только наградить один бог за такую службу, Афанасий Васильевич. А я вам не скажу ни одного слова, потому что,— вы сами можете чувствовать,— всякое слово тут бессильно. Но позвольте мне одно сказать насчет той просьбы. Скажите сами: имею ли я право оставить это дело без внимания и справедливо ли, честно ли с моей стороны будет простить мерзавцев.

---

[1] Далее часть рукописи отсутствует.— *Ред.*

[2] Текст начинается с новой страницы, начало фразы в рукописи отсутствует.— *Ред.*

— Ваше сиятельство, ей-богу, этак нельзя называть, тем более что из <них> есть многие весьма достойные. Затруднительны положенья человека, ваше сиятельство, очень, очень затруднительны. Бывает так, что, кажется, кругом виноват человек: а как войдешь — даже и не он.

— Но что скажут они сами, если оставлю? Ведь есть из них, которые после этого еще больше подымут нос и будут даже говорить, что они напугали. Они первые будут не уважать...

— Ваше сиятельство, позвольте мне вам дать свое мнение: соберите их всех, дайте им знать, что вам все известно, и представьте им ваше собственное положение точно таким самым образом, как вы его изволили изобразить сейчас передо мной, и спросите у них совета: что <бы> из них каждый сделал на вашем положении?

— Да вы думаете, им будут доступны движенья благороднейшие, чем каверзничать и наживаться? Поверьте, они надо мной посмеются.

— Не думаю-с, ваше сиятельство. У [русского] человека, даже и у того, кто похуже других, все-таки чувство справедливо. Разве жид какой-нибудь, а не русский. Нет, ваше сиятельство, вам нечего скрываться. Скажите так точно, как изволили перед <мной>. Ведь они вас поносят, как человека честолюбивого, гордого, который и слышать ничего не хочет, уверен в себе,— так пусть же увидят всё, как оно есть. Что ж вам? Ведь ваше дело правое. Скажите им так, как бы вы не пред ними, а пред самим богом принесли свою исповедь.

— Афанасий Васильевич,— сказал князь в раздумье,— я об этом подумаю, а покуда благодарю вас очень за совет.

— А Чичикова, ваше сиятельство, прикажите отпустить.

— Скажите этому Чичикову, чтобы он убирался отсюда как можно поскорей, и чем дальше, тем лучше. Его-то уже я бы никогда не простил.

Муразов поклонился и прямо от князя отправился к Чичикову. Он нашел Чичикова уже в духе, весьма покойно занимавшегося довольно порядочным обедом, который был ему принесен в фаянсовых судках из какой-то весьма порядочной кухни. По первым фразам разговора старик заметил тотчас, что Чичиков уже успел переговорить кое с кем из чиновников-казусников. Он даже понял, что сюда вмешалось невидимое участие знатока-юрисконсульта.

— Послушайте-с, Павел Иванович,— сказал он,— я привез вам свободу на таком условии, чтобы сейчас вас не было в городе. Собирайте все пожитки свои — да и с богом, не откладывая ни минуту, потому что дело еще хуже. Я знаю-с, вас тут один чело-

век настраивает; так объявляю вам по секрету, что такое еще дело одно открывается, что уж никакие силы не спасут этого. Он, конечно, рад других топить, чтобы нескучно, да дело к разделке. Я вас оставил в расположенье хорошем,— лучшем, нежели в каком теперь. Советую вам-с не в шутку. Ей-<ей>, дело не в этом имуществе, из-за которого спорят и режут друг друга люди, точно как можно завести благоустройство в здешней жизни, не помысливши о другой жизни. Поверьте-с, Павел Иванович, что покамест, брося все то, из-за чего грызут и едят друг друга на земле, не подумают о благоустройстве душевного имущества, не установится благоустройство и земного имущества. Наступят времена голода и бедности, как во всем народе, так и порознь во всяком... Это-с ясно. Что ни говорите, ведь от души зависит тело. Как же хотеть, чтобы <шло> как следует. Подумайте не о мертвых душах, а <о> своей живой душе, да и с богом на другую дорогу! Я тож выезжаю завтрашний день. Поторопитесь! не то без меня беда будет.

Сказавши это, старик вышел. Чичиков задумался. Значенье жизни опять показалось немаловажным. «Муразов прав,— сказал он,— пора на другую дорогу!» Сказавши это, он вышел из тюрьмы. Часовой потащил за ним шкатулку, другой — чемодан белья. Селифан и Петрушка обрадовались, как бог знает чему, освобожденью барина.

— Ну, любезные,— сказал Чичиков, обратившись <к ним> милостиво,— нужно укладываться да ехать.

— Покатим, Павел Иванович,— сказал Селифан.— Дорога, должно быть, установилась: снегу выпало довольно. Пора уж, право, выбраться из города. Надоел он так, что и глядеть на него не хотел бы.

— Ступай к каретнику, чтобы поставил коляску на полозки,— сказал Чичиков, а сам пошел в город, но ни <к> кому не хотел заходить отдавать прощальных визитов. После всего этого события было и неловко,— тем более, что о нем множество ходило в городе самых неблагоприятных историй. Он избегал всяких встреч и зашел потихоньку только к тому купцу, у которого купил сукна наваринского пламени с дымом, взял вновь четыре аршина на фрак и на штаны и отправился сам к тому же портному. За двойную <цену> мастер решился усилить рвение и засадил всю ночь работать при свечах портное народонаселение — иглами, утюгами и зубами, и фрак на другой день был готов, хотя и немножко поздно. Лошади все были запряжены. Чичиков, однако ж, фрак примерил. Он был хорош, точь-точь как прежний. Но, увы! он заметил, что в голове уже белело что-то гладкое, и примолвил грустно: «И зачем было предаваться так сильно сокрушенью? А рвать волос не следовало бы и подавно». Расплатившись с портным, он выехал наконец

из города в каком-то странном положении. Это был не прежний Чичиков. Это была какая-то развалина прежнего Чичикова. Можно было сравнить его внутреннее состояние души с разобранным строеньем, которое разобрано с тем, чтобы строить из него же новое; а новое еще не начиналось, потому что не пришел от архитектора определительный план и работники остались в недоуменье. Часом прежде его отправился старик Муразов, в рогоженной кибитке, вместе с Потапычем, а часом после отъезда Чичикова пошло приказание, что князь, по случаю отъезда в Петербург, желает видеть всех чиновников до едина.

В большом зале генерал-губернаторского дома собралось все чиновное сословие города, начиная от губернатора до титулярного советника: правители канцелярий и дел, советники, асессоры, Кислоедов, Красноносов, Самосвистов, не бравшие, бравшие, кривившие душой, полукривившие и вовсе не кривившие,— все ожидало с некоторым не совсем спокойным ожиданием генеральского выхода. Князь вышел ни мрачный, ни ясный: взор его был тверд, так же как и шаг... Все чиновное собрание поклонилось, многие — в пояс. Ответив легким поклоном, князь начал:

— Уезжая в Петербург, я почел приличным повидаться с вами всеми и даже объяснить вам отчасти причину. У нас завязалось дело очень соблазнительное. Я полагаю, что многие из предстоящих знают, о каком деле я говорю. Дело это повело за собою открытие и других, не менее бесчестных дел, в которых замешались даже наконец и такие люди, которых я доселе почитал честными. Известна мне даже и сокровенная цель спутать таким образом все, чтобы оказалась полная невозможность решить формальным порядком. Знаю даже, и кто главная пружина и чьим сокровенным...[1], хотя он и очень искусно скрыл свое участие. Но дело в том, что я намерен это следить не формальным следованьем по бумагам, а военным быстрым судом, как в военное <время>, и надеюсь, что государь мне даст это право, когда я изложу все это дело. В таком случае, когда нет возможности произвести дело гражданским образом, когда горят шкафы с <бумагами> и, наконец, излишеством лживых посторонних показаний и ложными доносами стараются затемнить и без того довольно темное дело,— я полагаю военный суд единственным средством и желаю знать мнение ваше.

Князь остановился, как <бы> ожидая ответа. Все стояло, потупив глаза в землю. Многие были бледны.

— Известно мне также еще одно дело, хотя производившие его в полной уверенности, что оно никому не может быть известно.

---

[1] В рукописи не дописано.— *Ред.*

Производство его уже пойдет не по бумагам, потому что истцом и челобитчиком я буду уже сам и представлю очевидные доказательства.

Кто-то вздрогнул среди чиновного собрания; некоторые из боязливейших тоже смутились.

— Само по себе, что главным зачинщикам должно последовать лишенье чинов и имущества, прочим — отрешенье от мест. Само собой разумеется, что в числе их пострадает и множество невинных. Что ж делать? Дело слишком бесчестное и вопиет о правосудии. Хотя я знаю, что это будет даже и не в урок другим, потому что наместо выгнанных явятся другие, и те самые, которые дотоле были честны, сделаются бесчестными, и те самые, которые удостоены будут доверенности, обманут и продадут,— несмотря на все это, я должен поступить жестоко, потому что вопиет правосудие. Знаю, что меня будут обвинять в суровой жестокости, но знаю, что те будут еще...[1] меня те же обвинять...[1] Я должен обратиться теперь только в одно бесчувственное орудие правосудия, в топор, который должен упасть на головы.

Содроганье невольно пробежало по всем лицам.

Князь был спокоен. Ни гнева, ни возмущенья душевного не выражало его лицо.

— Теперь тот самый, у которого в руках участь многих и которого никакие просьбы не в силах были умолить, тот самый бросается теперь к ногам вашим, вас всех просит. Все будет позабыто, изглажено, прощено; я буду сам ходатаем за всех, если исполните мою просьбу. Вот моя просьба. Знаю, что никакими средствами, никакими страхами, никакими наказаниями нельзя искоренить неправды: она слишком уже глубоко вкоренилась. Бесчестное дело брать взятки сделалось необходимостью и потребностью даже и для таких людей, которые и не рождены быть бесчестными. Знаю, что уже почти невозможно многим идти противу всеобщего теченья. Но я теперь должен, как в решительную и священную минуту, когда приходится спасать свое отечество, когда всякий гражданин несет все и жертвует всем,— я должен сделать клич хотя к тем, у которых еще есть в груди русское сердце и понятно сколько-нибудь слово «благородство». Что тут говорить о том, кто более из нас виноват! Я, может быть, больше всех виноват; я, может быть, слишком сурово вас принял вначале; может быть, излишней подозрительностью я оттолкнул из вас тех, которые искренно хотели мне быть полезными, хотя и я, с своей стороны, мог бы также сделать <им упрек>. Если они уже действительно любили справедливость и добро своей земли, не следовало бы им

[1] Край листа рукописи оторван.— *Ред.*

оскорбиться на надменность моего обращения, следовало бы им подавить в себе собственное честолюбие и пожертвовать своей личностью. Не может быть, чтобы я не заметил их самоотверженья и высокой любви к добру и не принял бы наконец от них полезных и умных советов. Все-таки скорей подчиненному следует применяться к нраву начальника, чем начальнику к нраву подчиненного. Это законней, по крайней мере, и легче, потому что у подчиненных один начальник, а у начальника сотни подчиненных. Но оставим теперь в сторону, кто кого больше виноват. Дело в том, что пришло нам спасать нашу землю; что гибнет уже земля наша не от нашествия двадцати иноплеменных языков, а от нас самих; что уже, мимо законного управленья, образовалось другое правленье, гораздо сильнейшее всякого законного. Установились свои условия; все оценено, и цены даже приведены во всеобщую известность. И никакой правитель, хотя бы он был мудрее всех законодателей и правителей, не в силах поправить зла, как <ни> ограничивай он в действиях дурных чиновников приставленьем в надзиратели других чиновников. Все будет безуспешно, покуда не почувствовал из нас всяк, что он так же, как в эпоху восстанья народ вооружался против <врагов>, так должен восстать против неправды. Как русский, как связанный с вами единокровным родством, одной и тою же кровью, я теперь обращаюсь <к> вам. Я обращаюсь к тем из вас, кто имеет понятье какое-нибудь о том, что такое благородство мыслей. Я приглашаю вспомнить долг, который на всяком месте предстоит человеку. Я приглашаю рассмотреть ближе свой долг и обязанность земной своей должности, потому что это уже нам всем темно представляется, и мы едва...[1]

[1] На этом рукопись обрывается.— *Ред.*

## ПОВЕСТЬ О КАПИТАНЕ КОПЕЙКИНЕ

*Редакция, разрешенная цензурой*

«После кампании двенадцатого года, судырь ты мой,— так начал почтмейстер, несмотря на то что в комнате сидел не один сударь, а целых шестеро,— после кампании двенадцатого года, вместе с ранеными прислан был и капитан Копейкин. Пролетная голова, привередлив, как черт, побывал и на гауптвахтах и под арестом, всего отведал. Под Красным ли, или под Лейпцигом, только, можете вообразить, ему оторвало руку и ногу. Ну, тогда еще не успели сделать насчет раненых никаких, знаете, эдаких распоряжений; этот какой-нибудь инвалидный капитал был уже заведен, можете представить себе, в некотором роде после. Капитан Копейкин видит: нужно работать бы, только рука-то у него, понимаете, левая. Наведался было домой к отцу, отец говорит: «Мне нечем тебя кормить, я — можете представить себе,— сам едва достаю хлеб». Вот мой капитан Копейкин решился отправиться, судырь мой, в Петербург, чтобы хлопотать по начальству, не будет ли какого вспоможенья... Как-то там, знаете, с обозами или фурами казенными,— словом, судырь мой, дотащился он кое-как до Петербурга. Ну, можете представить себе: эдакой какой-нибудь, то есть, капитан Копейкин и очутился вдруг в столице, которой подобной, так сказать, нет в мире! Вдруг перед ним свет, относительно сказать, некоторое поле жизни, сказочная Шехерезада, понимаете, эдакая. Вдруг какой-нибудь эдакой, можете представить себе, Невский прешпект, или там, знаете, какая-нибудь Гороховая, черт возьми, или там эдакая какая-нибудь Литейная; там шпиц эдакой какой-нибудь в воздухе; мосты там висят эдаким чертом, можете представить себе, без всякого, то есть, прикосновения,— словом, Семирамида, судырь, да и полно! Понатолкался было нанять квартиру, только все это кусается страшно: гардины, шторы,

чертовство такое, понимаете, ковры — Персия, судырь мой, такая... словом, относительно так сказать, ногой попираешь капиталы. Идешь по улице, а уж нос слышит, что пахнет тысячами; а у моего капитана Копейкина весь ассигнационный банк, понимаете, из каких-нибудь десяти синюх да серебра мелочь. Ну, деревни на это не купишь, то есть и купишь, может быть, если приложишь тысяч сорок, да сорок-то тысяч нужно занять у французского короля. Ну, как-то там приютился в ревельском трактире за рубль в сутки; обед — щи, кусок битой говядины... Видит: заживаться нечего. Расспросил, куда обратиться. Что ж, куда обратиться? Говорят, высшего начальства нет теперь в столице, все это, понимаете, в Париже, войска не возвращались, а есть, говорят, временная комиссия. Попробуйте, может быть, что-нибудь там могут. «Пойду в комиссию,— говорит Копейкин,— скажу: так и так, проливал, в некотором роде, кровь, относительно сказать, жизнию жертвовал». Вот, судырь мой, вставши пораньше, поскреб он себе левой рукой бороду, потому что платить цирюльнику — это составит, в некотором роде, счет, натащил на себя мундиришка и на деревяшке своей, можете вообразить, отправился в комиссию. Расспросил, где живет начальник. Вон, говорят, дом на набережной: избенка, понимаете, мужичья: стеклушки в окнах, можете себе представить, полуторасаженные зеркала, марморы, лаки, судырь ты мой... словом, ума помраченье! Металлическая ручка какая-нибудь у двери — конфорт первейшего свойства, так что прежде, понимаете, нужно забежать в лавочку, да купить на грош мыла, да часа с два, в некотором роде, тереть им руки, да уж после разве можно взяться за нее. Один швейцар на крыльце, с булавой: графская эдакая физиогномия, батистовые воротнички, как откормленный жирный мопс какой-нибудь... Копейкин мой встащился коекак с своей деревяшкой в приемную, прижался там в уголку себе, чтобы не толкнуть локтем, можете себе представить, какую-нибудь Америку или Индию — раззолоченную, относительно сказать, фарфоровую вазу эдакую. Ну, разумеется, что он настоялся там вдоволь, потому что пришел еще в такое время, когда начальник, в некотором роде, едва поднялся с постели и камердинер поднес ему какую-нибудь серебряную лоханку для разных, понимаете, умываний эдаких. Ждет мой Копейкин часа четыре, как вот входит дежурный чиновник, говорит: «Сейчас начальник выдет». А в комнате уж и эполет и эксельбант, народу — как бобов на тарелке. Наконец, судырь мой, выходит начальник. Ну... можете представить себе: начальник! в лице, так сказать... ну, сообразно с званием, понимаете... с чином... такое и выраженье, понимаете. Во всем столичный поведенц; подходит к одному, к другому: «Зачем вы, зачем вы, что вам угодно, какое ваше дело?» Наконец, су-

дырь мой, к Копейкину. Копейкин: «Так и так, говорит, проливал кровь, лишился, в некотором роде, руки и ноги, работать не могу, осмеливаюсь просить, не будет ли какого вспомоществования, каких-нибудь эдаких распоряжений насчет, относительно так сказать, вознаграждения, пенсиона, что ли, понимаете». Начальник видит: человек на деревяшке и правый рукав пустой пристегнут к мундиру. «Хорошо, говорит, понаведайтесь на днях!» Копейкин мой в восторге: ну, думает, дело сделано. В духе, можете вообразить, таком подпрыгивает по тротуару; зашел в Палкинский трактир выпить рюмку водки, пообедал, судырь мой, в «Лондоне», приказал себе подать котлетку с каперсами, пулярку с разными финтерлеями, спросил бутылку вина, ввечеру отправился в театр — одним словом, кутнул во всю лопатку, так сказать. На тротуаре, видит, идет какая-то стройная англичанка, как лебедь, можете себе представить, эдакой. Мой Копейкин — кровь-то, знаете, разыгралась — побежал было за ней на своей деревяшке: трюх-трюх следом,— «да нет, подумал, на время к черту волокитство, пусть после, когда получу пенсион, теперь уж я что-то слишком расходился». А промотал он между тем, прошу заметить, в один день чуть не половину денег! Дня через три-четыре является он, судырь ты мой, в комиссию, к начальнику. «Пришел, говорит, узнать: так и так, по одержимым болезням и за ранами... проливал, в некотором роде, кровь...» — и тому подобное, понимаете, в должностном слоге. «А что,— говорит начальник,— прежде всего я должен вам сказать, что по делу вашему без разрешения высшего начальства ничего не можем сделать. Вы сами видите, какое теперь время. Военные действия, относительно так сказать, еще не кончились совершенно. Обождите приезда господина министра, потерпите. Тогда будьте уверены, вы не будете оставлены. А если вам нечем жить, так вот вам, говорит, сколько могу...» Ну и, понимаете, дал ему,— конечно, немного, но с умеренностью стало бы протянуться до дальнейших там разрешений. Но Копейкину моему не того хотелось. Он-то уже думал, что вот ему завтра так и выдадут тысячный какой-нибудь эдакой куш: на́ тебе, голубчик, пей да веселись; а вместо того жди. А уж у него, понимаете, в голове и англичанка, и суплеты, и котлеты всякие. Вот он совой такой вышел с крыльца, как пудель, которого повар облил водой,— и хвост у него между ног, и уши повисли. Жизнь-то петербургская его уже поразобрала, кое-чего он уже и попробовал. А тут живи черт знает как, сластей, понимаете, никаких. Ну, а человек-то свежий, живой, аппетит просто волчий. Проходит мимо эдакого какого-нибудь ресторана: повар там, можете себе представить, иностранец, француз эдакой с открытой физиогномией, белье на нем голландское, фартук, белизною равный, в некотором роде, снегам, работает фен-

зерв какой-нибудь эдакой, котлетки с трюфелями,— словом, рассупе-деликатес такой, что просто себя, то есть, съел бы от аппетита. Пройдет ли мимо Милютинских лавок, там из окна выглядывает, в некотором роде, семга эдакая, вишенки — по пяти рублей штучка, арбуз-громадище, дилижанс эдакой, высунулся из окна и, так сказать, ищет дурака, который бы заплатил сто рублей,— словом, на всяком шагу соблазн, относительно так сказать, слюнки текут, а он жди. Так представьте себе его положение: тут, с одной стороны, так сказать, семга и арбуз, а с другой стороны — ему подносят горькое блюдо под названьем «завтра». «Ну уж, думает, как они там себе хотят, а я пойду, говорит, подыму всю комиссию, всех начальников, скажу: как хотите». И в самом деле: человек назойливый, наян эдакой, толку-то, понимаете, в голове нет, а рыси много. Приходит он в комиссию: «Ну что, говорят, зачем еще? ведь вам уж сказано».— «Да что, говорит, я не могу, говорит, перебиваться кое-как. Мне нужно, говорит, съесть и котлетку, бутылку французского вина, поразвлечь тоже себя, в театр, понимаете».— «Ну уж,— говорит начальник,— извините. На счет этот есть, так сказать, в некотором роде, терпение. Вам даны пока средства для прокормления, покамест выдет резолюция, и, без сомнения, вы будете вознаграждены, как следует: ибо не было еще примера, чтобы у нас в России человек, приносивший, относительно так сказать, услуги отечеству, был оставлен без призрения. Но если вы хотите теперь же лакомить себя котлетками и в театр, понимаете, так уж тут извините. В таком случае ищите сами себе средств, старайтесь сами себе помочь». Но Копейкин мой, можете вообразить себе, и в ус не дует. Слова-то ему эти как горох к стене. Шум поднял такой, всех распушил! всех там этих секретарей, всех начал откалывать и гвоздить: да вы, говорит, то, говорит! да вы, говорит, это, говорит! да вы, говорит, обязанностей своих не знаете! да вы, говорит, законопродавцы, говорит! Всех отшлепал. Там какой-то чиновник, понимаете, подвернулся из какого-то даже вовсе постороннего ведомства — он, судырь мой, и его! Бунт поднял такой. Что прикажешь делать с эдаким чертом? Начальник видит: нужно прибегнуть, относительно так сказать, к мерам строгости. «Хорошо, говорит, если вы не хотите довольствоваться тем, что дают вам, и ожидать спокойно, в некотором роде, здесь в столице решенья вашей участи, так я вас препровожу на место жительства. Позвать, говорит, фельдъегеря, препроводить его на место жительства!» А фельдъегерь уже там, понимаете, за дверью и стоит: трехаршинный мужичина какой-нибудь, ручища у него, можете вообразить, самой натурой устроена для ямщиков — словом, дантист эдакой... Вот его, раба божия, в тележку да с фельдъегерем. Ну, Копейкин думает, по крайней мере, не нужно платить

прогонов, спасибо и за то. Едет он, судырь мой, на фельдъегере, да едучи на фельдъегере, в некотором роде, так сказать, рассуждает сам себе: «Хорошо, говорит, вот ты, мол, говоришь, чтобы я сам себе поискал средств и помог бы; хорошо, говорит, я, говорит, найду средства!» Ну уж как там его доставили на место и куда именно привезли, ничего этого не известно. Так, понимаете, и слухи о капитане Копейкине канули в реку забвения, в какую-нибудь эдакую Лету, как называют поэты. Но позвольте, господа, вот тутто и начинается, можно сказать, нить завязки романа. Итак, куда делся Копейкин, неизвестно; но не прошло, можете представить себе, двух месяцев, как появилась в рязанских лесах шайка разбойников, а атаман-то этой шайки был, судырь мой, не кто другой...»

## ПОВЕСТИ

Повести, включенные в настоящий том, принято относить к циклу «петербургских повестей». Необходимо только помнить, что у Гоголя самого выражения «петербургские повести» нет; оно возникло уже в послегоголевской критике.

### НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ

Повесть впервые опубликована в книге: «Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя». СПб., ч. II, 1835 (цензурное разрешение 10 ноября 1834 г.).

Перед печатанием повести Гоголь показал ее Пушкину. В ответ Пушкин написал автору: «Перечел с большим удовольствием; кажется, все может быть пропущено. Секуцию жаль выпустить: она, мне кажется, необходима для полного эффекта вечерней мазурки. Авось бог вынесет. С богом!» Цензура, однако, не пропустила сцену «секуции».

Одним из первых в критике высоко оценил «Невский проспект» Пушкин. В опубликованной в «Современнике» (1836, т. I) рецензии на второе издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки» было отмечено, что Гоголь после выхода его первой книги повестей «непрестанно развивался и совершенствовался». «Он издал «Арабески», где находится его «Невский проспект», самое полное из его произведений».

Подробную характеристику «Невского проспекта» дал Белинский в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» («Телескоп», 1835, т. XXVI). «Невский проспект» есть создание столь же глубокое, сколько и очаровательное; это две полярные стороны одной и той же жизни, это высокое и смешное о бок друг другу». Критик отметил глубокую поэтичность сцены сна — «этого дивного, драгоценного перла нашей поэзии, второго и единственного после сна Татьяны Пушкина...». Говоря о «типизме» повести, Белинский останавливался на Пирогове: «О, единственный, несравненный Пирогов, тип из

типов, первообраз из первообразов! Ты многообъемлющее, чем Шайлок, многозначительнее, чем Фауст!»

Позднее Аполлон Григорьев рассмотрел повесть Гоголя в ряду других произведений 20—30-х годов о художниках. В лице Пискарева Гоголь «свел... с ходуль и возвратил в простую действительность этот тип, доведенный до крайности смешного повестями тридцатых годов, получивших его из германской романтической реакции или даже из вторых рук французского романтизма» («Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина», статья первая, 1859).

Стр. 24. *...сонный ганимед...*— Ганимед — слуга Зевса (г р е ч. м и ф.).

Стр. 28. *Перуджино* Пьетро (ок. 1446—1523) — итальянский художник, учитель Рафаэля.

Стр. 43. *А. А. Орлов* (1791—1840) — лубочный писатель.

*«Филатка»* — «Филатка и Мирошка — соперники, или Четыре жениха и одна невеста» (1831) — водевиль П. И. Григорьева, пользовавшийся большой популярностью среди невзыскательных зрителей.

Стр. 51. *Лафайет* М.-Ж.-П. (1757—1834) — французский политический деятель и генерал.

## НОС

Опубликовано впервые в «Современнике», 1836, т. III (ценз. разр. сентябрь 1836 г.).

Гоголь работал над повестью в течение нескольких лет, примерно с 1832 года. Сюжет повести тесно связан с различными бытовавшими в то время анекдотами и историями о диковинных носах — то есть с так называемой «носологией», имеющей в искусстве очень древние традиции. Но в то же время на формирование замысла повести повлияли некоторые злободневные факты и «происшедствия» из русской жизни 30-х годов.

Так, из дневниковой записи Пушкина (от 17 декабря 1833 г.) мы узнаем: «В городе говорят о странном происшедствии. В одном из домов, принадлежащих ведомству придворной конюшни, мебели вздумали двигаться и прыгать; дело пошло по начальству. — Кн. В. Долгорукий нарядил следствие...» М. Лонгинов, бравший в это время уроки у Гоголя, вспоминал, что последний с неподражаемым комизмом «передавал... городские слухи и толки о танцующих стульях в каком-то доме Конюшенной улицы, бывшие тогда во всем разгаре». Этот-то эпизод и отразился в повести «Нос» (в конце второй главки).

18 марта 1835 года Гоголь послал повесть в Москву М. Погодину для напечатания в «Московском наблюдателе». Но редакция не опубликовала повесть, найдя ее «грязною», как свидетельствовал позднее Белинский.

Гоголь передал повесть в «Современник», где она появилась со следующим редакционным примечанием, написанным Пушкиным: «Н. В. Гоголь долго

не соглашался на напечатание этой шутки; но мы нашли в ней так много неожиданного, фантастического, веселого, оригинального, что уговорили его позволить нам поделиться с публикою удовольствием, которое доставила нам его рукопись. *Изд.*».

Еще в связи с предполагаемой им публикацией повести в «Московском наблюдателе» Гоголь высказывал опасение: «глупая цензура привяжется к тому, что Нос не может быть в Казанской церкви...» И действительно: по требованию цензуры место встречи Ковалева с Носом пришлось перенести в Гостиный двор. Были сделаны и другие изменения и купюры.

Дорабатывая повесть для третьего тома своих Сочинений (1842), Гоголь расширил финал, выделив его в особую заключительную главку.

Большинство критиков, современников Гоголя, не поняло значительности повести, расценив ее или как забавный фарс, добродушную шутку (Н. Полевой), или же как просто неудачное произведение (С. Шевырев). О глубоком интересе молодежи к повести свидетельствует В. Стасов, бывший в то время студентом Петербургского училища правоведения: «Мы были в глубоком восхищении».

В. Белинский в 1839 году в рецензии на 11-й и 12-й тома «Современника» писал о типичности майора Ковалева: «Отчего он так заинтересовал вас, отчего так смешит он вас несбыточным происшествием с своим злополучным носом? — Оттого, что он есть не майор Ковалев, а *майоры Ковалевы*...» В 1843 году Белинский писал, что «Нос» — это «арабеск, небрежно набросанный карандашом великого мастера...».

Своеобразие повести глубоко почувствовал Ап. Григорьев, отметивший, что гоголевский юмор «достигает крайних пределов своих в «Носе», оригинальнейшем и причудливейшем произведении, где все фантастично и вместе с тем все — в высшей степени поэтическая правда, где все понятно без толкования и где всякое толкование убило бы поэзию...» («Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина», статья первая, 1859).

Стр. 55. *...но всегда майором...* — Звание коллежского асессора, чиновника восьмого класса, было равно званию майора в военной табели о рангах.

Стр. 65. *Бортище* — дюжина.

Стр. 69. *Хозрев-Мирза* — персидский принц, приезжавший в Россию в 1829 г.

## ПОРТРЕТ

Опубликовано впервые в книге: «Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя». СПб., ч. I, 1835 (ценз. разр. 10 ноября 1834 г.).

Гоголь приступил к написанию повести в начале 30-х годов, очевидно, не ранее 1832 года. На описание района Петербурга — Коломны определенное влияние оказала пушкинская поэма «Домик в Коломне», ставшая известной Гоголю еще до опубликования. «У Пушкина повесть, октавами писанная: «Кухарка»,— сообщал Гоголь А. Данилевскому 2 ноября 1831 года,— в ко-

торой вся Коломна и петербургская природа живая». В качестве возможного прототипа ростовщика указывают на известного в ту пору ростовщика-индуса Моджерама-Мотомалова (См. о нем: П. А. Каратыгин. Записки, т. I. Л., «Academia», 1929, с. 264).

Белинский после краткого неодобрительного отзыва о «Портрете» в статье «И мое мнение об игре г. Каратыгина» подробно охарактеризовал повесть в работе «О русской повести и повестях г. Гоголя» (1835): «Портрет» есть неудачная попытка г. Гоголя в фантастическом роде. Здесь его талант падает, но он и в самом падении остается талантом. Первой части этой повести невозможно читать без увлечения; даже, в самом деле, есть что-то ужасное, роковое, фантастическое в этом таинственном портрете...» Отметив далее ряд «юмористических картин и очерков во вкусе г. Гоголя», критик переходил ко второй части повести: «Это явная приделка, в которой работал ум, а фантазия не принимала никакого участия».

Во второй половине 30-х годов Гоголь переделал повесть, создав, по существу, новую редакцию. Переработка была осуществлена, по словам Гоголя, «вследствие сделанных еще в Петербурге замечаний» (письмо к П. Плетневу 17 марта 1842 г.); но очевидно, что писатель принял во внимание и критические соображения Белинского, проживавшего в то время в Москве.

В новой редакции усилен был реально-психологический план эволюции Чарткова (в прежней редакции он носил фамилию Чертков): показано, какие психологические задатки и внешние обстоятельства превратили его в «модного живописца». Смягчена и сделана более мотивированной фантастика. Усилено значение эстетической темы — темы истинного творчества, противоположного рабскому копированию действительности.

Вторая редакция «Портрета» была опубликована в «Современнике» (1842, т. XXVII, № 3, ценз. разр. 30 июня) и затем перепечатана в третьем томе «Сочинений Николая Гоголя» (1842). В настоящем издании печатается вторая редакция «Портрета».

Белинский в статье «Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя «Мертвые души» (1842) дал новой редакции двойственную оценку: «Первая часть повести, за немногими исключениями, стала несравненно лучше, именно там, где дело идет об изображении действительности (одна сцена квартального, рассуждающего о картинах Чарткова... есть уже гениальный эскиз); но вся остальная половина повести невыносимо дурна...» «...Мысль повести была бы прекрасна, если б поэт понял ее в *современном* духе: в Чарткове он хотел изобразить даровитого художника, погубившего свой талант, а следовательно, и самого себя, жадностию к деньгам и обаянием мелкой известности. И выполнение этой мысли должно было быть просто, без фантастических затей, на почве ежедневной действительности...» Мысль о гибельных последствиях «копирования с натуры вместо творческого воспроизведения натуры» также выражена, по мнению критика, «чересчур затейливо, холодно и сухо аллегорически».

Стр. 74. *Беленькая* — ассигнация в двадцать пять рублей.

Стр. 77. *Гвидо* Рени (1575—1642) — итальянский художник.

Стр. 78. *...об одном портрете... Леонардо да Винчи...*— Речь идет о портрете Монны Лизы («Джоконда»). Итальянский художник и архитектор Вазари (1511—1574) в своем «Жизнеописании художников» отмечал необычайную жизненность этого портрета и особенно — изображения глаз.

Стр. 84. *Громобой* — персонаж баллады Жуковского «Двенадцать спящих дев», продавший душу дьяволу.

Стр. 87. *...достойной Вандиков...*— Ван-Дейк Антонис (1599—1641) — голландский художник.

Стр. 88. *...во вкусе Теньера...*— Тенирс Давид Младший (1610—1690) — фламандский художник.

Стр. 92. *Корредж* — Корреджо (настоящее имя — Антонио Аллегри) (1494—1534) — итальянский художник.

Стр. 107. *Грандиссон* — герой одноименного романа английского писателя С. Ричардсона (1754).

## ШИНЕЛЬ

Впервые опубликовано в «Сочинениях Николая Гоголя», т. III. СПб., 1842 (ценз. разр. 15 сентября).

П. Анненков вспоминает о том, как «однажды при Гоголе рассказан был канцелярский анекдот о каком-то бедном чиновнике, страстном охотнике за птицей, который необычайной экономией и неутомимыми, усиленными трудами сверх должности накопил сумму, достаточную на покупку хорошего лепажевского ружья...». Однако во время первой же охоты ружье было потеряно. «Чиновник возвратился домой, лег в постель и уже не вставал: он схватил горячку». Только собрав деньги и купив новое ружье, товарищи смогли возвратить чиновника к жизни. «Все смеялись анекдоту... исключая Гоголя, который выслушал его задумчиво и опустил голову. Анекдот был первой мыслию чудной повести его «Шинель»...»

Рассказ этот Гоголь мог услышать еще до отъезда за границу, в 1835—1836 годах. Однако никаких свидетельств работы писателя над «Шинелью» в это время нет.

Первый сохранившийся набросок, носящий название «Повесть о чиновнике, крадущем шинели» (что, очевидно, связано с ее фантастическим финалом), датируют 1839 годом. Работа над повестью шла с перерывами вплоть до начала 1841 года.

Еще до опубликования повести Белинский отметил, что это «одно из глубочайших созданий» писателя («Библиографическое известие», 1842). По-видимому, критик сумел прочитать «Шинель» в рукописи, при посредстве Н. Я. Прокоповича, наблюдавшего за изданием сочинений Гоголя.

В 1847 году Ап. Григорьев писал: «...В образе Акакия Акакиевича поэт начертал последнюю грань обмеления Божьего создания до той степени, что

вещь, и вещь самая ничтожная, становится для человека источником беспредельной радости и уничтожающего горя, до того, что шинель делается трагическим fatum в жизни существа, созданного по образу и по подобию Вечного; волос становится дыбом от злобно-холодного юмора, с которым следится это обмеление...» («Гоголь и его последняя книга». — «Московский городской листок», 1847, № 62).

Позднее Ап. Григорьев неоднократно подчеркивал отрицательные последствия гоголевской трактовки характера, считая, что она подала повод к «односторонности в произведениях так называемой натуральной школы». «Вопль идеалиста Гоголя за идеал, за «прекрасного человека» — перешел здесь в вопль и протест за расслабленного, за хилого морально и физически человека» («И. С. Тургенев и его деятельность. По поводу романа «Дворянское гнездо», статья первая, 1859).

С других, революционно-демократических позиций, критиковал гоголевский подход к центральному персонажу Н. Чернышевский: не веря в силы таких людей, как Акакий Акакиевич, и стремясь возбудить к ним жалость, Гоголь, по мнению критика, избегает говорить всю правду о своем герое. «Таково было отношение прежних наших писателей к народу. Он являлся перед нами в виде Акакия Акакиевича, о котором можно только сожалеть, который может получать себе пользу только от нашего сострадания... Читайте повести из народного быта г. Григоровича и г. Тургенева со всеми их подражателями — все это насквозь пропитано запахом «шинели» Акакия Акакиевича» («Не начало ли перемены?», 1861).

О громадном влиянии повести Гоголя на последующую русскую литературу свидетельствует фраза, записанная Вогюэ со слов одного русского писателя: «Все мы вышли из гоголевской «Шинели» (V o g ü é. Le roman russe, 1886; не названный Вогюэ автор этой фразы точно не установлен; высказывались предположения, что это Достоевский или Тургенев).

## ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО

Опубликовано впервые в книге: «Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя». СПб., ч. II, 1835 (ценз. разр. 10 ноября 1834 г.). Название повести имеет здесь два варианта: «Записки сумасшедшего» — на шмуцтитуле, и непосредственно над текстом — «Клочки из записок сумасшедшего».

В перечне содержания «Арабесок», составленном к августу 1834 года, упомянуты «Записки сумасшедшего музыканта». Гоголевский замысел на этой стадии близок еще к традициям романтической повести о художниках, вдохновенных безумцах.

После 1834 года замысел повести претерпел коренные изменения, важнейшее из которых состояло в том, что тема безумия была связана теперь с новым персонажем — бедным чиновником, прообразом будущего «маленького человека».

Перед выходом в свет «Арабесок», как писал Гоголь Пушкину осенью 1834 года, произошла «довольно неприятная зацепа по цензуре по поводу «Записок сумасшедшего». Был произведен ряд купюр. В современных публикациях повести цензурные искажения устранены.

Рецензенты «Библиотеки для чтения» и «Северной пчелы» с похвалой отозвались о повести, но не увидели в ней значительного произведения. Характерно замечание Сенковского, что «Клочки из записок сумасшедшего»... были бы еще лучше, если б соединялись какою-нибудь идеей» («Библиотека для чтения», 1835, т. IX). В противовес такому мнению Белинский в статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» отметил, что в повести — «бездна поэзии», «бездна философии», что в ней мы видим «психическую *историю болезни*, изложенную в поэтической форме, удивительную по своей истине и глубокости, достойную кисти Шекспира...».

Стр. 152. *Странные дела делаются в Испании.*— В Испании после смерти короля Фердинанда VII (1833) началась борьба за престол. Кроме испанских политических партий, в ней приняли участие заинтересованные иностранные державы (в том числе Франция).

Стр. 157. *Полиньяк* — Полиньяк Огюст Жюль Арман (1780—1847) — французский министр при короле Карле X.

## ПЬЕСЫ

### РЕВИЗОР

Премьера комедии состоялась 19 апреля 1836 года в Александринском театре, в Петербурге. Одновременно в Петербурге вышло первое издание «Ревизора» (ценз. разр. 13 марта 1836 г.).

Сохранился документ, позволяющий довольно точно датировать начало работы над комедией. 7 октября 1835 года Гоголь писал Пушкину: «Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или не смешной, но русской чисто анекдот. ...духом будет комедия из пяти актов, и, клянусь, будет смешнее черта». Тот факт, что Пушкин подсказал Гоголю сюжет для его будущей комедии, подтверждается и другими документами: воспоминаниями П. Анненкова, В. Соллогуба, П. Бартенева, О. Бодянского, а также свидетельством самого Гоголя. «Мысль Ревизора принадлежит... ему»,— писал Гоголь о Пушкине в «Авторской исповеди», хотя не исключено влияние на гоголевский замысел и других источников. Анекдот о проезжем, принятом за ревизора, генерал-губернатора или другое важное лицо, был в то время широко распространен и получил отражение в ряде художественных произведений: в повести А. Вельтмана «Провинциальные актеры» (1835), в комедии Г. Квитки-Основьяненко «Приезжий из столицы, или Суматоха в уездном городе» (опубликована в 1840, но написана еще в конце 20-х годов; Гоголь, возможно, был знаком с этой комедией, ходившей в списках) и т. д.

В бумагах Пушкина сохранился набросок, свидетельствующий о том, что поэт собирался воспользоваться популярным «анекдотом». «*Криспин* приезжает в Губернию № на ярмонку — его принимают за ⟨нраб.⟩... Губерн⟨атор⟩ честной дурак — Губ⟨ернаторша⟩ с ним кокетнич⟨ает⟩ — Криспин сватается за дочь» (П у ш к и н. Полн. собр. соч., т. VIII, кн. I. Изд-во АН СССР, 1948, с. 431). Такие совпадения, как кокетничанье Губернаторши с Криспином и Хлестакова с Анной Андреевной, как сватовство Криспина за дочь губернатора и Хлестакова — за дочь Городничего, не могут быть случайностью и свидетельствуют о том, что Пушкин подсказал Гоголю не только фабулу административного qui pro quo, но и некоторые подробности ее обработки. Но в то же время уже видна глубокая оригинальность гоголевского художественного решения. Вместо ловкого обманщика (на что, в частности, указывает имя Криспин, служившее обозначением устойчивого амплуа хвастуна и плута во французской комедии), морочащего простоватого Губернатора (Губернатор — «честной дурак»), в центре комедии оказался непреднамеренный «обманщик», оказавшийся тем не менее победителем над многоопытным и искушенным в служебной дипломатии Городничим. Вместе с изменением типажа главных персонажей была глубоко перестроена вся ситуация комедии, весь ход ее действия.

Гоголь закончил комедию необычайно быстро. Не прошло и двух месяцев со времени приведенного выше письма к Пушкину, как драматург уже сообщал М. Погодину, что «третьего дни» написал пьесу и теперь отдает ее на театр.

В январе 1836 года Гоголь читал комедию у В. Жуковского, в присутствии Пушкина. Об одном из чтений у Жуковского, имевшем место 18 января, мы узнаем из письма Вяземского к А. Тургеневу: «Вчера Гоголь читал нам новую комедию «Ревизор»... Читает мастерски и возбуждает un feu roulant d'éclats de rire dans l'auditoire [1]. Не знаю, не потеряет ли пиеса на сцене, ибо не все актеры сыграют, как он читает».

Опасения Вяземского оправдались: ни театр, ни зрители не были подготовлены к «Ревизору».

Несмотря на ближайшее участие Гоголя в распределении ролей, в проведении репетиций, трактовка комедии в Александринском театре не отличалась художественной цельностью и завершенностью. А. Я. Панаева (Головачева), дочь известного актера Брянского, свидетельствовала: «Все участвующие артисты как-то потерялись; они чувствовали, что типы, выведенные Гоголем в пьесе, новы для них и что эту пьесу нельзя так играть, как они привыкли разыгрывать на сцене свои роли в переделанных на русские нравы французских водевилях». Приблизиться к гоголевскому замыслу удалось лишь Сосницкому (Городничий) и Афанасьеву (Осип); большинство же актеров осталось во власти водевильных штампов. Ощутимее всего для спектакля была неудача исполнителя главной роли — Дюра, который, по свидетельству

[1] взрывы хохота среди присутствующих (*франц.*).

Гоголя, «ни на волос не понял, что такое Хлестаков», сделав его «чем-то вроде целой шеренги водевильных шалунов...».

В вечер премьеры — 19 апреля — Гоголь пришел в театр, охваченный тяжелыми предчувствиями.

Присутствовавший на премьере П. Анненков замечательно ярко описал реакцию зрительного зала, возникновение и противоборство в нем различных эмоциональных потоков: «Уже после первого акта недоумение было написано на всех лицах (публика была избранная в полном смысле слова), словно никто не знал, как должно думать о картине, только что представленной. Недоумение это возрастало потом с каждым актом. Как будто находя успокоение в одном предположении, что дается фарс, большинство зрителей, выбитое из всех театральных ожиданий и привычек, остановилось на этом предположении с непоколебимой решимостию. Однако же в этом фарсе были черты и явления, исполненные такой жизненной истины, что раза два, особенно в местах, наименее противоречащих тому понятию о комедии вообще, которое сложилось в большинстве зрителей, раздавался общий смех. Совсем другое произошло в четвертом акте: смех по временам еще перелетал из конца залы в другой, но это был как-то робкий смех, тотчас же и пропадавший; аплодисментов почти совсем не было; зато напряженное внимание, судорожное, усиленное следование за всеми оттенками пьесы, иногда мертвая тишина показывали, что дело, происходившее на сцене, страстно захватывало сердца зрителей. По окончании акта прежнее недоумение уже переродилось почти во всеобщее негодование, которое довершено было пятым актом. Многие вызывали автора потом за то, что написал комедию, другие за то, что виден талант в некоторых сценах, простая публика за то, что смеялась, но общий голос, слышавшийся по всем сторонам избранной публики, был: «Это — невозможность, клевета и фарс».

В целом, если учитывать реакцию не одной «избранной публики», но всего зрительного зала,— это не был неуспех в общепринятом смысле слова. Скорее это даже был успех. Но для Гоголя он означал почти провал, так как не был понят его творческий замысел.

На премьере (а затем, 24 апреля, во время третьего исполнения) присутствовал Николай I. «Инспектор российской труппы» А. Храповицкий с удовлетворением зафиксировал августейшую реакцию: «...был чрезвычайно доволен, хохотал от всей души». В целом отношение царя к «Ревизору» недостаточно ясно; А. И. Вольф передает другую его фразу, оброненную после премьеры: «Тут всем досталось, а больше всего мне». Но при общем характере спектакля, одобрение Николая, не понявшего всей глубины комедии, вполне естественно. Парадокс этот отметил Герцен в статье «О развитии революционных идей в России»: «Император Николай умирал со смеху, присутствуя на представлениях «Ревизора»!!!»

25 мая состоялось первое представление «Ревизора» в Москве, повторившее недостатки петербургской премьеры: та же незавершенность и противоречивость общей трактовки, то же влияние водевильных штампов. Единство

спектакля было подорвано неудачей главной роли: игравший Хлестакова Д. Ленский — извеетный актер и водевилист (между прочим, автор «Льва Гурыча Синичкина», написанного в 1839 г.) — придал своему персонажу водевильный отпечаток. Среди немногих актерских удач — исполнение М. Щепкиным роли Городничего. Гоголь, вопреки первоначальному намерению, не принял личного участия в постановке «Ревизора» в Москве, ограничившись лишь замечаниями и советами в письме к М. Щепкину. «Чувствую, что теперь не доставит мне Москва спокойствия...— писал Гоголь к М. Погодину 10 мая.— Еду за границу, там размыкаю ту тоску, которую наносят мне ежедневно мои соотечественники».

Исключительно болезненная реакция Гоголя на толки «соотечественников» требует объяснения, так как она не вполне соответствует реальному положению в русской критике, тому приему, который встретил в ней «Ревизор». Как увидим ниже, большинство рецензентов (и притом самые серьезные) отнеслось к произведению более чем доброжелательно. Однако общая картина складывалась в восприятии Гоголя неблагоприятным образом.

Прежде всего, реакция писателя обусловлена в большей мере устными, а не печатными отзывами. «Все против меня. Чиновники пожилые и почтенные кричат, что для меня нет ничего святого, когда я дерзнул так говорить о служащих людях. Полицейские против меня, купцы против меня, литераторы против меня... Теперь я вижу, что значит быть комическим писателем. Малейший призрак истины — и против тебя восстают, и не один человек, а целые сословия». Эти строки (из письма к М. Щепкину от 29 апреля 1836 г.) написаны были тогда, когда еще не появилось в печати ни одного отклика на комедию, и воспроизводят доходившие до Гоголя устные толки.

И действительно: мемуаристы сообщают о многих фактах, конкретизирующих суммарное впечатление автора «Ревизора». Так, В. И. Панаев, видный петербургский чиновник, по свидетельству А. Я. Панаевой, «приходил в ужас от того, что «Ревизора» дозволили играть на сцене. По его мнению, это была безобразная карикатура на администрацию всей России...». Одним из самых неистовых недоброжелателей Гоголя прослыл чиновник департамента духовных дел Ф. Вигель. Нелюбовь его к писателю была столь широко известна, что Вяземский, сообщая еще до премьеры о чтении Гоголем комедии, прибавлял: «Вигель его терпеть не может...» 31 мая Вигель писал М. Загоскину: «Читали ли вы сию комедию? видели ли вы ее? Я ни то, ни другое, но столько о ней слышал, что могу сказать, что издали она мне воняла. Автор выдумал какую-то Россию и в ней какой-то городок, в который свалил он все мерзости, которые изредка на поверхности настоящей России находишь: сколько накопил он плутней, подлостей, невежества!»

Общая картина устных толков и споров вокруг «Ревизора» была, конечно, сложнее и не сводилась к осуждению и недоброжелательству. Воспоминания В. Стасова, бывшего в то время студентом Петербургского училища правоведения, свидетельствуют о настроениях молодежи: «Некоторые из нас видели тогда тоже и «Ревизора» на сцене. Все были в восторге, как и вся

вообще тогдашняя молодежь. Мы наизусть повторяли потом друг другу, подправляя и пополняя один другого, целые сцены, длинные разговоры оттуда. Дома или в гостях нам приходилось нередко вступать в горячие прения с разными пожилыми (а иной раз, к стыду, даже и не пожилыми) людьми, негодовавшими на нового идола молодежи...» Однако в эту пору голоса доброжелателей или не доходили до Гоголя, или не имели на него большого действия.

Когда же, по прошествии некоторого времени, в споры о «Ревизоре» вступила пресса, то первыми оказались отзывы Ф. Булгарина и О. Сенковского. И это еще более усилило тяжелое настроение Гоголя. Слова писателя из письма к М. Погодину от 10 мая: «Что сказано верно и живо, то уже кажется пасквилем», — могли быть уже подсказаны и обвинениями Булгарина.

Рецензия Ф. Булгарина («Северная пчела» от 30 апреля и 1 мая 1836 г.) преследовала прежде всего цель доказать нетипичность содержания комедии. «Автор «Ревизора» почерпнул свои характеры, нравы и обычаи не из настоящего русского быта, но из времен *преднедорослевских*...». Наряду с перемещением во времени рецензент пытался осуществить перемещение «Ревизора», так сказать, и в пространстве. Подобные события могли произойти разве что на «Сандвичевых островах, во времена капитана Кука»,— шутил рецензент. Развивая эту мысль в более серьезном плане, он приурочивал события «Ревизора» к Украине или Белоруссии (подобный прием повторил Сенковский, а позднее, в 1840 г., Н. Греч): Гоголь «...желая представить русский уездный городок, с его нравами, изобразил городок малороссийский или белорусский... Да и сам городничий не мог бы взять такую волю в великороссийском городке... Словом, городок автора «Ревизора» не русский городок, а малороссийский или белорусский: так незачем было и клепать на Россию».

Появившийся в «Библиотеке для чтения» (1836, т. 16; ценз. разр. 30 апреля) разбор «Ревизора» Сенковским снисходительнее и мягче. Критик не отрицает истинного комизма пьесы, называет ряд «превосходных сцен», но отказывает «Ревизору» в праве считаться высоким произведением. Тут обнаруживается цель Сенковского, соединившего в одной статье разбор «Недовольных» М. Загоскина (написанный Н. Полевым) и разбор «Ревизора». «У г. Загоскина была идея, и хорошая комическая идея; у г. Гоголя идеи нет никакой». «Сверх того из злоупотреблений никак нельзя писать комедии, потому что это не нравы народа, не характеристика общества, но преступления нескольких лиц, и они должны возбуждать не смех, а скорее негодование честных граждан». В этих упреках — традиционная альтернатива: или легкий, непритязательный комизм, или моральное негодование. Не был понят рецензентом и новаторский «план» ведения действия, о чем свидетельствует любопытный совет, данный им Гоголю. Чтобы сильнее завязать пьесу, нужно... ввести «еще одно женское лицо». «Оставаясь дней десять без дела в маленьком городишке, Хлестаков мог бы приволокнуться за какой-нибудь уездною барышней, приятельницею или неприя-

тельницею дочери городничего, и возбудить в ней нежное чувство, которое разлило бы интерес на всю пиесу». Это привело бы в четвертом действии к «ревности Марии Антоновны» и доставило бы «комическому дарованию г. Гоголя много забавных черт соперничества двух провинциальных барышень». Сенковский великодушно передает «эту мысль благоуважению автора, который без сомнения захочет усовершенствовать свою первую пиесу...». Гоголь, естественно, не воспользовался этим советом, хотя (как будет видно ниже) не оставил его без ответа.

Лишь отзывы Булгарина и Сенковского и успел прочесть Гоголь до своего отъезда за границу 6 июня. Все серьезные разборы его комедии появились тогда, когда писатель был уже далеко от родины.

Рецензия писателя и экономиста В. Андросова («Московский наблюдатель», 1836, ч. VII, кн. I, ценз. разр. 5 июня) обращала внимание на глубокую оригинальность комедии. «Да, «Ревизор» смешон, говорят, это преуморительный фарс! Нет, господа, найдите, потрудитесь изобрести другое выражение. Чтобы точно характеризовать комедию с таким содержанием, как «Ревизор», для этого традиции вашей пиитики не сыщут приличного прилагательного. Если правила пишутся с произведений, а произведения выражают общества,— то наше общество другое нежели то, когда эти риторики и эти пиитики составились». Андросов назвал «Ревизора» комедией «цивилизации», так как вместо семейного человека Гоголь изображает человека в его общественных связях.

Защиту новаторской поэтики «Ревизора» продолжила рецензия Вяземского, помещенная в пушкинском «Современнике» (1836, т. II, ценз. разр. 30 июня). «...В «Ревизоре» нет ни одной сцены в роде «Скапиновых обманов», «Доктора по неволе», «Пурсоньяка» или Расиновых «Les Plaideurs» [1]; нет нигде вымышленной карикатуры, переодеваний и пр. и пр. За исключением падения Бобчинского и двери, нет ни одной минуты, сбивающейся на фарсу». Вяземский впервые ввел «Ревизора» в русло определенной традиции в русской комедиографии: «Мало было у нас подобных комедий: «Бригадир», «Недоросль», «Ябеда», «Горе от ума» — вот, кажется, верхушки сего тесного отделения литературы нашей. «Ревизор» занял место вслед за ними».

Почти одновременно с рецензией Вяземского в Петербурге появилась рецензия Надеждина в Москве, в газете «Молва» (1836, № 9, ценз. разр. 15 июня; подпись под статьей: А. Б. В.). Написанная под живым впечатлением московской премьеры, эта статья — одна из самых ярких в гоголевской литературе. Автор «Ревизора» назван здесь «великим комиком жизни действительной», а его оба хулителя — Булгарин и Сенковский — причислены к «завистникам, клеветникам, на все готовым». Впервые так отчетливо было уловлено и подчеркнуто демократическое содержание «Ревизора» — «этой русской, всероссийской пиесы, изникнувшей не из подражания, но из собственного, быть может горького, чувства автора. Ошибаются те, которые думают, что

[1] «Сутяг» (*франц.*).

эта комедия смешна, и только. Да, она смешна, так сказать, снаружи; но внутри это горе-гореваньице, лыком подпоясано, мочалами испутано».

До 1839 года Белинский подробно о «Ревизоре» не высказывался, хотя попутные его замечания очень выразительны. Так, свой обзор «Московский театр» (1838 г.) критик закончил словами: «Какие надежды, какие богатые надежды сосредоточены на Гоголе! Его творческого пера достаточно для создания национального театра. Это доказывается необычайным успехом «Ревизора»! Какое глубокое, гениальное создание!» Вероятно, эти строки имел в виду Анненков, писавший, что эпитет «гениальный» «удивил тогда своей смелостью самих друзей Гоголя, очень высоко ценивших его первое сценическое произведение».

Блестящий анализ всего художественного строя гоголевской комедии содержала статья Белинского «Горе от ума» (написана в 1839 г.; опубликована в 1840 г. в «Отечественных записках»). «Ревизор» представляет собой «особый, замкнутый в самом себе мир», что обусловлено единством выбранной ситуации. Автор «взял из жизни своих героев такой момент, в котором сосредоточивалась вся целостность их жизни, ее значения, сущность, идея, начало и конец»; этот момент — «ожидание и прием ревизора». Исходя из положения: «художественная обрисовка характера в том и состоит, что если он дан вам поэтом в известный момент своей жизни, вы уже сами можете рассказать всю его жизнь и *до* и *после* этого момента»,— исходя из этого положения, Белинский строит своего рода экспериментальную биографию Городничего, от детских лет до начала действия комедии. Подчеркивается при этом, что Городничий — не моральный урод, не исключение из правила, но, напротив, олицетворение сложившихся обычаев и норм поведения. «...«Не я первый, не я последний, все так делают». Это практическое правило жизни так глубоко вкоренено в нем, что обратилось в правило нравственности; он почел бы себя *выскочкою*, самолюбивым гордецом, если бы, хоть позабывшись, повел себя честно в продолжение недели».

Поскольку в предшествующей критике часто высказывалось сомнение в том, что Городничий мог принять Хлестакова за важное лицо, Белинский специально остановился на подоплеке этого qui pro quo. Ошибка Городничего мотивирована и в жанровом отношении (комедийный мир — «это мир случайностей, неразумности»), и психологически — состоянием тревожного ожидания и страха. «Если нужны еще доказательства, не из сущности идеи произведения почерпнутые, а внешние, практические, рассудочные и резонерские, без которых многие люди ничего не понимают, заметим им, что подобные случаи часто бывают в жизни: сосредоточьтесь на идее, от которой зависит ваша участь,— вы начнете говорить о ней с первым встречным на улице, приняв его за своего приятеля, к которому вы шли говорить о ней».

Большое внимание, уделенное Белинским Городничему, объясняется тем, что критик видел в нем главного персонажа комедии. «Многие почитают Хлестакова героем комедии, главным ее лицом. Это несправедливо. Хлестаков является в комедии не сам собою, а совершенно случайно, мимоходом, и при-

том не самим собою, а *ревизором*. Но кто его сделал ревизором? *страх городничего*... Герой комедии — городничий как представитель этого мира призраков». Впоследствии Белинский отказался от этого мнения. В письме к Гоголю от 20 апреля 1842 года он говорил: «Теперь я понял, почему Вы *Хлестакова* считаете героем Вашей комедии, и понял, что он точно герой ее».

В спорах о «Ревизоре» прозвучал и голос его автора. Первым ответом Гоголя своим критикам была статья «Петербургские записки 1836 года», появившаяся вскоре после его отъезда за границу в «Современнике» (1837, т. 6). Упоминая о странной обидчивости публики («Если, например, сказать, что в одном городе один надворный советник нетрезвого поведения, то все надворные советники обидятся...»), Гоголь прибавлял: «Нужны ли примеры? Вспомните «Ревизора»...»

Полемике вокруг «Ревизора» мы обязаны рядом работ Гоголя, разъясняющих и обосновывающих его творческие принципы. Это следующие работы:

— «Отрывок из письма, писанного автором вскоре после первого представления «Ревизора» к одному литератору». Впервые опубликован в «Москвитянине», 1841, ч. III, кн. VI. Во втором издании «Ревизора» (1841) «Отрывок» помещен в «Приложениях». Творческую историю произведения раскрывает письмо Гоголя к С. Т. Аксакову от 5 марта 1841 года, где сообщается, что в основе «Отрывка» лежит письмо к Пушкину, «писанное... по его собственному желанию». Пушкин, продолжает Гоголь, «хотел писать полный разбор» пьесы для «Современника» и «меня просил уведомить, как она была выполнена на сцене». Сохранившиеся рукописи отрывка датируются 1840—1841 годами; однако не исключено, что им действительно предшествовало неотправленное письмо к Пушкину, написанное вскоре после премьеры «Ревизора».

— «Предуведомление для тех, которые пожелали бы сыграть как следует «Ревизора». Впервые опубликовано Н. С. Тихонравовым в книге: «Ревизор... Первоначальный сценический текст...». М., 1886. Написано около 1846 года.

— «Театральный разъезд после представления новой комедии». Впервые опубликован в IV т. «Сочинений Николая Гоголя» (СПб., 1842) в качестве завершающего этот том произведения. Первые наброски сделаны, видимо, еще в мае 1836 года; дорабатывалось произведение в 1842 году.

Особое место среди этих произведений занимает «Развязка Ревизора» (написана в 1846 г.; опубликована впервые в посмертном издании «Сочинений» Н. В. Гоголя, т. V. М., 1856). Переводя содержание «Ревизора» в план душевной мистерии — событий, происходящих «в безобразном душевном нашем городе», «Развязка...» существенно сужала общественный смысл комедии. Но вместе с тем, как и другие гоголевские произведения, примыкающие к «Ревизору», «Развязка...» содержала важные автокомментарии, в частности, о характере комического.

Среди проблем, к которым особенно приковано внимание Гоголя в названных произведениях, следующие: 1) новый тип построения комедии; 2) характер Хлестакова; 3) немая сцена.

*Новый тип построения комедии* предполагает выбор современной и вместе с тем общей для всех персонажей ситуации. Поэтому любовная интрига двояко не устраивала Гоголя. С одной стороны: «Все изменилось давно в свете. Теперь сильней завязывает драму стремление достать выгодное место, блеснуть и затмить во что бы то ни стало другого, отмстить за пренебреженье, за насмешку. Не более ли теперь имеют электричества чин, денежный капитал, выгодная женитьба, чем любовь?» С другой стороны: любовная интрига — и тут Гоголь отвечает, в частности, на приведенный выше совет Сенковского — может служить лишь частной завязкой — «точный узелок на углике платка». «Нет, комедия должна вязаться само собою, всей своей массою, в один большой, общий узел. Завязка должна обнимать все лица, а не одно или два...» Такой «общий узел» драматург нашел в ситуации ревизора: «Не нужно только позабывать того, ⟨что⟩ в голове всех сидит ревизор. Все заняты ревизором. Около ревизора кружатся страхи и надежды всех действующих лиц».

Разъясняя *характер Хлестакова*, Гоголь противопоставлял его традиционному (прежде всего водевильному) амплуа сознательного обманщика и плута, активно ведущего комедийную интригу. «Хлестаков вовсе не надувает; он не лгун по ремеслу; он сам позабывает, что лжет, и уже сам почти верит тому, что говорит». В «успехе» Хлестакова счастливо соединились и особенности его характера и той ситуации, в которой он оказался — центральной ситуации комедии. Этим объясняется и центральная роль Хлестакова в пьесе. «Всех труднее роль того, который принят испуганным городом за ревизора. Хлестаков сам по себе ничтожный человек... Но сила всеобщего страха создала из него замечательное комическое лицо. Страх, отуманивши глаза всех, дал ему поприще для комической роли». Хлестаков— «лицо фантасмагорическое», напоминающее «лживый олицетворенный обман».

Переходя к *немой сцене*, Гоголь настаивает на ее особом значении для комедии. «Здесь уже не шутка, и положенье многих лиц почти трагическое». Вся эта «сцена есть немая картина, а потому должна быть так же составлена, как составляются живые картины». В этой «картине» с помощью иных средств— пантомимических — завершается раскрытие каждого характера, а вместе с тем — замыкается и действие всей пьесы. «Всякому лицу должна быть назначена поза, сообразная с его характером, со степенью боязни его и с потрясением...» Значение «немой сцены» Гоголь подчеркивает ее длительностью («почти полторы минуты»; в «Отрывке из письма...» — даже «две-три минуты»).

Сценическая история «Ревизора», насчитывающая уже почти полтора столетия, знает немало ярких страниц.

Еще при жизни Гоголя наметился поворот в сторону более глубокого сценического истолкования Хлестакова. В октябре 1851 года Гоголь присутствует в московском театре на спектакле, в котором Хлестакова играл С. Шумский, и по свидетельству ряда мемуаристов (в том числе находившегося в одной с ним ложе Л. Арнольди) остается в общем доволен игрой актера.

Последующая сценическая история Хлестакова представлена такими именами, как М. Садовский, А. Остужев, М. Чехов, Э. Гарин, И. Ильинский...

18 декабря 1908 года состоялась премьера «Ревизора» в Московском Художественном театре. Осуществленная К. Станиславским и И. Москвиным постановка спектакля была устремлена «на психологическое углубление, искренность переживания и простоту выразительности» («Постановка «Ревизора». Беседа с В. И. Немировичем-Данченко.— «Русское слово», 8 октября 1908 г.).

9 декабря 1926 года состоялась премьера «Ревизора» в театре В. Мейерхольда. Основные задачи постановки Мейерхольд видел в том, чтобы взамен «натурализма передвижнического типа» дать гротескно-обобщенную картину царской России, в связи с чем был смонтирован сводный текст пьесы, с включением отрывков из разных редакций «Ревизора» и из других гоголевских произведений. Заменяя в финале актеров куклами, Мейерхольд ставил перед собою цель дать «действительно немую сцену, о которой мечтал Гоголь, которая действительно имеет своей задачей прежде всего «потрясти»...» (В. М е й е р х о л ь д. Доклад о «Ревизоре» 24 января 1927 года.— В его кн. «Статьи. Письма. Речи. Беседы», ч. II. М., «Искусство», 1968).

В последнее время к прежним постановкам комедии в Малом театре и в МХАТе прибавились новые, в том числе в Ленинградском Большом драматическом театре имени Горького (режиссер Г. Товстоногов) и в Московском театре сатиры (режиссер В. Плучек); обе премьеры состоялись в 1972 году.

Еще при жизни Гоголя «Ревизор» стал известен за рубежом. Существует множество переводов и переделок комедии на различных языках. Среди последних постановок «Ревизора» — премьеры в Королевском шекспировском театре в Лондоне (1966, постановка Питера Холла, в роли Хлестакова — Пол Скофилд), в Дакарском национальном театре Сенегала (1967, постановка Мориса Сенгора), в Варшавском театре «Народовы» (1973) и т. д.

Стр. 172. «*Деяния Иоанна Масона*» — английская масонская книга «Иоанна Масона А. М. Познание самого себя...», изданная на русском языке в конце XVIII в.

*Габерсуп* — овсяный суп (н е м.).

Стр. 178. *Штос* — карточная игра; *штосы... срезывает* — выигрывает.

«*Роберт*» — опера Мейербера «Роберт Дьявол» (1831).

Стр. 191. *Лабардан* — просоленная и провяленная треска.

Стр. 192. *Гнуть от трех углов* — утраивать ставку.

Стр. 194. «*Норма*» — опера итальянского композитора Беллини (1831).

*Барон Брамбеус* — один из псевдонимов О. И. Сенковского, редактора журнала «Библиотека для чтения»; «*Фрегат Надежда*» — повесть А. А. Бестужева-Марлинского; «*Московский телеграф*» — журнал, издававшийся Н. А. Полевым.

*Смирдин* А. Ф.— петербургский книгопродавец и издатель.

Стр. 207. *Приказ общественного призрения* — учреждение по делам благотворительности; занималось также денежными операциями.

Стр. 214. «*О ты, что в горести...*» — первые строки стихотворения М. Ломоносова «Ода, выбранная из Иова».

Стр. 216. «*Законы осуждают*» — из стихотворения в повести Н. Карамзина «Остров Борнгольм» («Законы осуждают предмет моей любви...»).

Стр. 229. *Моветон* (франц. mauvais ton) — человек дурного тона.

## ЖЕНИТЬБА

Впервые опубликовано в «Сочинениях Николая Гоголя». СПб., т. IV, 1842 (ценз. разр. 30 сентября).

Начало работы над комедией, носившей еще название «Женихи», относится к 1833 году. Комедия перерабатывалась в 1835—1836 годах. Завершена в 1841 году.

Премьера «Женитьбы» состоялась в Петербурге, в Александринском театре 9 декабря 1842 года. Присутствовавший на спектакле Белинский сообщил Боткину, что пьеса «играна была гнусно и подло, Сосницкий (игравший Кочкарева.— *Ю. М.*) не знал даже роли. Превосходно играла Сосницкая (невесту), и очень, очень был недурен Мартынов (Подколесин); остальное всё — верх гнусности. Теперь враги Гоголя пируют».

5 февраля 1843 года состоялась премьера «Женитьбы» в Москве. Щепкин играл Подколесина, Живокини — Кочкарева. Впоследствии оба актера поменялись ролями. Московская премьера прошла более удачно, нежели петербургская, хотя глубина гоголевского замысла не была раскрыта на сцене.

Подробную характеристику персонажей комедии дал Белинский в рецензии «Русский театр в Петербурге» («Отечественные записки», 1843). «Подколесин — не просто вялый и нерешительный человек с слабою волею, которым может всякий управлять: его нерешительность преимущественно выказывается в вопросе о женитьбе... Пока вопрос идет о намерении, Подколесин решителен до героизма; но чуть коснулось исполнения — он трусит». «Кочкарев — добрый и пустой малый, нахал и разбитная голова». Он хлопочет подчас без всякой цели. «И потому, если актер, выполняющий роль Кочкарева, услышав о намерении Подколесина жениться, сделает значительную мину, как человек, у которого есть какая-то цель,— то он испортит всю роль с самого начала». Приведя реплику Кочкарева: «Из чего бьюсь, кричу, инда горло пересохло?.. А просто черт знает из чего! Поди ты, спроси иной раз человека, из чего он что-нибудь делает!» — Белинский отмечает: «В этих словах — вся тайна характера Кочкарева». «Сколько юмора, какой язык, какие характеры, какая типическая верность натуре!» — заключает критик разбор «Женитьбы».

Тонкое наблюдение высказал Ап. Григорьев: «В «Женитьбе» — даже колоссальный лик Гамлета сводится в сферы обыкновенной, повседневной жизни, ибо, говоря вовсе не парадоксально, безволие Подколесина родственно без-

волию Гамлета и прыжок его в окно — такой же акт отчаяния бессилия, как убийство короля мечтательным датским принцем» («Московский городской листок», 1847, № 62).

Стр. 239. *...в алгалантьерстве...*— в адмиралтействе.

Стр. 268. *...в мой профит...*— в мою пользу.

*Писать мыслете* — писать вензеля (мыслете — старинное название буквы «м»); здесь: выделывать ногами вензеля.

## ИГРОКИ

Впервые опубликовано в «Сочинениях Николая Гоголя». СПб., т. IV, 1842 (ценз. разр. 30 сентября).

Пьеса открывала собой раздел «Драматические отрывки и отдельные сцены», в котором были помещены также «Утро делового человека», «Тяжба» и т. д. Названием рубрики Гоголь отделял в жанровом отношении эти произведения от комедий («Ревизор» и «Женитьба»), на чем он неоднократно настаивал и в письмах. Так, в письме к Щепкину от 3 декабря 1842 года Гоголь говорил: «Вы хотите всё повесить на одном гвозде, прося на пристяжку к «Женитьбе» новую, как вы называете, комедию «Игроки». Во-первых, она не новая, потому что написана давно, во-вторых, не комедия, а просто комическая сцена...»

Премьера «Игроков» состоялась в Москве 5 февраля 1843 года (в один спектакль с «Женитьбой»), в бенефис Щепкина, который играл Утешительного. В роли Замухрышкина с успехом выступил Пров Садовский.

В Петербурге премьера пьесы состоялась 26 апреля 1843 года. Главными исполнителями были Сосницкий (Утешительный), Мартынов (Ихарев), П. Каратыгин (Замухрышкин), Самойлов (Швохнев). Спектакль не имел успеха.

В рецензии «Русский театр в Петербурге...» («Отечественные записки», 1843) Белинский писал: «Это произведение, по своей глубокой истине, по творческой концепции, художественной отделке характеров, по выдержанности в целом и в подробностях, не могло иметь никакого смысла и интереса для большей части публики Александринского театра...»

Стр. 287. *Пароле* — ставка на выигрыш вдвое. *Маз* — прибавка к ставке. *Атанде* — остановка для подсчета (от франц. attendez — подождите).

Стр. 301. *Пароле пе!* — «Пароле, или с углом,— выигрывает втрое; пароле пе — вдвое против пароле» *(из записной книжки Гоголя).*

*Плие* — загнутая карта для обозначения своей ставки.

Стр. 302. *Руте* — выигрыш нескольких карт подряд. *Фоска* — простая карта.

Стр. 305. *...Бурцов иора, забияка.*— Цитата из стихотворения Д. Давыдова «Бурцову. Призывание на пунш». А. П. Бурцов — гусарский офицер.

Первый том впервые опубликован в 1842 году отдельной книгой: «Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма Н. Гоголя». М., 1842 (ценз. разр. 9 марта).

Начало работы над поэмой датируется 1835 годом. В письме к Пушкину от 7 октября 1835 года — в том же письме, в котором Гоголь просил дать ему сюжет для будущего «Ревизора»,— содержатся и первые сведения о «Мертвых душах»: «Начал писать «Мертвых душ». Сюжет растянулся на предлинный роман и, кажется, будет сильно смешон. Но теперь остановил его на третьей главе. Ищу хорошего ябедника, с которым бы можно коротко сойтиться. Мне хочется в этом романе показать хотя с одного боку всю Русь». Гоголь, сообщая Пушкину об уже известном ему замысле, как бы продолжает начатый разговор.

Впоследствии в «Авторской исповеди» Гоголь указал, что сама идея нового произведения подсказана была Пушкиным. «Он уже давно склонял меня приняться за большое сочинение и наконец, один раз, после того, как я ему прочел одно небольшое изображение небольшой сцены, но которое, однако ж, поразило его больше всего мной прежде читанного, он мне сказал: «Как с этой способностью угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего, как живого, с этой способностью, не приняться за большое сочинение! Это просто грех!» Вслед за этим начал он представлять мне слабое мое сложение, мои недуги, которые могут прекратить мою жизнь рано; привел мне в пример Сервантеса, который, хотя и написал несколько очень замечательных и хороших повестей, но, если бы не принялся за Донкишота, никогда бы не занял того места, которое занимает теперь между писателями, и, в заключенье всего, отдал мне свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то вроде поэмы и которого, по словам его, он бы не отдал другому никому. Это был сюжет «Мертвых душ». Описанный разговор мог произойти до 7 октября 1835 года.

По мнению Пушкина, продолжает Гоголь, «сюжет М⟨ертвых⟩ д⟨уш⟩ хорош для меня тем, что дает полную свободу изъездить вместе с героем всю Россию и вывести множество самых разнообразных характеров». Этому вполне соответствуют сведения, содержащиеся в упомянутом письме к Пушкину: Гоголь строит сюжет именно так, чтобы «изъездить» почти «всю Русь» и вывести множество характеров; за отсутствием прототипа для одного из них — для «ябедника» — действие остановилось пока на третьей главе.

Есть мемуарные свидетельства о том, что внимание Пушкина действительно привлек случай аферы с мертвыми душами. П. Бартенев в примечаниях к воспоминаниям В. Соллогуба писал: «В Москве Пушкин был с одним приятелем на бегу. Там был также некто П. (старинный франт). Указывая на него Пушкину, приятель рассказал про него, как он скупил себе мертвых душ, заложил их и получил большой барыш. Пушкину это очень понравилось. «Из этого можно было бы сделать роман», — сказал он между прочим. Это было

еще до 1828 года». Но как и при написании «Ревизора», на Гоголя могли оказывать воздействие и другие источники: известно множество случаев мошенничества с «мертвыми душами». Один из них, как вспоминала дальняя родственница писателя М. Анисимо-Яновская, произошел в Миргородчине и был хорошо известен Гоголю (см.: В. А. Гиляровский. В Гоголевщине.— «Русская мысль», кн. 1, 1902, раздел XIII, с. 85—86).

По более позднему утверждению Гоголя (в «Четырех письмах к разным лицам по поводу «Мертвых душ», письмо 3), первоначальные наброски поэмы были выдержаны в несколько иных, более мрачных тонах, персонажи ее напоминали «чудовищ». Необходимость изменения такой трактовки Гоголь почувствовал после чтения поэмы у Пушкина. «...Когда я начал читать Пушкину первые главы из М〈ертвых〉 д〈уш〉 в том виде, как они были прежде, то Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении (он же был охотник до смеха), начал понемногу становиться все сумрачней, сумрачней, а наконец сделался совершенно мрачен. Когда же чтенье кончилось, он произнес голосом тоски: «Боже, как грустна наша Россия!» Меня это изумило... С этих пор я уже стал думать только о том, как бы смягчить то тягостное впечатление, которое могли произвести Мертвые души. Я увидел, что многие из гадостей не стоят злобы; лучше показать всю ничтожность их...» Однако сохранившиеся рукописи поэмы (первую из которых датируют 1836—1839 гг.) не подходят под то описание, которое Гоголь дал первоначальной редакции. Эти рукописи ближе уже к окончательному тексту. Не сохранилось также никаких других свидетельств об упомянутом чтении первоначальной редакции Пушкину.

Начатую в Петербурге работу над «Мертвыми душами» Гоголь возобновил осенью 1836 года в Веве (Швейцария). «Все начатое переделал я вновь,— сообщает он В. Жуковскому 12 ноября,— обдумал более весь план и теперь веду его спокойно, как летопись. Швейцария сделалась мне с тех пор лучше, серо-лилово-голубо-сине-розовые ее горы легче и воздушнее. Если совершу это творение так, как нуж〈но〉 его совершить, то... какой огромный, какой оригинальный сюжет!» С уяснением «плана» определился и объем содержания нового произведения, которое должно быть посвящено уже не только темным сторонам русской жизни; вместо изображения Руси «с одного боку» Гоголь теперь говорит о том, что «вся Русь явится в нем». Изменилось также представление о жанре будущего произведения. В упомянутом письме Жуковскому «Мертвые души» названы уже не романом (как в письме к Пушкину), а поэмой. О тех же изменениях свидетельствуют строки письма к М. Погодину от 28 ноября 1836 года: «Вещь, над которой сижу и тружусь теперь... не похожа ни на повесть, ни на роман, длинная, длинная, в несколько томов... Если бог поможет выполнить мне мою поэму так, как должно, то это будет первое мое порядочное творение. Вся Русь отзовется в нем».

Письма Гоголя этой поры к знакомым и к родным изобилуют просьбами сообщить ему разные сведения по части «каких-нибудь казусных дел», особенно «могущих случиться при покупке мертвых душ». «Сообщите об этом Пушкину,— просит Гоголь Жуковского,— авось-либо и он найдет что-ни-

будь с своей стороны». Весь этот материал нужен для продолжения поэмы.

В феврале 1837 года в Париже Гоголь узнает о гибели Пушкина. «Все наслаждение моей жизни, все мое высшее наслаждение исчезло вместе с ним,— пишет Гоголь П. Плетневу из Рима 28/16 марта.— Ничего не предпринимал я без его совета... Нынешний труд мой, внушенный им, его создание...» Гоголь рассматривает теперь «Мертвые души» как «священное завещание» Пушкина (письмо к В. Жуковскому от 18/6 апреля 1837 г.).

К концу 1840 года работа над первым томом была в основном закончена, и Гоголь стал готовить его к печати. В декабре он сообщает из Рима С. Аксакову: «Я теперь приготовляю к совершенной очистке первый том «Мертвых душ». Переменяю, перечищаю, многое перерабатываю вовсе...»

В октябре 1841 года Гоголь через Петербург возвратился в Москву для окончательной переписки и печатания «Мертвых душ».

7 декабря Гоголь передал рукопись цензору И. Снегиреву, попросив его высказать мнение: пропустит ли ее Московский цензурный комитет.

О событиях, разыгравшихся на заседании комитета, Гоголь сообщил впоследствии П. Плетневу (письмо от 7 января 1842 г.): «Как только занимавший место президента Голохвастов услышал название «Мертвые души», закричал голосом древнего римлянина: — Нет, этого я никогда не позволю: душа бывает бессмертна; мертвой души не может быть, автор вооружается против бессмертья». Разъяснение, что речь идет о ревизских душах, еще больше обеспокоило цензоров: «...уж этого нельзя позволить, это значит против крепостного права». Не помогло и заступничество читавшего рукопись Снегирева. При этом наряду с «цензорами-азиатцами» возражали и «цензоры-европейцы»; один из них, профессор римского права в Московском университете Н. Крылов, говорил: «Что вы ни говорите, а цена, которую дает Чичиков... цена два с полтиною, которую он дает за душу, возмущает душу... Этого ни во Франции, ни в Англии и нигде нельзя позволить. Да после этого ни один иностранец к нам не приедет».

Опасаясь запрещения рукописи, Гоголь забрал ее из Московского цензурного комитета и передал направлявшемуся в Петербург Белинскому. Гоголь рассчитывал, что в столице помощь В. Одоевского, Плетнева, Никитенко облегчит «Мертвым душам» путь в цензуре. И действительно: 9 марта поэма с небольшими поправками была разрешена к печати, но — без «Повести о капитане Копейкине». «Совершенно невозможным к пропуску оказался эпизод Копейкина,— сообщал 1 апреля Гоголю Никитенко, который цензуровал рукопись,— ничья власть не могла защитить его от гибели, и вы сами, конечно, согласитесь, что мне тут нечего было делать».

Гоголь, однако, решил во что бы то ни стало сохранить «Повесть». Без нее, писал он Никитенко 10 апреля,— в поэме останется «прореха», которую ничем нельзя «залатать». «...Кусок этот необходим не для связи событий, но для того, чтобы на миг отвлечь читателя, чтобы одно впечатление сменить другим...» Гоголь переделывает повесть, так сказать, понижая ее

персонажей в ранге: вельможа, генерал становится просто «начальником»; среди находившихся у него просителей не упомянуты генералы («Я выбросил весь генералитет»,— сообщает Гоголь 10 апреля Плетневу); снято даже название «Дворцовая набережная», чтобы избежать ассоциаций с находившимися здесь Зимним дворцом и дворцами виднейших сановников. В характере Копейкина оттенены такие качества, как строптивость, привередливость. Гоголь соглашается даже изменить имя героя («Если имя Копейкина их остановит, то я готов его назвать Пяткиным и чем ни попало»,— пишет он Н. Прокоповичу 15 апреля), опасаясь, видимо, ассоциаций с известным в то время фольклорным образом разбойника Копейкина. Однако необходимости в этой мере не возникло; измененная редакция повести была разрешена к печати (в современных изданиях, в том числе и в настоящем, в тексте поэмы печатается доцензурная редакция).

Цензура изменила и название поэмы: рукою Никитенко красными цензорскими чернилами над заглавием «Мертвые души» было надписано — «Похождения Чичикова или».

К концу мая книга вышла из печати. Общественный интерес, разбуженный еще чтениями отдельных глав (начиная, по крайней мере, с лета 1837 г., Гоголь многократно читал отрывки из поэмы в различных домах), подогретый слухами о цензурных осложнениях, весь сконцентрировался на новом творении Гоголя. «Все литературные интересы, все журнальные вопросы сосредоточены теперь на Гоголе»,— констатировал Белинский.

Один из первых откликов на поэму — дневниковая запись Герцена от 11 июня: «...«Мертвые души» Гоголя — удивительная книга, горький упрек современной Руси, но не безнадежный». Спустя некоторое время (запись от 29 июля) Герцен определил отношение различных групп и «партий» к поэме Гоголя: «Славянофилы и антиславянисты разделились на партии. Славянофилы № 1 говорят, что это — апотеоза Руси, «Илиада» наша, и хвалят, след〈овательно〉; другие бесятся, говорят, что тут анафема Руси, и за то ругают. Обратно тоже раздвоились антиславянисты». От себя уже Герцен добавляет: «Велико достоинство художественного произведения, когда оно может ускользать от всякого одностороннего взгляда. Видеть апотеозу — смешно, видеть одну анафему несправедливо. Есть слова примирения, есть предчувствия и надежды будущего, полного и торжественного, но это не мешает настоящему отражаться во всей отвратительной действительности».

В печати наиболее непримиримую позицию заняли Н. Греч («Северная пчела», 1842, № 137) и Н. Полевой («Русский вестник», 1842, № 5 и 6). У обоих упреки в неправдоподобии и карикатурности перемежались с упреками политического свойства — в очернении действительности. «...Почему, в самом деле, современность,— писал Полевой,— представляется ему в таком неприязненном виде, в каком изображает он ее в своих «Мертвых душах», в своем «Ревизоре», и для чего не спросить: почему думает он, что каждый русский человек носит в глубине души своей зародыши Чичиковых и Хлестаковых?»

О. Сенковский, приравнивая автора «Мертвых душ» к Поль де Коку, продолжал свою линию на снижение гоголевского высокого комизма. Рецензия Сенковского («Библиотека для чтения», 1842, т. 53) была написана в обычном для него тоне невзыскательной шутки и нарочитого балагурства: «Вы видите меня в таком восторге, в каком никогда еще не видали. Я пыхчу, трепещу, прыгаю от восхищения: объявляю вам о таком литературном чуде, какого еще не бывало ни в одной словесности. Поэма!.. да еще какая поэма!» и т. д.

Высшего напряжения достигла полемика после выхода брошюры К. Аксакова «Несколько слов о поэме Гоголя: «Похождения Чичикова, или Мертвые души» (М., 1842). К. Аксаков проницательно отмечал глубину и многосторонность гоголевского изображения: «И какой бы характер в нем не высказывался, это всегда полное, живое лицо, а не отвлеченное качество (как бывает у других, так что над одним напиши: *скупость*, над другим: *вероломство*, над третьим: *верность* и т. д.)». Но, доводя эту мысль до крайности, критик приписывал Гоголю «бесстрастный взор» и сводил его художественное мышление к древнему эпическому сознанию, что нашло выражение в тезисе: в «Мертвых душах» древний эпос восстает перед нами». К. Аксаков, в частности, отождествлял распространенные сравнения в гоголевской поэме и в «Илиаде» (подобное же отождествление проводил и С. Шевырев в статье о «Мертвых душах» — «Москвитянин», 1842, № 7, 8).

В. Белинский, с восторгом приветствовавший поэму еще в статье «Похождения Чичикова, или Мертвые души» («Отечественные записки», 1842, № 7), отвечал К. Аксакову специальным разбором его брошюры (там же, 1842, № 8). Позднее, после опубликования «Объяснения» Аксакова («Москвитянин», 1842, № 9), Белинский продолжил полемику в «Объяснении на объяснение по поводу поэмы Гоголя «Мертвые души» («Отечественные записки», 1842, № 11).

Белинский прежде всего подчеркнул антиисторичность сближения «Мертвых душ» и «Илиады», так как оба произведения представляют совершенно различные типы художественного сознания. Если античное сознание (согласно распространенным во времена Белинского представлениям) объективно-непосредственное, то современное включает в себя определенную долю рефлексии, сомнения, отрицания. Во взглядах Белинского 40-х годов эта мысль получила общественно-политическую заостренность. Отсюда его вывод: «В смысле *поэмы* «Мертвые души» диаметрально противоположны «Илиаде». В «Илиаде» жизнь возведена на апофеозу: в «Мертвых душах» она разлагается и отрицается...» Подтверждая эту мысль конкретным разбором (в частности, природы гоголевского сравнения, которое, в противоположность сравнению Гомера, «все насквозь проникнуто юмором»), критик рассматривает «Мертвые души» в ряду явлений современного эпоса, прежде всего романов Вальтера Скотта.

Вся полемика вокруг «Мертвых душ» происходила в отсутствие Гоголя, выехавшего 5 июня за границу. Хотя писатель живо интересовался «толками

о «Мертвых душах» и уполномочил Прокоповича довести их до его сведения, «каковы бы они ни были и от кого бы ни были», но непосредственного участия в полемике не принял. Развернутого автокомментария, подобного тому, каким располагает «Ревизор», Гоголь к первому тому «Мертвых душ» не дал: все его внимание было поглощено работой над продолжением поэмы. Поэтому, говоря о первом томе, Гоголь счел необходимым остановиться главным образом на том, что соотнесено с содержанием последующих томов, например, на «лирических отступлениях». Касаясь происхождения одного из них — обращения к Руси в начале XI главы («Но какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе?» и т. д.),— Гоголь раскрывал то пережитое им «истинное чувство», которым рождено это отступление. «Я до сих пор не могу выносить тех заунывных, раздирающих звуков нашей песни, которая стремится по всем беспредельным русским пространствам. Звуки эти вьются около моего ⟨сердца⟩, и я даже дивлюсь, почему каждый не ощущает в себе того же. Кому при взгляде на эти пустынные, доселе не заселенные и бесприютные пространства не чувствуется тоска, кому в заунывных звуках нашей песни не слышатся болезненные упреки ему самому, именно ему самому, тот или уже весь исполнил свой долг, как следует, или же он нерусский в душе» («Четыре письма к разным лицам по поводу «Мертвых душ», письмо 2).

* * *

Второй том поэмы был впервые опубликован в 1855 году в виде дополнительного тома ко второму изданию Сочинений Гоголя: Сочинения Николая Васильевича Гоголя, найденные после его смерти. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма Н. В. Гоголя. Том второй (5 глав). М., 1855 (ценз. разр. 26 июля).

О том, что «Мертвые души» будут состоять из нескольких томов, Гоголь сообщил еще 28 ноября 1836 года в письме к М. Погодину. Первый том писатель сравнивал с «крыльцом» «к тому дворцу, который во мне строится» (письмо к П. Плетневу от 17 марта 1842 г.). Когда же первый том вышел из печати, читатель узнал из XI главы, что поэму составят три тома («две большие части впереди...»).

Творческая история второго тома сложна и во многом еще неясна. Из сохранившихся глав самой ранней по времени работы является заключительная глава. Она представляет собою уцелевший фрагмент редакции 1843—1845 годов — той редакции, которую Гоголь сжег летом 1845 года.

Говоря о причинах уничтожения рукописи, Гоголь писал: «...Бывает время, когда нельзя иначе устремить общество или даже все поколенье к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости; бывает время, что даже вовсе не следует говорить о высоком и прекрасном, не показавши тут же ясно, как день, путей и дорог к нему для всякого. Последнее обстоятельство было мало и слабо развито во втором томе «Мертвых душ», а оно должно было быть едва ли не главное, а потому он и сожжен» («Четыре письма к разным лицам по поводу «Мертвых душ», письмо 4). Возникшие труд-

ности были связаны, таким образом, с главной установкой второго тома: нужно было сохранить «значительность» характеров (см. об этом во вступительной статье к настоящему тому) и в то же время избежать надуманности, идеальности, приблизить «высокое и прекрасное» к сознанию читателя.

В 1848 — начале 1849 года Гоголь интенсивно работает в Москве над новой редакцией поэмы. Сохранившиеся четыре первые главы, очевидно, воспроизводят именно эту стадию работы. Затем после чтения ряда глав А. Смирновой (июль 1849 г.) и С. Аксакову (август 1849 г.) писатель дорабатывает рукопись, результатом чего явился окончательный беловой текст. Этот текст не сохранился. В ночь с 11 на 12 февраля 1852 года в Москве в доме А. П. Толстого на Никитском бульваре, в состоянии тяжелого душевного расстройства, Гоголь сжег рукопись поэмы.

Приведем несколько мемуарных свидетельств, проливающих свет на содержание несохранившихся глав.

Л. Арнольди, присутствовавший при чтении поэмы в доме Смирновой, вспоминал, что за главой, оканчивающейся «хохотом генерала Бетрищева», «следовала другая, в которой описан весь день в генеральском доме». В тот же день Чичиков по просьбе генерала едет за Тентетниковым. «За этим следует поездка их в деревню генерала; встреча Тентетникова с Бетрищевым, с Улинькой и, наконец, обед. Описание этого обеда, по моему мнению, было лучшее место второго тома». «...После этого дня Улинька решилась говорить с отцом своим серьезно о Тентетникове... После молитвы вошла она к отцу в кабинет, стала перед ним на колени и просила его согласия и благословения на брак с Тентетниковым. Генерал долго колебался и наконец согласился. Был призван Тентетников, и ему объявили о согласии генерала... Получив согласие, Тентетников, вне себя от счастия, оставил на минуту Улиньку и выбежал в сад... Тут у Гоголя были две чудные лирические страницы.— В жаркий летний день, в самый полдень, Тентетников — в густом, тенистом саду, и кругом его мертвая, глубокая тишина. Мастерскою кистью описан был этот сад, каждая ветка на деревьях, палящий зной в воздухе, кузнечики в траве, и все насекомые, и, наконец, все то, что чувствовал Тентетников, счастливый, любящий и взаимно любимый!» В приготовлениях к свадьбе участвует Чичиков, успевший стать «другом дома» Бетрищевых; по поручению генерала он отправляется известить всех его родственников о помолвке. При этом, разумеется, Чичиков думает о своей выгоде, то есть о приобретении «мертвых душ» (более подробно см. в кн.: «Гоголь в воспоминаниях современников». М., Гослитиздат, 1952; первоначально воспоминания Л. Арнольди были опубликованы в «Русском вестнике», 1862, № 1).

Основные моменты сюжета, о которых говорит Арнольди, находят подтверждение в воспоминаниях А. Смирновой, а также в редакторской заметке С. Шевырева в конце второй главы в первом издании «Мертвых душ» (т. 2).

Касаясь же дальнейшего хода действия, А. Смирнова рассказывала П. Кулишу, автору «Записок о жизни Николая Васильевича Гоголя» (СПб.,

т. II, 1856), что в сохранившемся тексте «недостает описания деревни Вороного-Дрянного, из которой Чичиков переезжает к Костанжогло. Потом нет ни слова об имении Чегранова, управляемом молодым человеком, недавно выпущенным из университета. Тут Платонов, спутник Чичикова, ко всему равнодушный, заглядывается на портрет, а потом они встречают, у брата генерала Бетрищева, живой подлинник этого портрета, и начинается роман, из которого Чичиков, как из всех других обстоятельств, каковы б они ни были, извлекает свои выгоды».

Важные сведения, касающиеся дальнейшей судьбы Тентетникова, сообщил, со слов Шевырева, Д. Оболенский: «...В то время когда Тентетников, пробужденный от своей апатии влиянием Улиньки, блаженствует, будучи ее женихом, его арестовывают и отправляют в Сибирь; этот арест имеет связь с тем сочинением, которое он готовил о России, и с дружбой с недоучившимся студентом с вредным либеральным направлением. Оставляя деревню и прощаясь с крестьянами, Тентетников говорит им прощальное слово (которое, по словам Шевырева, было замечательное художественное произведение). Улинька следует за Тентетниковым в Сибирь,— там они венчаются и проч.».

Совсем скудны сведения о предполагавшемся содержании третьего тома. Мы лишь знаем, со слов беседовавшего с Гоголем А. Бухарева, что Чичиков должен переродиться, что «оживлению его послужит прямым участием сам царь, и первым вздохом Чичикова для истинной прочной жизни должна кончиться поэма». Сам Гоголь бегло упоминал еще о судьбе Плюшкина. Обращаясь к Н. Языкову, он писал: «Воззови, в виде лирического сильного воззванья, к прекрасному, но дремлющему человеку... О, если б ты мог сказать ему то, что должен сказать мой Плюшкин, если доберусь до третьего тома «Мерт‹вых› душ»!»

Выход из печати сохранившихся глав второго тома вызвал ряд откликов. Н. Некрасов писал И. Тургеневу: «Вот честный-то сын своей земли!»; Гоголь «талант, положим, свой во многом изнасиловал, но каково самоотвержение!». И. Тургенев, прочитавший главы второго тома еще до опубликования, писал 19 октября 1853 года, что в них «бежит какая-то нехорошая струя... в характерах фантастического наставника, Муразова, Улиньки...» «Но есть места — охватывающие и потрясающие в одно время всю душу читателя. Помните прогулку Петуха в лодке — и песни рыбаков — и расшевеленного Чичикова — и безжизненную вялость Платонова. Это удивительное место».

Наиболее важным был отзыв Н. Г. Чернышевского в обширном примечании к первой статье «Очерков гоголевского периода русской литературы» («Современник», 1855, т. 12). Отметив односторонность и «фальшивую идеализацию» ряда описаний, критик приходил к выводу, «что, каковы бы ни были некоторые эпизоды во втором томе «Мертвых душ», преобладающий характер в этой книге, когда б она была окончена, остался бы все-таки тот же самый, каким отличается и ее первый том, и все предыдущие творения великого писателя».

В данном издании печатается текст ранней редакции второго тома «Мертвых душ» как наиболее полный. Отсутствующие в рукописи, но необходимые по смыслу слова даются в угловых скобках.

Стр. 349. *Коцебу* А.-Ф.-Ф. (1761—1819) — немецкий драматург и романист.

*...представлен к звезде...*— то есть к ордену Станислава.

Стр. 336. *Ревизская сказка* — список крепостных крестьян, составлявшийся при переписи (ревизии).

*Тягло* — крестьянская семья как единица при разверстке барщины или оброка.

Стр. 346. *Пряженцы* — «маленькие пирожки с мясом и луком; подается к ним суп или бульон» *(из записной книжки Гоголя)*.

Стр. 352. *Морить пчел* — одурманивать дымом, чтобы вынуть соты.

Стр. 356. *Побратима* — «шарообразный сосуд деревянный, с узким горлом; кладут мед, варенья» *(из записной книжки Гоголя)*.

Стр. 359. *Устерс* — устриц.

*Сомовий плес* — «хвост у сома, весь из жира» *(из записной книжки Гоголя)*.

Стр. 362. *Утка* — прибавка к ставке.

*Играть дублетом* — «не отделять от выигрыша, а пускать вдвое» *(из записной книжки Гоголя)*.

Стр. 363. *Гальбик* — карточная игра.

*Фортунка* — игра с помощью вертящегося кружка (фортунки).

Стр. 364. *Фенарди* — известный в двадцатые годы акробат и фокусник.

Стр. 365. *Мордаш* — порода собак, малорослых и большеголовых.

Стр. 366. *...двугривенник... полтину...*— Двугривенник серебром больше пятидесяти копеек ассигнациями, которые предлагает дать Ноздрев.

Стр. 369. *Щиток* (щипец) — острая морда у собаки.

*Густопсовые* — собаки «с шерстью длинною по всей собаке»; *чистопсовые* — «гладкие, с шерстью длинною на хвосте и на ляжках, т. е. на черных мясах»; *мругая* — «искрасна черная, с черным рылом»; *полво-пегие* — «по белому желтые пятна»; *мруго-пегие* — «по желтому черные пятна» *(из записной книжки Гоголя)*.

*Порхлица* — «на мельнице железо, в которое вделывается камень, быстро движущийся на веретене, порхающий» *(из записной книжки Гоголя)*.

Стр. 370. «*Мальбруг в поход поехал*»...— популярная французская песня, получившая распространение и в России. Мальбруг — Мальборо (1650—1722), английский полководец, герцог.

Стр. 386. *...кирченых стен...*— Кирчёная изба — «вытесанная, когда бревна стесаны в гладкую стену» *(из записной книжки Гоголя)*.

Стр. 387. *Маврокордато*, *Миаули* (Миаулис), *Канари* — греческие полководцы в период национально-освободительной войны против Турции (1821—1828).

Стр. 401. *Чапыжник* — «мелкий, кривой, дрянной лес, кустами поросший от корней, объеденный скотом» *(из записной книжки Гоголя)*.

Стр. 404. *Губина* — «все, что подходит под губу, съедобное; всякая овощь, кроме хлеба и мяса» *(из записной книжки Гоголя)*.

Стр. 420. *Государственная* — ассигнация в тысячу рублей.

Стр. 422. *Суда-суряки* — суда, названные по реке Суре.

Стр. 427. *Зерцало* — трехгранная пирамида с указами Петра I, стоявшая в присутственных местах.

Стр. 432. *Горка* — карточная игра.

Стр. 433. *Вертер и Шарлотта* — персонажи романа В. Гете «Страдания молодого Вертера» (1774). Но Чичиков читает не отрывок из этого романа (написанного прозой), а стихотворение В. Туманского «Вертер к Шарлотте (за час перед смертью)».

Стр. 436. *Ланкастер* Дж. (1771—1838) — английский педагог, основатель такой системы обучения, когда педагог обучает лучших учеников, которые, в свою очередь, обучают других учеников.

Стр. 437. *Юнговы «Ночи»* — поэма английского поэта Э. Юнга (1684—1765) «Ночные думы».

*«Ключ к таинствам натуры»* — книга немецкого писателя-мистика Эккартсгаузена (1752—1803).

Стр. 459. *Ринальдо Ринальдини* — разбойник, персонаж одноименного романа немецкого писателя Х.-Л. Вульпиуса (1762—1827).

Стр. 460. *Оттопать* — «вогнать опять в лес, чтоб выгнать на барина» *(из записной книжки Гоголя)*.

Стр. 471. *Воксал* — здесь: место общественных увеселений.

Стр. 475. *Фензерв* — пряный соус; здесь: повар.

Стр. 478. *Апокалипсические цифры* — то есть мистическое число 666, которым в «Апокалипсисе» обозначалось имя антихриста.

Стр. 482. *«Герцогиня Лавальер»* — роман французской писательницы С.-Ф. Жанлис (1746—1830).

Стр. 499. *Красная* — ассигнация в десять рублей.

*Кантонисты* — солдатские дети, с рождения прикрепленные к военному ведомству.

*Ю. Манн*

## СОДЕРЖАНИЕ

*Ю. Манн.* Смех Гоголя . . . . . 5

ПОВЕСТИ

Невский проспект . . . . . 23
Нос . . . . . 52
Портрет . . . . . 72
Шинель . . . . . 117
Записки сумасшедшего . . . . . 142

ПЬЕСЫ

Ревизор . . . . . 161
Женитьба . . . . . 233
Игроки . . . . . 281

МЕРТВЫЕ ДУШИ

Том первый . . . . . 315
Том второй . . . . . 513
Приложение к первому тому «Мертвых душ» . .
Повесть о капитане Копейкине (редакция, разрешенная цензурой) . . . . . 622
Примечания *Ю. Манна* . . . . . 627

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ВТОРАЯ
Том 75

*Николай Васильевич Гоголь*

ПОВЕСТИ
ПЬЕСЫ
«МЕРТВЫЕ ДУШИ»

*

Редакторы
С. Чулков и И. Щербакова

Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти

Художественный редактор
Л. Калитовская

Технический редактор
В. Кулагина

Корректоры
Г. Киселева и О. Наренкова

*

Сдано в набор 19/VII 1974 г. Подписано к печати 19/XII 1974 г. Бумага типографская № 1. Формат 60×84¹/₁₆. 41 печ. л. 38,25 усл. печ. л. 43,22 + 1 вкл. + 8 нак. = 44,134 уч.-изд. л. Тираж 303 000 экз. Зак. № 1551
Цена 2 р. 13 к.

*

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Москва, М-54, Валовая, 28